Фотий

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Scan Kreyder - 13.05.2016
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ДУКЕНБАЙ ДОСЖАНОВ

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

РОМАН. РАССКАЗЫ

Перевод с казахского

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1983

ББК84Каз.7
Д70

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБА НАРОДОВ»

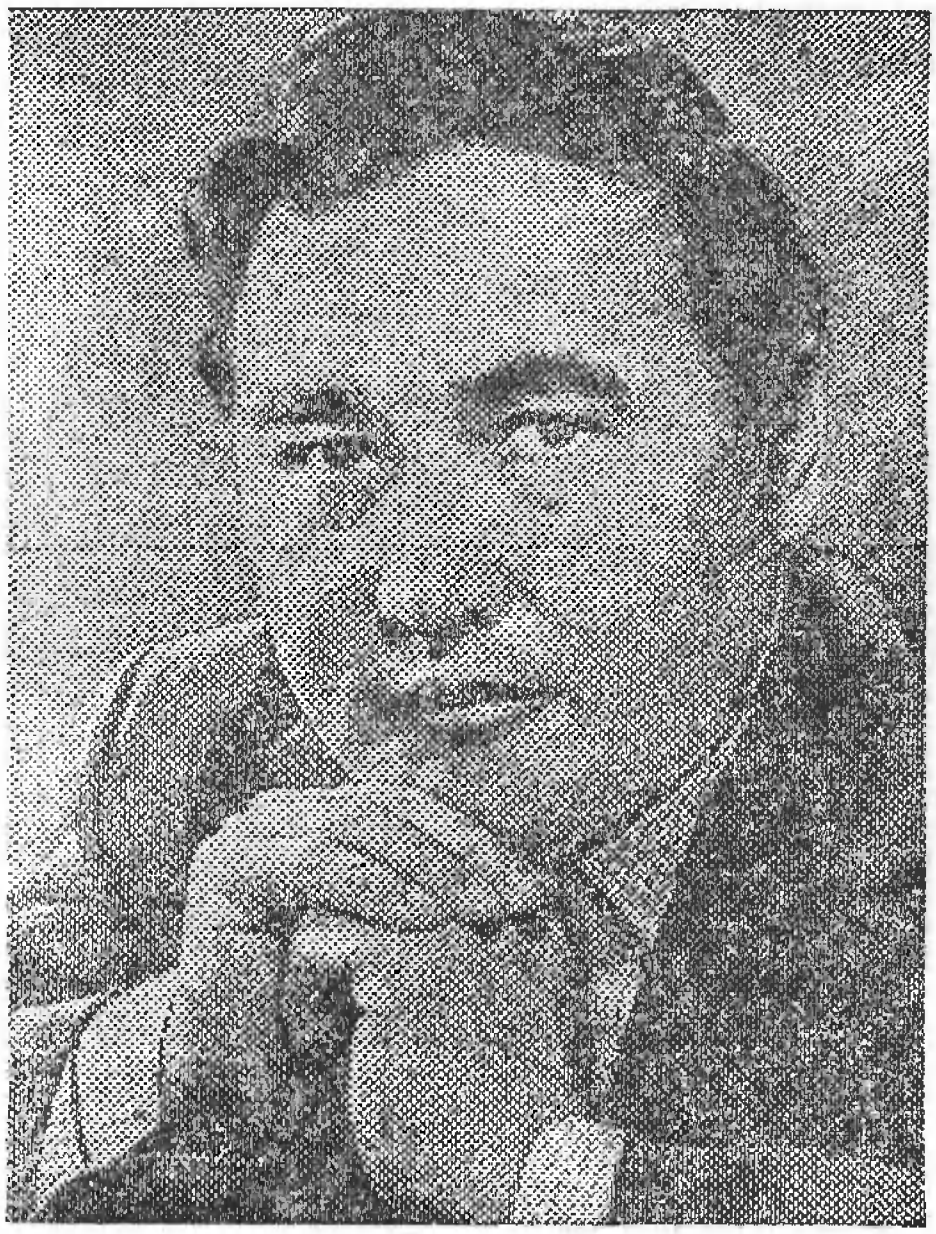
Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин
Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян
Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк
Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Иван Шамякин, Константин Щербаков,
Камиль Яшен

Художник И. УРМАНЧЕ

Д $\frac{4702230000—074}{074(02)—83}$ 98—83 подписное



ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

ЗАЧИН

Раскаленный горький ветер, ровно дующий по бесконечному Шелковому пути, на мгновение затаил дыхание. Солнце поднялось на длину аркана и нещадно обжигало потрескавшуюся от вековой жажды корку земли. Сразу запахло паленым. Застыли на бегу пегие кусты перекати-поля. Умолкли крохотные неугомонные воробьи, почти неразличимые среди серой полыни; исчезли, будто растаяли, растворились в зыбком мареве степные рябчики. Степь напоминала старую заскорузлую скотскую шкуру, казалось, жизнь давно покинула этот дикий, запущенный край. Зловещая тишина стояла кругом. Но вдруг у горизонта неслышной белоголовой змеей круто поднялся вихрь, взмыл, разросся, вскоре обернулся всадником. Сизым шлейфом потянулась, заклубилась за ним пыль. Стало видно, что это не всадник, а всего только одинокий конь. Но соловый скакун был оседлан, и на боках, крупе и шее его тускло белела соль. На передней луке по обе стороны висели два небольших барабана. Кони с походными барабанами доныне еще не встречались на просторах Атрабата. Лишь в лихую годину исконные обитатели степи — казахи привязывают барабаны — вестники беды — к седлу.

Соловый скакун неожиданно замер. То ли пот застлал ему глаза, то ли затосковал по хозяину, бог весть где нашедшему свою погибель, то ли усталость подкатила к точеным ногам — кто знает, только остановился, напрягся скакун и зычно заржал. Он ржал протяжно, тоскливо, втягивая брюхо. Может, померещились ему далекие тучные луга, прозрачные озера с белыми и черными непугаными лебедями, мирно сбившийся у поречья родной косяк... Столько тоски и печали было в этом ржанье, что от него, казалось, дрожь пробежала по пересохшей траве. Будто из задубевшего карная исторгались эти надрывные звуки, бесследно, безответно исчезая, угасая в знойном, пыльном воздухе. Бурая, выгоревшая, жарой истомленная степь равнодушно молчала. Соловый скакун попытался заржать еще раз, но силы покинули его, он тяжело повел боками, вытянул шею, начал яростно грызть удила. Но так и не смог опустить голову: поводья были крепко-накрепко привязаны за переднюю луку седла.

Сквозь розоватые хлопья пены поблескивали в лучах солнца серебряные удила. Кожаный нагрудник, шоры, подбородник узды, поводья были сплошь украшены мелкими бусинками яхонта. Сразу становилось ясно, что седло кипчакское: лука имела форму утиной головы. Оба барабана были целые, только туго натянутый сафьян выгорел и высох до белизны. Верхние обручи покрывало серебро, завязки шелковые; пышные кисти — коню по брюхо. На тороке трепыхался маленький изящный — тоже из шелка — колчанообразный мешочек для барабанных палочек. Сейчас он был пуст. Ременный подхвостник глубоко врезался в лошадиный крестец. Скакун был красив, статен; грива и хвост развевались, шелестели на ветру, будто шелк. Под седлом он, должно быть, ходил уже несколько дней. На ленчике бурела засохшая кровь...

Вздрогнули, опять заколыхались верхушки ковыля. Запел свою вечную заунывную песню

упругий рыжий суховей. Встрепенулся и соловый конь, забил передним правым копытом. На неукротимую, буйную сестру свою реку Инжу-огуз [1] походила древняя степь Атрабата. И река порой так же неожиданно и ненадолго смиряет свой капризный, буйный нрав. Затихает она тогда и умиротворенно катит, будто баюкает кого-то, ласковые пышногрудые волны. А они что-то нежно нашептывают, воркуют, зовут к себе очарованно застывшие берега. Но берегам не угнаться за шаловливыми волнами. И потом, когда попадает река в широкие объятия мелководного русла-переката, она, могучая, строптивая, вовсе замирает, становится покорной, робкой, и ни одна морщинка не искажает гладь ее чела. Но обманчива эта покорность. Под неподвижной гладью таятся коварные воронки и пучина. Мудрено увидеть бурлящие, кипящие в глубине водовороты, захватывающие, заглатывающие даже самую неприметную, незаметную щепочку...

В этой первозданной дикой степи были тоже свои потайные водовороты. Мчались по ней распаленные страстью смерчи и вихри, метались бездомные странники устели-поле, величаво плыли, навевая смутные желания, причудливые миражи. Бесследно исчезали в бездонной степной пучине и мелкий сор, и большие судьбы. Так же нежданно вдруг исчез и одинокий скакун, точно тень проглотила крохотный лучик солнца. В одно мгновение скрыли белогривые вихри загадочное явление...

Кому это вздумалось нарушить вековечный сон Дешт-и-Кипчака? Кто решился посягнуть на мир и тишину этой необъятной степи? И кто был хозяин одинокого солового коня в дорогой сбруе и с окровавленным ленчиком? Может быть, близки страшные дни и вестник неотвратимой беды вот-вот ударит в гулкие походные барабаны?..

---

[1] Так в средние века кипчаки называли Сырдарью.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Серебряным ликом своего народа
Не мог налюбоваться до часа рокового.

Надпись на таласском камне

1

Началось это на рассвете.

Большой город был еще погружен в сладкую предутреннюю дрему, и только тонкий гортанный голос муэдзина[1] словно висел в прозрачном воздухе. Самый тихий, мирный, безмятежный час суток, когда никакая злая сила не потревожит тайну на брачном ложе, не вспугнет чью-нибудь сокровенную мечту. Именно это время выбрали для беседы двое известных в городе мужей.

— Ты хорошо описал ратную жизнь моих доблестных предков. Сначала всевышний, потом я благодарен тебе! — Иланчик Кадырхан был заметно взволнован, однако быстро унял слабую дрожь в голосе.— Говаривали в старину: один голову к земле склоняет, но душой высок, другой голову к небу задирает, но помыслы его низменны. Я вижу, ты родился с душой высокой, с печатью вдохновения на челе. Да сопутствует тебе, мой светоч, во всем удача! Да, я благодарен тебе,— повторил он, все еще не успокоившись. Взгляд его не отрывался от рукописной книги в черном кожаном переплете, которая ле-

[1] Муэдзин, или азанчи,— мулла, с вершины минарета призывающий мусульман к молитве.

жала на коленях учтиво сидевшего перед ним юноши. Книга казалась не в меру огромной, тяжеловесной. У правителя города и края сейчас были затуманенные глаза, мысли витали далеко. Виделись ему прославленные за пределами этой страны мастеровые — те, что сейчас на побережье великой Инжу-огуз отливают изразцовые кирпичи, обжигают высокой красоты кувшины, воздвигают на границах стены неприступных крепостей; вспомнились ему и неутомимые земледельцы-дехкане, всю жизнь не расстающиеся со свинцовой тяжести кетменями; вспомнились воинственные предки, которые, не задумываясь, клали свои головы в бесчисленных войнах. И тесно вдруг показалось правителю в просторном ханском дворце. Тяжкий вздох вырвался из его груди: «О предки мои, с кривыми клычами в руках! Вы отстояли некогда честь свою, не оставив ее под копытами несметной дикой орды, которая навалилась из-за восточных гор. Вы не позволили задохнуться славе в пыли, покрыться ржой, зарасти бурьяном забвения, а высоко подняли ее на своих острых пиках. Много веков прошло с тех пор, но деяния ваши чтут благодарные потомки. Вдохновенное перо этого юноши воплотило их в жемчужные строки стихов, запечатлело в этой книге на вечные времена. Бессмертие обрели вы на земле и в небесах!»

Прозорливость юного поэта, скромно поджавшего ноги на красном туркменском ковре, поразила Иланчика Кадырхана. Ему особенно льстили торжественные слова, как зачин песни, много раз повторяемые в поэтической летописи: «На небе — бог, на земле — хан ханов Иланчик Кадырхан». Казалось, они не имели отношения к ратным подвигам его знаменитых предков, однако ласкали слух и сердце. И пожалел сейчас правитель, что не распорядился созвать всех старейшин родов и не заставил их слушать проникновенные, возвышенные слова.

Но вот очнулся от дум Иланчик Кадырхан, оторвал глаза от книги. Поэт Хисамеддин только теперь по-настоящему разглядел грозного повелителя. Был хан могуч телом и возвышался на троне холмом. Морщины на широком лбу разгладились, и отчетливей обозначился у левого виска плотный, твердый, с большой палец величиной нарост. Кипчаки называли его «заячий альчик».

Существовало поверье: джигит, желающий узнать свою судьбу, должен проглотить заячий альчик, загово-

ренный волхвами-прорицателями. Через семь дней альчик проявлялся, как знамение рока, в виде нароста на лбу или на пятке. Нарост на лбу означал, что человека ждет счастливая судьба воина и радетеля родной земли. Нарост на пятке говорил, что он трус и презренный раб.

Через это испытание в годы легкомысленной юности прошел и Иланчик Кадырхан. Брови — лохматые, черные — срослись на переносице. Зрачки точно притаились, застыли в глазницах. В них порой вспыхивали огоньки, словно отблеск костра в темной ночи. Взгляд тяжелый, пронзительный. Повелитель знал об этом и потому — чтобы не сглазить — старался не смотреть прямо на детей и юных невест. Аккуратно подстриженные, тонкие, как крылья ласточки, усы, густая остроконечная борода на крупном овальном лице придавали ему суровое, властное выражение. Возраст хана определить было трудно. Грудь крутая, спина как щит, плечи прямые, на каждое сажай хоть по джигиту. Широкий, в два кулаша [1], трон из слоновой кости еле вмещал богатырское тело повелителя.

Трон заскрипел. Иланчик Кадырхан, резко оборвав свои думы, устремил проницательный взгляд на молодого, но уже известного поэта, автора поэмы-дастана «Хикая», сыганактинца Хисамеддина.

— Продолжай! Я слушаю тебя, юный златоуст!

Повелителю не терпелось выслушать оставшиеся страницы первой главы поэтической летописи. Хисамеддин благоговейно погладил страницу тяжелого и большого, в сафьяновом переплете, фолианта, лежащего на коленях, и начал читать ровным глуховатым голосом. Читал он несколько врастяжку, на особый, «восточный» манер, и эти звуки, то отдаляясь, то нарастая, напоминали печальный и величавый напев древнего кобуза в руках странствующего сказителя.

То было собственное сочинение юного поэта Хисамеддина, в котором он в древней сказовой манере восхвалил досточтимых предков славного Иланчика, уповая в душе на щедрый дар повелителя.

Так начиналась первая глава этого восторженного дастана:

---

[1] Кулаш — мера длины; расстояние между двумя вытянутыми в стороны руками.

«Сын Тирека Тоган — я, младшего брата звали Черный Барс, жену — Тошаин. На небе — бог, на земле — хан ханов Иланчик Кадырхан. Слава его затмила и восход, и заход солнца.

В год обезьяны, в восьмой месяц, на шестой день потерял я улус — род свой. Жена вдовой осталась, в траур оделась, лицо себе с горя исцарапала. Сыновья осиротели. Верные слуги оплакивали меня, точно одинокая верблюдица — погибшего верблюжонка. Но небесному владыке понадобилась моя душа. И она вознеслась, отлетела. Простился я с суетой сует, которая жизнью земной зовется.

Трое сыновей и единственный младший брат, восхваляя мои походы и подвиги, книгу напишут. Если соизволит аллах, вы ее прочтете.

Вот что они могли бы поведать миру в Кожаной книге...

Сын Тирека Тоган — я, младшего брата звали Черный Барс, жену — Тошаин. Отец был прославленным батыром. Он владел тридцатью ок[1] народа, а войско составляло семьдесят ок. На краю обширной степи настигла его стрела рока. Умертвил его коварный враг. Погиб батыр, сложив голову на кривой сабле, не достигнув цели желанной. Чтобы знойное солнце не коснулось тела, обернули его верные слуги тридцатью войлоками, навьючили на нара-дромадера, семь дней и ночей держали путь до родной земли. Перед смертью успел промолвить отец: «Сабля разорит народ».

Я рычал, как голодный тигренок. Но солнце по-прежнему всходило и заходило, и проплывали дни, как мираж в пустыне. Мир стоял на земле. Умножались, плодились тридцать ок народа и семьдесят ок войска. Раны зажили. Про беды забыли. Сила нарастала, точно половодье весеннее, которое никакой запрудой не удержать. Похотливые бабы волчицами выли. Батыры яростной да буйной силой наливались, точно бугаи в пору случки. Дети в войну играли, черепа врагов, в земле истлевшие, будто мячики пинали. Могильные холмы сооружали люди и некогда погибших громко оплакивали.

Делать было нечего. Решил я двинуться в поход.

В год свиньи оседлал боевого коня. Наставив двухаршинный меч в сторону луны, возглавил семьдесят ок

---

[1] Ок — тысяча (по-древнекипчакски).

войска, набранного со всех концов страны. Путь держали по солнцу. У батыров от долгой дороги сабли в ножнах ржой покрылись и языки во рту одеревенели. Прошли знойную пустыню, над которой и птицы, боясь опалить на солнце крылья, не летали. Реку Джейхун [1], над которой не плывут даже тучи, переплыли. Добрались наконец до страны Уструшана, до города Бунджикат, за железными воротами которого собрался разный сброд и нечестивцы.

Ханом их оказался некий Калаи Кахкаха, несусветный краснобай-пустобрех. Чалму на голову себе накрутил он высотой с коня, борода как у старого козла. Не хан — посмешище.

Предложил я ему: «Осушим чашу дружбы за одним дастарханом». Усмехнулся глупец: «Охотнее выпью чашу твоей крови». Обозвал меня по-всякому, посла моего под зад пнул. За крепость сломанную стрелу выбросил — знак непримиримой вражды.

Эйе!

Сутки думал-размышлял, духов священных звал. Ночью услышал глас всеблагого — такой, какого ожидал: «Взломай крепость и руби непокорным головы!» Приказал я тогда, раб всевышнего, забить в парный походный барабан. Заревели карнаи. Обрушились мои воины, как голодные волки, на дерзкий город. Семь месяцев продолжалась осада. Я лишился тридцати ок войска. Навеки сомкнули веки мои батыры, отправились на тот свет, дрожа, перед чистилищем предстали.

И тогда приказал я Жагипару с тигриным сердцем и Огузу-Леопарду: «Ройте землю под крепостью!» В кротов превратились мои бесстрашные сарбазы. В сорока местах днем и ночью копали подземные ходы. И тихо, точно мыши, проникли в непокорный город и, обернувшись лютыми волками, терзали-рвали людей, как ошалевших баранов. Собственноручно зарубил я хана, выпустил поганую кровь. Чалму его повесил на придорожном столбе. Осталась от пустоголового Кахкаха юная невинная дочь Тошаин. Я почувствовал вожделение и взял ее в жены. Пир устроил небывалый. Погуляли мои сарбазы на славу. И брюхо, и похоть, и душу вволю потешили. Дорогой казной набили переметные сумки.

---

[1] Древнекипчакское название Амударьи.

Подлые враги исподтишка толкнули Жагипара — Тигриное Сердце и Огуза-Леопарда в глубокий колодец Там с последним глотком воды и нашли они свою погибель. Врасплох застигли меня мерзавцы. От досады едва не отгрыз я свой палец. Сорок ок оставшегося войска в неутешном горе воткнули копья в землю. Головы склонили, плечи опустили. Говорят старики: «Потерял верных соратников — точно сам умер».

От недругов утешения и верности я не нашел.

Бросился ничком на землю, в тяжкую думу погрузился. Правильным посчитал — повернуть коня назад. Не то от безделья затоскуют мои батыры. По друзьям погибшим запечалятся... Из ханской казны забрал я все золото, из хранилищ — все зерно, в жены взял Тошаин, на длинном аркане, в кандалах погнал рабов. А сарбазам своим сказал: «Затосковал я по кровному хребту Харчуку [1], по родной жемчужной реке Инжу. Сыновья, родившиеся после нашего похода, теперь уже поводья держат, а дочерей замуж повыдали... Подтяните потуже переднюю подпругу, ослабьте заднюю, как подобает перед дальней дорогой. Когда завтра из пучины выйдет полная луна, э-ге-ге... двинемся мы в путь на родину». Одинокий барабан пробил отбой.

Во сне всевышний дал мне знак. «Чтобы славный Жагипар с тигриным сердцем и Огуз, прозванный Леопардом, не испытывали тревоги на том свете, не оставляй в Бунджикате ни одного целого дома, истреби под корень все мужское племя». Что ж... Мы ведь покорные слуги всевышнего. Так и сделали. В пепелище все там превратили.

Прошли пустыню, где от зноя потрескались у коней копыта. Одолели множество перевалов через горы, недоступные даже соколам.

Хребет Харчук был отцом нашим, жемчужная Инжу — матерью. Почтенный белобородый старец встретил нас с посохом в руке, мать — с молодым охлажденным кумысом. Сорок ок сарбазов встретились с родными, словно заблудившиеся ягнята с родной отарой. Слезами радости и горя обливались. Неутешным вдовам всем поровну роздал я добычу. К каждому порогу привязал раба. Каждый воин получил по пленнице. Слава моя по всей степи гремела. Душа моя ликовала в орлиной вы-

---

[1] Харчук — Каратау.

си. Недруги хвосты поджали, к полам чапана моего припадали.

Иланчика назначил я правителем Большого Сагына. Средний Сагын отдал Огулу — Черному Барсу. Младший Сагын[1] доверил батыру Ошакбаю. Так поделив свои владения, остался сам в Отраре. На мне лежали заботы о Великом кагане.

Прошли годы. Окрепли копыта у крылатых коней — тулпаров. Малые дети подросли, мечи в ножнах затупились. На мягких постелях батыры жирели. Бабьи ласки им надоели, от скуки души дряхлели.

Потянуло к крови. К удали бесшабашной. К набегам диким.

Позвал я прорицателя-балгера. Полистал тот священную книгу, изрек: «Там, где восходит солнце, простирается страна моголов. У девушек их глаза что черная смородина. На щеках пламенеет румянец. Женщины поджарые, тонкие, легкие, как ременная тесьма. Мужчины рослые, долговязые. Золота там больше, чем песка в Каракумах, чем воды в реке Инжу». Прекрасно!

Приказал я забить в походные барабаны. И обратился к своему народу: «Поведу я восемьдесят ок войска в страну моголов. Пусть каждый кипчакский воин наденет на голову черный колпак, дабы легче было отличать друг друга от врагов. А коням подвязать хвосты».

Оседлали коней. Выступили. Из-за черных колпаков люди прозвали нас каракалпаками. Зазвенели колокольчиками стремена. Преодолели снежные горы. Потом долго плутали по не имеющей конца степи. Год собаки провели бездомными псами. У сарбазов от голода кишки в животе склеились, а рабыни все повымерли. Шенкеля до крови натерли, штаны до дыр прошоркали, у коней копыта сбились, войско поредело.

Эйе! Наконец-то враг показался.

Смотрю: мужчины вовсе не рослые, а коренастые, кряжистые, точно быки бодливые. Обезглавил балгера за ложные предсказания. Поистине: провидца враг врасплох застигнет, расчетливого мор погубит.

Хан их и вправду оказался громадиной по кличке Туйе-палван, что означает «богатырь-верблюд». Предло-

---

[1] Названия древних городов. Развалины и курганы на их месте сохранились поныне.

жил я ему в знак мира кумыс попить из одного торсука. «Крови твоей испить желаю»,— ответил этот наглец.

Приказал на этот раз ударить в одинокий барабан. Выстроил я рать — восемьдесят ок каракалпаков. Враг встал напротив. «Единоборство!» — рявкнул Туйе-палван. «Единоборство!» — согласился я. Издревле существует этот доблестный обычай. Помянул я добрым словом духов, надел на голову шлем, облачился в кольчугу. Сел на верного Торттагана, коня своего.

Туйе-палван взгромоздился на дикого дромадера. Нар ронял хлопья пены, брызгал липкой слюной. На грудь и на спину хан повесил по щиту, голову сунул в чугунный котел, стал вроде черепахи. В руку взял громадную палицу, налитую свинцом.

Гул в степи стоял — земля качалась. Но тут вдруг разом все умолкли, дыхание затаили.

И начался жестокий поединок.

Выставив змеиноголовое длинное копье, обрушился я на врага. Под копытами моего скакуна земля прогибалась, пыль столбом поднялась, заклубилась. От рева дикого дромадера травы клонились. Волчком завертелся мой Торттаган, ловко уклоняясь от свинцовой палицы. Я нацелился копьем, слегка царапнул врага возле паха. Но сущим дьяволом оказался Туйе-палван. Размахивал палицей налево-направо и сломал-таки мое копье. Конь в пыли задохнулся. Кровь у меня брызнула. Левая рука плетью повисла.

Взывая к духам, подскочил мой младший брат Черный Барс, сунул мне в руку меч. У Туйе-палвана, должно быть, мышцы свело. Он плевался кровью, выронил палицу, схватил пику. Я еще раз помянул дух предков.

Как пчелиный рой гудело войско. Схватка продолжалась.

Лопнула на мне кольчуга, рассыпались железные кольца. Зато у дромадера подгибались ноги. Туйе-палван сделал дальний выпад пикой, но я припал к гриве коня, увернулся, мечом отбился. Закачался верблюд, на колени опустился, слетел с врага передний щит, и я, изловчившись, всадил меч в поганое брюхо Туйе-палвана. Лопнуло оно, как переспелый арбуз, внутренности вывалились.

Но он был дьяволом, этот монгольский хан! Уже падая с дромадера, успел вонзить острую пику мне под мышку. Я замахнулся еще раз, и дернулся Туйе-палван,

рухнул камнем к ногам одногорбого верблюда. Вот она, желанная победа!

Восемьдесят ок сарбазов в черных колпаках, ждавшие исхода поединка, с ревом обрушились на растерявшихся врагов, смяли их ряды.

Я припал к гриве. Единственный брат мой Черный Барс с воплем подскочил ко мне, подставил плечо. Перед глазами моими поплыли синие хребты Харчука, полноводная жемчужная Инжу. Я уставился вдаль, надеясь увидеть за горизонтом краешек родной земли, но ничего не увидел, сполз с коня. Конец вражьей пики все еще торчал под мышкой. Никто не мог его вытащить. И я понял: настал мой конец, вот-вот оборвется дыхание и предстану я перед всевышним.

Облачится жена в черные одежды, неутешными слезами обольется. Сыновей назовут сиротами. И будет мой народ оплакивать меня, как верблюдица — погибшего верблюжонка.

С предсмертными словами к Черному Барсу тогда я обратился: «О народе своем позаботься. Пусть не знает беды-печали. Тошаин возьми себе, остальных жен раздай батырам. Я всего лишился: земли и воды. Сорока трех лет от роду навеки прощаюсь с хребтами Харчука и жемчужными волнами Инжу. Во имя чести и славы умертвил я девятнадцать славных мужей. Храбрость моя стала молитвенной песней в устах правоверных. Великий каган свой тебе завещаю...»

Так завершилась первая глава восторженного дастана, написанного юным поэтом Хисамеддином во славу всесильного повелителя Иланчика Кадырхана...

Мелодичный ровный голос поэта, гулким эхом в последний раз отозвавшись в просторном дворце, оборвался, умолк. Длинный сказ о минувшем, запечатленный на пожелтевших страницах Кожаной книги, звучал в его сердце. Благоговейная тишина воцарилась в Гумбез Сарае. Поэт медленно закрыл книгу, лежавшую на коленях, опять провел рукой по сафьяновому переплету, протер повлажневшие глаза краешком чалмы, смущенно откашлялся, скрывая волнение.

Хисамеддин был уроженец Сыгынака, что южнее Отрара, у самого устья Инжу. Там, на сизых от пыли улицах, где самозабвенно гонял он недавно шелудивых

собак и где нудные муллы из медресе не однажды таскали его за уши, будущий поэт провел свое детство. С малых лет преклонялся он перед мудрецами. Едва выучив арабскую грамоту, стал сочинять стишки, скрипя гусиным пером по бумаге. Вскоре имя юного стихотворца стало популярным. Ему сейчас немногим больше полутора мушель [1], кости еще не окрепли, и телом он нежен и гладок, как молодой, молочный телок. Лоб высокий, выпуклый; нос с небольшой горбинкой; лицо узкое, продолговатое. Сидит он всегда в неподвижной позе, ссутулясь и чуть свесив голову. Очень учтив, редко смотрит в глаза собеседника. И сейчас он задумчиво уставился на свое колено, всем своим обликом напоминая молодого насытившегося ястребка, блаженно греющегося в лучах солнца на кустике колючего чингиля.

Повелитель явно был доволен юным поэтом. Он сказал:

— Дарю себе коня-тулпара, обгоняющего ветер, а в придачу охотничьего сокола, видящего волка за тридевять земель. И пусть не покинет тебя вдохновение. Будешь слагать стихи, писать книги. Останешься здесь, в Отраре, в моем дворце Гумбез Сарае!

Хисамеддин, склонив набок голову, задумался. Взгляд он лишь перевел на другое колено.

— О всемилостивый повелитель! Не нужны мне ни белогрудый сокол, чьи когти рассекают ветку таволги, ни быстроногий тулпар, чьи копыта дробят камень. Есть у меня одно сокровенное желание: разрешите мне доступ к самому ценному, что есть в Гумбез Сарае,— прославленной библиотеке великого Абу-Насра, который известен в мире по названию этого края — аль-Фараби.

Дрогнул, сразу набух кровью «заячий альчик» на лбу Иланчика Кадырхана. Никак не ждал он такого ответа от юноши. «Да-а... Гумбез Сарай скрывает в себе немало тайн, его подземные комнаты полны сокровищ, а по хранилищам бродят в длиннополых чапанах познавшие все науки мудрецы. Книгам здешним и вовсе цены нет. Одно перечисление их названий займет столько времени, сколько необходимо, чтобы зарезать и расчленить на части туши трех верблюдов. Это здесь хранятся древние тюркские летописи, обтянутые бараньи-

---

[1] Мушель — срок в двенадцать лет по древнему кипчакскому летосчислению.

ми шкурами; надписи на пожелтевших от времени лопатках быков, арабские дастаны, киссы [1], написанные на светлой коже куланов; индийские книги, украшенные рыбьей чешуей; тюркские инжили, назарейские свитки, вязь на бересте северных народов, иудейские письмена, камни, исписанные непонятными, забытыми знаками; папирусы фараонов из страны Миср, глиняные плитки из стран Ирака и многое другое. Есть книги, громадные, точно сундук, на языках пехлеви, фарси, румийцев, иудеев и согдийцев; они недоступны простым людям, непосильны они и для обычных мулл, за многие годы с трудом осиливших афтиек [2], глубокий смысл их понятен лишь немногим мужам, посвятившим жизнь изучению разных наук. Когда жил и творил в Отраре великий тюрк Абу-Наср Мухаммед ибн Мухаммед Тархан аль-Фараби, поражавший мир глубиной мысли, широтой познания и прозорливостью, сюда со всех концов света стекались вместе с караванами книги и драгоценные рукописи. Сколько ученых факиров вышло из Отрарского медресе, познавших истину и тайну бытия! А помимо их сколько было здесь всегда волхвов, жрецов, баксы, врачевателей и прорицателей в прохладных, мрачноватых кельях — худжрах под Гумбез Сараем!

Бывало, раскрывали они громоздкие священные книги, наблюдали движение небесных тел и предсказывали: «А в таком-то году неслыханная беда нагрянет, по щетки коням прольется людская кровь. В таком-то году обрушится босоногий жуткий джут [3], люди с голоду начнут поедать змеиные яйца». И часто сбывались эти недобрые пророчества...

Думая об этом, Иланчик Кадырхан чувствовал, как кровь приливает к голове и охватывает его странная грусть. Он испытывал и тайную гордость, и волнение, и безмерную свою ответственность перед памятью предков и за будущее потомков.

«Значит, этого юного поэта влекут древние книги...»

Кадырхан запахнул полы своего длинного вышитого золотом и отделанного парчой чапана. Под густыми бровями блеснули на мгновение два живых огонька.

— Пусть исполнится твое желание, юноша!

---

[1] Поэтические сказания религиозного характера.
[2] Первоначальная мусульманская грамота.
[3] Джут — бескормица, мор.

Было это по хиджре в шестьсот четырнадцатом году в месяц Раби-ахир, по кипчакскому летосчислению в год коровы в месяц кукушки, по юлианскому календарю в апреле одна тысяча двести семнадцатого года.

2

Совсем по-другому выглядел сегодня знаменитый Гумбез Сарай — краснокирпичный дворец с огромным голубоватым куполом, похожий чем-то на кипчакскую юрту. Широкие ворота были открыты настежь, белокаменные лестницы натерты до блеска. Под лучами солнца ослепительно сверкали цветные изразцы. Над главным порталом спокойно взирали на мир узкие высокие окна. Чуть колыхались полупрозрачные тонкие занавеси. По дворцу гулял вольный прохладный ветерок. Из полноводной реки Арысь и запруды святого Кишкиша двумя подземными водопроводами из жженой глины день и ночь поступала вода в большой хауз перед дворцом. Разноцветными струями била вода из фонтанов — из пасти бронзового тигра, из острой, высоко вздернутой морды гончей, из жемчужных глаз каменного дракона. Живая радуга над хаузом радовала глаз.

Гумбез Сарай — чудесное творение древних зодчих, чьих имен никто не знает. Снаружи дворец облицован глазурованными изразцами — каждый гяз[1] другой окраски. В течение дня много раз меняется это причудливое многоцветье. Орнаменты тянутся до самого купола, тщательно выкрашенного широкой полосой понизу редкой краской под цвет кобыльего молока. Веками не тускнеет эта изумительная краска, сохраняя купол и главный минарет от разрушительного действия времени. На стенах дворца, расписанных непонятными иероглифами и диковинной вязью, днем играет мираж и ночью любуется своим отражением луна. Ниже к земле узоры становятся все шире, орнамент ложится затейливей, у основания арабскими буквами выложены слова кипчакской походной песни. Фундамент дворца кругл. Так и напоминает Гумбез Сарай воздушный сказочный замок. Словно на высоком зеленом холме юная невеста сбросила свое прозрачное, украшенное перьями филина

[1] Мера длины, примерно 70 см.

саукеле[1]. А девяносто три каменные опоры, поддерживающие купол, кажутся девяноста тремя воинами, поднявшими на богатырских пиках тот дивный девичий головной убор.

Поэт, не скрывая восторга, разглядывал Гумбез Сарай. Медленно идущий рядом с ним Иланчик Кадырхан молчал, не желая отвлекать юношу от возвышенных дум. Пусть приобщится к новой жизни. А Хисамеддин думал о своем.

Если приглядеться внимательней, то узоры, выложенные из цветных кирпичей, напоминают то плывущие по небосводу облака, то распластавшегося для прыжка тигра. Знающие люди рассказывают, что кирпичи завезли сюда с берега Инжу. Тех, кто делает их, называют кышкерями — кирпичниками...

Кышкери составляют самостоятельный род сунак, издревле занимающийся этим скромным древним ремеслом. В корне самого слова «сунак» заключен смысл «богатый водой», «обитающий у воды». Из поколения в поколение сунаки копают ямы, месят глину, льют кирпичи. Поджарые, насквозь прокопченные солнцем, в одних до колен закатанных холщовых штанах, круглый год не расстаются с кетменем — мотыгой,— такими их увидел и запомнил Хисамеддин. Они необыкновенно выносливы и сильны. Постоянный тяжелый труд закалил их необычайно. Лить кирпич — дело очень непростое. Они готовят его из особой местной глины, точнее, суглинка, которым так богаты берега Инжу. Сначала вязкую желтоватую глину сгребают в огромные кучи, потом понемногу сбрасывают ее в широкие ямы, добавляют козью щетину и размешивают с кобыльим молоком. Потом по этому месиву прогоняют взад-вперед несколько косяков коней. Под их копытами образуется упругая, плотная масса. Из нее льют плоские кирпичи: аккуратные, небольшие, с ладонь. Кирпичи обжигают на углях саксаула, а перед этим долго сушат под раскаленным солнцем. Так появляется темно-красный, цвета крови, знаменитый отрарский кирпич, который не разбивается о камень, не растворяется в воде, не крошится от времени. Такой кирпич прочен, как скалы Каратау, перед ним отступают и гнев и ярость. Сами кышкери-

---

[1] Древний головной убор невесты, украшенный драгоценными камнями, узорами и рисунками.

сунаки испытывают прочность своего изделия ударом тяжелого меча.

Именно из таких кирпичей мозолистыми руками искусных каменщиков и был выстроен величественный Гумбез Сарай. Наместник Отрара и юноша поэт молча смотрели на дворец. Вдруг взгляд Кадырхана упал на нижние ступени. Из дворцового подземелья, карабкаясь, точно черный жук, поднимался старик визирь. Слабые ноги его подкашивались; оступившись, он едва не упал. Вздрагивала белая длинная борода; конец необъятной чалмы волочился где-то у ног. Старик был суеверен; то, что он споткнулся, явно предвещало беду, и визирь что-то бормотал про себя, может быть, молился, а взобравшись наверх, склонился в низком поклоне. Поймав взгляд повелителя, он тихо молвил:

— Да продлит аллах царствование твое, Кадырхан! К твоим стопам припадают и жаждут увидеть твой светлый лик купцы Хазарии, путешественники из западного государства Кыйев [1], почтенный купец из дальнего Новгорода, посол страны уйгуров со своим требованием, гонец в медвежьей шкуре из страны Кереити [2], от монголов порученец уйсун, из Хорезма хитрая лиса-проныра лашкар... Как положено в этот день недели, они ждут тебя у входа в Салтанат Сарай...— Старик визирь сложил руки на груди и опять поклонился.

Иланчик Кадырхан, стоя боком, выслушал его, нехотя повернувшись, направился во дворец. У трона в глубине зала он вновь накинул на плечи просторный шелковый чапан, расшитый золотом, и Хисамеддин невольно вздрогнул: ему ясно привиделось, будто по сумрачному залу, крадучись, прошел матерый тигр. Повелитель приостановился и жестом приказал Хисамеддину следовать за ним.

Медленно спустились они по широкой лестнице. Вокруг холма, не нарушая его естественного вида, выстроились дворцы с куполами. Казалось, стояло несколько огромных белых юрт с Гумбез Сараем посредине. Спускаясь вниз, правитель города и поэт вышли на небольшую площадь. И здесь был хауз. Треугольником стояли три остромордые бронзовые волчицы. То было творе-

---

[1] Киев.

[2] Древнее государство, расположившееся по нижнему руслу Ишима и Иртыша.

ние кипчакских мастеров: они всегда отливали фигуры зверей, но никогда — подобно румийским ваятелям — не делали птичьих изображений. Здесь считали птицу священной, высекать ее из камня считалось святотатством. Из волчьих пастей взмывала упругая струя, образовывая над хаузом радугу в форме кривой. Было здесь прохладно, свежо. За хаузом полукругом возвышался Малый Гумбез, выделяющийся какой-то особенной красотой. Каждый, кто углублялся в Малый Гумбез, невольно испытывал восторг и необъяснимую гордость. Казалось, дворец бесконечно устремлялся ввысь. Глаза уставали глядеть на его ослепительную вершину, голова кружилась, и невозможно было оторвать взгляда.

Перед Иланчиком Кадырханом и Хисамеддином вдруг выросли огромные чугунные ворота. Так же неожиданно и бесшумно они распахнулись. По пояс оголенные жилистые слуги — гуламы ловко раздвинули створки. Под ногами стлался мягкий ворсистый ковер из Хорасана, поглощавший звук шагов.

Этот дворец назывался Салтанат Сарай, что на кипчакском наречии означало «Торжественный», и был он волей отрарского правителя отведен для приема высоких гостей — иноземных послов, путешественников, купцов, нарочных, порученцев.

В круглые окошки под куполом лился свет. В зале приема пол посередине был выложен цветными каменьями, и оторвать глаза от этого чуда было выше человеческих сил. Они изображали пышногрудую деву-купальщицу и крутоплечего смельчака, усмирявшего строптивого коня. В зыбких бликах света, казалось, трепетали обнаженные груди юной купальщицы, томно изгибался стан, а у джигита мышцы наливались силой. Краски струились под ногами, словно тень на водной глади. Разноцветье камней неизменно поражало, удивляло, ошеломляло иноземных гостей. Вдоль стен зала были расстелены дорогие узорчатые ковры. На коврах стояли невысокие деревянные подставки для сидения в форме степного кипчакского седла. Каждое сиденье отличалось своим неповторимым орнаментом. Одно было вырублено из джиды, что растет в тугаях Инжу; другое — из белой березы, растущей в безбрежных степях Кулунды; третье — из твердого карагача предгорьев Каратау. Кто не желал сидеть на деревянных подставках, мог расположиться на мягких подстилках, постеленных между

ними. В глубине зала возвышался трон Кадырхана. Он тоже был деревянный, но отделан золотом и серебром, отполирован до змеиного блеска. И тоже напоминал седло, недавно снятое с горячей спины боевого коня. Главный, из слоновой кости, трон находился в Гумбез Сарае.

Это созвездие дворцов было остовом могущественного степного государственного образования, которое чаще всего именовали по названию самой степи — Дешт-и-Кипчак. Здесь решалась его судьба, читалась Книга судеб, натягивалась тетива новых походов, заключались договоры с соседними странами в знак дружбы и мира. Здесь же сосредоточивались связи с разноплеменными жителями степи, издревле обитавшими на побережьях Инжу, в предгорьях Каратау, Улытау и Алатау, на бескрайнем плато Устюрт, в бесчисленных пограничных городах, кишлаках и аулах. Все эти степные племена тоже называли единым словом — кипчаки.

Пышный Салтанат Сарай был готов к приему послов и купцов. Подставки расставлены, ковры расстелены. Иланчик Кадырхан хлопнул в ладоши, подозвал стоявшую у порога юную служанку. Послышалось легкое шелковое дуновение от ее полупрозрачного платья. Хисамеддину служанка показалась необыкновенно красивой. Пылкий юноша был сразу ослеплен. В длинных изогнутых ресницах, прикрывавших бездонные черные глаза, в пухлых розовых, чуть вздрагивающих губах, в тонком овале смуглого лица почудилось поэту что-то притягательное, колдовское.

От мимолетного взгляда красавицы кипчачки его вдруг бросило в жар, сладко сжалось сердце, необъяснимое волнение почувствовал он.

Иланчик Кадырхан мгновенно заметил это, однако проявил прирожденную невозмутимость. Непонятно было, то ли одобрял, то ли осуждал он юношу. Служанка стянула с плеч Кадырхана тяжелый шелковый чапан и стала облачать его в просторный длинный, расшитый золотыми узорами и украшенный драгоценными камнями халат без подкладки, который, по обычаю того времени, был знаком безграничной власти. Правитель, привыкший к седлу, чувствовал себя в нем неловко, неуютно. Он предпочитал удобную, простую походную одежду. Однако перед иноземными гостями следовало предстать

во всем блеске. Такова была традиция, и отступать от нее не решался даже сам всемогущий наместник.

Усевшись на трон, правитель послал за прославленным ученым, непревзойденным знатоком языков Исмаилом [1]. Исмаил служил в Главном книгохранилище переписчиком книг, писал летопись. Во время приемов иноземных гостей он неизменно сидел во дворце по правую руку Кадырхана. Исмаил умело переводил со множества языков и наречий земли на кипчакский язык, так что без него было не обойтись.

И на этот раз Исмаил не заставил себя ждать, вошел энергичной, легкой походкой, поддерживая подол длинного халата, поклонился хану, опустился рядом с троном. Хисамеддин, как и подобает младшему по возрасту, легко вскочил и протянул ученому обе руки. И опять благоговейный восторг испытал юноша поэт, видя перед собой всезнающего мудреца. Краем чалмы Исмаил протер покрасневшие усталые глаза. Долгие годы изо дня в день сидел он за рукописями и трактатами в подвалах книгохранилища, оброс густой черной бородой и казался старым, хотя и было ему едва за тридцать...

Пройдут века. Многое бесследно исчезнет в пучине времени. Но имя этого бледнолицего гулама останется в памяти потомков. А пока еще никто не знал, какую яркую книгу он создает, достойную славы и памяти его тезки и родича. Никто из сидящих в Салтанат Сарае не предполагал, что со временем славе его станет тесно в высоких стенах Отрара...

Кадырхан поудобнее уселся на просторном деревянном троне, посмотрел в сторону. Хисамеддин сидел на коленях, старательно выпрямив спину, всей позой выказывая уважение к старшим. Воцарилась тишина.

Все было готово для приема послов и гостей. Оглядев еще раз всех пристальным взглядом, правитель опустил широкие ладони на колени. Служанка мигом уловила этот знак, послушно вышла, выскользнула, чтобы передать приглашение во дворец для прибывших со всех сторон света почтенных гостей.

---

[1] Исмаил Младший — родственник знаменитого кипчакского ученого Исмаила аль-Жаухари, автора «Книги усовершенствования языка».

3

И вновь неслышно растворилась фигурная чугунная дверь, и из-за нее показался маленький сухой старичок с тюбетейкой на голове. Это был тот самый ученый визирь, который встретился правителю и поэту на лестнице. Непомерно огромную чалму он снял в знак временных перемен в его службе. Визирь засеменил, дошел до середины зала, слегка поклонился и надтреснутым старческим голосом объявил:

— Посол урусов Добромир Грязной из Новогорода желает предстать перед солнцеликим владыкой!

Иланчик Кадырхан чуть скривил губы, удивленно посмотрел на визиря. Вот уж поистине много чудес на белом свете! Каких только имен и кличек не бывает!

— Как ты сказал? Повтори!

— Добромир Грязной из города урусов Новгорода, мой повелитель.

— Добромир из племени урусов, обитающих в северных озерах и топях...— пояснил по-своему Исмаил.

Теперь повелитель понял. Однако он насторожился, когда вошел и поклонился ему голубоглазый остроносый тонкогубый рыжеватый юноша с худым и нежным лицом. Но все шло по правилам. Посол обменялся с ханом принятыми словами вежливости. Повелитель уставился на посла в упор, но тот стойко выдержал взгляд. И снова удивился Кадырхан: так обычно смотрят капризные, уверенные в себе красавицы. Да и голос у посла чистый, высокий, похожий на звон серебряных монет, когда их пересыпаешь с ладони на ладонь. Исмаил стал переводить его слова, и вдруг голубоглазый посол посадника-уруса заговорил на чистейшем кипчакском наречии. Правитель и переводчик растерянно переглянулись. Оказывается, посол произносил на своем языке только приветственную речь, а о деле предпочел говорить по-кипчакски. Ничуть не смутившись, Добромир Грязной все говорил и говорил. Увлекшись, снял соболью шапку, положил себе на колени, и тут все увидели, что у посла урусов длинные волосы, заплетенные в косы. Кадырхан передернулся, будто холодный сквозняк продул его насквозь.

— О грозный владыка безбрежных степей! Я не нуждаюсь в толмаче. С малых лет рос среди булгар и выучился речению кипчакскому. Я посол сына новгород-

ского посадника Довмонта-Никона Темного. Посадник Довмонт самолично снарядил меня в путь и приказал: «Поговори с высоким ханом, что властвует над степью, ознакомься с народом. Можно ли будет нашим торговым людям ездить сюда?» Меня сопровождают два служителя от нашей веры.

— Добро пожаловать! Для тех, кто честен душой и добр сердцем, у нас всегда открыты ворота. Передай своему господину посаднику Дауы-молу [1],— сказал Иланчик Кадырхан.— Мы не желаем ни смуты, ни вражды. Да продлятся мир и благодать на земле!

Мысли правителя были, однако, совсем о другом. «Почему у посла косы? Может быть, это баба, переодетая мужчиной? И лицо нежное, тонкое, и взгляд жадный, так и лезет в душу иноверец...» Правитель вздохнул, помянул про себя всевышнего.

— Вот грамота посадника Довмонта!

Посол Добромир вытащил из-за пазухи свиток, дотронулся до него губами, сделал поклон и, развернув желтоватую бумагу с крупными непонятными буквами, начал громко читать:

— Посадник земли Новгородской Довмонт передает Иланчику-посаднику в дар берблуда...

Кадырхан понял так: владыка живущих на севере урусов отправил своего посла к хану кипчаков с благим намерением. В знак дружеского расположения посылает дар — верблюда. Хочет жить в мире и дружбе, как подобает добрым соседям.

Что ж, да будет так. Только... проделал посол многомесячный путь, а пригнал одного верблюда. Как это понять? У кипчаков этому добру числа нет. Сколько верблюдов одичало у них из-за того, что присматривать за ними некому. Неужто у урусов ничего другого не нашлось? А может, Дауы-молу — посаднику задиристому хотелось над ним посмеяться? Странно, странно... Кадырхан уставился в одну точку, размышляя. Глубокие морщины изрезали его лоб, однако он старался не подавать виду, что чем-то озадачен.

Посол отчего-то вдруг заерзал: то ли не по себе ему стало под тяжелым взглядом правителя, то ли остался недоволен собой — кто знает. Он сделал жест, означаю-

[1] Непривычное для кипчакского слуха имя Довмонт Кадырхан переиначил на свой лад — Дауы-мол, что по смыслу означает Задиристый.

щий: «Я сказал все», легко поднялся, собираясь покинуть дворец. Перевязав грамоту шелковым шнурком, он протянул ее почтительно хану, коса при этом движении упала на грудь. Правитель взял грамоту, прислонил к трону — знак согласия и мира. Потом, хлопнув в ладони, подозвал к себе старика визиря.

— Посаднику Дауы-молу и Добромиру, рожденному в озерах и топях, подари косяк отборных коней, а в знак нашего благоволения дай заговоренную саблю с надписью из Корана. Еще пошли ему провожатого до города Сыганак. Пусть вернется на родину довольный и облагодетельствованный.— Подумав немного, правитель добавил: — А верблюда, дар урусов, передай дворцовому верблюжатнику. Пусть войдет в тело...

Все понявший Добромир вспыхнул от благодарности, лицом просиял. Легко согнувшись в поклоне и плавно поведя рукой, он вышел. За ним, пятясь, потянулись епископы.

«Видит аллах, посол этот — баба,— уже с уверенностью подумал Кадырхан.— Что нужно от меня посаднику урусов, что посылает женщину? Что он затевает?» В душе правителя точно волки завыли. Он вообще не любил принимать послов и сейчас мрачно насупился, усы встопорщились. В это мгновение он ненавидел всех этих изысканных, лукавых говорунов, бездушных, лживых и коварных, которые бездомными бродягами мотаются по белому свету, выполняя приказы и осуществляя замыслы своих властителей. Он презирал их наигранную улыбку, скользкий взгляд. Получив подачку, они обычно жадно заглядывают в глаза. Чудилось ему, что все эти люди сплошь соглядатаи, предатели и шпионы...

По приказу старика визиря впустили посла страны уйгуров, прибывшего за куном — платой за убийство. У порога встал огромный, с юрту, чернолицый детина. Даже не поклонился, а только приложил руку к груди. Он казался прокопченным насквозь: и лицо, и глаза отливали черным недобрым блеском. Густым басом пророкотал посол положенное приветствие. Что-то недоброе, вызывающее почудилось в его голосе. Кадырхан все еще находился под впечатлением от встречи с непонятным послом урусов и насупился:

— Добро пожаловать!

— Да благословит вас аллах!

И сразу загудел посол на весь огромный дворец:

— Билгиш Туюк-ок — мое имя. Я верой и правдой служу султану Бауршику, потомку Туйе-палвана. Для врагов его я — меч карающий, для друзей — жаркое объятие. Можно отсечь голову, но вырвать язык истины нельзя. Уйгуры и кипчаки испокон веков живут бок о бок, в мире и согласии, как две струны одной домбры, как два лезвия меча. Такова воля всемогущего. И если мы хотим, чтобы мир и лад между нами продолжались и впредь, нужно, чтобы сердца наши были открыты, а неприязнь и ненависть не омрачали наши души. Будем же откровенны и честны друг перед другом!

Выпалив все это одним духом, Билгиш Туюк-ок шумно перевел дыхание и исподлобья, точно бодливый бык, уставился на грозного повелителя.

Иланчик Кадырхан стал мрачен, как грозовая туча. Он весь напрягся, точно беркут, готовый камнем ринуться на матерого волка. А посол продолжал:

— В те далекие времена твой предок по имени Тоган в поединке нечестно убил предка моего повелителя султана Бауршика — славного батыра Туйе-палвана. Пока Бауршик еще не очутился в объятиях черной земли, он не может забыть унижение родовой чести. И я приехал за куном — мздой за убийство. Чтобы достойно помянуть дух нашего предка, ты должен дать на поминки один ок кобылиц-трехлеток, а нашим храбрым джигитам на забаву и утешение — сорок одну девушку. Такова наша цена, и так только погаснет ненависть и заглохнет обида в сердцах наших.

Билгиш Туюк-ок насупился, нахохлился, разом высказав и привет, и ответ, и прошение, и решение. Лицо его стало жестким, непроницаемым, словно обтянутое сыромятной кожей. Ясно было всем, что не для мира посылают таких людей, про которых говорят: пырни ножом — и капли крови не выступит.

Кадырхан заворочался грузным телом так, что заскрипел трон, устремил пронзительный взгляд на посла. Тот сразу отпрянул, будто сорока, на которую навели лук.

— Уж если ты решился на вражду, то говори хоть честно, Билгиш Туюк-ок. Мой славный предок Тоган не исподтишка убил Туйе-палвана, а сразил его в батырском поединке. Сам ты это подтвердил. А в таком слу-

чае, как известно, мести не бывает и кун не взимается.

Билгиш Туюк-ок не нашелся, что ответить на эти прямые слова, и, видимо, не знал, что делать дальше. Набрав полную грудь воздуха, он выпалил:

— Мне велено не признавать между нами перемирие. Или кун, или кровь — выбирайте!

— Коли так, докажи свою правоту и выбирай затем сам!

— Твое поведение беду накличет...

— А может быть, твой хозяин желает утолить месть в новом поединке? У Тогана есть среди нас потомок — Ошакбай-батыр. Пусть Бауршик померится с ним силой и отвагой. Победит — воля аллаха. Мы за гибель взыскивать кун не будем!

— Твое поведение беду накличет!

— Ты что, безумец?! Священным духом предка торгуешь? Как презренный торгаш выгоду ищешь?! От такого унижения тленные кости твоего предка пеплом развеются?! Зачем поганишь имя своего смелого пращура?

— Тоган обманом, исподтишка вспорол ему живот. Слова очевидца, столетнего старика, звучат в моих ушах. Да и нож, обагренный кровью, при мне!

Туюк-ок пошарил за пазухой. Видно, заведомой наглостью хотел вывести из себя повелителя кипчаков. Это было откровенное оскорбление. Кадырхан закрыл глаза и увидел, как хватает собственноручно посла за шиворот, приподнимает, как треух — тымак, и вышвыривает за чугунные ворота Салтанат Сарая... Не-ет... Он только хотел так сделать и даже вообразил, как это делает, но на самом деле сдержал себя. Не приличествует хану, как неразумному юнцу, поддаваться необузданному гневу.

— Есть старая книга, в которой правдиво описан поединок наших предков,— спокойно сказал Кадырхан.

— Какая еще книга? — насторожился Билгиш Туюк-ок.

Хисамеддин по знаку правителя развернул белый холст, достал огромную кожаную книгу, подал изумленному послу. Ни одной буквы не различавший Билгиш Туюк-ок опасливо подержал книгу, погладил обложку, полистал и положил, не зная, что делать. Потом снова взял, почему-то понюхал и опустил на правое колено. Правой ручищей он полез за пазуху, вытащил маленький, продолговатый сверток, медленно развернул, из-

влек крохотный — точно игрушечный — кинжал. На кончике лезвия темнело пятно забуревшей крови. Посол вложил кинжал в книгу и дрожащими руками возвратил ее Хисамеддину. Это означало: ты дал эту книгу, я возвращаю ее с ножом. Мира нет и быть не может, отныне мы — враги. По обычаю, книгу полагалось отдать правителю, однако посол, по-видимому, испугался ханской ярости.

Говорить было больше не о чем.

Кадырхан положил руку на колено:

— В следующий раз пусть пришлют мужа достойного и разумного. Такого, чтобы речам внимал и в суть дела вникал.

Билгиш Туюк-ок ответил:

— Жди возмездия. Бауршик обиды не стерпит. Он примкнет к великому владыке Востока, сила которого тебе неизвестна. Там, за горами, находится он. Твой Отрар с лица земли будет сметен. Вот тогда и ответишь за все, валяясь в пыли под копытами коней!..

Так недалекий Билгиш Туюк-ок разом раскрыл свое первоначальное намерение. Сюда уже доходили слухи о приготовлениях к походу в далекой земле кагана. Значит, союзников уже ищет себе владыка монголов.

Грузно поднялся Туюк-ок, двинулся к выходу. Глядя ему вслед, Кадырхан думал: «Отчего же правитель уйгуров раньше не востребовал мзду за убийство? Все помалкивал, а теперь вдруг вспомнил. Значит, поддержку почувствовал, опору. И сразу же к подлости прибег, про мзду вспомнил».

От этих дум становилось тревожно.

Неслышной тенью возник старик визирь. Склонившись, сообщил еще одну худую весть:

— Облаченный в шкуру медведя посол из студеной страны Сабр ушел вслед за разъяренным Билгишем Туюк-ок. И не просто ушел, а вместо речей и прошений своих толстую камчу, из тридцати ремешков сплетенную, оставил...

«Какая досада! Значит, и этот из себя обиженного корчит, открыто к врагам переметнулся. К правителю уйгуров подлаживается, на ссору напрашивается. Страна Сабр и ее правитель послали с доброй волей и благостной целью заключить мир и дружбу с нами, а этот глупец ушел, поддавшись примеру первого встречного. Да падет на него самого божий гнев!»

Кадырхан вновь положил ладони на колени.

В Салтанат Сарай, толкаясь и шурша одеждами, вошли купцы и путешественники, проделавшие от Хазарии семидесятидневный изнурительный путь. Среди них были люди и из самой Хазарии, из страны урусов Кыйева, с берегов западного моря. Кадырхан видел: это люди все бывалые, их взоры не мог насытить ни простор степей, ни блеск золота. Вошли, встали степенно, с достоинством; как принято, низко поклонились. Потом застыли, скрестив руки на груди. Лица их были утомлены и черны от дорожного загара и усталости. Необъятная кипчакская степь, начинающаяся у далекого Итиля, вымотала их в пути. Рослые, сильные, они заметно исхудали телом.

— Поклон падишаху великой степи!

— Проходите, уважаемые гости!

Отрар, которым правил Иланчик Кадырхан, считался городом на окраине мусульманского мира и по старому правилу подчинялся полуразвалившемуся халифату. Сам правитель города состоял как бы наместником утверждаемых халифами хорезм-шахов в этой стране. Но таковы были значение и сила страны Дешт-и-Кипчак, откуда черпали великие хорезм-шахи основные свои воинские силы, что главный город степи Отрар давно уже представлял самостоятельное государственное образование. Об этом знали гости и почтительно именовали правителя города падишахом. Они расселись полукругом, и тогда хан ясно разглядел, что большинство из них — пожилые, многое повидавшие на свете купцы. Только один был еще очень молод. Он сидел ближе к выходу и восхищенно поблескивал глазами, не в силах скрыть, что подобное великолепие он видит впервые. Наклонившись, юноша принялся разглядывать диковинную мозаику на полу, яркие, радующие взор плитки в форме полумесяца. Рыжеватый старик строго глянул на него, осуждая любопытство и неуместный восторг. Это было правильно. Неприлично на чужбине на каждом шагу выказывать удивление и по всякому поводу цокать языком.

Иланчик Кадырхан медленно обвел гостей взглядом и обратился к старому караван-баши, чем-то явно встревоженному. Повелитель пожелал знать, кто они, люди добрые, из какой страны, откуда родом. Исмаил собрался было заговорить на древнем языке румийцев, но, не

находя сходства между гостями и потомками славного Аристотеля, немного подумал и заговорил по-славянски. Лица купцов сразу потеплели. Вопрос хана был им понятен.

Старшина каравана начал речь:

— Великий владыка! Тебя приветствуют честные купцы князя Мстислава Романовича Киевского, потомка Мономаховичей, благодетеля Киевского государства, а с нами также купцы известного тебе хана Котяна. При нас имеются грамоты, подтверждающие мои слова. Для торговли везем серебро — гривнами и слитками.

— Каков ваш товар?

Исмаил перевел. Купцы хана Котяна хоть и не совсем так, как в здешних краях, но говорили по-кипчакски.

— Золото и серебро, как я уже сказал, прочие драгоценности. А главное — меха. Шкурки соболя и куницы. Есть также изделия из рыбьих костей, медовые вина и людишки разного ремесла, тридцать душ,— перечислил рыжеватый караван-баши.

— Куда путь держите?

— На восход. Хотели бы проехать в китайские земли, где делают шелк.

Кадырхан сдвинул брови, крепко зажал пятерней свою бороду.

Караван-баши прикусил губу, но заговорил вновь:

— Если на то будет твоя воля, желаем взять у тебя надежного проводника и продолжить путь...

Кадырхан помрачнел еще больше, сузил глаза, задумался. Купцы, должно быть, по-своему расценили такое поведение правителя Отрара.

— Для вас мы приготовили особый дар!

Гости переглянулись, о чем-то негромко переговорили между собой. Исмаил перевел и ждал теперь, что скажет повелитель.

— Восточному кагану, который между нами и страной китайцев, сейчас не купеческие караваны нужны, а войско... Да, да!.. Не будет вам удачи!

— Любезный хан! Не все мы торговцы. Среди нас есть люди путешествующие, которые хотят увидеть мир, чужие, далекие страны.

Кадырхан досадливо поморщился, вздохнул. Не хотелось ему говорить о том, чего не в состоянии были понять эти чужие люди. Что они знают об отношениях

между государством уйгуров, страной Дешт-и-Кипчак и Хорезмом? Все запутано, как узор паутины, и вдаваться в подробности нет смысла. Поэтому он ответил коротко и определенно:

— Ценные вещи раскупят на базарах Отрара. Восточному кагану они совершенно ни к чему: свое есть у него и от китайцев привозит. Остальной товар продадите в городах Испиджаб и Тараз.

Он снова вздохнул, задумчиво погладил бороду. Правитель давал возможность гостям все обстоятельно обдумать и поговорить между собой.

Рыжий караван-баши что-то говорил в бороду. Так же глухо отвечали ему спутники. Понимающий их Исмаил прислушался. «Как же так? Выходит, Шелковый путь закрыт?», «Э, близок, значит, конец света», «Свернуть с намеченной дороги — безумие!», «Конечно, мы не можем повернуть караван на полпути. Слово купца — крепкое!» Особенно бурно, горячо возражал юноша, сидевший ближе к выходу. Некоторые, однако, заколебались. Может быть, действительно убраться подобру-поздорову, пока еще голова на плечах. Других же покинуло благоразумие, им мерещилось золото в чужих краях, и они были полны решимости продолжить путь любой ценой.

Спор их прервал Иланчик Кадырхан:

— Дешт-и-Кипчаку, народу Отрара нужен мир. Но если — вопреки нашей воле — начнется кровопролитие, мы не сможем обеспечить вам безопасность. Для вас Шелковая дорога закрыта. Но коли вы упрямо настаиваете на своем, то позволю вам продвигаться только по Ханской дороге, через перевалы горы Беркут. Кружной путь это будет, но зато верный...

Совсем приуныли от этих слов честные купцы Мстислава Романовича и хана Котяна. Им стало ясно, что и без того долгий путь теперь удлинится вдвое. Именем бога умоляли они правителя Отрара пропустить их прямо на восток по Шелковой дороге. Пусть, говорили купцы, по Ханской дороге едут сами ханы и бесстрашные батыры. Им-то сподручней старая дорога. А за благосклонность купцы готовы преподнести драгоценные дары. Они намекнули, что везут с собой девушку из Рума, невинную, с тонким станом и глазами серны. Слов не жалели, восхваляя ее. Но Иланчик Кадырхан не стал отменять своего решения. Ради корысти неугомонных,

вечно странствующих купцов неразумно было рисковать тишиной и покоем родной степи. Не захотел он принять в дар и девушку из Рума. Назревала война. Подумалось и о тех сведениях, которые могут просочиться во вражий стан вместе с бесчисленными караванами, которые текут по степи, точно четки в руках правоверного. Отныне он всем будет отказывать — и прибывшим сюда из Хазарии, из Рума, из самого Багдада и стран Магриба.

— Разрешаю вволю торговать в Отраре и других городах. Готов внимательно выслушать все ваши нарекания, пожелания и здравые речения. Пусть все ценные книги, если есть они у вас, останутся в Отраре. Так у нас принято, а мы полностью оплатим их стоимость и провоз. В провожатые по городу даю вам ученика-гулама Хисамеддина.

И в знак того, что прием закончен, Иланчик Кадырхан повернулся к сидевшему по левую руку Хисамеддину, кивнул головой, распорядился:

— Проводи гостей и выкупи у них все стоящие книги.

Об этом как раз и думал сейчас любознательный поэт. Глаза его радостно вспыхнули. Он живо вскочил. За ним нехотя поднялись и гости, пошли цепочкой к выходу. Опытные, много повидавшие на своем веку купцы в общем-то остались довольны приемом у отрарского повелителя. Но молодые путешественники были явно разочарованы. Особенно возмущался тонколицый юноша: «И чего поскупился кипчакский хан? Что он терял, пустив нас по Шелковому пути? Придумал — Ханская дорога! Небось там тоже не все благополучно. Зачем нам пустынная дорога, без караванов, без базаров?! Не так, как надо в добром государстве, все здесь делается!»

4

— Уай, ассалаумагалейку-у-ум!..

Вытянув длинную шею, еще с порога дворца протяжно закричал поджарый и черный, как точильный брусок, проныра джигит и рысцой направился прямо к трону.

«Это еще кто такой?!» Кадырхан поморщился и невольно (какой же все-таки наглец!) подал гостю руку. Тот долго и подобострастно тряс ее, никак не выпуская из своих потных ладоней. «Боже милостивый! Первый

раз встречаю посла, который лебезит, словно напаскудившая сука, и за руку здоровается с ханом! Должно быть, изрядный негодяй... Ба! Срам-то какой! Теперь на Исмаила накинулся, будто с приятелем в винной лавке встретился. Ну и денек сегодня выпал!» Кадырхан от удивления даже схватился за бороду и подобрал полы чапана. Между тем чернолицый, удобно скрестив ноги, устроился напротив (слава аллаху, что хоть на трон еще не полез!) и затараторил по-кипчакски. В языке этом он, видно, чувствовал себя как рыба в воде:

— В добром ли здравии ваш скот и семья, старина?!

«Хорош тон, будто с соседом за дастарханом беседует»,— подумал Кадырхан, но сдержанно ответил:

— Слава аллаху...

— Как здоровье ваших деток, почтенный?

«Разговаривает, как игривый зять с тещей».

Кадырхан на этот раз промолчал, но посла это ничуть не смутило.

— О аллах всемогущий! Сколько воды утекло с тех пор, как я видел Отрар в последний раз! Стены крепости стали выше, каменных домов больше. Улицы — длинней и шире. А какая отделка — глаза разбегаются! Что за дивные мастера строили эти молельни, мечети и жилые дома! Бессмертные творения воздвигли их золотые руки! Неужели и они сгниют в черной земле, как простые смертные, ай-вай-вай?! А сколько сарбазов-воинов с голубыми копьями в руках. А сколько юных дев с тугими ляжками, как у молодых волчиц! Пах-пах!..

Он бы еще не скоро остановился, если бы Кадырхан не дал понять, что ему неприятно пустое славословие. Правитель попросил перейти к делу.

— Зовут меня Уйсуном. Родом я кайсак-кипчак и верный нукер грозного восточного кагана — Чингисхана. Но перед всеми народами восхваляю я величие и могущество кипчакских племен. По-простому, по-родственному приехал вас проведать и узнать про ваше житье-бытье. И привез вам две просьбы — два условия всесильного кагана. Первое: каган собирается в поход против северного народа сабр. Для осуществления своего священного желания каган настаивает, чтобы вы приказали кипчакам на Иртыше и в предгорьях Улытау не седлать боевых коней в помощь соседнему Сабру. В награду вы получите большой золотой слиток в форме копыта, что является высшей формой благоволения вели-

кого кагана. Второе: вы вновь откроете Шелковую дорогу и свободно пропустите по ней торговые караваны. За такую милость вам подарят шесть невинных красавиц тангуток.

Кадырхан уставился на носок своего сафьянового сапога. Тоскливые думы охватили его. Он с жалостью подумал о сабырцах, чьи степи будут скоро обагрены кровью, а мужчины привязаны к хвостам приземистых монгольских лошадей. Он предвидел те дни, когда боевые копья в клочья изорвут войлок юрт, стрелы затмят солнце, мужчины будут поголовно истреблены, а женщины станут утехой дикой кагановой орды. Давно уже назревала эта беда, и разве не признак ее — поведение некоторых послов. Живо представив все это, он подумал о том, каким образом можно предотвратить беду. Где тот хан, с которым должно было сговориться, объединиться и вместе выступить против монголов? Где тот посол, с которым в знак верности и дружбы можно б было обняться грудь в грудь?.. Где найдешь того слепого безумца, посла из страны Сабр, только что последовавшего на поводу самодура Билгиша Туюк-ок? Пока он, Кадырхан, пошлет в страну Сабр, за тридевять земель, своего порученца для переговоров, может, над самим Отраром нависнет смертельная опасность. Так что же сказать сейчас этому словоблуду? Как поумнее ответить?

Пока что одно приходило на ум: в ближайшее время в столице Хорезма Ургенче соберется государственный совет — Дуан-арз, там можно поговорить с хорезмским шахом Мухаммедом, склонить его на свою сторону и дать отпор надвигающимся монгольским ордам. Как-никак, а единой страной считаются Отрар с Хорезмом...

Глубоко, тяжко задумался Кадырхан. Даже в горле пересохло от дум, и он приказал подать холодное вино. Девушка с гибким станом, виляя бедрами, внесла кувшин. Тонкими духами и мятой запахло во дворце. Пенистое вино разлили по глиняным кувшинчикам, поставили перед мужчинами. Бодрящий и веселящий напиток этот делали сунаки, обитавшие на побережьях Инжу, из винограда и арбузного сока. Вино получалось легкое, мягкое, с кислинкой и приятным ароматом, освежающее и утоляющее жажду.

— Уай, убери! Брюхо вспучит от такого питья...— чуть ли не взвыл монгольский посол, даже из приличия

не дотронувшийся до кувшина.— Мне бы лучше сырого кобыльего молока!

Девушка-кипчачка принесла молоко; он жадно накинулся и — буль-буль-буль — одним махом опрокинул полную чашу себе в нутро. В глазах его тут же появился довольный блеск.

Между тем и Кадырхан утолил жажду.

— Не нуждаюсь ни в золотом слитке, ни в шести юных тангутках,— сказал он послу как можно спокойней.— На условия кагана отвечаю условием, на клятву — клятвой. Вот они. Первое: пусть поклянется, что не пойдет войной против нашего народа кипчаков, и пусть определит заложника в случае клятвопреступления. Второе: Шелковый путь для караванов с тайными сыщиками и недругами, что за пазухой нож держат,— закрыт, а для купцов, занимающихся только честной торговлей, пусть будет открыт. Приемлемы для кагана эти условия — дадим клятву и закрепим ее объятием грудь в грудь. А нарушит он слово — я лично перережу глотку заложнику!..

Да, в отношениях между странами и ханами издавна существовал такой обычай. Придя к какому-либо согласию, давали друг другу торжественную клятву. В знак ее нерушимости обменивались заложниками. При этом заложником мог быть только близкий родственник хана. И если одна из сторон нарушала заветное слово, преступала клятву, противная сторона заложника казнила. На этот древний ханский обычай и ссылался Кадырхан, желавший сейчас мира.

Во дворце воцарилась глухая, недобрая тишина. Слышно было, как в животе посла Уйсуна заурчало. Посол монголов поерзал, уставился в пол, обдумывая достойный ответ:

— Ну что ж, все по правилам. На том решим.

— Клятву на клятву! — повторил Кадырхан.— В знак согласия коснитесь с визирем друг друга. Чтобы все видели.

С правой стороны трона поднялся Исмаил, подошел к послу, и они обнялись грудь в грудь. Потом оба снова уселись на свои места.

— А теперь назови заложника! — сказал Кадырхан.

— Это решит сам грозный каган,— ответил посол Уйсун.— Мне поручено лишь договориться... что Кадырхан прикажет своим сородичам-степнякам, чтобы они

не выступали против монголов, когда те пойдут походом на страну Сабр. Этой ценой правитель Отрара обеспечивает временный мир своему народу. Чингисхан даст обязательство не пускать стрел в сторону Отрара, а Кадырхан откроет Шелковый путь исключительно для честных торговцев. Каган же даст свое ханское слово не засылать в караваны соглядатаев и прочих лихих людей, могущих повредить установленному миру.

Никто в Отраре тогда еще не знал, что пройдет некоторое время, и это клятвенное решение лопнет по швам, сшитое гнилыми нитками, а родичи, обнявшиеся грудь в грудь, станут заклятыми врагами и будут посылать друг в друга стрелы. Никто еще не знал и не думал об этом... Монгольский посол из кипчаков поднялся, чинно простился с правителем Отрара, в последний раз отвесил поклон и широкими шагами вышел из дворца.

...В Салтанат Сарае еще долго продолжалась утомительная, нудная беседа с другими гостями и послами. Иланчик Кадырхан и знаменитый ученый и визирь Исмаил Жаухари оставались сидеть на своих местах. Не все дела были уже решены и не все важные посетители приняты. Девушка-служанка подала прохладный кумыс. Сидящие промочили горло, утолили жажду. Опять привычно распахнулась чугунная дверь, и старик визирь объявил:

— Наставник и пестун сына великого падишаха Хорезмского велаята Мухамеджана, племянник и хитроумный посол-ляшкер, ученый гулам Шихаб ад-дин Мухамед Несеви Ахмед из города Ургенча просит разрешения войти во дворец с поклоном к тебе, мой повелитель!

На одном дыхании проговорил это визирь и поклонился так, что круглая шапочка — такия едва не слетела с его плешивой головы. Значит, гость польстил ему, и старик остался им весьма доволен. Иланчик Кадырхан соединил ладони: «Разрешаю». В который раз бесшумно растворилась дверь, и в проеме ее показался рослый человек в громадной чалме, в длинном — до пола — чапане. Он был пригож лицом, подтянут, темные глаза горели, точно угли саксаула. Цепким взглядом мгновенно обшарив зал, он по-восточному приложил руки к груди:

— Уа, Иланчик Кадырхан, могучий властелин кипчаков! Да будет твое копье ключом от вселенной, да

сторожат мир и покой державы ворота твоего дворца, да окажется рок у ног твоих, а судьба — на тороке!

Сказав это, он застыл в почтительном поклоне.

— Добро пожаловать, дорогой племянник!

Кадырхан показал гостю место справа от себя. Он не посадил посланника хорезмшаха, бывшего наполовину кипчаком, на деревянные подставки, на которых сидели другие послы и порученцы, а рядом, ближе к себе, выказывая тем самым желанному земляку особый почет. Не стал также правитель сразу расспрашивать о деле, позволил послу отдышаться, собраться с мыслями. А пока что потребовал сладкое вино, сушеную дыню и, потчуя гостя, первым сам отведал всего с большого золоченого блюда.

Теперь во дворце были слышны лишь шорохи от шагов прислуживающих девушек, звон пиал и лязг ножей по блюду.

Под самый потолок струились запахи терпкого кумыса, душистой сочной дыни, и это веселило сердце. К путнику, уставшему с дороги, возвращалась бодрость.

Только теперь, когда поели по-родственному, Кадырхан счел возможным спросить о деле.

Ахмед заговорил легко, свободно, точно длинную киссу сказывал:

— Я готов ответить на твой вопрос, несокрушимая опора кипчаков.— Ляшкер плавно развел руки.— Давным-давно, лет тысячу, должно быть, тому назад, река Инжу имела иное русло. Оно проходило по исконным владениям Хорезма. Река была собственностью хорезмского владыки. Он строил каналы, запруды, выращивал на побережье все плоды земли. А в Отраре жил тогда дехканин по имени Шамиль. Такого хитреца и пройдохи, рассказывают, свет не видывал. И вот этот Шамиль обратился однажды к беку с просьбой: «Дай мне один рукав воды». Умолял, уговаривал, на судьбу жаловался. А предок наш, бек хорезмский, оказался уступчивым, добрым и внял мольбе дехканина. На том месте, где можно было от Инжу отвести рукав, тянулся холм длиною с конский пробег, а за холмом была низина. Бек не знал этого. Шамиль привел своих бесчисленных сородичей-сунаков. Месяц копали. Год копали. Наконец прокопали холм. Ну, вода и хлынула из реки в низину, обрушилась в овраг. Тогда только бек понял, что опростоволосился, и от досады по ляжкам себя хлопал,

пальцы едва не отгрыз. Сколько бы он ни старался, а удержать воду, перекрыть течение уже не мог. Через полтора десятка лет река проложила новое русло. Она покинула исконные хорезмские земли, перешла на сторону Отрара. А на месте прежнего русла образовались топи, болота и солончаки. Болотистый овраг, заросший по краям камышом,— вот бывшее русло Инжу.

— Все это давно известно,— заметил старик визирь.

— Таким образом, оказывается, что река Инжу была искони владением хорезмского хана. Значит, и воды ее принадлежат ему! — заключил хитроумный племянник и посол-ляшкер.

— Реки первым долгом принадлежат всевышнему, а потом уж тому народу, на земле которого они протекают,— возразил визирь, чувствуя, куда клонит верткий посол.

Тот пропустил эти слова мимо ушей и продолжал как ни в чем не бывало:

— Теперь из этой Инжу пьют и поливают свои поля и сады, пользуются всеми ее благами город Отрар и еще сорок городов и поселений этой страны. Они процветают и вознеслись благодаря ей. Она стала кормилицей кипчакских городов. Я взял четки и сосчитал: цена воды на душу населения составляет один динар и три с половиной дирхема. Если предположим, что в каждом городе в среднем живет сорок ок людей — конечно, разных мелких дехкан, разбросанных, точно овечьи катышки, по степи и тугаям, мой хан-повелитель в счет не берет и налогом обкладывать не намерен, хотя они и пользуются самовольно его водой,— гм... гм... значит, сорок ок умножить на один динар и три с половиной дирхема, это будет... будет... сорок семь ок золотых динаров, или — по другому счету — семнадцать караванов зерна. Такая плата за жемчужную воду Инжу, которую вы вволю пьете круглый год, для вас, я думаю, сущий пустяк. Ежегодно выплачивая небольшой налог за воду, вы можете удостоиться благословения отцов ислама в священной Бухаре.

Казалось, мерзкая змея с шипением и угрожающим свистом выползала из благостного нутра посла. Кадыр-хан был не в силах больше слушать такое, и голос его прозвучал резко:

— Ты, торгаш, считающий каждую песчинку! Может,

еще и за ветер, дующий с твоей стороны, налог с нас взимать надумаешь?!

— Не говорите так. Если названные караваны предоставит нам отрарский наместник, то дополнительного налога за привоз требовать не будем. Но если подвоз осуществится за счет моего повелителя, то справедливо платить за каждый караван еще по тридцать динаров.

— Ничего более постыдного и придумать нельзя! Пока мы здесь будем перебирать четки, заниматься мелочным подсчетом и дрожать над каждым дирхемом, нагрянет час возмездия. Черная туча с востока идет на всех нас, и думал я, что об этом зайдет у нас речь.

— Не говорите так. Не все еще так плохо. Кто такие дикие монголы, чтобы сравниться с силой нашего шаха, мир над ним!

— Коли мы уж начали этот постыдный разговор, должен сказать: дехканин Шамиль сунул когда-то в глотку хорезмского бека немало золота, пока добился разрешения рыть канал!

Посол не смутился, будто заранее приготовился услышать эти резкие слова. Вновь и вновь упрямо поворачивал он разговор в нужное ему русло:

— Значит, за извоз по тринадцать динаров... семнадцать караванов... получится двести двадцать один золотой динар. Если сюда прибавим сорок семь ок динаров, то всего мы имеем сорок семь ок двести двадцать один золотой динар... Не горячитесь, справедливый хан! Наш владыка сказал: «В неурожайный год можно платить налог скотом...» Это ведь истинные добросердечие и заботы, как принято между родичами. Братская милость...

Кадырхан принял непроницаемо-холодный вид. «Нечего разводить тары-бары с этим мелочным человеком,— думал он.— Не делает хану чести низкий разговор». Нарост на его виске опять будто вздулся, налился кровью. Визирь Исмаил, поняв состояние своего господина, попросил разрешения потолковать с послом. Кадырхан молча опустил веки. Верные слуги своих повелителей тут же затеяли яростный спор. Кадырхан, не слушая их, погрузился в свои мысли. Он уставился на проем в середине купола, но взгляд его блуждал далеко. Он уже предчувствовал пучину, которая разверзнется перед ним. Неужели такова судьба Отрара? На таинственном ее лике пытался он разглядеть предначертания рока.

Что ждет его народ и его самого? Но ничего не увидел он. Мерещились ему одни бесконечные барханы, а на гребне песчаных волн — лишь щепки и осколки былого могущества. Эти видения навевали тоску.

Спор между Исмаилом и послом Ахмедом тем временем иссяк. Голоса их звучали все тише, глаза потухли.

— Сохранилась особая запись бека, в которой он признает, что получил золото за реку от Шамиля,— все повторял Исмаил.

— С тех пор море воды утекло. И мой господин не требует платы за прошлые годы. Он лишь с нынешнего года будет взимать налог.

— В сто восьмой суре Корана сказано: «Родник рая — дар господина возлюбленному рабу». Если каждый грешный начнет присваивать себе божью благодать, не кощунством ли это над священной книгой будет?!

Ляшкер опешил. Священная книга сбила его с толку. Однако опять забубнил упрямо:

— Налог не взыщем — спор не решим.

— Но нельзя взимать налог за родник Тэнгри,— настаивал Исмаил.— Вспомните Коран!

Тем самым старик подчеркнул, что много превосходит посла по уму и образованию. Пригодились изученные им священные книги. Просвещенному человеку нетрудно ошарашить невежду, и в этом сейчас убедился Исмаил.

Посланец хорезмшаха приуныл. Он ведь и вправду полагал с помощью сомнительной легенды приумножить казну своего господина. Теперь, когда нависла некая угроза с Востока, правителю Отрара не мешало бы быть поуступчивей. На это он и рассчитывал. Посол поднялся тяжело, со скрипом. Роскошный дворец, принявший его так радушно и приветливо, казался ему теперь волчьим логовом. Пристыженный и униженный, направился он к выходу, продолжая бормотать себе под нос: «Налог не взыщем — спор не решим». И все же уходил он не просто, и вид у него был угрожающий.

Хотя Отрар и был политически зависим от Хорезма, Иланчика Кадырхана сейчас угнетало и удручало то, что перед лицом надвигающейся опасности с Востока хорезмшах заботится не о единстве, а занимается сведением старых счетов.

Возвратился проводивший хорезмийского посла старик визирь. Глаза его потускнели, лицо осунулось, борода дрожала. Видно, его огорчало, что посол Хорезма, уходя, нарушил приличия. Он сам был из Хорезма, из племени ходжа — прямой потомок верных соратников пророка. И обида его была понятна: родственная кровь взыграла. Сказано ведь: вода течет в свой овраг, конь спешит в свой косяк...

Кадырхан грузно поднялся с трона. Ноги его затекли, бедра налились свинцовой тяжестью, в мыслях была путаница. Тревожно, невесело было на сердце от нудных и утомительных разговоров с капризными, лживыми, честолюбивыми и двуличными послами, порученцами, многими купцами и гостями из разных стран. Дурное расположение духа не покидало его. А тут еще этот монгольский поход на страну Сабр. Странное беспокойство — не от страха — от тоскливого предчувствия бросало его то в жар, то в холод. В своем огромном, многолюдном дворце он вдруг почувствовал себя одиноким и беспомощным.

В Гумбез Сарае, в тронном зале Дияр, наместник и правитель Отрара Иланчик Кадырхан один взвешивал на весах ума все свои вчерашние действия и решения. С утра он в нетерпении ждал кого-то. Из Испиджаба, родного города прославленного поэта, прорицателя и софы Ахмеда Яссауи; умершего сто пятнадцать лет назад, ждали порученца-посыльного. Время уже клонилось к вечеру. В тронном зале стало сумрачно, значит, солнце находилось уже ниже округлых окон, а порученец все не появлялся. Правитель в предчувствии чего-то недоброго не находил себе места. Перед его глазами вновь прошли вчерашние посетители: краснолицый старик — старшина купеческого каравана, Добромир из новгородских топей и озер, дурак и горлодер Билгиш Туюк-ок, непутевый посол из страны Сабр, над которой нависла угроза, монгольский посланник Уйсун, хитроумный ляшкер из Хорезма. С промелькнувшей на лице улыбкой вспомнил правитель юного поэта Хисамеддина, который теперь, должно быть, дописывает в книгохранилище свою книгу; вспомнил он и своего сладкоязычного, мудрого гулама-визиря Исмаила Жаухари...

Отворилась задняя дверь дворца, и вошел долговязый флегматичный векиль [1], родом из Индии. Остановился у порога, приложил правую руку к груди, отвесил поклон, безмолвно прося разрешения обратиться к повелителю. Со сдержанным достоинством и даже величием держался векиль. Кадырхан подал знак, и векиль выпрямился, оставив, однако, руку на груди.

— Из Испиджаба прибыл гонец.

— Вести худые или добрые?

— Добрые! Наместник Испиджаба готов беспрекословно выполнить ваше желание. Он велел передать: «К пиршеству все готово: воины отобраны, дастарханы расстелены, народ в сборе, ждем высоких гостей Большого шанрака [2], чтобы начать соревнование батыров». Гонец ждет у порога, мой повелитель...

Иланчик Кадырхан, услышав донесение векиля, обрадовался и в порыве чувств едва не встал с трона. Весть была действительно важная. Издавна в степи Дешт-и-Кипчак проводился раз в три года всеобщий пир, традиционный смотр воинов и соревнование батыров. На этом грандиозном представлении воины различных племен демонстрировали свои силу, удаль, ловкость, высокое воинское умение. Испытывались также умение и верность военачальников. Ристалища кончались грандиозным пиром, превращаясь во всеобщий праздник степи. Батыры, обнимаясь грудь в грудь, клялись в вечной дружбе, старики решали сватовские дела, укреплялись родственные узы и межплеменные связи. Праздники проводились поочередно — каждый раз в другом городе. И правитель намеченного города, знаменитые бии и богачи-толстосумы брали в таких случаях все расходы на себя: организовывали игры, резали скот, принимали и одаривали гостей, награждали победителей состязания. Иные близорукие мелочные беки и скряги не позволяли проводить игры доблестных мужей в своих владениях. Их пугали расходы, хлопоты, возня. К тому же опасались возможных споров и драк, ведущих, как правило, к тяжбе, долголетним распрям, междоусобице. А кому это нужно? Большому шанраку необходимы мир и единство. Мелкая грызня способна только исподволь подрывать кипчакское могущество. Потому и обрадовался так

[1] Смотритель дворца.

[2] Подразумевается сбор степных родов. (Шанрак — буквально: верх остова юрты.)

согласию испиджабцев правитель Отрара, неизменно ратовавший за мир в степи. Весть из Испиджаба свидетельствовала о единстве, о том, что Кадырхан — главный среди правителей степи — еще не упустил поводья из рук, что страна кипчаков остается, как и прежде, единой и сильной. Значит, можно будет противостоять нависшей опасности.

Да, вновь соберутся славные сыны кипчаков на голубом перевале Косеге. И всколыхнется степь, дрогнет земля от удали и силы доблестных батыров! Нет, не угас дух предков, еще бродит в жилах потомков их буйная кровь!

Он резко поднялся, хлопнул в ладони, кликнул векиля:

— Завтра ночью с верными воинами отправлюсь на Косеге. Распорядись немедленно отправить гонцов-шабарманов из Большого шанрака в главные города и крепости Дешт-и-Кипчака.

Он подробно перечислил эти города: в Сауран, Сыгынак, Шабгар, Тараз, Бузук, Ак-тюбе, Баба-ата, Карнак, Суткент, Кара-суан, Оксыз, Тектурмас, Келин-тюбе, Кумиян, Мейрамкала, Корасан, Бесик, Огуз-кент, Шар Дарбаза, Жаухар, Жент, Жанкент, Яенгикент. Пусть спросят гонцы: не пошатнулась ли уверенность у воинов, туго ли стянуты пояса джигитов, крепки ли копыта тулпаров,— все это суждено узнать на голубом перевале Косеге. Про себя же думал о том, что ничего лучше такого и племенного сборища с военными играми не сможет служить проверкой накануне предстоящих событий. Враг, нависающий над кипчакской степью, был неведом. Никогда еще не приходили сюда воины монгольского кагана...

Векиль низко поклонился и попятился к двери.

Отрадное сообщение взволновало и ободрило Кадырхана, словно свалился с плеч тяжкий груз. Мрачные думы сразу рассеялись, он натянул на плечи сползавший шелковый чапан. Неслышно отворилась западная потайная дверь дворца, и правитель резко обернулся. Смуглый старик визирь в остроносых кожаных галошах ступал осторожно, как кошка, по ворсистому, мягкому ковру.

— Гонец все еще стоит у входа, мой повелитель.

— Почему? Или мало ему коня в награду за добрую весть?

— Говорит, что надобно сообщить хану нечто важное.

— Позови!

Визирь тихо вышел. Повелитель продолжал неподвижно стоять посередине тронного зала. Интересно, что желает ему поведать гонец из Испиджаба?.. В створку раскрывшихся чугунных дверей хлынул поток багрово-красных лучей заходящего солнца. Казалось, волна желтоводной Инжу захлестнула зал. Точно плывя в этой волне, вкатился шарообразный человек, напоминавший оранжевую тыкву. Кадырхан насупился. Круглый человек подкатился ближе, сделал странное движение: то ли поклонился, то ли, наоборот, откинул голову. И вдруг заговорил — крикливо, бабьим голосом:

— Я вестник, но уста мои были доныне закрыты для плохих вестей... Должен сказать. По пути сюда я увидел чудовищное знамение... Увидел... увидел в степи Атрабата одинокого коня с окровавленной грудью... И барабаны смерти на нем. Такое всегда бывает перед бедой...

Вестник говорил, словно выдавливая из себя слова. Видно, волновался гонец, боялся ханского гнева.

— На передней луке седла два барабана!..— повторил он.

Иланчик Кадырхан стоял неподвижный, молчаливый. Тяжелые складки избороздили его лоб. Он словно бы услышал вдруг грохот двух призывных барабанов, представил кровавую сечу. Свистят сабли, храпят кони, катятся по земле отсеченные головы батыров, рвут на себе волосы безутешные вдовы, падают, хватаются за решетки юрт. И плачут, плачут сироты; от такого несчастья вырастут они слабоумными и хилыми... Вот этого коротышку гонца, должно быть, тоже в детстве подшибло, задавило горе, унижение сиротства.

Глаза правителя налились кровью, рука потянулась к поясу.

— Конь с барабанами больно строптив. Поймать мне его не удалось...

Кадырхан собрал разбежавшиеся мысли, высказал то, что тревожило его все это время:

— Об этом никому ни слова. Пусть все, что ты видел, останется тайной. Узнают люди — покоя лишатся. Сплетни поползут отовсюду. Это может быть коварной уловкой подлого врага. Кому-то захотелось отравить

нашу радость, омрачить веселье собравшихся на праздник людей. А пока что пусть изловят одинокого коня. Раскрою истину!..

6

Знаменитая в ту пору Отрарская библиотека, любовно собранная великим Абу-Насром аль-Фараби, находилась глубоко под землей, под пятью пластами Гумбез Сарая. Первоначально книги и рукописи хранились в крепости Ак-курган [1] — там, где родился Фараби, но позже, когда Отрар оделся в камень и слава о дивном городе вознеслась высоко, ее перевезли в Гумбез Сарай. Думали, что здесь книгохранилищу не будут угрожать никакие набеги и войны. С тех пор в реке Инжу много воды утекло, сам основатель библиотеки нашел свою смерть на далекой чужбине, но книги остались, к ним прибавились многие и многие другие. Слава библиотеки притягивала, привлекала талантливых ученых со всех концов света. Она стала известным миру светочем знания, и именно здесь на века прославились имена ученых — Габбаса и Исмаила из Жаухара, Хисамеддина из Сыгынака, Ахмеда из Испиджаба, Кысанабыза из Хорасана, Анет-баба из Шабгара.

Сегодня Иланчик Кадырхан вдруг пожелал осмотреть подземное книгохранилище. За этим желанием скрывалась сокровенная тайна, неведомая никому, кроме самого правителя Отрара.

Тишина и покой царили сейчас в мире, но эта была обманчивая тишина, напряженная, предгрозовая, тишина перед страшной бедой, неумолимо надвигавшейся с востока. Хотя и обнялись они с послом монголов грудь в грудь, а для их купцов открыли Шелковый путь, однако что ни день точно из-под земли доходили тревожные слухи. Не выходил из головы и одинокий конь в степях Атрабата с двумя походными барабанами на передней луке седла. Видение такого коня было верным знаком. Невольно задумывался хан, пытал себя: «Что притягательного есть для врага в Отраре?» И тогда думалось о книгах, о скрытых в них тайнах, о бесценных творениях

---

[1] Эту крепость часто называют Весидж.

человеческого разума. Его тянуло туда, он хотел убедиться собственными глазами, что великое это богатство Отрара в целости.

И еще одна потайная причина была для осмотра книгохранилища: в последнее время заметно оскудела ханская казна. Запасы золота и серебра в кованных железом сундуках быстро таяли. Главная причина тому — бездействие десяти ок войска. Нет походов — нет и доходов. А город рос, расцветал, появлялись новые дворцы и мечети, нужны были немалые средства на содержание огромного войска да и постоянного пополнения библиотеки дорогими книгами. Правда, оскудение казны не особенно удручало Кадырхана. Ведь не бесследно, точно вода в песок, уходят деньги; а во славу и честь страны Дешт-и-Кипчак. Он продолжает традиции предков, и потомки будут ему за это благодарны. Теперь правителю хотелось знать, насколько ханская казна способствовала пополнению книгохранилища, какие появились там новые книги, чем может гордиться прославленная библиотека Отрара.

Сопровождал хана ученый визирь Исмаил. У главных ворот здания, под которым находилось книгохранилище, встретился им Анет-баба из кипчакского рода конрат. Главный летописец ханского двора, семидесятилетний мудрый старец, сухой, жилистый, легкий в движениях, поставил светильник на пол, отвязал от пояса связку ключей, начал перебирать их дрожащими пальцами, нашел наконец нужный и отомкнул замок. Иланчик Кадырхан и визирь Исмаил последовали за ним.

Большие подземные комнаты соединялись между собой куполами. На самом верху круглились маленькие окошки, оттуда струились тонкие лучики света и поступал снаружи свежий воздух. Стены без украшений были выложены из темно-серого жженого кирпича. Пять просторных комнат располагались одна за другой, соединяясь узкими коридорами с бесконечными крутыми поворотами. По боковым стенам тянулись каменные полки, тесно уставленные книгами. При слабом свете, льющемся сверху через оконце и от светильника в руках летописца, тускло поблескивали тисненные золотом и серебром кожаные, сафьяновые громоздкие книги и бесчисленные свитки. Они напоминали о древних предках-саках, захороненных в своих курганах вместе с несметными богатствами...

— Сколько всего книг в хранилище? — поинтересовался Кадырхан.

Анет-баба ответил не сразу. Он поставил светильник в закопченную нишу угловой стены, сунул руку за пазуху, вытащил трубкой свернутую бумагу. Развязал шнурок, развернул свиток и принялся читать размеренным голосом:

— «Кипчакские летописи, обернутые в бараньи шкуры,— два ок семьдесят два мотка. Вавилонские плиты, на которых выбиты священные слова,— девяносто. Камни с надписями — четыреста двадцать один. Лопатки разных животных с письменами — шестьсот двадцать три. Папирусные свитки... Книги старые ромейские... Книги ромеев-несториан...»

Долго читал Анет-баба, и никто не перебивал его. Так долго, что за это время можно б было сварить в котле ярку. Перечислив названия книг, старец перешел к людям, написавшим их. Должно быть, день уже сменился ночью: из верхних окошек уже не падал свет. И лошадиный жир в глиняном светильнике был на исходе. Исмаил зажег новый светильник, передал старцу. Кадырхан взял попавшуюся ему на глаза какую-то тяжелую книгу, начал осторожно переворачивать листы. Его поразили краски, затейливые орнаменты, тонкие линии, переплетавшиеся в неповторяющихся рисунках, покрытых местами позолотой. Видно, немало потрудился писец-каллиграф, выписывая, разрисовывая каждый узор. Правитель по слогам разобрал несколько слов, но ничего не понял. Буквы были все знакомы, а слова непонятны. Пожалуй, такая книга по зубам лишь мудрому Анету-баба. Такую книгу и в руках-то не удержишь, нужны специальные подставки при чтении.

До слуха правителя словно бы издалека доносился надтреснутый, сипловатый голос старца:

— «Старовавилонских плит с клинописью... Духовных книг на сафьяне... Летописец Шуак, прозванный Девятиверблюжьим, сын Нурсая — Острый слух из рода Канлы...» Так что, мой правитель, в библиотеке Отрара хранится около тридцати трех ок книг и всяких надписей...

Старец свернул осторожно свиток, похожий на скалку, закрепил с обоих концов медными кольцами, приложил к губам и ко лбу, с поклоном протянул правителю. Кадырхан, словно пробужденный от сна, явно взволно-

ванный, тоже прикоснулся лбом к свернутому трубкой списку, передал его ученому Исмаилу. Прощаясь у порога библиотеки, Анет-баба на мгновение глянул на своего повелителя и подумал, что глаза у того затуманились из-за малого света в хранилище книг...

Вышли они из задних, северных ворот Гумбез Сарая и сразу очутились на небольшой, круглой формы площадке, обсаженной низкорослыми подстриженными кустами и фруктовыми деревьями — джидой, урюком, тутовником. Из-за них тут было совсем уж темно, хоть ночь еще не наступила. Кадырхан был задумчив. Он все еще мыслями находился в книгохранилище, которое было предметом его тайной гордости перед всеми другими правителями и наместниками. Они наискось прошли пустую площадь, вышли на боковую улочку. Безмолвная стража сопровождала их.

Здесь, в прилегающих ко дворцу улицах, было многолюдно и шумно. Все куда-то спешили, не замечая друг друга. Проскакивали верховые сарбазы, и звонко цокали копыта их коней; проплывали гибкие женские тени с кувшинами на плечах; спешили по своим делам ювелиры-зергеры, шли с головы до ног измазанные краской чумазые кузнецы, дехканин с верблюдом на поводу, слуга с мешком за спиной, вконец охрипший базарный перекупщик. По краям томились от скуки базарные гуляки, нечистым взглядом ощупывая женщин; сновала в толпе шумная ватага ребят, и все вокруг колыхалось, шумело, бурлило, как река Инжу в половодье. Неповторимые картины городской суеты. Правитель и его спутник быстро дошли до знаменитого отрарского Кан-базара, который находился в северо-западной части города и занимал огромную — хоть конские скачки устраивай! — площадь, вокруг которой густо росли деревья. По сторонам площади тянулись бесконечные каменные прилавки, в середине находился прохладный хауз, в нижней части был расположен скотный двор. Здесь торговля шла особенно оживленно. Хоть было уже совсем темно, загорелые, пронырливые торгаши со всего света заключали сделки, били по рукам, крикливо расхваливали свой товар. Каменные прилавки и тумбы были застелены яркими скатертями, разноцветными подстилками, и на них горой возвышалась, невольно притягивая внимание, всякая всячина. Богат и красочен был Кан-базар!

Сюда, на базарное подворье, они пришли, чтобы увидеть некоторых из своих утренних гостей. Так полагалось: после официального приема во дворце прийти сюда уже по-простому и говорить прямо о деле. Они вступили в прохладный караван-сарай для купцов и путешественников.

Народу здесь было не меньше, чем на самом базаре. Погонщики отпустили верблюдов на выпас и, раскинув теперь руки-ноги, отдыхали в тени. Там, где остановились купцы из Новгорода, краснолицый старик, караван-баши, приказал развязать три огромных полосатых тюка. Рабы, вконец отупевшие от изнурительной дороги, суетясь и толкаясь, принялись за работу. Тюки наконец раскатали, из них появились туго скатанные свитки и книги в кожаных обложках с золотыми пряжками. Тут распоряжался юный поэт Хисамеддин, посланный отобрать книги для отрарского хранилища. Большинство книг было духовного содержания, а кроме них — разные хроники и летописи. Огромный черный раб, ободранный, в струпьях, в грубых кошменных обмотках на длинных костлявых ногах, притащил откуда-то еще один тюк. От возбуждения не видя вставших в стороне правителя города и ученого Исмаила, поэт листал книги, разворачивал свитки. Как и в прошлый раз, он обнаружил тут книги из страны Миср, где в городе Александрии было некогда знаменитое книгохранилище. Караван, откуда принесли тюк, был от арабов, которые завоевали некогда страну Миср. Деньги из ханской казны, отпущенные на покупку древних книг, Хисамеддин, видно, успел израсходовать и теперь торговался громко, отчаянно, так и не замечая подошедших.

— Ты что? Стоимость самого хана с меня содрать хочешь?! А что бы ты сделал, если бы по дороге в лапы разбойников попал?

— И так ограбили,— возражал толстый приземистый купец.— Весь товар забрали. И жену в придачу уволокли. Одни книги вернули. Сказали: «Ими только костер разводить!» Ойбай, ойбай! — завопил вдруг купец.— Нужны же мне теперь средства, чтобы жену купить и хоть до родины добраться!

— Ну, сбавь хотя бы десять дилля, дорогой!

— Нельзя! Это ведь не бред поэтов-словоблудов, а священные слова самого пророка. Понимать надо! Мой предок в пятом колене сберег эту святыню, выудив ее из

пожара, где жгли книги. В самой Александрии это было. Я бы ни за что не продал, да по родному краю истосковался...

— Ну, давай еще коня под седлом тебе дам, а?

— Три гривны серебра прибавь!

— Гривнами северные урусы торгуют. У кипчаков — динары.

— Значит, подкинь тогда еще по три динара за книгу.

— Побоялся бы бога!

— Не говори так! Грех обижать честного купца. Отец мой был маклером-перекупщиком. Без звона денег он и дня прожить не мог. Мать — дочь базарного мясника. И я пошел по их стопам, торговцем стал.

Хисамеддин исчерпал все средства убеждения, потерял терпение и уже схватил было неуступчивого купчишку за шиворот, но ученый Исмаил вовремя перехватил его руку. Хисамеддин обернулся и, только теперь заметив правителя, очень смутился, потупил взор. Да Кадырхана и трудно было узнать: вместо пышного ханского халата был сейчас на нем простенький чапан из верблюжьей шерсти, на ногах — дешевые сафьяновые сапоги, на голове — войлочная шляпа. Поэт, застигнутый врасплох, казалось, был готов провалиться сквозь землю и не знал, как извиниться перед своим благодетелем за свою торговую страсть. Но правитель сделал вид, будто ничего не случилось, достал из кармана золотой динар и бросил торговцу, заломившему за книгу стоимость двух рабов. Взглянув на обложку, он перевернул несколько страниц. Оказалось, что это «Основы» грека Евклида в переводе арабского ученого Корра сына Сабита. Потом Кадырхан протянул книгу Хисамеддину, смущенно ковырявшему носком сапога землю. Теперь правителю хотелось скорее выбраться из шумной толкотни, уйти подальше от неуемной базарной круговерти. «Следуйте за мной!» — приказал он сопровождающим его людям и, энергично ступая, направился к южной части города. Один за другим, цепочкой, прошли они узкие поперечные улицы...

К этому времени багрово-красная полоса уже почти совсем исчезла на западе. Со стороны гор Каратау медленно надвигалась ночь. Вот-вот из-за угла выглянет лукавый блудень-месяц. В этой части города в приземистых каменных домах — жадыгерах жили главным об-

разом ремесленники, мастеровые, свободные дехкане-земледельцы, а в кирпичных, под куполами зданиях, располагались предводители войска со своими семьями. Привыкшие к суровой походной жизни, они и в мирное время предпочитали жить в домах и зданиях округлой формы, напоминавших внешне юрту, которую по необходимости можно мгновенно разобрать и навьючить на верблюда. Улицы здесь были малолюдные, тихие, двери маленьких домов плотно закрыты. Это значило, что мужчины уехали на охоту или где-нибудь за городом обучают сарбазов военному искусству. По кипчакским обычаям, дверь оставляется открытой лишь тогда, когда дома находится хозяин. Только в таком случае можно заходить в дом, не стесняясь.

Время от времени издалека доносился приглушенный топот конских копыт, и тогда спутники хана невольно настораживались и прислушивались. Такова была привычка людей в Отраре. Месяц, понемногу наливаясь силой, вскарабкался на вершину крепостного вала. Напротив темнели дома улицы Пшакши. У подножия холма расположились кузни. Над ними до сих пор вьется жидкий дымок. Тяжкие вздохи кузнечных мехов, грохот молотов и лязг железа постепенно затихали, растворяясь в густом вечернем воздухе.

А на вершине холма смутно вырисовывались очертания древней мечети. Ее построили четыреста лет тому назад, когда в эти края только пришло мусульманство. Время и ветры, дождь и зной не смогли исказить облика мечети. В сумраке надвигающейся ночи она была похожа на гигантскую диковинную птицу, присевшую отдохнуть на холме. От всей этой загадочной и напряженной тишины, мрачного очертания мечети, таинственной ночной прогулки спутникам, молча следовавшим за ханом, становилось как-то не по себе, было боязно и тревожно. Сердца их бились учащенно, по телу пробегала дрожь. Такое время неспокойное было, хоть и мир был на земле. Однако они крепились и скрывали друг от друга свое состояние. Странно... Что же все-таки задумал правитель Отрара, приведя их сюда?

Они поднялись на холм. Мрачным гулом отозвалась огромная мечеть. Казалось, целый десяток муридов, учеников медресе, в один голос гнусаво забормотали стихи из Корана. Дошли до главных ворот мечети. Все трое дышали тяжело: путь от Гумбез Сарая до Кан-базара

составлял половину фарсаха[1], а от базара до Голубой мечети на вершине Пшакши — целый фарсах. Много улиц и переулков они прошли, много площадей и хаузов обошли и дошли наконец сюда как раз ко времени вечерней молитвы. С минарета доносился гортанный голос муэдзина, призывавший правоверных к молитве. Он читал призыв к молитве на египетский манер, певуче и скорбно, и от этого становилось жутко. Иланчик Кадырхан скинул дорожный чапан, разостлал его на голом пятачке возле мечети, опустился на колени, чтобы исполнить долг верного слуги аллаха. Спутники хана послушно встали за ним в той же смиренной молитвенной позе, повторяя каждое его движение. Молитва состояла из троекратной хвалы всевышнему и двух зачинов благодарения. Правитель повернул голову сначала к правому плечу, потом — к левому; вытянув обе руки, дважды низко поклонился, касаясь лбом расстеленного чапана; выпрямился, пробормотал еще раз последний зачин, опять опустился на колени. В такой позе он застыл надолго, будто отрешенный от всех земных забот и погруженный в некую мысль, которая вдруг неожиданно пришла ему в голову. Наконец он как бы очнулся от дум, решительно встал; отряхнув, надел свой чапан, пристальным взглядом осмотрел спутников.

— Я вам открою тайну, которая может пригодиться в трудный час для страны и людей. О том, что вы сейчас увидите, не скажете никому ни слова. Поклянитесь!

— Унесем тайну с собой в могилу! — поклялись оба.

Кадырхан молча пошел вперед. Они вошли в мечеть. Здесь, вблизи, особенно чувствовалась ее древность. Службы тут почти не проводились. У дряхлого старика, по-видимому, подкашивались ноги, когда он спускался по крутым ступеням винтовой лестницы. Изнутри свод центрального купола был отделан белым камнем. Купол подпирали могучие круглые стены из темно-красного жженого кирпича. Под малым куполом виднелось небольшое помещение для зикра — заклинаний, священного радения и духовных песнопений. В сумраке почти не различались росписи и узоры на стенах. Каждый шаг, малейший шорох отзывались могучим гулким эхом под сводами мечети. Старая мечеть невольно вызывала

---

[1] Древняя мера длины, немногим более 6 км.

у посетителей почтение и благоговение. Как говорят, краски поблекли, да суть сохранилась.

Кадырхан, едва переступив порог, повернул налево. Здесь темнел выступ длиною в один кулаш. От выступа на повороте вилась к куполу узкая винтовая лестница. Однако правитель не стал подниматься по ней. Он наклонился, обеими руками обхватил третью снизу каменную ступень, поднатужился, сдвинул ее в сторону. Втроем они убрали ступень, и прямо под ней открылся черный вход, похожий на боковую нишу кипчакской могилы.

Первым туда протиснулся Кадырхан, потом — визирь Исмаил, третьим — Хисамеддин. Это был вход в подземное помещение для пленниц — гар, а также к подземной потайной дороге, выходящей за стены города.

Вначале они ступили на небольшую каменную площадку. Правитель Отрара Иланчик Кадырхан нашарил в темном углу светильник, достал из кармана кресало, выбил искру и зажег жирник. Мрак вокруг неохотно отступил.

От каменной площадки в подземелье вело ровно пятнадцать ступеней. Шли они круто, с наклоном. У самого входа потолок был очень низок, всем пришлось наклоняться. Наконец-то добрались до еще одной ровной площадки, выложенной серыми, в полосках камнями. Здесь было небольшое полукруглое помещение, выложенное кирпичом темно-голубого цвета. Кирпичики разноугольной формы чередовались под прямым срезом. Кладка была красочная, яркая.

В южной стороне помещения, как определил визирь Исмаил, зиял еще один узкий ход. Оттуда веяло пещерной нежитью и начиналась следующая лестница. В подземном коридоре стояла непроглядная тьма, было невыносимо душно. Прямой спуск к подземной дороге составлял примерно шесть гязов-локтей. Дорога устарела, обветшала. Под ногами валялись каменные обломки, осколки плит. Коридор вел их по наклону к третьему входу. Это был даже не вход, а просто узкая щель. Над щелью выдолблено углубление. Сюда, должно быть, ставили светильник: вокруг было черно от сажи и масла.

— В подземный гар чистый воздух поступает по особым трубам,— коротко объяснил Кадырхан.

С трудом пролезли в щель, и опять ноги коснулись

ступеньки, ведущей вниз. И здесь были всюду следы разрушения, кое-где обвалилась стенка, осыпался потолок. Судя по всему, здесь в последние годы не производилось восстановительных работ. Все сооружения с бесконечными переходами и лабиринтами были заброшены. Третий коридорчик оказался и короче, и значительно круче двух предыдущих. Их сразу потянуло вниз, как в пучину. Здесь тоже было душно и сыро. Жидкое пламя светильника заколебалось, угрожая оборваться, погаснуть. Коридорчик привел их в крохотное проходное помещение, где можно было наконец встать во весь рост. Все трое с удовольствием распрямили занемевшие спины.

Ощущение было такое, будто они спустились куда-то в бездну по узкой трубе.

Здесь виднелась развилка. Свернули налево и через пять-шесть шагов очутились перед широкими воротами, литыми из бронзы. Ворота оказались на замке. Кадырхан передал светильник Хисамеддину, пошарил за пазухой, достал ключ, отомкнул замок. Ворота распахнулись, и они вступили в просторную комнату. «Видно, это и есть подземный гар»,— решил про себя визирь Исмаил. Рассказывал ему однажды Анет-баба: «В Отраре у хана есть одно потайное подземное помещение. Называется гар. Там содержатся прекрасные пленницы, хранятся редчайшие драгоценности». Но только где находится этот гар и как можно в него проникнуть, этого старый летописец не знал. «Да, да... Несомненно, это то самое чудо»,— подумал Исмаил.

В просторном зале было светло. Каким образом и откуда проникал свет, Исмаил не понял. На высоком потолке поблескивали, переливались драгоценные камни. Под ногами стлался ворсистый ковер. Камни мерцали, подмигивали. Гар был квадратной формы. Кирпичные гладкие стены сплошь в ярких, красочных узорах тончайшей ювелирной работы. Исмаил был не в силах оторваться от невиданного зрелища. Потом он разглядел в одной из стен потайную дверь. Иланчик Кадырхан тронул его за плечо, и он, очнувшись, послушно последовал за ним.

Исмаилу почудилось, что кто-то и сейчас здесь обитает. Видно, этот «кто-то» просто куда-то вышел перед их приходом. Об этом свидетельствовали и ярко сиявшие на потолке камни, и мягкий ковер на полу, и все

дорогое убранство гара, а также узкая, врезанная в правую стену дверь. «Нет, бесспорно, здесь кто-то живет»,— решил Исмаил.

Правитель Отрара снова закрыл бронзовые ворота на замок, сунул ключ за пазуху. Они вновь вернулись в крохотную проходную. Правый коридор привел их к подземной дороге. Это был широкий туннель — по нему могли свободно пройти три человека в ряд — с полукруглым потолком, без единой подпорки. Через каждые двадцать—тридцать шагов встречались поверху отверстия, в которые неслышно поступал воздух. Сколько они шли подземной дорогой, спутники хана не знали. Вдруг Кадырхан резко остановился. Оказалось, пришли к выходу. Правитель повернулся к Исмаилу и Хисамеддину.

— Ну, так вот, мои дорогие... Чудо, которое вы сейчас видели, было построено вашими предками во время великой войны с иранцами. Много веков назад это было, и только сказания сохранились об этой войне. Подземные дороги и помещения завещаны нам как священная тайна, надежная обитель в час всенародных бед и потрясений. Сейчас мы находимся за городской стеной...

И в самом деле, когда они выбрались через потайной выход — неприметное устье оврага, густо заросшего саксаулом,— очертания широко раскинувшегося Отрара темнели за их спиной. Исмаила особенно поразило то, что, по его предположению, город должен был оставаться на восточной стороне, а в действительности подземная дорога вывела их к югу. Сюда глухо доносился гул города.

Они вышли из оврага. Иланчик Кадырхан подал голос, и тут же послышался топот коней. Неподалеку, в овраге Сорлы-сай, поджидали их надежные нукеры.

Чернолицый слуга подвел трех оседланных скакунов. Заметив Кадырхана, остановился на приличном расстоянии, поклонился. Кони, нервно всхрапывая, пятились, вырывались. От людей, вышедших из-под земли, пахло сыростью и прелью. Нукер, упираясь ногами, изо всех сил старался не выпустить поводья. Кони понемногу смирились, однако все еще выкатывали глаза и тревожно раздували ноздри. Хан и его спутники сели в седла. Иланчик Кадырхан повернул своего скакуна к востоку, к голубому перевалу Косеге — установленному месту соревнования кипчакских батыров. Ехали крупной рысью под покровом ночи. Впереди — правитель Отра-

ра, сбоку, чуть поотстав,— Исмаил и Хисамеддин, сзади — с ног до головы обвешанные оружием нукеры. Долго плыла над ночной степью монотонная гулкая дробь — ровный, ладный скок отборных коней.

7

В то время боевые игры батыров отличались множеством видов ратных состязаний. Они приучали молодых воинов к смелости и ловкости, умению владеть разным оружием, воспитывали достоинство. В стране Дешт-и-Кипчак тогда особенной популярностью пользовались главным образом одиннадцать видов оружия, умение искусно обращаться с ним на поле битвы: копье, лук, секира, сабля, меч, кинжал, палица, пика, соил — дубина, аркан, стремя на ремнях. Каждый вид состязания имел великое множество приемов, и каждый прием имел, в свою очередь, свое название. Самое любопытное: не бывало такого батыра, который в одинаковой степени владел бы всеми видами оружия. Отчаянный, непревзойденный рубака мог быть посредственным лучником, а искусный копейщик зачастую не умел обращаться с арканом.

К голубому перевалу Косеге народ стекался со всех сторон. На месте батырских ристалищ толпились конные и пешие, старики и молодые, богатые и нищеброды, на верблюдах, на мулах, на быках и ослах. Девяносто восемь многостворчатых белых юрт поставил славный Огул-Барс для почетных гостей, и в каждой негде было повернуться. Те, кто успел отдохнуть с дороги, отведать свежего мяса и утолить жажду кумысом, спешили на равнину, где томились в ожидании знаменитые батыры. Журавлиной стаей тянулся из-за косогора праздный люд. Лихие джигиты, прибывшие раньше, теперь от скуки затевали то здесь, то там бесшабашные степные игры: кокпар — козлодрание, салым — конное состязание с мячом, аударыспак — борьбу наездников. Среди них находился и прославленный батыр Ошакбай, разминал мышцы, забавлялся, играл силой и удалью. Он был из рода конрат, из города Шабгар. Среднего роста, плотный, кряжистый, ноги как у верблюда, грудь — не обхватишь. Ходил вразвалку, как все, кто проводил жизнь в седле. Большую, с кузов домбры, голову туго обмотал шелковым платком. С первого взгляда незаметна

была его неуемная, неукротимая сила. Пеший, он и вовсе кажется беспомощным. А в седле мгновенно превращается в дьявола, с которым никому не под силу сладить. Зажмет шенкеля, припадет к гриве коня и, гикнув, яростно бросается на противника. Не человек, а сказочный див-оборотень. Джигитам-коневодам хорошо были известны его повадки.

С той стороны, где стояла белая ханская юрта, раздались оглушительные звуки карная. Галопом помчались шабарманы-коневоды. Вслед за ними степенно выехали судьи состязания батыров, в основном белобородые крепкие старики. Чуть позади на громадном коне ехал сам Иланчик Кадырхан. Карнаи надрывались, гудели без умолку. Распорядители начали делить участников состязаний по видам оружия. Властные крики неслись над толпой: «Эй, копейщики! Выстраивайтесь за мной!» «Лучники! Стройтесь слева!» «Меченосцы! Спускайтесь в лощину!» «Кто мастер махать дубиной, оставайтесь на месте!» «Носители секиры! Выступите вперед!» Началась толчея, суматоха, однако вскоре все разобрались, встали по порядку. И только праздная толпа, многочисленные любители зрелищ, облепили все ближайшие холмы. Наступила тишина. Все ждали знака к началу состязаний. Ошакбай примкнул к копейщикам.

Наконец, всколыхнув в последний раз неистовым ревом всю степь, умолкли карнаи, пронзительно запели глиняные сопилки. Словно из-под земли доносились щемяще-тревожные звуки, похожие на волчий вой. Они возвещали о начале буйного торжества степи.

Копейщиков оказалось человек сорок. Они грозно вскинули свои копья, трижды пронзили ими воздух и отъехали в сторону, уступая место мастерам самого древнего оружия — палицы. Толпа невольно залюбовалась ими. Это были кряжистые, крепко сколоченные, почти квадратные джигиты. Чтобы уберечься от увечий, каждый надел на себя по нескольку овчинных шуб, туго перетянутых в поясе сыромятными ремнями. Восседали они на верблюдах-метисах, неповоротливых, неуклюжих, но сильных и выносливых. Когда выехали они на середину поля, то показалось, что это фантастические чудовища из сказки. Выстроившись в ряд, они одновременно, по команде, поклонились в сторону прави-

теля. После этого разделились на две группы, разъехались на расстояние двух бросков, и, подняв над головой увесистые палицы, поприветствовали друг друга.

Снова томительно-тягуче завыли сопилки, и бесформенные фигуры на верблюдах ринулись навстречу друг другу. Посыпались гулкие удары, слышалось надсадное кряхтенье. Рявкали верблюды, от боли и злости плевались зеленоватой слюной. Казалось, они презирали эту глупую людскую забаву, всем своим высокомерным, равнодушным видом подчеркивая, что не имеют никакого отношения к тем, кто сидел на них и размахивал налево и направо тяжелой, в шипах палицей. Отрешенно рысили верблюды по полю, раскачивались, вздымали пыль и не трогали один другого. Батыры же бились умело, подолгу вращали палицами, целились в голову и обрушивали удар наверняка, успевая отбивать ответные удары. Иные уже валялись на земле, оглушенные сквозь толстый слой ваты, корчились от обиды и боли; другие, падая, как бы невзначай «оглаживали» противника по бокам, по бедрам, а то и по спине.

Самые опытные, самые ловкие бойцы начали прибегать к каверзным приемам. Особенно отличился черный, точно из чугуна вылитый, малый. Он не суетился, не замахивался попусту и не носился взад-вперед, а редким и метким ударом, как бы незаметным щелчком, одного за другим выбивал противников из седла. Он, спокойно поджидая противника, подпускал его почти вплотную, потом вдруг ловко скатывался набок, уходя из-под пудовой палицы, и точно исчезал между верблюжьими горбами. А потом, когда удрученный неприятель проскакивал мимо, успевал мгновенно перекинуться на другой бок и всей силой ткнуть палицей сзади. Противник, раскидывая руки, мешком плюхался наземь.

Но вот, увлеченный схваткой, черный воин не заметил, как и над его головой просвистела палица. Однако в последнее мгновение он резко скатился в сторону, и толпа на холме ахнула в страхе. Удар угодил в горб верблюду, а воин мотался, точно вьюк, сбоку, целехонький и невредимый. Ну и дьявол же! Оказывается, он заранее привязал себя ремнями к луке седла. Толпа на холме взревела от восторга. Черный джигит поболтался еще немного всем на утеху на боку верблюда, потом рывком взобрался в седло и погнался за незадачливым противником. Тот закричал в испуге дурным голосом и

пустился наутек, подгоняя своего верблюда. От общего хохота сотрясалась степь. А в черного малого точно бес вселился. Играючи сшибал он всех подряд, не пропустив ни единого удара, и палица вертелась в его руках, как живая, сметая всех и вся на своем пути.

Бой на палицах длился недолго. За это время можно было лишь вскипятить молоко и снять пенку. Потерпевшие поражение спешили убраться восвояси. Другие, ошалев от боли, ничего не видя и не соображая, мчались в безлюдную степь. Победителем вышел черный батыр. Он улыбался до ушей от радости и счастья, довольный, что так легко перехитрил всех и вышел из битвы без ушибов и увечий. Острым ножом перерезал он ремень, которым привязал себя к седлу, скатился на землю, но тут подскочили коневоды, подхватили его за руки-ноги и помчали победителя к хану...

Настал черед копейщиков. Они не набросились сразу друг на друга, как бесстрашные мастера древней палицы, а сражались парами. Против Ошакбая вышел рослый длиннорукий батыр Кипчакбай родом из города Тараза. И сам он был длинный, и копье длинное, так что к нему немыслимо было подступиться. Ошакбай на всякий случай облачился в кольчугу, засучил рукава. Он надеялся на свою быстроту, ловкость и главным образом на то, что, в отличие от противника, орудовал копьем одинаково и левой и правой руками.

Они с Кипчакбаем въехали в круг, коснулись, по обычаю, коленями и, круто повернув коней, разъехались на расстояние пяти бросков. Потом, горяча коней, наметом понеслись навстречу друг другу. Ошакбай сейчас ничего не слышал, кроме стука собственного сердца. Держа повод в зубах, зорко следил он исподлобья за каждым движением противника. Тот мчался на него во весь опор. Ошакбай взял копье в правую руку. Оно было легкое, но твердое, крепкое, из выпрямленной жимолости. В следующее мгновение змеиноголовое копье Кипчакбая со свистом промелькнуло возле самой груди. Да, с этим длинноруким шутки плохи! Ошакбай едва успел увернуться, но сделал это так резко, что почувствовал боль в животе, словно кишки оборвались. Однако своего не упустил, изловчился-таки и ткнул копьем таразского батыра в бок. Поддел, конечно, не сильно, только одежду проткнул. Таково было условие честного поединка. Иногда в пылу боя бывало, что увлекались джигиты и, ос-

лепленные яростью, всерьез кололи друг друга. Но таких ждало строгое наказание...

Противники повернули коней, начали съезжаться вновь. Ошакбай понял, что на этот раз противника не удастся перехитрить тем же способом. Опытный воин не позволит ему уклониться в сторону. Но только успел он подумать это и разогнать коня, как змеиноголовое копье опять нацелилось ему в грудь. Ошакбай припал к гриве коня и в тот же миг почувствовал, как копье пролетело на расстоянии толщины пальца от затылка. Сам он на этот раз не успел даже ткнуть Кипчакбая, а ударить в спину было некрасиво.

Конь пока что круто повернул, пропахав копытами землю. Кипчакбай тоже успел повернуться к нему лицом. Теперь они уже не пускали коней вскачь, решили испытать судьбу в ближнем бою. Ошакбай прибег к древнему приему «волчок». Цель его — стремительными круговыми движениями выбить копье из рук противника. Тут нужна сноровка, иначе самому немудрено выронить оружие.

Они съехались, ударились копьями. Завертелся «волчок» все быстрей, быстрей. Горела ладонь, ныло предплечье. Вот уже выпало копье из рук Кипчакбая, и Ошакбай, не давая ему опомниться, кольнул еще острием в бедро. Он помнил о правилах и лишь слегка ранил противника. Но этого было достаточно: Кипчакбай рухнул на землю.

С ликующим воплем примчались коневоды, подняли победителя на руки.

Восторженный гул прокатился над холмами. Тщедушный, сухонький старичок принялся расспрашивать о предках победителя до седьмого колена и по пути к судьям, остановив коня, прочел благодарственную молитву. Судья поединка копейщиков набросил на плечи Ошакбая золототканый чапан, а коня победителя укрыл зеленой попоной с пышными кистями.

Прошло столько времени, сколько необходимо для того, чтобы сварить мясо ягненка, и началось всеобщее сражение на копьях. В таком состязании приз достанется той стороне, которая нанесет больший урон противнику, получив при этом наименьшее количество ран. Раздумывать тут некогда, да и места маловато. Вертись половчее, успевай отбиваться да гляди в оба, чтобы ненароком не выбили из седла,— вот и вся мудрость.

Ошакбай опять крепко затянул подпругу, взлетел на

коня и помчался вслед за скакавшими земляками. Противниками оказались джунгары — люди из пограничной с монголами степи, сплошь удальцы, забияки, рыскавшие в поисках лихих забав и приключений. Они приехали издалека на состязание батыров, заблаговременно подготовившись к поединкам. Копейщики сшиблись, перемешались, закружились, точно смерч в степи.

Ошакбай ворвался туда сбоку. Конь его оказался в плотном кольце, верткий, быстрый, как ртуть. Двумя меткими, резкими толчками удалось батыру с ходу сбить двух джунгаров. Кони их, потеряв седоков, выскочили из круга и, дико заржав, понеслись в степь. Заворачивая своего тулпара, Ошакбай увидел, что его окружили трое. Отступая, он принял бой. Копье первого джунгарина Ошакбай отбил, но острие задело седло, так что треснула передняя лука. Копье второго он перехватил в воздухе, и оно глубоко вонзилось в землю. Но от копья третьего джунгарина защититься батыр не смог. Оно, скользнув, угодило ему в правый бок. Ошакбай едва удержался в седле, скорчился, застонал от боли, в глазах вспыхнуло пламя. Выручил тулпар: отпрянул в сторону, нырнул в самую гущу сражавшихся батыров. Ошакбаю почудилось, что он теряет сознание, на губах пузырилась, пенилась кровь. Однако он переборол слабость, стиснул зубы и с радостью отметил про себя, что противник дрогнул, ряды его редеют. Стойко держался один лишь верзила-джунгарин на рыжем жеребце: бился отменно, бесстрашно, бил кипчаков, точно матерый волк, ворвавшийся в овчарню.

Ярость подстегнула ослабевшего было Ошакбая. Он поднял коня на дыбы, закричал что было сил, пытаясь одним своим видом нагнать страху на джунгарина. Тот оказался не из робкого десятка. Злорадная усмешка исказила его скуластое лицо. «Вот ты, голубчик, как раз мне и нужен!»— говорила она. Скрипели седла, храпели кони, роняя белые хлопья, кряхтели схватившиеся врукопашную батыры. Все вокруг затихло, замерло. И копейщики прекратили бой, увлеченно наблюдая за поединком двух отчаянных храбрецов. Ошакбай понял, что именно сейчас решится участь сражения. В этом поединке должен выявиться победитель. Значит, нечего жалеть себя, нечего оглядываться. Он поплевал на ладонь, крепче стиснул копье. Громадный джунгарин не дрогнул. Большой, долговязый, он вертелся, однако, на коне, как обе-

зьяна. Копье у него было недлинное, но толстое, увесистое. Такое никаким приемом, даже «мельницей», не выбьешь. Тем более, тот владел им, как хорошая хозяйка — скалкой. Единственный выход: отступая, изворачиваясь, заходить все время с левой стороны. Джунгарин хорошо владеет лишь правой рукой, и левая у него быстро устанет.

Лишь с третьего захода Ошакбаю удалось осуществить свое намерение. Неожиданно заехав слева, он ткнул противника в бок, и тот пошатнулся, завалился на правую сторону, едва-едва удержав равновесие. Теперь джунгарин стал осторожнее. Он разгадал маневр кипчакского батыра и старался держать его все время по правую руку. Один раз и Ошакбай оплошал. Страшной силы удар едва не настиг его. Спасла скорость коня. Впрочем, кони их устали, задыхались в пыли, ноги у них подгибались от неимоверного напряжения. Батыры, наоборот, бились все яростнее. Они прибегали к разным уловкам, использовали все ведомые и неведомые приемы, заходили то слева, то справа, защищались и нападали, издавали дикие, пугающие крики. Едкий пот заливал им глаза, шумело в ушах, кружилась голова.

Молодой кипчакский батыр почувствовал нависшую над ним опасность. Если ему сейчас же не удастся выбить джунгарина из седла, будет худо. По обычаю, копейщики, не сумевшие одолеть друг друга в схватке, обязаны выяснять отношения стоя на месте. Вот-вот судьи потребуют этого и от них. В таком случае у Ошакбая почти не останется надежд на успех. Рослый, могучий, длиннорукий противник наверняка осилит его в таком поединке.

Джунгарин, выжидая, кружился на месте, хватал копье попеременно то левой, то правой рукой. В одно из таких мгновений Ошакбай сделал молниеносный выпад, удачно поддел копье противника, и оно пошатнулось, дрогнуло. Джунгарин еле поймал его на лету, но Ошакбай в этот момент ловко ткнул его острием в предплечье. Противник перекинул копье в другую руку и чуть наклонился при этом. Кипчакский батыр вонзил копье ему под бедро и резко поддел его вверх. Джунгарин зашатался, но усидел в седле. Ошакбай еще не знал о том, что хитрый противник перед поединком приклеил себя к седлу. Подобная уловка никому из кипчаков и в голову не приходила. Воспользовавшись замешательством противника, Ошакбай опять просунул копье ему под бедро, но на

этот раз оно под тяжестью грузного седока хрустнуло и сломалось. Батыра охватило отчаяние. Надо же было такому случиться! Раздумывать, однако, было некогда. Так можно в одно мгновение растерять все. Он отшвырнул ненужный теперь обломок копья и схватил рукой джунгарина за ногу, как это обычно делают кипчаки при козлодрании. Вытащив ногу противника из стремени и ударив тулпара пятками, он рванул изо всех сил. Рыжий жеребец закачался, всхрапнул тревожно. Джунгарин все еще норовил вырвать ногу, зажатую словно в тиски. Однако следующим рывком кипчакский батыр вырвал его из седла, и джунгарин рухнул в сизую пыль, к ногам своего ошалевшего жеребца.

Восторженные крики, вопли, неудержимый, неистовый смех сотрясали всю равнину у голубого перевала Косеге. Такого раньше здесь не бывало. Часть зрителей обычно сочувствовала побежденному и молчала в общем радостном гуле. А теперь будто все сразу обезумели. Ошакбай, недоумевая, оглянулся и только тогда понял причину неуемного веселья толпы. Оказалось, что у его противника часть штанов из овчины так и осталась приклеенной к седлу, и теперь джунгарин валялся на земле, поблескивая голым задом. Подскочили коневоды, подхватили под мышки незадачливого вояку. Еле ноги тащил тот, шел покачиваясь, вразвалку, точно утка, подбитая озерной волной.

— Первый приз среди копейщиков заслуженно вручается тебе. Ты доставил большое наслаждение зрителям и прославил своим искусством нынешнее состязание батыров. Да не покинет тебя удача и впредь!..

Ошакбай опустился на одно колено перед повелителем Отрара Иланчиком Кадырханом, и тот продолжал:

— Отныне назначаю тебя военачальником родов кипчак и конрат, обитающих в нижнем течении Инжу. Подставляй, батыр, плечи. Я их укрою чапаном победителя!

Ошакбай приложил правую руку к сердцу, отвесил поклон и, выпрямившись, подошел к хану. Иланчик Кадырхан взял из рук стоявшего рядом Огул-Барса дорогой чапан — узорчатый, в позументах, с серебряными пластинами на отвороте — и набросил его на крутые плечи батыра. Толпа колыхнулась, взревела, воздавая хвалу человеку, облагодетельствованному уважаемым правителем. Бии и беки, старейшины близких и далеких родов, сочли за честь пригласить счастливого победителя к себе,

в свой край, дабы оказать ему достойный прием и прослыть щедрыми в глазах народа. И еще хотелось почтенным правителям как бы между прочим напомнить батыру и новоявленному воеводе, что помимо рода конрат, откуда он сам вышел, обитают еще многие доблестные племена и роды в бескрайних степях Дешт-и-Кипчака. Всякие действия здесь имели свое значение.

От похвалы и подарков вскружилась голова у Ошакбая. Улыбаясь налево и направо, он выбрался из круга и широким шагом направился к поджидавшим его в низине коневодам. Теперь он получил возможность наблюдать за поединками других удальцов. Начиналось как раз состязание лучников.

Посередине майдана — ратного поля — возвышался огромный столб. На него надели толстую шубу. Лучникам предстояло скакать вокруг столба и на всем скаку пускать в него стрелы. Победителем состязания объявлялся тот, кто за один круг успевал выпустить все стрелы из колчана, точно попадая при этом в цель. Останутся в колчане считанные стрелы, значит, недостаточно ловок; не вонзит все стрелы в столб, значит, недостаточно меток.

Один за другим выходили лучники, отпустив поводья, гнали лошадей по кругу и со свистом пускали стрелу за стрелой. Те вонзались в толстую шубу, впивались отточенными наконечниками, и столб быстро становился похож на ощетинившегося дикобраза. Тогда шабарманы снимали шубу, надевали на столб новую, и соревнование продолжалось. Почти все батыры оказались меткими лучниками. Ни одна стрела не пролетела мимо цели. Однако никому не удавалось за один круг выпустить все стрелы. Каждый раз из семи стрел в колчане оставались две или три. Встревоженные судьи начали думать: кому же присудить первый приз? Посоветовавшись, решили: нужно сократить количество стрел в колчане. К повелителю отправили гонца для получения его согласия.

Иланчик Кадырхан решил сам вступить в борьбу. Толпа удивленно загудела. «Разве он, такой огромный, грузный, может быстро стрелять из лука?!» — спрашивали одни. «Ловкие, как кошка, лучники-мергены и те становились посмешищем. Куда ему, родовитому хану?!»— усмехались другие. «Ай, напрасно азарту поддается. Осрамится только при всем честном народе!»— беспокоились третьи. Но никто не осмелился отговорить повелителя от принятого решения. Кадырхан сбросил с себя бога-

тую и тяжелую одежду, облачился в легкий чекмень из верблюжьей шерсти, засучил рукава, туже затянул пояс. Колчан с семью стрелами он привязал не к поясу, как другие лучники, а к передней луке седла. Горяча каракового жеребца, выехал на поле, держась на значительном расстоянии от столба. Всем стало ясно: повелитель пустит жеребца по более широкому кругу. Другие лучники, опасаясь промаха, норовили держаться ближе к столбу и тем самым сокращали длину круга. Зато из-за короткого расстояния они не успевали выпустить положенное правилами количество стрел.

Повелитель резко натянул поводья, и караковый жеребец, послушный воле седока, поднялся на дыбы и тут же понесся стремительным галопом. Кадырхан взял повод в зубы и, как только жеребец переступил черту круга, пустил первую стрелу. Он сидел в седле с наклоном вперед, немного боком, в напряженной позе, не касаясь, однако, широкой грудью луки. Отправляя в цель стрелу, он тут же выхватывал из колчана другую, мощно натягивал тетиву, и через мгновение желтая стрела с пером уже трепетала в шубе. Со стороны казалось, что повелитель совсем не целился. Толпа завороженно следила за каждым его движением. Прекрасен был всадник на скачущем жеребце, сильна его рука, точен прицел...

Между тем жеребец приближался к контрольной меже, замыкавшей круг, и все начали считать стрелы, торчавшие в столбе. Четыре... пять... шесть... семь! Семь! Уа, аруах! Благословите, священные духи! Толпа словно обезумела. Конные, пешие, знать и чернь в едином порыве бросились к удальцу на караковом жеребце, оглашая степь исступленными воплями. А победитель, вдохновленный удачей, мчался падучей звездой на черном небосклоне, мчался, не оглядываясь, по ровной, как доска, долине...

Первый приз среди лучников достался признанному правителю кипчаков.

Лихие коневоды, льстецы из ханской свиты и простые смертные мчались за ним вдогонку. Каждый норовил первым настигнуть его, схватить каракового жеребца под уздцы, первым поздравить победителя в надежде заслужить ханскую милость. Какой-то отчаянный джигит, ошалев от восторга, дотянулся было до ханского стремени, но Кадырхан, потемнев лицом, короткой толстой камчой ударил его по рукам. Иланчик Кадырхан никогда не за-

бывал своего ханского достоинства; случалось, он не мог скрывать своего презрения к черной кости. В таких случаях он становился нетерпим и жесток. Джигит, вскрикнув от боли, припал к гриве коня. Лицо повелителя было грозным, необычно суровым, и остальные преследователи мигом сникли и прекратили погоню.

Тем же галопом, так ни разу и не оглянувшись, домчался Кадырхан до древней горы Караспан — священной обители его предков. Кряжистая, скалистая гора, точно караульная вышка, гордо стояла на отшибе всех путей, посередине долины, густо заросшей колыхавшимся на ветру разнотравьем. Она зыбилась в мареве, то удаляясь, то приближаясь, и издали казалось, что стоит она в волнах безбрежного моря. Так же, вскачь, поднялся Кадырхан на вершину горы и лишь тогда натянул поводья. Вслед за ним подъехали верный нукер-телохранитель Максуд и поэт Хисамеддин. Они спешились у подножия и на вершину поднялись пешком.

Крутые склоны горы были покрыты перистым ковылем и пыреем. Хисамеддин с трудом перевел дыхание, огляделся. Иланчик Кадырхан, огромный, мощный, застыл на гребне, точно каменное изваяние, и смотрел на восток. Поэт от неожиданности вздрогнул: так непохож был сейчас повелитель на того человека, которого Хисамеддин впервые увидел в Гумбез Сарае. Нарост у виска исчез. Лоб был изрезан глубокими морщинами. Лохматые брови, как крылья коршуна, вскинулись по краям и хмуро сошлись в переносице. Между ними легли две прямые жесткие складки. Зрачки расширились, отяжелели. Взгляд был задумчивый, невидящий, ушедший в себя. Под глазами набрякли мешки в мелкой сетке — следы постоянных изнурительных дум. Лицо осунулось, скулы заострились. Борода, начинаясь от щек, росла клинышком и торчала сейчас неподвижно. Тонкие, подстриженные усы странно встопорщились, нижняя губа брезгливо выпятилась. Нос с горбинкой заметно выделялся на крупном лице. Грозен и неприступен был сейчас повелитель кипчаков!

Хисамеддин, явно робея, приблизился к хану, напомнил, что его ждут батыры и народ...

Пятый день шумело на всю степь ристалище батыров. Народ стал понемногу разъезжаться. По-разному покидал праздный люд голубой перевал Косеге. Одни воз-

вращались домой весело, с песнями и смехом, с игрой на старинном музыкальном походном инструменте — асатаяк, на все лады расхваливая удаль и силу своих джигитов, и все степняки знали, что это едут счастливые победители. Другие шли и ехали молча, понуро, точно скорбное кочевье, возглавляемое бабой, и путь им казался бесконечно далеким и тернистым, а все степняки понимали, что это тянутся осрамленные, униженные побежденные. Недавно еще праздничная, нарядная степь, наполненная ликующим многоголосьем, теперь как будто умолкла, потускнела, обретая унылый, скучный вид. Она напоминала старый, когда-то звучный кобыз, заброшенный ныне, как ненужная рухлядь, под деревянную подставку для тюков. Травы вокруг были вытоптаны, то здесь, то там выступали проплешины. Как бы усугубляя эти печальные картины, после обеда всплыли из-за горизонта кудлатые черные тучи. Они неумолимо заволакивали голубое небо над перевалом. Тяжелые, насупленные, похожие на верблюда-дромадера со всклокоченной шерстью на ногах и груди, тучи росли, расширялись, свинцовой тяжестью наваливались на степь, сужая простор. Белый чий у склона бугров чуть покачивался, и кусты его казались девушками, томной походкой удалявшимися в степь. Белые тростники выводили тревожно-жалобную песню, точно молодка, застигнутая суровым и постылым мужем на месте свидания с возлюбленным. Рослая бурая полынь испуганно жалась к земле. Почувствовался запах дождя.

На высоком холме все еще стояла просторная ханская юрта. Другие белые юрты, кольцом поставленные вокруг, спешно разбирались и навьючивались на верблюдов. Было что-то тревожное и печальное в том, что все откочевывали, уезжали и разбредались по домам, а над покинутой ханской юртой одиноко развевался войлочный тундук. На длинном аркане, растянутом на колышках перед юртой в низине, томились на привязи разномастные лошади под причудливыми седлами разных племен: джунгарские, кипчакские, криволукие березовые из северных степей, плоские и широкие, как дно казана, и цельно вырубленные из джиды. На седлах висели доспехи с разнообразными узорами, отделкой, тиснением, свидетельствовавшие о принадлежности их хозяев к тому или иному народу или племени. Многокрасочными были и попоны, чепраки, подпруги с затейливой родовой тамгой. Ветер те-

ребил коням гривы и хвосты. В предчувствии надвигающейся грозы скакуны стригли ушами, выкатывали глаза, жались друг к другу. Сплошной, плотной массой надвигались с юга мрачные тучи.

В ханской юрте сидели полукругом в глубокой задумчивости. Казалось, собравшимся здесь не было дела до тревоги, беспокойства, до неотвратимой бури за войлочными стенами. Иланчик Кадырхан потчевал победителей состязания — батыров, главных распорядителей и судей. Дастархан был заставлен кипчакской едой. Молодежь предпочитала нарын в продолговатых деревянных подносах — кушанье из мелко нарезанного мяса и теста с бульоном, вырезки жеребенка-сосунка на втором и третьем году, жирный хрящеватый подгривок дикого кулана и белый как снег сочный курдюк ягненка раннего приплода. Старики лакомились несильно просоленным горбом молодого верблюда, опаленной головой молочной ярочки, мягко сваренной в глиняных кувшинах. Блаженствовали старики, наслаждаясь ханским угощением, захотелось им еще отведать редкого кипчакского кушанья — акшелек. По их желанию расщепили слуги верблюжьи берцовые кости, вылили густой желтоватый мозг в глубокую миску, накрошили туда мелко нарезанный язык, перемешали ложкой. Попробуй оторваться от такого яства — мипалау! Наевшись до отрыжки, почтенные старцы принялись раздавать акшелек другим гостям, выражая этим благосклонность и особую милость.

Наконец широкий дастархан был свернут. Гости принялись дружно выражать свою сытость, ковыряться в зубах, зевать, прислушиваясь к сытому урчанию в животах. Огул-Барс, сидевший на правом краю, повернулся к порогу, сделал джигиту-подавальщику знак. Тут же вошли верткие, поджарые, как гончие собаки, слуги, неслышно ступая на носках, расстелили свежую скатерть, разбросали по ней изюм, урюк, хурму, сушеную дыню, пастилу. Никто, однако, не дотрагивался до сладостей, все поглядывали на правителя, восседавшего на почетном месте. Два джигита, надсаживаясь, втащили огромный кожаный бурдюк и подвесили его за завязки к кереге — решеткам юрты. Один из джигитов принялся взбалтывать его содержимое шумовкой, другой, засучив рукава, развязал шнурок боковой горловины. Острый, терпкий запах настоянного на кучелябе, приправленного для мягкости курдючным салом, выдержанного до хмельного броже-

ния кумыса, щекоча ноздри, заструился по юрте; большие деревянные чашки, наполненные в меру, поплыли из руки в руку по кругу. Кумыс приятно растекался по жилам, бил в голову, и гости вконец разморились, опьяненные душистым, пенящимся напитком кочевников.

Повелитель пил не спеша, смакуя каждый глоток, слегка взбалтывая всякий раз кумыс во вместительной чаше. Лицо его было непроницаемым, глаза прикрыты; казалось, он весь погрузился в свои мысли. Однако видно было, что на сердце у него неспокойно. Чуть ниже, рядом с Огул-Барсом, сидела юная и храбрая Баршын. Она время от времени притягивала, приковывала к себе ханский взор. Девушка тоже участвовала в состязании батыров наравне с лихими джигитами, и никто не мог сравниться с ней в искусстве метания аркана. Первый приз в этом виде соревнования достался ей. Под общий гул неистовой толпы Иланчик Кадырхан собственноручно укрыл ее плечи золототканым, узорчатым чапаном и передал ей повод призового скакуна. Он тогда уже залюбовался прелестной воительницей, ее тонкой, как гриф кобыза, талией, длинными, извивающимися, как ивовый прут, косами, упругими бедрами, всей плотно сбитой, ладной фигуркой. Однако он скрыл от любопытных глаз вспышку чувства, старался быть спокойным, холодным. Когда он укрывал ее блистательным чапаном, то как бы ненароком обнял ее за плечи, потом, точно змею, стиснул и вытащил из-под воротника ее косу, но не сразу выпустил из руки, а подержал на весу, перебирая пальцами, и она, Баршын, чуткая, конечно же сразу это заметила. Девушка осторожно выскользнула из его цепких тяжелых рук, повернулась, отвесила положенный поклон и, легко вскочив на скакуна, умчалась прочь... Потягивая густой, как ртуть, кумыс из чаши, Иланчик Кадырхан раза два исподлобья покосился было на прекрасную воительницу, обжигая ее полным желания взглядом, и увидел с тайным удовольствием, как проступила на ее смуглых щеках стыдливая краска. Он поспешно отвел глаза. И никто не заметил смущения девушки, а если заметил, то мог это вполне приписать действию хмельного напитка. Огул-Барс негромко покашлял, намекая повелителю, что пора бы уже ему сказать речь. Иланчик Кадырхан увидел, что бурдюк, почти опустошенный, уже не стоял, а лежал, дряблый, в складках, у стенки юрты. Он допил кумыс, сунул чашу прислуживавшему джигиту, взял с дастархa-

на урюк и отправил себе в рот. Пожевал его недолго, подумал.

— Народ мой! Ты еще раз доказал, что прочно стоит на земле твоя юрта, что высок ее шанрак, крепки унины, надежна подпорка. Да будет так и впредь и во веки веков! И пусть трепещет в страхе недруг, да убоится враг! Сейчас ты достойно прошел испытания во всех одиннадцати видах воинских игр. Доволен создатель, довольны наши древние святые духи-аруахи. И да восторжествует всегда славный, непобедимый, неистребимый дух предков! Да разнимет объятия дружбы между племенами кипчаков, вновь открытые ныне на голубом перевале Косеге, только могила!

— Прекрасно сказано!

— Жемчужные слова!

— Истинная мудрость душу просветляет!

Со всех сторон раздавались хвалебные выкрики в честь повелителя. Ветер нещадно трепал тундук, грохнул гром, раскалывая небо, по долинам прокатилось гулкое эхо. Плыли по кругу из рук в руки чаши с кумысом. Девушка Баршын учтиво молчала, чуть повернувшись к мужчинам боком. Повелитель вновь заговорил:

— Да не оскудеет широкий, как кипчакская степь, дастархан Огул-Барса! Да будет всегда таким же щедрым к друзьям его благородное сердце! Пусть на том и на этом свете ярко сверкает его слава! Да возликует его душа, да исполнятся все его желания! Благословим его, народ мой! Ауми-и-ин!..

Все благоговейно пробормотали благословение Огул-Барсу, на глаза стариков навернулись слезы. Молодые заерзали, потупили взоры. Доброе слово, сказывают,— половина блага. Оцени по достоинству высокую речь, воздай хвалу златоусту, чтоб воспылало его сердце,— так говаривали предки. Кочевники-кипчаки знают цену слову. Нет такого степняка, который не внимал бы с благоговением мудрым речам.

А повелитель, оказалось, сказал еще не все.

— Кипчаки! Гонец Огул-Барса несколько дней назад увидел в степи оседланного коня без всадника. Я расспросил всех наместников городов и родовых правителей. Оказалось, ни у кого не потерялся тулпар, никто не лишился своего батыра. Самое непонятное: на передней луке два призывных барабана. Гонец погнался за конем, но изловить его не смог...

— Барабаны — предвестники беды.

— Значит, кто-то войны жаждет!

— Вздор! Просто детская шалость. Нынче их много развелось, шутников-то. Что придет в голову, то и делают.

— Надо поймать коня...

— Легко сказать — «поймать»! Где такого смельчака возьмешь?

— Как бы не попасться в ловушку!

— Нужен батыр, умеющий ловко метать аркан. Иначе не изловить!

Расшумелись гости, строили догадки. Властный голос повелителя установил тишину. Все уставились на него.

— На поимку скакуна, предвещающего беду, хочу отправить Ошакбая и девушку-победительницу Баршын. Один — искусный копейщик, другая — не имеет равных в обращении с арканом. Пусть поймают гулпара, если это не призрак, и выяснят по тавру, чей он. Об этом пусть немедля сообщат в Отрар. И все должно остаться тайной для простого люда. Пока не прояснится дело — никому ни слова!

На том и порешили. Гости обратились к Огул-Барсу, испрашивая позволения разъехаться по домам. «Пора и честь знать,— говорили они.— Гостя приглашают, но не выпроваживают». В последний раз поблагодарили хозяина за радушие, отвернули, по обычаю, край дастархана, разом все поднялись, потянулись вслед за повелителем к выходу. Расторопные джигиты услужливо подавали почетным людям чапаны, камчи, кожаные кебисы, помогали одеваться-обуваться.

Гроза к этому времени разбушевалась и вовсю гуляла над степью. Кони на привязи кидались на дыбы, ошалело храпели, ржали, не слушаясь конюхов, били копытами. Сталкиваясь, они кружились на месте. Степь мгновенно лишилась сонливого простодушия и тоже вздыбилась, ощетинилась. Верблюды, навьюченные разобранными юртами, крепясь под ветром, спускались за перевал. Слуги привычно свалили и белую ханскую юрту, из которой только что вышли гости, стащили вместе и свернули кошмы, убрали войлочные покрывала, смотали в клубки обхватные шерстяные ленты. Батыры различных родов и племен один за другим подходили к Кадырхану, учтиво кланялись, прощаясь перед дальней

дорогой. «Да будет мир и счастье!» — отвечал им повелитель.

Вскоре все разъехались. На высоком холме остались Иланчик Кадырхан, Ошакбай, девушка Баршын и ханский слуга-коневод Максуд.

Иланчик Кадырхан распростер объятия, обнялся с батыром грудь в грудь. Потом осторожно прижал к себе девушку, поцеловал в щеку, сказал им обоим последние напутственные слова. Он расчувствовался, даже проронил слезу и покачнулся, словно могучее дерево в бурю. Тяжело было ему расставаться со всеми этими людьми, собравшимися в далекий и опасный путь. Тягостна разлука с единокровными соплеменниками. Они — краса и гордость степи, ее смех и радость, ее песни и сказание. Без них и степь оскудеет, и на душе пустынно, тоскливо. Вот стоит он теперь, как отставший от кочевья путник, как одинокое дерево, лишенное побегов и листьев. Еще недавно эти листья шумели, перешептывались, напевали ему песни, а теперь уныло торчат во все стороны черные, кривые ветви. Правильно говорится в древних книгах: разлука друзей-ровесников подобна смерти. Утрата невосполнима, горе неутешно, дух подавлен...

В детстве Иланчик Кадырхан остался однажды один у погасшего очага ушедшего кочевья. Ни отец, забывавший в походах обо всем на свете, ни мать, самозабвенно любившая торжество кочевок, не заметили исчезновения мальчика. Родители всецело надеялись на девушек-служанок, а у них — известное дело — в походах одни пересмешки на уме, им лишь бы с джигитами заигрывать. Поручили служанки несмышленыша-мальчишку глухой старухе. Кочевье двигалось, растянувшись длинной цепью. Лишь вечером на стоянке спохватились, что нет мальчика. Глухая старуха с пряжей в руках безмятежно спала под балдахином. Девушки-служанки вернулись со свидания лишь к ночи на взмыленных лошадях. Заохали, узнав, что нет мальчика, засуетились, поскакали туда-сюда. Отец нашел сына только на вторые сутки. Пятилетний мальчик брел по степи и собирал дикий лук. С трудом удалось тогда его утешить. Это давнее событие потрясло всю душу Кадырхана, неизгладимой зарубкой легло на сердце, придало его характеру суровость и жестокость. Сейчас, покидая, по обычаю, место ристалища последним, стоя одиноко на холме в обез-

людевшей степи, повелитель помнил до малейших подробностей печальный случай из далекого детства. Одиночество всегда пугало Иланчика Кадырхана.

8

Первую ночь батыр Ошакбай и девушка Баршын, выехавшие на поиски таинственного коня без седока, провели в однообразно унылой степи Атрабата. Недавно прошумевший ливень смыл все следы, не оставив никаких признаков жизни. Где-то здесь, на этой равнине, встретил гонец Огул-Барса одинокого скакуна.

Кони выдохлись. Мокрый белый суглинок тяжелыми комьями налипал на копыта. Всадники тоже устали. Их познабливало, бросало в жар, от напряжения слезились глаза. Когда солнце склонилось к горизонту, они начали искать удобное место для привала. Искали долго, наконец облюбовали небольшой бугорок, заросший кустами тамариска. Бугорок этот был только с виду, на самом же деле он почти не возвышался над плоской равниной. Куда здесь ни посмотри, взгляду не за что уцепиться. Во все стороны колыхался чахлый и однообразный перистый ковыль. Лишь верхушки тамариска на бугорке были объедены каким-то животным.

Ошакбай чембуром спутал лошадей, соорудил для себя и Баршын лежбище, подложив к изголовью седла и расстелив войлочные потники. Потом нарвал поблизости охапку ковыля, разложил у изножья. Он делал это молча, сосредоточенно, чувствуя, как нетерпеливый огонь сжигает его изнутри. «Может быть, это солнце так печет?» — подумал он. Но над горизонтом багрово пылала уже лишь половина солнечного диска. Девушка кружила в стороне, высматривала следы.

— Верхушки тамариска обглодал дикий кулан,— сообщила она.

Ошакбай опять почувствовал в крови странный жар. Он развязал торбу. Баршын подошла, опустилась на колени, расстелила платок. Он достал вареное мясо, вяленый подгривок, нарезал на небольшие продолговатые куски и, не спеша, вытер острый, старинной формы нож о пучок травы, спрятал его в чехол.

— Память отца,— коротко заметил джигит.

Они принялись за трепезу на вольном просторе. Ошакбаю хотелось развлечь девушку, назвать ее по име-

ни, но непонятное волнение сковывало его. Баршын сидела боком, смотрела вдаль, и лицо ее пылало в лучах заходящего солнца, сливалось с золотистым багрянцем. Буйный вихрь прокатился по жилам Ошакбая. Он не мог есть из-за сладкого желания, неодолимо охватившего его. Она тоже не ела из-за страха перед чем-то неведомым, неотвратимым. Впервые оставалась девушка Баршын наедине с храбрым воином-джигитом в безлюдной степи. Впервые предстояло провести ночь на бугорке, заросшем скудным тамариском.

От тревожных дум, в предчувствии чего-то неизбежного ей хотелось плакать. В горле застрял горький ком, дыхание стеснило грудь. Шальная мысль приходила в голову: а что, если она сейчас сорвется, побежит к коню, распутает его и поскачет куда глаза глядят, разбудит, всколыхнет дремучее, безмолвное пространство? Но мысль эта тут же угасла, парализованная смутным страхом.

С восходом луны они решили лечь и выспаться всласть.

Луна взошла в свой час, и они, притихшие, покорные, легли. Но сон не шел. Батыр поворочался, поерзал, повздыхал, наконец придвинулся к девушке, дрожащим голосом прошептал ее имя. Она вздрогнула, промолчала. Горячее дыхание обожгло его. Он облизнул губы, открыл глаза, резко повернулся на бок. Но опять не решился сказать ей желанное, сокровенное. Он стеснялся даже коснуться ее руками. Девушка дрожала все сильней. Безжизненная степь, казалось, теперь кишмя кишела разными тварями, а недавно безмолвное пространство точно наполнилось диковинными звуками — плачем, воем, всхлипами, шипением, свистом.

Над ними сияло созвездие Семи разбойников [1]. Ошакбай вспомнил древнее предание, рассказанное когда-то отцом. Эти звезды — живые человеческие души, их бессмертный дух на небе. Две звезды, стоящие близко у южного склона,— жених и его дружка. Крохотная боковая звездочка — невеста, которую жених выкрал у недоброго отца. Остальные пять крупных звезд, расположившиеся вслед,— пять разбойников. Они хотят догнать влюбленных, убить дерзкого джигита-жениха и захва-

---

[1] Большая Медведица.

тить, заполонить красавицу невесту. Тьму тем веков продолжается погоня. Когда разбойник, идущий впереди, догонит жениха и невесту — наступит конец света. Так говорят оракулы, предсказывающие судьбы по звездам.

Ошакбай ровным голосом поведал девушке древнее предание.

Баршын выслушала молча, и он поднял голову, заглянул ей в глаза. Они были полны слез. Задумчиво смотрела она на яркое созвездие над головой. Зрачки загадочно поблескивали при свете луны и сами были похожи на звезды.

— Хоть бы не догнали их, пока мы не состаримся,— дрожащим голосом прошептала она.

— Не догонят...— ответил он.— Если только, как мы, не замешкаются на привале.

— У них, наверное, лошади не выдохнутся,— предположила Баршын.

— Кто знает...— засомневался Ошакбай.

Его поразила детская доверчивость девушки. Он сразу осмелел, склонился над ней, порывисто поцеловал в щеку. Вся она пылала, как раскаленные угольи: то ли от смущения, то ли от нетерпения. Всем своим существом почувствовал джигит, как она вздрогнула и напряглась, пытаясь отстраниться от него. Тогда он еще крепче схватил ее, не позволяя вырваться, жадно целовал, задыхаясь, ее щеки, шею, лоб, ловил плотно стиснутые губы.

— Опомнись, батыр!

— Люблю тебя!..

— Не губи до супружеского ложа...

— Степь бескрайняя — наше супружеское ложе!

— Пусти!

— Люблю тебя!

— Пусти!

— Ты любовь моя! Желанная!..

Девушка сделала последнее усилие вырваться из его нетерпеливых объятий. Однако джигит был во власти мрачной решимости, бормотал бессвязные, бессмысленные любовные слова. Она же понемногу покорялась, теряла силы, смирялась перед его неистовостью и настойчивостью. Слезы брызнули из ее глаз. Но он уже ничего не замечал, не видел. Она застыла в страхе, не смея уже шевельнуться, даже вздохнуть, только до боли сжала пальцы, закусила губы. И вдруг ощутила невыно-

симую тяжесть, словно все ее тело налилось свинцом. Будто разом лишилась всего многообразия чувств, выражавшегося до сего дня, до этой минуты в смехе, гневе, ярости, радости, горести, ненависти, досаде, тоске, восторге, надежде, стремлении, ожидании,— лишилась всего того, чем жила повседневно до сих пор. Все ушло сейчас, все улетучилось, стало несущественным, незначительным. Сейчас был только он, яростный и могущественный, была она, покорная, удивительно притихшая, спокойная, добрая и женственно мудрая, как сама природа, была привольная дикая степь под низким черным небом... Он замер, размяк, поднялся, тяжело дыша. Растерянно скользнул взглядом по ее лицу. Она продолжала лежать, закусив кончик косы. Грудь ее бурно вздымалась и опускалась. Может быть, ее душили слезы? Он почувствовал острую жалость к ней и понял, что полюбил навсегда. Восторг и гордость бушевали в нем, будто одержал он самую крупную победу на поле брани...

Неподвижными глазами уставилась Баршын на созвездие Семи разбойников. Звезды мерцали. Казалось, ожили всадники, понеслись вновь бешеным наметом. Разбойники неумолимо настигали жениха и невесту. Видно, один из них пустил стрелу: рядом сорвалась звезда, пала в черную пучину. Еще немного, еще лишь два-три скачка — погоня настигнет влюбленных. А они не спешат, даже не двигаются с места: то ли коням дают передышку, то ли уснули, то ли вовсе забыли об опасности. Баршын зябко поежилась, пошарила вокруг в смятой чахлой траве. Жуткая опустошенность захлестнула ее. Кружилась голова, поташнивало. Две холодные слезинки потекли к ушам, озноб сменился жаром...

В ней давно жило это странное ощущение — предчувствие неминуемой потери, неотвратимого крушения всех взлелеянных в душе тайн, сладкой мечты, смутных надежд.

Детство ее прошло у подножия горы Караспан. Она была единственной дочерью табунщика. Мать умерла рано. Девочка росла своевольной, капризной озорницей. Отец купил ей однажды на Кан-базаре Отрара большую золотую брошь. Не выдержал, уступил настойчивым мольбам дочери. Она не расставалась с редким украшением, носила ее на груди. Мачеха выходила из себя, кляла падчерицу: «Нищебродка, срам прикрыть нечем,

а золотую брошь нацепила!» Не успокоилась мачеха, пока не отобрала отцовский подарок, спрятала на дне ларя. Отец-табунщик днями пропадал в степи, до мозоли натирая седалище в жестком седле. А у Баршын на уме была одна золотая брошь. Незаметно для мачехи перерыла она весь дом и нашла-таки ее. Кое-как прицепила брошь к вороту и во весь дух помчалась к подружке похвастать находкой. Но радость обернулась горем. Перед их юртой находился родник и протекал рекой. Перепрыгивая через него, Баршын уронила брошь. Весь день она обшаривала дно ручья, искала потерю, но так и не нашла. То ли в расщелину провалилась брошь, то ли вода смыла, унесла. Ох, и бушевала тогда мачеха! Поток проклятий обрушила злая женщина на падчерицу. И за косы драла, и тумаков понадавала, и ненасытной обжорой-бедой красноглазой обозвала, и пожелала, чтоб негодницу земля проглотила. Потом еще и отцу пожаловалась, все уши ему прожужжала. А он был измучен дорогой, сильно не в духе и в сердцах пробурчал: «От такой девки добра не жди!»

До сих пор звучат в ушах несправедливые отцовские слова. Незалеченной раной легли они на сердце.

С того времени Баршын возненавидела всякие девичьи украшения, огрубела, замкнулась и стала похожа на сверстников-мальчишек. Одевалась так, как они, на лошади держалась лихим джигитом, и движения ее стали резкими, угловатыми. С отцом она часто пасла табун. Ручей перед их юртой после того события стали называть Золотой водопой. Он и теперь еще все течет мимо их дома. С грустью вспомнилось все это Баршын. Ей почудилось, что отныне высох, исчез золотой ручей ее девичества...

Ошакбай вновь прижался к ней, обнял уверенно. Она покорно приникла к его большому телу, дрожа, как перепуганная косуля. А он утешал ее, гладил, говорил ласковые слова:

— Любовь моя! Желанная!..

Забрезжил рассвет. Стало видно, что лошади заметно удалились от места привала. Осоку вокруг они тщательно выщипали. Ошакбай пошел за лошадьми, снял путы, привел отдохнувших за ночь скакунов. Она молча подавала ему чепрак, потник, седло, чересседельник, подпругу, седельные подушки. Оба были задумчивы,

взволнованны. Ели нехотя, через силу. Оседлав коней, начали сами облачаться в доспехи.

Баршын отошла в кусты тамариска, но кусты были редкие, чахлые, и он, стыдясь, все же невольно замечал каждое движение девушки. Она приподняла длинное, в оборках, шелковое платье, надела шаровары с раструбами на штанинах, заправила платье вовнутрь и туго подпоясалась ремнем. Потом надела бархатную безрукавку, на голову — круглую шапочку из выдры, навесила на шею колчан, взяла в руки лук и вышла, подтянутая, из засады. Джигита точно пламенем обдало. В это время из-за горизонта выкатилось солнце, как бы подчеркивая, оттеняя красу юной воительницы. Белый лоб девушки под отороченной пышным мехом шапкой был похож на заходящую луну. Этот чистый выпуклый девичий лоб поэты часто сравнивают с серебряной рукоятью царского жезла. Пожалуй, это верное сравнение. Черные густые брови срослись на переносице. Глаза большие, с круглыми зрачками, с небольшим светлым ободком. Нос, прямой, точеный, придает лицу гордый вид. Три дня тому назад, на соревновании батыров, щеки ее пылали подобно спелым яблокам. Сейчас они побледнели, лицо осунулось, под глазами легла тень. Верхнюю губу она прикусила, а нижняя, тонкая-тонкая, была сплошь иссечена. Это удивило молодого батыра. Подбородок у девушки был нежный, овальный, похожий на искусно выточенную деку кобыза. С левой стороны на подбородке темнела крохотная родинка. Плечи покатые; шея круглая, длинная; под плотной безрукавкой видны были твердые, по-девичьи острые груди.

Она перехватила его восторженный взгляд, рассмеялась:

— Что, батыр? Не узнаешь меня, что ли?!

Все так же улыбаясь, приняла она от него повод, набросила на седло колчан и лук. Ошакбай поддержал ее под локоть, помог взобраться на коня. Потом и сам легко взлетел на своего тулпара. Ее шутливый тон, улыбка, многозначительный взгляд пьянили джигита, сладким дурманом обволакивали душу. Баршын сразу заметила это и поспешила вернуть его к действительности:

— Батыр! Второй день рыщем по степи, а все без толку. И глаза наши утомились, и душа омрачилась. Не лучше ли нам разъехаться и поискать поодиночке?

А вечером, перед закатом, встретимся у соленого устья реки Шу...

— Я и сам хотел тебе это предложить. Но опасался: вдруг заблудишься или побоишься ехать одна. Конечно, в одиночку мы успеем за день увидеть больше. Может быть, так мы скорее найдем одинокого скакуна?

— Значит, договорились?

— Договорились. У соленого устья...

Он отвязал мешочек на тороке, протянул Баршын. Она отказалась, и тогда он силком привязал мешочек к ее седлу.

— Обо мне не беспокойся. Проголодаюсь — набью дичи. Джигита прокормит дорога, говорят. А ты смотри не заблудись. Да гляди в оба! И чтобы еще до сумерек была на условленном месте!

Он приказывал уже ей как собственной жене. Но Баршын ничуть не оскорбилась, только смерила его быстрым взглядом. Ошакбай, однако, и не приказывал вовсе. Он заботился о ней, как о самом дорогом человеке. Подъехав вплотную, он обнял ее за стан, попытался поцеловать перед разлукой, чтобы выразить в поцелуе свою любовь, нежность и признательность, но Баршын легко высвободилась и с места пустила коня в карьер. Она удалялась стремительно и вскоре превратилась в едва заметную чернеющую точку где-то на юге и, наконец, исчезла за тонкой полоской горизонта плоской, как стол, степи.

Ошакбай повернул к северу. Недавняя ликующая радость уступила место непонятной тревоге. Сердце точно предчувствовало беду. Он все чаще посматривал в ту сторону, куда уехала его возлюбленная. Тоска усиливалась. Ему почудилось, что больше уже не увидит он славную воительницу Баршын. Никогда еще так не ныла у него душа.

Солнце поднялось на длину аркана. Вокруг — куда ни посмотри — простиралась все та же однообразная, ровная — хоть играй на ней в асыки — голая степь. То здесь, то там лишь встречались сиротливые кустики тамариска. Да и этот редкий пустынный тамариск завял, зачах, посивел весь от нещадного солнца, от жажды, от затвердевшего птичьего помета, от воющего круглый год ветра. Конь шел ровной рысью. Вдруг батыру показалось, что далеко, у самой кромки степи, промелькнули какие-то тени, будто низко над землей пролетели дуа-

даки — дрофы. Он ослабил поводья, пустил коня наметом. Горячий ветер упруго ударил ему в лицо. Странные тени так же неожиданно и бесследно исчезли. Может быть, кто-то или что-то притаилось за кустиком, или это всего-навсего одинокий куст тамариска... Трудно понять.

Он перевел коня на волчий скок и вскоре увидел ясные отпечатки лошадиных копыт. Сердце его екнуло. Но это не был след одинокого тулпара. Здесь проезжали гуськом, след в след, по меньшей мере шесть всадников. Ошакбай оглянулся. Холодное подозрение вселилось в него. Мерины или молодые кони, выделенные в косяк, скачут по степи вольно, рядком, а не сбиваясь плотно, как овцы. Странно, странно... Все тем же волчьим скоком ехал он по узкой тропинке до обеда, пока солнце не достигло зенита. Но ничего больше не увидел.

По этой нескончаемой цепочке следов так и рысил батыр до времени послеполуденной молитвы. Вдалеке, у горизонта, голубой нитью вилась река Шу. Но вскоре он и ее потерял из виду. Река скрылась за густыми прибрежными зарослями, словно за плотной зеленой ширмой. Ошакбай натянул поводья, привстал на стременах, зорко поглядывая в обе стороны. До рези в глазах обшарил взглядом зыбкий горизонт.

Приближалось соленое устье Карикен, где ему предстояло встретиться с Баршын. Большие солончаковые плеши, покрытые редкими черными колючками, со временем превратились в огромное плато, белесое от веками накопленной соли. Сверху пластами здесь слоилась соль, а глубже были топкие глина, грязь. Ошакбай свернул на восток вдоль солончаков Карикена. Далеко впереди замаячила одинокая фигура всадника. На сердце его сразу отлегло. Он не мог ошибиться и узнал седока.

Карикен был знаменательным местом. На эти болотистые топи, покрытые соленым налетом, точно коростой, истресканной вкривь и вкось, стекается со всех сторон с караванами хворый, страждущий люд. Здесь ставят кибитки, выкапывают ямины и зарываются в вязкую, насквозь пропитанную солью грязь. Этой лечебной грязью пользуются по-разному. Иные лежат подолгу, до полного изнеможения, другие — умеренно. Важно не уснуть невзначай, разомлев, разморившись, в грязевой яме. Выбравшись из ямины, больные смывают грязь в больших чанах с чистой пресной водой, тепло одеваются,

потом отдыхают в кибитках, потягивая горячий бульон из свежего молодого мяса. Все тело прошибает пот, мышцы расслабляются и приятно ноют, кости будто плавятся, соль пропитывает все клетки, изгоняя, вытравливая простудную хворь. Многие болезни излечиваются здесь. Для лечения выбирают обычно самые знойные летние месяцы. Как подует раскаленный суховей, так и начинается паломничество на лечебные грязи Карикена...

Ошакбай спустился в низину. Внимание его привлек куст черного караганника неподалеку, вернее, не столько сам караган, сколько желтоватый степной колючий тростник, росший рядом. Эти растения никогда вместе не растут. Ошакбай вгляделся пристальней и вдруг ясно увидел, как промелькнул в кустах лошадиный хвост. Потемнело в глазах у батыра, все поплыло. Сомнений не было: вот она, лихая беда!

«Так вот он где, одинокий скакун с барабанами на луке!» — подумал Ошакбай. Он зажал шенкеля, пустил коня рысью по склону. Седло заскользило вперед, под ногами темнели опасные ямины-колоды, но Ошакбай уже ни на что не обращал внимания. Он спешил к тому месту, где только что промелькнул лошадиный хвост. Надо было не мешкая и во что бы то ни стало поймать таинственного предвестника беды.

За спиной уже заходило солнце. Багрово-красные лучи пронизывали кусты черного тростника, ярко отражаясь на пластинах и украшениях сбруи безмятежно дремавшего меж ними скакуна. На передней луке барабанов Ошакбай не заметил. «Видно, оборвались завязки»,— подумал он. Пригнувшись к гриве, батыр понесся вперед галопом, но конь в кустах не запрядал даже ушами, не шелохнулся, и это еще больше удивило и насторожило Ошакбая. В потоках красных предзакатных лучей он подъехал почти вплотную, на расстояние курука[1], осадил коня на всем скаку и похолодел. Волосы зашевелились на голове...

Из-под коня, спокойно стоявшего в кустах, неуклюже поднялся громадный человек и, неожиданно метнувшись к нему, схватил скакуна Ошакбая под уздцы. Скакун дико заржал, попятился назад, встал на дыбы. Ошакбай одной рукой вцепился в гриву, другой судорожно вы-

---

[1] Длинный шест с петлей на конце для ловли неприрученных лошадей.

хватил из-под бедра копье и ударил древком по рукам нападавшего.

Высвободившись из цепких рук неизвестного, скакун отпрянул в сторону и понес. Однако его тут же настигла стрела, вонзилась в брюхо до основания, и конь рухнул на всем скаку. Ошакбай не успел даже вытащить ногу. В то же мгновение точно из-под земли выросли пятеро верховых и стали его окружать. Он отчаянно рванулся, высвободил ногу, но копье с треском сломалось. Батыр еще не успел сообразить, что случилось, как жестким арканом захлестнуло ему горло. Он, однако, устоял на ногах и, обеими руками растягивая волосяную петлю, побежал вслед за всадником, волочившим его на аркане.

Теперь у него оставалось лишь одно оружие — небольшой, старинной формы, кривой нож за поясом. Он лишь вспомнил о нем, но дотянуться сейчас до него не мог. Петля затягивалась все туже, теснила дыхание, перед глазами заиграло-поплыло многоцветное марево. Пятеро всадников сбили его, повалили, скрутили, заломили руки и лишь после этого сняли с шеи аркан. Потом так же быстро его подсадили к хвосту лошади, привязали к седлу.

И тут он увидел, как яростным галопом мчится к нему Баршын. Еще издали увидела она беду, вскрикнула пронзительно, по-бабьи, и поскакала кругами, не смея подступиться к насильникам. Она плакала в голос, звала на помощь, слала проклятия на подлых врагов. Отчаяние любимой еще больше подстегнуло ярость батыра. Он напрягся и, со страшной силой рванув аркан, освободил руку. Медлить было нельзя. Безоружный, пеший он не сможет сладить с шестерыми: сам погибнет и Баршын погубит.

Ошакбай выхватил небольшой кривой нож. Громадный человек, почувствовав неладное, обернулся. Батыр одним ударом вспорол ему грудь, и тот взревел, завалился назад грузно, обливаясь кровью. Ошакбай попытался столкнуть его с седла, но это не удалось — мертвец лежал камнем. Тут-то и настигла Ошакбая арканная петля вторично, змеей обвила шею.

Задыхаясь, крикнул батыр возлюбленной:

— Спасайся! Если не вернусь через три дня, считайте, что я погиб. Чтобы люди знали мою могилу, захороните вот этот палец!

С этими словами он приложил большой палец левой

руки к седлу, ловко отсек кривым ножом и швырнул Баршын. Она поймала на лету окровавленный отрубок. Двое спешно влетели в седла и пустились ей вдогонку. Казалось, только теперь храбрая воительница осознала всю опасность. Круто повернула скакуна и, не переставая кричать, помчалась во весь опор. Павшим в траву камнем исчезла она в надвигающихся сумерках. Выкрикивая страшные проклятия, преследовали ее двое.

Оставшиеся трое легко подмяли полузадушенного Ошакбая, придавили коленями и топтали его, точно войлок катали. Они вновь связали его крепко-накрепко сыромятными чембурами. Мертвый верзила так сильно зажал шенкеля и вцепился в гриву, что его лишь с превеликим трудом, протаскивая под него камчи, кое-как стянули с лошади. Насильники обливались потом, кряхтели, ругались, как кокпарщики при козлодрании. Ошакбай ахнул, узнав в убитом того самого джунгарина, с которым сражался на соревновании батыров. Остальные не были похожи на джунгар. По одежде, доспехам, конской сбруе они больше смахивали на монголов, хоть и не были монголами. Долговязый, чернолицый — должно быть, главарь шайки — яростно поплевал на ладони:

— Не мой аркан, лежать бы всем вам со вспоротыми брюхами. А эти псы, что погнались за сучкой, вижу, тоже вернутся высунув языки!

Так обычно выражаются люди из разномастных пограничных племен, обитающих в Джунгарии, между северными отрогами гор Алатау. Теперь Ошакбай убедился, что разбойники — не кипчаки. Главарь шайки между тем бранил всех подряд:

— Презренные трусы! При виде какого-то кипчака уже в штаны накладываете. Юлите задами, точно верблюд, через которого перепрыгнул тигр!

В этом главарь был, несомненно, прав. Если через лежащего верблюда перепрыгнул однажды тигр, этому животному приходит конец. То ли со страху, то ли по какой-то сверхъестественной тигриной воле верблюд становится вялым, хилым, как бы больным. Он чахнет на глазах, и опытные верблюжатники предпочитают в таких случаях пустить бедную скотину на мясо.

Главарь шайки связал руки-ноги Ошакбая волосяным арканом в виде коржуна — переметной сумы, сквозь узел протолкнул палку, крепко закрутил ее. Этот древний вид пытки назывался бурау — верчение, закру-

чивание. Волосяной аркан невыносимо впился в кожу, рвал жилы. Из глаз брызнули слезы, от адской боли помутилось сознание. Хрустнули суставы, заныли кости. Казалось, вот-вот душа покинет тело. Ошакбай крепился, до крови закусил губу, чтобы не застонать. Главарь шайки продолжал закручивание, пока молодой батыр не потерял сознание...

Когда Ошакбай очнулся, главарь, тяжело дыша, сидел в сторонке и что-то бурчал себе под нос, яростно отплевываясь. До Ошакбая доносились лишь обрывки фраз.

— Бауршик-ака, пленника вы сами повезете? — спросили у главаря.

— У, пусть опозорят могилу твоего отца!.. Дрожишь, обмочиться готов небось, а?! Не я — ты повезешь, щенок! Чего боишься? Эта собака теперь и пошевельнуться не посмеет!

Связанного Ошакбая швырнули на круп коня. В седло главарь посадил молодого сарбаза. Другой робко спросил:

— Бауршик-ака! Как же быть с... мертвецом?

— У, мать твою опозорить! Брось дохлого джунгара в грязевую колоду. Пусть подумают, что околел от лечения!

Шайка тронулась в путь.

9

Из-за перевала выглянуло робкое, точно подернутое пленкой солнце. Края небосвода казались затянутыми сероватой полоской, будто ободок немытой чаши — слизистым налетом. По степи бродили-зыбились причудливые миражи. Все вокруг было смутным, сумрачным, потому что воспринималось через высохшую до прозрачности, до звона баранью лопатку. Знаменитый в этих краях прорицатель, святой ведун Жаланаш через тонкую кость обозревал окрестности. Наспех пробормотав предутреннюю молитву — памдат, из двух поклонов восхваления и двукратного благодарения, святой накинул на голое тело грубый верблюжий чапан и поплелся к караульному холму Жеты-тюбе — Семь бугров, протянувшемуся с востока на запад,— твердыне и обители кипчакского рода конрат. Предсказатель забрался на самую ее вершину, приказал сопровождающему мальчи-

ку-слуге расстелить подстилку из шейной части верблюжьей шкуры, взял в руки иссохшую лопатку и начал взывать к духам.

Взывал он неистово, исступленно, дрожа всем телом. Звал он отвернувшуюся от него в последнее время удачу. Сквозь тонкую кость смотрел на солнце, стараясь увидеть знамение небес. Далеко за холмом простиралась равнина под названием Волчьи игрища, за ней — бескрайнее светлое пространство, а еще дальше — таинственное обиталище духов, мир чистых и нечистых сил. Напряженно всматривался в миражную даль предсказатель, силясь представить затейливую игру священных теней.

Все больше и больше сужались маленькие, косые глазки святого Жаланаша, пока не превратились в тонюсенькую щелку, однако вдохновение не находило, ничего ему не виделось и не мерещилось. Дух был обескрылен и не мог воспарить, он волочился тяжелым брюхом по земле, точно ястреб, нажравшийся свежатины. Не везет что-то ныне многоопытному ведуну. Хоть локти себе кусай... Не может он почему-то предвидеть превратности дурных времен. Отступились от него духи. Он устало оторвался от лопатки, уставился слезящимися глазами на голое колено. По нему деловито полз, взбирался вверх муравей. От щелчка муравей отлетел прочь. Предсказатель прикрыл полой халата дряблые ноги. Непонятная злоба обуяла его, и святой скверно выругался.

Вспомнился святому Жаланашу вчерашний разговор с — чтоб земля ее проглотила! — зоркоглазой молодкой. Она — доморощенная провидица, обыкновенная длинноволосая, патлатая баба, о которой принято говорить: кобылица на скачках приза не добудет. Так-то оно так. Баба и есть баба, будь она хоть трижды прозорливой. И все же изрядно попортила она жизнь ему, великому, признанному гадальщику, ведуну, оракулу, предсказателю, провидцу, прорицателю Жаланашу. Пай-пай-пай!.. Есть все-таки у этой стервы дар. То ли пошла в отца-охотника, славившегося меткостью, то ли сам всевышний наградил ее орлиной зоркостью, но только действительно все видела, все замечала эта молодица за семью перевалами, за тридевять земель. Знаменитая она стала, и все признали ее прозорливой. Раздули ее славу на всю округу, на всю необъятную степь. Что

же, так и бывает в мире. В смутные, лихие годы люди, уставшие от бесконечных походов и набегов, почитали зоркоглазую молодку как свою верную заступницу, не понимая, что всем этим может заниматься лишь настоящий прорицатель. Посадили ее на караульный холм, чтобы глядела в оба и предупреждала земляков-сородичей о надвигающейся опасности. А потом молодой батыр Ошакбай поставил для нее специальную юрту, взял под свое покровительство, определил местом жительства Жеты-тюбе.

О, лживое время! О, подлые нравы!

С тех пор он, старый Жаланаш, люто возненавидел ее, как паршивую собаку, стащившую с его дастархана сладкую кость. Из-за этой бабы он лишился сна, из самой глубины его сердца источались проклятия на ее голову. Не раз обращался святой к создателю с горячей мольбой: «Избавь меня от патлатой бабы! Ослепи ее всевидящие гляделки!» Нет, не помогало, не внимал всевышний его мольбе, не ослеплял ее, не убирал нечестивицу. На холмах, отведенных для кладбища, для родового склепа, эта негодница воздвигла сторожевую башню. Она соперничала с ним во всем, а вскоре и вовсе вытеснила его, затмила славой. Люди что отара безмозглых овец, слепо бредущих за самоуверенным рогачом-козлом. Что бы ни молола зоркоглазая молодка, все им кажется священной истиной. Только и знают, что в рот ей заглядывать. Его, святого Жаланаша, почитать перестали и всерьез не принимают, словно разуверились в его силе и могуществе. Лишь изредка по старой памяти приглашают на похороны отходную молитву читать. Вот как оно бывает, когда отворачивается судьба!

Ошакбай-батыр тоже как свихнулся. В аулах покой да благодать, род размножается, ни забот, ни хлопот, а батыр и про дела, богу угодные, забыл, и со святым походя здороваться начал. Все думы его теперь о девках, о женитьбе. На пуховиках нежится, о сладких объятиях мечтает. Только хотел было обзавестить долгополой — встретился с зоркоглазой молодкой. Забегал, завертелся, точно пес блудливый в пору собачьей свадьбы. А та, еще недавно за какой-нибудь месяц загнавшая муженька в могилу, в два счета окрутила простодушного батыра, враз заморочила его тыквенную голову.

Намеревался было святой Жаланаш предостеречь молодого неопытного батыра. «Ошакбай-батыр,— хотел он ему сказать,— ты молод, красив и могуч. Ты можешь взять себе в жены ханскую дочь. Не путайся ради бога с этой. Держись от нее на расстоянии дневного пути!» Но так и не сказал. Все как-то не подворачивался случай. А потом узнал, что уехал Ошакбай на игрища батыров...

Да, вспомнилась сейчас святому Жаланашу вчерашняя беседа с зоркоглазой молодкой — пророчицей.

Первое, что он осознанно увидел в детстве, была тонкая баранья лопатка. Она висела на его люльке. Отец тоже был предсказателем. Одни предсказывают по звездам, другие — по картам, третьи — на зернах и четках. Отец предсказывал на сухой овечьей лопатке. Отправляясь в лучший мир, он завещал свое ремесло сыну. Правда, сын пошел бы по стопам отца и без завещания. Просто иного пути он не представлял. Сколько себя помнит, разговор всегда был об одном: о предсказателях, об их чудодейственной силе, о пророческих видениях, о священных лопатках, на которых начертаны судьбы людей. Сухая, пожелтевшая от времени лопатка сопровождала его всюду: она висела на люльке, потом — у стенки, у изголовья, потом — на поясе, потом — у седла. Он видел ее и во сне. Издревле обучали предсказателей на лопатке с самого раннего детства. Учили наблюдательности, внимательности, умению замечать, сопоставлять, размышлять, велеречиво, искусно и занятно говорить. Жаланаш с начала до конца прошел суровую школу провидца. Умение предсказывать — дар врожденный, и судьба провидца нелегка. Так утверждает народ.

Жаланаш не уронил чести наследственного ремесла, развил его, прославил далеко за пределами родного края. Все, что он предсказывал, неизменно сбывалось. Когда он, затаив дыхание и всецело отстраняясь от земной суеты, предавался созерцанию лопатки, перед его глазами виделось сразу многое. Он изрекал: «В таком-то году обрушится на нас такая-то беда!», и у людей в ужасе немел язык и волосы шевелились от страха. Ему особенно удавались предсказания не на несколько дней, недель или месяцев вперед, а такие, которые говорили

о том, что будет через семь, десять, а то и двадцать лет. Он красноречиво и туманно рассказывал о лихих годинах, о годах сиротства, о безвременье. Счастье и богатство, видно, ходит за скотиной. Чем больше овец водилось в его хлеву, тем чаще обращались к нему люди с просьбой предсказать, погадать, растолковать. Слава его возвышалась над всеми, как одинокое дерево в степи. Имя провидца Жаланаша гремело по верховьям и низовьям, как барабанная дробь перед боем.

Да, были, были времена! Но пришла пора набегов и походов. Люди потеряли страх. Откуда ни возьмись появилась, словно кочка на ровном месте, зоркоглазая молодка, и все отныне слушали ее. А она, длинноволосая, вовсе не предсказывала, как все порядочные провидцы, а взбиралась на караульную вышку, подолгу всматривалась во все стороны и говорила обо всем, что попадалось на глаза. Если сообщала: «Идет караван!», в аулах спешно готовили товар для обмена. Если говорила: «Скачет враг!», мужчины облачались в доспехи, седлали коней. Жители мирных аулов мигом уходили в непроходимые прибрежные тугаи Инжу, воины устраивали засаду, чтобы в нужный момент обрушиться на пришельцев. Ну, и возносят, разумеется, зоркоглазую молодку-спасительницу. Уж так созданы людишки, что их больше интересует то, что будет сегодня или завтра, а не то, что сбудется (а может, и не сбудется) через десять или двадцать лет. Э-хе-хе...

Подумал обо всем этом святой Жаланаш — и даже взвыл от досады и обиды. Грешное словцо вырвалось невзначай. Тьфу, тьфу!.. Этак и всех духов отпугнуть не мудрено. Ну, что там говорить, пришлось схлестнуться с зоркоглазой молодкой, сцепиться перед народом, точно они простые певцы-сказители, затеявшие нескончаемый публичный спор. Ох и схватились не на жизнь — на смерть! Горло драли до хрипоты, будто вздорные старички, одурманившие себя маковым настоем. Но разве бабу в словесной схватке одолеешь?! Отдышался святой, оглянулся на народ и ужаснулся. Все отвернулись от него, и люди в толпе перешептывались: «Видно, вконец свихнулся святой». Э... была не была! Жить-то ведь надо. И святой Жаланаш прибег к последней уловке.

Вчера вечером наконец-то и решился этот спор.

Почтенные белобородые старцы, собравшиеся в знаменитой усыпальнице Кок-кешек в юго-западной части построенного сунаками города Сыгынак, вначале выслушали его, святого Жаланаша. Он призвал на помощь все свое красноречие. Ведь утопающий тоже за соломинку хватается. Сказал торжественно, с дрожью в голосе: «О народ мой! О люди добрые!» Закатил глаза, выдержал подобающую паузу. От жалости к себе слезу пустил. «День и ночь думая о судьбе народа, я сна лишился. Крошка хлеба через глотку не проходит». Убедившись, что от его проникновенных слов у сердобольных аксакалов дрогнули сердца, святой продолжал с пафосом: «Мой предок в седьмом колене был сподвижником пророка-сахаба. От него родился Арыстанбаба, а дальше пошли сплошь святые Сикым, Хикым. Народ знатный, именитый, грамотный, познавший великую науку магии и колдовства, умеющий увидеть предначертания рока. Их прямой потомок, мой отец, посвятил жизнь этому благословенному ремеслу: честно говорил народу о своих видениях, предсказывал, сны толковал, батыров от гибели заговаривал, женщин от бесплодия спасал. Разве не так это? О благе людском, о мире и благоденствии пеклись денно и нощно мои славные предки. И теперь — о боже! — слабоумная длинноволосая распутница обливает их и меня грязью. Хочет втоптать в пыль наши заслуги. Сбивает с пути истины наших батыров, мутит честной люд. Она задумала лишить меня достоинства и чести, сделать из меня пучеглазое посмешище. Одно из двух: или я брошу священную лопатку в огонь и с проклятием удалюсь в пустыню, или уберите с моих глаз эту жрицу ненасытной похоти. Если мы не избавимся от нее, счастье отвернется от вас, улетит удача, а беда крепко ухватит всех нас за подол. Я это предвещаю! Я предрекаю!..» Святой говорил недолго, но высказал затаенные думы без утайки. И все поняли: твердо вознамерился оскорбленный предсказатель склонить чашу весов в свою сторону.

Почтенные аксакалы глубокомысленно потеребили бороды, отошли в сторонку, чтобы обстоятельно посоветоваться. Следующее слово было предоставлено зоркоглазой молодке. Ее позвали. Она скромно встала у порога, согнув тонкий стан, поклонилась честному народу. Старикам это пришлось по душе. Щеки ее от волнения раскраснелись, глаза горели, нежный подбородок

чуть вздрагивал. О подобных красотках принято говорить: подуй да в рот клади, так что все жадно впились в нее глазами. Молодка заговорила высоким чистым голосом:

— Я не привыкла молоть всякий вздор, глядя на иссохшую кость.— В голосе ее послышались гнев и обида. Слова святого «слабоумная», «распутница», должно быть, задели ее.— И я вовсе не предсказываю, а говорю только то, что вижу собственными глазами или понимаю, что это должно случиться. В старину говаривали: расстояние между истиной и ложью всего на четыре пальца. Услышанное — ложь. Увиденное — правда. Я говорю лишь то, что есть на самом деле. Святой Жаланаш только предполагает. Он смотрит на пожелтевшую кость и строит разные догадки. Если он действительно кудесник, то пусть не рассказывает о страшной каре, которая настигнет народ через пятнадцать, двадцать лет, а скажет о том, что будет завтра, какая опасность подстерегает сородичей сегодня. Это-то поважней, чем болтать о далеком грядущем. Во мне говорит не зависть. Меня всевышний наградил даром видеть врага на расстоянии дневного пути. Я и глазами вижу дальше и зорче других. И в этом равных мне нет!..— Голос молодки дрогнул и оборвался. До чего же нелегко выступать перед народом!

Аксакалы задумались, стали посохами ковырять землю, глухо переговариваться между собой, трясти бородами. Долго не могли они прийти к единому решению. Наконец, когда лучи заходящего солнца лизнули купол усыпальницы, старики вынесли свой приговор: вдовую молодку по мусульманским законам отдать в жены родственнику покойного мужа, а святого Жаланаша признать главным провидцем во всей округе. И постановили отныне верить только его предсказаниям. Решение стариков сомнениям не подвергается. Люди молитвенно сложили ладони, благоговейно пробормотали: «А-у-мин!»

Нехотя расходились люди. Ни дехкане, которые не расстаются с тяжелым кетменем, ни скотоводы с камчой за голенищем, ни пропитанные красками мастера не полагали, что святой Жаланаш заблаговременно подкупил старцев, что обещание всяких благ им и было последней уловкой незадачливого провидца. Так предопределилась и судьба зоркоглазой молодки. Теперь она

навсегда простится со сторожевой вышкой на холме, накинет на голову платок покорности, дождется своего аменгера, кому она станет послушной женой, слугой и рабой, и света не взвидит из-за унижений и измывательств. Так и выиграл схватку с женщиной святой Жаланаш и вновь спесиво задрал голову. Альчик удачи встал торчком. Полой чапана был прикрыт стыд. Вспоминая вчерашнее судилище, святой самодовольно хмыкнул, потянул носом, даже хихикнул негромко. Подлость и благочестивому не помеха.

Солнце стояло уже высоко. Старец опять приник к бараньей лопатке, начал обозревать окрестность. В голове шумело, гудело, словно в пустом казане, поставленном на просушку. Видения не появлялись. «Уа, благостный мир! Благодарение всевышнему и за это!» — подумал умиротворенно святой. Но едва он успел так подумать, как послышался топот копыт, и сердце у него екнуло. Святой бросил баранью лопатку на подстилку и вгляделся в степь. Вдали курилось марево. Топот нарастал все стремительней, и вдруг прямо из-за холма показалась лавина всадников. Что-то ослепительно сверкнуло на солнце: то ли стремена, то ли железные наконечники копий...

Святой Жаланаш чуть ли не лишился рассудка. Сейчас его только и хватило на то, чтобы изо всех сил пнуть уснувшего рядом на травке мальчишку-слугу. Страшно выкатив глаза, святой показал рукой на войско и знаком приказал: «Беги в аул! Предупреди всех!» Голоногий мальчик понесся во весь дух. У старика от страха отнялся язык, ноги точно налились свинцом. Он вспомнил про спор с зоркоглазой молодкой в усыпальнице Кок-кешен и почувствовал нечто похожее на угрызение совести. Даже сам себя ругнул непристойно: «Какой я все же глупец! И чего высунулся: «Я подстерегу врага! Я все предскажу!» Вот тебе и подстерег! Вот и предсказал! Мог бы набить брюхо просяной похлебкой и спать себе сколько влезет. А теперь меня самого съедят. Проткнут копьем, да и отшвырнут, как падаль. О-о-о!..» Святой в отчаянии поковырял лопаткой землю, боясь даже взглянуть в сторону врага.

И вдруг всадники разом на всю степь горестно завопили: «Ой, баурым! Ой, родной!» — и галопом понеслись к аулу. Так обычно скачут, когда извещают о чьей-либо смерти. От радости у прорицателя едва не

лопнуло сердце. Он вскочил на ноги, подумал: «Может, Ошакбай погиб на играх батыров?»

— Ой, бау-у-у-ры-ым!..

Аул в низине всколыхнулся. Завыли собаки, заржали лошади, встревоженно забегали люди, еще громче, сливаясь голосами, вопили всадники — вестники смерти, и горестный гул покатился, поплыл по равнине. Святой Жаланаш оторопел, схватил себя за ворот. Каракового тулпара Ошакбая не было видно среди скачущих. Вместо него вели на поводу неоседланного арабского скакуна с подрезанными гривой и хвостом. Все рыдали в голос. На одной лошади, скорбно согнувшись в седле, тоненько голосила женщина. Святой взял под мышки свои подстилки и поплелся домой. Пока он дошел, печальная весть облетела весь аул. Ему было горько и до боли обидно, что опять он сплоховал, оплошал, не смог заранее предречь горе. Но тут же сам себя утешил, решив, что в общей суматохе никто сейчас об этом не подумает. Людям сейчас не до гадальщика, не до пожелтевшей бараньей лопатки. Подходя к ближайшей юрте, дурным голосом еще издалека завыл святой:

— Ой, бау-у-ры-ы-ым-ай!..

Он, не мешкая, ввалился в осиротевшую юрту батыра, загорланил, точно муэдзин, призывающий правоверных к молитве, начал — по обычаю — рыдать, обняв первого попавшегося. Рыдал он проникновенно, с чувством и не сразу заметил, что держал в объятиях зоркоглазую молодку. А как только заметил, то сразу отпрянул, точно схватил невзначай гремучую змею. Потом старец прошел на почетное место, устроился поудобнее на коленях и завел на бухарский манер нескончаемую суру из Корана. В юрте сразу затихли, плач оборвался. Сура была длинная, а святой растягивал ее еще больше, повторив ее от начала до конца пять раз. После поминальной молитвы старики выразили соболезнование близким и родственникам покойного батыра. Лишь после этого обратились к его друзьям и спросили: «Где же теперь наш Ошакбай?»

— Неведомый враг врасплох застиг его на берегу Шу. Связали и увезли куда-то, а куда — бог знает. Три дня мы искали — даже следа не нашли.

— Тогда, выходит, он жив. Какого дьявола всполошили вы аул?! К чему этот скорбный плач? — вскинулся святой Жаланаш.

— Такова воля батыра. Когда его захватили в плен, он крикнул: «Если через три дня не вернусь, считайте погибшим. Пусть в родной земле останется обо мне память. Закопайте мой палец, как прах Ошакбая». С этими словами он отрубил себе палец.

— Астафиралла! Где же он?!

Печальную весть привезли в аул трое. Верный слуга Иланчика Кадырхана, сопровождавший повелителя на состязания батыров Максуд. С юных лет он занимался торговлей, был крупным купцом, его караваны ходили в Хорезм и даже в Хорасан. Вторым был знаменитый ханский гонец Бадриддин. Отец его, Тажиддин, в свое время несколько лет наместничал в Отраре. Третьей оказалась кипчакская воительница Баршын, одетая по-мужски. Имя ее после победы на состязании батыров мгновенно облетело все города и аулы. О храбрости и ловкости девушки уже слагали легенды. Эти известные люди прибыли в сопровождении большой свиты в аул по велению самого Кадырхана. Вместе с вестью о гибели батыра они привезли и соболезнование повелителя. В юрте воцарилась мертвая тишина. Баршын достала из-за пазухи сверток. Очень осторожно, будто драгоценность, развернула его и положила перед святым Жаланашем. На платке, буром от кровавых пятен, лежал большой палец Ошакбая.

Святой с усилием унял дрожь в коленях:

— Заупокойную молитву буду читать я!

Почтенные старцы аула начали отдавать джигитам распоряжения. К родичам, близким и далеким, поскакали гонцы. Срочно пригнали скотину для заклания, поставили траурную юрту. Перед юртой растянули на колышках аркан, привязали к нему тулпаров покойного. Святой Жаланаш, взволнованный предстоящими приятными для него хлопотами, заметил вдруг, что в юрте происходит нечто странное. Оказалось, встретились, скрестились взгляды зоркоглазой молодки, находившейся среди скорбящих, и девушки Баршын, сидевшей в правом углу, среди личных посланцев отрарского правителя. Они, казалось, хотели испепелить друг друга. Святому даже померещился заклинатель змей, укрощающий взглядом мерзких тварей. Помнится, он, не мигая, смотрел на кобру так долго, что за это время можно было вскипятить молоко. Когда у заклинателя глаза налились кровью, кобра не выдержала, замотала го-

ловой, закачалась и покорно свернулась в клубок. Точно таким же взглядом смотрели сейчас друг на друга женщины. Первой заколебалась Баршын, всхлипнула, запричитала, омылась слезами. Зоркоглазая молодка застыла в победной позе.

Наблюдая за этим безмолвным поединком, святой Жаланаш злорадно усмехнулся и продолжал заученной скороговоркой бормотать священную суру.

Спустя три дня после этого события святой Жаланаш по стародавней привычке вновь взобрался на вершину Жеты-тюбе. Время послеполуденной молитвы прошло. В ауле он сказал, что пошел обозревать окрестность: все ли спокойно. На самом же деле святой с утра так рьяно нажимал на жирное мясо, что почувствовал потребность в уединении. Надо было немного поразмяться и вздремнуть часок-другой где-нибудь подальше от любопытных глаз. Громко рыгая, пыхтя и отдуваясь, поднялся он по крутому склону. Кровь гулко стучала в висках, в груди хрипело, в животе булькало. Он злобно оглядывался на изможденного мальчика-слугу, еле волочившегося за ним с подстилкой и подушкой под мышками. В глазах святого застыл немой укор: «У, дохляк недостойный! На тебе только горшки возить!» Ругаясь, он приказал мальчику расстелить подстилку, взбить подушку и внимательно смотреть во все стороны. Сам же святой Жаланаш разлегся, разбросал руки-ноги и, глядя в бездонное небо, предался мечтам. Бог даст, прибавится к его богатству семь голов крупного рогатого скота — такова плата за усердные молитвы по покойнику. Очутятся вскоре эти семь голов в его хлеве. Недурно, недурно... От радости старец замурлыкал что-то себе под нос. До чего же хорошо жить на свете, когда удача так и кружится вокруг! Ой-хой, дни прекрасные, дни блаженные! Да не будет им конца!

С этими приятными думами святой уснул.

А мальчика бес попутал: играл-играл в асыки, да и забыл про поручение своего господина. Спохватился, когда было уже поздно: вдоль подножия холма в сторону аула черной льдиной в половодье плыл конный отряд. По доспехам, сверкавшим на солнце, мальчик ясно увидел: враг! Он закричал не своим голосом. Святой Жаланаш оторвал голову от подушки, судорожно поискал за пазухой баранью лопатку. Но не успел еще толком разобрать, что же случилось, как мальчишка сорвался

с места и сломя голову побежал в аул. Он мчался напрямик и вопил что было силы.

Святой предсказатель нашарил наконец баранью лопатку. Да что было теперь от нее толку? Враг успел уже пройти мимо. Не зря гласит поговорка: провидца враг врасплох застигнет, расчетливого мор погубит.

Жители аула несли прах своего батыра на кладбище. В скорбном шествии находилась и зоркоглазая молодка. Мальчика, бежавшего со склона Жеты-тюбе, она увидела сразу. Похоронная процессия в растерянности остановилась. Тут же хлынул из оврага и вражеский отряд. Провидица спешно отвязала от носилок с прахом скакуна, села верхом. Старикам, державшим носилки, бросила на ходу: «Продолжайте идти. Вас враг не тронет!» Круто повернувшись, она поскакала в аул. Надо было предупредить всех джигитов, собравшихся на поминки, об опасности, а женщин с детьми немедля отправить в прибрежные заросли Инжу.

Успела-таки зоркоглазая молодка опередить неприятельский отряд. Все, кто был способен держать оружие, оседлали коней и подготовились к схватке. Очаги были погашены. Женщины и дети во главе с воительницей Баршын отправлены в приречные тугаи. В мгновение ока в многолюдном ауле не осталось ни души, только бродячие собаки шныряли между опустевшими юртами. Джигиты, посоветовавшись между собой, решили, что не смогут принять открытый бой: сил и оружия было маловато. Придумали так: разделиться на две группы, затаиться в засаде, а потом под покровом ночи напасть на врага неожиданно. Они быстро отступили широким клином за аул, в степь. Все вокруг совсем опустело, словно стойбище ушедшего кочевья.

Между тем траурное шествие медленно двигалось по широкой дороге. На носилках лежал прах батыра — завернутый в саван палец, а несли их Максуд, Бадриддин и еще человек шесть аульных стариков. Шли они неуверенно, все чаще спотыкаясь на ровном месте. У всех дрожали колени, но каждый старался скрыть свой страх. Шедший впереди Максуд первым увидел клубившуюся вдали пыль. Он вздрогнул и застыл на месте. Облако пыли стремительно двинулось навстречу. Сердце тяжело застучало у него в груди, голос сразу пропал.

«Пока я тут вожусь с останками конратского батыра, мне самому срубят голову!» — подумал ханский посланец и выпустил ручку носилок. Приподняв длинный подол халата, он неловко побежал грузной трусцой. Остальные тут же бросили носилки прямо на дорогу и рассыпались кто куда, будто птичий помет под ветром. Люди разбежались и затаились, одни — по арыкам, другие — за бугорками и кочками.

В это время как раз зашло солнце, из-за горизонта всплыла луна.

А враг стремительно приближался по большой дороге к безлюдному аулу.

Максуд, лежа за кустом, определил по одежде и доспехам, что всадники были из воинственного племени, обитающего в пустыне возле Абескунского моря. Значит, они, как обычно делали это, прошли через пески Кызылкум и переправились через реку Инжу на плотах у залива Мейрам-кала. Потом, обходя многочисленные сторожевые посты и укрепления Отрара, дошли правым побережьем до этих мест. Обычно всадники пустыни не решаются нападать на города, даже не обращают внимания на босоногих дехкан на левом побережье Инжу. Разжиться там нечем, а напрасно кровь проливать — зачем? Зато их постоянно привлекают, манят богатые аулы родов кипчак и конрат, расселившиеся между городами Сыгынак и Сауран...

Луна страны Дешт-и-Кипчак поднялась уже на высоту конских пут и залила молочным светом древнюю караванную дорогу. Всадники — их было человек шестьдесят — шли ровной рысью. По знаку маленького сухонького старичка — не то предводителя, не то проводника — отряд остановился. Прямо посередине дороги белели носилки с прахом усопшего. Вокруг явно различались следы — сплошь отпечатки остроносых кожаных галош. Старичку захотелось взглянуть на покойника. Он шагом подъехал к носилкам. Наклонившись, перерезал саблей веревки, стянувшие саван, развернул кошму, вспорол белый холст. Кожа на его темени съежилась от страха, по спине точно поползла холодная змея. При свете луны перед его глазами открылась жуткая картина. В большом — в целых два кулаша — саване покойника не оказалось. Посередине лежал один-единственный отрубленный перст.

Старичок отпрянул. Остальные, ожидая, стояли в

стороне. Никто не осмелился заглянуть под саван. Старик удрученно обратился к войску:

— Чую, доблестный батыр погиб! Дурная примета, воины! — Он с трудом унял дрожь в сердце, посуровел.— Не будет нам удачи, дети. Повернем коней назад!

Однако сарбазам слова суеверного старичка не понравились.

— Не годится храбрым воинам сворачивать с пути из-за чьей-то падали на дороге!

— Зря, что ли, пять дней зады в седлах мозолили?!

— Нет! Разграбим аул во что бы то ни стало!

Нетерпеливые джигиты отпустили поводья, неудержимым наметом обрушились на аул. Проводник-старичок остался в клубах пыли. Он потоптался вокруг носилок, вновь закрыл прах белым холстом, обернул кошмой и нехотя пустился догонять свой отряд.

Лихоимцы на всем скаку ворвались в аул. Но что-то их сразу насторожило. Аул точно вымер, лишь несколько телок и годовалых верблюжат кружились вокруг остывшей золы. Не слышался обычный при набегах надрывный детский плач, не метались между юртами перепуганные тени. Пахло гарью, тлевшими в очагах головешками. Сарбазы, словно голодные волки, ринулись в юрты. Их встретило несколько дряхлых стариков с посохами в руках. Каждый принялся шамкать праведные слова. Только кто их станет слушать во время разбоя? Завыли надтреснутыми голосами древние старухи, начали выкрикивать проклятия. Но кого они способны остановить? Ни одной девушки, ни одной смазливой молодки не осталось здесь сарбазам на утеху. Пришлось хватать дорогие вещи, драгоценности, набивать коржуны и пазухи тем, что в спешке попадалось под руку. Грабеж длился недолго.

Старику проводнику все это явно не нравилось. «Что это за набег, если даже сражаться не с кем? Ни радости, ни удовольствия. Не рубить же головы дряхлым старикам да старухам!» — думал он. Старик отъехал в сторону и презрительно наблюдал за грабежом. Потом спешился, поискал вокруг глазами. Неподалеку темнела проплешина — место стоянки лошадей. Их обычно привязывают к аркану, растянутому между колышками. Тревога старика возросла, точно камень застрял у него в глотке. На вытоптанном пятачке всюду валялись свежие конские кругляшки. Это означало, что еще совсем недавно здесь

стояли лошади. Значит, мужчины аула, спасая головы, разбежались кто куда.

Нет, не нравилось это многоопытному старику. Жди теперь нападения из-за угла. Перережут их, незваных пришельцев, как слепых щенят. От страха у старика запершило в горле. Он спешно привязал повод к луке седла и побежал искать предводителя войска. Долго пришлось расспрашивать, бегать по юртам, пока нашел его возле большого ларя. Предводитель судорожно шарил по деревянному дну его, собирал золотые и серебряные монеты, рассовывал их по карманам. Он так был занят этим, что не замечал старика. Проводник рассердился, визгливым голосом обругал предводителя, яростно помянул всех его предков до седьмого колена:

— Что ты здесь, как навозный жук в дерьме копаешься? Я предчувствую беду! Слышишь?!

Предводитель войска нехотя вылез из ларя. В карманах его позвякивало, позванивало.

— Мало ли что старики предчувствуют! Вам страшно, а нам всякий раз хвосты поджимать?

— У коновязи свежий навоз.

— Ну и что из этого?

— Свежий, понимаешь? Конский!

— Э, оставь! В ауле траур. На поминки съехались со всех родов. Приезжие с нами связываться не станут. Зачем им рисковать своими головами? Вот и разбрелись, как муравьи. Сам видишь: ни скотины, ни людей. Так не мешай сарбазам. Пусть наберут чужого добра вволю, сколько влезет.

— Если в походе нарвешься на покойника — плохая примета!

Совсем не об этом хотел сказать старик. Он намеревался поведать предводителю о том, что в саване на носилках не было никакого покойника, что здесь затевается что-то подозрительное и их неминуемо подстерегает беда. Но предводитель вновь полез в ларь, и старик сник, приуныл. Он был возмущен и оскорблен поступком жадного человека, позволившего себе небрежно отмахнуться от него, старого, заслуженного проводника, который благополучно провел отряд через безводные пустыни, сквозь песчаные бури, по бездорожью. Не прислушивался предводитель к разумным речам, свысока смотрел на гору, точно на холмик. Самолюбие старика было задето всерьез, от гнева даже щетина на лице встопорщилась. Но ни

слова не сказал он больше и решительно направился к своему заморенному коню.

Хорош был когда-то этот конь, да предводитель разбойничьего войска запалил его. На нем не однажды нападал он на богатые купеческие караваны, ускользал с награбленным добром от погони. Но как-то постигла его неудача. Слишком тяжела была поклажа, и жеребец глубоко увязал в сыпучем песке. Хозяин нещадно хлестал его толстой, с вплетенным свинцом камчой и загнал в липкий кровавый пот. С тех пор жеребец зачах. Не мог он больше покрывать табунных кобылиц. Тогда предводитель войска подарил его старику, сказав с усмешкой: «Он, как и вы, не охоч нынче до самок. Так что как раз вам впору ездить на нем».

Разбойничий аламанский отряд до глубокой ночи грабил богатый кипчакский аул. А когда сели на коней, вдруг стало ясно — перестарались. Коржуны были туго набиты, кони до ушей, до хвоста укрыты коврами, на тороках седел болтались мешочки, узлы, баулы. Все было увешано драгоценностями, ехать стало неудобно, и воины раскорячились в седлах, растопырили руки, точно беременные бабы. Словно не отряд сарбазов это был, а мирное кочевье, безмятежно бредущее по степи. Такой отряд ни для кого уже не представлял опасности. Кони шли с трудом, подгибаясь под тяжестью награбленного, ступали по песку вперевалку, враскачку, словно отъевшиеся куропатки.

Когда отряд аламанов шагом проехал холм Жеты-тюбе, луна уже зашла. Все сразу погрузилось в темноту. Грабители теперь послушно следовали за стариком проводником, всецело полагаясь на его находчивость. Спустились в долину Волчьи игрища, заросшую вереском и тамариском. Здесь ехать стало еще трудней: на каждом шагу их подстерегали колдобины, ямы, воронки, волчьи логова. Со всех сторон зловеще стонали, ухали удоды, филины, усугубляя страх. В кустах рыскали, пугая лошадей, разные твари. У сарбазов кровь стыла в жилах от страха.

Старик проводник чутко прислушивался к каждому звуку. Вдруг где-то справа завыл волк. На одинокий вой можно б было не обращать внимания, если бы слева тут же не откликнулись другие волки. Вой все усиливался и раздавался уже отовсюду. Постепенно он превращался в сплошной грозный гул, послышался воинственный

клич, и из-за кустов и зарослей полыни выскочили всадники. Аламаны схватились за оружие, однако в темноте ничего нельзя было разобрать. Грабители кружились на месте, сталкивались, сшибались, не в силах оказать сопротивление невидимому противнику. Между тем свистящие стрелы метко поражали и лошадей, и людей. Отряд быстро поредел и распался. В это время с другой стороны все нарастал дробный топот копыт, и аламаны поняли, что очутились в ловушке.

Кольцо быстро сужалось. В полной темноте отряд сарбазов-пришельцев растеребили, точно клок шерсти. Вначале их обстреляли из луков, потом на них обрушились с копьями, а тех, кто пытался вырваться из кольца, настигала петля ловко брошенного аркана. Свист стрел, отчаянное ржание лошадей, лязг сабель, стоны и вопли сарбазов, ликующий клич мстителей наполнили ночную мглу, всколыхнули долину, отзываясь далеким эхом. Сраженные валялись в пыли, корчились под копытами коней. Многие лошади, оставшись без всадников, умчались прочь. Лишь отдельным удальцам на быстроногих скакунах удалось скрыться в непролазных приречных зарослях Инжу.

К утру, когда забрезжил рассвет, над степью вновь стояла первозданная тишина. Несколько раненых аламанов кипчаки взяли в плен, связали их арканом и повели в аул. За перевалом, ведя заморенного жеребца на поводу, одиноко брел старик проводник. За ним так никто и не погнался. Старик хотел добраться до Отрара, чтобы припасть к стопам наместника и осудить безмозглых грабителей. И еще он хотел вымолить пощаду, ханскую милость для тех, кто по недомыслию оказался нынче в кипчакском плену.

10

Благодаря бдительности зоркоглазой провидицы мирный аул благополучно спасся от аламанского набега. Ни одна девушка не стала жертвой насильников, а все разграбленное имущество было возвращено по домам. Несколько джигитов отделались лишь ранениями и ушибами. Узнав об этом, вряд ли еще когда-нибудь отправятся аламаны в столь дальний поход. А если и оседлают бое-

вых коней, то на кипчакские аулы наверняка уже не позарятся. Отныне наступит покой на побережьях Инжу.

Возбужденные удачным исходом ночного боя, джигиты, прихватив раненых и громко торжествуя победу, вернулись в аул. Весной, когда из теплого края возвращаются перелетные птицы, в тугаях и в степи происходит шумная встреча с собратьями, оставшимися здесь зимовать. Гомон и веселый птичий крик оглашают окрестности, несмолкаемо гудит птичий базар. Нечто подобное творилось сегодня и в спасшемся ауле. Носилки с останками батыра, брошенные на дороге, вновь принесли в аул. Старики, возглавившие траурное шествие, вышли из-за кустов и из лощин, где они прятались. Страхи улеглись, жизнь входила в прежние берега. Но разговоры, кривотолки продолжались весь день. «Эх, был бы жив наш Ошакбай, ни одна собака к нам бы не сунулась!» «Спасибо зоркоглазой молодке. Это она нас спасла от беды». «А святой Жаланаш от досады баранью лопатку в огонь бросил». «Бедняга Бадриддин до сих пор из тугаев не выходит. У него от страха желудок расстроился». Подобные пересуды метались по аулу, словно расторопная баба, носящаяся из юрты в юрту в поисках огня для потухшего очага. После обеда похоронная процессия вновь двинулась к кладбищу.

Могилу выкопали на самой вершине холма. Скорбная процессия медленно взобралась по склону. Носилки опустили на краю могилы. Женщины, как положено, остались в сторонке на расстоянии сорока шагов. Мужчины все разом опустились на колени. Самый почтенный в последний раз затянул заупокойную молитву. Потом саван с большим пальцем батыра поплыл из рук в руки близких родственников покойника; после этого осторожно спустили его в боковую нишу — «жилище усопшего», вход заставили досками, поверх расстелили циновку, чтобы не засыпало песком. Свежую землю в могилу бросили сначала самые близкие батыра, потом родственники, потом друзья, приятели, знакомые и просто соседи. На вершине холма мгновенно вырос бугорок.

В это время на полном карьере поднялся на холм какой-то верховой. Вчерашнее событие напугало людей, и они сразу сбились в плотный круг. Безумец на скакуне, видя скорбящих у свежей могилы, ничуть не смутился, а продолжал дурашливо напевать что-то себе под нос. Подъехав вплотную, он круто осадил коня.

— Ассалаумагалейку-у-ум!
— Уагалейкум салам,— нестройно ответила толпа.
— Да умножатся покойники!
В толпе послышался ропот. Скорбь сменилась гневом.
— Что ты мелешь, отца твоего бы опозорить!
— Да умножатся покойники-и-и!
— Ткни его копьем, вот и будет еще один покойник!
— Мы наглеца вмиг закопаем живьем!
Верховой дерзко усмехнулся.
— А что? С вас, душегубов, станет. И впрямь закопаете. Вижу: по жертве новой соскучились. Ха-ха...
Он повернул коня, с места пустил его вскачь. Толпа застыла в недоумении, потрясенная выходкой незнакомца. Кто-то удивленно воскликнул:
— Ой, да это ведь шут! Да, да! Шут, сопровождающий сыпу!
Суровые, хмурые лица сразу смягчились, просветлели. В этих краях сыпа [1] Омар был очень популярен. То ли уж он таким уродился, то ли таким сделала его людская молва — кто знает. Но был Омар личностью особой, незаурядной. Одним словом — сыпа! А сыпа — всеобщий любимец, степной аристократ, щеголь-красавец, баловень судьбы, предмет девичьих мечтаний. Он не работает, не занимается никаким ремеслом, ничем не промышляет. Такой человек выше низменной суеты. Сыпа не участвует в набегах, не поддается и религиозному закону. Он только разъезжает по аулам в сопровождении верного шута-пустобая. Притом не просто разъезжает, а, как истинный сыпа, забавляет, смешит честной народ. Это приносит разнообразие в монотонно-унылую жизнь степного аула. Потому и встречают его с радостью.
Люди на холме у могилы батыра встрепенулись. Они забыли о своем горе и с ожиданием устремили взор туда, где должен был появиться сыпа Омар. И в самом деле вскоре в низине показался всеобщий любимец. Дерзкий всадник, ускакавший в аул, был его коневодом, верным спутником, шутом и слугой.
Толпа бросилась навстречу сыпе Омару. Старики никого не осуждали за это. Все равно молодежь станет легкомысленно хихикать над забавами и выходками сыпы, а

---

[1] Сыпа, серэ, сал — разные названия степных щеголей-рыцарей, большей частью певцов-импровизаторов, искусных музыкантов.

смеяться у могилы грешно. Поэтому лучше поскорее уйти от священного места.

Величаво, как и подобает ему, подъехал сыпа. Сидя на коне, он сложил на груди крест-накрест руки и низко поклонился всем. Толпа охотно приняла салем. Кто-то из джигитов кинулся подержать лошадь под уздцы, но сыпа небрежно махнул правой рукой, как бы говоря: «Без тебя обойдется. Не лезь!», и потянул носом. Старики поморщились, удивленные неучтивостью сыпы, а молодым поступок его показался смешным. У сыпы был надменный высокомерный вид. Он даже не смотрел на лица людей, а взирал куда-то поверх шапок. Долго шарил он у себя в карманах и за пазухой, пока наконец не достал небольшую золотую зубочистку. Она висела на тоненьком шелковом шнуре. Сыпа не спеша поковырял у себя в зубах. Толпа покорно ждала: что же будет дальше. Через некоторое время сыпа презрительно сплюнул и высокомерно спросил:

— Здесь, что ли, находится аул Ошакбая?

— Здесь, здесь!

— Сегодня предали земле его священный прах.

— Батыр попал в плен и погиб.

— Джигиты! Ведите сыпу в аул!

Сыпа больше не проронил ни слова. Толпа, плотно окружив его, двинулась в аул. Старики ехали на лошадях, молодежь шла пешком. Из-под ног поднималась густая белесая пыль. Сыпа достал из-за пазухи аршинный платок и прикрыл свое лицо. Вся многолюдная процессия двигалась молча. После похорон какой может быть разговор? Самые словоохотливые старики и те только удрученно постукивали табакерками по луке седла.

Люди любовались нарядом сыпы. На нем была белая рубаха со стоячим воротником, легкий шелковый чапан, белая войлочная шляпа, надетая набекрень, мягкие сапожки из белого сафьяна. Одежда была без единого пятнышка, словно только что сшита. В нелегкое время, когда скотники копались в дерьме, дехкане-земледельцы — в мокрой земле, распорядители пиров возились в жиру, а купцы были пропитаны едким потом дальних дорог, больше всего и удивляла, поражала воображение чистая, опрятная одежда. А какая подчеркнутая надменность, какое обаяние! И здоровается-то сыпа не как остальные смертные: лишь слегка сгибая тонкий стан в изящном поклоне, манерно прикладывая руки к груди. А если и

подает руку, то небрежно, снисходительно, причем только кончики холеных пальцев. Толпа, взбудораженная встречей, не сразу заметила, что сыпа почему-то выехал на обочину дороги и держится в сторонке.

— Оу, сыпеке, куда же вы направились? — спросил кто-то.

— Как будто не знаешь? Сыпеке боится запылиться,— серьезно пояснил другой.

— А что высокомерие обижает людей, он не думает?!

Собеседник его даже сплюнул от возмущения:

— Какое ему дело до чумазых нищебродов!

«Ойе, и в самом деле! — думали люди.— Он же ведь сыпа! Избранник судьбы! Он привык к поклонению, слава и почет сопутствуют ему испокон веков. Если он будет, надрывая живот, ковырять землю, пасти скот с посохом в руке, торговать честью и словом, копить добро, то тогда он никакой не сыпа, а один из заурядных смертных, рабов аллаха, которыми и без того обременена земля. Такие, как сыпа,— редкость; они — благо жизни; всем своим существом, истинной бескорыстностью, пренебрежением к суете сует они подчеркивают лживость и пустоту жизни, никчемность земного прозябания. Мы, серые бу-

кашки, просыпаемся чуть свет. Бывает, даже к бабе, лежащей рядом, лишний раз не прижмешься. Вскакиваем с постели, совершаем омовение, спешно готовимся к утреннему намазу. Хриплым спросонья голосом ведем благочестивые разговоры с аллахом. А сыпа в это время безмятежно похрапывает на мягкой перине; блаженство покоя он перемежает с негой любви. Мы же, пробормотав намаз, с головой окунаемся в повседневные заботы, спешим на выпас, отбиваем кетмени, пугая стуком малых детей, роем арыки, сооружаем запруды, обливаемся грязным потом. Сыпа между тем в зубах ковыряется, за дастарханом восседает, чаевничает. Мы до обеда спины не разгибаем, пыли вдоволь наглотаемся, ищем спасения от нещадного солнца, пьем противный теплый шалап [1], швыряем камнями в соловьев, которые начинают некстати петь, когда мы в редкой тени намереваемся чуток вздремнуть. Но разве вздремнешь, когда разные мыслишки назойливо лезут в голову. «Ойлай, я ведь забыл спросить у такого-то, чтобы вернул должок, а тому-то сам

[1] Кислое молоко, разбавленное водой.

по горло должен. И по бахче наверняка мальчишки-сорванцы шныряют, дыни воруют, и присматривать некому». Тут и про сон, и про усталость забудешь. Порой даже не замечаешь, куда бежишь. А сыпа в это время прогуливается по речке или озеру, чтобы искупаться да освежиться. Красотке своей он приказывает сготовить вкусный обед. Да, да, вот так он живет, не тужит. Мы, бедняги, после обеда хватаемся за поручни деревянной сохи, до хрипоты покрикиваем на вконец отощавших кляч. У лошадок копыта — щелк-щелк, у нас в суставах — хруст-хруст, в груди—хрип-хрип. И все равно тащим ноги, как проклятые, волочимся за сохой. Сыпа же, наевшись мяса жирной ярочки, отдыхает в тени за юртой на чистых стеганых одеялах, мурлычет песни, о красивом и возвышенном мечтает. Нам же и до самых сумерек покоя нет: надо измученных лошадок и единственного холощеного верблюда пустить на выпас, положить в воду рассохшийся лемех, заменить черенок кетменя, закрепить мотыгу. Еле живой притащишься домой, переступаешь через порог, и тут начинается новый ад. Свихнуться можно, ей-ей! Дети, мал мала меньше, чумазые, оборванные, орут, дерутся, как черти. Понадаешь им тумаков, вытолкаешь взашей из юрты, на жену ворчишь: «Вечно у тебя, растяпы, казан пустует!» — «Да я ошалела с твоим выводком,— огрызается она.— Сил моих больше нет. Ух!» Ты распаляешься пуще: «Придешь измученный, язык, как собака, высунешь. А дома и пожалеть тебя некому».— «Ишь ты! Пожалеть его надо! — зло усмехается жена.— Поищи себе другую!» — «Ну и найду, домой приведу!» — «Найди! Приведи! — кричит жена.— Может быть, тогда отдохну от вас, живодеров!» Ойхой, с бабой ругаться — напрасно силы изводить... Сыпа в это время потягивает густой коричневый чай со сливками; потом обувается в сапоги на высоких каблуках, облачается в легкий, просторный халат и отправляется гулять по аулу. Где сборище, где веселье, где ха-ха-ха да хи-хи-хи, там на почетном месте восседает сыпа, на струнах домбры тренькает.

У тебя же, несчастного, едва хватает сил, чтобы проглотить мучную похлебку. Тут бы и отдохнуть. Но в юрту вваливаются, точно разбойники с большой дороги, твои голоногие, голопузые, сопливые, крикливые сорванцы. Но нет уже у тебя сил наставлять на путь истинный эту ораву. Едва коснувшись головой земли,

проваливаешься замертво, точно в бездну. Так храпишь, что полог юрты колышется. А сыпа усы поглаживает, посмеивается, поблескивает маслеными глазками, опьяненный кумысом и женским вниманием. Потом он идет домой, не идет, а точно плывет, игривую песню поет, распаленную грудь на прохладном ветерке остужает. В чисто убранной юрте на пышной перине поджидает его возлюбленная, истомилась, бедняжка, млеет. Хмелея, ныряет сыпа в ее горячие объятия. Мы, черная кость, на жесткой ветхой подстилке ворочаемся с боку на бок, ногами сучим, головой об землю бьемся — жуткие сны видим. Просыпаемся: ойхой, где постель, а где — ты. Тесно: дети лежат вповалку, жена разметалась во сне, ласки ждет. А тебе не до ласк: спина ноет, руки-ноги как свинцовые, голова гудит, шевельнуться мочи нет. Вздохнешь только и опять проваливаешься в черную пучину. Вот у сыпы — жизнь! А ты только прозябаешь, копошишься день-деньской, как муравей. У сыпы жизнь — полная чаша, у тебя — дырявое решето. У него — сафьяновые сапожки, у тебя — прохудившиеся стопки на босу ногу. У него во всем лад да благодать, у тебя — все кось-наискось, шиворот-навыворот. Э, пропади все пропадом. Вот так-то, люди! Потому-то мы и почитаем сыпу и втайне завидуем ему. За то, что он умеет жить, умеет радоваться и наслаждаться жизнью; за то, что в нем воплотились многие чаяния и мечты задавленного работой, нуждой, вечно голодного мытаря-труженика...»

Сыпа молча ехал в сторонке.

Старики в назидание молодым пространно рассказывали историю женитьбы сыпы. Отец его, известный во всей округе необыкновенной словоохотливостью, был прозван Бекеном-болтуном. Он занимался тем, что, разъезжая по аулам, изощрялся в словесных спорах, попросту говоря, молол языком. Однажды во время одной из таких поездок настигла его весть о том, что жена родила сына. Болтливый Бекен тогда ответил: «Мне все равно, кого она там родила. Для меня важно, что вновь освободилось ложе!»

Сын, появившийся с этими словами на свет, ничем не походил на словоохотливого родителя. Он рос молчуном, тихоней-неженкой и, кроме домбры, ничем не интересовался. Говорил всегда резко, без обиняков. Прошло время, отец состарился, сын вырос и стал джигитом. Появилась у отца забота: женить сына. Ездил он по аулам,

присматривался к девушкам, выбирал невесту. Приглянулась ему наконец дочь-певунья одного бая-богача из рода мангитай. Но избалованная, строптивая байская дочь и слышать не желала о каком-то сыне болтливого Бекена. Тогда отец решился на хитрость. Он посоветовал сыну затеять с байской дочерью старинную игру. Суть игры состояла в том, что джигит дарит полюбившейся девушке тобык — надколенную баранью чашечку — с условием, чтобы она постоянно носила ее как талисман при себе. Устанавливается определенный срок игры, в течение которого джигит имеет право в любое время потребовать предъявления тобыка. Если при ней тобыка не окажется, она проигрывает. Если же по требованию джигита девушка немедля подаст надколенную чашечку, выигрыш остается за ней.

Однажды вечером юный сыпа, потренькивая на струнах домбры, незаметно сунул девушке заветную косточку. Уговор был такой: проиграет девушка — выйдет за него замуж; проиграет джигит — навсегда расстанется с образом жизни сыпы, станет обычным скотоводом. Отныне старый Бекен лишился сна. Он всюду подстерегал девушку, ждал, когда же она ненароком забудет надколенную чашечку дома. Но байская дочь оказалась себе на уме. Она держала тобык всегда при себе, в укромной ложбинке меж грудей. Болтливый Бекен, узнав об этом от подкупленной прислуживающей девушки, вначале растерялся, а потом, поразмыслив, сказал сыну: «Оказывается, раз в неделю девушка готовит для больного отца мясное блюдо — нарын. Подкараулив время, когда она угощает отца, проникни в юрту и прямо при отце потребуй свой тобык». Юный сыпа так и сделал. Выждал момент, переоделся в женскую одежду и под видом молодки, пришедшей за горящими угольками, проник в юрту, где девушка как раз резала мясо в большой деревянной чаше. Он ловко присел рядом с девушкой, прикрыл лицо платком и тоненьким голоском попросил: «Шалунья, угости-ка кусочком жирного мясца». Девушка, ничего не подозревая, схватила с подноса горсть мелко нарезанного мяса, и тогда тот уже своим голосом потребовал тобык. Красавица на мгновение обомлела. При отце она не осмелилась обнажить грудь и достать заветную косточку. И все же находчивой и отчаянной оказалась байская дочь. «Ты перехитрил меня, джигит,— сказала она.— Тобык твой при мне. Если тебе

угодно добиться своего, то собственными руками достань его!» Как там уж дальше происходило между ними, неизвестно, но молчаливый сын Бекена заполучил строптивую байскую дочь себе в жены. От намерения своего он не отказался, а она тоже не смогла нарушить клятвы. Впрочем, брак оказался вполне счастливым...

Прыткий шут сыпы между тем успел взбудоражить весь аул. Мигом была освобождена и богато обставлена самая большая юрта, а для угощения сыпы закололи жирного барана. Женщины захлопотали у казанов, словно готовили трапезу в честь окончания поста правоверных. Молодки принарядились, заходили враскачку, глаза у них заискрились. О гибели батыра и поминках никто из них не вспоминал. Зашныряли по юртам, забегали женщины. Глазами зырк-зырк, губами шлеп-шлеп. Из крайней юрты выпорхнула стайка пестро разодетых, раскрасневшихся девушек одна другой краше.

Окружив нахального шута, спутника сыпы, они двинулись навстречу желанному гостю. Впереди всех врассыпную мчалась малышня, словно воробьи, слетавшиеся на просо. Девушки подошли к сыпе, окружили его, поздоровались. Потом помогли ему спешиться и повели под руки к праздничной юрте. Сыпа шел вразвалку, важный, преисполненный собственного достоинства. Люди взирали на него с открытыми ртами.

— Ни дать ни взять, владыка вселенной!

— А худющий-то какой?! Отродясь, должно быть, досыта не поел. Хоть нож точи о скулы!

— Надо же! Людей вокруг себя не замечает!

Сыпа, не обращая внимания на пересуды изумленной толпы, вошел в восьмистворчатую белую юрту, уселся на почетное место. При этом он не поджал под себя ноги, а согнул колени и опустился на пятки, стройный, прямой, неприступный. Нахохлился, точно ястреб на кожаной рукавице охотника. Сыпа был не только хорошо одет. Щеки его были тщательно выбриты, борода и усы подстрижены. Немигающе уставился он на перекладину двери. Верный спутник, сидевший по правую руку, шепнул ему что-то на ухо. Сыпа сложил ладони перед лицом, пошевелил губами, молитвенно провел кончиками пальцев по лицу. Остальные поступили так же. «Помянул святых духов»,— решила толпа.

Прежде чем отведали еды, вошел мальчик с кувшином и тазиком. «Начни с сыпы!» — приказали ему. Сыпа долго мыл руки, полоскал рот. Девушка подала ему чистое полотенце, но сыпа отмахнулся, вытер руки о край цветастого поясного платка. Расстелили дастархан, принесли громадный поднос с кусками свежесваренного мяса. Джигит-слуга учтиво протянул высокому гостю нож, чтобы тот мог пока полакомиться опаленной бараньей головой. Сыпа опять отмахнулся, достал из кармана старинный кривой ножик, провел несколько раз лезвием по ладони и некоторое время молча глядел на баранью голову. Потом перевернул ее, отрезал кончик языка и положил кусочек себе в рот. Голову он придвинул к шуту. Когда мясо на подносе было нарезано мелкими кусочками, сыпа выкинул очередную шутку: отведал только чуть-чуть, с краешка, а с остальным мясом — целая гора! — мигом расправился все тот же обжора-шут. И сорпу — бульон за хозяина выпил он, и кумыс — полную чашу! — залпом проглотил шут.

Вместо хозяина шут намеревался и на домбре поиграть, как это положено после трапезы, но сыпа хмуро сдвинул брови. Шут сразу все понял и тотчас передал ему домбру. Сыпа наконец перевел взгляд от дверной перекладины на инструмент, снова полез за пазуху, достал золотую зубочистку с шелковым шнурком, поковырял в зубах. Все движения его были медленные, величественные.

У людей иссякло терпение. Время шло, а сыпа и не думал кого-либо забавлять. Старики, жалуясь на боль в пояснице, разбрелись по домам, но самые терпеливые продолжали сидеть. Всех удивляло необыкновенное хладнокровие и самозабвенная важность гостя. Наступала полночь, а он даже не шелохнулся, не вымолвил ни словечка. Так и застыл на почетном месте, словно каменный идол. Наконец ему наскучило ковыряться в зубах. Он тщательно вытер зубочистку о поясной платок, снова сунул ее за пазуху и взял домбру, лежавшую перед ним.

Все затаили дыхание. Людям казалось, что случится чудо, если только этот необыкновенный человек раскроет рот. Пока что от сыпы услышали одну-единственную фразу: «Здесь, что ли, находится аул Ошакбая?»

Нет, сыпа и не думал петь, даже рта не раскрыл. Он побренчал на домбре, пощелкал по слабой верхней струне, что-то промурлыкал. Однако это мурлыканье неожи-

данно прозвучало в лад со струной. Постепенно усиливаясь, нарастая, оно напоминало не то тоскливый плач верблюжонка, не то монотонное завывание шамана-баксы во время камлания. В юрте стало оживленно, послышался смех. Странная музыка! Не песня, не кюй — просто прихотливый напев, отрывок протяжного мотива. Упруго пощелкивая по струнам, сыпа время от времени безвольно ронял правую руку, а по длинному грифу продолжали трепетать пальцы левой руки, извлекая короткие, причудливые звуки. Напев затихал, угасал, но все же не обрывался, а через минуту нарастал с новой мощью.

Лицо сыпы оставалось непроницаемым, ни единый мускул на нем не дрогнул. Казалось, играла и сама себе подпевала подголоском одна домбра. Кто-то из подростков, сидевших возле порога, прыснул. Уж больно забавно звучал напев. Тут же со всех сошло оцепенение, грохнул дружный смех.

— Что за кюй?! Это вой сказочного дива!

— И не вой вовсе. Одно бормотанье...

— Нет! Это мелодия-дурман. Она будоражит кровь. Ее приятно слушать на ложе в раю!

Сыпа насупился, отпихнул домбру.

— Это кюй нашего предка Абу-Насра, которого в мире звали Фараби. Называется «Водоворот» и исполняется главным образом на свирели...

Сказав это, сыпа вновь окаменел как истукан.

Домбра пошла по кругу. Пошумели, покричали, повеселились. Потом снова расстелили дастархан. Принесли блюдо, широко распространенное среди оседлых земледельцев-кипчаков присырдарьинской низменности,— майсок: очищенное, проваренное белое просо, размешанное в масле. Внешне оно похоже на красную рыбью икру. Блюдо это обладает одним неудобным свойством: со свежим мясным бульоном оно разбухает в животе, безудержно распирает желудок. Особенно опасно есть майсок после жирного мяса. Хозяева это, конечно, хорошо знали, но уж очень хотелось им испытать сыпу. Ведь, по обычаю, сыпа обязан отведать всего, что ему радушные хозяева преподносят. А особенно почетно для хозяев, если посуда возвращается каждый раз пустой.

Обжора-шут, должно быть, набил до отказа свое необъятное брюхо. На его помощь сыпа надеяться уже не мог. Пришлось самому съесть целую чашу майсока.

Вслед за этим подали шубат — напиток из квашеного верблюжьего молока, потом кумыс. Сыпа ел и пил, не подавая виду. Но когда он выцедил вторую чашу кумыса, поданную с подчеркнутой учтивостью, сердце у него заколотилось, липкий пот выступил на лбу. В желудке явно творилось что-то неладное. Но, дитя традиции, сыпа не должен выказывать слабость. Не дай бог осрамиться ему на глазах у простых смертных. Выдержка никогда не должна покидать его. «Долго ли еще до рассвета?» — с тревогой подумал он и глянул в верхнее отверстие юрты. Звезды редели, блекли. Те, кто встретил его вечером на холме, понемногу разошлись, но вместо них пришли другие: юнцы, подстерегавшие девушек, пастухи, ночные сторожа. Всем хотелось поглазеть на знаменитого модника и музыканта сыпу, полюбоваться его нарядом, послушать его речи, увидеть и по возможности перенять его манеры, жесты.

Сыпа явно устал. Затекли, задеревенели, как чурки, ноги, ныла спина. Голова гудела. Но лишь тогда он будет достоин славы сыпы, если просидит так, не шелохнувшись, не хмуря брови, до утра, до тех пор, пока его не проводят торжественно всем аулом. «Уа, славный пращур! — молился про себя сыпа.— Поддержи мой слабеющий дух. Не дай осрамиться. Не дай злорадничать черни. Не отметь меня тавром презрения!»

В аулах с неизменным почетом встречают сыпу. «Сыпе сопутствует благо»,— говорят в народе. Но почет зачастую оборачивается испытанием, а испытание — тяжкой мукой. Однако приходится терпеть. Такова плата за почет и славу. Таков обычай, освященный предками.

Когда принесли бузу, настоянную на ячменном сусле, бедный шут поспешно встал и вышел из юрты, сказав, что пора присмотреть за лошадьми. Сыпа был вынужден выпить еще и его долю. Выпить-то он кое-как выпил, да хмель ударил в голову, в животе забушевало-заурчало, будто там насмерть грызлись бешеные собаки. Ковыряясь в зубах, сыпа с безразличным выражением на лице все чаще поглядывал через потолочный круг на небо: «Боже! Наступит сегодня рассвет или нет?!»

Домбра, сделав круг, вновь пришла к нему. Он заиграл кюй знаменитого в этом краю кюйши Кайраука, прозванного шестипалым. Когда Кайраук играл на домбре, то пальцы его мелькали и порхали с такой быстротой, что никто не замечал, каким пальцем он щелкает по

струнам, а каким нажимает на лад. Колесом сгибался Кайраук над домброй и яростно, самозабвенно нахлестывал струны. Играть сложнейшие, неистовые, как вихрь, кюи шестипалого Кайраука было не под силу большинству самых искусных домбристов. При одном имени чародея кюев люди насторожились, благоговейно навострили уши.

Сыпа с блеском сыграл кюй шестипалого на одной струне. Подобное еще никому не приходилось слышать. Старики были растроганы. От волнения у некоторых задрожали, задергались бородки. Женщины прослезились и вытирали кончиками жаулыков слезы восторга. Молодые притихли. Игра виртуоза-сыпы их потрясла. Скрывая слезы, они отвернулись к стенке. Вдохновенный кюй кончился, когда за юртой рассвело.

Вошел шут и доложил, что лошади оседланы. Если на то будет воля святых духов, пора поблагодарить радушных хозяев и тронуться в путь. Именно этого и ждал сейчас больше всего измученный сыпа. Он выпил напоследок чашу зоревого кобыльего молока и с трудом поднялся. Опираясь на руку шута, еле волоча онемевшие ноги, добрался сыпа до своего коня.

Весь аул вышел провожать сыпу. У многих на глазах были слезы прощания.

До самого перевала ехали гости шагом, как и подобает таким именитым людям. Они знали, что вслед им смотрит собравшаяся на краю аула большая толпа. Когда наконец одолели перевал и стали спускаться по склону, сыпа еле разжал сведенные судорогой челюсти. Голос его прозвучал хрипло, чуть слышно:

— Глянь-ка, не видать ли отсюда кого?

Шут ответил, что аул остался далеко позади, за холмом, и никто их отсюда не увидит.

— Ну тогда все... Подохну — подберешь останки! — прохрипел сыпа Омар и сполз с лошади, скатился в низинку, рухнул в кусты бурой степной полыни. Так, бывает, в пути сваливается с верблюда, треща по швам, огромный мешок-канар, набитый всякой всячиной...

Когда приходит лихая година, редко кому удается устоять, избегнуть ее нещадных ударов. Лишь мужественные и цельные натуры стойко выдерживают их. Ледяное дыхание неотвратимо надвигавшегося времени сбило

с пути многих незаурядных мужей. Одним из них вскоре стал гордый и самолюбивый сыпа Омар. Когда родная земля оказалась под копытами коней чужеземцев и закачался остов отчей юрты, прославленный сыпа отрекся от своего дара, от звания народного любимца и с горсткой разбойников, рыскавших по кипчакской степи, подался к врагу. Предал он и песню, и людскую любовь, и пылкие радости души ради ничтожного, презренного прозябания. Заблуждения людей искусства особенно трагичны. Недавний любимец толпы, избранник с божьей искрой в груди нежданно-негаданно обернулся заурядным караван-баши с онемевшей душой, с потухшим сердцем, с огрубевшим чувством — караван-баши, понуро бредущим по Великому Шелковому пути. Об этом осталось в степи поверье и вечный укор предателю и его роду...

11

Возраст степной полыни кипчаки определяют по корням. Стебель полыни полностью отражает капризы погоды: в засуху он хрупок и сух, в дождь — сочен и пахуч. Стбит в любое время года, за исключением зимы, пробушевать ливню, как полынь, наливаясь терпким духом, распускает новые почки. Удивительно цепкое, жизнестойкое растение!..

Об этом думал сейчас Иланчик Кадырхан, широко шагая по земле, от края до края покрытой рослой — выше колена! — пышной полынью. Правда, мысли повелителя были не столько о полыни, сколько о таком же цепком и жизнестойком племени кипчаков, которое пустило глубокие корни в родную землю, питается ее благодатными соками и уже многие века процветает, распространяя во все верховья и низовья славу о своем былом и настоящем могуществе.

«Кто же мог пленить Ошакбая, отправившегося на поиски одинокого тулпара с двумя барабанами на луке? Зачем это понадобилось? И почему именно на Ошакбая пал выбор неприятеля? — думал он.— Как объяснить также вероломный набег на аул, оставшийся без своего батыра — заступника и защитника? Не орудуют ли это в степи лазутчики, посланцы каких-то более серьезных врагов? Что же нужно им в стране кипчаков?.. Велика и обильна она. Многочисленные кочевые и оседлые роды и племена их живут на огромном пространстве между

полноводной рекой Инжу-огуз, священной горой Харчук, низменностями Хорезмского и Абескунского морей, от голубой степи Кулынды до тучных пастбищ на побережьях рек Ишима и Иртыша. По-разному называют эту страну, но все считают ее народ потомками древних ее обитателей — саков... Помимо Дешт-и-Кипчак встречалось иногда и другое ее название — Канглы-кипчак, то есть кипчаки рода канглы. Эта страна простиралась в океане степи, гранича на западе с государством Булгар, на севере — с Сабром, на востоке — с монголами, на юге — с Хорезмом и государством Караханидов. На бурлящий вулкан была похожа она: порой жила тихой, мирной жизнью, вполне довольствуясь бескрайними степями, но иногда, словно опьяненная своей силой, выходила из берегов, мгновенно выплескивала бесчисленные войска и обрушивалась на соседей. Целые народы сметались с лица земли, захватывались новые земли и несметные богатства. Когда такое войско поворачивало коней назад, оно мгновенно растворялось в степных просторах, точно льдины в южных морях. Во главе этих полчищ стояли ханы Алаша, Тонукок, Огыл и многие другие.

Но вот уже несколько сот лет южная часть Дешт-и-Кипчака, в том числе могущественный Отрар и более сорока находившихся в его подчинении городов, оказались под непосредственным влиянием Хорезма. Под его владычеством очутились и все оседлые кипчаки-дехкане на побережьях реки Инжу. Главной причиной зависимости была новая мусульманская вера, неумолимо проникавшая в глубь языческой страны. Арабские завоеватели некогда захватили Отрар, Испиджаб, Сыгынак, Тараз и другие южные города кипчаков. Однако горожане вскоре опомнились, объединились и прогнали арабов-чужеземцев, прозванных ими опиумокурильщиками. Дорогой ценой была возвращена свобода, но, уходя, арабы оставили на этой земле свою религию, многочисленных сахаба, сподвижников пророка; баба, последователей сподвижников; ата, учеников последователей; кари, чтецов и толкователей Корана; благочестивых софы и ходжей, прямых потомков пророка. В народе почитались духовные наставники кипчаков — Жаланаш, Арыстанбап, Жлаганата, святой отшельник Бабай Азиз, прозванный Волосатым.

Отрар и другие города, оказавшиеся, таким образом,

раньше, чем кочевые кипчаки, в сетях ислама, попали в зависимость от хорезмийцев, ибо одним из оплотов мусульманства была тогда священная Бухара. Но при всем своем могуществе исламская религия не была единственной причиной зависимости Дешт-и-Кипчака от Хорезма. Да и зависимость была относительной. Жили кипчаки все же своей, самостоятельной жизнью, и полной власти над ними хорезмшахи не имели. Поддерживаемый всей огромной степью Иланчик Кадырхан лишь в делах веры и на правах соседства общался с правителями Хорезма.

Нынешний хорезмшах Мухаммед, сам наполовину кипчак, неизменно держит при себе советника из кипчаков. Тот принимает непосредственное участие в решении важнейших государственных дел. Лично он, Иланчик Кадырхан, состоит членом Дуан-арза — государственного совета в Ургенче. Родная мать всемогущего шаха Хорезма, «повелительница всех женщин мира» Турханханум, родом из кипчакского племени канглы. Иланчик Кадырхан приходится ей родным племянником.

В чем слава и сила нынешнего Отрара?.. Все знаменитые караванные дороги, самая главная из них — Великий Шелковый путь, начинающийся у Мраморного моря и идущий далеко на Восток, и Главный Шелковый путь, ведущий из древнего Вавилона через Индию и Хорезм в сторону Китая, и так называемая Вражеская дорога, между государствами Сабр и Хорезм, пролегают через Отрар. Здесь в караван-сараях подолгу живут именитые купцы и путешественники со всех концов земли; на отрарском Кан-базаре торгуют товарами со всего света. Отсюда караваны продолжают свой далекий путь. Торговля в Отраре развивается стремительно, и благодаря ей город процветает изо дня в день. Земли здесь плодородные, воды вдоволь, дехкане трудолюбивы, издревле занимаются земледелием, бахчеводством и садоводством.

Но сказочное богатство города постоянно притягивает взоры алчных врагов. Издавна чужие племена затевали кровавые походы на Отрар и его владения, однако каждый раз эти походы разбивались о стойкость его защитников. Но враг не успокаивался, засылал лазутчиков, шпионов, сеял смуту между кипчакскими ханами, подкупал правителей, упорно выискивал слабые места. Понимали враги, что не подчинить им славный Отрар с

помощью оружья, и действовали исподтишка, старались подточить его изнутри.

Иланчик Кадырхан читал рукописи арабских историков, в которых Отрар назван «Фараб» или «Баряб». В книге «Худуд аль-Алим», хранящейся в Отрарской библиотеке, встречается название «Параб». Слово это знающие люди переводят как «долина на стыке двух рек». И в самом деле город вырос на том месте, где река Арысь сливается с рекой Инжу. Здесь, на великой караванной дороге между Западом и Востоком, обосновались ученые, мудрецы, музыканты, прорицатели, ювелиры, поэты. Жителей в городе сейчас более двухсот тысяч. Он знаменит большими каменными домами, мечетями, творениями древнего зодчества, дворцами и мавзолеями, банями, лавками, базарами, мастерскими-кузнями, бесчисленными караван-сараями, хаузами, садами. В этом прекрасном городе можно чувствовать себя как в саду эдема, даже не вкусив райских яблок, не испив чудесной, исцелительной воды зем-зем, не насладившись объятиями томных райских дев.

В центре города особенно много красивых высоких жилых домов из жженого кирпича, которые называют жадигерами, и молитвенных домов, построенных в форме юрты, с куполом. Большое распространение получили еще два вида кипчакского зодчества: округлой формы кирпичные особняки — уй-тас и просторные кешены — жилища с неизменным круглым куполом и потолочными отдушинами вместо окон. В таких домах большей частью и живут дехкане. На окраинах города — в рабатах пестрят бесчисленные приземистые глинобитные домики в форме четырехугольника или коржуна — переметной сумы: с двумя комнатушками по обе стороны. Среди них встречаются и кирпичные, с украшениями. Двери их непременно выходят на юг. Здесь живут главным образом кузнецы, ткачи, горшечники, гончары, разные мастера.

К числу древних кипчакских городов относится и Сыгынак, который в летописи называют еще Сунак, что означает «селение, богатое водой». В знаменитом «Словаре тюркских языков» Махмуда Кашкари встречается пояснение: «Сунак — город в стране гузов». Сыгынак всегда был для арабов яркой, притягательной звездой, сверкающей на небосклоне государства Мавераннахр — сказочной страны за рекой. Послы и путешественники

постоянно упоминали город, называя его вторым остовом страны Дешт-и-Кипчак, золотыми воротами Великого Шелкового пути.

Третьим по величине и значимости городом у кипчаков считается Испиджаб. Он был построен правителями племени канглы. Город отличается тем, что производит драгоценные металлы, золото, серебро, владеет рудниками и рудообрабатывающими печами. Все мастерские по плавке олова расположены высоко в горах. Там и рудники, и заросли арчи под рукой. К тому же на высоте легче плавится металл. Лучшие оружейники работают в тамошних кузнях. Правитель Испиджаба, ярый приверженец ислама, долгие годы разрешал в городе торговлю рабами. Иланчик Кадырхан прекрасно знал об этом, но закрывал глаза на лихоимцев — торговцев живым товаром. Почему-то Испиджаб отличался более жестокими нравами. Наместники его в ловкости, коварстве, хитрости превосходили всех других.

По-своему красив и величествен также город Тараз, прославившийся прежде всего искусной выделкой и выбелкой козьих шкур, прочнейшего сафьяна для переплетения книг.

В городе Ясы издревле сильно развиты ювелирное и гончарное ремесла. Искусство здесь — неиссякаемый родник...

Обо всем этом думал-размышлял Иланчик Кадырхан, в одиночестве совершая прогулку по степи. Думы его нарушил стремительно приближавшийся конский топот. Повелитель круто повернулся, расправил саженные плечи. К нему спешил верный нукер Максуд. На поводу рядом скакал подсменный конь. На почтительном расстоянии от повелителя Максуд спешился и застыл в низком поклоне. Кадырхан пошел навстречу. Рослый, могучий нукер все еще продолжал держать обе руки на груди.

— Что хочешь сказать мне, Максуд? — спросил Кадырхан.

— Мой повелитель! Хочу сказать, что Бадриддин — предатель. Это он натравил врагов на аул Ошакбая!

Сказав это, Максуд склонился еще ниже.

— Чем докажешь?!

— Мне сказал об этом старый проводник аламанов

Он сам пришел с покаянием и сидит теперь в Гумбез Сарае, готовый к услугам, мой повелитель!

— Выходит, лазутчик отсиживался под полами моего халата?!

— Бадриддин давно уже замыслил подлость.

— Не клевещут ли на него? Ведь он не однажды безупречно исполнял мои поручения!

— Отец его, Тажиддин, был несколько лет наместником Отрара. Все знают: он сколотил громадное состояние за счет города. Одних только жен он имел сорок, не считая рабынь...

— Ну так что?

— Бадриддин считает, что вы лишили его отцовского трона. Вы — причина всех его бедствий!

— Какую же цель он преследует, идя на предательство?

— Его цель — смута, раздоры, междоусобица в нашей степи. Шах Ирана за гибель своих сарбазов-аламанов потребует с нас мзду. Между нами возникнет вражда, может быть даже война. Вот это и нужно Бадриддину. Он метит на ваш трон, мой повелитель!

Иланчик Кадырхан с отвращением сплюнул. Во рту он сейчас только ощутил горький привкус полыни. В тяжелом раздумье сел он на коня и рысцой пустил его в сторону города. Максуд последовал за ним. Вскоре, оставив за спиной полынную степь, повелитель выехал на одну из караванных дорог, ведущих со всех сторон к Отрару. Видно было, что по ней недавно гнали скот: все вокруг было истыкано овечьими копытцами. Конь утопал по самые щетки в удушливом пухляке. Поднялась пыльная поземка.

Караванная дорога явно одряхлела. Сколько веков уж по ней постоянно ходят и ездят! Повелитель свернул на обочину. Степная полынь заметно мельчала, редела. Все большими становились проплешины между чахлыми кустами, потом и вовсе пошли одни кочки. Вдалеке виднелись очертания города: высокие минареты, голубоватые купола мечетей и дворцов казались особенно внушительными на фоне пустого белесого неба. Красно-коричневые зубчатые крепостные стены издали походили на лежащих верблюдов. Над городом клубился синеватый дымок. Полынная степь здесь переходила в равнину, заросшую ковылем, кустами перекати-поля, чертополохом, верблюжьей колючкой и разной сорной травой. Равнина

упиралась в сплошные сады, кольцом окружавшие город. Сразу же за головным каналом густо росли урюк, джида, персик, орех, туранга, карагач, тутовые деревья. Отсюда уже нельзя было видеть города. Здесь путник полной грудью вдыхал аромат диковинных фруктов. В тени между деревьями бормотала, журчала вода в тщательно ухоженных, чистых арыках. Всадники углубились в сады. Над ними кружились, жужжали оводы, слепни. Кони обеспокоенно стригли ушами, хлестали себя хвостами, всхрапывали, пофыркивали. Было жарко, душно, и повелитель, задыхаясь, пятками подгонял коня. Долго он ехал садами, коня утомил и сам устал, пока выбрался из бесконечных зеленых зарослей. Вновь показался впереди город, а вокруг простирались теперь бахчи.

Это была северная часть Отрара. Здесь росли овощи, зрели арбузы и дыни. Приятно было взирать на этот огромный зеленый ковер. Из-под густой листвы выпячивали гладкие бока дыни-скороспелки. Арбузы обретали пеструю окраску: значит, наливались соком, наполнялись сладким ароматом, обрастали мясистой плотью, твердели кожурой. Дорога, идущая через бахчи, была подточена водой, изрезана канавками, разрушена постоянным поливом. Местами стояли лужи и образовалась болотистая грязь. Конь часто оступался, скользил копытами в вязкой глине. Ближе к городу бахчи меняли облик. По левую руку тянулось поле, засеянное каваками. Этот сорт тыквы не употребляют в пищу, из него делают посуду. Пока каваки не поспели и объем их был небольшой — с кувшинчик. Осенью, когда каваки окончательно созреют и затвердеют, дехкане отделяют их от плети, продалбливают с узкого конца отверстие, половником выскребывают семечки, потом тщательно, до звона, высушивают на солнце. После этого тыковки кладут в горячую золу, пока они не покроются золотистым румянцем. Таким образом рождается красивая, легкая и очень удобная посуда, заменяющая и кувшин, и жбан, и ведро, и кадку, и бочонок.

Поля по правую руку были отведены под съедобные тыквы. Плети их — длинные, листья большие, как лопухи. Из-под них виднелись большие розовые, желтые, белые, голубые и оранжевые шары самой разнообразной формы.

Сразу же за бахчами начинались слепленные из глины лачуги. Они сбились в тесную кучу без определенного

порядка и системы. Эти крохотные жилища размещались за крепостной стеной, и в них ютились в основном беднейшие земледельцы-дехкане. Мазанки с обеих сторон теснили караванную дорогу. За ними уже величественно вздымались стены самой крепости.

У ворот Иланчик Кадырхан натянул поводья, повернулся к Максуду:

— С аламанским проводником поговорю вечером сам. Поезжай в Гумбез Сарай и не упускай из виду Бадриддина. Чтоб не посмел от нас улизнуть.

Они разъехались.

Проехав городские ворота, Иланчик Кадырхан сразу повернул к восточной части, к заповеднику святого Кишкиша, где находился дворец ханши. Еще днем векиль-индус предупредил повелителя, что ханша неожиданно прихворнула. Кадырхан решил проведать верную супругу.

Он зажал шенкеля, пустил коня крупной рысью. Перегретый городской воздух теснил грудь, и правитель с тоской подумал о вольном степном просторе, о далекой молодости, когда он без оглядки мчался по полынной степи, пьянея от собственной удали и свободы. Да-а, тогда он был молод и гибок, как ивовый прут, горяч и порывист, добр и наивен. Никакие заботы его не тяготили. А теперь он огрубел, зачерствел душой, покрылся коростой, точно старый карагач, стал суров с друзьями, беспощаден к врагам, замкнут и мнителен. И жар в крови заметно угас в последнее время: не привлекает его супружеское ложе, все реже наведывается к богом данной жене. Более пятнадцати лет живет он с благоверной Бике душа в душу. Ни разу не промелькнула между ними тень раздора. Наоборот, с годами она кажется ему красивей и желанней многих юных наложниц в ханском дворце. Своими достойными поступками, лаской и вниманием, заботливостью и понятливостью она точно приворожила его. После долгой разлуки и утомительных походов они встречались каждый раз так же, как и в те юные годы, когда в них еще бушевала неутоленная страсть. Обнимая его, она нежно ворковала: «Мой ангел, твои ладони горят, твои объятия меня обжигают...» «Это оттого, что я соскучился, истомился по тебе, душа моя!» — отвечал он. Радость и восторг, душевную умиротворенность приносили им эти нечастые встречи.

Всемогущему наместнику послы далеких стран неред-

ко привозят в дар обольстительных безгрешных наложниц. Находясь в походах, хан, бывает, утоляет жар желания в объятиях чужеземных красоток. Зная это, Бике, однако, никогда не устраивала скандалов, не изводила, не донимала мужа мелочными придирками и подозрениями. Молча сносила она обиды, подчиняла чувства трезвому рассудку. А при встречах щедро изливала душу, лаской и любовью гасила горечь разлуки, тоску и ревность. Доверчивостью и искренностью подстегивала она его страсть.

Только одно обстоятельство порой омрачало пылких супругов — бесплодие Бике. Кадырхану грозила опасность остаться без законного наследника. В первые годы никто из них не обращал на это серьезного внимания, но постепенно назойливые думы о бездетном браке клином вошли в их отношения. И все чаще казалось Кадырхану, что именно этим объясняется его охлаждение к супружескому ложу.

Иланчик Кадырхан подъехал к дворцу ханши, спешился, бросил повод приковылявшему евнуху со старушечьим лицом. Широким, энергичным шагом поднялся он по мраморным ступенькам. Ворота распахнулись перед ним, еще один бабьелицый евнух согнулся в покорной позе. Повелитель сбросил верхнюю одежду, дал ее евнуху и направился во внутренние покои ханши. Евнух осторожно кашлянул. Повелитель обернулся и увидел на плоском лице евнуха явное желание что-то сказать.

— Господин!— женским голосом пропищал евнух.— Ханша сейчас не одна.

— Служанка, что ли, сидит возле больной?

— Нет, мой господин! У ханши находится табиб.

Иланчик Кадырхан внутренне весь съежился. «Странно! Почему она меня не предупредила, что вызвала лекаря? Слуги бродят по двору, слоняются по коридорам, а она заперлась с лекарем...» Нехорошее подозрение вдруг шевельнулось в нем.

— Открой!— резко приказал он евнуху, который держал большой ключ наготове.

Тот в испуге бросился к чугунной двери, открыл замок и отпрянул в сторону, выгнув спину колесом.

В покоях было сумрачно, круглые окна занавешены. Иланчик Кадырхан направился в глубь дворца к ложу ханши. Он хотел было рывком отшвырнуть тяжелый бархатный полог, но удержался. За пологом зашевелились,

задвигались, услышав, должно быть, его шаги. Занавес колыхнулся. Кто-то начал совать ноги в кожаные кебисы. Послышалось легкое покашливание. Голос был мужской. Края полога шевельнулись, и оттуда вышел мужчина. Он повернулся спиной, аккуратно соединил края занавеса и опять негромко кашлянул. Иланчик Кадырхан схватился за кинжал. Мужчина оглянулся, огненным взглядом точно пронзил повелителя. Кадырхан смутился: взгляд табиба мог, пожалуй, укротить и разъяренного зверя. Не спуская с хана глаз, табиб промолвил:

— Ханше необходим покой. Не мешайте ей. Она сильно заболела, и я выдавил хворь.

Табиб взглядом указал ему на дверь. Повелитель от неожиданности не сразу пришел в себя и послушно пошел за лекарем в просторную светлую комнату. Только здесь он увидел, что табиб — маленький, сухонький старичок с реденькой, совершенно белой бороденкой, сутулый, узкоплечий, в крохотной кожаной шапчонке на голове. Он был похож на хрупкий кустик устели-поле: казалось, подуй — и он взлетит, упорхнет, укатится. Ревность, только что обуявшая правителя, теперь прошла. Его особенно удивляли глаза табиба. Была в них странная, необъяснимая сила, поражавшая волю того, на кого падал этот острый, пронизывающий взгляд. Встречаясь с ним, повелитель чувствовал оторопь, дрожь пробегала по телу. Эти колдовские глаза и спасли старичка от верной смерти. Еще бы мгновение, и повелитель заколол бы его в приступе слепой ярости. А теперь он не мог даже поднять руку. Покорный, безмолвный, стоял он возле сгорбленного старичка. Торчавшего поодаль евнуха он жестом прогнал прочь.

— Ханша серьезно больна,— тихо произнес табиб, когда они остались вдвоем.— Если не приняться спешно за лечение, то она может вскоре угаснуть.

Повелитель испугался. Старичок достал четки и стал, привычно щелкая, перебирать их. Веки его были прикрыты, и Кадырхан теперь смело глянул ему в лицо.

— Понимаю, сынок, о чем ты хочешь спросить. Единственное лечение — почаще навещай ханшу. Да, да! Почаще...

Веки табиба медленно разомкнулись. Повелитель поспешно отвел взгляд. В это мгновение он подумал о множестве неведомых, необъяснимых, не взвешенных на весах разума тайн и чудес на этом свете. Теперь он сам

убедился в существовании каких-то потусторонних, колдовских сил, способных — помимо копья и меча — лишить простых смертных воли, сделать храброго трусливым, а острую саблю — тупой. Эта мысль его поразила. Она неумолимо влекла его в пучину...

12

Пятеро всадников ехали всю ночь, не давая коням передышки. Путь из Карикена до поймы реки Шу продолжался уже десятые сутки. Кони шли по каменистой тропе, и Ошакбай догадался: приближались Таласские горы. Пленный батыр был измотан вконец. Он уже не находил себе места на крупе лошади, тело зудело, горело, словно раны были посыпаны солью, от голода постоянно кружилась голова, перед глазами плыли разноцветные круги. Лихоимцы, взявшие его в плен, на дню останавливались раз по пять, подкармливали коней и сами, растянувшись на траве, доставали из торб и ели вареное мясо, твердый как камень сыр. Жевали подолгу, не торопясь, а Ошакбаю ничего не давали. За ночь, при бодрящей прохладе, лошади покрывали огромное расстояние. Кто знает, сколько проехали они. Кипчаки измеряют путь лошадиными переходами.

Звезды блекли, гасли. Забрезжил летний рассвет. Вдоль поречья густо рос высокий, по грудь коню, сочный курак. Он мешал ехать быстрым аллюром. Шли они почти всю дорогу коротким волчьим скоком, и даже на десятый день пути не встретилась им ни одна живая душа. То ли они нарочно выбирали безлюдье, то ли все аулы на пути куда-то откочевали. За одним перевалом начинался другой, за холмом тянулся холм, за равниной — новая равнина, и этому унылому, однообразному пространству не было конца и края. Наконец и кони выдохлись, начали все чаще спотыкаться, а вскоре и вовсе остановились. Главарь шайки долго и глухо говорил о чем-то с джунгарином, сидевшим впереди пленника. От голода и дорожных мук Ошакбай находился в полубреду, но все же с трудом уловил обрывки фраз.

— Жрать нечего. Лошади измучены. Придется ехать аулами.

— Мы должны избегать юрты с ханами.

— Это что еще за юрты, Байеке?

— Ну, в которых много детей. Если и уговорить их

нельзя, и никого не слушаются, кто же они, как не ханы?!

— И то верно.

Бауршик подозвал джигита, не сумевшего догнать девушку Баршын. Тот виновато плелся позади, опустив голову. Главарь приказал ему отправиться на разведку в аул. Джигит послушно поехал, а остальные спешились. Ошакбая стащили с седла и, словно чурку, швырнули оземь. Никто не говорил ни слова. Усталость свела челюсти, замкнула рты, омрачила лица. Ошакбай провалился в забытье, но очнулся от привычного, сиплого окрика: «У, опозорить бы могилу твоего отца!» Бауршик матерно ругал всю свою шайку.

— Байеке, я договорился, раз в юрте нет ханов.

— Болван! А почему не спросил, какого рода-племени?!

— Не догадался... Какая разница?.. Нам бы поесть, отдохнуть...

— А если он окажется соплеменником вот этой собаки?!

Ошакбай понял, что под «собакой» Бауршик подразумевал его. Неожиданные слезы хлынули из глаз. Не от обиды — от тоски по соплеменникам, по сородичам. Померещился ему далекий родной аул на берегу полноводной Инжу. Представилась тихая, мирная жизнь без забот и печали. Послышалась гортанная речь земляков. Да-а... все они честолюбивые смельчаки. Небось горюют теперь, оплакивают его, локти от досады и ярости кусают. Эх, злая судьбина!..

Лихоимцы вновь сели на коней, проехали перевал, остановились у темной кошменной юрты на краю аула. Навстречу им вышел хозяин, пожилой и длинный, как жердь, в чапане, надетом на голое тело, подержал, как принято, коней под уздцы, провел гостей в юрту. У порога, громко потрескивая, чадил жирник в глиняной плошке. Так обычно горит козий жир. Здесь же, у порога, бросили на землю Ошакбая, а сами расселись на подстилках на почетном месте. Бауршик обменялся с хозяином юрты вопросами вежливости. Он представил себя и своих спутников купцами, идущими из Бухары. В пути напали разбойники. Пока нечестивцы грабили караван, им удалось бежать. Один из грабителей бросился вдогонку. Ну, они его, голубчика, и изловили. Вон он лежит теперь связанный.

— Жена к соседям пошла за кумысом,— сообщил хозяин.— Сейчас придет. Наша кобыла болеет то ли ящуром, то ли водянкой: молоко сразу свертывается.

— Да, это скверно. Что ящур, что водянка,— согласился Бауршик. Он был явно обеспокоен и недовольно косился на джигита, приведшего их сюда.

— Какого рода будете, джигиты?— полюбопытствовал хозяин.

Бауршик помедлил с ответом. Он готов был загрызть незадачливого джигита, посланного на разведку.

— Да кипчаки мы...

— Из каких мест?

— С Алатау... Семь дней пути отсюда,— запинаясь, говорил главарь шайки.

Караульный смущенно опустил голову. Вошла женщина, неся большую деревянную чашу. Опустилась на корточки, принялась мешать, взбалтывать кумыс. Гости оживились. После первых же глотков бледность сошла с лиц. Ошакбаю тоже подали чашку. Терпкий напиток взбодрил его. Сознание прояснилось. Он лег поудобнее, вытянул ноги, прислушиваясь к речам хозяина.

— Раньше, в старину, детей обучали так,— рассказывал тот.— Держите, говорили им, ладони вместе, чуть согнув пальцы, тогда в них вмещается много. Если будете ротозеями и разожмете пальцы, то вам ничего не перепадет, все выроните. Если же проявите чрезмерную алчность и жадность и сожмете пальцы в кулак, то вы лишитесь всего. В ладонях ничего не останется. Вы, оказывается, торговцы. Стало быть, относитесь к племени скупых, предпочитающих сжимать пальцы в кулак. Ох, не уважаю же я это ремесло! Однажды торгаши меня крепко обманули. Погнал как-то я в Тараз косяк лошадей, а вернулся оттуда в одном исподнем. С тех пор больше всего на свете ненавижу комаров и торгашей...

Бауршик опять нацелил недобрый взгляд на своего караульного. Он предчувствовал, что именно так оно и будет, еще тогда, когда этот слюнтяй-караульный вернулся с дозора. «У, пес паршивый!» «Хозяин крайней юрты очень добр и щедр. Не задумываясь, пригласил нас к себе. Будете божьими гостями. Даже не поинтересовался, кто мы». Вот и попались! Обвел меня вокруг пальца своим «еке» да «ека». Прямо в логово волка толкнул, нечестивец!»

Бауршик хорошо знал: у кипчаков не принято отка-

зывать в чем-то гостю. Не принято у них и расспрашивать путника. Есть такие люди, которые затевают нудный допрос: «Кто ты?», «Кто твой отец?», «Из какого рода твоя мать?», «Чем занимаешься?», «Откуда твоя жена?», «Много ли у тебя родственников?», «Быстр ли твой конь?», «Каких он кровей?» Пока такой человек обо всем не расспросит, глотка воды не подаст. А этот красноглазый кипчак выказывает все знаки гостеприимства, угощает кумысом, а сам незаметно, исподтишка так и лезет тебе в нутро. Матерная ругань так не унижает, как его вежливые слова. Надо же: с комарами, этой назойливой, низкой тварью, почтенных людей сравнил! Да за такие слова башку ему расколоть мало!

— Э... этот бедняга уже не удерет. Куда ему? Одни кости да кожа остались...— сказал хозяин и, не спросясь, развязал пленнику руки-ноги.

Пришлось промолчать, стерпеть.

— Э... эдак бедняга в два счета околеет,— опять заметил тот немного погодя и подал пленнику прямо с подноса самый большой и жирный кусок мяса.

Бауршик от злости готов был лопнуть, как бычий пузырь. Громко сопя, еле сдерживаясь, он шепнул сидящему рядом джигиту: «Оседлай коней, живо!» Джигит вышел, вслед за ним поднялся и караульный.

— Ешьте, ешьте,— потчевал хозяин.— Завтра в вашу честь заколю барашка, приглашу стариков.

— Да вознаградит вас аллах!

— Отдохнете, про то, как разбойники на вас напали, поведаете...

— Что вы, что вы?!— встревожился Бауршик.— Нам нужно в путь. Хотя бы до верховья добраться, пока начнется жара. Не то слепни коней живьем сожрут. Ехать ведь далеко. Считай, еще семь дней...

Бауршик уже не доверял длинному, как жердь, кипчаку. Черт его знает, что у него на уме! Может, он что-то почуял? Догадывается, что неспроста они под покровом ночи, точно напаскудившие коты, куда-то пробираются? Может, он нарочно их задерживает, чтобы про все узнать, людей созвать, пленного подкрепить? Нет! Скорей ноги следует уносить отсюда подобру-поздорову...

Ошакбая вновь связали и подняли на коня. Беспокойно озираясь, все сели на коней и тронулись в путь. Гулко застучали копыта. С ходу пошли рысью. Немного отъехав от аула, Бауршик, давая волю гневу, яростно отхлес-

тал караульного толстой восьмигранной камчой. Несчастный вскрикнул и припал к гриве лошади. Всю злобу, досаду и страх излил главарь шайки на беднягу, допустившего оплошность, не узнавшего заблаговременно род хозяина юрты на краю аула.

Еще семь дней трусили по безлюдью, голодные, измученные, без горячей пищи. Питались травами. Раза два удалось подстрелить куропаток. У лошадей ввалились бока, и они еле волочили ноги. На седьмой день показались родные места, и в кровь избитый главарем молодой караульный заплакал от радости.

Безоглядный, широкий простор, покрытый густой шелковистой травой, простирался перед ними. Вдалеке сквозь марево белели вершины гор, вокруг голубели бесчисленные озера. Здесь обитали в основном вольные, строптивые люди, называвшие себя уйгурами. Через их страну пролегал Великий Шелковый путь. Девушки одевались в одежды голубого, женщины — красного, мужчины — светло-коричневого цвета. Все сплошь были рослые, плечистые, грудастые. На отрарском Кан-базаре Ошакбаю как-то довелось увидеть могучих кудрявоголовых людей, пришедших с запада. Уйгуры, обитавшие здесь, по облику и цвету лица очень напоминали этих людей, только были посмуглей. Живут они просто, неприхотливо, одеваются небогато. Любимое занятие мужчин — укрощать строптивых лошадей, у женщин — красить себе лица. Питаются здешние уйгуры главным образом кониной, пьют кумыс. Жилища у них не белые кошменные юрты, как у кипчаков, а бесхитростные конусообразные лачуги. Ставят длинные жерди, связывают верхушки и накрывают снаружи войлоком. Табунам их нет числа. Когда их гоняют через солончаки, густая белесая пыль затмевает солнце; испуганные жаворонки, обессилев в воздухе, падают замертво к литым копытам. Табуны движутся сплошной массой от горизонта до горизонта.

Здесь, в углу шошалы — лачуги, Ошакбай пришел в себя, собрался с мыслями, немного окреп. У Бауршика оказалось восемь жен. Каждой он посвятил по одной ночи. На девятый день он вышел из лачуги молодой жены и мрачно заявил: «Отправимся дальше в путь». Ошакбая посадили на белого атана — рослого холощеного верблюда. Бауршик оседлал арабского жеребца. Слуги поехали на быках. Шли через сыпучие пески около меся-

ца. Когда скотина отощала вконец, а у людей сквозь одежду стали выпирать ребра, дотащились до пустынной степи, где находилась стоянка несметного войска.

Бескрайняя ковыльная степь, простиравшаяся под жгучим солнцем, вселила тревогу в сердце Ошакбая. Она бугрилась бесчисленными холмами. Здесь находилась Золотая орда восточного кагана — хана ханов. Бесчисленные шатры ослепительно белели, точно чайки на берегу моря. От земляных печей — жер-ошаков к небу тянулись дымы. Вокруг стоял сплошной гул: ржали лошади, звенели стремена, бряцало оружие. Чем ближе к стойбищу, тем внушительней становилась картина. Куда б ни смотрел Ошакбай, всюду скакали отряды сарбазов, лавиной проносились ратники. Где-то обучали неуков, где-то, надрываясь, кричал глашатай, и все кружилось, гудело, стонало, грохотало, бурлило, ярилось в какой-то непостижимой, шальной круговерти.

Однако все же существовал железный порядок. Иначе эти полчища могли бы просто задавить друг друга, затоптать копытами коней, задохнуться от собственной мощи. Гигантский человеческий муравейник потряс Ошакбая. Такого он еще не видывал. И еще заметил батыр: земля была истерзана лошадиными копытами, травы вытоптаны. Стоило чуть подуть ветру, как поднималась пыльная буря. Но чувствовалось, что совсем еще недавно нетронутые травы стояли здесь коням по брюхо, что был здесь настоящий мамырстан — зеленый оазис. Теперь то здесь, то там сиротливо торчали задыхавшиеся в полыни чахлые кусты и деревца. Иссякли родники, обмелели речки, озера. Поразительно, как можно было прокормить такую прорву людей, находить достаточно выпасов для тьмы-тьмущей лошадей и верблюдов!

Справа путники увидели с десяток шатров из белых лошадиных шкур. Туда и направил коня Бауршик. Неожиданно, словно из-под земли, выросли перед ними двое верховых. Бауршик достал из-за пазухи медную пластинку, показал им. Верховые пропустили их вперед. Из белого шатра никто не вышел им навстречу. Надменность и величие мигом слетели с Бауршика. Он суетливо спешился, привязал повод к передней луке седла, заставил верблюда опуститься на колени, помог слезть Ошакбаю. Прямо на глазах менялся грозный Бауршик: стал кротким, тихим, даже ростом ниже. Он повел пленного и спутников к крайнему шатру. И здесь не видно было ох-

раны. Казалось, жители покинули свои недавние жилища. Баурщик подал знак, негромко кашлянул, откинул заскорузлую шкуру-полог и вошел в шатер. За ним тесной гурьбой, толкаясь, напирая друг на друга, ввалились остальные.

Властный густой бас недовольно пророкотал:

— Кто осмелился нарушить мой покой?!

— Мы, верные нукеры великого кагана.

— Ночью поганые собаки своим воем не дали мне уснуть. Проходите! Я думал, слуги или служанка... Откуда?

— Дальние — из Дешт-и-Кипчака, ближние — из Семиречья.

— Ой, баурым! Брат мой! Как я истомился по сородичам!— Человек, лежавший на подстилках, неуклюже поднялся, бросился к ним, раскинув объятия. От гулкого его баса гудело в ушах.— Ох, и тяжела судьба у великого кагана! От тоски умираю. До родного края далеко, а здесь и жрать-то досыта нечего. Наоборот, комары да слепни скорее нас сожрут. И солнце печет неимоверно. Околеть можно! Провались такая служба и такая жизнь!

— Этот почтенный человек — Юсуф Канка, родом из кипчаков,— представил его спутникам Баурщик и сам опустился на палас, улегся на боку. От долгой езды он уже не мог сидеть.

Речистый Юсуф сразу же принялся расспрашивать про родной край. Оказалось, что вырос он в Отраре, с юных лет питал склонность к далеким путешествиям, и эта неуемная страсть наконец погубила его, лишила родного края, милого порога, уютного очага, жены и детей, заставила одиноким голодным волком выть в этом белом шатре. Юсуф Канка был надежным послом кагана, его верным соколом, которого тот, хан ханов, пускал на врага лишь в тяжкий час испытания.

— Каков настрой души великого кагана? — поинтересовался Баурщик.

— Ой, не спрашивай! Упаси аллах от его гнева. Все живое трепещет перед ним!

— Помилуй бог! Как же нам быть?!

— Надейся на милость кагана. А пока отлежись. Небось натер ягодицы от долгой езды. Зарежь белого верблюда, хоть мясом полакомимся. Не подыхать же с голоду.

— А что? От каганского дастархана и объедки, что ли, не достаются?

— Э, брат, и с объедками что-то туговато стало.

— Выходит, каган готовится к походу?

— Может быть. Он намеревался пойти на джунгар и — еще севернее — на джакутов[1]. Но ханы тех племен оказались такими хитрозадыми льстецами, что и не знаешь, как с ними быть. Их ни коварством, ни гневом не проймешь.

— Что же так?

— Кагану дары шлют целыми караванами. Его нойонам — косяки отборных лошадей да девок непорченых. Как теперь на них нападешь? Вот каган и выходит из себя, не зная, над чьими головами мечом помахать. Никак не сообразит, на ком сорвать зло.

— Чьи же послы живут в соседних шатрах, почтенный?

— Один арабский посол, которому пятки прижгли раскаленными щипцами. Все остальные разбежались, разбрелись по белу свету и на все лады восхваляют могущество грозного кагана.

— За что же наказан арабский посол?

— У этого бедняги была, оказывается, тайная цель. Он хотел обратить монголов в мусульманскую веру. Каган, узнав об этом, рассвирепел. «Мой бог — бог войны Сульдэ. Поклоняюсь я только мечу. И ты поклонись моему мечу и отправляйся в свою страну. Когда мои тумены прибудут в твой город, ты откроешь ворота!» Так сказал и так приказал каган. «В священные земли может вступить лишь раб аллаха, верный последователь пророка Мухаммеда!» — ответил ему араб. «Ты, что ли, верный последователь священного пророка?» — усмехнулся каган и повелел раскаленными щипцами прижечь пятки послу.

— Значит, не скоро удастся мне предстать перед каганом,— с тоской проговорил Бауршик. Он живо вообразил и каганский меч, и раскаленные щипцы, и большую деревянную чашу с дымящимся жирным мясом. А про себя уныло подумал: «Господи, не дай мне погибнуть на чужбине, не оставь сиротами моих детей, а вдовами — моих жен; сохрани меня от гнева каганского; ради влас-

---

[1] Предки нынешних якутов.

ти я готов сейчас и пресмыкаться перед ним, и цеплять-ся за полы его халата, и сметать бородой пыль с его сапог; но потом, когда я добьюсь желанной мечты, из-бавь меня, бог, от рыжебородого. Я тут же покажу ему свой затылок, а на похоронах его зарежу коня с белой отметиной на лбу...».

Каждое утро, просыпаясь спозаранок, Бауршик от-правлялся на высокий холм в сторонке. Там он стоял долго, взирая на шелковый шатер кагана, на вершине далекой сопки. У каждого встречного-поперечного он спрашивал: «В гневе ли продолжает пребывать хан?» Бауршик истомился, исхудал. Неопределенность тяготи-ла. Глаза у него ввалились. В тот день, когда в казан опустили последнюю кость от холощеного верблюда, Юсуф Канка принес наконец хорошую весть. Он прибе-жал к шатру, поддерживая руками полы длинного ха-лата, и Бауршик кинулся ему навстречу.

— Суюнши! Добрая весть! Гнев кагана смягчился!— еще издали кричал многоопытный посол.

Возбужденные, взволнованные, они направились к золотистому шатру на вершине сопки. Пленного кипчак-ского батыра Ошакбая посадили на скрещенные копья и внесли к восточному кагану, чье имя было Чингисхан. Перед ними на золотом троне восседал в напряженной позе, готовый к прыжку лютый тигр с редкими, как у кота, усами. Под узкими пронзительными глазками за-легли две глубокие складки. На гладкий, без единой морщинки лоб ниспадала с макушки тоненькая косичка, конец которой не был виден. Тигр медленно раскрыл пасть, обнажил клыки. Скрещенные под Ошакбаем копья начали дрожать. Тигр, встопорщив усы, что-то проурчал. Султан Бауршик, припавший лбом к ногам кагана, чуть приподнял голову, начал переводить его слова.

— Любимец бога на земле, хан ханов, повелитель вселенной, великий каган ставит тебе два условия. Пер-вое: ты, став посредником между великим каганом и кипчакским военачальником Иланчиком Кадырханом, обязуешься склонить последнего к дружбе с монголами. К такой дружбе, при которой бы он беспрекословно де-лился с каганом последним торсуком кумыса. Второе: ты должен предводителям туменов рассказать о мощи, порядках, оружии, расположении и ратных тайнах кип-чакского войска. Лишь тогда ты обретешь свободу. В

противном случае ты будешь объявлен куном [1] за убитого кипчаками моего предка. Как известно, за куна расплаты не востребуют...

Ошакбай глубоко задумался. Он вспомнил земляков, которые жили безмятежной, мирной жизнью, не собирая войска, не чуя опасности, не ища повода для бойни. Перед его взором прошли дехкане, чьи кетмени возделывают и орошают землю; тихие сады; бахчи со зреющими арбузами и дынями; баштаны среди верблюжьих колючек в барханах; мирные караваны, бредущие по древним дорогам; величественные дворцы, чьи голубые купола зыблются в знойном мареве. Он представил все это и со страхом взглянул на тигра с колючими усами.

— Благосклонный хозяин радушно принимает гостя. Обо всем расспросит, поговорит, посоветует. А недоброжелательный при виде гостя оседлает коня и убирается на выпас к своей скотине. «Успеем еще поговорить»,— скажет небрежно. Да так и продержит на привязи. Великий каган принял нас сразу, выказав свою благосклонность и доброту. Это следует оценить!

Так говорил, упиваясь собственной ложью, султан Бауршик. Восседавший на золотом троне тигр осклабился, усы раздвинулись, и губы поплыли к ушам. Бауршик сразу умолк и припал головой к ковру. Блеснул желтый клык.

— Сказано: колючий тростник и тот шуршит лишь на родной земле. Находясь на чужбине и в неволе, я не могу приторочить судьбу моей родины к монгольскому седлу! — твердо сказал Ошакбай.

От этих слов Бауршик задрожал, будто подавился куском льда.

— Не кощунствуй! Подчинись воле кагана!

— Предательство не мой удел.

— Ничего... Обломают. Голым задом на копье посадят!..

Султан Бауршик намеревался перечислить все ужасы, ожидавшие пленника, но тигр на троне шевельнулся; налился гневом и яростью, грозно зарычал. Когда ему перевели слова Ошакбая, он еще пуще рассвирепел. Каган дернул себя за косичку, дрожащими пальцами пытался вырвать волосок. Охранники-торгауты упали на колени, как подрубленные. Все, кто был в шатре, разом

---

[1] Мзда, плата за убийство.

распластались у ног рыжебородого владыки. Копейщики выронили копья, и Ошакбай тоже грохнулся на ковер. Жизнь людей поистине висела на волоске кагана. Вырвет его из косички — всем двуногим в шатре придет конец. Острая боль пронзила Ошакбая. Жало волосяного аркана впилось в раненую руку. Батыр потерял сознание... Очнулся он под палящими лучами солнца, туго-натуго обмотанный циновками из чия.

Так начались невиданные муки Ошакбая.

Копейщики вышвырнули его из шатра кагана, обвернули сначала кошмой, запеленали, вытянув руки-ноги, как младенца, оставив снаружи только голову. Поверх кошмы намотали циновки, потом перевязали веревками. Получилась огромная продолговатая дыня. Выкатили ее на дорогу и начали пинать изо всех сил. Из золотистого шатра с развевающимися конскими хвостами на шесте вышли первыми каганские полководцы — предводители туменов, тысяцкие и сотники — и тоже попинали до полного изнеможения живой клубок. Докатили его до коновязи, бросили в навоз, а сами, исполненные величия и достоинства, ускакали по своим делам. Теперь настал черед посыльных и конюхов. Пинками прокатили они живой клубок обратно до каганского шатра. В глазах Ошакбая туманилось; внутри его точно шевелилась, копошилась мелкая мерзкая тварь; он часто терял сознание...

Так продолжалось каждый день. Когда заходило солнце и утомленное войско готовилось к ночлегу, Ошакбая развязывали, разворачивали и запирали вместе с рабами. Давали ему только послабляющее свежее кобылье молоко. Измученный, отупевший от побоев, Ошакбай прислушивался к неутомимому пению кузнечиков и думал-думал о родной Инжу, ее непроходимых тугаях вдоль побережья, в которых вольно рыскали барсы и тигры. Монголы называли эту великую реку Хешан-мурен. Он даже во сне слышал шелест ее камышей и тосковал о несравненной красавице Баршын. Часто, не смыкая глаз, встречал бедный батыр зарю. Здесь она всходила не так, как в родном краю; утренние лучи не золотили степь; они подолгу застревали, задыхаясь, в пыли у горизонта. А пыль здесь висела постоянно плотной кисеей от великого множества каганова войска. Сразу же после восхода солнца приходили грубые сарбазы, мучители Ошакбая, вновь пеленали в кошму и ци-

новки, связывали и, кряхтя, зверея, начинали его бить, колотить, пинать, дубасить чем попало...

Как-то еще юнцом по велению отца Ошакбай побывал в Ургенче. Проводник привел его в бозахану — питейный дом. Огромный персиянин, владелец бозаханы, заставил их раздеться до исподнего, после чего пригласил в крохотное сумрачное помещение, похожее на пещеру. Каких только ужасов они здесь не насмотрелись! Ошакбай быстро опьянел от хмельного напитка — бозы. Проводник пил бозу с настоем маковых зерен и, оглушенный наркотиком, начал пространно рассказывать о тех, кто курит опиум, нюхает круглые, как козий катышек, шарики, глотает с ними хлебный мякиш, жует, одурманивает себя гашишем, анашой и путешествует по райским девам. Поразительные чудища рисовались в его воспаленном воображении. И теперь он испытывал такое же полубредовое состояние, как и несчастные в душной бозахане. Он то терял сознание и отправлялся на тот свет, то сознание вновь возвращалось к нему, и он опять катался под пинками мучителей по грешной земле. Со временем он настолько отупел, что уже перестал воспринимать происходившее вокруг.

Он покорно катался в пыли между явью и кошмарным сном, между жизнью и смертью. Внутри уже все было отбито, никакие твари там уже не копошились, и ударов он уже не различал, не чувствовал. Он превратился в бездушный обрубок. Все ему стало безразличным, как человеку, потерявшему все самое дорогое и святое. Лишь изредка, издалека смутно доносились шелест и всплеск волн жемчужной Инжу.

Но все эти муки и пытки не смогли выбить его воинственный, неистребимый дух, унаследованный от непокорных кипчакских батыров. Иногда, когда сознание прояснялось, он крепче стискивал зубы и подмечал все обостренно, как опытный предводитель войска во время похода. Он старался как можно больше запоминать, все еще надеясь, что это может ему пригодиться в час испытания. Он вообще отличался цепкой памятью. Душа его была как благодатный колодец. Ее сравнивали порой с песчаным грунтом Синегорья. Лежит под ногами невзрачный сухой песок, а чуть копнешь его — из-под низу проступает прозрачная родниковая вода.

Валяясь в пыли во время недолгой передышки, он зорко оглядывался по сторонам. Стройными рядами про-

гарцевала сотня. Судя по всему, это была дозорная группа. Все сплошь кряжистые, широкогрудые джигиты. Они были не в железных шлемах, как прочие сарбазы,— головы обтянуты белой, очищенной от мездры кожей, плечи согнуты вперед. Особенно внушительными казались ляжки: мощные, крутые, бугристые. Возможно, ощущение это создавали заскорузлые овчинные штаны. Сидели сарбазы в седлах как влитые, напряженно подавшись вперед, чуть горбясь, и всей этой позой напоминали лук с туго натянутой тетивой. В одно мгновенье, словно горный селевой поток, пронеслись они мимо.

Вслед за дозорным отрядом показался самала[1]. Всклубилась, густея, пыльная туча. Сарбазы, входившие в самала, были вооружены только луками. Другого оружия Ошакбай не заметил. Зато луки были примечательны. Огромные, отделанные рогом марала, со звонкой тетивой, сплетенной из двух сыромятных тесемок. Стрелы острые, с красным наконечником-пером, издающим в полете устрашающий свистящий вой. Такими стрелами лучники безошибочно поражают цель на расстоянии ста шагов. Самала лучников бросают в бой первыми. Вслед за лучниками идет другой самала — саблисты.

В руках сарбазов Ошакбай, однако, сабли не увидел. Он посмотрел внимательней. Оказалось, одна сабля привязана к задней луке седла, вторая — в ножнах под левым бедром. Значит, у каждого воина по две сабли. Одна затупится, другая наготове. Саблисты были так же искушены в джигитовке, ловки в седле, как обезьяны на деревьях. Одинаково рубили они и левой и правой рукой. Со склона перевала воины с саблями пустили коней диким наметом и устрашающе завыли, падая, заваливаясь на полном скаку то на левую, то на правую сторону. В одно мгновение тысячи всадников разом исчезали, в следующее — появлялись вновь, и тогда точно пламенем вспыхивали гривы лошадей. Очевидно, где промчатся воины с саблями, срубленные головы покатятся по траве.

И вот таким кровожадным и стремительным, как смерч, войском управляет неукротимая воля всемогущего кагана. Стоит ему пошевельнуть пальцем, как сотни

---

[1] Войсковая часть, равная по численности примерно полку.

тысяч всадников очертя голову с свирепым воем ринутся в бой! Не каган — гроза, возмездие! Черный дьявол смерти!..

Монголы все сплошь плосколицые, безбородые, а у их владыки — рыжая борода и редкие кошачьи усы. Взгляд холодный, пронизывающий. Глаза отливают фиолетовым отблеском, как зрачки овцы при лучах заходящего солнца. Руки и ноги костлявые, длинные, точно жерди, которыми подпирают юрты в бурю. Высокий конь кагану лишь по грудь. Рослый и грузный, он, однако, ловок и быстр в движениях, выносливи неприхотлив. В стрельбе из лука равных ему мало. А каждое произнесенное им слово — пущенная стрела. Голос — что грохот призывного барабана. До сих пор звучит он в ушах Ошакбая.

«Я — гроза мира!»

«Я — потрясатель вселенной!»

«Я не стремлюсь к захвату чужих земель. Огнем и мечом лишь устанавливаю на земле покой. Один-единственный великий поход навсегда покончит с тысячью войн!»

«Мне нужны тумены из кипчаков».

«Дайте мне тысяцких из монголов, а тумены из кипчаков, и весь мир окажется у меня на ладони».

Из всех этих откровений кагана Ошакбая больше всего настораживали и пугали слова: «тумены из кипчаков». В самом деле, что хорошего в том, если его сородичи в черный час станут послушным оружием кагана, причиной неисчислимых бедствий, если отпрыски его, Ошакбая, с пеленок начнут жаждать крови, а слово «кипчак» будет в памяти народов восприниматься как «меч» и «стрела»?! Будь проклята такая судьба! Будь проклята такая слава! Будь проклято былое могущество и былое богатство! Ошакбая взволновала судьба, уготованная коварным каганом для племени кипчаков.

Прошло знойное лето. С каждым днем явственнее чувствовалось дыхание осени. Несметные каганские полчища двинулись в путь. Войско походило на море в час отлива. Солнце скрылось за плотной завесой пыли. Пленного батыра наконец перестали истязать. Развернули циновки, кошмы, подняли его, бледного, изнуренного: ни дать ни взять — живой труп. Привязали батыра к

хвосту верблюда, приказали подгонять тощего верблюжонка.

Голова кружилась, ноги заплетались и не слушались. Если бы не верблюд, за которым Ошакбай покорно плелся на поводу, лежать бы ему на дороге, в пыли, на утеху шакалам и орлам-стервятникам.

Вскоре равнина кончилась, началась пустыня с бесконечными барханами. Белесые, покрытые чахлой, сизой растительностью, они не были похожи на барханы Кызылкумов. Казалось, здесь простиралась Страна могил. Всюду зияли норы. На каждом шагу суетливо метались, шарахались во все стороны лисы и барсуки. Монголы не охотились за ними, а гнали под свист и улюлюканье к холму и, окружив, подолгу смотрели на то, как затравленный зверек карабкался на вершину, отчаянно барахтаясь в зыбучем песке. Пышнохвостая лиса бежала из последних сил, сучила лапками, а бежать ей было некуда, плотным кольцом окружали ее монголы. Наконец, выдохнувшись, обессилев, лиса падала к ногам надрывавшихся от смеха всадников. Привязав лису к тороке, монголы мчались к следующему холму. Ошакбай ни разу не видел, чтобы монголы ездили спокойно, трусцой или рысью. Они всюду скакали во весь опор, словно вестники смерти к траурной юрте.

Для нового стойбища выбрали побережье полноводной реки. Здесь Ошакбая не стали заворачивать в кошмы и циновки и пытать, как прежде. Видимо, монголам надоело возиться с кипчакским батыром, а возможно, решили, что мозги его достаточно отуманены. Ему развязали руки-ноги и сделали рабом. Теперь он собирал кизяк, разводил огонь, таскал воду. Холодными ночами он сидел у очага, зарывая голые пятки в горячую золу, и бесконечно думал о родной земле. Вместе с этими думами к нему вновь возвращались честолюбие, ярость, гнев. С неуемной тоской мечтал он о прежних днях.

В ту ночь, когда самая младшая жена кагана разродилась сыном, точнее сказать, в тот предутренний час Ошакбая осенила неожиданная мысль. Он лежал, свернувшись, в дырявой, прокопченной кибитке, дремал. И вдруг эта мысль пронзила его и уже не отпускала, не отступала, назойливо преследовала его всюду. Глядя вдаль воспаленными от бессонницы глазами или рассматривая дыры на сыромятных ичигах, он упорно думал о побеге...

На родины каганского сына собралась тьма-тьмущая народу. Каган устроил большую айналма-байгу — скачки по кругу. Первый приз — десяток крепких рабов и девушка с богатым приданым — предназначался хозяину лучшего скакуна. Ошакбай понял: настал самый подходящий момент для осуществления задуманного намерения. Он начал готовиться к побегу. Первым делом он выпил прокисшее молоко из старого кожаного торсука, тщательно вымыл и высушил его. Потом подвязал торсук под рваный халат и стал вертеться возле казанов и подавальщиков. Ему удалось пристроиться к разносчикам сорпы и, таким образом, незаметно стащить с подносов несколько кусков мяса, которые он тут же запихивал в торсук. В тот день, когда торсук округлился боками, кончилась байга.

Ошакбай приглядывался к юртам, поставленным для высоких гостей, слонялся возле коновязи, растянувшейся на три версты. Каганские охранники-торгауты были тоже начеку. Они сковали слуг и смотрели в оба, даже близко не подпуская посторонних к нарядным юртам. Прислугу меняли дважды в день. Коротконогие, низкорослые лошадки торгаутов не привлекали Ошакбая. На них далеко не ускачешь. Для побега ему нужен быстрый и выносливый скакун. Такие бывают лишь у сановитых гостей, приехавших к кагану издалека. Если удастся вывести такого скакуна и с места пустить его вскачь наперегонки с ветром, тогда — да благословит его аллах! — он наверняка вырвется из плена.

На его глазах случилось ужасное. Кто-то кинжалом полоснул по горлу пегого жеребца, пришедшего первым на скачках. Конь рухнул, забился. Начался переполох. Ошакбай со всех ног кинулся прочь. Чуть замешкайся — несдобровать бы ему. Хозяин призового коня завопил дурным голосом, потребовал выдать ему убийцу и заплатить мзду. В исступлении он тут же заколол незадачливого коневода. От досады и ярости Ошакбай завыл, поняв, что в этой суматохе ему теперь уже не удастся выкрасть хорошего коня, а значит, не осуществится задуманный побег. Затравленно озираясь, бежал он между бесчисленными юртами, лачугами, конями. Ему казалось, что он вдруг попал в собачью свору в пору весенней случки.

В последний день грандиозного степного пира, на рассвете, у коновязи наконец воцарилась тишина. Ты-

сячи отборных скакунов, составленные в тесный ряд, благодушно дремали. Ошакбай неслышно подкрался к поджарому сивому коню, которого облюбовал накануне. Конь долго стоял на выстойке, был хорошо тренирован. Он крепко упирался в землю тонкими и стройными, как черенок копья, ногами. Жидкие грива и хвост струились шелком. Коневод неотлучно торчал возле коня, точно кол. То ли был напуган тем кровавым случаем, то ли дорожил им больше, чем зеницей ока. Даже в сладкий предутренний час не позволял себе коневод вздремнуть или хотя бы на шаг отойти от коновязи. Между тем начинало светать, и Ошакбай понял: дальше ждать уже нет смысла.

Он решил рискнуть. Не сгибая колен, держась в тени, Ошакбай пошел вперед. Можно б было ползком, точно кошка, подкрасться между точеными конскими ногами, но лошадь — животное чуткое, пугливое. Не мудрено невзначай переполошить всех лошадей на трехверстовой коновязи. Тогда они в два счета раздавят тебя копытами. Надо, чтобы лошади узнали, учуяли в нем человека, только в таком случае возможно хорониться за ними. Задача Ошакбая осложнилась: надо было усыпить бдительность коневодов и одновременно не вспугнуть лошадей. Когда он приблизился на расстояние броска, скакун навострил камышиные уши, проявил беспокойство. Чуткий коневод обернулся. Ошакбай упал ничком, вобрал голову в плечи, затаил дыхание. Коневод — чтоб земля его проглотила! — протер глаза, начал пристально оглядываться вокруг. Медлить теперь уже становилось опасным.

Судорожно стиснув рукоять заготовленного ножа, Ошакбай одним прыжком настиг конéвода. Бедняга и рта не успел раскрыть. Раскинул руки, упал наземь, но тут же увернулся и мгновенно поднялся на ноги. Они сцепились, как борцы во время схватки на ковре. Кони встревожились, нервно перебирали ногами. Ошакбай изловчился и ножом перерезал чембур скакуна. Коневод только теперь заметил нож, обомлел от страха и сник, рухнул к ногам, будто куль. Предутреннюю тишину раскололо его отчаянный вопль. Держа повод, Ошакбай выпрямился и увидел, как на крик заспешили со всех сторон конюхи и охранники. В следующее мгновение он отвязал повод от луки, вспрыгнул в седло. Несколько рук потянулись к его ногам, но он успел ударить скакуна

и вырвался, выскочил из кольца, точно молния сквозь черные тучи. Вслед неслись крики, свист, вопли.

Солнце только выглянуло из-за горизонта, и Ошакбай сразу увидел всполошившихся монголов, спешно собиравшихся в погоню. Казалось, в тихий, безмятежный аул проник какой-то опасный джинн, которого пыталась выгнать толпа исступленных бахсы-шаманов. Из этого пестрого клубка-смерча, из адового пламени вырвался одинокий всадник, и за ним бешеным наметом понеслась погоня. Теперь по степи мчались, клубясь, цепочкой пыльные вихри...

13

Ошакбай ушел от погони, оставив ее за голубоватой дымкой марева. Он не ошибся в выборе коня — поджарый скакун был из редкой породы тулпаров. Конь привык к неистовым и долгим скачкам по бурой бескрайней кипчакской степи. Теперь летел он птицей, лишь изредка касаясь копытами земли. Грудь и шея его раздулись, наполненные встречным ветром, мышцы разогрелись, нервное возбуждение спало. Низкорослые, невзрачные, кургузые монгольские лошаденки быстро выдохлись, запарились и перешли на волчью трусцу. К обеду, замореные вконец, они уже еле плелись понурым шагом. Лишь несколько всадников продолжали настойчиво преследовать Ошакбая. Вероятно, то были слуги хозяина коня — то ли джунгары, то ли кипчаки или же уйгуры. Иногда они исчезали, и Ошакбаю казалось, что теперь-то они отстали безнадежно, но вскоре всадники вновь появлялись из-за холма или перевала, совсем рядом. Было ясно, что они хорошо знакомы с этими местами и знают, где и каким образом можно сократить путь.

«Хоть бы скорее стемнело!» — твердил про себя беглец.

Бока его коня покрылись пеной. Наступила пора послеполуденного намаза, и скакать без передышки под палящим солнцем было трудно даже для опытного призового скакуна. Через некоторое время под брюхом коня пробежала дрожь, он начал фыркать, сбиваться с шага. То был тревожный признак. Конь норовил перейти на рысь или трусцу. Аллюр его стал неровным. Такой аллюр кипчаки сравнивают с прокисающим молоком: уже

не свежее, но еще и не простокваша. Эдак скакун долго не выдержит, а может и совершенно сойти с пути. Ошакбай оглянулся. Погоня маячила у горизонта, растянувшись длинной журавлиной стаей, зато передовой всадник спускался ему наперерез по склону перевала.

Ошакбай ехал теперь вдоль оврага. На дне его журчал родник, и он остановился, спешился. Но коня поить не стал. Еле доковылял он на онемевших ногах до воды, сорвал с головы платок, намочил его и обтер потные бока, круп, брюхо, шею скакуна. Обтирал долго, старательно, часто мочил платок в студеной воде. Конь морщил кожу, вздрагивал, довольно всхрапывал. Мышцы его остыли и упруго перекатывались под влажной кожей. Беглец поводил коня взад-вперед. Ему тоже нестерпимо хотелось пить, припав к прозрачной струе родника. Во рту давно уже пересохло, но было некогда, надо было скорее остудить разгоряченного скакуна. Конь то и дело останавливался, широко расставляя ноги, тужился и вновь ходил взад-вперед. Это повторялось несколько раз, пока наконец ему удалось облегчиться. Ошакбай радостно вздохнул. Теперь можно было продолжать путь.

Он привязал чембур к поясу и, ничком упав в траву на берегу ручейка, окунулся лицом в воду. Пил, долго, жадно, до ломоты в зубах. Он чувствовал, как приятная прохлада растекалась по жилам, нежила душу, навевала желание лежать вот так, раскинув руки-ноги, на мягкой, сочной траве. Сердце стучало размеренно, громко — гук-тук-тук. Закрыть бы сейчас глаза, расслабиться, забыть все горе, все муки, не думать про погоню, про то, что еще ждет его впереди. Устал он, измучился. Тук-тук-тук. Точно из-под земли доносится гулкий стук. Неужели так громко бьется его сердце?

Топот копыт приближался, нарастал.

Ошакбай поднялся. Громадина бородач на такой же большой гнедой лошади ехал прямо к нему. Из-под насупленных бровей мстительно поблескивали белесые глаза. Ошакбай быстро вдел коню удила, вскочил в седло и с места пустился в карьер. Прямо под ногой, возле стремени просвистела стрела. Мгновением раньше она могла бы сразить беглеца. Бородач завопил во все горло. Видимо, это был сам хозяин скакуна.

И следующие стрелы не достигли цели. Ошакбай лишь слышал за спиной их зловещий свист. «О алла!

Хоть бы скорее вечерело! Удастся ли мне скрыться в песках под покровом ночи?!»

Из-под копыт коня камнем взлетали жаворонки. Они мгновенно взмывали ввысь и заводили самозабвенную трель. В самый зной они бы не осмелились подняться в воздух, а прятались бы в кустах, в спасительной тени. Жара заметно спала, воздух стал мягок, как хорошо взболтанный кумыс. Шенкеля горели, натертые до кровоподтеков, глаза застилал соленый пот. Грубый, заскорузлый халат, надетый на голое тело, впивался жесткой щетиной в разодранную кожу. Живот впал, присох к позвоночнику. Более суток зубы не ощущали твердой пищи, и только теперь он вспомнил про торсук, болтающийся на боку. Развязал бечевку, достал кусок мяса, начал его остервенело рвать зубами. Понял: заскорузлая верблюжатина. Казалось, во рту было не мясо, а кусок бересты. Скулы свело, в животе заныло, словно там сидел голодный зверь. Ошакбай с досадой выплюнул твердый кусок и запихал себе в рот другой. Попалась конина. Он проглотил ее, не дожевав...

Прямо перед ним неожиданно открылся аул. Сердце от страха подскочило к горлу. В аулах встречаются пустоголовые забияки, которым доставляет удовольствие погнаться за беглецом. Не дай бог нарваться на таких. Но поворачивать в сторону было уже поздно. Ошакбай решил галопом проскочить через аул.

Заметив юрты, бородач позади его завопил: «Аттан! Аттан! Держите!» Выскочило несколько джигитов. Ошакбай понял: стычки не миновать. Неподалеку старуха пряла пряжу, соорудив над головой тень из трех жердей, накрытых шкурой. На всем скаку он вырвал одну жердину, с размаху обеими руками сломал ее о седло, оставив у себя толстый конец. Получилось подобие дубины. Отдохнувший скакун стремительно поднялся на косогор. Ошакбай попридержал его, стал поджидать бородача. Тот, должно быть, понадеялся на свою силу, а может быть, кончились стрелы, так что, вытащив из-под колена дубину, он с ревом бросился на беглеца. Вспыхнула короткая стычка. Ошакбай успел загородить голову жердиной. Дубина, залитая свинцом, опустилась со страшной силой. Ладонь Ошакбая горела, как обожженная, заныло плечо. Бородач по инерции проскочил мимо, и беглец, выиграв момент, поскакал рядом, бок о бок. Испытанным приемом копейщика он ткнул жерди-

ной врага слева в грудь. Удар был неожиданный и сильный. У бородача расширились глаза, закатились под лоб. Лицо его сразу посерело, точно выцветший чапан, и он застыл в странной позе, как от удара копытом. Когда Ошакбай круто развернул коня, то увидел, что противник медленно заваливается набок, скатывается с седла... Ранней весной на деревьях, бывает, нежатся на солнце змеи. Они долго висят вниз головой, цепляясь хвостом за ветку, а потом вдруг медленно срываются вниз, оставляя на дереве дряблые шкуры. Тяжело спадавший с рослой гнедой лошади бородач напомнил Ошакбаю такую змею. Свинцовая дубина выпала из деревенеющих рук, щит отлетел в сторону, а сам хозяин тяжело рухнул на землю. Пустой колчан остался болтаться на луке. Ошакбай поскакал прочь, уводя на поводу рослого гнедого коня...

Остальные преследователи, растерянные, ошеломленные, подскакали, столпились вокруг бородача, торопливо спешились. Послышался скорбный вопль, похожий на плач по мертвому. Никто уже не решался преследовать дерзкого кипчака. То ли побоялись, то ли поняли, что дальнейшая погоня бессмысленна. Такой дорого возьмет за свою жизнь. Погоня отстала, двинулась обратно. С воем, плачем, проклятиями.

Теперь Ошакбай ехал о-двуконь. Попеременно пересаживаясь то на одного, то на другого коня, он ровной рысью продолжал путь. Казалось, не будет конца и края пустынному пространству. Солнце зашло. Из мрачной пучины за горизонтом всплыла полная луна. Ковыль застыл в задумчивости. Безбрежные дали, днем колыхавшиеся волнами, теперь успокоились, погружаясь в сон. Какая-то умиротворенность разлилась по степи. Еще недавно обжигающий зной резко спал, раскаленный пустынный ветер затих, травы смиренно застыли, как конская грива, приглаженная широкой мозолистой ладонью. Нехотя покачивался лишь пырей у щеток скакунов. Только теперь почувствовал беглец страшную усталость. Однако не было видно ни дерева, ни холмика, где бы он мог устроиться на ночлег. На плоской как доска равнине отдыхать опасно. Он покружил еще, высматривая место для лежбища, так ничего и не нашел и спешился. Поводьями узды он спутал, как треножником, коней, уселся на пырей, развязал торсук, пожевал немного мяса. Потом улегся, подложив под голову седло.

Мириады звезд роились над головой. Сердце его сжалось от тоски. Он попытался заплакать, облегчить душу слезами, но слезы не шли. Сердце зачерствело от суровой жизни и горя. Суждено ли ему еще увидеть шумный, славный город Отрар? Суждено ли ему испить воды мутной Арыси и жемчужной Инжу? Ой-хой, все вспомнилось ему: и громадные зевластые сомы, подстерегавшие на отмели у водопоя ягнят; и полосатые дыни, звонко лопающиеся от спелости на бахчах; и дехканин, скрипучим чигирем качающий воду; и зловредные старухи, всю ночь не смыкая глаз сторожащие своих соблазнительных дочерей и внучек; и даже колючки родных мест, которые в детстве занозой впивались в пятки. Нещадный зной родных мест, от которого, бывало, кровь шла носом, был сейчас Ошакбаю милее любой прохлады. Каждый день на родной земле был чем-то примечателен. Многолюдные пиршества будоражили степь. За ними, как правило, следовали борьба прославленных силачей — палванов, состязания музыкантов — кюйши, соревнование ненасытных обжор и зычноголосых жарапазанчи — исполнителей обрядовых песен, представления сыпы, шутов, скоморохов — кызыкчи. А потом бывали еще степные рыцари, щеголи, краса и радость кочевого люда,— серэ! В молодости Ошакбаю приходилось видеть одного...

Однажды отец поднялся спозаранок и всех разбудил: «Приезжает серэ!» Был пригнан скот для заклания, приглашены старики, поставлена — после долгих разговоров — восьмистворчатая белая юрта для редкого гостя. На караульный холм отправили дозорного. Вскоре все было готово к встрече: скотина зарезана, кумыс взболтан в кожаных мешках, кымран — квашеное верблюжье молоко — перелит в чистые тыквенные бутыли. А гостя все нет и нет.

К вечеру вернулся дозорный. Глаза его покраснели от напряжения. «Никого не видать,— доложил он.— Далеко кто-то маячит на верблюде». Отец Ошакбая приуныл. «Как же так? Неужели серэ не пожелал удостоить своим вниманием аул батыра? Неужели проехал мимо?..» Старики зароптали: «Э, времена-а!.. Эдак и с голоду околеешь...» И разошлись по домам. Со склона холма спускался путник на верблюде. Верблюд уныло ревел, и все думали: пастух-верблюжатник. Путник подъехал к аулу, опустил на колени невзрачного моло-

дого верблюда, спешился. Глянули повнимательнее, а на путнике красивый, золотом расшитый чапан, на круглой, мехом отороченной шапке сверкает яхонт. Ба! Да это же сам серэ! Рослый, стройный, с гордой осанкой. Вот те раз! Отец, спотыкаясь, побежал навстречу, учтиво протянул обе руки и, низко кланяясь, повел почетного гостя к просторной белой юрте. Ошакбай галопом помчался звать аульных стариков. Весть о приезде серэ мгновенно облетела все юрты.

— Оу, что это за серэ?! Он ведь должен ехать на арабском скакуне, покрытом белой попоной с кистями, в сопровождении чинной свиты. А этот притрусил на чахлом ревущем верблюжонке!

— Пес его знает!

— А говорили, будто сам Иланчик Кадырхан подарил ему быстроногого тулпара, за которого отдал пять прекрасных наложниц.

— Сейчас даже последняя собака на приличной лошади разъезжает. А этот оседлал паршивого верблюжонка, точно скупердяй-торгаш из Хорезма. Какой срам для серэ!

Так говорили недоумевавшие люди. Кривотолкам и сплетням положил конец сам серэ. Поглаживая черные блестящие усы, попивая кумыс на дорогих коврах и одеялах, он сказал: «Подо мной был тонконогий скакун, дар отрарского повелителя. По пути откуда ни возьмись встретился настоятель усыпальницы Арыстанбаба... Пожаловался бедняга. За всю жизнь, говорит, ни разу не ездил на хорошей лошади. Растрогался я. Ну и отдал скакуна. Пересел на верблюжонка. Э... вся эта мишура жизни не стоит пяти безмятежных дней!..»

Люди, пораженные такой щедростью, покачали головами, пощелкали языками.

— Ай да серэ! Вот истинная милость!

— Да-а-а... Благородное сердце у серэ!

В ауле Ошакбая серэ прогостевал тогда пять дней. Он ел, пил, забавлял народ и веселился сам. Вечерами, аккомпанируя себе на домбре, пел речитативом речения мудрых людей древности, рассказывал философские притчи, утверждавшие, что богатство — призрак, мираж, кизяк, разбросанный по степи, что единственная ценность в жизни — свободный дух. Ночи напролет пел он песни, играл кюи, гулял с джигитами и девушками, а днем отсыпался. В последний день перед отъездом он

отвел душу за долгой беседой с отцом Ошакбая. «Есть у меня иноходец, которого берег для единственного сына. Дарю его тебе. Еще возьми у меня косяк лошадей. Да сопутствуют тебе всюду слава и почет!» — сказал благородный отец, благословляя серэ. Старый предводитель войска и молодой, пылкий серэ обнялись в знак верности грудь в грудь. «Да будем друг другу опорой в тяжкий час!» — так поклялись они на прощанье...

Клятву свою серэ сдержал. В студеную зиму, когда гулко ухал лед на Инжу, серэ со своей многочисленной свитой прискакал — с плачем и воплями, как положено по обычаю,— на похороны отца. Он проводил старого батыра в последний путь, бросил в его могилу ком земли. Все драгоценности, которыми была украшена его одежда, серэ пожертвовал на поминки. С того дня Ошакбай больше не видел прославленного воина-серэ. Много лет спустя до него дошли слухи, будто тот погиб с голоду во время джута, разъезжая по аулам северных кипчаков...

Теперь в ночной, безлюдной степи одинокий Ошакбай с печалью вспоминал эти давние события. Глаза его смыкались, тело сковывала дрема, а потом сразу навалился тяжелый сон. Спал он долго, крепко. С трудом проснулся на рассвете от тревожного, громкого фырканья лошадей. Голова все еще клонилась к груди, лицо опухло, кости ныли, словно от побоев. Он никак не мог прийти в себя после мучительного сна.

Приснилась ему красавица Баршын. Она была вся в черном. «Сними траур,— умолял он.— Видишь, я ведь живой-здоровый». Баршын, почему-то не соглашаясь с ним, молча и печально покачала головой. Потом показала рукой на восток, в сторону горы Каратау, простиравшейся поперек степи. Он посмотрел туда и ужаснулся: черной тучей спускалось с черной горы вражеское войско. Похолодев, он поискал вокруг себя Баршын, но она исчезла без следа. Он заметался, не зная, в какую сторону бежать. А враг неумолимо надвигался, и Ошакбай уже чувствовал за спиной мертвящее дыхание.

Послышался грохот барабанов. Он оглянулся. Баршын сидела на огромном тулпаре и, попеременно взмахивая руками, яростно била в два призывных барабана, висевшие на передней луке седла. Ленчики были в кро-

ви. Грохот нарастал. Так-так-так. Та-та-та. Ошакбай, чуя беду, поискал возле себя коня. А он ушел далеко. Ошакбай, спотыкаясь, задыхаясь, побежал к коню, ухватился за повод, вскочил в седло, ударил коня пятками. Тулпар не шевельнулся. Стоял как вкопанный. Ах, черт! Оказалось, что не сняты путы... «Так-так-так!» — грохотали барабаны. «Та-та-та-та!» — отзывалось эхо. Казалось, сейчас расколется голова. Он лихорадочно развязал путы, вскочил в седло и вдруг что-то вспомнил. Обернувшись, он крикнул Баршын, скакавшей по кругу:

«Остановись! Слезы! Под тобой тот самый таинственный конь — предвестник беды с двумя барабанами на луке седла! Мы ведь ищем его! Это не конь — оборотень! Черное горе! Беда-а!..»

Долго сидел на земле Ошакбай, растерянный и подавленный, вспоминая тягостный сон. Нельзя было больше мешкать. Все заметней светало. С трудом, шатаясь, он поднялся, распутал ноги коней, оседлал одного, другого повел на поводу и трусцой поехал вслед за тускневшим на западе месяцем. Ошакбай знал, что только эта дорога приведет его в благословенную страну Дешт-и-Кипчак...

14

В осенний месяц года зайца в Ургенче в Большом Шахском дворце заседал Государственный совет — Дуан-арз. На почетном возвышении в глубине зала на просторном золотом троне восседал всемогущий шах Хорезма Алла ад-дин Мухаммед. Сзади него стоял советник с тростниковым калямом — пером и свитком. Справа расселись старшие предводители войска, религиозные чины и высокородные беки, слева — кипчакские военачальники. Среди них был наместник Отрара Иланчик Кадыр-хан. Политически подчиняясь Дуан-арзу, он изредка обреченно присутствовал на этих многословных заседаниях. Государственный совет заседал уже не один час, однако никто не осмелился шелохнуться, многие с трудом подавляли зевоту. Только что закончил изнурительно длинную, благостно-наставительную речь сам Мухаммед. После него настал черед говорить бухарскому правителю с плешивой головой в форме дыни. Он раскрыл перед собой огромную, как сундук, книгу шариата —

свод мусульманских законов, повесил на колено четки в два аршина длиной и важно откашлялся.

— Мой всемогущий шах! В старые добрые времена возражать правителю считалось кощунством, святотатством. Теперь же некоторые смиренные слуги аллаха вышли из повиновения. Иные беки-нечестивцы затевают смуту, бунтуют людей. К таким смутьянам не должно быть жалости ни на том, ни на этом свете. Пусть корчатся и скулят они в черной могиле! Злые козни самаркандского бека Османа многих сбили с пути праведного, начертанного пророком. Они как капля айрана, способная заквасить цельное молоко. Они как ветер, раздувающий пламя в угасающем костре. Нужно отсечь строптивую голову Османа и насадить ее на кол для устрашения всех богоотступников. Только тогда шах шахов — да продлится его драгоценная жизнь! — может пребывать в чести и славе, в спокойствии и довольстве. Только так можно держать презренную чернь в узде. Да поддержат и благославят нас священные духи!

— Истинную мудрость источают уста бека!

— Речь праведного мужа!

— Я всю ночь провел в благостных думах,— продолжал польщенный наместник Бухары.— В настоящее время с черного люда взимаются такие налоги: девичий зекет, жилищный зекет, хирман-зекет, топливный зекет, дорожный зекет, торговый зекет, воинский зекет. Этого слишком мало для поддержания святости в государстве. Многие шутя рассчитываются с налогами, а потом, не имея других забот, становятся на путь греха и разврата. Я предлагаю прибавить к перечисленным зекетам еще три вида. Следует срочно издать закон, по которому должны взиматься налоги: калым за недозрелых девушек, так называемый постельный зекет, которым должны облагаться супруги, имеющие более десяти детей, и зекет с бесплодных женщин. Под бременем этих налогов согнется строптивость черни. Пока дехканин или скотовод расплатится с ними, он не будет знать, где голова, где уши. Только тогда наступят покой и благоденствие в державе, о которых мечтали наши предки. Настанет благостный мир, мой повелитель-шах, и жаворонки совьют гнезда в чалмах праведников.

Бухарский бек кончиком чалмы вытер взмокшие виски и уголки губ, сдерживая дыхание, почтительно скло-

нился в сторону трона. Пальцы его привычно забегали по гладким четкам.

— Слова похвальные, достойные внимания,— удовлетворенно изрек шах шахов.

Слово взял знаменитый полководец Тимур-Малик.

— Народ и без того замучен непосильными налогами. Он и так стонет-плачет, как горные индейки — улары. Дополнительный зекет превратит народ в нищих, в бродяг, за этим последует всеобщий мор. Где же мы будем набирать войско? Между тем с востока надвигается враг. Грозный каган, как сообщил мне хан кипчаков, присоединил уже к себе уйгур, обитающих в предгорьях Алатау. Он сумел снюхаться и с родственными им джунгарами. Сейчас конница кагана топчет страну Сабр, находящуюся под Железным колом. Еще несколько переходов — несметные полчища кагана ворвутся в страну Дешт-и-Кипчак, которая всегда была нашим оплотом. Где сила, способная противостоять этому нашествию? Где разумные поступки, которые вселят в нас веру в возможность противостоять столь опасному врагу?!

— Мне и раньше говорили, что храбрый Тимур-Малик и во сне бредит врагом,— мрачно заметил шах Мухаммед.— Теперь я лично убедился в этом. Подумайте сами: где каган Востока и где могущественный Хорезм? Каган — вихрь, колобродящий по безбрежной степи, а мы — могучее дерево, ветви которого достигают неба. Разве пыльный вихрь в состоянии свалить могучее дерево?

Наперебой принялись славить хорезмшаха сидящие у трона люди:

— Великий шах-владыка тысячу раз прав! Если каган Востока вихрем примчится сюда, мы распахнем ворота и впустим его в дом наслаждения на забаву райским гуриям. Через несколько дней он выдохнется, как баксы-шаман после камлания, и уберется восвояси.

— Эдак мы с ним еще и породнимся. Польза будет немалая!

Провидец-советник, стоявший за шахом, сказал:

— Пусть каган сначала с кипчаками схлестнется. А мы посмотрим. От этого тоже выиграет дело нашей державы...

Посол Ахмед, сидевший ближе к порогу, приложил руку к груди, попросил слова:

— Смею доложить Дуан-арзу, что кипчакские города вдоль Инжу отказываются платить зекет за воду. Хан их, который среди нас, об этом и слушать не желает. Государственному совету необходимо обязать дерзких кипчаков платить зекет за пользование водой Инжу, а если будут упорствовать, то повернуть реку в древнее русло. И тогда дерево, о котором говорил великий шах, станет еще внушительней и пышней.

— Кипчаки вообще упрямцы!

— То, что они делают,— грабеж, произвол!

— Да послушаем, что скажет нам наместник Отрара Иланчик Кадырхан,— предложил шах.

Сидевшие по правую руку от хорезмшаха мгновенно смолкли. Иланчик Кадырхан коснулся своих черных усов:

— Я скажу так: в смутное время, когда надвигается на нас такая беда, следует сарбазам не налоги собирать, а идти навстречу врагу. Объединим усилия, братья. Встанем заслоном на пути кагановых полчищ. Взимать зекет с городов Отрара за пользование водой Инжу безрассудно. Тем самым нанесете кровную обиду родственному племени. Возникнут междоусобица, недовольство. Не забудем истину: скупого жадность погубит. Полноводная Инжу — испокон веков щедрая мать наших кипчаков. Она вспоила своих сыновей. А сыновья матерью не торгуют!.. И еще скажу: мудрую речь произнес Тимур-Малик. Рядом со мной сидит кипчакский батыр Ошакбай, который недавно сбежал из монгольского плена. Он был в золотой юрте самого Чингисхана и живой свидетель каганского могущества. Чтобы объехать войско монголов из конца в конец, нужно шесть дней скакать без передышки. Там, где пронеслась монгольская конница, иссыхают родники, мелеют реки, в течение трех лет не растет трава. Кони их не знают усталости, стрелы — быстрее ветра. Половину жизни монгольский воин проводит в седле. Верхом он ест, припав к гриве коня — спит, на крупе лошади ласкает жену. Утомится конь, монгол пересаживается на подсменную лошадь. Пеший он слаб, беспомощен, еле передвигается на кривых ногах. Но стоит ему вцепиться в гриву лошади, как он превращается в юркого, неуловимого, неудержимого шайтана.

— Упаси, аллах, от этой напасти!

— Пусть тогда с их конницей сражаются кипчаки. А мы повоюем с пешими.

— А может, отправим к кагану послов, великий шах? Попробуем улестить его?

Шах шахов погладил бороду, закрыв глаза, углубился в размышления.

Кто-то из беков, сидевших слева, выразил желание говорить:

— Великий шах! Под знаменитой мечетью Испиджаба находится подземная дорога, построенная некогда нашими предками. Ныне дорога пришла в запустение. Если дадите денег, я найму мастеров и сооружу помещения для пленных дев и наложниц...

— Но собирать длинноволосых под мечетью — кощунство. Нельзя же священное место превращать в дом сладострастия!

— А я переведу мечеть в юго-восточную часть города.

— О!.. Да будет так! Ых-хы-хы...

Шах шахов погладил морщинистый лоб, всем видом показывая, что он утомился. Он сложил руки на животе, пощелкал пальцами. Чуткие придворные сразу поняли великого повелителя: заерзали, заговорили, подыскивая повод для закрытия Дуан-арза.

— Уа, правоверные! Приближается час послеполуденного намаза.

— Надо же!.. Драгоценный лик повелителя заставил нас и про небесные светила забыть...

— Да-а... Это великий сбор, на который раз в год съезжаются мудрейшие из мудрых.

Пышные речи услаждали душу честолюбивого хорезмшаха. Лицо его смягчилось, морщины разгладились. Он грузно поднялся, давая понять, что Государственный совет исполнил свое высокое назначение. За шахом потянулась многочисленная свита — шахи, беки, послы, военачальники, советники. Ошакбай шел рядом с Иланчиком Кадырханом и думал: «Что это за совет? Весь день мололи языками, а ни о чем не договорились, ничего не решили. Словоблудие, а не Дуан-арз!» Батыр даже тихо заговорил об этом. Иланчик Кадырхан строго блеснул глазами, предупредительно поднял указательный палец. Этот жест означал: «Держи язык за зубами, если даже ярость распирает грудь».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Времена неведомые наступают.
Молодые старших не почитают.
Книгу написать всякий желает.

Надпись на вавилонской плите.

1

Ослепительно яркое беспощадное солнце, застывшее в самом зените, чахлые кусты туранги, которая делит свое убогое одиночество с собственной куцей тенью, а потом безбрежные безлюдные дали, утомляющие своей знойной монотонностью,— вот что первым делом попадает в глаза путника, направившегося в сторону Отрара. Утомленный этим однообразием, путник сворачивает на припорошенную желтоватым пухляком тропинку, тянущуюся неведомо куда, и смутно предполагает, что она, едва заметная бурая тропинка,— одно из ответвлений Великого Шелкового пути. По обе стороны тропинки встречается иссохший помет — верблюжий, конский, людской. А вдали взор путника привлекают величественные минареты, пронзающие синь небосвода, круглые синие купола дворцов; они зовут, манят, торопят его, и конь трусит из последних сил. Но изнуряющая душу и тело пустыня все тянется и тянется без конца и без края, словно древнее кипчакское сказание — кисса, и путник начинает с тоской подумывать о том благословенном часе, когда можно будет такой же трусцой возвращаться назад. А впереди между тем — у голубого горизонта — все зыблется мираж, точно сказочное

синь-море. Перед воспаленными глазами предстают дивные сады, прохладные хаузы, вечные девственницы — гурии, и путник млеет, предвкушая все это блаженство, но вдруг — о боже! — сказочное диво разом исчезает, уже не манят минареты, купола и девы у бассейнов. Сердце от страха уходит в пятки, и волосы на голове встают дыбом. Нет, нет, ничего не исчезло, утешает себя путник, просто шаловливое марево укрыло все своей колдовской, переливающейся всеми красками, невесомой кисеей, и очень может быть, что прекрасный дворец с упоительной, спасительной прохладой ожидает путника совсем рядом...

Или вправду все это лишь померещилось, и увиденное путником на миг — лишь обманчивое утешение, похожее на предсказание лукавой цыганки, ловко определяющей судьбы по линиям ладони. Может быть, нет никакого Великого Шелкового пути, а есть обыкновенная, извилистая, затерявшаяся в пустыне тропинка? Горько становится от этих мыслей; ведь только что надеялся путник припасть потрескавшимися губами к роднику, коснуться рассохшимся, как старая шкура, языком живительной влаги, утешить душу и тело в прохладной тени. И вдруг на свободном поводе мечты повисла тяжесть разочарования. Вздох отчаяния вырывается из груди путника: «О лживый мир! Коварный рок! Судьба-скупердяйка! Заставили меня ехать на измученном коне по раскаленной пустыне с единственным полудохлым верблюдом в поводу!..»

Уныние и усталость охватили путника. Но за зыбкой пеленой марева, рядом с разгулявшимся вихрем увидел он вдруг черного, словно насквозь прокопченного человека, который самозабвенно копал арык. Путник подъехал.

— Да посетит тебя божья благодать, земледелец! Тут канавок и арыков тьма-тьмущая. Чего же еще копаешься, как крот?!

Насупился дехканин, всем видом показывая, что не по душе ему такой вопрос. Пробурчал глухо:

— Каждый, кто взялся однажды за кетмень, должен до конца дней своих прокладывать арык, копать свою канаву. Тот же, кто зарится на чужое,— не дехканин, а лишь такой, видать, как ты, торгаш!

Путник понял: в этом краю, как и везде, дехканин и торговец — что кошка и собака, они презирают и нена-

видят друг друга. А если столкнутся, схлестнутся на Канбазаре, ойпырмо-ой, ни дать ни взять — разъярившиеся петухи, только перья летят. Так и норовят они глаза друг другу выколоть, выклюнуть!..

Но путник не относился к презренному торгашескому племени, а потому не обиделся на колкость дехканина. Спросил только:

— Уж не земля ли проглотила славный город Отрар?

Дехканин, приставив ладонь ко лбу и глядя вдаль, начал подробно рассказывать:

— Видишь вон тот холм, похожий на верблюжий горб, во-он за белесым перевалом?.. Теперь направь свой взор к югу. Увидел тонюсенькую турангу? На самом деле это не туранга и не тень ее, а минарет Гумбез Сарая. Там город.

И опять потрусила лошадка. Жалобно ревел верблюд на поводу. Ему лишь недавно пробили ноздри и вдели палочку — мурындык, и он к ней еще не привык, палочка причиняла боль. Вскоре верблюд перешел на неуклюжую, валкую рысцу, все чаще и чаще спотыкаясь, грозя сломать себе хребет, и тогда путник — хотя он и не был купцом — начинал про себя ругать подряд всех дехкан, изрывших землю. Вдруг, спохватившись, он сам прикрыл себе ладонью рот. Какой грех! Какой грех! Ведь сейчас ураза́, он уже пятые сутки, как истинный мусульманин, соблюдает пост, а тут вдруг ругается, как бродяга! Ай-яй, сколько лишений и мук приходится терпеть поневоле ради того, чтобы прокормить жену и детей. Не то возлежал бы он теперь на мягкой подстилке в прохладной мазанке, соблюдал бы уразу, повелевал бы женщиной да наслаждался уютом. Нет, черт его дернул выехать в самую жару, чтобы испытать свой данный богом дар в состязании музыкантов-кюйши. Хорошо еще, если ему удастся победить своих соперников, прославить свое имя. Но ведь бывает и так, что начнут спотыкаться пальцы о струны, и тогда, униженный, посрамленный, ставший посмешищем в глазах праздной толпы, уныло возвращаешься домой. «О создатель, избавь меня от такого позора! — думал путник.— О чародеи двуструнной домбры, поддержите меня! Пусть лучше проглотит меня земля, чем проиграть в айтысе и опозорить мое имя Кайраук!»

Жарко молясь всем духам и покровителям музыки, путник заботливо пощипал коржун на тороке, где лежа-

ла, округло выпячиваясь, заветная спутница домбра, которую прикрывал он полами чапана, спасая от нещадных солнечных лучей. Одинокая тропинка вскоре слилась с тропой пошире, а тропа еще немного погодя, в свою очередь, обернулась плотной, убитой дорогой. Через некоторое время, когда дорога обогнула раскидистую турангу, начался широкий караванный путь, обсаженный по обе стороны урюком, хурмой, тутовыми деревьями, и, хотя плоды уже давно созрели и осыпались, густой приятный аромат щекотал ноздри.

Кюйши Кайраук с наслаждением вдыхал запах древесной смолы и прислушивался к шумному сопению вконец изнуренного верблюда.

Что-то блеснуло в густой чащобе. Путник приглядел-ся и увидел еще одного дехканина. Напрягаясь, дергаясь всем телом, тот с размаху всаживал кетмень в плотную почву.

Кюйши направился к нему, поздоровался, как принято, полюбопытствовал:

— Уа, почтенный дехканин, далеко ли до города Отрара?

Дехканин выпрямил спину, оперся на кетмень, сорвал с головы тюбетейку и вытер ею потное лицо.

— Копыта твоей лошади уже коснулись улицы Отрара,— сказал он.— Улица эта называется Тальниковая. Бери немного правее — выедешь к Кишкургану. Прямо впереди будет Алтын-тюбе, обитель купцов. Слева — многолюдная часть города, начало улицы Пшакши.— Все подробно объяснил дехканин.

— А где же Кан-базар? — перебил его кюйши Кайраук.

Дехканин от досады поморщился, явно подумав про себя: «Чувствовал я, что ты купчишка, что по базару рыщешь и пользы ищешь. Эх, псы бродячие, дорогу спрашивают, от работы отвлекают». Он нехотя махнул рукой в сторону огромной, вытоптанной людьми и скотиной площади, буркнул: «Там Кан-базар». И, уже не глядя, поплевал на ладони и, играя ребрами под лоснящейся от пота кожей, продолжал копать кетменем землю. Сердце екнуло от волнения у Кайраука, душа заныла. Дрожащими пальцами пощупал-погладил он домбру. Считай, тридцать лет прожил на свете, уйму кюев сочинил, приводивших в трепет слушателей, а ничего хорошего не нажил. Как говорится, на ребрах жиру нет, значит, в

хлеве скотины нет. Всю жизнь трусит он на своей кургузой лошаденке, а от бедности на длину курука не уехал. Ну, на сей-то раз он испытает судьбу!

С этими мыслями, вдыхая пыль от пухляка, въехал он на Кан-базар и опешил. Ой-хой, народу-то, народу! Ни дать ни взять — муравейник. Одни продавали, другие покупали, третьи торговались до хрипоты, надрывая горло, кричали, суетились, шныряли туда и сюда. Кайраук не на шутку растерялся, когда человек пять, вырвавшись из толпы, бросились ему навстречу. «Уж не ограбить ли хотят средь белого дня?» Едва успел он так подумать, как эти пятеро, подбежав, потянулись к поводку верблюда. Высокий бородач, изловчившись, все же первым выхватил повод и решительно нырнул в толпу. Остальные в досаде похлопали себя по ляжкам и разбежались. Видно, таков был уговор между ними — не мешать друг другу, добыча доставалась тому, кто раньше к ней поспевал. Кайраук подогнал лошадку пятками, поспешил вдогонку, настиг бородача:

— Эй, милейший! Ты что разбойничаешь при всем честном народе?! А ну, давай сюда повод. Верблюд-то мой!

Бородач огрызнулся, прохрипел:

— Не разбойник я, а честный делдал [1]. Понял? Я мигом сплавлю твоего верблюда за большую цену. И ты выгадаешь, и мне кое-что перепадет.

Приходилось как-то слышать Кайрауку, что на больших базарах орудуют ловкие люди, именуемые делдалами; горластые, проворные, настырные, они могут продать любую вещь или скотину за более высокую цену, забирая себе часть прибыли. Видно, этот бородач был из тех проныр. Не успел Кайраук раскрыть рот, чтобы сказать, что он отнюдь не намерен продавать верблюда, как бородач завел бедное животное в загон таких размеров, что в нем можно было спокойно устраивать конные скачки. В загоне уже томилось множество верблюдов. Знать, здесь и находился скотный базар. И вот тут-то Кайрауку пришлось еще раз удивиться. Суетливый, расторопный бородач, минуту назад жадно выхвативший из рук поводок, теперь встал в сторонке и начал равнодушно ковырять в зубах. Степенный, полный достоинства, благочестивый вид был теперь у него. Ни дать ни взять — опыт-

[1] Посредник в продаже, маклер.

ный купец, знающий себе цену, свысока взирающий на неимущий сброд. «Ай да ловкач! И так он зарабатывает свой хлеб?!» — с неприязнью подумал Кайраук. Он уже молча согласился с тем, что верблюд его будет продан. Собственно, это ведь и не верблюд еще, а годовалый верблюжонок. Кайраук взял его с собой, надеясь на обратном пути нагрузить на него кое-какого товару. Конечно, в том случае, если ему будет суждено победить в состязании и получить наряду с почестями и положенную награду. Теперь же судьба верблюжонка оказалась в руках бойкого делдала. К загону стали стекаться покупатели.

— Этот верблюжонок из редкой породы желмая. Верблюд-скакун! Семь дней скачи на нем — не устанет! Смотрите, какие упругие ноги! Как натянутая тетива! Продаю всего лишь за четыре динара! — объявил, бровью не моргнув, бородач.

Кайраук вспыхнул от стыда, опустил голову. Верблюжонок не имел никакого отношения к породе желмая. Он был самый обыкновенный поносливый верблюжонок. А этот базарный ловкач просил за него стоимость двух сильных одногорбых верблюдов-дромадеров. Однако и покупатель попался дошлый. Торговался цепко, отчаянно.

— Больше полудинара не получишь — упрямо твердил он. У покупателя совести оказалось тоже не больше: он предлагал за верблюда цену годовалой овцы.

Долго спорили, крикливо ругались базарный маклер и покупатель, не уступая друг другу. Спор то и дело переходил в ссору. Наконец, обессиленные, должно быть, почти договорились. Вид у каждого из них был как у больного, которого вот-вот покинет душа. Они уже перешли на шепот, начали заговорщически перемигиваться, потом ударили по рукам и порывисто обнялись, словно старые друзья, встретившиеся после многих лет разлуки. Кайрауку достался один динар, остальные деньги — целая горсть серебряных монет — бородач отправил в свой объемистый карман. «Плата за мои труды»,— заметил он. Покупатель ушел восвояси, ведя на поводу верблюжонка, а маклер поспешил к воротам, чтобы поймать очередную жертву. Уж наверняка попадется ему в руки растяпа-кипчак, пригнавший свой скот на Кан-базар, и верткий делдал в два счета его околпачит, потребовав мзду за услугу «языка, рук и глаз».

Крепко зажав в ладони единственный динар, Кайраук направился к своей лошадке, стоявшей у коновязи. Теперь ему предстояло найти место, где состязаются кюйши. Он поехал трусцой, стараясь держаться подальше от пестрой базарной толпы. Напугал его делдал. Не приведи аллах еще с одним таким пройдохой встретиться. Эдак не мудрено и пешим остаться.

Неожиданно перед кюйши открылся сад. Густо росли там кусты и деревья, а на середине находился хауз. За хаузом виднелись айваны — глиняные возвышения для отдыха. В стороне плотным кольцом расселись муллы-чалмоносцы. Выше всех на огромном троне восседал остроглазый клинобородый, могучего телосложения человек. И хоть никогда не видел его кюйши, но сразу догадался, что это и есть прославленный правитель Отрара хан Иланчик Кадырхан, известный своей храбростью и простотой в обращении с людьми. Кайраук спешился, привязал повод к луке седла, подошел к молчаливой толпе. «Лазутчика казнить будут»,— шепнул ему кто-то.

Судя по всему, благочестивые чалмоносцы были советниками хана; они ловили каждое слово, каждое движение грозного правителя; приложив руки к груди, то и дело подобострастно наклонялись они в его сторону, точно камыш под шквалом ветра. Кайраук впервые лицезрел живого хана и залюбовался его внушительным, величественным видом. Хан поднял большой палец, и в тот же миг двое джигитов выволокли из-за хауза рослого человека. Дойдя до середины площадки, человек рванулся, оттолкнул обоих джигитов и, бросившись на колени, склонил голову к ханским ногам.

Наместник Отрара был суров и непреклонен. Он с отвращением говорил о предательстве этого человека по имени Бадриддин, точно завистливая баба клеветавшего на родной кров Дешт-и-Кипчака. Ради корысти сговорился тот с подлыми врагами и выдавал им все секреты и государственные тайны, указывал на слабые стороны кипчакского войска. Рассказав об этом, повелитель обратился к советникам, застывшим в страхе и смирении, словно отара овец под палящим солнцем.

— Придумайте достойную кару для предателя!— повелел хан. На преступника, униженно уткнувшегося носом в рыжую пыль, он даже не посмотрел. Холодный и неприступный, сидел он на троне, точно каменное

изваяние. Невзрачный старичок, прибывший с острова Барса-Кельмес, попросил разрешения говорить.

— Предлагаю преступника запереть в темницу, кормить мясом сома, поить прокисшим айраном, подстелив под него белую кошму. Через месяц от такой пищи он заболеет проказой,— сказал старичок.

Рослый безбородый военачальник, сидевший чуть поодаль, предложил:

— Загнать в топи, пусть растерзает его тигр-людоед.

— Отдать его на забаву двуглавой змее. Пусть подыхает в муках и судорогах,— подал голос еще кто-то.

— Связать его и разуть. Пусть голые пятки ему лижет корова. До тех пор, пока не околеет от щекотки!

Но еще более изощренное наказание придумал старец из Кызылкума:

— Крепко привязать его к срубу высохшего колодца и размеренно капать холодной водой ему на голову в одно и то же место. Через трое суток он обезумеет.

Повелитель опять поднял большой палец. Это означало, что он одобряет наказание. Казнь простая, бесхитростная, но достаточно мучительная. Бросят в колодец, привяжут так, чтобы не мог шелохнуться, и капля за каплей начнут водой долбить ему висок.

— Пусть умом тронется негодяй!

Хан взмахнул рукой, двое джигитов схватили осужденного под мышки и поволокли, не обращая внимания на сопротивление и отчаянные вопли. Впрочем, вскоре они стихли.

Кайраук, удрученный, подавленный этим зрелищем, поспешил уйти, но вдруг услышал голос глашатая: «Сейчас на площади начнутся состязания музыкантов!» Он вернулся и увидел, что лицо хана смягчилось, и по его велению площадь быстро подмели, обрызгали водой, расстелили ковры, а поверх них бросили пестрые кошмы, положили одеяла. Только что здесь витал красноглазый дух смерти, теперь он уступил место праздничной мелодии кюев.

Расторопные джигиты-подавальщики, часто подрагивая упругими плечами, подносили на громадных деревянных чашах яства, за ними плыли, точно лебеди, луноликие красавицы с кувшинами; они учтиво кланялись молодым и старым кюйши, сливали им на руки, подавали напитки. Их услужливость и красота, женское очарование явно взволновали мужчин; щеки их порозовели, гла-

за заблестели. Кайраук побежал к коновязи, спутал свою лошадь, извлек из коржуна домбру. Когда он вернулся, многолюдная толпа забила площадь до отказа, и пробиться вперед было трудно. До него еле доносился зычный голос глашатая, оповещавшего о начале состязания кюйши. Высоко подняв рыжеватую домбру с коротким грифом, но большим, словно казан, кузовом, он отчаянно ринулся в круг, рискуя быть раздавленным. Полы его чапана остались позади, он с силой рванул их и услышал треск ветхой материи.

Тощий, черный как головешка, в рваном чапане, молодой джигит не привлек внимания спесивых, разодетых людей в середине круга.

«Ай, даже взглядом не удостоили!» — подумал Кайраук и услышал глухое, на туркменский лад, бормотание домбры. Мелодия проникала в душу, горячила, волновала кровь, словно хмель осенней бузы. Наконец она умолкла, и в тишине раздался голос повелителя: «Победишь пятерых моих кюйши, получишь главный приз, туркменский джигит!» Завсегдатаи принялись на все лады расхваливать музыканта. Толпа гудела, откуда-то просочился слух: «Идут прославленные кюйши правителя!» И в самом деле толпа качнулась, расступилась, раздвинулась, уступая место пятерым ханским музыкантам. Они шли молча, преисполненные достоинства, засучив рукава, туго перетянув пояса. Нельзя было понять, кто из них молод, а кто уже в летах; все пятеро были бородатые, усатые, важные, богатые. Они вышли в середину, отвесили поклон хану, потом — народу.

Вокруг зашушукались: «Ну, эти-то мигом собьют спесь с туркмена!», «Одним своим видом подавляют», «А пальцы-то, пальцы! Словно рукоять камчи!» Чинно расселись ханские кюйши, вызвали туркменского домбриста на спор. По обычаю, первым демонстрирует свое искусство гость. Он приник к домбре, изогнулся весь так, что головой едва не коснулся колен, и пошел хлестать пальцами, затрясся, задергался. Казалось, у груди его билась, вырывалась, ослепительно поблескивая разноцветными перьями, голосистая пава.

Когда туркменский музыкант оборвал свой вдохновенный кюй, толпа, завороженная, застыла. Пятеро ханских домбристов угрюмо молчали, уставившись на кончики сапог. И вдруг — когда в толпе послышался ропот — коренастый кюйши, сидевший пониже, ударил по

струнам и начал точь-в-точь повторять только что отзвучавшую мелодию. И показалось всем, что у его груди тоже забилась радужная, голосистая пава. Нужен редкий слух и поистине великая память, чтобы, лишь однажды прослушав, точь-в-точь воспроизвести длинный, причудливый кюй. Не обладая таким даром, нельзя надеяться на успех в состязании.

Закончилась наконец нудно-томительная мелодия, повтор был безукоризнен, и коренастый приготовился, в свою очередь, сыграть свой собственный кюй, который по правилам состязания теперь предстояло воспроизводить сопернику. Однако пожилой кюйши, сидевший на почетном месте, бесцеремонно оборвал коренастого, пробурчав: «Не морочь голову своим треньканьем», и, засучив рукава, задергал плечами, пошел ударять по струнам. Туркмен подобрался, напрягся, весь превратился в слух, жадно ловя и запоминая каждый звук. А мелодия — стремительная, напористая — обрушилась на слушателей; она напоминала то неукротимый бег быстроногого верблюда-желмая, то прерывистое бормотание вдохновенного сказителя — жырау, то прихотливый узор искусной мастерицы, и люди, пораженные, хватали себя за ворот и восторженно перешептывались: «Этот наигрыш возбуждает, как бахсы-шаман!», «Эти колдовские звуки как шепот дьявола: и правоверного собьют с пути!», «Разве сможет бедняга туркмен повторить столь протяжный напев?!». Увлеченный айтысом кюйши, Кайраук и не заметил, как настал послеполуденный час. Старики понемногу расходились. Повелитель, по-прежнему сидя на троне, внимательно слушал. Он даже не шелохнулся ни разу за все это время.

Пожилой кюйши кончил свой кюй, и гость тут же подхватил мелодию, бойко похлестывая домбру. Иланчик Кадырхан нахмурился: гость ловчил, то и дело впустую задевал верхнюю струну, затягивал мелодию, опрощал, огрублял звуки. Вскоре домбрист вконец запутался, пальцы его онемели, и он оборвал кюй на середине. Судьи присудили главный приз пятерым кюйши ханского дворца, и бедный гость стал сразу похож на сурка, вытащенного из воды. Поверженный, растерянный, он покорно отдал свою домбру победителю — пожилому кюйши и, пряча глаза, выбрался из круга.

Никто больше не решался вступить в спор с чародеями-музыкантами из самого Гумбез Сарая. Глашатай

охрип, тщетно взывая к смельчакам. Кайраук, до сих пор робко стоявший в сторонке, вдруг почувствовал волнение; неведомая сила вытолкнула его в середину круга; и толпа всколыхнулась, зашумела, развеселилась, глядя на невзрачного, сухопарого человека, оборванного, прокаленного солнцем, с нелепой домброй, у которой был короткий гриф и несуразно большой кузов.

— Продолжайте айтыс!— приказал Иланчик Кадырхан, поднимаясь. Посмотрев на робкого, узкогрудого джигита, у которого тряслись поджилки, он подумал: «Вряд ли он кого-нибудь удивит...» Хан обошел хауз в саду и направился к Гумбез Сараю. Однако на полпути он свернул в сторону. За ним следовал верный нукер Максуд. Они прошли наискось зеленую улицу, а потом, по щиколотку утопая в пухляке, повернули за угол южных ворот города. Здесь в густых зарослях джиды стоял походный шатер отрарского наместника. В этом шатре томился предмет ханской страсти, дар монгольских послов — прелестная юная тангутка. Она-то и волновала кровь повелителя, властно влекла к себе весь день. Он держал наложницу втайне от ханши и сегодня решился наконец на свидание.

Хан оставил нукера у входа, а сам вошел в шатер. В сумраке он вначале ничего не различил и даже на миг подумал, что тангутка каким-то образом сбежала. Похолодев, он круто повернулся, оглянулся и вздрогнул: пленница застыла, прижавшись к косяку двери. Он схватил красавицу за руку, нежно, как ему показалось, улыбнулся, выволок ее на середину шатра и привлек к себе. Ее колотила дрожь. На ней не было ничего, кроме легкого шелкового халата. Только в таком одеянии и держали пленниц монголы. У пленной тангутки были очень большие и глубокие глаза: казалось, там, в пучине черных зрачков, затаился водоворот, в котором можно бесследно исчезнуть. Длинные ресницы трепетали, тщетно скрывая эту пучину, в глазах застыл обычный испуг. Иланчик Кадырхан жестом показал, что не сделает ей ничего плохого и не совершит насилия, но пленница не поняла, лишь отрицательно качнула головой.

— Может быть, ты по родному краю соскучилась?— спросил он.— Хочешь, я отпущу тебя?

Она опять не ответила, только снова покачала головой. Теперь он понял, что именно привлекало его в этом невинном создании. Нет, не ясные, бездонные глаза, не

пушистые ресницы, не девственная плоть под тонким шелковым халатом, а полная, сочная нижняя губа. У кипчакских красавиц губы обычно тонкие. Такую пухлую розовую губку, как у этой тангутки, ему приходилось видеть впервые.

Почувствовав неодолимое желание, он обнял пленницу, потом осторожно обхватил ее голову, словно взял в руки хрупкий, драгоценный сосуд, прильнул губами к ее нижней пылавшей губе. В это время за спиной послышался шорох, и он быстро отпустил ее, будто выронил из рук хрупкий сосуд.

Оказалось, что это Максуд.

— Мой господин, к вам пришли кюйши,— доложил он.

Когда повелитель вышел из шатра, краснощекие лучи солнца ударили ему в лицо. Вечерело. Чуть поодаль от шатра застыло пять теней. Точнее, это торчали пятеро ханских кюйши, похожие на вечерние тени. Вид у них был жалкий, растерянный, головы поникли. Ни у одного из них не было домбры. Повелитель подошел к ним, спросил, в чем дело. Скорбным голосом ответил пожилой кюйши:

— Осрамились, таксыр! Не смогли воспроизвести последнюю мелодию кюйши Кайраука.

— Что за Кайраук?

— Да вот тот длинноволосый, в рваном чапане, с большой домброй...

— Сущим дьяволом оказался. Впятером не смогли его переиграть.

— Да в нем сидит нечистая сила, таксыр!

— Он шестипалый, таксыр!

— Мы обомлели, таксыр, когда он вдруг принялся играть пальцами ног!

Хан не стал далее слушать своих музыкантов. Слишком важна была музыка даже для управления степью. Он приказал немедля подать скакуна, обвешал себя оружием и спешно выехал. За ним поскакал Максуд. Они примчались к хаузу, где происходило состязание кюйши. Площадь была пуста. Повелитель забеспокоился; невзирая на пыль, крупной рысью объехал базар. Всюду искал он победителя-домбриста, которого не принял всерьез из-за его невзрачности. Правда, его было бы трудно узнать, увидеть в безликой толпе, но у него должно быть пять домбр, которые он выиграл у пятерых,

доселе непревзойденных ханских музыкантов. По этим домбрам Кадырхан и надеялся разыскать чудодея, которого точно земля вдруг проглотила. Повелитель отправил гонцов по всем девяти караванным дорогам, выходящим из города. За это время зашло солнце, наступили сумерки.

Наконец вернулся один из гонцов и доложил, что шестипалый кюйши пристал к небольшому одинокому каравану и едет по малой дороге, что прямо под Железным колом [1]. Туда и помчался во весь опор сам Иланчик Кадырхан.

А по малой дороге брел караван степного бая. Пригнал он на городской базар несколько отар овец, косяк лошадей, однако угодил в лапы маклера-делдала, который ловко обобрал растяпу богача. На доставшиеся ему деньги незадачливый бай накупил зерна, материи, соли, орехов, урюка, изюма и, навьючив товар на верблюдов, выехал из города. Вот тут-то и встретился ему худощавый джигит с шестью домбрами и попросился к нему в караван. Степной бай долго не соглашался, приняв его за вора.

Но джигит был вежлив, учтив, у него была располагающая, открытая улыбка, и бай сжалился, решив: «А, пусть едет! Видно, малый тронулся, раз тащит с собой шесть домбр».

Едва успели они выехать из города, как за ними послышался топот. Бай струхнул, подъехал к странному путнику, державшемуся в хвосте каравана, помахал над его головой плетью.

— У! Чтоб ты лопнул вместе со своими домбрами! Слышь, разбойники за нами гонятся?! Небось твои сообщники, оборванец!

Путник начал оправдываться:

— Что ты, о верный слуга аллаха?! Я мирный бедняк. Нет у меня ничего, кроме этой лошадки.

— Ух, оморок тебя возьми. Мало что делдал облапошил, так ты хочешь, чтоб меня еще и разбойники обокрали?!— кричал бай, размахивая плетью над головой растерявшегося джигита.

Грозного вида всадник быстро настигал их. Караван сбился в круг, остановился.

---

[1] Кипчакское название Полярной звезды.

— Кто из вас Кайраук?— властно крикнул преследователь.

Кайраук с шестью домбрами на тороках выехал навстречу. Бай свирепо ругался, исторгая потоки проклятий. Всадник, подъехав, спешился. Кайраук тоже попытался слезть с лошадки, но никак не мог попасть ногой в стремя. Подъехавший человек, широко ступая, подошел к нему, легко, как мальчика, снял с седла и крепко прижал к груди. Так он постоял, не выпуская из объятий опешившего джигита, потом взволнованно прошептал:

— Айналаин! Преклоняюсь перед огромным даром, вместившимся в эту маленькую грудь!

Иланчик Кадырхан разжал объятия и коротко пояснил цель своих спешных поисков:

— Кайраук! Младший брат мой! Передай свою клячу вон тому крикуну: пусть утешится. Сейчас сюда подъедет коневод, возьмешь скакуна, который у него на поводу, и поедешь с шестью домбрами в Отрар. Объявляю тебя верховным кюйши страны Дешт-и-Кипчак!

Подъехали гонцы, коневоды. Кайрауку подвели статного, тонконогого, нетерпеливо подплясывающего скакуна. Кайраук взобрался на него, и группа всадников галопом помчалась назад по караванной дороге. А позади осталась бескрайняя степь, хранившая бесчисленные предания, таинственная ночная мгла, шаловливый и приятный, как томная дева, ветерок, одинокий, все еще не очнувшийся от испуга караван. Еще одна яркая звезда, ослепительно вспыхнувшая на небосклоне страны Дешт-и-Кипчак, нашла свое место в славном городе Отраре.

2

В те времена на плодородном левом берегу реки Инжу находилось несколько городов, прямо примыкавших к Отрару. Разные по величине и значимости крепости и города Жаухар, Бесик, Оксыз, Балтакуль, Келин-тюбе, Мейрам-кала, Кумиян, Корасан вносили посильный вклад в могущество и славу степной столицы, являясь благодатной обителью для друзей и грозным заслоном на пути захватчиков. Все это побережье местное население называло коротко — долиной Тугескена. Здесь обитали главным образом дехкане-земледельцы. От реки Инжу было прорыто множество каналов и арыков, вдоль которых сеяли рис, кукурузу, просо, арбузы, дыни. Все,

что здесь росло, давало отменный урожай; рис уже после третьего полива клонился от тяжести к земле; просо по сочности не уступало осетровой икре; бахчи созревали уже к середине лета; в зной на бахче то и дело раздавался треск -- это лопались перезрелые арбузы. Дорога, пролегавшая через Кызылкумы,— ответвление Великого Шелкового пути — называлась Буранной; прославленные ремесленники и ювелиры этих городов выходили на караванную дорогу, чтобы продать свои изделия проезжавшим купцам. Прекрасные женские украшения — подвески и чолпы, отделанные яхонтом, золотые броши, браслеты в форме змеиной головы, серебряные, с затейливыми узорами серьги, ярко-красные коралловые бусы — пользовались большим спросом на базарах Бухары и Багдада, приводя в трепет сердца красавиц, зажигая жадный огонь в глазах делдалов, набивая мошну купцов. Слава ювелиров Тугескена гремела далеко за пределами их родного края.

Провидец Габбас, уроженец крепости Жаухар, увлекся историей ювелирного дела. Часто посещал он базары Мейрам-калы, подолгу разглядывал драгоценности, любовался искусством мастеров, размышлял. На широкой подстилке-коврике, с краю, незаметно стоял крохотный, величиной с кулак, кувшинчик. Немало тайн заключала в себе скромная посудинка. Нетрудно было понять, что кувшинчик очень древний. Когда-то, в неведомые времена, над ним колдовали пальцы безымянного гончара. Теперь дно кувшинчика потрескалось, горлышко было узкое, маленькое, с наперсток. Все три грани удивительно сохранились. Между гранями строго симметрично расположились узоры — традиционно кипчакские: круто изогнутый бараний рог. Хозяин охотно пояснил: «В этом кувшинчике древний лекарь-табиб хранил ртуть. К тому, кто принимал из него лекарство, не приставала никакая хворь».

В другом месте внимание Габбаса привлек небольшой браслет. Оказался он, однако, довольно увесистым. Оба конца его имели округлую форму. Один конец имел изнутри небольшую, величиной с пшеничное зерно, выемку, а на округлом утолщении четко виднелся знак отрарского ювелира — ползущая змея. Тонкие, изящные линии — «бровь красавицы» — перемежались в строгой последовательности с золотистым крапом — точечками. Браслет был искусно сделан из сплава золота и серебра.

Матово поблескивал он в лучах солнца. Украшение это предназначалось для юной девы. Браслет, несмотря на тяжесть, не давил руку. Мастер умело сочетал благородные металлы, и нетрудно было представить, как смотрится старинный браслет на руке красивой смуглянки.

Еще на одной скатерти умелец выставил множество самых разнообразных кувшинов. Удивительно было то, что между их весом и объемом не было определенного соотношения. Наоборот, чаще всего у больших с виду кувшинов был совершенно незначительный вес. В окраске и форме их Габбас не заметил повторения. Это свидетельствовало о больших познаниях гончара в выборе глины и способах обжига. Все эти кувшины обладали одним замечательным свойством: вино или какой-либо другой напиток в них никогда не портились и не теряли первоначального вкуса и аромата. Более того, они как бы дополняли, подчеркивали природные качества вина, облагораживали его. В этом провидец Габбас имел возможность тут же убедиться.

На том же базаре в Мейрам-кале он увидел любопытные чолпы, которые девушки вплетают в косы. Они состояли из семи затейливых звеньев, и каждое из них имело свой собственный орнамент. При этом узоры украшали обе стороны подвески. Чолпы оказались довольно увесистыми. Такие, как правило, носят девушки на выданье, и не только ради красоты. Они способствуют правильному росту девичьей косы, аккуратности, опрятности. Нечесаная, распатланная девушка чолпы не носит. Чолпы разрисованы орнаментами и узорами, имеющими определенное название: «лепесток», «змеиный глаз», «два уха», «две косы». К таким узорам кипчакские ювелиры прибегают исстари.

Рядом с чолпами поблескивала большая брошь. Габбас положил ее на ладонь и стал разглядывать. Тонкие, переплетающиеся линии искусно образовали силуэт коробочки белены и тюльпана. В коробочке белены было множество крапинок, похожих на зерна проса, а в середине цветка находился одинокий глазок. Габбас не ощутил веса броши. Он живо представил, как она будет смотреться на ярком шелке, дополняя, оттеняя окраску нитей. У другого ювелира Габбас натолкнулся на невиданную им доселе диадему. Шесть бирюзовых камней, точно девичьи слезы, голубели в серебряной оправе. Габ-

бас и не предполагал, что драгоценный камень эффектно сочетается с серебром.

Диадемы обычно продаются по отдельности. Он купил диадему, завернул ее осторожно в платок, спрятал за пазухой и подумал: «Приеду в Отрар, подарю возлюбленной супруге Иланчика Кадырхана».

Но особую ценность для Габбаса представляли древние монеты. Целые горы их лежали на этом базаре. Габбас щупал монеты, некоторые пробовал на зуб, читал надписи. Одна крупная, тяжелая монета привлекла его внимание. Серебро потускнело, изображения с двух сторон заметно стерлись. В Отраре подобные деньги никогда не выпускались. Провидец Габбас, знавший много языков, попробовал разобрать надпись. Слова были похожи на румийские. Да, да... так и есть. «Крылатый конь владыки земли Ескендыра — Буцефал»,— гласила надпись. Обычно на монетах изображались цари и шахи, а здесь — он только теперь разглядел — была выбита голова лошади. О создатель! Это ведь верный спутник, грозный боевой конь Ескендыра Двурогого — Александра Македонского. Габбас на последний динар купил редкую монету. Конечно, какая-никакая, а все же память глубокой старины. Пусть лежит среди книг. Не так уж и много осталось денег, отчеканенных во времена прославленного полководца — потрясателя вселенной.

Размышляя об этом и вполне довольный покупками, провидец Габбас еще до захода солнца выехал из Мейрам-кала. Он торопился не без причины. Вокруг городка было множество арыков и каналов, наполненных водой. В этих местах дехкане выращивали сказочные урожаи, но здешние комары были сущим бедствием. Едва вечерело, как тучи их обрушивались на город и с писком, превращавшимся в сплошной назойливый гул, яростно набрасывались на жителей. Спасения не было. Дехкане разводили дымокуры, прятались в масахане — за пологом из тонкой материи. Никто не рисковал оставаться на улицах в эти часы. «Чтобы на тебя напали комары Тугескена!» — считалось в этих краях самым страшным проклятием. Провидец Габбас не захотел стать добычей кровожадных комаров побережья и спешил еще затемно добраться до крепости Жаухар.

Он ехал вдоль реки Инжу до восхода луны. Крепость Жаухар находилась на правом берегу, так что предстояло перебираться через реку. На этом месте путники пере-

правлялись через Инжу на пароме. Паром — из семи крепко связанных бревен с дощатым настилом и перилами — темнел в сторонке на отмели. Одному человеку с ним было не сладить: на воду не спустишь, да и рискованно, когда не знаешь, как им управлять. Чуть отклонишься, и снесет могучее течение.

Паромщика нигде не было. Видно, тот решил, что так поздно никто уже не поедет, и отправился домой. Габбас спешился, повел лошадь под уздцы. Где-то здесь поблизости стояла лачуга паромщика. Но ее не оказалось; как видно, перебрался паромщик на новое место. Спотыкаясь о корни и пни, натыкаясь на заросли джингила, долго брел провидец Габбас, пока нашел лачугу из камыша у устья одного из рукавов реки. Привязав повод к луке седла, он подал голос и вошел в лачугу. Паромщик, разведя огонь, варил что-то в кувшине. По запаху Габбас определил, что варился сом. Сладковатый запах струился над очагом. Паромщик отнюдь не обрадовался незваному гостю, но, узнав старика провидца по бороде, подобрел лицом, суетливо вскочил, почтительно протянул обе руки:

— Все ли в здравии в вашем краю, отец?

В момент прихода Габбаса хозяин напильником подтачивал крючок. Когда он резко поднялся, крючок зацепился за штанину и порвал ветхие бязевые шаровары. Паромщик смущенно прикрыл прореху рукой.

— Слава всевышнему! Ердаулы бегает. Айдай в теле, в аулах мир и покой,— ответил Габбас на принятое приветствие.

Паромщик улыбнулся. Он все понял. Ердаулы — единственный сынок старика, Айдай — молодая жена. Их здоровье означало благополучие всех остальных. Чудак этот старик: никогда не упускает случая похвалиться молодой женой и постоянно подчеркивает, что сын растет и крепнет. О них — жене и сыне — он мог говорить бесконечно, всегда искренне, с гордостью и радостью. Люди, не знавшие этой его причуды, удивлялись: «Видно, тронулся старик, взяв в жены молодую бабу». И лишь потом догадывались об истинной причине. Старику всегда была не по душе суровость, черствость мужчин-кипчаков, которые не произносят имени жены и не выказывают открыто нежности к родному ребенку. И старик нарочно нахваливал всюду жену и сына, как бы протестуя против такого обычая.

— Откуда едете, отец?

— Из Мейрам-калы, с субботнего базара. Не хотел оставаться комарам на съедение, вот и выехал на ночь глядя. В порядке ли паром, сынок?

— Говорят, отец, за старым кладбищем Мейрам-калы гнездятся гремучие змеи...

— Может быть. Жители в тех местах скотину не держат.

— Говорят, эти змеи погубили весь скот...

— Может, и так. Мне там встречались одни дехкане и ремесленники.

— Говорят, стоит только убить одну змею, как они сотнями, тысячами обрушиваются на город...

— Целехонек ли твой паром, сынок?

— Э, да ладно! Я вас перевезу, отец. Сколько я мечтаю увидеть вас, пожать вам руку, да собачья жизнь захлестнула петлю на шее. Даже съездить к вам давно не удается. Теперь в кои веки встретились случайно, так уж уважьте мою душу, пожертвуйте частицу вашего времени, разделите мое одиночество и отведайте моего варева. Полежите, отдохните, недостойного сына вашего уму-разуму научите...

Молодой паромщик засуетился, стараясь угодить, услужить почтенному старцу. Он снял крышку с кувшина, и оттуда повалил густой пар. Затем паромщик вывалил содержимое кувшина в большую деревянную чашу. Жирный, хорошо сварившийся сом источал приятный запах, возбуждал аппетит, щекотал ноздри. Клейкое желтоватое варево подрагивало, притягивало взор. Паромщик слил из кумгана старику на руки, расстелил перед ним циновку, поставил на нее чашу с дымящейся рыбой. Сом оказался крупный, мясистый, без костей, и Габбас с удовольствием взял большой жирный кусок. Давно уже он не ел такой вкусной рыбы.

— Значит, быть беде: сожрут город гремучие змеи,— выпалил ни с того ни с сего паромщик[1]. Он подбросил в огонь ветку саксаула, засучил рукава, склонился над чашей.— Нынче весной отправился я как-то за саксаулом. Вы же знаете Апанкак, непролазные тугаи? Вот туда я и поехал. Еще издалека услышал я шипение. Оказалось, змеи! Тьма-тьмущая! Так кишмя и кишат! Под

---

[1] Так оно впоследствии и случилось. Развалины города нынче называют Жлан-бузган, то есть «Разрушенный змеями».

каждым кустом, под саксаулом, под турангой — кругом! Все шевелится! Хорошо, что с верблюда я не слез. Еле спасся тогда. Вот и думаю: а что, если поджечь тугаи?!

— Нельзя, сынок! Пожар поднимется — весь город сгорит.

— Говорят, если раз укусит такая змея — смерть!

— Я кое-что советовал владыке города. Прикажи, говорю, чтобы каждый житель завел у себя во дворе особую ящерицу, в пустыне их много. Они называются в народе козодоями или зем-земами. Там, где обитают такие ящерицы, ни одна змея не удержится. И от укуса змеи можно лечиться отваром ящерицы-козодоя. Лучшего противоядия не найти.

— Апырмай, а?!— Паромщик от изумления раскрыл рот. Об еде он и вовсе забыл.— Отец! Правда ли, что вы говорили, будто если звезда Тогус отклоняется от обычного места, это дурное предзнаменование.

— Может быть, и говорил.

— Рассказывают, что вы заметили: звезда не восходит там, где она всегда бывала?

— Ой, сынок, неужели тебе здесь, у реки, в одиночестве, не о чем больше думать? Что ты меня всякими баснями потчуешь?

— Э, отец!.. Не осталось ведь нынче веселых-то рассказов. Вот и хочется при желанной встрече высказать все, что на душе накипело, а то... Вы ведь заметили, что я перенес свою хибару. То место, где раньше стоял мой плот, за одну ночь исчезло под водой. Там теперь пучина бездонная. Я так думаю: неспроста все это...

— Да-а, река на этом месте свернула влево. Видно, дойдет скоро до самого залива. Это еще не главная беда, сынок, если река меняет русло. Человек всегда найдет при ней свое место...

Сом в чаше наполовину был съеден. Сом — рыба жирная, много не съешь. А тут еще и паромщик совсем затосковал:

— Недавно был такой случай: сом едва не перевернул паром. Паромщик, который вверху от меня, как раз переправлял купцов. До берега было рукой подать. И вдруг волна вздыбилась, а из-под воды показалась рыбья спина, да ка-ак крутанет хвостом: перила долой, а паром чуть ли не в щепки. Паромщик от страха памяти лишился.

— Не зря в старину говорили: когда сом набирает силу, рушатся берега. Не к добру такое.

— Иногда и мой паром словно бы вздрагивает: то ли воронки попадаются, то ли еще какая напасть. И бросил бы все, да жалко расстаться с ремеслом, которым с детства занимаюсь. А временами страх берет. Так и кажется, что сом где-то меня поджидает.

— Ну, не надо унывать, сынок, готовь лодку, переправь меня на ту сторону. Лошадь свою я оставлю здесь. Пусть ее завтра кто-нибудь доставит в крепость.

— Заночевали бы у меня. Отдохнули бы после ужина. Я бы всю ночь вас слушал, порасспросил бы кое о чем.

— Мне нужно завтра к обеду до Отрара добраться.

— Апырмай, мало вам субботнего базара Мейрамкалы, теперь еще на воскресном базаре в самом Отраре побывать хотите? Вот что значит беззаботное житье!

— Я ведь не делдал, чтобы по базарам шляться. Правитель Иланчик Кадырхан гонца за мной прислал. Трое послов, говорит, пожаловали с востока, и он хочет, чтобы я на беседе присутствовал. Вот и спешу в Отрар, все дела свои оставил.

— Апырмай, отец, это, наверное, интересно — с послами беседовать?!

— Чего тут интересного? Посол ведь не брат, не сват, с кем можно от души поговорить. Он так и норовит в нутро твое пролезть, все тайны-секреты выведать. Такой посол точно мешок, набитый змеями. Того и гляди, какая-нибудь ужалит. Мир и вражда — все от них, от послов. Что эта встреча предвещает нам, одному богу известно...

Старик сложил ладони, произнес благодарственную молитву. Паромщик накрыл чашу скатертью, поставил на деревянную подставку. Потом снова полил гостю на руки из кувшина. Он только теперь разглядел руки старика. Пальцы у него были длинные, худые, бледные, с чернильными пятнами. Чернила старик делал сам: поджаривал до угольной черноты пшеничные зерна, толок их в ступе, добавлял в порошок немного соли и молозиво травы-сагыза, а потом все это разбавлял горячей водой. Писал старик, лежа на животе, подложив под грудь подушку, скрипел подолгу гусиным пером. Приезжая в крепость Жаухар, молодой паромщик неизменно навещал старца и всякий раз заставал его в трудах...

Старик поднялся, отряхнул полы чапана, вышел из

лачуги. За ним с веслом в руке шел паромщик. Ночь была тихая, ярко светила луна. Можно было без боязни переправляться через реку. У крутого берега паромщик поддержал старика под локоть, помог спуститься по склону. Привычно отвязав лодку от прикола, он заглянул, нет ли в ней воды, закрепил уключины. Старик занес ногу и отшатнулся. Вода в лодке напугала его.

— Дно твоей лодки прохудилось, что ли, сынок?! Смотри, воды-то сколько!

Паромщик спокойно пояснил:

— Вода всегда просачивается, если лодка долго стоит на воде. Но это не опасно. Важно, чтобы не поднялась больше определенного уровня. А поднимется — вычерпаем. Вода на дне даже на пользу. И лодка не рассохнется, стоит устойчивей, не даст снести течению.

Паромщик не преминул похвалиться, что лодка его из прочного, легкого дерева. Вначале лодка покачивалась, вырывалась, точно норовистый конь, в сторону, никак не могла удалиться от берега.

— Сильное течение,— заметил паромщик,— прямотаки отталкивает весла.— Греб он изо всех сил.

Доплыли до середины реки. Далеко по воде легла широкая лунная дорожка. Длинная острая тень тянулась от лодки. Провидцу представились кузнецы, кующие мечи. Раскаленный докрасна брусок плюется искрами на наковальне; молотобоец бьет по нему, пока он не обретает сизый отблеск; и вот продолговатое плоское железо опускают понемногу острием в воду. Лунный свет напоминал меч, вонзившийся в черную гладь реки.

Неожиданно лодка дернулась, резко развернулась. Старик едва не вывалился за борт. Паромщик налег на весла.

— Нарвались на воронку,— сказал он.

— Свернул бы немного в сторону,— подосадовал старик.

— Ну, что вы, отец?! Воронка ведь не течение. Сегодня она здесь, завтра на другом месте образуется. Откуда знаешь! Не будешь же с фонарем в руках воронки искать. Вода — она коварная...

Выбрались на гладь. Здесь река текла спокойно, и лодка стремительно заскользила по поверхности. До берега добрались благополучно. Вода в лодке не поднялась ни на палец. Ичиги провидца промокли. Видно, зачерп-

нул воды, когда закрутило лодку. Старик вылез, поблагодарил, благословил джигита. Пошарил было в карманах, но тут же отдернул руку, раздумал. Денег джигит все равно не взял бы, а обиделся бы непременно...

Прошло несколько дней после этого события. Ночная тишь нависла над крепостью Жаухар, стоявшей у излучины Инжу. Все вокруг погрузилось в сон, погасли огни, смолк дневной гул. Только изредка, нехотя лаяли псы. В середине крепости возвышался холм, а на холме стояла вышка — небольшая площадка на четырех высоченных столбах. Габбас поднялся по скрипучим ступенькам на вышку, где молодая жена подготовила уже для него удобное ложе — коврик, подстилка, подушка. Молочный свет луны щедро освещал вышку. Здесь старик предавался отдохновению и возвышенным мыслям, наблюдал за звездами на бездонном небосводе, вычислял их движение, заносил все на бумагу, писал, мечтал.

Воображение человека, пишущего при свете луны, обретает, говоряг, крылья. Вдыхать полной грудью ночную прохладу, подолгу смотреть на звезды, таинственно перемигивающиеся над головой, радоваться необъятному миру и счастью его ощущения, записывать свои мысли под монотонный скрип пера — давнее и любимое занятие ученого старца. Имя его было известно в мире. Его трактат «Систематизация Евклидовых «Основ» обошел многие страны. Со всех сторон стекались к нему ученики и последователи. Иланчик Кадырхан не однажды приглашал мудреца в Отрар, но Габбас отказывался. Не хотелось ему расставаться с родным Жаухаром, тихим и уютным, скромным и спокойным. Здесь не было горластых глашатаев, гнусавых муэдзинов-азанчи, воинов-сарбазов, вздымающих копытами лошадей облака пыли, неугомонных хапуг-купцов. Все казалось ему, что вдохновение его разом покинет, если только уедет он из родного края... Да-а-а... Доходят слухи, что немало славных сынов страны Дешт-и-Кипчак собралось нынче во дворце Гумбез Сарай; поэт-сыгынактинец Хисамеддин, непревзойденный кюйши Кайраук, отпрыск прославленного языковеда-жаухарца Исмаил, летописец Анет-баба. Что ж... дай-то бог. Да прославится на века имя города Отрара! Да множатся достойные сыны священной земли Дешт-и-Кипчака! Эти думы приятно согревали душу

старого астролога, наполняли сердце радостью и гордостью. Он довольно погладил бороду, свернул исписанный свиток, просунул в середину его перо, положил под подушку. Вытянувшись на подстилке, старик закрыл глаза и окунулся в пучину раздумий.

Думал он о своем великом наставнике Абу-Насре Мухаммеде, по прозвищу Фараби; вспомнилось его удивительное произведение «Послание о взглядах зрителей добродетельного города». Недавно Габбас перечел его в третий раз. Размышляя об обществе, ученый хаким утверждает, что оно разделяется на два вида: совершенное и несовершенное, или полное и неполное. В свою очередь, совершенное, или полное, общество представляет собой три подвида: большое, среднее и малое. Большое общество, по мнению философа,— все цивилизованное человечество на земле, среднее общество — какая-нибудь определенная страна или государство; малое общество —жители одного города. Города же делятся на «благородные» и «невежественные». Города, образованные людьми ради доброй цели, во имя любви к ближнему, добрососедства и взаимоуважения, относятся к благородным понятиям. Общество, которое способствует тому, чтобы его члены стремились к всеобщему счастью, является нравственным и истинным. Так считает Абу-Наср. В самом деле, не может чувствовать себя на месте в таком обществе человек, преследующий только свою корысть. Невежественные же города мудрый предок разделял на восемь видов; жители таких городов ставят личные интересы неизменно выше общественных; они хвастливы, самодовольны, надменны; для них высшее благо жизни — богатство и власть. Взаимоотношения между такими людьми неустойчивые, незначительные, непрочные... Апырмай, какой же город стоял перед взором мудреца, когда он писал эти строки? Может, под истинным, нравственным городом, почитающим единство, дружбу, добрые человеческие отношения, он и подразумевал свой славный Отрар? Если не теперь, так в будущем. Как бы там ни было, именно о таком городе больше всего мечтал Абу-Наср. Он считал, что в истинных городах люди непременно счастливы, образованны, правдивы, гостеприимны, трудолюбивы, любят искусство и ремесло. Лжи, сплетне, воровству и насилию здесь нет места. Среди людей господствуют истинно братские, родственные отношения. И радости, и горести переживаются сообща. С другими городами

они никогда не враждуют, не воюют, но никому не позволяют унизить честь своего города и захватчикам дают дружный отпор. Вольные люди не уступают чужеземцам пяди родной земли. Правителем такого города может быть только смелый и образованный человек, уважающий не один лишь меч, а мудрую книгу... Таким, по-видимому, представлялось великому мыслителю будущее Отрара!..

Тут Габбас вспомнил трех послов, пожаловавших недавно с востока; оказалось, сам Чингисхан, владыка монголов, снарядил их в путь. По пути в Самарканд завернули послы в Отрар.

Обстоятельства здесь сложились любопытные. Послы целую неделю предавались отдыху и наслаждениям в большом, красивом городе. Наместнику Отрара они подарили прелестную тангутку, дали коням передышку. Накануне отъезда послы пришли в Гумбез Сарай, попросили правителя принять их.

— Мы довольны приемом в стране Дешт-и-Кипчак и благодарим за угощения и почет,— сказали они.— Если на то будет ваша воля, то мы отправимся дальше в путь. К вам у нас одна лишь просьба, таксыр. Проводите нас вместе с одним самым надежным человеком, которому вы доверяете всецело. Мы хотим сообщить вам нечто очень важное.

Иланчик Кадырхан задумался. Что ответить послам? И кого он возьмет с собой для переговоров? Сыгынактинец Хисамеддин еще молод и не имеет опыта в государственных делах. Ошакбай, батыр из рода конрат, озлоблен и, конечно, сразу же схлестнется с монголами. Знаток языков Исмаил теряется в словесном споре и очень рассеян. Мысли его вечно витают где-то в поднебесье. Повелитель мысленно перечислил, перебрал всех своих советников и мудрецов и наконец остановился на провидце и астрологе Габбасе. Многое видел и передумал, умен и прозорлив этот старик.

И Кадырхан отправил гонца за провидцем.

Правитель и провидец Габбас проводили послов до полынной равнины Оксыза. Когда наступила пора прощания, послы спешились, расстелили чапаны. Вокруг простиралась безлюдная степь. Провожающие тоже спешились и устроились рядом на густой полыни. Долго молчали послы, ковыряли в зубах. Правитель в беспокойстве затянул потуже пояс. Наконец заговорил рослый

красивый Юсуф Канка, старший из послов, бывший родом из Отрара. Вот что он сказал:

— Господин! Говорят, за правду можно отрезать голову, но язык отрезать нельзя. Сказанное слово — что пущенная стрела. Пусть все сказанное останется здесь, между нами. Мы хотя и служим великому кагану, однако не забываем тот край, где перерезали нам пуповину. От души желаем мы мира и процветания нашему улусу. Может быть, помните о том, как к вам обратился посол султана Бауршика Билгиш Туюк-ок с просьбой оплатить кун за убитого предка. Вы ему ответили так: «За гибель в честном поединке кун не оплачивается. А твой предок нашел смерть именно в честном бою. Если же востребуешь кровь за кровь, то пусть твой султан вызовет на поединок потомка батыра-победителя Ошакбая. Победит он его — мы мзды не потребуем». Таков был ваш ответ, Бауршик-султан, загнав не одного скакуна, приехал издалека, одолел в поединке своего кровного врага Ошакбая и пленил его. А пленный — все равно что собственный раб победителя. Раба Бауршик-султан подарил самому кагану. К нашей общей беде, этот человек умудрился сбежать. И не просто сбежал, а увел одного из самых прославленных и быстроногих скакунов у монголов. Всемогущий каган рассвирепел, приказал обыскать, обшарить все низовья и верховья. И вот вчера я узнал, что беглец нашел приют у вас, даже является предводителем войска. Если вы не хотите вражды между двумя странами и не намерены навлечь на себя праведный гнев кагана, то верните ему сбежавшего раба.

Обе стороны некоторое время хмуро молчали. Где-то вблизи под кустом полыни трезвонил жаворонок. Фыркали лошади, звякали стремена и удила. Рослый посол, выжидая, ковырял носком сапога землю. Габбас спросил у него:

— Скажите без утайки: откуда вам известно, что Ошакбай находится здесь?

— О том дала нам знать прелестная тангутка,— не дрогнув лицом, ответил Юсуф Канка.

На лице Иланчика Кадырхана появилось напряженное выражение, как у человека, силящегося вспомнить что-то очень важное.

Он тяжело задышал, на глаза навернулись гневные слезы. Правитель Отрара явно потерял самообладание. Топнув ногой, он закричал:

— Эй, каганов прихвостень, заруби себе на носу! От решения своего я не отказываюсь! Пусть твой трусливый султан победит батыра в честном бою, а не подстерегает его с целой сворой приспешников в степи, не закидывает петлю из-за угла! С моей стороны не будет спроса, если он одолеет батыра в честном поединке, на людях. И пусть ваш Бауршик оставит бабьи склоки!

Правитель при этом был похож на жарко тлевший под очагом саксаул; еще одно дуновение, и он готов был вспыхнуть ярким пламенем. Горе тогда было бы попавшемуся ему под руку!

Другой посол, Махмуд-коротыш, заерзал. Он поразительно походил на степного воробья, затаившегося в кустах. Махмуд был родом из Хорезма, по происхождению мусульманин, но впоследствии продался восточному кагану. Отличался этот человек удивительным коварством и хитростью. Разговаривая, он никогда не смотрел в глаза собеседника. И на этот раз поступил так же.

— Передаю слова всемогущего кагана. Чингисхан гневается на кичливого хорезмшаха, на всех его толстобрюхих, угодливых прислужников — беков. Они сплошь торгаши, братоубийцы и кровопийцы. Каган спешит на помощь, дабы открыть простому люду глаза на это и проучить презренных трусов, утопающих в роскоши и разврате. Вскоре начнет он свой поход. Да пребудут же военачальники страны Дешт-и-Кипчак, хан ханов Иланчик Кадырхан на стороне всемогущего кагана! Но о нашем сговоре пусть пока не знает Мухаммед-шах. В знак верности воле кагановой мы обнимемся грудь в грудь. Когда пробьет великий час и каган обрушит свои свирепые тумены на Хорезм, Иланчик Кадырхан со своим многочисленным войском примкнет к нему. «В благодарность за такую услугу я обещаю не тронуть его городов, породниться кровно, дать огромную казну». Так велел передать каган. Ну что ж... посторонних и подозрительных свидетелей среди нас нет. Дай, Иланчик Кадырхан, в подтверждение своей верности кагану слово чести, и ты получишь от нас в знак свидетельства и преданности золотую пластинку с изображением орла.

Снова долго молчали обе стороны. Наступило роковое мгновение, когда судьба огромного народа повисла на волоске, зависела от одного-единственного слова. Люди застыли, затаили дыхание, исподлобья следили друг за другом.

— Продаваться не стану!— отрубил Иланчик Кадырхан.

Коротышка Махмуд уставился на него маленькими змеиными глазками и язвительно хмыкнул. Посол насмехался и, видимо, злорадствовал. Он предвидел, что произойдет.

Последним из послов взял слово рыхлый, жирный, с благодушным лицом бухарец Алиходжа. Этот служил в свое время и хану, и шаху, двум-трем султанам и, наконец, успокоился, продавшись кагану Чингисхану.

— Ты, дорогой Иланчик Кадырхан, оказывается, упрям, как отрарский бык. И мой сын был такой же. Кончилось тем, что отломили ему рога, и теперь у него на уме одни бабы. Я пекусь о благе всех мусульман. В семьдесят второй суре Корана сказано: «Мусульмане, будьте в единстве, всех близких и далеких обратите в свою веру». Мы должны всегда помнить священное писание, помнить, что все мы мусульмане и неприлично нам рычать друг на друга, как озлобленным псам. Почему бы нам не обратить в свою веру Чингисхана? Мы бы обрели в таком случае множество единодушных братьев, могущественных единоверцев и исполнили бы свой долг перед аллахом, заслужив его милость. Давайте покончим с ссорами-раздорами и начнем все вместе — я имею в виду сидящих здесь — верно служить одному всесильному и всеблагому богу. Примкнем к Чингисхану, объединимся, породнимся с монголами, обратим их в свою веру. Да будет так!

Подстрекательская, лукавая речь Алиходжи вывела из терпения даже сдержанного провидца Габбаса.

— Уж больно легко торгуешь ты своей верой, если каждого встречного-поперечного желаешь обратить в мусульманство,— проворчал он.— Эдак не единоверцев ты обретешь, а баб-соперниц. Это только тебе, каганскому прихвостню, со страху помочившемуся в штаны, ничего не стоит стать веропродавцем!

— Астафиралла! Чтоб ты язык себе обжег, нечестивец!

— Как ты смеешь обзывать ходжу?— сурово спросил Иланчик Кадырхан.— Он ведь правый глаз аллаха!

— Пусть не мелет тогда вздор!

— Чтоб мне провалиться на этом месте!— воскликнул коротышка Махмуд.— Мы мотаемся по всему свету, мерзнем и голодаем ради блага своего народа, а эти,

спрятавшись в своих прохладных дворцах, словно совы при дневном свете, не видят, что творится в двух шагах!

— Замолчи!— прокричал властно Иланчик Кадырхан.— Вам ли корчить из себя народных заступников?! Вот уж поистине: наглая ворона на священное дерево садится. Вы, предательские души, пытаетесь еще советы давать?! Вы бы лучше о честном куске хлеба позаботились. Или поискали бы такой клочок земли, куда бы могли закопать ваши презренные останки. Езжайте!

Сказав это, Иланчик Кадырхан резко поднялся и пошел прочь. За ним последовал провидец Габбас. Оба, вцепившись в гривы, легко вскочили на коней и с места пустили их в карьер.

Скакали молча, точно скользили по равнине, охлаждая горячую от гнева, ярости и досады грудь на встречном ветру. Некоторое время спустя Габбас оглянулся. Далеко, у горизонта, среди кустов полыни темнели, точно три кучи кизяка, трое кагановых послов. Они по-прежнему сидели на том же месте...

Событие это сейчас живо вспомнилось провидцу Габбасу, лежавшему лунной ночью на своей вышке. Он нащупал под подушкой свиток с пером, сел, сложив под себя ноги, и развернул бумагу на коленях. Пока еще луна в зените ярко светила, старый астролог принялся заносить на бумагу местоположение звезд на необъятном небосводе.

3

Когда Иланчик Кадырхан, ослепленный яростью, примчался к походному шатру, в котором содержалась пленница-тангутка, он был намерен зарубить ее. Откинув шелковый полог, повелитель ворвался в шатер и... застыл как вкопанный. Тангутка, точно невинное дитя, спала безмятежным сном на высокой постели и казалась еще более красивой. Длинная черная коса обвила тонкую чистую шею, и хан на мгновение подумал, что ни к чему кровавить меч и постель, когда ее, пленницу, можно задушить собственной косой. Он подошел ближе, и жалость неожиданно вкралась в его сердце. Сочная нижняя губа тангутки, напоминающая спелый урюк, притягивала взор, волновала кровь. Глаза правителя помутнели, в них появилось вожделение. Он наклонился к ней,

чтобы поцеловать в последний раз, и тут девушка проснулась. Она сразу испугалась, вскочила с постели, отпрянула в угол. Гнев снова обуял Иланчика Кадырхана, когда ему вспомнились слова лукавого посла: «О том, что Ошакбай здесь, мы узнали от тангутки». Хан схватил пленницу за ногу, подтянул к себе, задрал ей подбородок. Осталось только провести лезвием по горлу. Но опять дрогнул хан, уловив ее сладкий запах. Когда-то и Кадырхан был мальчишкой, собирал цветы по склонам холмов. В ту прекрасную пору, бывало, босоногим бегал он по степи, омытой только что отшумевшим ливнем, и с наслаждением полной грудью вдыхал запахи трав после грозы. И вот тот запомнившийся запах вновь ударил ему сейчас в ноздри, а перед глазами трепетали ее губы, и хан почувствовал, как сердце его становится мягким и податливым, точно расплавленный свинец.

— Это ты донесла послу кагана, что Ошакбай здесь?!

Девушка отрицательно покачала головой.

Повелителю вдруг пришла в голову неожиданная мысль: да она ведь даже не понимает по-кипчакски, как же могла она выдать тайну, откуда ей ведомо о бегстве батыра, если она Ошакбая и в глаза не видела?! Значит, подлый посол лгал и настраивал его, хана, против невинной тангутки? Выходит, он желает ей гибели?

— Нет, я понимаю по-вашему,— прошептала пленница, точно угадав мысль повелителя.— Моя мать из кипчаков. Она меня учила языку...

От неожиданности Иланчик Кадырхан качнулся, будто от удара, и лишь с усилием овладел собой.

— Юсуф Канка — плохой человек, мой господин,— продолжала девушка.— Он лишил меня родины и по дороге пытался обесчестить. Но я не позволила ему надругаться над моей невинностью. Потом он хотел меня убить за непокорность, но не́ выпало удобного случая. Тогда, чтобы отомстить, он подарил меня вам.

Слова девушки взволновали правителя; он ничуть не сомневался в ее искренности; только теперь ему стало все ясно.

— Откуда же этот человек узнал, что Ошакбай здесь?

— Вы сами разрешили послу приходить ко мне в шатер, считая, что он развеет мою тоску по родному краю. Вот Юсуф Канка и заходил сюда каждый день. А один раз здесь столкнулся с Ошакбаем-батыром.

— А кто разрешил батыру приходить в шатер?

Голос правителя прозвучал резко и хрипло, глаза его налились кровью.

— Не знаю, мой господин.

— О лживый мир! Неужели кто-то осмеливается топтать мою честь в моем же доме?

— Батыр лишь однажды к ночи приезжал сюда, мой господин...— В глазах ее блеснули слезы.— Когда вы уезжали к реке охотиться на тигра...

Она покорно опустилась перед правителем на колени, склонила голову.

— Напрасно гневаетесь, мой господин. Батыр вовсе не полагал встретить меня в шатре. Он увидел меня, тут же повернулся и ушел...

4

В ту ночь, когда правитель Отрара в походном шатре говорил с тангуткой, а над миром всходил новый месяц, случилось событие, всколыхнувшее всю страну Дешт-и-Кипчак. В аулах рода конрат, раскинувшихся на равнине Жеты-тюбе, происходил невиданный доселе той. Над земляными печками клубился дым, а над праздничными юртами развевался тундук. На свадебный пир батыра Ошакбая и красавицы Баршын стекался многочисленный люд из всех сорока кипчакских родов. Прибывали прославленные палваны-борцы, чьи лопатки еще ни разу не касались земли; джигиты вели в поводу быстроногих скакунов, соперничавших с ветром: жилистые, бесстрашные рыцари кокпара — козлодрания и салыма; высокомерные красавцы сыпы, сдувавшие с себя каждую пылинку; щеголеватые серэ, слава которых гремела за тридевять земель; жырчи и жырау — сказители; шуты; акыны-импровизаторы; бахсы-шаманы; праздный, любопытный люд, не пропускающий ни одного веселья вокруг на расстоянии трехдневного пути.

Огромные черные казаны взгромоздили на продолговатые, узкие земляные печки; за аулом на колышках растянули аркан длиною в ягнячий перегон, для привязи лошадей; здесь томились редкие, породистые, с богатой сбруей иноходцы, скакуны степной знати. Южный холм был облеплен людьми, словно муравейник — муравьями; здесь музыканты играли на старинных инструментах; позвякивали аса-таяк, тягуче и жалобно выпевал шанкобуз, дробно выстукивали бубны; грохот стоял

на всю долину. В низине в семи спаренных юртах происходило состязание обжор. Ойпырмой, вконец одурели брюхастые пожиратели мяса, подбадриваемые, подзуживаемые хозяевами и крикливой толпой, жаждущей зрелищ. Самого выдающегося обжору назвали тремя словами — плоскоголовый вислобрюхий Казанкап. Громоздясь, восседал он на почетном месте; рядом пристроился его личный повар. Слуги приволокли огромную овцу по третьему году, специально откормленную особой полынью. Обжора глянул на овцу, приказал повару: «Зарежь и хорошенько выпусти всю кровь. Разделывать не надо. Сними шкуру и целиком заложи в котел. Голову, ноги, требуху, почки, легкие — тоже. Словом, вари все, кроме печени. Приступай!» Повар так и сделал. В огромном казане туша сварилась довольно скоро. Дымящуюся овцу положили на широкий деревянный поднос, похожий на колоду, и поставили перед знаменитым обжорой.

Плоскоголовый вислобрюхий Казанкап ополоснул руки, засучил рукава. Потом достал из-за голенища большущий нож с длинной ручкой, несколько раз провел лезвием по ладони и склонился над тушей. Начал он с белоснежного увесистого курдюка: нарезал длинными ломтями плотное, сочное сало, запихивал в рот и проглатывал целиком, нисколько не жевал. Так измученный жаждой человек обычно ест сочную мякоть дыни. Обжора, прикрыв веки, жадно глотал сало кусок за куском и быстро расправился с бугристым курдюком. Несколько человек, наблюдавших за трапезой обжоры, не выдержали и, еле сдерживая тошноту, выскочили из юрты. Теперь обжора принялся за мягкое мясо, потом за задние ноги, кострец, обглодал лопатки, рульки, голяшки, грудинку, расправился с пашиной, оковалком, приступил, наконец, к шейной части. Жевал он все медленней и медленней, дышал надсадно, глаза были плотно закрыты. Когда с мясом было покончено, обжора в два счета разорвал-разодрал требуху и, тяжело икнув, шумно вздохнул и принялся высасывать жир из костей. Люди, глядя на обжору, от удивления хватали себя за воротники. По рядам прокатился гул: «Видать, брюхо у него что добрый бурдюк», «Небось сидит в нем ненасытный дракон», «Обжорливей его человека на целом свете не сыскать». Теперь и все кости овцы-трехлетки были обглоданы дочиста, и плоскоголовый вислобрюхий Казанкап-обжора попросил подать

ему горячую сорпу — бульон. Хлюпая и булькая, он выцедил одну за другой семь вместительных деревянных чаш жирной сорпы. У зрителей глаза на лоб полезли. Но тут, шумно рыгнув, обжора велел напоить его еще и кумысом. Теперь гости начали хохотать до колик в животе. И еще — ни больше ни меньше — ровно семь чаш кумыса влил в себя обжора. После этого взор его помутнел, лицо стало багровым; он еле пробурчал, чтобы убрали дастархан, и хотел быстро подняться, но не совладал с грузно обвисшим необъятным брюхом — встал на четвереньки, помотал головой, словно бык, оглушенный ударом. Двое джигитов схватили его под руки, подняли на ноги и повели к роднику возле аула.

Обжору надо было срочно положить в холодную воду, чтобы он пришел в себя, иначе сердце его от обильной трапезы могло не выдержать. Ни один из собравшихся на пир обжор не смог съесть столько, сколько удалось запихать в свою утробу плоскоголовому вислобрюхому Казанкапу. Он был объявлен победителем торжества, и почтенные старцы передали ему приз — коня и дорогой чапан.

Пока собравшийся народ глазел на состязание музыкантов и обжор, просочился слух: «Едет сал!» Кто же не желает увидеть собственными глазами степного щеголя и рыцаря — сала?! Толпа кинулась за околицу. Здесь носились взад-вперед порученцы, выезжали лошадей наездники, суетились коневоды. Только желанного сала не было видно.

Но вот со стороны аула показалась стайка разодетых, разнаряженных кипчакских девушек. Туго сплетенные косы спадали до пят; на головах гордо покачивались яркие саукеле; сверкали драгоценные камни, позванивали чолпы — подвески; переливались красочные шелковые одеяния. В руках у девушек были украшенные пучками перьев домбры. Они шли-плыли, покачивая тонким станом, и замирали сердца, кружились головы джигитов. Среди них оказалось немало голосистых певиц; когда они запели, казалось, серебряная птица взлетела над степью. Но щеголь-сал не показывался.

Молодки, по обычаю, готовились встретить желанного гостя, подержать под уздцы его скакуна, воздать почести. На лицах красавиц блуждала счастливая улыбка, щеки пылали и глаза блестели, будто только что они встали с брачной постели. Игривые взгляды пронзали

сердца, волновали кровь. Когда они смеялись, показывая белые зубы, казалось, что где-то поблизости журчал горный родничок. Яркие, пестрые наряды неописуемо преобразили голубую степь, радовали, ласкали взор, точно пришла вдруг весна, пылая огненно-красными тюльпанами.

Сал исчез, точно провалился. И тут вдруг прискакал порученец, крикнул: «Сал свалился с лошади... за перевалом!»

Девушки и молодки переполошились; одни взвизгнули от испуга, другие начали хохотать. Уж больно смешно было им представить, как щеголь падает с коня. Но шустрые, опытные молодки обо всем сразу догадались и спешно послали за ковром. Баловень публики нарочно валялся на траве. Ему, конечно, хочется, чтобы женщины подняли его на руки, посадили на дорогой ковер да так и донесли до самого аула. Всеобщему баловню, любимцу, красавцу все ведь позволено. Он знает: любой его каприз будет с готовностью исполнен. Молодки, охая и смеясь, подбежали к разлегшемуся на полыни салу, перенесли его на ковер и, окружив плотным кольцом, понесли к аулу. Нарядная, веселая процессия под гомон восхищенной толпы медленно двигалась по степи. К молодкам примкнули щебетуньи-девушки. Глаза разбегались от такого соцветия. У сала тоже разъехались губы, замаслились глаза, он млел от почестей. Впрочем, он и в самом деле оказался писаным красавцем; широколобый, густобородый, прямоносый, черноусый; смуглолицый, худощавый; в руках разукрашенная домбра; на голове — круглая шапка-бӧрик с перьями филина. Сал повел головой, задрожал его подбородок, и он запел вдруг песню в знак благодарности людям, устроившим ему столь пышную встречу.

Зычный зачин песни оглушил молодок, он словно взмыл к небу, поплыл гордой птицей над аулом. Благочестивые, сидевшие за трапезой, встрепенулись; столетние старцы навострили уши; шумный аул разом затаил дыхание. Смолк и игривый девичий смех; все с открытыми ртами смотрели на зычноголосого певца.

Молодки забыли о приличии: во все глаза, жадно и откровенно они с ног до головы оглядывали джигита. Не обращали они уже внимания ни на что, так и норовили стать ближе к салу, прикоснуться, прижаться невзначай. Бесцеременно отталкивали они друг друга.

Песня сала всколыхнула всех, точно обрушившийся вдруг вихрь. Летом в этой степи пышно расцветает пырей; он колышется, покачивается, точно море; бывает, с яростной силой налетает на него степной вихрь, буянит, буйствует; и пырей то прижимается к земле, то скручивается, то хлещет другие травы, то вновь поднимается тугими, крутыми волнами. Точно так же подействовала громкоголосая песня сала на пирующий аул.

Одна лишь зоркоглазая молодка-провидица с грустью и тоской взирала издали на шумное пиршество. Душа ее ныла, исходила болью. Она понимала, что сегодня навсегда расстается с батыром, которого любила без ума. Уже сегодня ее ненаглядный окажется в объятиях другой женщины. Третий день продолжалось свадебное торжество, но оно ее не привлекало. Никто и ничто не могло развеять ее вдовью печаль. Холодная и отрешенная, она чувствовала себя как на поминках. Злые, нехорошие мысли приходили ей в голову. Хотелось ей даже, выбрав удобный момент, расправиться со своей соперницей, но, подумав, она решила, что этим сердце батыра все равно не завоюет. А может быть, посягнуть на жизнь самого батыра, изменившего ей? Но не-е-ет... на это у ней рука не поднимется, если даже всю жизнь предстоит ей скорбеть в одиночестве. Без своего заступника аулы осиротеют, родной край опустеет, и ей, облаченной в траур и неутешной, не будет никакой жизни.

Зоркоглазая молодка насупилась, пригляделась попристальней. Там, где солнце клонилось к горизонту, показалось облако пыли. Из-за клубящегося облака возникло кочевье. Это ехал Ошакбай-батыр со своей невестой. От аула кочевье отделяло расстояние в один овечий перегон. Отчаяние охватило зоркоглазую молодку, рыдания душили ее. Хотелось припасть к гриве коня и выплакаться вволю. Она отвязала тулпара, вправила удила и взлетела в седло.

Через мгновенье она уже скакала навстречу кочевью. Зачем? С какой целью? Она и сама сейчас не знала. Покусывая пропитанную горьким потом плеть, свободно отпустив поводья, птицей летела она над вольно распростершейся равниной. Встречный ветер свистел у нее в ушах, грива скакуна хлестала по лицу, горячие слезы текли по щекам.

Вплотную приблизившись к кочевью, она натянула повод. Ее ошеломил длинный верблюжий караван. Конец

его тянулся еще где-то за перевалом, а головные нары-дромадеры уже поднимались по склону следующего холма. Верблюды были отборные, все сплошь одной — светло-рыжей — масти. Они шли, подгибаясь под тяжестью тюков. Это везли приданое невесты. Где находилась сама невеста, зоркоглазая молодка не увидела. На переднем дромадере покачивался богато убранный балдахин; в нем сидело несколько юных красавиц, и невозможно было определить, какая же из них была невестой. В глазах рябило от редких и богатых нарядов, и зоркоглазая молодка почувствовала невольную робость перед этой пышной процессией.

Она вспомнила свою молодость. Отец ее, не расставшийся с охотничьим соколом, даже одевать свою дочь как следует не мог. А когда выдал замуж, то вместо приданого дал десять батпанов зерна. О боже, как неблагодарно обошлась с ней судьба! Сколько горьких унижений отмерил ей злой рок!

Только теперь она заметила: Баршын сидела не в балдахине, а ехала верхом стремя в стремя с батыром. Донесся до нее вдруг счастливый смех невесты, от которого похолодело в груди. Ей почудилось, будто молодые смеялись над ней. Лицо ее побледнело и сразу осунулось, глаза мстительно блеснули.

Батыр рассказывал невесте про один случай. Оказывается, он давно и ко всем ревновал Баршын, даже с самого правителя Отрара не спускал глаз. Мерещилось ему, что между ними тайная связь. Ведун-Жаланаш однажды шепнул ему: «Иланчик Кадырхан поставил свой походный шатер на краю города, на берегу Арыси. В том шатре он тайком от ханши встречается с какой-то красавицей. Уж не Баршын ли это? Там они и предаются греховному наслаждению». Эти слова вконец лишили рассудка ревнивого батыра: точно пожар охватил сухую нескошенную траву. Оседлав коня, поскакал он к излучине реки, разыскал шатер, разогнал стражу и, распоров мечом шелковый полог, ворвался внутрь. И что же?.. Прямо перед ним стояла насмерть перепуганная девушка неописуемой красоты. Постоял батыр, поглазел и ушел восвояси. Только теперь он догадался, что святой Жаланаш хотел стравить его с повелителем Отрара. Едва не случилось непоправимое, да бог миловал. Об этом случае и поведал Ошакбай своей невесте, и та в ответ громко рассмеялась.

Зоркоглазая молодка круто осадила перед ними коня:

— Батыр, к тебе можно обратиться?

Баршын-слу тоже сразу же узнала молодку. Ошакбай поехал к ней навстречу, ласково поздоровался. Молодка ударила плетью коня, свернула в сторону. Ошакбай послушно последовал за ней.

— Значит, нашел себе, батыр, забаву на дороге? Случайная девка приглянулась тебе, стала твоей избранницей? Что ж... да будет счастлив ваш брак! Да посетит удача ваш очаг!

Ошакбай потемнел лицом.

— Оставь свои намеки, зоркоглазая женщина. Говори прямо!

— А что прямо-то говорить? Просто предупреждаю, чтоб не очень убивался, если постигнет тебя разочарование на брачном ложе.

— А тебе что до нашего брачного ложа?!

— Ну как же? Ведь испокон веков кипчакские батыры брали в жены только невинных девиц либо сразу же обновляли постель для любовной услады. Что же это с тобой случилось, кипчакский батыр? Выбрал себе не девицу, не молодку, а мужеподобную бабу! Ну, да ладно, не обижайся, не обессудь за глупые слова. Любила я тебя, батыр. Теперь прощай!

Сказав это, зоркоглазая молодка с места пустила коня вскачь, оставив батыра в недоумении. Нескоро он собрался с мыслями и опечаленный вернулся к кочевью. Дальше уже ехал он молча, стараясь избегать пытливого взгляда насторожившейся Баршын. Кроваво-красный закат долго пылал у горизонта.

В пустынной степи бесцельно металась зоркоглазая молодка; она была как в бреду, ничего не замечала и не чувствовала. Изредка лишь подергивала поводья, и конь послушно сворачивал то налево, то направо. По раздольной степи брели-плыли причудливые тени; вдалеке, казалось, неслышно проносились то ли табуны коней, то ли хищные звери. Молодка ни на что не обращала внимания. Лишь когда конь споткнулся, попав ногой в чью-то нору, молодка на мгновение точно вынырнула из пучины мрачных дум, огляделась вокруг. Но тут же накатилась на нее страшная тоска и безразличие овладело ею. От слез в груди ее стало пусто, будто навсегда покинула ее душа. Дальнейшая жизнь лишилась смысла: ни любви, ни радости. Осталось лишь доживать свой век, испить до

дна горькую чашу судьбы. И больше ничего... Она посмотрела вокруг себя и опешила, ледяная дрожь пробежала по телу, лоб покрылся испариной. Она протерла глаза.

В нескольких шагах от нее стоял оседланный конь. На передней луке седла висели два походных барабана...

Вот эти барабаны — вестники беды — и вселили ужас в скорбное сердце зоркоглазой молодки. Страшен был и сам одинокий скакун. Грива и хвост его спутались, свалялись, бока были точно в коросте, брюхо — в грязных подтеках и полосах. На седле и тороках бурели пятна крови. Подбрюшник натер кожу, впился глубоко в тело. Такое случается, когда очень долго не снимают седло, не расслабляют подпругу. Жуткими казались и глаза бедной лошади — выпученные, воспаленные, одичалые, с какой-то бездонной скорбью. Удила, изгрызенные, болтались по обе стороны морды. Барабаны рассохлись, сплошь покрылись трещинами.

Зоркоглазая молодка с усилием овладела собой, подавила страх. Она решила поймать одинокого скакуна. Однако конь ее заупрямился и пугливо стриг ушами, пофыркивая. Мешкать было нельзя: загадочный скакун мог понести в первое же мгновение. Видно, он и в самом деле одичал. Просто истосковался по четвероногому собрату, да и измучен был изрядно — только это и удерживало его пока на месте.

Зоркоглазая молодка отвязала чембур, намотала его на руку. Стараясь не производить лишнего шума, она из одного конца связала петлю, а другой прикрепила к поясу. Потом, пригнувшись, как лук, метнула петлю на шею скакуна. Тот вскинулся на дыбы и понес. Молодка пятками ударила коня, намереваясь броситься вдогонку и ухватиться за чембур, выскочивший из рук. Но конь ее не понял и отпрянул в сторону. Молодка вылетела из седла. Волочась по земле, она все же изловчилась и вцепилась обеими руками в чембур.

Теперь надо было любой ценой подняться на ноги, иначе полынь и кочки изорвут одежду в клочья и не миновать ей потом верной смерти. В первое мгновение ей удалось немного придержать скакуна. Натягивая изо всех сил чембур, она сумела подняться на локти, потом на колени. Полынь нещадно полосовала ее тело, ноги горели от ссадин и кровоподтеков, кости ныли, как переломленные. Раза два она отчаянно пыталась вскочить на

ноги, но это ей никак не удавалось: скакун перешел на безумный галоп и волок ее по земле, точно куль.

Единственное спасение было в том, чтобы развязать чембур на поясе. Но узел туго затянулся, пальцы словно одеревенели, онемели. Она сразу же сорвала ногти.

Скакун мчался диким наметом. Молодка теряла последние силы. Руки-ноги ей уже не подчинялись, и она всем телом, всей тяжестью скользила по кустам и кочкам. На миг померещился ей Ошакбай, огромный, сильный, и одновременно по-детски простодушный, покладистый. Ее Ошакбай. Ее надежда и мечта. Единственный, желанный, ненаглядный. Она мчалась ему навстречу, раскинув руки. Потом ей почудилось, будто Ошакбай сидит верхом на скакуне, яростно настегивает его камчой и оглушительно бьет в барабаны. От грохота стонет степь, разламывается голова. Боже, как гудит в ушах! Она почувствовала странную горечь на языке, горечь покидающей ее жизни. Она и не представляла, что у жизни такой горький привкус, терпкий, как полынь в знойное лето. Потом и эта горечь исчезла, все погасло, померкло вокруг, и она провалилась в жуткую, черную пучину...

Через несколько дней одинокого скакуна с двумя походными барабанами на передней луке седла увидел табунщик из предгорий Караспана. На шее скакуна болтался черный длинный чембур. Табунщик долго гнался за таинственным скакуном, но тоже не догнал...

5

Выйдя от тангутки, повелитель Отрара направил коня в южную часть города. Здесь строился мавзолей Арыстанбаба. Повелитель хотел взглянуть на постройку, побеседовать с главным мастером. Мавзолей воздвигали уже второй год. Середина и оба крыла были в основном закончены, теперь оставалось выложить высоченный купол. Центральные ворота мавзолея выходили на юг. За ним находилось кладбище святых, вокруг густо росли тутовые деревья [1].

---

[1] Сохранившийся архитектурный ансамбль-мавзолей Арыстанбаба был заново построен в XVII веке на развалинах прежнего.

Мавзолей строили сплошь из дикого камня, который доставляли сюда караванами из Каратау. Здесь его тесали, придавали нужную форму. Эта трудоемкая работа и замедляла строительство. Если бы строили из кирпича, мавзолей был бы давно готов. Главный мастер учился строительному делу в Самарканде; родом он был кипчак; видный мужчина лет под пятьдесят. Увидев повелителя, мастер обтер о фартук широкие, с въевшейся пылью ладони, склонился в поклоне. Разговаривал он спокойно, с достоинством. Это, однако, ничуть не оскорбило Иланчика Кадырхана. Наоборот, ему пришлась по душе гордость мастера. Тот подержал коня под уздцы, помог хану спешиться, потом кинул повод молодым подмастерьям, повел гостя в мавзолей.

Камни были отшлифованы до блеска и пригнаны так искусно, что не видны были ни грани, ни трещины. «В руках истинного мастера даже грубый, неотесанный камень оживает»,— отметил про себя повелитель. Он вспомнил, как встретился с зодчим сначала в городе Старый Дарбаза, потом в Тюбе-Кудуке...

Старый Дарбаза находился южнее Отрара, у склона Бугенских гор. Подъезжая к этому месту, путник издалека видит причудливые скалы, должно быть очень древние. Говорят, здесь когда-то возвышались меловые горы. В глубине большого утеса зияет гигантская пещера в форме круглой чаши. Края и дно этой чаши — из галечника. В южной части пещеры встречается множество домов, вырубленных в скалах. По объему и форме они напоминают обыкновенные юрты кочевников. Круглые у основания, они конусообразно сужаются кверху, венчаясь неизменным куполом. На потолке продолблено отверстие, через которое поступают свет и воздух. Стены домов сплошь в сплетениях узоров и орнаментов. Все эти каменные дома были построены зодчим-кипчаком.

Ознакомившись с городом Старый Дарбаза, Иланчик Кадырхан тогда уже непременно пожелал встретиться с этим зодчим. Талант, чьи руки способны создавать такие чудеса, должен способствовать украшению Отрара. Повелителю доложили, что зодчий в настоящее время находится в Тюбе-Кудуке. Это было плато, по окружности равное расстоянию конских скачек. Рядом с плато, пробив гору, течет родник. Возле родника Иланчик Кадырхан еще издали увидел пасущихся верблюдов. Только подъехав вплотную, он убедился, что это всего лишь ка-

менные изваяния. Верблюды были вытесаны из цельного камня и по размерам несколько превышали своих живых собратьев. Изваяния покрыты неизвестным, очень крепким, блестящим составом, который не только сохранял их от разрушительных ветров, дождей, зноя и стужи, но и делал их необыкновенно красивыми. Солнце клонилось к западу, и громоздкие каменные верблюды словно погрузились в дрему. Красные предзакатные лучи застыли в их стеклянных глазах. Они изящно выгибали шеи, поблескивая тугими боками, при этом, как у живых, выпячивались упругие мышцы, четко обозначались жилы. Казалось, вот-вот оживут каменные верблюды, поднимутся и пойдут горделивой поступью в сторону заката.

Когда Иланчик Кадырхан учился в медресе, он читал, будто в стране ромеев некогда жили ваятели, тесавшие из мрамора скульптуры, которые во всем повторяли человека. А теперь ему пришлось собственными глазами увидеть чудо, сотворенное кипчакским умельцем из твердого дикого камня с помощью обыкновенного кайла и долота. Вокруг валялись верблюжьи кругляшки. Они также были выточены из камня. Ровное, как доска, гористое плато, прозрачный родник, пробивший толщу гор, каменные верблюды, задумчиво застывшие в лучах заходящего солнца, верблюжьи кругляшки, разбросанные здесь и там, придавали особый колорит естественной красе предгорий Казыкурта. Иланчик Кадырхан разыскал зодчего, воздал ему ханские почести и привез с собой в Отрар...

Главные ворота мавзолея Арыстанбаба, их расписанные поперечные балки невольно притягивали взор. Высота ворот составляла девять гязов. Карнизы, углы имели округлую форму. Каменные стены напоминали толсто свитый аркан. От верхней перекладины на высоте трех гяз начинался купол. Переступив порог мавзолея, посетитель сразу попадал в самое большое помещение площадью в восемнадцать с половиной квадратных кулаш. Из помещения налево и направо вели две двери. Днем здесь было неизменно светло: вдоль карниза размещались круглые окна. Площадь недостроенного купола должна была составить двадцать пять квадратных гязов. В зависимости от этого возникала необходимость соблюдать строгие пропорции всего мавзолея. Внутренние помещения планировались определенно соразмерными венчающему все куполу. В центральном круглом помещении

посередине было оставлено место для хауза. Купол предполагалось облицевать глазурованными плитами, а стены — окрасить в голубой цвет.

Повелителю захотелось узнать, какими единицами измерения пользуется зодчий в своих расчетах при строительстве подобных зданий,

— Я сейчас пишу книгу о кипчакских мерах длины, объема и веса,— степенно пояснил зодчий.— У каждого народа есть свои сложившиеся за многие века единицы измерения. Имеются они и у нас, кипчаков. К примеру, хирман-зекет (налог с урожая) и вообще зерно мы измеряем подносами — табак, круглой чашей — шараяк, батпаном, мешками, канарами, кувшинами. Самой малой единицей веса считают вазочку, миску. Все эти меры отнюдь не случайны и не приблизительны, не придуманы кем и как попало. Они оправданы житейским опытом. Один кипчакский мыскал — золотник равен седьмой части хорезмского дирхема. Площадь земли мы определяем танапом и бапом. Для измерения длины пользуемся одной фалангой мизинца — шинашак ушы, шириной большого пальца — бармак, толщиной указательного пальца — ели, расстоянием между концами вытянутых большого и указательного пальцев — сюем, расстоянием между концами вытянутых большого и среднего пальцев — карыс, расстоянием среднего шага — кадам, длиной мужской ступни — табан, расстоянием от плеча до локтя — шынтак, расстоянием между раздвинутыми в стороны руками — кулаш. Самая большая мера длины — фарсах; самая малая — кончик мизинца. К большинству этих мер мы прибегаем и в строительстве. Один наш гяз равен монгольскому локтю, один карыс — хорезмскому ваджабу, или четверти аршина...

Зодчий долго и увлеченно рассказывал о мерах длины и веса у разных народов и племен. Многое Иланчику Кадырхану приходилось слышать впервые. В самом деле, во всех этих многочисленных названиях просматривалась совершенно определенная система, исходившая из обычаев и традиций. Раньше ему эти измерения казались сомнительными и очень приблизительными. Ведь, скажем, ширина большого пальца или кончик мизинчика не у всех одинаковы. Но и они, оказывается, определенно соотнесены с мерами иных народов.

Повелитель долго любовался строящимся зданием.

Распахнув двустворчатые двери в правой стене, он прошел в малый зал. Все четыре стены там имели овальную форму и напоминали лепестки раскрывшегося тюльпана. В каждой стене находилась ниша глубиной в один гяз. По этим нишам можно было судить о толщине стен. Значит, зодчий думал не только о красоте, но и о надежности своего строения. Нигде не было видно подставок или подпорок. У потолка лепестки-стены сужались, переходили в круглый купол, образуя как бы еще один этаж. Все это свидетельствовало о глубоких познаниях зодчего в строительном деле.

Иланчик Кадырхан и главный мастер долго осматривали грандиозное сооружение. Когда они наконец вышли, солнце уже стояло в зените. Дул суховей. Рабочие тесали камни. Увидев гостя, они вышли из карьера, расселись вкруг. Зодчий приказал принести напиток, настоянный на просе. Повелитель с удовольствием попил из маленького кувшинчика, вытер со лба испарину, разгладил усы.

— Как у вас со скотиной на прокорм?

— Пока есть.

— В чем же вы нуждаетесь?

— Нам бы еще один караван для перевозки камня. У нас их три, но верблюды сильно устали. Нелегко возить камень из такой дали.

— Хорошо. Завтра же пришлю караван из восьмидесяти верблюдов.

— Да возблагодарит вас аллах!

— Когда намереваетесь закончить постройку?

— С божьей милостью думаю к шестому новолунию поставить последний камень.

Иланчик Кадырхан задумался. Опустевший кувшинчик он передал молодому подмастерью. «Должно быть, гневается хан, что так затянули стройку»,— встревожился зодчий. Он намотал на руку мерку, понуро уставился на носки ичиг. Но повелителя беспокоили сейчас отнюдь не сроки. Он сам прекрасно понимал, что в спешке долговечного памятника не построишь. Истинное творение требует времени и старательности. Совсем другое дело омрачало душу правителя, угнетало его больше, чем знойный суховей.

Днем раньше из Тараза прискакал копейщик Кипчакбай. Он сразу же направился в Гумбез Сарай и припал к ногам повелителя. Приехал он с обидой. Намест-

ник Испиджаба бек Огул-Барс оскорбил его честь, нанес тавро позора.

Дело было так. Единоутробный младший брат Кипчакбая влюбился в сестру Огул-Барса, который давно уже сосватал ее батыру из Хорезма Тимур-Малику и успел даже получить за нее весь калым. Вот-вот должна была состояться свадьба. Но тут пылкий юноша из Тараза тайком встретился с девушкой и признался ей в любви. Оказалось, что и она любит джигита. «Если сможешь, выкради меня»,— сказала она ему. Джигит решился на дерзкий поступок. Во время шумного тоя он проник в юрту невесты, вывел ее тайком, подсадил на коня и умчался вместе с ней. Слуги бека, однако, узнали о побеге и пустились вдогонку. Влюбленные выехали из аула на рассвете и скакали без передышки почти до обеда. Но тут конь их выдохся, а джигиты бека, меняя лошадей, продолжали погоню. Влюбленные поняли, что уйти им не удастся. У коня уже подкашивались ноги. Джигит в отчаянье припал к его гриве и заплакал. Тогда якобы девушка сказала ему: «Не слепая страсть увлекла меня, а полюбила я тебя всем сердцем. Ты мой единственный, желанный. От погони вместе нам не уйти. Не отчаивайся, крепись. Лиши меня невинности и спасайся один!» В тени запарившегося коня, презрев все на свете, влюбленные изведали сладость первой любви... Преследователи схватили девушку, а джигит успел уйти в горы. Огул-Барс — а он, оказывается, находился среди преследователей — связал сестру арканами и стал ее пытать. Джигит издали глядел на муки несчастной девушки и не выдержал — сам пришел с повинной. Бедных влюбленных бросили в темницу — зиндан — Испиджаба.

Узнав о случившемся, Кипчакбай примчался в Испиджаб. Здесь его настигла еще более ужасная новость. Беда обрушилась на Испиджаб. Потеряв невесту, разъяренный Тимур-Малик со своим войском напал на мирный город. Однако он не стал сжигать дома, не трогал простого люда, а приказал своим сарбазам грабить лишь почтенных и богатых людей. Захватив все ценное, он объявил: «Я вернул свой калым, выплаченный беку за его сестру». Так он отомстил за свой позор и унизил несостоявшегося шурина.

Скота лишился — гневом опалился, говорят. Униженный дерзким поступком строптивой сестры, посрамлен-

ный набегом мстительного Тимур-Малика, Огул-Барс несколько суток не ел и не пил, ни с кем не разговаривал. Он лежал, прижавшись голой грудью к сырой земле, отвернувшись к стенке. Даже когда собрались почтенные старцы, чтобы выразить свое сочувствие, наместник Испиджаба не раскрыл рта. Близкие встревожились не на шутку. «Соберем с народа и вернем хозяевам мзду за учиненный разбой»,— предложили Огул-Барсу. Он промычал что-то невразумительное в ответ. «Тогда отправим гонца в Тараз. Пусть уймут своего поганца и сполна заплатят за его поступок. Или пусть берут опозоренную девку и платят положенный калым!» Но и на это предложение бек не ответил. Раздосадованные старцы разошлись, так ничего и не добившись.

В следующую ночь Огул-Барс встал с постели. Он был страшен, лицо его почернело. Даже самые близкие не осмеливались смотреть ему в глаза. Бек позвал верных слуг и приказал доставить из темницы опального джигита. Привели пленника, раздели донага, положили на спину и крепко привязали. Огул-Барс собственноручно лишил его мужских возможностей. Нукеры молча взирали на дикую казнь. За этим занятием Кипчакбай и застал Огул-Барса.

Кипчакбай кинулся было на помощь брату, но слуги бека повисли на нем. И тогда черный от ярости батыр галопом помчался в Отрар...

Иланчик Кадырхан немедля отправил порученца в Испиджаб с приказом Огул-Барсу явиться в Гумбез Сарай. Сегодня тот должен был прибыть. Повелителю предстояло каким-то образом успокоить разъярившихся батыров, примирить их, не дать в столь неспокойное время разгореться пожару ненависти между двумя городами...

Об этом и подумалось вдруг Иланчику Кадырхану, когда он, осмотрев мавзолей, беседовал с зодчим. Радость его сразу погасла, как костер, залитый водой.

Правитель Отрара тяжело поднялся, попрощался с главным мастером. Молодой подмастерье подвел ханского коня. Привстав на стременах, повелитель подобрал полы суконного чапана, уселся поудобней в седло и поехал в Гумбез Сарай.

Пыль клубилась из-под копыт. «Надо распорядиться, чтобы подмели центральную улицу и полили дороги»,— отметил про себя Иланчик Кадырхан. Раскаленные лучи

солнца припекали правый висок. Подъезжая к дворцу, он увидел в тени джиды у коновязи множество оседланных лошадей. Видно, они проделали большой путь: с боков стекал пот, морды были в пене, животы запали. Седла на них были самых разных видов: монгольские, обитые серебром, кипчакские с утиноголовой лукой; аргынские, вырубленные из цельной березы. Он швырнул повод подбежавшему конюху, спешился и энергичным, упругим шагом направился во дворец.

Сердце его взволнованно забилось, когда он поднимался по каменным ступеням. Грозная сила и власть чувствовались во всем его облике. Привратники распахнули перед ним ворота. Через черный ход он прошел в угловую комнату. Старый визирь доложил: «Вас ожидают Огул-Барс и Кипчакбай. С ними прибыли их заступники». Векиль-индус помог повелителю снять дорожную одежду, набросил на плечи дорогой узорчатый халат, спросил, не желает ли его господин освежиться прохладительным напитком. Иланчик Кадырхан махнул рукой.

Когда резко открылась главная створчатая дверь и на пороге показалась внушительная фигура повелителя, все присутствовавшие в тронном зале склонились в почтительном поклоне. Иланчик Кадырхан сел на трон, и собравшиеся, шурша одеждами, опустились на свои места. Взгляды людей, медленно поднимавшихся с пола, устремились на повелителя. Приехавшие обменялись вопросами вежливости, спросили о здоровье и благополучии сородичей.

— Братья! В Отрар — остов нашей державы — я пригласил вас не для вражды, а для мира! Разве в этом дворце, под этим голубым куполом есть место для ссор и неурядиц? Разве не приличествует здесь говорить о благе и дружбе? Вы же прибыли сюда не для этого. Там, в своих городах, вы сами сеете смуту! Что же пожнете вы потом?!

Грозно и холодно прозвучали эти слова Иланчика Кадырхана. Враждующие батыры молчали. Глаза их были налиты кровью. Благообразный седобородый старик, сидевший справа, бросил перед собой камчу в знак того, что просит повелителя разрешить ему говорить. Он оказался заступником Огул-Барса.

— Мой господин! Мы обращаемся к твоей милости, чтобы ты по справедливости образумил и наказал ви-

новного. О том, что случилось, тебе ведомо. Огул-Барс не требует мзды за поруганную честь сестры. За нее он сполна отомстил. Речь теперь идет не о мести, а о возмещении нанесенных убытков.

Слева заговорил крупноголовый безбородый уроженец Тараза:

— Нечего тут говорить об убытках. Нашего джигита подвергли пыткам, надругались над его мужским естеством. Значит, Огул-Барс сам виновник случившегося. Пусть передаст свою гулящую девку в наши руки. И мы воздадим ей должное, прижав раскаленные щипцы к ее межбедрию, которого не касаются лучи солнца.

Поднялся общий шум:

— О возмездии речь впереди!

— Мы не потерпим позора!

Иланчик Кадырхан резко хлопнул в ладони. Под тяжестью его тела заскрипел трон. Шум мгновенно утих. Жалобщики замолчали, боясь навлечь на себя ярость повелителя.

— Пусть говорят сами виновники раздора! — властно приказал Кадырхан.

Огул-Барс поднял голову:

— Мой повелитель! Я сам первым сунул свои руки в огонь беды и дал повод для злорадства врагам. Значит, я вправе мстить и требовать мзду. Между двумя городами назревает непримиримая вражда. Я теперь посрамлен и унижен, ибо бросил честь свою к собственным ногам. Злорадствовать над скорбящим — кощунство. Не бередите кровоточащую рану, а накажите виновных, заставьте их заплатить за позор и причиненный моим сородичам ущерб. Только тогда я смогу смотреть в глаза людям!

Заговорил батыр Кипчакбай:

— Мой повелитель! Кровь вскипает в моих жилах, когда я вспоминаю дикую расправу, учиненную над моим единственным братом. Так не поступают даже с бессловесным рабом, пригнанным вместе со скотиной — приданым невесты. Нас оскорбляет самосуд Огул-Барса. Унизив брата, он поступил с ним как с безродным и нанес кровную обиду всему племени, бросил вызов священным духам. В подобных случаях исстари принято первым долгом обращаться к сородичам виновника, чтобы они заставили его осознать свою вину, а не подвергать пыткам и глумиться над естеством прови-

нившегося. Поступок Огул-Барса низок, речи его — бред ослепленного яростью. И винить ему за свое безумие некого! Он один за все ответчик!

Обе стороны были правы — каждая по-своему. Огул-Барса можно обвинить в том, что он отдался во власть ярости, не подумал о последствиях и недостойно отомстил своему обидчику. Кипчакбай, в свою очередь, не может не признать, что именно его брат явился первопричиной вспыхнувшей вражды. Если бросить их вину на безмен справедливости, то, пожалуй, ни одна чаша не потянет вниз. Получается заколдованный круг. Противоречивость времени и жестокость обычаев и нравов сплелись в сложный клубок. Это было как тупик, в котором очутились мир и благоденствие в этом краю.

Во дворце воцарилась недобрая тишина. Многие из тех, кто сидел сейчас здесь, невольно вспомнили знаменитую пещеру Катынкамал — Бабья крепость — в отрогах Каратау. Человек, впервые опустившийся в эту пещеру, заросшую мхом, мрачную, сырую и затхлую, больше всего бывал поражен нестерпимой, зловещей тишиной, которая вселяла ужас. Точно такая же тишина стояла сейчас в Гумбез Сарае. Казалось, все разом онемели, оглохли.

Наконец раздался голос повелителя:

— Я не сомневаюсь, что обе стороны прежде всего пекутся о чести и достоинстве. Поэтому для решения спора я прибегну к древнему, дедовскому обычаю. Надеюсь, оба батыра свято чтут дух предков. Поступив по обычаю, вы восстановите мир и потушите огонь ненависти в сердцах соплеменников.

Затаив дыхание, слушали все. Повелитель продолжал:

— Завтра я прикажу доставить сюда обоих виновников — джигита и девушку. Оба батыра выйдут на дворцовую площадь. Каждый получит от меня лук и по одной стреле. Огул-Барс наденет на голову саукеле своей сестры. Кипчакбай — высокую шапку своего брата. Расстояние между вами будет восемьдесят шагов. Цель — головной убор противника. Кто стреляет первым — решит жребий. Условия такие: кто не попадет в цель — пусть пеняет на себя. Он будет обязан выполнить любое требование победителя. Кто собьет первым головной убор — получает девушку и джигита в свое распоряжение. Как он с ними поступит — его воля. Никто

не вправе вмешиваться в его решение. Если же кто-либо попадет не в головной убор, а в самого противника и невзначай убьет его, обязан выплатить кун — двести лошадей мзды — за убийство и еще сто лошадей за вину. Таким образом пусть будет решен спор между двумя городами!

Повелитель объявил свое решение. Враждующие стороны примолкли. Все понимали, перед каким выбором они оказались: или лишиться своего батыра, или получить большой кун. Благочестивые старики благоразумно воздержались от каких-либо советов и решить тяжбу предоставили самим батырам. Они по существу бросили к их ногам собственную судьбу, точно кость — собаке.

— Я не переступлю через обычай предков! — заявил Огул-Барс.

— Я готов испытать судьбу! — ответил Кипчакбай.

Собравшиеся молитвенно сложили ладони, благословили ханскую волю, поклялись выполнить условия спора и стали ждать исхода кровавого поединка.

Иланчик Кадырхан уже отправил в Испиджаб порученца доставить из темницы в ханский дворец несчастных влюбленных. Они прибыли в Отрар на двух гладкошерстных арабских верблюдах к обеду следующего дня. Верблюдов сопровождали четыре вооруженных сарбаза, которые никого близко не подпускали к балдахинам и ни разу не останавливались в дороге. Встретить опальных путников никто не осмелился.

По приказу повелителя Максуд опустил верблюдов, откинул полог балдахинов, поручил слугам провести молодых во дворец. Девушка сама спустилась на землю; лица она никому не показала и была вся одета в черное. Опустив голову, неровной походкой последовала она за слугой. Джигит, находившийся под другим балдахином, то и дело терял сознание. Слуги унесли его на кошме. Максуд, получив разрешение повелителя, поскакал во дворец ханши на окраине города за лекарем. Измученный пыткой, юноша нуждался в срочном лечении.

На дворцовой площади собрались истцы обеих сторон — старики, порученцы, коневоды, глашатаи. Все были насуплены, неприступны, мрачны; лица их были похожи на толченное в ступе просо, глаза опухли. Видно было, что ночь эти люди провели без сна. Они вышли на середину площади, встали друг против друга двумя

тесными кучками. Вскоре показались и батыры, обвешанные оружием. Родичи поспешили им навстречу, начали расспрашивать о здоровье.

Батыры были молчаливы, задумчивы. Хмурясь, стали они готовиться к необычному поединку. Сняли колчан, меч, кольчугу, латы. Слуги помогали им раздеваться. Оба остались в одном исподнем, с непокрытой головой. О мощи батыров свидетельствовали только огромные тупоносые, покрытые пылью сапоги, обши́тые изнутри войлоком.

Из ворот вышел повелитель. В руке он держал большой лук из красной таволги, отделанной рогом; на локте болтался длинный колчан, из которого торчали две стрелы с перьями на конце. Он подошел, внимательно оглядел батыров, выждал. Потом приказал: «Подать им войлочные мешки». Кто-то из ханской свиты услужливо поднес батырам по войлочному мешку: через плотный войлок стрела пронзит грудь не очень глубоко. Не надо обладать особой отвагой, чтобы стреляться в кольчуге и латах. На это способен каждый. А вот стоять под змеиноголовой стрелой в одной лишь войлочной накидке — на такое способен лишь готовый расстаться с жизнью человек. Некоторые не выдерживают такого испытания и отказываются от поединка, но Огул-Барс и Кипчакбай не дрогнули. Спокойно облачились они в войлок.

Толпа отхлынула. Один повелитель остался стоять на месте, чего-то ждал. Наконец со стороны дворца показался Максуд со свертком. Подошел, развязал сверток, достал головные уборы влюбленных. Кипчакбай надел войлочный колпак с белым отворотом, Огул-Барс — саукеле, украшенное перьями филина. Батыры встали перед повелителем, поклонились, выразили свою готовность к поединку.

Иланчик Кадырхан взял из колчана Максуда стрелу, сломал ее ровно посередине, сказал: «Кто выберет наконечник — тому стрелять первым». Он отвернулся, аккуратно сровнял обломки, сунул их под рукава так, чтобы только чуточку высовывались обломленные концы, и повернулся к батырам. Первым бросился тянуть Кипчакбай. Ему достался тупой конец, и батыр странно дернулся, потемнел лицом.

Повелитель подал лук и одну стрелу Огул-Барсу. Максуд отмерил восемьдесят шагов, и батыры напра-

вились к межевой черте. Для кипчакского боевого лука из красной упругой таволги, с тугой сыромятной тетивой восемьдесят шагов — расстояние небольшое. На таком расстоянии стоя обычно без труда поражают цель. Однако на этот раз предстояло более серьезное испытание. Надо было попасть не в противника, а в небольшой головной убор. Огул-Барс дошел до черты и круто повернулся. Кипчакбай, суровый и бесстрашный, уже стоял у барьера.

Огул-Барс наклонился, потер ладонь о землю, похлопал ею по голенищу. Он сосредоточенно обдумывал каждое движение. Кипчаки знают два вида лучников. Одних называют «коз-мерген», то есть стрелок с метким глазом. Такие обычно пускают стрелу, лишь долго и тщательно прицелившись. Других называют «кол-мерген», то есть стрелок с верной и чуткой рукой. Эти почти не целятся, у них развито чутье и хорошо поставлена рука. Им важно держать руки — левую на луке, правую на тетиве — на одном уровне, и стрела точно ложится в цель. Первые доверяют глазу, вторые — чутью. Огул-Барс относился ко второму виду лучников, был кол-мерген. Это-то и беспокоило его сейчас.

Огул-Барс выпрямился во весь рост, напрягся, изо всех сил натянул тетиву. Кончиком стрелы он точно нащупывал смутно белевший вдалеке войлочный колпак. Тревога не оставляла его, и он невольно опустил лук. Трудно и непривычно кол-мергену долго прицеливаться.

А иначе было нельзя. Зыбким пятном белел колпак на голове противника у межевой черты. Лоб у стрелявшего покрылся испариной, в висках покалывало, по лицу, казалось, ползла муха. Он второй раз уже натянул тетиву, поискал острым наконечником цель. Вот острие стрелы медленно поднялось по груди противника, дошло до горла, скользнуло по окаменевшему лицу, достигло уровня лба, поднялось еще на два пальца... Огул-Барс пустил стрелу.

Когда он через мгновение открыл глаза, войлочный колпак с белым отворотом валялся в пыли.

Свита батыра Огул-Барса, в ужасе затаившая дыхание, вдруг разом ликующе взревела, начала выкрикивать имена священных духов, восхвалять меткость и бесстрашие своего батыра. Слуги подбежали, взяли лук, стали концом чалмы вытирать ему пот и всячески угождать ошеломленному победителю.

Иланчик Кадырхан передал лук и вторую стрелу Кипчакбаю.

Кипчакбай не был ни коз-мергеном, ни кол-мергеном. Он был копейщиком и борцом-палваном, чьи лопатки еще не касались земли. Когда он яростно натянул тетиву, перед глазами его потемнело. «Стой!» — послышался голос повелителя. Кипчакбай послушно опустил лук, снял с тетивы змеиноголовую стрелу. «Подожди, батыр! Глаза твои налились кровью. Повремени немного...» — сказал Иланчик Кадырхан. Кипчакбай стоял, стараясь унять волнение, успокоить сердце. Он подумал о несчастном брате, который отныне лишался защиты, свободы и становился собственностью врага; он оплакивал юных влюбленных, ради любви своей презревших смерть. И он решил отомстить зараз за все беды и горести...

Повелитель Отрара подал знак продолжать поединок. Кипчакбай опять с размаха натянул тетиву, резко выпрямил спину, будто на всем скаку поднял с земли тушу козла. Батыру вдруг померещилось, будто он, припав к гриве коня, изготовился метнуть пику. Земля под ногами стремительно поплыла назад. Расстояние в восемьдесят шагов казалось бесконечно далеким, а девичья саукеле на макушке противника — едва заметной точкой в зыбком мареве. «Стой!» — вновь крикнул повелитель. Кипчакбай вздрогнул и едва не выпустил стрелу. Люди Огул-Барса подняли шум:

— Кипчакбай крови жаждет!

— Он хочет убить нашего батыра!

— У этого душегуба черные помыслы!

Кипчакбай тяжело дышал. Грудь его бурно вздымалась и опускалась под толстым войлоком. В ушах у него звенело, потели ладони. Он чуть расслабился, потер обе ладони о войлок, держа стрелу в зубах. Потом вновь наставил ее на тетиву, пристально глянул на противника. У Огул-Барса чуть дрогнуло колено. Видимо, он почуял свою гибель. Неумолимая смерть стояла от него в восьмидесяти шагах. Уже дважды она нацеливалась в его грудь. И оба раза остановил ее властный окрик повелителя. Но в третий раз никто ее не остановит. Стрела врага пронзит его насквозь. Месть батыра из рода дулат неотвратима. Огул-Барс это понял, и страх охватил его, но лишь на мгновение...

Лук натянулся до предела; казалось, вот-вот лопнет

сыромятная тетива. В полной тишине послышался скрип напряженного лука в руках батыра Кипчакбая. Стрела длиною почти в кулаш застыла, готовая к полету. Теперь Кипчакбай ясно увидел искаженное предсмертной судорогой лицо противника, мучительно расширенные глаза, застывшие в безысходной тоске. Но Кипчакбай не дрогнул. Острие стрелы осторожно поползло выше, выше и свинцово застыло на уровне густых, сросшихся бровей. И всем стало ясно, что именно в лоб, над переносьем угодит стрела батыра из города Тараза. Но никто не вскрикнул, не заступился. Никому не дано отвращать возмездия... Таков был обычай...

И вдруг Кипчакбай опустил лук. Он понял, что, убив Огул-Барса, не добьется ни славы, ни чести. Он только осрамит себя, осквернив древний обычай честного поединка, запятнает кровью свое имя и достоинство. Нет, он милостиво подарит жизнь противнику, признает себя побежденным, но не преступит обычая предков...

Широкими, стремительными шагами подошел к Кипчакбаю Огул-Барс, крепко обнял его. Так они и застыли, недавние кровные враги, в молчаливом объятии, грудь в грудь.

Подошел к ним и повелитель. Не предполагал он, что именно так кончится измерение на весах справедливости. Еще минуту назад он был угнетен и подавлен случившимся, а теперь словно тяжкий груз свалился с него. Черные мысли и предчувствия вдруг разом развеялись. Собравшиеся на дворцовой площади тоже только теперь пришли в себя. Тронулся лед ненависти и вражды. Все ликовали, шумели, смешавшись в одной толпе, стали обниматься в знак мира и прощения всех обид.

Решение поединка высказал Иланчик Кадырхан:

— Конец ссоре, батыры! Да процветает мир между вами! Вы не осрамили обычая предков и оказались достойными людской благодарности. Честь вам! Об остальном, надеюсь, скажете сами.

Огул-Барс потупился:

— Что я скажу? Нет в моей душе больше зла. Во имя благородства жертвую своей меткостью. Дарю Кипчакбаю право распоряжаться судьбой двух сбившихся с пути влюбленных. Его воля, как он с ними поступит!

И сердце Кипчакбая смягчилось:

— Из тупика мы оба нашли верную тропинку. Так пусть отныне не наши груди станут мишенью для наших стрел. Пусть они поражают только общих наших врагов!

Толпа, сопровождавшая двух славных батыров из Тараза и Испиджаба, дружно направилась к коновязи. Там батыры и их почтенные заступники на прощание грудь в грудь обнялись с повелителем. Возбужденные случившимся, они дали друг другу клятву пребывать отныне в дружбе и единстве назло недругам и во славу своих соплеменников.

6

«Мир и благодать до нашей встречи!»

Из Каракорума, что стоит в голубой степи Керулена, из столицы грозного кагана монголов Чингисхана выехала в страну Дешт-и-Кипчак новая группа послов с огромным караваном. На прощание Юсуф Канка, провожавший караван на расстояние трехдневного пути, сказал главному послу эти традиционные напутственные слова. Они, эти добрые слова, были на уме у всех четырехсот пятидесяти человек, отправившихся в долгий и опасный путь, чтобы сделаться свидетелями и участниками неведомых свершений. Ради какой цели тронулся в дорогу в тяжелую весеннюю распутицу столь громоздкий караван, знали только двое: сам великий каган и главный караван-баши Омар-ходжа. «Мир и благодать до нашей встречи!» Об этом неотступно думают караванщики, тоскуя по миру и родному краю, как любимая и верная жена — по мужу, находящемуся в походе, или как больной человек — по утешительным речам лекаря-табиба. Все помыслы в пути обычно о мирных, благодатных днях. О них мечтают, как обжора о вкусном блюде. А тишина и покой не так уж часто царили на круглой, как арбуз, земле. По Великому Шелковому пути пока еще мирно брели караваны купцов. Однако все явственнее чувствовалось ледяное, предгрозовое дыхание, что исходило от могучих волн утробно ревущего накануне бури океана. Тишина стояла обманчивая, подозрительная, и чуткое ухо улавливало это. Предчувствие грядущих страшных потрясений лишало батыров сна. И все казалось: Великий Шелковый путь

ждал вовсе не богатых купеческих караванов, а свирепых полчищ.

Загадочный, неуклюже большой караван, вышедший в такое глухое, смутное время из Каракорума, всерьез встревожил население, живущее вдоль Великого Шелкового пути. Пугал не столько сам большой караван, а спешка, с которой он двигался. Пятьсот верблюдов почти без передышки шли сначала на юг, потом свернули на запад, и уже через неделю дикая степь, с ковылем верблюдам по брюхо, сменилась унылой, пустынной равниной, по которой пролегал Шелковый путь.

Караван, богатый и красочный, преобразил неприглядный вид караванной дороги. Казалось, вдоль тусклого степного горизонта медленно двигался яркопламенный пожар. На ведущем дромадере и следующих за ним двух верблюдах смешанной породы мерно покачивались балдахины, отделанные серебром. В первом находилась, как говорят, нетронутая ветром юная монголка — жолбике — дорожная жена-любовница главного караван-баши. В остальных двух балдахинах ехали служанки, тоже красивые, расторопные молодки, из тех, о которых обычно говорят: под подолом вихрь гуляет.

В пути, пока караван не останавливается на привал, женщин почти никто не видит. Серые верблюды-метисы, похожие на камни-валуны, бредут неторопливо, враскачку, монотонным шагом, ровной бесконечной цепью. На каждом верблюде по два громадных тюка, а что в них — неизвестно. Одно ясно: тяжела поклажа, так как у животных подгибаются ноги. Тюки укрыты ворсистыми коврами. Между верблюдами то здесь, то там виднеются обветренные, насквозь пропыленные погонщики, извозчики, повара, носильщики, слуги и рабы.

Главный караван-баши Омар-ходжа родом из Отрара. Бесшабашный, отчаянный, он прошел через мытарства судьбы, пока не втерся наконец в доверие к самому кагану. Он едет впереди на расстоянии полета стрелы. Под ним пышнохвостый, длинногривый кипчакский скакун, который так и норовит оторваться от покорно и уныло бредущих за ним ленивых животных. Хозяин с трудом сдерживает скакуна. Омар рослый, статный и внушительный на вид. Лет ему, вероятно, около сорока. Его красивое мужественное лицо оттеняет белая шелковая чалма, под ней выступают широкий чистый лоб и густые черные брови. Нос прямой, бородка острая,

глаза с живым блеском. И в поступках этот человек тверд и резок. Любит и ненавидит он открыто, искренне, страстно.

Справа за главным караван-баши держится дородный Хаммаль Мераги. Он похож на пень и поворачивается только всем туловищем. Человек это грубый и вздорный. Многих людей за свою жизнь он взбаламутил, много разных пакостей сделал. По слухам, он служил у четырех правителей, девять раз отправлялся послом в разные страны и погубил в степи нескольких именитых батыров. Откуда он родом, из какого улуса — никто не знает. Сам Хаммаль Мераги предпочитает об этом не говорить. Однако он хвастлив и высокомерен. О таких бахвалах кипчаки говорят: «У него под колпаком можно лепешку испечь». Зато в походах он действительно незаменим: из любого положения неизменно находит выход — сто человек за пояс заткнет. По одной посадке всадника способен издали точно определить его намерения; по пыли на придорожной траве безошибочно угадает, когда и кто здесь проезжал; по лету орла может узнать, откуда дует ветер; хорошее место для стоянки предчувствует за день. Истинный матерый степной волк, знающий все лощины-овраги, долины-перевалы. Не однажды рыскал он вдоль Великого Шелкового пути по своим тайным делам и знает здесь все и вся.

За ними, рядом с караваном, едет на вороном иноходце Пакыриддин Дизеки. По степному обычаю, он едет налегке: мягкие сафьяновые сапоги, кожаные шаровары, скромный халат, мерлушковая шапка-борик. Сразу видно, что это очень аккуратный и чистоплотный человек. В кармане он носит постоянно зубочистку, выточенную из можжевельника. Пакыриддин Дизеки — начитанный, вежливый, с приятной речью, на щеках его играет смуглый румянец. Он не расстается с коржуном, в котором хранит бумагу, перья, чернильницу. Давно уже пишет он большую книгу о Шелковом пути. Пригласили его в караван писцом из города меркитов Хара-Хото. С утра до вечера мурлычет он под нос нескончаемые бейты, наигрывает на сазе, прикрывая глаза, и в такт однообразно, ровно потрухивает под ним конь.

Батыр Амин ад-дин Хереви, погромыхивая оружием и доспехами, держится посредине каравана. По проис-

хождению он таджик, по вере мусульманин. Лет, должно быть, ему под тридцать. В стрельбе из лука и метании копья нет ему равных в караване. Он главная опора и защита путников. Отважный до безумия, не побоится один схлестнуться с десятком врагов, и, если рассвирепеет, сладу с ним нет. Из-под железного шлема белеет по-юношески крепкая гладкая шея. Пока, однако, доедет до Отрара, она у него почернеет, как опаленная огнем кошма.

Стоит весенняя теплынь. С юга дует мягкий ветерок, слизывая остатки снега на северных склонах холмов. Воздух чист и приятен, как утреннее молоко. Вдали низко над землей ползут сплошняком лохматые грозовые тучи, держат путь на север. Дорога упруго податлива, словно ивовые прутья, замоченные в воде. Верблюды шлепают по глинистому месиву, кони порой по самые щетки утопают в грязи.

Шелковый путь похож на древнее сказание. О многом порасскажет, поведает дорога чуткому путнику. Даже левая и правая ее обочины заметно отличаются друг от друга. Северная сторона более убита, вытоптана до белесой пыли. Это след множества караванов, шедших на запад. Значит, движение в ту сторону не прекращается. Зато южная сторона дороги постепенно зарастает травой. Это говорит о том, что из Хорезма и страны Дешт-и-Кипчак, из западных стран караваны идут теперь редко. Даже по облику караванной тропы нетрудно судить о ставших ныне шаткими связях между западом и востоком. Исхоженная, изъезженная тропа, извиваясь змеей, исчезает где-то за неведомой далью. Скорей всего, она походит теперь не на змею, а на ее жалкие останки.

Бездыханное тело этой дороги-змеи обвивало склоны холмов и перевалов, устремлялось к горизонту, петляя вдоль гор и рек. Она то исчезала в барханах, то выбиралась на такыры и тогда шла напрямик до мглистой черты, словно шальной вихрь, погнавшийся за стадом быстроногих сайгаков. А то ныряла в непроходимые заросли и тогда металась из стороны в сторону, стремясь скорее выбраться на простор. Иногда дорога нежданно-негаданно исчезала средь бела дня. В таких случаях караванщики высматривали древние намогильные камни-стояки на вершинах холмов. В пустынной степи, где не было гор или других особых примет, издревле ста-

вились каменные столбы или бабы-балбалы. Особые мастера-каменотесы работали над ними, и по этим одиноким столбам караваны определяли путь в бескрайних степях и пустынях. Каменные бабы — безмолвное наследие предков, завещанное потомкам.

Великий Шелковый путь измеряют обычно «дневными переходами», или фарсангами. Бывалые путешественники, зная огромность его расстояния, стараются не задерживаться на стоянках, поднимаются на рассвете, приводят с выпаса верблюдов, опускают их на колени, начинают вьючить. Потом, покончив с поклажей, усаживаются возле шалаша и едят на дорогу — «усмиряют урчащее брюхо». Караван-баши Омар-ходжа завтракает со своими приближенными в сторонке за отдельным дастарханом. Из объемистого бурдюка с гладкой шелковистой шерстинкой, как у выдры в осеннюю пору, пьют они кумыс из молока кобылицы-трехлетки, закусывают вяленым мясом, обсасывают янтарно-жирный конский подгривок. Жолбике — дорожная жена — и служанки, привыкшие днем отсыпаться после ночных любовных утех, сидят за дастарханом сонные, вялые, томные и нехотя грызут сушеный сыр, слегка размоченный в свежем кобыльем молоке. Погонщики довольствуются густым, перебродившим кумысом, жестким куртом — сушеным сыром, пьют из кожаного мешка холодную воду. Чистая родниковая вода на свежем воздухе — тот же целебный напиток.

Потом длинный, как журавлиная цепь, караван вновь трогается в путь. Солнце упорно карабкается вверх, начинает понемногу припекать, сначала — затылок, после — темя, а когда застревает в зените, по вискам струится пот, под брюхом у верблюдов повисают клочья пены, на войлочных шляпах погонщиков играет, струясь, причудливое марево. В глазах темнеет, в ушах звенит от нестерпимой тишины. В воздухе не ощущается ни единого дуновения. Даже шелковый полог серебристых балдахинов не шелохнется. Но и в полуденный зной караван не позволит себе передышки. Говорят, от жары у верблюдов стягиваются жилы. Развьючивать верблюдов в зной — самое неблагодарное дело. Оно выматывает погонщиков до полного изнеможения. Поэтому бывалые караванщики останавливаются на привал, лишь когда спадает жара. Отпускают тогда верблюдов на выпас, а сами с наслаждением растягиваются на

траве, расслабляют мышцы, стараются немного вздремнуть, забыть нудную, изнурительную езду.

Но забыться — трудно. Вспоминается далекий родной край, и тоска подкрадывается к сердцу. «Эх, глупец я...— думает путник.— И куда меня только шайтан понес? Другие ведь и дома живут, среди детишек, под боком у жены. И не только живут, а процветают. Ходят вразвалочку, довольные, точно нажравшаяся ворона. И спят спокойно, не дрожат, как мы, всю ночь, обхватив колени, не зная, что предстоит завтра. Мы, бедные погонщики, только горе мыкаем, мотаемся по свету, как бродячие собаки, робко заглядывая в глаза каждому встречному-поперечному. До хрипоты ругаемся, будто продаем отцовское наследство, бьемся с ворами-разбойниками, не щадя жизни, терпим нечеловеческие лишения и беды. И ради чего? И месяц в пути, и год в пути, изо дня в день одно и то же, все качаешься, взад-вперед, взад-вперед, и спишь — качаешься, и ешь — качаешься, и поешь — качаешься, и думаешь — качаешься. От такой унылой езды и мечта уже не взмывает ввысь, словно вольный орел, а едва трепыхается подрезанными крыльями над землей. Не мечта это вовсе, а повседневный тоскливый аляуляй. Э, пропади все пропадом!

Вспоминается бедному погонщику, как пришлось однажды краснеть перед женой. «Слушай, дорогой,— сказала она на другой день, как он вернулся из дальнего странствия. — Ты что все ерзаешь, словно заморенный верблюд?!» И только тогда он заметил, что и стоя, и сидя, и лежа в постели с женой все время дергается, ерзает, будто все еще едет на верблюде. Не на шутку встревожился он тогда. Что за жизнь такая? Одно мелкое ерзанье. Лучше лепить из глины собачьи конуры, чем быть погонщиком. И думает он, что, если будет суждено вернуться домой, никогда и близко к каравану больше не подойдет. Хватит! Наездился! Убежит куда глаза глядят...

Так размышляет во время короткого привала усталый человек. Но тут вдруг раздается властный окрик караван-баши, и погонщик вскакивает, взваливает на плечи громоздкий тюк и трусит к верблюду. Он соображать не соображает толком, что делает. Кажется, и руки, и спина, и ноги его принадлежат караван-баши, ибо подчиняются только его воле. Сам собой уже не вла-

деет человек: он суетится, спешит как заведенный и рад бы остановиться, да уже не может, не в силах, пока не свяжет все тюки и не навьючит верблюдов. Лишь потом, когда караван вытянется длинной цепью по нескончаемой дороге, погонщик приходит в себя, цепляется за верблюжью шею, с трудом залезает, устраивается между горбами и — ух, аллах! — переводит дыхание. По сравнению с погонщиком жизнь жолбике — дорожной жены — и служанок кажется раем. Весь долгий день дремлют они под размеренную качку в балдахинах. Просыпаются лишь на стоянках, к ночи. Оглянутся по сторонам опухшими глазами, пообедают поплотнее и начинают причесываться, прихорашиваться. У них одна цель — понравиться своим хозяевам, угодить их желаниям и прихоти. Если хозяин каравана насытится любовью жолбике, или долгая дорога вымотает ее, или заболеет она, не выдержав трудного пути, ее могут запросто продать первому встречному. Тогда нет печальнее ее судьбы. Когда-нибудь ее за ненадобностью и вовсе оставят в степи...

Когда Шелковый путь привел к Семиречью, начались бесконечные тяготы. Реки, разветвленные, как жилы на руках, бурные и норовистые, встречались на каждом шагу. Приходилось долго ехать в поисках брода. Это отнимало много сил и времени. К тому же прибрежные тугаи кишмя кишели тиграми, барсами, кабанами, и ночами надо было остерегаться нашествия хищников. Отбившихся верблюдов рвали тигры. Не хотелось главному караван-баши привлекать и внимание населения, обитавшего в этих краях. Ведь сильной вооруженной охраны не было, а разбойники могли, конечно, позариться на чужеземный богатый караван.

Учитывая все это, Омар-ходжа повел караван окружной дорогой, вдоль левого берега реки Или, через безлюдные холмы и песчаные дюны. Здесь степь перемежалась с пустыней, и мертвое пространство это тянулось до знаменитых городов у поймы реки Талас — Бала-сагин, Орта-сагин и Бас-сагин.

Когда до Бас-сагина оставалось несколько фарсангов, началась свирепая песчаная буря. Ветер обрушился со стороны Акрашского моря [1]. В одно мгновение все

[1] Так называли тогда озеро Балхаш.

вокруг перемешалось, загудело, погрузилось во мрак. Верблюды встали, раскорячив ноги, и утробно ревели, беспокойно мотали головами. По приказу караван-баши их согнали в круг и опустили на колени. В середине круга поставили балдахины, рядом привязали лошадей, по краям сложили тюки. В суматохе караванщики не заметили, как полил вдруг ливень. Что-то тяжелое стало ударять по головам, и все разом подумали: град! Омар-ходжа снял с чалмы какую-то скользкую, мокрую тварь и с отвращением отшвырнул прочь, но тут же она вновь шлепнула его по щекам. Дурными голосами завопили женщины под балдахинами. Всполошились люди, задрожали, заметались лошади, страх охватил караван.

Но Амин ад-дин Хереви не зря слыл батыром. Он первым распознал беду, и не только распознал, а даже раздавил несколько слизистых тварей. «Омеке! — воскликнул он, обращаясь к караван-баши,— лягушки падают с неба!» Мужчины тут же условились не пугать и без того встревоженный люд. Они устроились под боком могучего дромадера, но и здесь полно было лягушек. Тогда они нашли укромное местечко рядом с ведущим верблюдом. Омар-ходжа не стал скрывать свои опасения: как бы не к худу этот лягушачий дождь. Батыр начал успокаивать: «Ничего, Омеке, мы ведь сами решились идти в столь рискованный путь. Значит, надо терпеть. Но не пора ли принести жертву Тэнгри? Может, заколем одного верблюда? И животные и люди измучены. Разве вам, Омеке, приходилось когда-нибудь слышать про такое? Нет, Омеке! Не будет нам удачи. Может, видели: вчера в сумерках нашу дорогу перешел тигр. Да, надо принести жертву, и все образуется!»

Ветер швырял во мрак их слова. А лягушачий дождь продолжался столько времени, сколько нужно для того, чтобы вскипятить молоко. Вслед за ливнем пришел в движение песок, вой ветра усилился, заглушив крики и вопли людей. Низко, над самой головой, сплошняком пронеслись последние тучи, и буря так же неожиданно улеглась, как и началась. На западе показалось зловещее, багровое солнце, похожее на окровавленный щит батыра... Повисело-повисело над горизонтом и вдруг сразу сорвалось в пучину.

Омар-ходжа только теперь заметил: лица у всех были искажены страхом, глаза расширились, скулы обо-

стрились. Казалось, в глазах у людей застыл жуткий отблеск кроваво-красного солнца. Караван-баши прошептал про себя молитву и приказал спешно вьючить верблюдов. Ему хотелось скорее, пока не наступили сумерки, выбраться из этого проклятого зыбкого места.

Красотки под балдахинами лежали без памяти. Они очнулись лишь тогда, когда караван уже тронулся в путь. Придя в себя, они принялись стонать, охать, звать на помощь. Омар-ходжа, однако, не откликнулся на их зов, а другие люди без его разрешения не осмелились совать головы под балдахины. Вьючили животных плохо, наспех, и тюки то и дело спадали; верблюды еле передвигали ноги. Глаза их были засыпаны песком. Погонщики двигались как во сне. Главному караван-баши стало совершенно ясно, что до города племени Канглы — Бас-сагина нынче каравану не добраться. Досада и растерянность охватили его. Он беспокоился, как бы не напали на них грабители с большой дороги.

Месяц был на исходе, значит, ночь предстояла темная. Продолжать путь — угробить верблюдов, а тут еще начались непроходимые саксаульные заросли. Надо было остановиться на ночлег. Еле нашли более или менее открытую площадку. Все радовались, что удалились от того места, где на них обрушился лягушачий ливень. Вновь опустили и развьючили верблюдов. Посредине площадки решили развести огонь. Одного погонщика отправили за саксаулом. Это был как раз тот самый, вконец измученный бедняга, который мечтал скорее вернуться домой и навсегда расстаться с тяжелой долей караванщика. Поистине: несчастливому всегда не везет. Он отошел на несколько шагов от остальных и начал с треском ломать-крошить саксаул. И вдруг раздался его отчаянный вопль. Товарищи бросились к нему. Голос погонщика — мучительный, страдающий — донесся словно из-под земли:

— Люди, спаси-и-те!.. Какая-то тварь сдавила мне грудь...

Потом крики несчастного оборвались. Другие погонщики намотали на палку паклю, зажгли факел, осторожно подобрались к тому месту, где в судорогах корчился их товарищ.

— Ой, не подходите, не подходите...— хрипел тот.— При вашем движении сильнее сжимается обруч. Задыхаю-у-усь...

Погонщик снова умолк. Никакой твари возле него не было видно.

— Позовите почтенного Пакыриддина.

— Пусть он посмотрит.

— Как-никак потомок святого. Да буду для него жертвой!

Пришел Пакыриддин, подоткнув полы чапана на поясной платок. Чуть поодаль темнела чащоба саксаула. Переплетенные корявые корни торчали из-под земли. Там лежал без движения погонщик, похожий на растянутую на колышках шкуру. Мудрый писец попросил поднять факел повыше. Он передернулся, увидев тускло блестевшие в отблесках пламени кольца, в несколько раз обвившие тело несчастного погонщика. Пакыриддин с трудом разжал губы:

— Здесь обиталище змей... Бедный джигит нарвался на хозяина — громадного удава. Убить его можно, лишь поразив в голову.

— Астафиралла! А где она, голова чудовища?!

— И то хорошо, что не жалит.

— Давайте больше огня, окружим гада.

Из кустов послышался слабый голос:

— Ради аллаха не приближайтесь! Да-а-а-вит...

Пакыриддин остановил караванщиков:

— Не подходите! А то задушит его невзначай.

Стали думать, как спасти товарища, попавшего в беду. Поджечь саксаул? Но вместе с удавом может сгореть и погонщик. Амин ад-дин Хереви вскинул было лук, но покачал головой и снял стрелу с тетивы.

— Видна только часть удава. Стрела пронзит его и угодит в грудь джигита. Да и не убьешь такую живучую тварь, если не попадешь в голову,— сказал он.

Начали приглядываться: где же она, голова? Но стоило приблизиться на шаг-другой, как погонщик начинал хрипеть в предсмертных муках:

— Не подходите... Душит, душит!..

Вновь остановились, озадаченные, растерянные. Пакыриддин дал совет:

— Подождем до рассвета. Ночью нам с удавом не справиться.

Караванщики ушли к своим верблюдам, оставив товарища на ночь в тисках удава под саксаулом, однако

переговаривались с ним до полуночи. Погонщик говорил, что страшный обруч немного разжался и ему легче стало дышать. Он вспоминал своих детей, оставшихся сиротами при живом отце, говорил о жене, напрасно дожидающейся мужа, жаловался на свою судьбу, на печальную долю вечного скитальца.

Пакыриддин крепился из последних сил, стараясь не уснуть, но долгая и опасная дорога, бесконечные испытания и страхи все же вымотали его, и он перед рассветом забылся в коротком, тревожном сне. Приснилось ему, будто все вокруг замерло. Не фыркали лошади, не жевали свою жвачку верблюды, не слышно было дыхания сморенных усталостью погонщиков. Царила зловещая тишина, и казалось, остался он один во всем этом необъятном, выморочном мире. Сердце от ужаса подкатывалось к горлу, голос исчез, страх сковал его. Задыхаясь, Пакыриддин проснулся, оторвал отяжелевшую голову от седла, прислушался.

Где-то очень далеко трезвонил жаворонок, но вскоре и он умолк. Пакыриддин встал, огляделся. Действительно, вокруг вповалку спали крепким зоревым сном караванщики. Шелковый полог балдахинов был опущен и тоже не шевелился. Все замерло — ни шороха, ни дуновения. Пакыриддин подбежал к саксаулу, где мучился скованный удавом погонщик. Несчастный, еще недавно громко жаловавшийся на судьбу, теперь лежал тихий, в странно застывшей, вытянутой позе. В предчувствии недоброго сжалось сердце старого мудреца. Он подошел ближе, уже не думая об опасности, и опешил. Удав бесследно исчез, а погонщик был недвижен. Пакыриддин поднял его руку, чтобы пощупать биение крови в жилах, и увидел под рукавом чапана большую дыру. Вон где, оказывается, спрятал голову удав, защищаясь от острой стрелы Амин ад-дина!

Караванщики проснулись, переполошились. Убедившись в случившемся, они в ужасе схватились за воротЫ. Вспомнили ночной разговор горемыки и прослезились, кто-то запричитал в голос, и поплыл над дикими зарослями поречья скорбный плач. Со всеми возможными в пути почестями похоронили бесславно погибшего караванщика. На Великом Шелковом пути появился еще один неведомый холмик. И будет он привлекать взор и навевать тягостные думы, пока знойные ветры и пустынные ливни не сровняют его с землей...

Город Бас-сагин оказался на расстоянии конных скачек. Пока караван вытянулся привычной журавлиной цепью и последние верблюды вышли на большую дорогу, головная часть уже ликовала, увидев издали белевшие на солнце, словно чайки на отмели, торжественные купола. Город, залитый лучами утреннего солнца, казался особенно красив. Двойные крепостные стены окружали его. Внешняя, правда, была обыкновенным древним глиняным дувалом. Зато вторая оказалась из белого жженого кирпича и очень высокая. В разных местах стены зияли бойницы. Возле ворот виднелись на ней темные пятна, пробоины, вмятины, трещины — следы кровавых побоищ.

Омар-ходжа, стоя у обочины дороги вблизи городских ворот, взирал на медленно проплывавший караван, поджидая его конец. К нему подъехал Амин ад-дин Хереви. Осунулся, потемнел лицом за эту ночь батыр. Караван-баши задал ему неожиданный вопрос:

— Ты смог бы сразить стрелой с такого вот расстояния вот того сторожевого на вышке?

Батыр внимательно пригляделся.

— Монгольская стрела — крылата. Долетит-то она долетит. Но пробить кольчугу не сможет. Другое дело — кипчакский лук. Стрела, пущенная из него, продырявит этого человека насквозь!

Батыр озадаченно смотрел на караван-баши, не понимая смысла вопроса.

Посольский караван, струясь, точно четки в руках правоверного, вступил в город и остановился возле караван-сарая в северной его части. Началась обычная для привалов суматоха. Здесь, на площади, за громадной оградой, шумело-гудело беспокойное племя путешественников. Вдоль каменистого ручья на расстеленных паласах сидел, беседовал, потягивал чай, лакомился восточными яствами пестрый люд. Другие хмуро — будто смертельно обиделись на весь город — вьючили верблюдов, связывали тюки, озабоченно готовились к дальней дороге. Большую часть площади занимал базар. Иноземные купцы, развязав тюки, разложили свои товары. Чего только здесь не было — глаза разбегались! Толпа восхищенно разглядывала пестрые шелка, плюш, бархат, атлас, диковинные прозрачные ткани, золотую и серебряную посуду, ювелирные изделия из яхонта, сапфира, коралла, топаза и других невиданных в

этих краях драгоценных камней. Даже обозревать все это доставляло удовольствие.

Разнаряженные, самодовольные купцы, удачно продав мускулистого и сильного, как дромадер, раба или легкую, как перышко филина, рабыню-девственницу, важно прохаживались, насытившимся волком оглядываясь вокруг, гуляли между бесчисленными караванами. Найдя в толпе пройдоху-делдала, купец перемигивался с ним, переглядывался, перешептывался. Договорившись наконец, оба кивали головами, улыбались, били по рукам. Бывало, что из-за нескольких дирхемов дело расстраивалось. Тогда делдал и купец были готовы испепелить друг друга, съесть живьем, с потрохами. Из их ртов исторгались цветистые ругательства и проклятия.

Омар-ходжа отправился вместе с Хаммалем Мераги к правителю города для принятого подношения даров. Такова была традиция. Именитые, уважающие себя купцы и путешественники, знающие и почитающие к тому же добрые обычаи, первым долгом наносят визит городскому начальнику. Идут, разумеется, не с пустыми руками. Добившись приема, ведут почтительные, благоразумные речи, обязательно покажутся перед местными почтенными, родовитыми аксакалами и именитыми людьми. Лишь после этого можно покинуть город с честью и почетом. Жадного караван-баши, не подносившего достойного дара, правитель города презирает и ненавидит. А если не заручишься благосклонностью наместника, не будет тебе в пути удачи: то тюк по дороге развяжется, то верблюды заупрямятся, то пристанут к каравану какие-то подозрительные бродяги, предлагающие посостязаться в ловкости и силе, а там, глядишь, и ограбят. Зная это, Омар-ходжа решил подарить правителю Бас-сагина в наложницы свою юную монголку-жолбике, походную жену. Кто знает, может быть, когда сорвут с нее покрывало и правитель увидит луноликую красавицу, заиграет в нем кровь и облизнет он в радости свои губы. Ведь чьи-то объедки — для кого-то лакомство. Ему же, Омар-ходже, надоела жолбике. К тому же то ли от усталости, то ли со страху появилась у нее — после ночного события в тугаях Или — странная болезнь. Ночью, едва всходила луна, жолбике поднималась с постели, взбиралась на верблюда и кружила вокруг стоянки до захода луны. К утру она

возвращалась в балдахин и ложилась как ни в чем не бывало. Кому нужна такая женщина? И Омар-ходжа решил избавиться от нее еще до новолуния. Не успели погонщики опустить верблюдов, как он повел пышногрудую красотку к наместнику Бас-сагина.

Солнце уже клонилось к западу, когда Омар-ходжа вернулся в караван-сарай. Пай-пай, как он нализался крепкой бузы, настоянной на просе! Аж раздулся весь, лицом побагровел, языком еле ворочал, с икотой справиться не мог. Пришел и с ходу приказал немедля собираться в путь. Сразу всполошились все, засуетились.

Пакыриддин Дизеки только устроился было в укромном уголке, чтобы поскрипеть пером, описать свои дорожные впечатления, и вот бросай теперь все и опять ерзай в опостылевшем седле. Ну как тут не досадовать! И погонщики осунулись, шеи у них сделались с рукоять камчи, по трое суток по-человечески не спят. Их придется теперь привязывать к верблюжьим горбам, иначе свалятся, не в силах сладить со сном. Повар, накормив караванщиков, сам принялся было за трапезу, но тут налетел на него караван-баши. Орет: давай да давай! А почему бы не остановиться на день-другой в городе, как все порядочные путешественники, дать верблюдам передышку, а людям — выспаться? Так нет, все назло делает.

Повару при караване особенно приходится трудно. Весь день как проклятый жарится в пекле, а когда солнце повернет к западу, на степь спускается спасительная прохлада и караван идет ходко, вдруг объявляется привал. А на привале все та же суета. «Эй, отгони верблюдов! Эй, пригони! Разведи костер! Чтоб всю ночь горел огонь!.. Выставь охрану! Гляди, чтобы не дрыхли! Отправь дозорных! Проведай дорогу! Свари ужин! Согрей воду для омовения! Расстели молитвенный коврик! Подай кувшин! За верблюдами погляди!» С ума можно сойти от этих бесконечных нудных приказов.

Люди уже ничего не соображают. Спросишь: «Где твои уши?» — глаза показывают. На ночь глядя караван-баши отправляется к своей зазнобе под балдахин. Там затевает такую возню, что кони ушами стригут и в испуге шарахаются. Вокруг люди, а он, отгородившись шелковым пологом, любовной утехе предается. Никакого стыда! Пакыриддин Дизеки, живо представив все это, вконец разозлился и горестно подумал: «Какой

дьявол заставил меня сопровождать такого самодура?!» Обо всем этом он твердо решил поговорить с караван-баши.

— Уа, батыр, опомнись! — сказал он.— Солнце вот-вот зайдет. А путь тяжкий, впереди Таласские горы. Караван измучен и не сможет преодолеть перевал. Погонщики еле на ногах держатся, у людей глаза слипаются...

— Ничего, выспятся в пути на верблюжьих горбах. Дорога длинная, а времени мало.

— Враг, что ли, за нами гонится? Или вода заливает город?

— А тебе какое дело?! Держи себе под мышкой свое перо и бумагу да помалкивай. Не то отрублю твою голову-тыкву и положу тебе же в коржун!

Что же, приходится мудрецу скрепя сердце смириться с судьбой. Он понял: никакими доводами не убедишь упрямца. А отрубить мечом чью-нибудь голову для него проще, чем выпить пиалу чая. Сказал — все! Лучше с ним не спорить!

Пыхтя, покрякивая, караванщики вновь погрузили тюки, связали поводья верблюдов и выехали на караванную дорогу. Бескрайняя долина междуречья Жетысу словно проглотила одинокий усталый караван. Великий Шелковый путь здесь был еле заметен. Только находчивость Хаммаля Мераги не позволяла им сбиться с дороги. Ехали спешно. Никто не догадывался, почему Омар-ходжа так торопит караван. Однако понимали: неспроста. Караван-баши то и дело оглядывался, рявкал: «Эй! Кто свалится с верблюда — зарублю!» Говорил он и другие грозные и страшные слова.

Ученый гулам Пакыриддин Дизеки поневоле следовал за караваном. Можно было, конечно, разругаться и расстаться навеки с крикливым караван-баши. Но спохватился мудрец, вспомнил детей, оставшихся далеко, на расстоянии месячного пути, убоялся их сиротских слез. Разве спасешься от гнева грозного Чингисхана, который даже такого смелого и сильного джигита, как Омар-ходжа, лишил родной земли и подчинил своей воле?! Нет такой лощины на земле, где бы можно укрыться от кагана. Ох и длинен же его курук! Закинет на шею петлю, приволочет к себе и допрос учинит. «А ну, мой верный слуга, ответь: почему ты решил предать меня?!» Разве подлый Омар-ходжа заступится тогда? О, наоборот! Он будет

злорадствовать и толкать тебя в пасть тигра-людоеда. Вот этого и опасается больше всего Пакыриддин. За строптивость отца дорого заплатят невинные дети, резвящиеся сейчас на пыльных улочках Хара-Хото.

Охваченный грустными думами, мудрец и не заметил, как караван подошел к перевалу. Нелегко было идти верблюдам по узкой и крутой горной тропинке. Слева высились дремучие скалы, справа зияла бездонная пропасть. Один неточный шаг, и мигом очутишься на том свете. Омар-ходжа приказал проводить здесь верблюдов каждого по отдельности. За спиной их всплыл месяц, и кстати. Иначе ничего нельзя было бы разглядеть под ногами. Камни взмокли от ночной сырости. Пакыриддин это чувствовал, прикоснувшись ладонью к скале. Теперь, что бы ни случилось, надо было держаться в хвосте у переднего верблюда. Если чуточку замешкаешься или глянешь невзначай в черную пропасть — достанутся твои кости воронам на поживу. И тут сказалась вдруг застарелая простудная хворь. Колени Пакыриддина противно задрожали, он теперь еле переставлял ноги. Было слышно надсадное дыхание идущего впереди погонщика. Тому и вовсе было плохо. Вскоре бедняга начал стонать. Сзади, надрываясь, кричал Омар-ходжа: «Зарублю!» Видно, силы погонщика были уже на пределе. Он вдруг отчаянно завопил:

— Ну и руби! Руби-и-и-и!

— Зарублю-у! — грозно доносилось сзади.

— Руби! Проклятия твоему отцу!.. Провались такая собачья жизнь!..

Караван остановился. Он растянулся по узкой тропинке, карабкавшейся к вершине перевала, и пробиться к отчаявшемуся погонщику Омар-ходжа при всем своем желании не мог. Он неистовствовал, пылал от злости, изрыгал всевозможные проклятья и ругань, но ничего не помогало. Погонщик не трогался с места. Эдак можно было загубить весь караван. Омар-ходжа, с трудом уняв свой гнев, попробовал утешить, успокоить погонщика лаской, обещаниями. Все было напрасно. Теперь и главного караван-баши охватило отчаяние.

— У, шакалы! Твари бестолковые, без мозгов в голове! Я тут жизнью рискую: золотую свою голову на глиняный горшок из-за вас меняю, собачье отродье! Ничего в делах не соображаете, пока не ткнут вас шилом в зад. Давно бы кровь вашу поганую выпустили из жил, если

бы не увел я вас поспешно из этого проклятого города Канглы. Поймите: кун ваш давно оплачен. Околеете — никто и медного динара за вас не даст. Нельзя нам останавливаться до самого Отрара! Поняли вы, щенки от слепой суки?! Попробуйте не исполнить волю кагана, никто никогда больше не ступит на родную землю!

Караван нехотя двинулся дальше. Однако не горькие слова Омара-ходжи подстегнули его. Выручил Пакыриддин Дизеки. Он пробрался к погонщику, плакавшему, как малое дитя, подсел к нему, поднял его голову к небу. В остекленевших глазах его мудрец увидел пустоту и скорбь обреченного. Такое выражение встречается у безнадежно больного или в тускнеющих зрачках смертельно раненного воина. Пакыриддин явственно увидел в глазах погонщика смерть в образе свирепого дракона, двуглавого душегуба. Мудрец ужаснулся. Он говорил ласковые, утешительные слова, приподнял под руку погонщика, поддержал под локоть. Потом осторожно подвел его к переднему верблюду и подал ему повод, словно спасительную нить.

Караван благополучно миновал опасный горный перевал и остановился на плоской вершине, открытой всем ветрам. Гнев Омара-ходжи, должно быть, развеялся. Никого он не зарубил и не зарезал; приказал опустить и развьючить верблюдов, а сам, закутавшись потеплее, улегся в затишье. Караванщики мерзли всю ночь напролет. Люди были голодные, обессиленные, измученные, а здесь, на вершине, дул промозглый весенний ветер. Даже терпеливые верблюды и те начали выказывать беспокойство. Лошади храпели, ржали, рвали поводья. Еле дождались рассвета и снова тронулись в путь.

Дорога опускалась в голубую долину. В лучах утреннего солнца неописуемо красивыми казались плоскогорье, бугры, холмы и сливающаяся с тонкой линией горизонта равнинная степь. Картина величавого простора поразила и восхитила Пакыриддина. Он никогда не думал, не предполагал, что так красива кипчакская земля. Казалось, само солнце было очаровано этим первозданным дивом и, любуясь, скользило над землей. То ли марево, то ли миражи плыли-зыбились над необъятным пространством, а на самом деле ни то ни другое — истинная, нетронутая красота царила здесь во всем своем величии и блеске. Она была всюду, эта красота: и в про-

зрачной говорливой речке, ртутью скользившей по камням; и в чистом, распиравшем грудь горном воздухе; и в плотной, по-весеннему сочной траве, ворсистым бархатом устилавшей равнину; и в белесых, лохматых тучках, вольно мчавшихся в синеве неба; и в торчавших то здесь, то там молчаливых каменных столбах, похожих на почтенного аульного старца, вышедшего встречать дорогого гостя.

Необъяснимая, таинственная, меняющаяся красота заключалась и в излучистой бесконечной дороге — Великом Шелковом пути, ведущем в славный город кипчаков Отрар. Чем больше едешь по этой дороге, тем ближе, родней, желанней становится она, словно верный друг, которому можно доверять сокровенные тайны. Неспроста караванщики, испытанные путники тоскуют об этой дороге, забывая все невзгоды, и видят ее во сне. Именно на Великом Шелковом пути сполна познаешь и красоту природы, и величие всего сущего, и святость родного края. Вот почему, возвращаясь из далеких странствий и сворачивая на тропинку к родному очагу, усталый путник слезает с коня и со слезами благодарности и восхищения припадает грудью к Великой дороге, на которой он — наряду с лишениями и горестями — обрел высшее человеческое счастье. Вот почему купец, долгое время изнывавший за оградой родного дома, в конце концов с радостью примыкает к какому-нибудь каравану и, выехав на дорогу, с удовольствием спешится, чтобы прикоснуться ногами к теплому пухляку. Много неведомых тайн, неспетых песен, нерассказанных преданий знает Великая дорога. Бывалый путник, много повидавший и познавший за годы скитаний, приносит в честь ее дорогую жертву: перед дальней дорогой окрашивает жертвенной кровью ноги ведущего верблюда. А на шею верблюда, заключающего караван, вешает мешочек с несколькими горстями родной земли. Потом произносит молитву, моля всевышнего о благополучном возвращении. Обо всем этом думал сейчас мудрый Пакыриддин Дизеки, обозревая исчезавший где-то за горизонтом Великий Шелковый путь.

Ровно через месяц посольский караван, вышедший из Каракорума, достиг горы Караспан — священной колыбели, извечной твердыни кипчаков. Она внушительно и

грозно возвышалась, окутанная зеленым бархатом, на плоской, как доска, равнине. Когда она неожиданно выплыла из-за завесы тумана, караван-баши не выдержал, расчувствовался и, стараясь скрыть нахлынувшие вдруг слезы, пустил коня вскачь навстречу горе. Рыдание, отравленное тоской и горечью, душило его, и он, ослабев, содрогаясь всем телом, припал к гриве коня. Человек суровый, порой жестокий, самолюбивый и властный, он сейчас всем сердцем почувствовал, как истосковался по родному краю.

Какая сила заставила Омара расстаться с искусством сыпы? Что за злой рок сделал из него послушного посла кагана?

Истоки самых сладких ощущений и возвышенных чувств — всегда на родной земле. Обиды, досада, печаль, услада, радость, страсть, гнев, лишения и муки — все-все разом исчезло, забылось при виде очертаний горделивой горы; при первом же глотке прозрачного и сладкого воздуха родного края. Все эти многоликие чувства слились в одно безмерное счастье встречи с самым священным на земле.

Гора Караспан плыла сказочным кораблем в бескрайнем степном океане. Вблизи она казалась еще величественней, хребты — выше, скалы — грознее. Степное марево рассеивалось, таяло, и явственней обозначались выступы, ущелья, кручи, лощины, кусты и деревья, похожие на множество частей гигантского корабля. «Край родной, отчая земля!— как стон вырвалось из груди Омара.— Ой-хой, мачеха-судьба, не дала ты мне вдоволь поваляться на перине родной земли. Погнало меня куда-то, как вечно голодную, приблудную собаку. Сказано: голова человека — мяч аллаха. Моя же голова — что перекати-поле. Куда подует каган — туда и качусь, и кто знает, в каком овраге найду свою погибель. Не обрел я ни домашнего уюта, ни теплой постели. Как изгой, мотаюсь по свету, штаны протер до дыр, зад в кровавых мозолях, месяцами, годами не слезаю с седла, чтобы выполнить волю владыки Востока. Каган чихнет — я ему здравия желаю. И все надеюсь: возблагодарит он за труды мои безмерные. Назначит когда-нибудь правителем города Отрара...»

Надежда эта несколько успокоила, утешила честолюбивого Омара. Он выпрямился в седле, натянул поводья и стал ждать, пока подойдет медленно прибли-

жавшийся караван. Только теперь, глядя со стороны, он увидел, как изможденны были люди и верблюды. У животных ввалились бока, выпирали ребра, дрябло обвисла на шее кожа. Погонщики походили на призраков; они уже не сидели прямо, а болтались в седлах из стороны в сторону, словно плохо привязанные тюки. Некоторые и сидеть уже не могли, лежали, обхватив руками обвисшие горбы верблюдов. Со стороны каравана доносился монотонный, гнусавый гул: то ли скорбная песня, то ли стон. Лица у всех были обветренные до блеска, загорелые до черноты. Не лица, а жестянка, долго пребывавшая в огне. Скулы обострились до того, что на них и муха не усидит. «С таким видом только людей пугать,— угрюмо подумал караван-баши.— Разве можно в таком состоянии вступить в Отрар? Глядя на нас, правитель города не то что разговаривать, близко к порогу не подпустит. И наказ грозного кагана никакого веса иметь не будет. Придется делать остановку на два-три дня».

Обогнув увал, караван остановился у подножия горы Караспан. Верблюдов опустили, развьючили, потом отогнали на выпас. Слуги взялись готовить горячую пищу. Под ногами мягко стлалась нетронутая трава. Полынь только недавно закудрявилась и теперь источала терпкий горький запах, от которого щекотало в ноздрях. Омар расстелил на сырой земле свой чапан, бросился навзничь, с удовольствием вытянулся, испытывая истинное наслаждение. Руки, ноги налились приятной тяжестью, от истомы мурашки пробежали по всему телу, у затылка съежилась кожа.

Высоко-высоко в бездонном небе едва заметной точкой парил орел. Гордый, величественный, он лишь изредка взмахивал крыльями. Глядя на него, Омар-ходжа с завистью подумал: «Вот я лежу здесь на земле, считаю себя сильным, могучим, свободным, однако что я по сравнению с этим орлом? Так себе, двуногая тварь, только и способная пылить по дороге и коптить небо. Да и двуногие разные бывают. Дехканин, к примеру, пашет, сеет, урожай убирает. Строитель красивые дома воздвигает, землю украшает. А я, человек по имени Омар, лишь мотаюсь по разным странам, послушно исполняя волю кагана. Я по существу вроде бы мальчик на посылках. Зачем только людей да верблюдов мучаю? Все, что бы я ни делал, в конечном счете — мелкая суета, одна види-

мость. Любому это под силу. Я же, полный спеси и достоинства, властный и грозный Омеке, перед которым трепещут караванщики, на самом деле копошусь в какой-то трясине, из которой никогда не выбраться на вершину жизни. Нет, не суждено мне гордо и свободно ступать по земле, не проложил я на ней своей тропинки. До конца дней своих предстоит мне скитаться по избитым дорогам извечных бродяг, зовущихся послами, людишек мелких, изменчивых, лукавых, зараженных ложью и подлостью. Так и погибну бесславно, лишившись человеческого облика. И одна только пыль, жалкий прах останется от меня на Великом Шелковом пути...»

От всех этих мыслей болезненно сжалось сердце Омара, грудь у него стеснило, будто положили на нее мельничные жернова, на глаза навернулись слезы. Захотелось ему вдруг умереть вот так, сразу, лежа на сочной молодой полыни, вдыхая сладкий, как шербет, воздух родного края. Все тело его расслабилось, сердце билось все ровней и медленней, словно постепенно затихало...

А что, если он и в самом деле вдруг умрет сейчас, лежа на своем чапане? Кто станет его оплакивать? Кто проронит хоть одну слезинку? Повернет ли посольский караван назад в голубые степи Керулена? Опечалится ли всемогущий каган, начнет ли грызть от досады свой палец, узнав о гибели преданного человека? Э, какое там! Не то что печалиться — бровью не поведет каган, в усы кошачьи злорадно усмехнется, скажет: «Так ему и надо! Упрямец был — все напролом лез. Вот и расшиб голову о камень судьбы». Да и с караваном, пожалуй, ничего не случится. Отдохнув, отправится он в Отрар как ни в чем не бывало. Никого не удручит смерть Омара-ходжи. Закопают его под каким-нибудь кустом, и вся недолга. А тот погонщик, которого охватило отчаяние при переходе через горы, даже обрадуется, узнав о его смерти. Да и не только он. Все погонщики и слуги, измученные тяжелой дорогой, возблагодарят всевышнего за то, что избавил их от красноглазой беды с длинным и безжалостным куруком. Перемигиваясь, посмеиваясь, поделят они между собой весь товар и разбегутся кто куда, как напаскудившие собаки...

Омар посмотрел в небо и увидел все того же орла, парившего в вышине. Он заметил, что орел все время кружился над ним. Странно. Вроде бы это и не стервятник, подстерегающий жертву, чувствующий чью-то близ-

кую смерть. Несомненно, это гордый степной орел, с сильными крыльями, зорким взглядом, стальным клювом. Такие орлы, говорят, из заоблачной выси безошибочно угадывают мысли и желания людей. Должно быть, так оно и есть! Полный достоинства и величия, мудрый и чуткий орел словно читал в вышине все думы размечтавшегося на родной земле путника. Видно, хотел он поддержать усталого земляка, подбодрить, вселить в него надежду.

И в самом деле почувствовал Омар, как в грудь его вливалась неведомая сила. Вместе с ней возвращался и горько-сладкий вкус жизни; кровь упруго забила в жилах, горячим сделалось тело, легкость и бодрость появились в мышцах. Так одним видом вдохновил бесстрашный орел человека, еще недавно готовящегося стать прахом на пыльной дороге...

Караван-баши решительно поднялся. Неукротимая воля вновь вернулась к нему.

— Эй, пригоните верблюдов, грузите тюки! Согрейте воду в кумгане и разберите дорожный шатер! Поешьте и попейте перед дальней дорогой. Загоните девок под балдахины! Погонщик, хватай повод! Почтенный Хамаль Мераги, разведай путь! Веди караван дальше!

У караванщиков в ушах звенело от бесчисленных распоряжений.

Вновь началась постылая езда. Посольский караван, растянувшийся цепью, вышел на великую тропу. Здесь Шелковый путь пролегал через широкую равнину, поросшую густой и высокой полынью, напоминавшей тугой ворс огромного ковра. Дорога прорезала равнину, как след камчи на обнаженной спине. Казалось, не будет ей конца. Однако верблюды ступали теперь не по колючему щебню, не по зыбкому рыхлому песку, не по ломким пустынным зарослям. Широкие ноги их мягко шлепали по податливой темно-коричневой земле.

Только теперь людям в караване воочию представилась безбрежность кипчакской степи. Это раздолье, несомненно, отразилось и на укладе жизни, и на вольном характере ее обитателей. Аулы, разбросанные вдали, у горизонта, то здесь, то там; жеребята, стоящие на привязи в ряд, будто нанизанные четки; кобылицы, сбившиеся в плотный круг; голосистая песня, вольно взмывшая к небу,— все это удивительно соответствовало простиравшейся перед ними дали. Во всем чувствовалось созвучие: у

людей ровный, ясный голос, спокойный, уравновешенный нрав, скупые, сдержанные жесты. Лица смуглые, обветренные и загорелые. Искуснейшие всадники, непобедимые в конских скачках, соперничающие с вихрем; непревзойденные копейщики, способные острием копья поддеть на всем скаку шустрого суслика; смелые воины, чьи сердца не дрогнут перед вражескими полчищами. Не пялят эти люди жадные глаза на богатые караваны, днем и ночью бредущие по их просторам, и не подстерегают их на большой дороге. Не приходилось Омару слышать, чтобы на земле Дешт-и-Кипчак когда-либо был разграблен купеческий караван. Не раз сталкивался он на Шелковом пути с большими вооруженными отрядами кипчаков, выступивших в поход, однако ни на палец не причинили они ему вреда. Бывало, при одном виде грозных всадников, неожиданно появлявшихся из-за перевала, у него со страху замирало сердце. Но вооруженные джигиты в мгновенье ока проносились мимо, он снова приходил в себя и от удивления хватал себя за ворот. Миролюбие и великодушие кипчаков поражали многих путешественников. Он даже втайне гордился своими соплеменниками, хорошо представляя, чем бы кончилась такая встреча с нынешним монгольским боевым отрядом. Монголы кагана мигом бы разграбили караван, забрали бы весь товар и верблюдов в придачу, и остались бы караванщики, как голодные волки в безлюдной степи. Вот почему, проезжая по монгольским владениям, караванщики со страху «завязывают свои души в тряпочку» и держатся за каганову пайцзу — пластинку из металла или дерева, как утопающий за спасительную соломинку. Лишь увидев каганов пропуск для проезда, свирепые всадники нехотя отпускают тебя, однако при этом непременно оскорбят, обругают с головы до ног, досадуя и злясь на ускользающую добычу. Судьба твоя в монгольской степи зависит от крохотной пластинки с вырезанным на ней повелением кагана Чингисхана.

Спустя сутки после того, как караван покинул гору Караспан, до него смутно донеслось дыхание города Отрара. То был отзвук жизни, приятно ласкающий слух. Все чаще и чаще стали попадаться на Шелковом пути встречные караваны. От богатых тюков и ярко-пестрых одежд рябило в глазах. Сразу было видно, что караваны шли из сказочно богатого края, «окунувшись в котел богатства и роскоши».

Дорога здесь разветвлялась, становилась все шире, напоминая древнюю и строптивую реку Инжу-огуз в своем окончании, где она, вольно разливаясь, растекаясь на множество рукавов, впадает в море. На этом месте дорога резко сворачивала к югу, к городу Шаш. А к северу тянулся Серебряный путь, пролегавший вдоль подножья Черных гор, через перевал Кумисты, и сливавшийся затем с Вражьей дорогой, идущей вдоль побережья реки Чу. Постепенно Серебряный путь выходил к берегам речки Сарысу и, обогнув ее, переходил в знаменитую Ханскую дорогу, прорезавшую безбрежные дали Золотой степи — Сары-Арки.

Сейчас посольский караван длинной цепью полз по убитой, белесой тропе, ведущей к Отрару,— по одному из ответвлений Главного Шелкового пути. Тропа петляла, уклонялась то влево, то вправо, точно полноводный приток своенравной, с опасными воронками Инжу-огуз. То и дело дорога наталкивалась на развалины, поселения, укрепления, стоянки. С каждой такой встречи караван, казалось, подстегивала мощная волна бурлящей жизни, и, подхваченный ею, он шел все легче и быстрее. Погонщики нетерпеливо вытягивали шеи, до рези в глазах всматривались в даль, стараясь разглядеть за горизонтом прославленный город Отрар. Никто уже не помнил о дорожных мытарствах, не чувствовал усталости.

Отрар, стоявший на пересечении бесчисленных дорог, казался огромным водоворотом с неукротимым подводным течением, в пучине которого бесследно исчезал многоликий мир. Этот водоворот издалека почти не замечался, но притягивал властно. Тайн своих он тоже не раскрывал. Однако еще на расстоянии дневного пути караванщики начали спотыкаться, торопиться, непонятное волнение охватило их. Они чувствовали себя словно воробей, завороженный змеей. Неотвратимая сила водоворота уже подспудно проявлялась, сказывалась на них. И чем ближе становился центр колдовского водоворота, тем беспокойней билось сердце в груди и странная тревога будоражила душу.

Это чувство не проходило у людей, наоборот, нарастало с каждым часом, усиливалось, превращалось в лихорадочное нетерпение, с которым не мог уже сладить трезвый, холодный рассудок. Волновал каждый звук, настораживал малейший шорох. Все вокруг наполнено было

жизнью, особенно яркой после однообразной тяжелой дороги.

— Вон тот караван только вчера, говорят, выехал с отрарского Кан-базара!

— Пах, пах, до чего нарядный — глаза разбегаются!

— А ты глянь-ка на райскую гурию под балдахином. Неужто среди двуногих рождаются такие красавицы?!

— Да-а... Как ваза. Взять бы ее да налюбоваться бы всласть!

— Ох и высока же караульная вышка вон того укрепления! На нее и взобраться-то не просто.

— А дорога-то, дорога... В полфарсанга уже шириной!

Не смолкают восторги, возгласы удивления. Все заметнее ощущается притяжение водоворота, прямо-таки чувствуется, как воронка, кружась, затягивает вглубь. И ты не сопротивляешься, наоборот, покорно отдаешься этой властной силе. Никакая воля не могла б заставить тебя сейчас повернуть назад караван. Это было бы выше человеческих сил. Ты теперь страстно жаждешь увидеть знаменитый город, только об этом твои помыслы. И всем своим существом отдаешься ты неуемному течению.

— Отрар!.. Отрар!..

Это послышался ликующий голос Хаммаля Мераги, ехавшего впереди каравана. Люди вздрогнули, насторожились. Казалось, молния ударила в караван, и он сразу вдруг остановился.

— Отрар!

Караванщиков охватило такое же волнение, какое испытывает мореплаватель, истомившийся по суше после долгого плавания на содрогавших корабль морских волнах. Безбрежное зыбкое пространство, сливающееся с горизонтом, притупляет его зрение, изнуряет, выматывает душу. Не однажды мореход рискует быть погребенным под громадными, как скалы, волнами, но яростно сражается с неистовым и необузданным чудовищем-морем. И вот в одно прекрасное мгновение, бывает, раздается вдруг вопль обезумевшего от радости матроса на мачте: «Земля! Земля!» Сердце его готово выскочить из груди. Такое же чувство захлестнуло сейчас и караванщиков, много дней бороздивших просторы степного океана. У всех возликовали сердца от возгласа проводника каравана Хаммаля Мераги.

За спиной путников медленно выкатилось солнце, и

город впереди ослепительно засверкал в его лучах. Сначала блеснули в небесной синеве горделивые минареты. Потом из-за дымки выплыли округлые купола, похожие на украшенную перьями филина шапку-борик на голове щеголя-джигита. Солнечные лучи на боках купола отражались, словно от яхонта на девичьей саукеле. Еще немного погодя вырисовались очертания ханского дворца — Гумбез Сарая. Он был окрашен в молочно-белый цвет, и смутно различались вдали его пестрые, затейливые контуры. Величественный вид дворца рождал благоговение. Караванщики от восторга и удивления языками зацокали, заахали и заохали при виде разветвленных, как жилы на руке, улиц, величественных дворцов, медресе, мечетей, базаров, мавзолеев, молельных домов, усыпальниц, скотобоен, кирпичных и каменных жилых домов, караван-сараев, хаузов, садов и площадей. Люди поражались, восхищались, качали головами, закатывали глаза, в один голос утверждая, что ничего подобного им в жизни видеть не приходилось.

У Омара от волнения прямо-таки живот свело, когда он посмотрел на высоченные крепостные стены, надежно защищавшие пышный город. Он даже по ляжкам себя хлопнул, невольно воскликнув: «Надо же было нагромоздить этакую махину!» А про себя с досадой подумал: «Даже караульного на вышке стрелой не достанешь. Ворота отлиты из чугуна. Такие высокие, что шапка слетит, если посмотреть. Их не то что катапультой — копьеметом не пробьешь. Скала неприступная!» Загрустил главный караван-баши, опечалился и, расстроенный, забормотал что-то невразумительное.

Весь город за крепостной стеной был виден лишь издали, на расстоянии, когда солнце поднимается на высоту аркана. Но потом город окутывает мглистая дымка, постройки постепенно скрываются за дувалами, как бы хоронясь от постороннего глаза. Чем ближе подъезжает путник к городу, тем все зримей предстает перед его глазами крепостная стена. Все остальное как бы исчезает, словно и нет ничего, кроме нее.

Это чудо особенно поразило Омара. «О боже милостивый! Издали город виден как на ладони, а вблизи будто в землю провалился. Как же так? Или дьявол его проглотил? Видно, неспроста говорят, что в нем поселилась колдовская сила. Недаром здесь нашли приют книжники и звездочеты!»

Главный караван-баши, конечно, и представления не имел об отрарских зодчих, сумевших поставить город на таком месте, откуда он обретал многоликий вид. Когда до города осталось расстояние, равное конским скачкам, Омар остановил стремительно шедший караван и приказал сделать привал на обочине дороги. Здесь был плоский такыр, где трава почти сплошь была вытоптана копытами животных. Погонщики опустили верблюдов, всадники спешились.

Омар решил совершить ритуал прощания с Великим Шелковым путем. Первым долгом сам караван-баши, а за ним все погонщики и слуги, усевшись за лежащими верблюдами, совершили омовение: ополоснули руки, прополоскали рот. Перед огромным черным дромадером, громоздившимся впереди каравана, расстелили молитвенный коврик — жайнамаз. Черный дромадер и ослепительно белый, из шерсти ягненка сотканный коврик оттеняли друг друга. Караван-баши снял кебисы, встал на край чистого паласа и застыл, вытянувшись в смиренной позе, сложив руки на груди. Остальные опустились на колени длинной цепью вдоль дороги. Глухим, торжественно-монотонным голосом караван-баши начал громко читать двадцать вторую суру Корана, именуемую «Дорога». Гортанная молитва проникала в сердце, заставляла съежиться кожу на голове. Стихи звучали печально, как скорбная прощальная песня. Караванщики слушали с благоговением, со слезами на глазах.

Нелегко прощаться с Шелковой дорогой. Великая дорога — мать путника. В далеком пути — добрая заступница, в близком — задушевная собеседница. Она водит нас по всему свету, по самым неведомым закоулкам судьбы, изматывает нас, а порой одаривает желанной встречей с далекими и близкими людьми. Она мудрая наставница, что за руку вела самого прародителя нашего. Вместе с нами она встречается и с добрыми друзьями, простирающими к нам свои щедрые объятия, и с коварными разбойниками, подстерегающими нас в засаде. И беды, и напасти делит она с нами. Пройдет-проедет по ней неудачник, назовет ее дурным именем. Порой одни названия ее страх нагоняют: «Вражья дорога», «Волчье место», «Разбойничья тропа». А ведь не она, дорога, виновата. Виноваты люди, проезжавшие по ней. Но мудрая мать все прощает, все покорно стерпит. Великодушие ее поистине безгранично. И лихой бродяга, кото-

рый, вздымая пыль, галопом скачет по ней, и ненасытный торгаш, изъездивший ее вдоль и поперек,— все ее сыновья. Всех она любит, всех балует, всех на своем хребте носит. Приведет, не давая заблудиться, в невиданные, неслыханные страны, познакомит с хорошими людьми, подружит и породнит. Не будь ее, дороги, не узнал бы ты горячего дыхания родного края, сладости плодов родной земли, не различал бы плохое и хорошее, высокое и низменное, не познал, не испытал бы на чужбине великую скорбь, тоской по родине именуемую, не оставил бы потомкам мудрого завещания и речения.

Да какие там завещания! Какие мудрости! Жизнь, прошедшая без дороги,— и не жизнь вовсе, а так, одно жалкое, слепое прозябание. Без Великой дороги, без Шелкового пути не было бы на свете золотой колыбели казахов, священного остова народа, красы и гордости его — несравненного Отрара. Она, Великая дорога, породила его. Она — его щедрая и благодатная мать...

Глухой, протяжный голос караван-баши Омара вдруг задрожал, сорвался. Наклонившись, он сгреб с края молитвенного коврика горсть земли, благоговейно поднес ко лбу, омочил ее слезами. Так выразил он свою сердечную благодарность Шелковому пути и простился с ним, старым, верным другом, с которым разделял немалые тяготы и скупые радости, уповая на будущее.

Караван простился с Великой дорогой, но люди все оглядывались назад, подавленные разлукой.

В город в качестве послов Омар отправил Хаммаля Мераги и Амин ад-дина Хереви. С ними он послал повелителю щедрый дар, поклон и добрые пожелания, прося разрешить въезд в город. И если наместник позволит каравану вступить в Отрар, Омар твердо намерен исполнить грозную волю кагана, ради которой все они вынесли безмерные лишения и муки, преодолели, рискуя жизнью, столько опасностей. А кагану угодно было знать численность кипчакского войска, силу его оружия, слабые места в обороне знаменитого города. Владыка Востока хотел пошатнуть твердыню, какой являлся Отрар, стоявшую на пути грядущего монгольского нашествия. Омар встал на страшный путь предательства родного края...

К обеду вернулись послы, доставив соизволение правителя города, состоящее из двух слов: «Въезд разрешаю». Длинный караван рекой хлынул через Золотые

ворота. Вступая в город, караван-баши еще раз невольно бросил взгляд назад. Там, за крепостной стеной, простирался Великий Шелковый путь, и Омару-ходже непонятно почему вдруг померещилось, будто он залит кровью. Сердце его дрогнуло в ужасе.

7

Шел шестьсот пятнадцатый год по хиджре, или одна тысяча двести восемнадцатый от рождения Христа, а по казахскому летосчислению очередной год барса, месяц кукушки. Правитель Отрара Иланчик Кадырхан приступил к осуществлению высочайшей воли шаха шахов Мухаммеда из Хорезма. Надлежало немедленно обезглавить четыреста пятьдесят караванщиков, прибывших с Востока. Все они — купцы, погонщики и слуги во главе с послом Омаром-ходжой, оказались лазутчиками, шпионами кагана, и головы их теперь не имели даже цены гнилого кавака. Весь товар — драгоценности, меха, слитки золота и серебра, навьюченные на пятистах верблюдах,— следовало доставить в Бухару. Шах Мухаммед незадолго до этого «обновил постель», «переменил запах», то есть взял в жены юную красавицу родом из Бухары, и на ее наряды и украшения потребовались непредвиденные расходы. Иланчик Кадырхан мог бы в силу своего положения ослушаться хана, но им руководила, однако, личная ненависть к подлому врагу. И гнев, за многие годы накопившийся в сердце, толкнул его на этот кровавый шаг. Коварных, лживых купцов из посольского каравана перерезали по его повелению, как козлят, прямо на равнине за укреплением Ак-курган, и кровью их полили горькую кипчакскую полынь. Сделали это во славу аллаха, в назидание его покорным рабам, дабы все знали, какая участь ждет презренных предателей. Товар, привезенный с черным намерением, тут же навьючили на верблюдов и отправили в Бухару. По воле правителя Отрара возглавил караван его надежный слуга и помощник Максуд.

В теплый, погожий день вышел караван из Отрара. Солнце, надолго зависнув в зените, нещадно палило древнюю почву, точно шкуру барана на вертеле, и полынь, сморщась, жалостливо прижималась к земле. Мягко и упруго стелилась она под широкими верблюжьими лапами и через мгновенье вновь упорно выпрямлялась. С вышины время от времени доносилось радостное пе-

ние птиц, возвращавшихся с чужбины в родной край. Нынче весна наступила рано: и без того малоснежная, вялая, точно хворая, зима едва отползла за первый перевал, и степной простор сразу огласился звонким журавлиным курлыканьем. Вместе с журавлями явились в эти края очередные хлопоты и заботы. Снова спозаранок вставали дехкане, начинали чистить старые арыки, укреплять берега канав, строить запруды, поправлять чигиры. Воздух наполнился лязгом кетменей. В город Отрар с востока и с запада потянулись, позванивая колокольчиками, купеческие караваны; возобновлялась, укреплялась связь между странами; быстрее закрутилось колесо вечной, неугомонной жизни.

В степи то здесь, то там виднелись табуны лошадей; джигиты гонялись за строптивыми неуками. Рыжий пырей, изень, типчак, гусиная трава, ковыль росли густо, как никогда. По всему — если на то будет божья воля — предстояло необыкновенно щедрое лето, одинаково доброе и к скотине, и к людям. Неторопливая, обыденная жизнь, неутомимо трудящийся люд, ровно текущая река Инжу, смутно темневшие вдали горы Каратау и разморенная весенней истомой добродушная степь, казалось, вовсе и не ждали, и не желали каких-либо крутых перемен в природе. Травой забвения заросли лихие годы, все человеческие страсти будто канули в вечность, тишь да благодать разлились повсюду, блаженная умиротворенность прочно вселилась в душу.

Об этом и думал Максуд, лениво покачиваясь из стороны в сторону на черном дромадере во главе каравана. Солнце припекало, дорога укачивала, дрема окутывала его, смежила веки. Голова с высокой чалмой клонилась все ниже, грозя перетянуть, увлечь за собой все тело, и тогда Максуд, вздрогнув, открывал глаза, но видел вокруг все ту же беспредельную равнину и монотонно бредущий за ним караван. Уныло позванивают колокольчики, размеренно идут верблюды, шумно посапывают ноздрями, отрешенно мотают длинными шеями. Измучила их долгая и тяжкая дорога; изможденные, едва дотащились они до города Отрара, а отсюда, не отдохнув и одну неделю, вновь тронулись в далекий путь. На этот раз не было необходимости обматывать их ноги толстым войлоком, места здесь не каменистые, крутые перевалы остались позади, а впереди их ожидали мягкие, сыпучие пески Кызылкумов, по которым так приятно ходить вер-

блюдам. Ровная, податливая дорога приглушала звуки. Казалось, караван не шел, а плыл по травянистой весенней степи, крики и понукания погонщиков доносились будто из неведомой дали. Караван-баши опять протяжно зевнул.

Черный нар под караван-баши Максудом отличался чуткостью и беспокойным нравом. Животное, изведавшее немало путей, удивительно тонко, не хуже человека, понимало дорогу и местность. Дромадер обладал даже даром предчувствовать погоду. То ли и сегодня проявлялся в нем этот дар, то ли сказывалась усталость, но шел он неровно, все время озирался по сторонам, тревожно встряхивал тяжелой головой и временами громко ревел. Вначале Максуд не обращал на это внимания. Караванщиком он был опытным, бывалым, не однажды вдоль и поперек изъездил Кызылкумы, ни разу не подвергаясь нападениям разбойников и лихоимцев. Но вспомнились вчерашние события.

После полудня прискакал к нему в Пшакшы порученец из Гумбез Сарая. Иланчик Кадырхан немедленно потребовал его к себе. Когда он прибыл во дворец, то увидел, что повелитель Отрара мрачен, брови его насупились, сошлись в переносице. Таким он бывал обычно, когда доносили неприятную весть. Веки его от бессонницы покраснели и опухли, мешки под глазами набрякли. В ответ на приветствие всегда вежливый Иланчик Кадырхан едва лишь пошевелил губами.

— Есть у меня поручение, которое могу доверить только тебе...

— Слушаю и повинуюсь!

— Лазутчиков кагана, прибывших к нам под видом купцов, мы казнили. Остался караван из пятисот верблюдов. В тюках, помимо прочего, имеются слитки золота и серебра. Доверяю их твоей чести. Приведи караван в Бухару, не растеряв ни одного золотника по дороге, и передай все в руки Махаммед-шаха. Вот тебе доверенная бумага, и пусть шах приложит к ней свой знак. Зашей бумагу в чапан.

— Повинуюсь, таксыр!.. Но... не дадите ли вы немного войска? Дорога трудная, опасная.

— Не дам!

— На караванных дорогах через Кызылкумы воры и разбойники кишмя кишат. Времена надвигаются дурные. Опасности на каждом шагу, таксыр.

— Знаю! Но больше глаз — меньше доверия. Рискни — и отправляйся с одними погонщиками. Ведь силы у тебя хватит на десять человек, а находчивости — на сотню.

— Когда прикажете выехать?

— Завтра на рассвете.

— Может быть, подождем лучшей погоды, таксыр?

— Погода не должна быть тебе помехой. Караван нужно срочно отправить во что бы то ни стало. Пески сейчас не кочуют, так что выезжайте без страха.

— Будет исполнено, благословенный!

— Да пошлет тебе аллах удачи!

Максуд согнулся в поклоне, повелитель Отрара произнес благословение.

По природе замкнутый, новый караван-баши не сказал больше ни слова; с мрачной решимостью он круто повернулся и вышел...

Куда бы ни посылали Максуда, во славу священного духа страны Дешт-и-Кипчак, он беспрекословно выполнял любое поручение мудрого правителя. Ради него он готов был пожертвовать своей жизнью. В бесчисленных опасных походах он не однажды рисковал головой и спасал повелителя от неминуемой, казалось бы, гибели. И теперь он любой ценой исполнит волю своего господина.

Наутро, едва забрезжил рассвет, Максуд встал, облачился в дорожную одежду, обвешал себя оружием и поднялся на крышу дома. Он долго и пристально вглядывался в голубую даль. На небе не было ни облачка; дул слабый утренний ветерок. Он доносил приятные, свежие запахи, от которых расширялась грудь. И вдруг Максуд насторожился, словно почувствовал покалывание в боку. Ему почудилось, будто из-за реки Инжу, простиравшейся к югу, кто-то, затаившись в барханах Кызылкума, пускал в него стрелы. Они будто вонзались в его тело ледяными, колючими струйками. Максуд зябко поежился, недоброе предчувствие на мгновение охватило его. Чего он испугался? Что его встревожило? Он и сам этого не понимал. Долго смотрел Максуд на запад, туда, откуда подул пронизывающий ветер, от которого у него закололо в боку. Но ничего, кроме черной мглы, там не увидел. Нельзя было, однако, мешкать. Таков был наказ повелителя.

Максуд быстро дошел до караван-сарая, расположен-

ного за Кан-базаром. Здесь, за оградой, царила суматоха. Сильные, мускулистые погонщики трудились в поте лица. Бегая на носках, они сноровисто вьючили верблюдов. Работа спорилась: по нескольку человек поднимали тяжеленный тюк, подтаскивали его к боку лежащего верблюда, волосяными арканами крепко привязывали его к тюку, который находился с другого бока, затягивали, закручивали узлы джингиловой палкой. После этого они рывком повода поднимали недовольно ревущего дромадера, отводили его за ворота караван-сарая, ставили в ряд — будто бусы нанизывали на ниточку. Эта привычная суматоха длилась столько, сколько времени необходимо, чтобы вскипятить молоко. Наконец все верблюды были навьючены и поставлены в длинную, как журавлиная стая, цепь.

В глаза Максуда ударили первые лучи всходившего солнца. Когда караван из пятисот верблюдов прошел ворота Дарбаза, на окраинных улочках только лишь просыпался простой люд. Старики, спешившие к утреннему намазу, с удивлением глазели на караван. Раньше через эти ворота проходили только войска. К тому же этот огромный купеческий караван явно торопился с отбытием. Необычно быстро караван прошел мост через Арысь и свернул к югу, в сторону Инжу.

Максуд торопил погонщиков. Когда солнце, поднимаясь все выше, начало припекать, караван-баши успел уже забыть про свое утреннее недоброе предчувствие. К тому же испокон веков существовало поверье, что, отправляясь в путь, караван-баши обязан быть бодрым, веселым, ибо если он с самого начала станет предаваться горьким думам и пугаться всего на свете, то караван и в самом деле постигнет несчастье. Уж коли решился на такую дорогу, то раздумывать или тем более сворачивать с пути нельзя. Смело гляди в глаза всем напастям, уготованным тебе судьбой.

К обеду караван достиг берега Инжу, испещренного бесчисленными следами. В этом месте не оказалось брода. Караван направился вперед к отмели Алпаут-уткель. Широко разлилась здесь могучая река; ширина брода равнялась, пожалуй, расстоянию конских скачек. Не простое это дело — перебраться через реку. Малейшая оплошность, случайная неосторожность — и угодишь в воронку, не то в ямину провалишься. Шли по отмели шаг за шагом, со всеми предосторожностями. Опытный

проводник, Максуд заранее предупредил погонщиков, чтобы немедленно перерезали повод, если верблюд невзначай оступится, упадет или завязнет в топи. Иначе можно было погубить весь караван. Извиваясь, точно гигантский уж, караван наконец выбрался на другой берег. Там долго еще стояли, поджидая хвост каравана. Синь реки, медленно и тяжело скользившая меж пологих берегов, осталась позади.

Здесь уже начиналась великая пустыня. Волной надвигались безмолвные барханы. Над головой — необъятное небо, у ног — сыпучий, зыбкий песок, а больше — куда ни посмотри—ничего. Чем дальше углублялись в пески, тем извилистей становилась тропа, словно хотела сбить с толку путников. Караван-баши все чаще оглядывался назад. Между верблюдами изредка показывались головы погонщиков. На все стороны простирался глухой, безлюдный край, глубоко запрятавший свои тайны. Изредка за далекими барханами мелькали какие-то тени, поднимались столбы пыли, но все это было размыто, неопределенно, зыбко — просто причудливые видения, мираж.

Шел пустыней караван, растянувшись журавлиной цепью.

В первый день одолели немалое расстояние, решив не делать привала в полдень. Солнце потускнело, словно догоравшая свеча, и зардевшись напоследок, склонилось к горизонту. Сразу же спала жара, из песков потянуло прохладой. Верблюды были разгорячены и шли легко, ровно, быстро, будто не чувствуя усталости. С годовалого возраста привыкли они мерить безбрежные пространства в таких караванах. Притерпелись они к дальним далям, к тяжким тюкам, нещадно давившим на бока и горбы. Потому и равнодушны они ко всему на свете. Когда черный нар Максуда поднялся на рыжий бархан, впереди вдруг что-то пронеслось, вздымая пыль. Максуд не разглядел, то ли вихрь промчался, то ли какой-то зверь. Караван-баши застыл на вершине бархана, оглядываясь вокруг и высматривая место для стоянки. Остановились, широко расставив ноги, и остальные верблюды.

Солнце вдруг начало таять, плавиться, точно кусок масла, растворяясь в раскаленном песчаном толокне.

Черный нар, тяжело отдуваясь и посапывая, спустился в низину. Максуд натянул повод. Здесь в большом ущелье, в окружении барханов, он и распорядился ста-

новиться на ночлег. Рявкая, гяжело опустились верблюды по кругу. Казалось, в безлюдной пустыне разом вырос целый город. Во все стороны, темнея, бугрились верблюды-дромадеры. Погонщики поспешно развьючили животных, наломали саксаул, развели огонь и принялись готовить ужин.

Опустились густые сумерки, из-за песчаного увала робко выглянул месяц. Слуги достали из коржунов большие куски вареного мяса, подогрели на огне и стали резать на мелкие кусочки на дастархане. Караванщики расселись, разлеглись вокруг, испытывая наслаждение от мягкого, податливого песка под боком. Вразнобой говорили о том о сем.

— Белкум, говорят, притон разбойников. А вдруг они нагрянут ночью и перерубят нас саблями? — начал молодой погонщик, впервые отправившийся с караваном.

— Э, что это тебе в голову пришло?

— И войска нет, чтобы от них отбиться...

— Ну, чего заблеял, как барашек?

— Да я... просто говорю: в осторожности греха нет.

— Тьфу, дьявол! Дед твой был батыром, а ты трусишь, как зайчишка.

— Дед-то как раз и говорил: Белкум — обиталище волков и коров. Вот увидишь: каждый кустик тут бедой обернется.

Караван-баши слушал эти разговоры, но промолчал. Укрывшись чапаном и положив под голову верблюжье седло, он делал вид, что дремлет. Молодой караванщик говорил истинную правду. В голодные годы здесь под каждым саксаулом хоронился матерый волк, а на каждой тропинке подстерегал добычу разбойник. Всякое приходилось испытать, когда он, Максуд, водил некогда по этим пескам караваны. И насмерть биться случалось. Но без привала не обойдешься, нельзя же всю ночь напролет гнать верблюдов. Если завтра отправиться в путь с утра пораньше, то—да благословит нас аллах!— можно за четверо-пятеро суток добраться до Бухары. Впереди еще немало трудных переходов, а самое главное — предстоит пройти безводную пустыню. Надо беречь силы и довести караван в сохранности.

Максуд поднял голову, приказал караванщикам:

— Джигиты, заготовьте побольше саксаула, чтобы огонь горел всю ночь. Поставьте охрану к тюкам!

Сказав это, он снова лег и погрузился в дрему..,

Луна, поднимаясь все выше над пустыней, окрасилась в зловещий кровавый цвет. Казалось, ярко пылали саксаульные уголья, бросая на песок жуткий отблеск. Безмолвный страх охватил молодого караванщика. «К беде... к беде,— думал он.— Лунный свет ведь обычно молочно-белый...» Песчаные холмы угрожающе темнели вокруг, словно лежащие вповалку усталые воины после жестокой сечи. Луна походила на окровавленный щит. Исполосованные багровым зыбким отблеском, темно-рыжие барханы невольно вселяли ужас. Казалось, некий страшный призрак затаился за ними. Сердце караванщика заколотилось в недобром предчувствии. Эту извилистую караванную тропу недаром называют «Вражьей дорогой». Она виляет между барханами, оставляя чахлые саксаульные заросли по правую руку и упрямо сворачивая к югу.

Когда-то по этой дороге ходил с караванами дед молодого погонщика. Из Отрара на берегу Инжу он отправлялся ранней весной и возвращался еще до наступления осени, объездив базары Бухары, Самарканда, а порой и Багдада или страны Миср, где много было кипчаков-мамлюков. Говорят, что дед всегда заботился о том, чтобы караванщики не погибли в пустыне от жажды. По весне на каждом привале он собирал верблюжью колючку. Сухие верхушки срезал, а здоровый стебелек осторожно вскрывал ножом и вкладывал в него арбузное семя. После этого зарывал стебелек верблюжьей колючки в песок. На обратном пути караван обычно изнывал от зноя, суховея и жажды; измученным погонщикам мерещилась смерть. Еле-еле добирались они до того места, где останавливались весною на привале. А там — какое чудо! — арбузное семя в стебле верблюжьей колючки, оказалось, проросло, дало всходы, и между иссохшими листьями округло выпячивали бока небольшие пустынные арбузы. Утолив жажду сочными, сладкими арбузами, караванщики спешили к следующему привалу, где их вновь ожидала спасительная пустынная бахча, а впереди — еще и еще, по всей дороге через Кызылкумы...

Вскоре сквозь дрему Максуд расслышал странный протяжный свист. Он стремительно, неотвратимо нарастал, превращаясь в заунывный гул, наполняя все вокруг тревогой. Сердце караван-баши заколотилось. Еще не очнувшись полностью от сна, он уже вскочил в страхе.

Холодная дрожь прокатилась по телу, в горле пересохло, голос пропал. В первое мгновенье он ничего не мог разглядеть, но почувствовал, как постепенно оживали пески, приходили в движение. Костер в середине круга догорал. Джигитов-охранников сморил сон. Черный дромадер, вожак каравана, резко поднялся и тягуче, утробно заревел. К Максуду тоже вернулся голос:

— Джигиты! Надвигается песчаная буря!

Все вокруг загудело, закачалось, застонало. Луна на мгновенье блеснула кроваво-красным пятном на черном небе и тут же скрылась, словно погасла, на землю откуда-то с неба опустилась черная мгла. Разом вскочили перепуганные люди, забегали, засуетились, еще не сообразив толком, что случилось. Одним почудилось, будто на караван напали разбойники, а молодой погонщик не своим голосом завопил: «Волки! Волки!», приняв вздымавшиеся пески за свирепую волчью стаю.

Караван-баши смутно предугадывал беду, но такого ужаса еще никогда не приходилось видеть. Впервые за свою полную мытарств и злоключений жизнь видел он столь неистовую песчаную бурю. Все смешалось, вздыбилось; ветер, распаляясь, нещадно хлестал землю и небо, свистел-завывал на все лады, ликуя в дикой круговерти.

— Джигиты! Поднимайте верблюдов! Спешите к верховью! — надрываясь, кричал Максуд.

Караванщики метались между верблюдами, но ничего не могли сделать. Задыхаясь, они падали на песок и скользили по нему, растопырив руки-ноги. Шквал песка всякий раз с воем обрушивался на верблюдов, зарывал-засыпал их, точно проглатывал. Ничего невозможно было различить, однако по отчаянному верблюжьему реву он догадался, что песчаный сель уже захлестнул бедных животных. И людей тоже не было видно. В ушах монотонно и грозно гудело, и нельзя было понять, то ли это завывала буря, то ли кричали о помощи люди, то ли ревели задыхавшиеся под морем песка верблюды. В народе говорят: «Если буря валит верблюда, то козу ищи на небе». Так и Максуда вдруг необузданная сила отшвырнула куда-то. Он всячески пытался удержаться на земле, прижимался к ней, цепляясь всеми пальцами, но тщетно. Буря приподняла его, отбросила и покатила, как щепку, будто забавляясь своей мощью. Потом он ударился боком о что-то непонятное, лихорадочно вцепился

и тогда только сообразил, что это нога черного дромадера. Животное, ошалев, вскочило, рванулось вперед, и караван-баши, собрав остатки сил, ухватился обеими руками за шею верблюда. Дромадер, глубоко проваливаясь в кочующий песок, куда-то понес его, и Максуд на время потерял сознание...

Целые сутки без передышки бушевала песчаная буря. Бывшее ущелье Белкум бесследно исчезло с лица земли, а на его месте образовалась гладкая песчаная равнина. Когда на следующий день буря улеглась, из-под песка выбрался, точно призрак, тощий и мосластый черный дромадер. Вместо недавнего могучего нара на свет божий появилось странное, жалкое животное на ногах-жердинах, с нелепо большой головой на тонкой, дряблой шее. Еле передвигая ноги, животное тоскливо ревело, пытаясь широкой лапой разгрести песчаные наносы. Оно вздымало пыль, искало, звало пропавшего хозяина.

Нар оказался настойчивым и нашел-таки между застывшими песчаными волнами человека. Тот все еще был без сознания, на грани жизни и смерти.

Солнце пригрело, свежий ветер подул в лицо, и вскоре Максуд пришел в себя, открыл глаза, поднял голову. Во все стороны простирались, выпирая острыми заступами, бурые барханы. Куда ни посмотри — чуждый, безмолвный, мертвый мир.

Человек с трудом приподнялся. Шатаясь, взобрался он на понурого дромадера, погнал его к длинному увалу. Отсюда, с вершины увала, отупевшим взглядом Максуд долго обозревал окрестности, но ничего не увидел. Видимо, все караванщики вместе с верблюдами навечно остались лежать в песчаной пучине. Рассудок Максуда помутился, и он закричал страшно, протяжно. Черный нар тронулся в путь...

О случившемся в песках Кызылкумов Максуд поведал через несколько дней правителю Отрара Иланчику Кадырхану. Весть омрачила повелителя, и он твердо решил разыскать погребенных под песком караванщиков и громадные тюки с бесчисленными слитками золота и серебра. По его приказу срочно призвали опытных караван-баши, бывалых охотников, известных проводников, мудрых следопытов. Стали спешно готовиться к дальней дороге. Но воле правителя не суждено было осуществиться. Другая, куда более страшная буря обрушилась на Отрар...

8

Провидец Габбас на своей вышке, лежа, по обыкновению, на животе, читал толстую книгу в сафьяновом переплете. Ночь была лунная, светлая; с севера дул приятно прохладный ветерок, сгонявший тучи комаров в низину. Вдалеке темнели очертания древней крепости Жаухар. При молочном свете луны мрачно зияли круглые бойницы, из которых лучники пускают стрелы. Старый астролог держал в руках большой дастан «Хикая», недавно законченный Хисамеддином. Молодой поэт подарил свой труд любимому наставнику.

С жадным любопытством и восхищением читал многомудрый ученый поэтические размышления — толгау вдохновенного и пылкого кипчакского акына. Он сразу зорко почувствовал затаенную между строк необъяснимую печаль. Эта печаль обволакивала каждый стих, казалась золотой оправой жемчужных слов. При свете луны ясно проступала на бумаге затейливая вязь.

Здесь родился поэт, дивной книги творец.
Толковал здесь «Основы»[1] славный предок-мудрец.
О всеблагий Тэнгри, дай мне жизнь вторую —
Со спокойной душой в Сыгынаке умру я...
Мы кипчаки. Мы вольный, свободный народ.
Бессилен над нами мстительный рок.
Солнце восходит над ширью кипчакской,
И плавится златом купол Отрара,—
Край мой любимый, сердца отрада...

При последних словах голос Габбаса дрогнул. Казалось, в горле у него застрял камень. Концом чалмы он вытер глаза, тяжело вздохнул. Для печали были веские причины.

Недавно старый астролог был свидетелем страшного дела.

Беда надвигалась на весь Мавераннахр[2]. Все говорили о том, что с востока идет монгольский каган Чингисхан, черной бурей сметая все на своем пути. Наступила лихая година, когда кони пили воду, закусив удила, а воины спали в седлах. Шах шахов Мухаммед срочно разослал гонцов с наказом всем правителям собраться в Ургенч на Государственный совет — Дуан-арз! Кипчак-

---

[1] Имеется в виду трактат Фараби.

[2] Мавераннахр — название местности между Амударьей и Сырдарьей.

ские ханы и военачальники, получив эту весть, долго совещались и решили направить в Ургенч Иланчика Кадырхана и с ним провидца Габбаса. Они должны были просить о помощи, ибо Отрару и другим кипчакским городам предстоит встать заслоном на пути неотвратимой, неумолимой бури. Все надеялись на здравомыслие правителей, ибо, только объединившись, можно было остановить свирепые полчища кагана. Об их страшных делах уже доносились слухи из Китая и пограничных земель.

Дуан-арз начал свое заседание с приема иноземных послов. К этому времени в третий раз прибыли послы с востока. На этот раз грозные слова кагана доставил рыжебородый человек по имени Ибн Кефредеж Богра. Сопровождали его двое: оба тощие, длинные, как нож мясника... По стародавнему обычаю, первым предоставили слово послам:

— Отправленные к вам с чистыми, благородными намерениями послы всемогущего кагана незабвенный Омар-ходжа, Хаммаль Мераги, Пакыриддин Дизеки и Амин ад-дин Хереви безо всякого на то основания были злодейски казнены в Отраре. Кроме этого, у нас захвачено пятьсот верблюдов, огромное количество товаров и тюков с драгоценностями, золотыми и серебряными слитками. Умерщвлено четыреста сорок шесть невинных слуг кагана. Эту расправу учинил над мирным купеческим караваном кипчакский хан Иланчик Кадырхан. Разгневанный каган требует выдать ему злодея-душегуба. Кровь за кровь, смерть за смерть! Только так восстановлена будет справедливость!

Неприкрытой угрозой прозвучали слова Ибн Кефредежа Богры. Закончив речь, он побледнел, насупился, запустил пальцы в дремучую бороду. Все они были унизаны драгоценными перстнями. Четки, длиною в добрый кулаш, висевшие на его шее, были также из драгоценных камней. Они сверкали, переливались, слепили глаза.

Шах шахов повернулся направо, где сидели разодетые в шелка советники. Он ждал их решения.

И мудрые советники сказали:

— Не гореть же нам на огне Иланчика Кадырхана. Он раздул пожар, пусть сам же и потушит. Мы не ответчики за чужие грехи, шах благословенный!

И еще они сказали:

— Господи, сколько нам еще терпеть этих смутьянов-кипчаков! Все беды от них. На врага идут — наших джигитов с собой увлекают. От врага бегут — наших джигитов на поле брани оставляют, как жертвенных баранов. От их бесконечных споров-раздоров наши головы, величиной с кулачок, распухают, как арбуз. Ну что им еще надо?! Давайте отречемся от них, и всем нашим напастям — конец.

И еще сказали:

— Истребили кипчаки посольский караван с купцами-мусульманами, а вину хотят свалить на нас. Нет! Пусть сами сполна заплатят кун. А решение вынесем мы!

Ох и загудели потом, загалдели, чалмами трясти начали, будто затеяли во дворце зикр — священный танец радения. Все набросились на Иланчика Кадыр-хана и провидца Габбаса, во всех грехах их обвинили. Казалось, вот-вот глаза им выколют, с потрохами сожрут...

В осеннюю пору, нагуляв жиру на вольных пастбищах, кобылицы от избытка крови становятся пугливыми и строптивыми. От малейшего шороха, бывает, становятся на дыбы, сбиваются в косяк, начинают дико ржать, безумно скачут взад-вперед без оглядки. Усмирить их может лишь крепкий курук в руках смелого табунщика. Так вели себя теперь и шахские советники, прекрасно знающие, кто приказал наместнику Отрара вырезать караван с послами.

Шах шахов, восседавший в середине зала на высоком троне из слоновой кости, нахмурил брови, досадуя на своих придворных, от которых не услышал разумных речей и дельных советов. В животе у него заныло от их пустого словоблудия.

«Пора бы им знать, что не кипчаки — причина всех бед Хорезма,— думал он.— Разве не восточный каган — их главный враг?! Мог бы он уже утихомириться, вдоволь нажравшись крови, так нет, засылает своих пронырливых собак, а они — как нарочно — все мусульмане. Для чего это ему надо? То ли издевается над мусульманами, унижает их, то ли страх нагоняет, то ли безмерным куном брюхо свое поганое набить норовит...»

Гнев душил шаха шахов, он сверкнул глазами на советников, и те притихли, точно косяк кобылиц при виде взбешенного жеребца.

— Не чужак нам Иланчик Кадырхан, а наш близкий родич! Только глупец, говорят, близкого хулит. Если вы еще не лишились рассудка, дайте послу достойный ответ!

Советники, услышав слова шаха, мигом повернули течение своих речей в другое русло.

— Да что это за страшилище такое — Чингисхан?!

— Придется пойти на него войной и загнать его назад в утробу, откуда на свет божий вышел! Да и врут все, что войска у него больше, чем звезд на небе. Все так похваляются!

— А я скажу так: они врасплох захватили нашего батыра и пытали его как презренного раба. Это — раз, Иланчику Кадырхану дали слово чести и в заложники прислали новую тангутку. Между тем известно, что пленница не может быть заложницей, а только наложницей. Поступив так, Чингисхан, выходит, не мириться хотел, а ссориться. Это — два. Оскорбил он и шаха шахов Мухаммеда, назвав его своим любимым сыном. Это — три. Сейчас на каждом базаре жужжат, как назойливые комары Инжу, распространяя сплетни и слухи, разные поганые купчишки-лазутчики и шпионы кагана. Они мутят народ, восхваляют своего владыку и говорят непристойности про всемогущего шаха шахов. Приходит пора, когда терпение кончается, рассудок отступает, спокойствие иссякает. Нужно сказать решительное «нет».

— Особенно возмутительно то, что послы кагана — мусульмане. Это задевает честь веры. Получается, будто славные сыны мусульман — предатели и проходимцы. С кем же мы сражаемся? Где сами они, черноухие монголы?

— Пустая затея — с послами языки чесать.

— Снять им шкуры и натянуть на песьи головы!

Шах шахов не прерывал разгорячившихся советников, наоборот, одобрительно кивал головой, внимательно слушал и всем своим видом показывал, что такие речи ему по душе. И тут наконец не выдержал задетый за живое посол Ибн Кефредеж Богра. Стоя у порога, он скрестил руки на груди в знак того, что хочет говорить. Шах шахов небрежно кивнул ему. В той же смиренно склоненной позе посол заговорил, и гулким эхом отозвался его голос под малым куполом.

— Шах Мухаммед! Оскорблять посла — непростительный грех. Это рана в душе, и приведет это вас к не-

отвратимому бедствию. Ваш долг — проводить нас с такими же почестями, с какими нас встречали. Посла приглашают, но не прогоняют. Я не мусульманин и отношусь к племени монголов. Мы, татары,— люди смелые, отчаянные, дерзкие, двурушничество чуждо нам. Татарские тумены— самые верные и преданные Чингисхану. И мы достойны того, чтобы с любым народом говорить как равный с равным. Заткни глотку, шах Хорезма, своим трусливым шакалам и внемли голосу разума. У тебя единственный выбор: или выдай виновника, или встань на путь вражды. Одно из двух!

— Ишь ты!.. Зубы скалит, рыжий пес!

— Хочет на наших черепах орехи колоть.

— Враждой пугает!.. Испугались очень...

— Перерезать бы ему глотку кипчакской саблей...

И тут послышался властный голос:

— Режь!

Все вздрогнули, шум в зале мгновенно утих. Придворные испуганно уставились на шаха шахов. Он был страшен, взгляд его источал злобу и ненависть. И все в ужасе поспешно отвели глаза.

Шах Мухаммед резко подался вперед, словно тигр перед прыжком, и уперся тяжелым взглядом в сидевшего по правую руку хорезмского военачальника Тимур-Малика. Это он сказал последние слова.

— Ну! Не мешкай! Раз сказал — сделай предложенное тобой на наших глазах!

Именно этого больше всего желал сейчас шах шахов. Давно мечтал он об удобном случае, который позволил бы ему расправиться с ненавистным полководцем, столкнуть его в яму. Хорезмшах Мухаммед ненавидел Тимур-Малика за его бесстрашие и дерзость, независимость и прямоту, за любовь, которой тот пользовался в войсках и народе. Сейчас простодушный военачальник допустил оплошность, поступил опрометчиво, и шах шахов ловко подсек его, не упустив момента.

Убивая собственными руками невинного посла, Тимур-Малик сам себе подписывал смертный приговор. На это и рассчитывал шах Мухаммед. Узнав о гибели нового посла, восточный каган, несомненно, потребует кун, мзду за убийство, и тогда шах шахов со спокойной совестью выдаст полководца: «Вот он, убийца твоего верного слуги!» К тому же кипчакская сабля из присутствовавших на совете была только у Иланчика Кадырхана.

Его тоже можно потом обвинить как владельца сабли, которой неосторожный полководец перерезал глотку монгольскому послу. Таким образом, можно одной стрелой убить двух куланов... Шах, довольный собой, усмехнулся про себя, но виду не подал, сохраняя на лице гневное выражение.

Члены Дуан-арза почуяли опасность и затихли в ожидании. У Тимур-Малика был вид человека, неосторожно сунувшего руку в огонь. Он растерялся, помрачнел, досадуя на себя, однако от слов, вырвавшихся невзначай, отказаться не мог. Для честолюбивого батыра это смерти подобно. Убивать посла тоже неразумно и рискованно. Честь, однако, превыше всего.

При общем молчании Тимур-Малик встал и решительно направился к Иланчику Кадырхану, сидевшему слева от трона. Нелегко просить у кого-то саблю, когда на собственном поясе висит. Вот и шел он неуверенно, словно чувствуя вину перед своим ратным другом. Слышны были лишь его тяжелые шаги.

В это мгновение провидец Габбас ловко выхватил из ножен сидевшего рядом наместника Отрара саблю и швырнул ее к ногам шаха шахов. Иланчик Кадырхан даже не успел сообразить, как это случилось. Когда сабля скользнула по ковру к трону, все поняли намек мудрого провидца. Кадырхан, конечно, ни за что не отдал бы своей сабли в чужие руки. Никто из сидящих здесь не мог бы заставить его это сделать. А Габбас хотел, чтобы саблю собственноручно подал Тимур-Малику сам шах шахов. Так он становился главным виновником убийства.

Но шах Мухаммед даже не пошевельнулся. Тимур-Малик подошел к трону, поднял с ковра саблю и, круто повернувшись, направился к послу. Ибн Кефредеж Богра продолжал спокóйно стоять. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Зато оба спутника, подбежав, бросились к ногам шаха, заскулили, начали биться лбами об пол, вымаливать прощение. Они говорили о посольской невинности. Их задача — лишь передать подлинные слова грозного кагана. Они умоляли не губить несчастную душу главного посла и предупреждали, что между двумя странами может вспыхнуть пожар. Напомнили они и про свирепый, мстительный нрав кагана и пышными словами восхваляли при этом великодушие самого прозорливого, самого доброго на свете шаха.

Но неумолим был шах шахов. На непроницаемом, хмуром лице его не было и тени сострадания. Тимур-Малик посмотрел на него, закусил сверкающую саблю в зубах и засучил рукава. По локоть обнажились волосатые руки, потом он взял саблю и дважды взмахнул ею, со свистом рассекая воздух. Лишь после этого он медленно направился к послу.

Каждый шаг его казался вечностью. Ибн Кефредеж Богра стоял как вкопанный. Лишь внимательный взгляд мог заметить смятение в его глазах, где едва заметно сверкали зеленые искорки ненависти. Привычным жестом Тимур-Малик схватил левой рукой посла за подбородок, стиснул железными пальцами, резко задрал его глотку кверху. Посол не сопротивлялся, не уклонялся, застыл в покорно-вызывающей позе. Он презирал своих убийц, презирал саму смерть. Не хотел посол осрамить упрямый и гордый дух своего народа, не хотел унизить священных духов — аруахов, не пожелал просить пощады. Крепко стиснув зубы, открыто смотрел он в глаза смерти. То было истинное мужество. Тимур-Малик так же медленно поднял правую руку. Сабля, сверкнув, впилась острием в напряженную, набухшую синюю жилу на горле...

Кровь посла брызнула, забила упругой струей, омыла грудь хорезмского полководца. Посол грузно рухнул, точно дерево. Тимур-Малик даже не стал вытирать кровь с сабли, повернулся и с отвращением швырнул ее к ногам шаха. Она упала точно на то место, откуда он ее поднял. Тимур-Малик не пошел к своему месту, а, хоходный, неприступный, стремительно вышел из дворца.

Шах шахов поднялся с трона, огромный и неуклюжий, как тень в пору послеполуденной молитвы. Двух послов, лежавших у его ног, он пнул носком сафьяновых сапог, заставив подняться. Потом повернулся к стоявшему за его спиной советнику-писарю Несеби-улы Ахмеду и что-то пробурчал. Злорадная ухмылка скользила по его губам. Чувствовалось, что в эти мгновенья хорезмшах был доволен собой. Надувшись, он вновь поудобней уселся на трон.

Мелко-мелко перебирая ножками, Несеби-улы Ахмед услужливо кинулся в боковую комнату. Вскоре он вышел оттуда, держа в руках зажженный глиняный светильник. Видно, его только что заправили: сосуд с маслом чадил, оставляя за собой темно-бурый след. За главным

советником покорно трусили двое помощников. Он что-то сказал им, и один из помощников, мрачный великан, обхватил тут же одного из послов, заломил ему руки. Несеби-улы Ахмед, дымя глиняным светильником, подошел к дрожавшему в страхе человеку. У посла была большая бурая борода. Несеби-улы Ахмед поднес к ней пламя светильника. Послышался легкий треск, запахло паленым.

Бородач завопил дурным голосом. Советник повертел светильником вокруг подбородка посла и направил пламя выше, к виску. Потом зашел с правой стороны. Черный пепел посыпался на ковер. Любуясь своей работой, Несеби-улы Ахмед чуть отступил назад и увидел, как кожа на подбородке и щеках посла съежилась, сморщилась, точно опаленная шкура, черными точками торчала обуглившаяся щетина. На посла было страшно смотреть. Глаза его выпучились, остекленели, лицо было исполосовано, точно недозрелый бухарский арбуз. Ослепительно белая чалма, оттеняя обугленную кожу лица, выглядела нелепо. Наблюдавшие за этим зрелищем зашептали молитвенные слова, поспешно отвернулись.

Пегая, как куст перекати-поля, борода второго посла так же мгновенно сгорела в пламени светильника. На ее месте осталась багрово-красная кожа. Этот сразу покорился судьбе и не издал ни звука.

Когда Несеби-улы Ахмед, выполнив наказ шаха шахов, отошел в сторону, послышался протяжный, скорбный стон, то ли плач, то ли проклятие, то ли мольба к всевышнему. Звук этот вырывался из груди двух униженных послов, отзываясь в притихшем дворце зловещим эхом. Провидцу Габбасу хотелось уйти отсюда поскорее, чтобы не видеть этой дикой расправы, не слышать скорбного и грозного стона, похожего на проклятие. Но он побоялся сидевшего рядом повелителя Отрара. Иланчик Кадырхан, потемнев лицом, застыл, как каменное изваяние. Трудно было понять, о чем он сейчас думает и что чувствует.

Шах шахов грузно повернулся, обвел всех взглядом.

— Этих псов-предателей проводите до границы и предупредите, чтобы отныне не совались к нам. Пусть поведают своему пустоголовому кагану про наш гнев!

Рослые, грубые шабарманы схватили двух послов с обгорелыми бородами и выволокли из дворца. Шах шахов медленно поднялся, сошел с трона. Члены Госу-

дарственного совета вскочили с мест, стали поспешно расходиться. Так обычно расходятся люди, собравшиеся на веселый той, но невзначай лишившиеся самого близкого человека.

Из дворца сановитые мужи Дуан-арза выходили, пряча друг от друга глаза, глядя на носки сапог, точно похоронная процессия. Спины их согнулись, ноги заплетались. Многие еще не догадывались в эти мгновения о том, что это заседание Государственного совета станет роковым, последним...

Первым догадался об этом провидец Габбас... Сейчас, читая на своей вышке при свете луны вдохновенные строки поэтического сказания — толгау, старый астролог живо представил все происшедшее в тронном зале шаха шахов и расценил это как знамение судьбы, предвещавшее приближение скорбных дней, крушение страны Дешт-и-Кипчак и самого Хорезма.

9

Насквозь прокаленный нещадным зноем, батыр Ошакбай прибыл из далекой летовки-джайляу в Отрар. Прибыл не один — с караваном из ста навьюченных верблюдов и косяком лошадей, которых джигиты-помощники лихо прогнали через ворота Дарбаза. Дел у Ошакбая было немного. Он хотел поклониться священной мечети Кокмардан, ее святым обитателям и сдать летние поборы — зекет подвластных ему аулов. Потом он намеревался проведать хранителя Отрарской библиотеки — престарелого Анета-баба. Доходили слухи, что тот тяжко болен. Многочисленные налоги, взимавшиеся с простого люда, в те времена принимали главные настоятели мечетей. Они все тщательно просматривали, подсчитывали, заносили на бумагу, после чего представляли отчет повелителю. Каждая юрта, из которой струился дым, платила налоги. Они взимались со всех кипчаков, обитавших в прибрежьях Инжу, предгорьях Каратау, низинах рек Чу и Сарысу.

Зекет собирали дважды в год. Первый раз — после весенней стрижки овец, когда скотина на вольных пастбищах нагуляет жир, и второй раз — сразу после осенней случки. Верховный сборщик объявлял размер зекета правителям родов, те распределяли его между аксакалами — старейшинами аулов, а они уже, в свою очередь, доверяли собирать налоги ловким аткаминерам — запра-

вилам. В обратном порядке, снизу вверх, накапливался и поступал громадный зекет, который вливался в казну Отрара.

Ошакбай привел свой караван во двор мечети, лошадей велел загнать в открытый загон, показал их главному настоятелю и сдал по родовому тавру. Потом получил от настоятеля свиток-расписку. Почти весь день ушел на эти хлопоты. Закончив дела, он отправил погонщиков и коневодов по домам, а сам намеревался съездить в Гумбез Сарай. Тут-то неожиданно и встретился ему знаменитый гадальщик по бараньей лопатке святой Жаланаш.

Испытав полную неудачу в предсказаниях, посрамленный Жаланаш уехал из края Семи Холмов и устроился сборщиком налогов в отрарской мечети. Здесь доходы были более надежные. Ошакбай не сразу узнал его. Лишь когда поздоровались за руку, вспомнил по голосу. Заметно изменился этот старик: чалма значительно увеличилась в размерах, в бороде, усах появилась проседь, глаза опухли, зрачки провалились и тускло мерцали в глубине глазниц. Погрузнел он, стал рыхлый, ладони — мягкие, пухлые.

— Я теперь помощник настоятеля мечети Кокмардан,— сообщил Жаланаш.— Ну, а ты как? В здравии ли пребывает твой род? Когда-то я по тебе заупокойную молитву читал... Значит, долго будешь жить, сынок. Так бывает, если о живом человеке говорят, что он умер. Теперь живи, не зная страха ни на том, ни на этом свете...

— Отчего же ты аул покинул, святой?!

— Когда ты исчез, неладно что-то у нас в ауле стало. Любая длинноволосая запросто честь мою задевала, аруахов моих унижала. А там, где баба верховодит, какой может быть толк... Тут и смута началась. Спокойные сны даже видеть разучился.

— А здесь, в городе, видно, тишь да благодать?

— Слава аллаху, сынок! Хорошо тут! Главное — не забыть воздать всевышнему пятикратный намаз, и все блага сами собой на голову посыплются.

— Слыхали, святой? Говорят, Анет-баба в Гумбез Сарае тяжко хворает. Человек он одинокий. Может быть, посочувствуете ему, нужную молитву у изголовья почитаете? Я бы довез вас на своей лошади...

Зрачки Жаланаша совсем куда-то исчезли.

— Но про такого воеводу я не слыхал, сынок.

— Не воевода он — акын!

— Что ты, сынок?! Зачем акынам молитва? Они ведь такие же безбожники, как и другие базарные гуляки-горлодеры, что по аулам шатаются и народ забавляют.

Ошакбай понял, что святой Жаланаш и шагу не ступит, если не соблазнить его динаром. Нехотя поплелся он к коню.

— Могли бы утешить аруахов почтенного старца. Он ведь при смерти...

— Да какой аруах у акына?! Пустобрехи они все, горлопаны. И дух у них бродячий, как у нечистой силы!

Святой подосадовал про себя. «И что за народ пошел! Как хайло разинет, так и клянчит. То отходную ему подавай, то поминальную, то спасительную. Видно, худые времена на пороге. Эдак скоро и бога забудут, и меня в грех введут. Нет того, чтобы сказать: «Святой, будь добр, зайди к нам, отведай своей доли от зимних припасов копченого мяса». У, скряги-крохоборы! Таких скупердяев свет не видывал. Как говорится, рты сухим сеном обтирают. Разбаловали мы нечестивцев: богу за них молимся, говорим: «Ниспошли благодать грешным рабам твоим», суру поем, грехи их замаливаем. Вот и забыли людишки бога, с пути праведного сбились, только и думают о блуде, об убийстве, воровстве и дурмане. На этом свете в разврате погрязли, а о рае мечтают. Видно, и в раю не прочь они ублажать свою поганую плоть. А мы должны страдать за их грехи, отдуваться, пять раз на дню поклоны бить. А что мы за это имеем? Ни услады для души, ни скотины в хлеве. Толчемся, суетимся, как посредник между богом и грешниками. А посреднику не видать ни ада, ни рая, как собственных ушей. Трясемся от неуверенности на волосяном мостике в чистилище».

Святой Жаланаш остро посмотрел на батыра:

— Когда ты потерялся, я, забыв про покой и отдых, и отходную молитву по тебе сотворил, и поминальную. Весь Коран, считай, в твою честь прочитал. А длиннополые твои скаредные женщины и рот мне толком не помазали. Теперь, когда судьба привела тебя в Отрар, не грех бы тебе и отблагодарить меня. Мог бы незаметно оставить подарок у моего порога, коль помнишь добро. Заслужил я небось. Только на золотой трон тебя не посадил, а так все ради тебя сделал. Разве не так?

— Сочувствую вашей обиде, святой. Чего уж там, в долгу я перед вами не останусь,— ответил Ошакбай. Он был явно ошарашен вымогательством святого, растерялся и не знал, что сказать. Одно было ясно: пока не поманишь динаром, не потащишь святого к Анету-баба. А кому нужна такая неискренняя молитва? Ошакбай повернул коня и поехал прочь.

Он ехал по улицам Пшакшы удрученный тем, что ответ его Жаланашу прозвучал жалко, неуверенно, что не сказал он всего, что хотел. «Ох, и глупый же я все-таки! — ругал себя Ошакбай.— Черт дернул меня за язык позвать его к Анету-баба! Да этот святой ногтя его одного недостоин! Тот мудрец, а этот горе-гадатель на бараньей лопатке. Тот поэт — драгоценный камень, а этот святой — ничтожная пыль на нем!»

У Ошакбая душа была чистая, доверчивая. Простодушие часто подводило его. К тому же и в разговоре он всегда терялся, язык был плохо подвешен. То ли оттого, что рос робким, замкнутым, то ли сказалось воспитание молчаливого отца — кто знает, но только в словесной перепалке он неизменно оставался в проигрыше. Сам чувствует: вроде бы есть что сказать, всякие хорошие мысли роятся в голове, а вот изо рта слова вылетают дряблые, беспомощные, совсем не в лад с думами. Получается какое-то мычание вместо плавной речи. Это истинное горе для человека мягкого, смирного. Горе ему, ибо беспощадные друзья-приятели превращают его благородные мысли в насмешку, а старейшины родов запросто перебивают его косноязычную речь. Вот и сегодня трудился в поте лица, караван пригнал, зекет сдал, все честь по чести, а встретился какой-то святой болтун и ни с того ни с сего осрамил, вроде бы даже посмеялся над ним.

«Э, провались все!— с горечью решил Ошакбай.— Пойду-ка сам проведаю давно хворающего Анета-баба, отдам ему поклон и уберусь отсюда до сумерек подобру-поздорову. Скорее бы добраться до аула у подножия Каратау да встретиться с любимой женой...» Ему вдруг явственно представилась крохотная родинка в форме серпа молодого месяца...

Малолюдно было на центральных улицах. Суббота ведь, народ еще толпился на Кан-базаре. Впереди грациозно проплыла женщина под покрывалом, с большим кувшином на плече; в тени изгородей сидели старики;

положив перед собой белые посохи, тряся бородами, вели они нескончаемые разговоры. Сплошь и рядом возвышались здесь крепкие, высокие ворота; чем выше ворота, тем почтенней и богаче их хозяин. Баи, купцы, перекупщики-делдалы стремятся обзаводиться воротами повыше, понарядней да покрепче. За воротами, как правило, большой двор, сад с фруктовыми деревьями, арык с прохладной, прозрачной водой; в углу ограды возвышается продолговатый каменный дом из трех или пяти смежных комнат. Первая — прихожая, где стоят на виду казаны, тренога, посуда, означающие достаток и довольство. Тут разуваются гости. Потом начинается столовая комната, или гостевая, где готовят угощение и принимают гостей; там расстелены узорчатые текеметы, у порога — глиняная печь с вмазанным казаном. Это владение байбише — старшей жены хозяина. Следующая комната — глубинная, самая нарядная: пол там застелен дорогими ворсистыми коврами; вдоль стены — пуховые подушки, в углу — просторная, пышная кровать. Это обитель токал — младшей жены хозяина. Еще дальше, в глухой боковушке, шелестят шелковые занавеси, за которыми томится юная, невинная— ни солнцем, ни ветром не тронутая — прелестная затворница. То ли она вторая токал хозяина, то ли наложница, то ли невеста, дожидающая своего часа,— не поймешь. Проезжая в Отрар и останавливаясь у знакомых, простодушный Ошакбай каждый раз тщетно ломал над этим голову. Сложной казалась ему городская жизнь.

Конь пугливо озирался, стриг ушами, и Ошакбай спешился, повел его под уздцы.

«Мир похож на прохудившееся ведро,— подумал вдруг Ошакбай.— Сколько ни лей — все впустую. Ничего в таком ведре не удержишь. Надо бы заменить дно. А как его заменишь, если и края ведра ржой изъедены, сплошь в зазубринах, и бока помяты, истерты? Да, верно: мир что старое ведро; можно, конечно, черпать им блага жизни, да много ли начерпаешь? Кто-то богат, кто-то беден; один смел, другой безнадежный трус. Что-то дорого, что-то дешево. И все это вертится в бестолковой круговерти. Тут случаются самые диковинные вещи, которые и во сне не приснятся. Порой во славу подлости барабаны грохочут на этом свете. Пойми тут, что к чему! Вот вроде бы порядочный дом с очагом, а в нем томится неведомое существо. И даже не пой-

мешь, кем она приходится хозяину — то ли дочерью, то ли наложницей. Или вот еще как бывает: у базарного делдала, который ради ржавого дирхема дерет горло весь божий день и возвращается домой измочаленный, со сведенными челюстями, таится богатый клад. С таким богатством он мог бы весело прожить свою жизнь. А сколько пустозвонов, кто ради ничтожной славы из кожи вон лезет?! Сколько таких, кто живет собачьей жизнью, не щадит ни себя, ни других, превращает сладость жизни в горькую отраву, уменьшает добро и множит зло?! С чем же сравнить мир после этого, как не со старым, ржавым, бесполезным ведром, выброшенным на помойку?!»

Печальные, безысходные думы одолевали молодого батыра по дороге в Гумбез Сарай. Он свернул к его северной части, где находились крохотные кельи. Там доживал свой век почтенный акын. Низенькое жилище из двух комнатушек-закутков, сложенное из бурого кирпича, казалось заброшенным, убогим. Глина осыпалась, стены потрескались, темнели проплешинами. В тени чирикала бойкая стайка воробьев. Услышав человеческие шаги, они разом вспорхнули, разлетелись, как водяные брызги при ударе ногой. Ошакбай привязал повод к луке седла, а чембур — к матице, выступавшей наружу, и вошел в келью. В передней было сумрачно: оконце выходило на север. Осторожно ступая, открыл он вторую дверь. Старец лежал у стенки напротив двери на узорчатой кошме, сложенной вчетверо.

— Как самочувствие, дедушка? — Ошакбай почтительно придвинулся, тронул сухую, невесомую руку старика. Она была холодная как лед. Сердце батыра сжалось.— Уа, дедушка, слышишь?

— Кто ты такой? — спросил слабым, угасающим голосом старец.

— Не узнаете меня, жырау?

— Голос как будто знакомый... Уж не Ошакбай ли ты?.. Ладони жесткие, шершавые, как напильник... У всех батыров такие...

Ошакбай подсел ближе.

— Я, слава аллаху, пожил...— продолжал старый акын.— Свет повидал. Пора и честь знать... Вам радоваться жизни. А я теперь просто аруах... Живые мощи. Когда уходят сверстники и вокруг тебя пусто, у жизни, оказывается, не остается вкуса...

— Как вы чувствуете себя? — спросил батыр.

Старец, словно силясь что-то вспомнить, долго и пристально смотрел на него. Ошакбай догадался: старый акын пребывал в глубокой тоске.

— Нет у меня больше слов, сынок...

Сказав это, старый акын сразу обмяк, расслабленно вытянулся. Простодушный батыр, конечно, и представить себе не мог, сколько усилий, раздумий, сомнений скрывалось за этими словами многомудрого старца, сломленного возрастом и тяготами долгой жизни. Одно лишь Ошакбай видел: смерть стоит у изголовья старца. Взор его уже потух, на лице скорбь. Не приведи создатель говорить такие слова при жизни: «Нет у меня больше слов...» Ведь человек — глас земли, ее вопль, ее крик, ее песня, ее шумный базар. И если утихнет этот многоголосый базар, если все разом лишатся языка — что интересного в жизни... Все равно что мертвый солончак. Безмолвная душа подобна летописцу, у которого иссякли мысли, или поэту, у которого потух огонь в груди, это стрела, застывшая на тетиве, так и не пущенная в цель. Именно эту горькую истину хотел высказать мудрый старец.

Скрипнула дверь, вошел Хисамеддин. Сняв с плеч просторный чапан, юноша сложил его на краю постели, потом опустился на колени, наклонился к старцу. Тот сразу ожил, просветлел лицом, обрадовался приходу любимого ученика.

— Говорят, какой-то глупец изрек однажды: «Я в тридцать пять лет лишился отца и все равно выбился в люди». Вам так говорить не придется. Я покидаю вас, когда вы уже твердо стоите на ногах. Не бесследно ухожу я из бренного мира: есть кому ступать по моим следам. Не обрывается на мне мой род: есть кому его продолжить. И то сказать: не кюйши я ведь непревзойденный, как мой современник Келбука, а всего лишь скромный жырау, напевавший свои сказы.

— Может быть, табиба позвать?

— Ни к чему... Довольно того, что отмерил мне Тэнгри...

Ошакбай поднялся, начал одеваться. Незаметно для старика сделал знак молодому поэту, сидевшему на пятках у изножья. «Выйди-ка за мной!» — означал этот знак.

Хисамеддин, хрустнув суставами, приподнялся, учтиво простился со старцем. Ошакбай сказал напоследок, что уезжает в степь, в аулы верховья. Осторожно ступая, один за другим направились оба к выходу. Во дворе хлопотал слуга. Ошакбай дал ему динар и строго наказал присматривать за старцем, а если ему сделается хуже, пусть немедленно сообщит правителю города. Отойдя от дома акына, батыр сказал:

— Мне нужно с тобой поговорить, поэт. Давно я собирался, да все как-то не получалось...

— Что ж... в конце этой улицы есть винная лавка. Там и поговорим,— предложил молодой поэт.

Степному кипчаку винные погребки — гуртхана — в диковинку. Ошакбай и представления не имел, что это такое, и потому молча последовал за приятелем. Он все еще находился под впечатлением печального свидания со старым акыном. Они молча шли по длинной улице, один пеший, другой с конем в поводу, не обращая внимания на случайных встречных. Кончилась наконец длинная улица, и на углу они увидели приземистое кирпичное строение. Здесь и размещалась гуртхана.

Ошакбай не оставил коня на площади перед гуртханой, а отвел его в тень, подальше от посторонних глаз. Потом он снял чапан, бросил его на седло. Хисамеддин повел его в гуртхану. Едва переступили порог, как густой, пряный аромат ударил в ноздри.

Комната была довольно просторная. Вдоль стен тянулись деревянные возвышения, между ними проход. Специальные возвышения застелены ворсистыми коврами; на них разбросаны пуховые подушки. Вся обстановка как будто говорила: «Развались поудобней и пей, сколько душе твоей угодно!» Стены тоже сплошь были завешаны коврами; ярко-пламенный цвет в сочетании с причудливым орнаментом радовал глаз.

Они прошли в глубь питейного заведения и расположились справа на возвышении. Хисамеддин снял кебисы и поднялся на ковер в мягких ичигах. Ошакбай был в сафьяновых сапогах; если, придерживаясь приличия, снять их, то останешься босиком. Поразмыслив немного, он все же решил не разуваться. Только поднявшись на возвышение, он обратил внимание на то, что под ними был не сплошной, цельный ковер, а отдельные разноцветные паласики. Каждый посетитель располагался на своем паласе, не задевая ногами соседний.

Из двери к ним навстречу сразу же быстрым шагом подошел хозяин гуртханы и, поклонившись, спросил: «Что вам угодно, дорогие гости?» Хисамеддин попросил арбузного вина. Ошакбай же предпочел бузу из проса. Напротив них сидел какой-то черный человек и, покачиваясь, гнусавил что-то себе под нос. Чуть поодаль, развалившись, спал густобородый купец. Словом, народу здесь было немного. Вскоре возвратился хозяин заведения с двумя кувшинами; за ним семенила размалеванная красотка, держа высоко над головой медный поднос со сладостями — сушеный урюк, орехи, хурма. Жеманно изогнувшись, поставила она перед джигитами поднос, и ноздри Ошакбая уловили пьянящий запах тонкого шелкового платья...

Хисамеддин сразу поднес кувшин ко рту и начал жадно пить. Батыр попробовал было последовать его примеру, однако буза будто камнем застревала в горле. Хорошо, что женщина вовремя удалилась, а то бы опозорился при ней батыр. Начала бы она, на него глядя, похихикивать, да бровями играть, да глазки строить, да голову ему кружить. А он бы и вовсе смутился. Разглаживая голенище, Ошакбай уставился на носок сапога, мрачно задумался. Давно подтачивала его одна дума, навевала тревогу. Сердце его вдруг ни с того ни с сего будто к горлу подкатило; во рту он почувствовал привкус ядовитой кучелябы.

— Скоро год будет, как я сбежал из монгольского плена,— начал он.— Рассказываю, стараюсь представить все, как было, а никто и слушать не хочет. Отмахиваются, и только! А ведь надо что-то предпринять, собрать лучших сынов кипчаков, посоветоваться и какой-то заслон перед врагом поставить, пока эта сила нас не смела. Иланчик Кадырхан молчит, тайны своей не раскрывает. Подождем, говорит, решения Дуан-арза. А от Дуан-арза этого никакого толка. Я в этом убедился... А ты — поэт, божьим даром осененный. Поведал бы народу в стихах про лихую беду, надвигающуюся на нас. Всколыхнул бы огненными словами сердца!..

— Об этом ты хотел говорить со мной, батыр?

— Да, про это.

— А с кем ты еще говорил?

— Про все, что видел, рассказал я советнику Дуан-арза Караше. А он, нечестивец, ответил: «Монголы сначала с кипчаками схлестнутся. Пусть грызутся, как со-

баки, хоть в клочья друг друга разорвут. А мы будем наблюдать со стороны. Кто победит, с тем и подружимся. Победителю — слава, побежденному — горе». Так прямо и заявил этот хорезмский торгаш!..

— Верно, значит, сказано: родичей почитай на расстоянии.

— Второй человек, к которому я обратился,— Огул-Барс. Этот храбрец так сказал: «Притаимся и будем ждать. Авось пронесет. А если приедет к нам монгол, воздадим ему почести, чапан уважения на плечи набросим. Сердце его смягчится, смилостивится, и уберется он восвояси».

— Значит, этот человек надеется ублажить змею, вползшую в дом, сытной кормежкой?!

— Поговорил еще со святым Жаланашем. Тот ответил: «Какая разница, кто нас проглотит — монголы ли, китаец-шуршут ли? Один черт! Все это великие народы, не нам чета. Пусть придут, проколют всем вам ноздри и погонят на одной веревке, как верблюдов. Так вам и надо! Возгордились, вознеслись: «Мы кипчаки! Мы кипчаки!» Бога и веру забыли. Пусть покарают вас монголы!»

— Ну, этот старый поганец весь народ готов продать за один лишь динар. Святоше безразличны судьбы родины и сородичей. Его бог — нажива.

— Поделился я своими думами и с батыром Кипчакбаем. Этот безумец горло драть начал: «Аттан! Немедля оседлаем боевых коней и в пыль развеем монгольскую орду!» Слыхал, будто он сейчас войско собирает в своем краю.

— Этот только и знает, что лезть напролом,— заметил Хисамеддин.— Что же делать кипчакам?..

От бузы Ошакбай захмелел. Живот скрутило так, будто чеснока объелся. Он чувствовал, как буза терзала пустой желудок. Не-ет, не по нему этот напиток сатаны. Нарочно отказался он от вина, думал, что буза послабее, а получилось скверно. В это время подплыла к ним все та же базарная красотка, поставила перед ними еще один кувшин, колокольчиком залилась. Ошакбай застывшими глазами заглянул в кувшин, и сердце точно подскочило к горлу. Он вскочил в испуге, судорожно схватил свою

шапку, бросился к выходу. Вот бы сраму было, задержись он хоть на мгновенье...

Как ошпаренный выскочил он за порог, и тут буза хлынула изо рта так, что он зашатался. Казалось, бешеный пес метался в животе, и его никак не удавалось оттуда выгнать. Пот лил ручьями с непривычного к питью Ошакбая. Наконец ему полегчало, и он осмотрелся. На краю улицы, поблескивая бритыми головками, стояла и с любопытством разглядывала его ватага мальчишек. «Стыд-то какой! — с досадой подумал Ошакбай.— Зубы скалят дети...» Хотел он было закричать на них, но тут из гуртханы вышла все та же красотка, подошла с кувшином в руке. Ошакбай испугался, отшатнулся при одном только его виде.

— Прополощите рот холодной водой, и сразу все пройдет! — сказала она. При этом красотка опять загадочно хихикнула, и смех ее был похож на журчание воды.— Зайдите в боковую комнатушку, я вам постель приготовила, занавес опустила,— шепнула красотка. При этом она так посмотрела на него, что у батыра заиграло сердце. Но в это время кто-то из бритоголовых сорванцов завопил:

— Дядя! Конь ваш развязался... Вон уходит!

Ошакбай вмиг забыл про красотку, оглянулся. Апырмай, эдак и пешим немудрено остаться. Конь и в самом деле отвязался. Красотка с кувшином засмеялась, губки вытянула:

— Оу, батыр, зачем тебе конь, когда за занавесом ждет тебя молодая кобылица?! Хи-хи-хи...

Но Ошакбай бросился за уходящим конем...

Конь, видимо, проголодался. С раннего утра был он под седлом. Пока Ошакбай пригнал скот во двор мечети, сдал настоятелю зекет, вел пустой разговор с гадальщиком на бараньей лопатке Жаланашем (пусть бродячие псы мочатся на его могиле!), проведал больного Анета-баба, пировал с приятелем-поэтом в гуртхане, время перевалило уже далеко за полдень. Теперь вот пришло наказание за то, что позволил себе увлечься бестолковой суетой. Бежит он теперь за скакуном, на потеху людям сафьяновыми сапогами поскрипывает и кричит: «Кур-р, кур-ру!» Конь же, тоже не привыкший к городу, пугаясь прохожих, навострил уши и перешел с трусцы на рысь.

Батыр бежал за ним и громко, во все горло, звал,

Конь наконец резко остановился, обернулся, узнав хозяина, сам пошел навстречу, вытянув шею. Ошакбай подкрался, ловко поймал чембур. Гнедой лишь выкатил влажный фиолетовый глаз. Батыр не стал наказывать коня, подтянул подпругу, взобрался в седло и направился к воротам Дарбаза. Не думал сейчас Ошакбай ни о молодом поэте, отуманившем сознание хмелем, ни о базарной красотке, с таким старанием прислуживавшей ему. Тоска и одиночество овладели его душой. Тягостно степняку в большом, многолюдном городе чувствовать себя одиноким, без друга и попутчика.

Никак не давала ему успокоиться одна мысль, приставшая к нему, как древесная смола. «Что ожидает в будущем тех, кто наслаждается вином, любовью, сочиняет стихи, забавляется охотой? Незаметно и бестолково разменивают они свою молодость. А какой смысл в такой праздной жизни? Какая расплата последует за этим?» В те безмятежные юные годы билась в его груди маленькая, как жаворонок, мечта. Она радостно трепыхалась, расправляла крылья, готовилась взлететь. А теперь — он это совсем недавно почувствовал — умолкла та мечта: то ли улетела невзначай невесть куда, то ли задохнулась в темном закоулке души, так и не расправив крылышки... Кто знает... Потерял он, словом, мечту свою...

Конь бежал легко, стремительно, и этот привычный бег постепенно увлек Ошакбая. Он расправил плечи, выпрямил грудь, оглянулся. Время стояло предзакатное, солнце уже пряталось за домами. Ошакбаю вспомнился вчерашний ужин. Молодая жена сварила свежее мясо вперемешку с куском — величиной с кулак — конской колбасы из зимних припасов. Мясо дымилось на плоском деревянном подносе. Продолговато разрезанный кусок сочного копченого казы посередине постного свежего мяса походил на ломтик дыни. Темно-коричневые большие и малые дома, от которых рябило в глазах, и багровый диск солнца, медленно и неотвратимо погружавшегося в город, напомнил Ошакбаю вчерашнюю чашу с мясом. В самом деле, Отрар был похож на гигантскую чашу, над которой клубился пар. Только теперь почувствовал батыр, как он проголодался. С утра, считай, твердой пищи не жевал, а пенистая мутная буза лишь прополоскала желудок.

Ошакбай выехал из городских ворот, перевел коня на крупную рысь. Пожалуй, этаким ходом — пока взойдет луна и переберется на правую часть небосвода — он достигнет Шелкового пути.

Шелковый путь и Отрар — братья-близнецы. Они неразрывны, неразлучны; друг без друга они все равно что пища без соли, что зачин без самой повести или прерванная на полуслове кисса — сказание. Когда появился Шелковый путь, он тут же помог рождению, становлению и расцвету могучего города Отрара, питал его соками жизни и прославил на все четыре стороны света. И Отрар тоже не остался в долгу. Он создал великую книгу путешествий, отправил по Великой дороге свои богатые караваны, разослал во все концы света своих неугомонных легконогих путешественников — жиханкезов, рассыпал вдоль караванного пути свои города, укрепления и рабаты. Так они и прославили, воспели друг друга. Если Шелковому пути угрожала опасность, она никогда не миновала каменных стен и ворот Отрара. Опустошительные походы и шумные шествия, начинаясь в Отраре, вздымали пыль по всему Шелковому пути.

Ой-хой... И теперь неописуемо красива Великая дорога, залитая лунным светом. Пылит, вьется, тянется бесконечно, словно наперегонки с Млечным Путем. Конца и края ей не видать. Как длинный дастан она, воспевающий необъятность вселенной. В стихотворных строках этого дастана запечатлелись и горе, и радость, и смех, и плач, и восторг, и уныние, и благородство, и подлость, безумство храбрых и страсть влюбленных. Если сравнить священную землю Дешт-и-Кипчак со звучным, гулким кузовом большой домбры, то Шелковая дорога — ее звонкие струны, а Отрар — деревянная подставка, кобылка древнего музыкального инструмента кипчаков. Все вместе создают они гордый кюй, ласкающий душу и слух, окрыляющий мечту, наполняющий сердце. И слушает сейчас этот древний кюй славный потомок кипчаков батыр Ошакбай!

По всему Великому пути, опоясавшему пышные чресла ночной степи, за дальними перевалами, на расстоянии конских скачек друг от друга, встречаются стоянки для караванов. Здесь многоязычно беседуют, тревожа

сонную тишь и жадно вдыхая ночную прохладу, путники — божьи странники, живые аруахи дорог. Окутанные глухой, непроглядной мглой, сидят они тесным кругом и ведут нескончаемые разговоры, любуясь костром посередине. Кто-то наигрывает на свирели, кто-то пиликает на кобызе, кто-то, захлебываясь от восторга, живописует чудеса и красоты, увиденные им в несравненном Отраре. В этот час кипчакская сторона Шелковой дороги очень красива, полна таинственного очарования, словно переполненная своим счастьем женщина. Она возбуждает в душе путника смутное желание, лишает сна, навевает истому. Манит, зовет куда-то к голубеющему вдали под зыбким светом Млечного Пути горизонту...

И тогда каждому, у кого в груди бьется сердце, захочется спешиться, упасть ничком на дорогу, обнять ее, как единственную, желанную любовь. Захочется прижаться к ее груди, чтобы услышать стук ее сердца. Это и есть истинная страсть путешественника... Так вот, если упасть на обочину дороги, прижаться ухом и вслушаться, то можно услышать дивный сказ о незадачливом путнике, с верблюда которого на полдороге свалился тюк, о нелепой гибели батыра, о верности женщины, состарившейся в ожидании не вернувшегося из путешествия мужа, словом, о большой жизни, о далеких предках, о беспечных потомках. Только так можно постичь мудрую тайну Отрара...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Славный мой народ — где он ныне?
Могучий мой каган — где он ныне?
Какому мне служить теперь владыке?..

Иоллык-Тегин

1

Ошакбай проснулся в испуге, точно мурашки по спине пробежали. Непонятная тревога пронзила сознание. Он прислушался. От тишины звенело в ушах. Через открытый тундук юрты виднелись поблекшие, поредевшие звезды. Значит, близился рассвет. Луна уже зашла, от ее молочных лучей на нижних решетках юрты и следа не осталось. Ошакбай осторожно пошарил вокруг. Рука его коснулась молодой жены — воительницы Баршын. Коса ее — тяжелая, тугая, холодная — свесилась с подушки.

Он стал мучительно соображать, отчего же проснулся, что его испугало. Однако причин для беспокойства как будто бы не было, и он решил, что, должно быть, просто приснился дурной сон. Тут же подумалось, что пора бы за конем присмотреть. Из Отрара Ошакбай вернулся накануне и поставил коня на привязь, намереваясь спозаранок отпустить его попастись. От города до своего аула на дальней летовке батыр ехал резвой рысью почти целые сутки. Обычно после такого изнурительного пути он спал крепко и безмятежно. Теперь же ему не давало покоя смутное предчувствие надвигающейся беды. Вставать, однако, не хотелось, жаль было

расставаться с теплом и пьянящей истомой супружеского ложа. Ошакбай залез под одеяло и медленно погрузился в сладкую, приятно обволакивающую душу дрему.

Уже засыпая, он вдруг уловил странный, щемящий душу звук: будто ветер подул в иссохший карнай. Ошакбай насторожился, затаил дыхание, напряженно вслушался. Томительно-протяжный, тягуче-скорбный звук уже явственно донесся издалека, постепенно переходя в жуткий вой, от которого ежилась кожа на голове. Этот дикий звук — не то вой, не то плач — поплыл над степью и вдруг резко оборвался. Ошакбай мигом стряхнул сон, вскочил и растормошил, разбудил крепко спавшую Баршын:

— Когда вы прикочевали сюда?

— Как это — когда?

— На джайляу когда прикочевали, спрашиваю?

— Ну, вчера только. После обеда... Да что случилось, батыр-ау?! Ведь ты же сам приказал обновить стоянку...

— Ты звук этот... слышала раньше?

— Батыр-ау, что за ужас?!

Ошакбай поспешно сунул ноги в сапоги, выскочил из юрты. Конь рвался с привязи, нервно бил копытом. Выхватив на ходу копье из-за обхватного аркана юрты, батыр бросился к коню. Баршын вынесла лук, колчан и подала мужу, когда он, затянув подпругу, на мгновение оглянулся назад. Сама она, встревоженная, уцепилась за стремя.

— Разбуди всех в ауле! Пусть седлают коней. Я поднимусь на перевал, посмотрю... Будь осторожна, Баршын!

Сказав это, молодой батыр взлетел в седло, отпустил поводья. Тулпар, нетерпеливо подплясывавший вокруг коновязи, с места рванулся пущенной стрелой. Во весь опор мчался Ошакбай к перевалу Суюндык в предгорьях Каратау, туда, откуда восходит солнце. Позади осталась в смятении Баршын, точно тростинка на шальном ветру. Коса под тревожным утренним ветром обвила ее шею и тонкий стан...

Ошакбай задохнулся от встречного ветра, припал к гриве. Бывает, в предрассветный час прочертит черное небо ослепительно яркая звезда. На звезду падучую был сейчас похож и всадник в белой исподней рубахе на бы-

строногом коне. Тело Ошакбая горело, точно объятое огнем. От топота литых копыт и свиста ветра шумело в ушах. Конь, распластавшись, летел над равниной, стремительно приближаясь к перевалу. Погасли последние звезды, забрезжил рассвет.

Неожиданно Ошакбай увидел двух матерых пустынных волков. Быстрой рысью спустились они с увала. Здесь, в степи, пустынные волки не водились. Видно, это они тоскливо и протяжно выли-скулили в ночи. Еще через мгновенье, когда расстояние между ними сократилось, батыр увидел, что они несли в зубах двух волчат. Впервые приходилось видеть Ошакбаю, как перед рассветом ошалело мчались куда-то волки со своим выводком.

Заметив всадника, волки остановились и уставились на него в упор. Волчат — совсем еще крохотных, беспомощных — опустили на траву у ног. Более крупный волк — должно быть, самец — ощетинив загривок, прижался брюхом к земле, напряженно вытянулся. Видно было, что он готовился к смертельной схватке. В застывших, настороженных глазах зверя горела лютая ненависть.

Да, горы Каратау не были обителью пустынных волков. Они рыскали, главным образом, в безбрежной и безлюдной пустыне Акраш. Она — исконный, благодатный край, родная их колыбель, приволье для отчаянных набегов. В зарослях баялыча волки ловили лисиц, под кустами саксаула щенились волчицы. По крутым барханам, на вершинах которых подолгу застревало солнце, рыскали звери без оглядки, чувствуя себя полновластными хозяевами пустыни. Упруго стелилась под их ногами верблюжья колючка, мягко шелестел песок, а над головой колобродили, сатанея от скуки, дикие смерчи. И вдруг откуда ни возьмись — то ли с неба свалились, то ли из-под земли выскочили — нагрянуло бесчисленное двуногое племя. Клацая клыками, обрушились на волков свирепые псы, засвистели в воздухе остроконечные стрелы, и настали для хозяев пустыни времена тяжкие, как страшный сон. Многие собратья повисли на поясах и тороках двуногих. Завыли волки, обращая морды к луне, и кровь стыла в жилах от этого воя. Меткие стрелы, пущенные из кривых луков, и поджарые, как высохший кол, гончие погубили множество единокровных сородичей, погнали их из родного края. Отравлен-

ные ненавистью, рыскали теперь пустынные волки по увалам-лощинам Каратау.

Все это Ошакбай понял безошибочно и резко повернул тулпара. Если уж лютые волки, прихватив волчат, спешно покидали исконные места, тоскливым воем проклиная судьбу, значит, и в самом деле неотвратимое бедствие надвигалось сюда — на просторы страны Дешт-и-Кипчак. Жаль стало вдруг Ошакбаю четвероногих изгоев — измученных, бездомных, со впалыми боками, до крови истертыми лапами, с человеческой мукой в глазах. Волчья стая пронеслась мимо, а Ошакбай все же решил подняться на перевал, посмотреть на ту беду, которая вспугнула обитателей пустыни.

Когда он выскочил на косогор, багряные лучи восходящего солнца ударили ему в глаза. Там, вдалеке, точно из-под самого солнца, шло-надвигалось невиданное в этих местах войско. Сердце у батыра сжалось. Войско обтекало горы, уходило всей массой куда-то дальше.

От напряжения у Ошакбая слезились глаза. Он отъехал за скалу, затаился, приставил ладонь ко лбу. Да! Вот он — враг! Вот она — беда! Это лишь первая волна страшного горя, обрушившегося на степь... Сердце гулко забилось в груди, дыхание стеснило. Войско постепенно растворялось в сизой утренней мгле, удалялось, точно могучая река, входившая после половодья в берега, и — наконец — вовсе исчезло. Ошакбай хорошо понимал, что это лишь обман зрения. На самом деле войско не удалялось, не отступало, а, наоборот, неотвратимо приближалось к перевалу Суюндык. Так обычно кажется при восходе солнца: то, что видишь в первое мгновение вдалеке, постепенно обволакивается зыбким туманом и отдаляется, пока вовсе не исчезнет из глаз. Но стоит только солнцу подняться на длину аркана, как дымка над землей рассеивается, тает, и то, что недавно казалось далеким, едва ли не за горизонтом, вдруг очутится совсем близко, почти что рядом. Ошакбай, не раз искавший в степи пропавший скот, сталкивался с этим загадочным явлением природы. Совершенно ясно, что бесчисленная рать, сейчас едва различимая на краю земли, уже в самое ближайшее время окажется за этим перевалом.

Утреннюю тишь расколол вдруг резкий, страшной силы крик. Вздрогнув, батыр оглянулся. Силясь увидеть то, что происходило вдали, он не заметил того, что тво-

рилось рядом. Между тем страшное уже было здесь, внизу, в узкой лощине. Там не на жизнь — на смерть бились двое: конный и пеший. Конный размахивал секирой, и она зловеще сверкала на солнце. Пеший отбивался копьем. Он показался Ошакбаю знакомым, точнее, не сам пеший, а его манера боя, то, как он владел своим оружием. Забыв про опасность, Ошакбай хлестнул камчой коня. Склон на этом месте перевала был крутой, и спускаться надо было осторожно, шагом. Конь, понимая это, упирался, напрягался, приседал, мелко-мелко перебирая ногами. Эдак, пока он доберется до теснины, неизвестно, чем может кончиться поединок. Неподалеку от места боя бился в предсмертных судорогах рыжий конь со стрелой в брюхе.

Ошакбай, не отрываясь, следил за поединком. Конный яростно налетал на пешего, будто норовил затоптать его. Размахивая секирой, он стремился ударить наверняка, но копье всякий раз отводило удар. Пеший копейщик, однако, должно быть, выдохся. Он уже не нападал, а только защищался. Ошакбай закричал, надрывая глотку:

— Осторожней! Береги копье, а то перерубит!

Пеший на мгновение оглянулся. Ошакбая он не узнал, но, почувствовав, что кто-то спешит ему на помощь, сразу же ободрился, усилил натиск.

Ошакбай хорошо понимал, какая опасность грозит пешему. Копьем следует действовать быстро, резко, иначе противник запросто перерубит древко секирой. А у пешего другого оружия не было. На поясе его болтались лук и пустой колчан. Заметив спускавшегося с увала верхового, чужеземец еще больше рассвирепел. В безумной ярости бросил он коня прямо на копье. Казалось, он был готов пожертвовать конем, лишь бы срубить голову дерзкому противнику. Пеший молниеносным движением успел поднять копье и, не задев коня, увернулся, отскочил в сторону. Секира сверкнула над его головой и со свистом рассекла воздух. В тот же миг пеший ткнул верхового копьем в бок, и тот сразу согнулся, припал к гриве, перевалился на другой бок и рухнул оземь. Однако пеший при резком выпаде потерял равновесие, поскользнулся и выронил тяжелое копье. Видимо, ему почудилось, что он насмерть сразил врага, и потому он расслабился. Но враг с непостижимой легкостью вдруг вскочил на ноги, набросился на противника и лов-

ким ударом отсек кончик копья. Теперь в руках кипчака осталось одно древко, которым он, отступая, отбивался от секиры...

Конь Ошакбая наконец достиг подножья. Съехавшее седло его оказалось почти у загривка. Ошакбай торопливо снял лук, достал из колчана стрелу, поставил ее на тетиву и прицелился. Седло скользило под ним, тулпар шел неровно, скоком, и целиться было трудно. Он увидел, как чужеземец еще раз занес грозную секиру, как опустил ее, и древко копья треснуло, переломилось. Совсем безоружным остался кипчакский батыр перед монгольской секирой!.. И секира вновь сверкнула на солнце, впилась в его грудь. Чувствуя себя виновным в гибели соплеменника, зная, что он уже опоздал, Ошакбай пустил стрелу наугад. Она не попала в цель.

Тогда Ошакбай неистово закричал и пустил коня в намет. Монгол от страха выронил секиру, пошатнулся и обеими руками зажал свой раненый бок. Даже не успев разглядеть Ошакбая, он рухнул как подкошенный, в предсмертном ужасе вдруг поняв, что кровь залила все его нутро. Действительно, из раны на его боку не вышло ни единой капли крови.

Ошакбай, осадив коня, спрыгнул, бросился к кипчаку, склонился над ним и сразу узнал. Это был прославленный батыр Кипчакбай из города Тараза...

Один Ошакбай оплакивал смельчака, первым собственной грудью защитившего, заслонившего родной край от вражеского нашествия. Если бы кипчаки не разбрелись по степи, как табун кобылиц, в который ворвался молодой драчливый жеребчик, если бы не разлетелись врассыпную, как стайка напуганных воробьев, а выступили против общей напасти в единстве и дружбе, не валяться бы их головам по разным саям — оврагам. Отстояли бы они родную землю и себя бы сберегли. Батыр Кипчакбай со своими людьми бесстрашно сражался, отступая, от самого Тараза, все его джигиты полегли на поле брани, а он, оставшись один, бился до последнего, потерял коня, оружие и упал теперь с рассеченной грудью. Сидя у изголовья погибшего батыра, Ошакбай только теперь заметил, как тот был изможден, изнурен бесконечными лишениями. Кипчакбай был похож на обугленный кряжистый саксаул, точ-

нее, на его пенек, не догоревший на костре. Он потух, погас раньше времени. На большом пальце правой руки батыра виднелись следы зубов. Видно, в отчаянии, чувствуя близкую гибель, кусал он собственный палец, а может быть, делал так от досады и боли, видя, как враг топчет родную землю. Кто знает...

Однако некогда было оплакивать гибель соплеменника и ровесника. Приближался враг. Ошакбай перенес тяжелое, бездыханное тело батыра Кипчакбая на вершину бугра: там, внизу, могилу размыл бы весенний паводок. Он быстро соорудил из диких камней могилу, укрепил ее со всех сторон тяжелыми булыжниками — получился небольшой каменный курган.

Ошакбай спешил: солнце к этому времени поднялось уже на длину аркана. Он поправил седло и поехал назад — вверх по крутому склону. Солнце пригревало затылок и спину. Узкая тропинка петляла, сворачивала то налево, то направо. Седло теперь скользило назад, на лошадиный круп, и Ошакбай плотнее прижимался к спине тулпара.

Тяжело взбираться на горный перевал. Такой подъем под силу только выносливым коням, привыкшим к каменистым тропам. Другие мгновенно выдыхаются, сбивают себе копыта и останавливаются, обессиленные, на полпути. Ошакбай, дотягиваясь, протирал коню глаза. Не раз приходилось ему спешиваться и вести гнедого под уздцы. Сыромятный повод резал ему ладони, джигит задыхался, хватал воздух, чувствовал неприятный привкус во рту. Чудилось ему, будто скалы двигались, колыхались. Ноги скользили, и раза два он едва не сорвался в пропасть. И сорвался бы, если б не конь, сильный и устойчивый, выросший в горах и чувствующий там себя как дикий горный баран. Не однажды одолевал он крутизну перевалов. Гнедой упорно карабкался вверх, ноздри его раздулись, бока потемнели от пота.

Спеша на помощь ровеснику, Ошакбай не предполагал, что так труден будет обратный путь. Когда уже начало колоть в висках, он наконец-то взобрался на хребет. Здесь вольно гулявший холодный ветер едва не сорвал войлочный колпак с его головы. Ошакбай с облегчением выпрямился, перевел дыхание, погладил коня и впервые глянул вниз.

В глазах зарябило от множества лощин, ущелий, острых выступов скал. Окутанные легкой дымкой, они, ка-

залось, шевелились, извивались гигантской змеей. Пот застилал глаза батыру. Ошакбай вытер платком лицо, посмотрел назад. Вражье войско уже приближалось к огромной черной равнине за перевалом. Отовсюду, со всех холмов, увалов стекался, надвигался враг.

Ошакбай поспешно взобрался на коня, пустил его волчьим скоком. Гнедой то и дело спотыкался о бесчисленные валуны. Батыр огрел его камчой, и конь отчаянно рванулся, перешел на галоп. Надо было скорее добраться до аула, поднять безмятежный, ничего не подозревающий народ, немедленно отправить порученца с сообщением в Отрар. А сам он решил с горсткой джигитов встретить врага у подножья перевала, попытаться хотя бы немного задержать его. Он будет биться насмерть, как это сделал славный Кипчакбай... Прискачет порученец в Отрар, сообщит черную весть: «На подступах — враг!» Отрар-то поднимется, а другие? Ошакбай живо представил себе, как воспримут эту весть в шахском дворце. Один из влиятельнейших членов Дуан-арза — Государственного совета — военачальник Караша скажет: «Пусть монголы сначала с кипчаками схлестнутся. Кто победит — к тому и примкнем». А наместник Испиджаба бек Огул-Барс предложит: «Примем их, как дорогих гостей, с почетом. От лести сердца их и растают, смягчатся — небось не каменные...» Эх, что с ними поделаешь... Ну, а у Жаланаша, гадателя на бараньей лопатке, одна песня: «Пусть пробьют нам ноздри и погонят во главе каравана, как покорных верблюдов. А то возгордились мы, зазнались, бога забыли...» Такая вдруг досада взяла Ошакбая, так тоскливо на душе у него стало, что он в отчаянии заскрежетал зубами. Точно ледяным ветром продуло вдруг грудь.

2

Молодая женщина, запалив рослого, статного жеребца, примчалась в город Отрар. Березовое седло до крови натерло ее бедра. Приближаясь к воротам, она натянула повод, перевела жеребца на легкую рысь. Только теперь она обратила внимание на глубокий и широкий — ни один конь не перепрыгнет — ров, избороздивший привольную степь, плотно опоясавший крепостные стены. Ров был по самые края заполнен водой. Жеребец про-

стучал копытами по деревянному настилу висячего моста. Проезжая ворота, всадница заметила, что городская стена значительно выросла и укрепилась. На вершине ее, крутой, как спина архара, копошились люди: не то каменщики, не то дозорные. Снизу они казались величиной с палец и смутно темнели в зыбкой вышине. Караванов, тянущихся, как прежде, из города и в город, не было видно. Время было смутное, тревожное, город затаился, ждал: вот-вот нагрянет свирепое чудовище, возмечтавшее проглотить весь мир.

Баршын было недосуг любоваться грозным обликом города, подготовившегося к предстоящим испытаниям. Ровной, быстрой рысью, пугая прохожих на улице, направилась она прямо к Гумбез Сараю. Прискакать прямо к дворцу считалось худым и дурным признаком, поэтому Баршын заранее подобрала повод, попридержала жеребца. На почтительном расстоянии от дворца она спешилась. От долгой верховой езды гудели натертые ноги, будто солью посыпали раны. Пошатываясь, неловко ступая, она подошла было к главной каменной лестнице и там почтительно остановилась. Трое мужчин шли ей навстречу по ступеням. Баршын узнала их: впереди шел сам повелитель Отрара, справа — его преданный слуга Максуд, по левую руку — полководец Караша из Хорезма, прибывший, вероятно, для оказания помощи. Заметив молодую воительницу, все трое остановились. Иланчик Кадырхан вопросительно посмотрел на нее. Женщина учтиво поклонилась:

— Благословенный хан! Монгольские тумены направляются сюда через перевал Суюндык.

— Чье войско идет впереди? — спросил Иланчик Кадырхан, соблюдая невозмутимость и спокойствие.

— Астафиралла! Какой ужас! — побледнел полководец Караша.

— Впереди идет меркитский хан Арслан,— ответила Баршын.

— Где сейчас батыр Ошакбай?

— Со своими джигитами бросился на врага.

— Безумец! — сказал полководец Караша.— Десятком шапок хочет преградить путь реке...

Повелитель недовольно покосился на него. Ухмылка мигом сползла с бабьего лица хорезмийца. Пряча глаза, он искоса смотрел на красивую женщину.

Иланчик Кадырхан повернулся к Максуду, приказал:

— Ударьте в оба барабана!

Это означало, что надвигается опасность и все войско должно быть наготове.

— Кадырхан-ака, разве недостаточно пока одного барабана? — робко подал голос полководец из Хорезма.

Тревожная дробь одного барабана означала, что войска собирать еще не нужно, достаточно запереть ворота и быть начеку.

— Я должен встретить врага в открытой степи. Для войны кипчакам нужен простор. Хорониться в крепости пока еще рановато.

— Как бы не погубить войско!

По велению правителя Отрара глашатаи, выстроившиеся перед Гумбез Сараем, повесили призывные барабаны на переднюю луку седла и спешно разъехались по улицам, оглашая город тревожной дробью. Гонцы с приказом повелителя поскакали к предводителям войск. К полудню уже тысячи кипчаков, оседлав боевых коней и обвешав себя оружием, выезжали отряд за отрядом за город. Остроконечные копья ослепительно блестели на солнце, пышно развевались султаны на железных шлемах, в такт конскому шагу колыхались туго набитые колчаны и увесистые луки на поясах. Сарбазы оделись в кольчугу, засучили правые рукава, спины прикрыли щитами. Было немало и таких, кто вооружился проще — лишь палицей либо дубиной, саблей или пикой. В предвечерний час в открытой степи собралось десять тысяч вооруженных воинов.

Возглавить полевое кипчакское войско решил сам Иланчик Кадырхан, доверив охрану города военачальнику Караше из Хорезма. Вместе с чем-то удрученным нукером Максудом повелитель вышел из дворца и направился к предводителям войск, дожидавшимся его на площади. У всех них были отборные, быстроногие конитулпары, грудастые, узкозадые, поджарые, не нуждающиеся в понукании камчой. Наметом, вздымая пыль, понеслись они из города. При виде приближавшегося повелителя разбросанное по степи войско мигом выстроилось в ряды, где воины были будто нанизанные одна к другой бусинки четок. Все застыли в ожидании ханского повеления.

Иланчик Кадырхан резким движением выхватил из ножен стальной меч, длиною в добрый кулаш, поднял

его над головой. Над степью поплыл воинственный гортанный вопль:

— Аруа-а-ах-х!..

— Атта-аа-ан!..

Обоюдоострый меч в руках повелителя, блеснув, застыл острием на восток. Огромный тулпар под ним ударил широким литым копытом, выметнув комки земли, и рванулся вперед. За ним всесокрушающим селевым потоком понеслось многотысячное войско. Плотное облако пыли, низко стелясь, мгновенно покрыло бескрайнюю степь, и вскоре, поднимаясь все выше и выше, расширяясь, разрастаясь во все стороны, затмило и солнце. Неистовый грохот сотрясал землю, понемногу он слился в сплошной, ровный гул, напоминающий ливень, потом превратился в глухой низкий рокот, похожий на басовитый звук верхней струны домбры и, наконец, обернулся далеким монотонным звоном.

Наступили сумерки. Зажглись, замерцали первые звезды. С ними будто перекликались, перемигивались бесчисленные огоньки на всей земле. То был враг, преодолевавший перевалы Каратау и теперь безмятежно расположившийся в степи возле костров и в походных кибитках. Кипчаки в едином порыве мчались до полуночи, однако так и не добрались до вражеских костров. Повелитель приказал остановиться. Стало ясно, что этой ночью им не встретиться с врагом. В лучшем случае они смогут добраться до него лишь к утру, измучив и себя, и коней. Поэтому благоразумнее было остановиться на привал, остудить лошадей, передохнуть самим, а уже на рассвете начать кровавое побоище.

Над зеленой долиной в приречье Буген и Шаян, где травы росли по пояс, больше не пел, не заливался предвестник утра — жаворонок. Вся живность в том краю погибла ночью под копытами десяти тысяч лошадей. И ковыль не омылся в ту ночь росой, не пели, не трещали кузнечики. Только фыркали, тревожно всхрапывали кони.

Тонкий луч утреннего солнца ярко полоснул тугой зеленый ворс долины. И сразу же все вокруг зашевелилось, заколыхалось, ожила черная земля. Кипчаки готовились к бою.

В стане врага было по-прежнему спокойно. Видимо, монголы решили всласть отдохнуть после долгого и изнурительного перехода через горный перевал. Иланчик

Кадырхан одиноким столбом застыл на вершине холма, долго и пристально вглядываясь в даль, все норовил представить себе хоть приблизительно численность врага. Однако все было черно у горизонта от края до края, и повелитель Отрара каждый раз сбивался со счета.

Даже примерно нельзя было предположить, сколько же их, монголов. Иланчик Кадырхан определил направление ветра. Непонятное волнение, похожее на страх, овладело им. Это его удивило: раньше такого с ним не случалось. Даже выходя один на один на поединок, не ведал он беспокойства или сомнения. Багряные лучи больно ударили в глаза, значит, нужно спешно выступать, пока еще солнце поднялось невысоко, иначе встречные лучи будут слепить глаза воинов и сковывать их движения.

На холм к нему поднялся Максуд и доложил, что войско готово к выступлению. По приказу повелителя воины были разделены на три группы. Первую, ударную часть войска возглавляли самые отчаянные, бесшабашно смелые предводители, из тех, кто без страха бросается один против сотни. Эта часть должна была ударить на врага в лоб, вклиниться в его ряды, внести смятение. Вторую часть возглавил Иланчик Кадырхан. Ей предстояло обрушиться на врага с севера. Под натиском кипчаков незваные гости наверняка начнут отступать к правому, обрывистому берегу реки Буген. Третью часть войска поручили Максуду, который не должен был сразу ввязываться в бой, а выжидать удобный момент. Если — не приведи господь! — первые две части войска окажутся разбитыми, тогда он обязан по возможности сдержать натиск врага. Так было теперь задумано повелителем Отрара, так как кипчаки издревле предпочитают сражаться в открытой степи.

Шел, по хиджре, шестьсот шестнадцатый год, месяц рамазан, или, по кипчакскому летосчислению, год зайца, месяц осенней случки, или, по христианскому календарю, одна тысяча двести девятнадцатый год, первая неделя сентября.

Иланчику Кадырхану подвели коня, и он сел в седло. Под его тяжестью тулпар качнулся, начал перебирать ногами. Обе части кипчакского войска сорвались с мес-

та и стремительно понеслись туда, где из-за горизонта узкой полоской выглянул огненный диск. Вражеский стан темнел на расстоянии человеческого крика.

От гулкого топота копыт монгольские дозорные перепугались. Приглядевшись, они увидели громадную черную тучу, надвигавшуюся с запада. Пока опомнились они, взнуздали лошадей, черная туча обернулась скачущим на них войском. Дикий, отчаянный вопль огласил степь. Лошади, отпущенные попарно на выпас, с испуга шарахнулись в сторону. Меркиты, из которых состояло передовое монгольское войско, всполошились, со всех ног кинулись за ними, но напуганные лошади понеслись в степь, смешались с головной частью кипчаков. Неожиданно оказавшись пешими, меркиты, ошалев от страха, повернули назад. Грозная кипчакская конница в мгновение ока домчалась до вражеской стоянки, смяла передние ряды, обрушилась яростным шквалом. Казалось, могучий поток захлестнул, ввергнул в черную пучину походные кибитки. Но в задних рядах враг успел опомниться и оседлать коней. Недавнее стойбище превратилось в поле брани.

И все же в несколько раз превосходящий численностью кипчаков враг был ошеломлен неожиданным натиском и бестолково суетился поначалу, не в силах сообразить, где кипчаки, а где мыки, меркиты, тангуты и другие воины монгольского разноплеменного войска. Все смешалось, и стрелы, пущенные наугад в спешке, зачастую поражали своих. Однако растерянность продолжалась недолго. Полководец меркитов, многоопытный и хитрый Арслан, приказал трубить в рог и поспешно отступать. За ним понеслись и передние, основательно потрепанные и поредевшие сотни.

Иланчик Кадырхан, готовясь ударить с левого крыла, вдруг отчетливо понял, что мешкать нельзя, иначе уцелевшие меркитские отряды успеют отступить и присоединиться к свежим силам в тылу. Нельзя было предоставить врагу возможность собраться в единый кулак. Он пустил коня во всю прыть. За ним тесными рядами поскакали лучники, со свистом пуская во все стороны кипчакские стрелы и тем самым защищая, оберегая своего повелителя.

Галопом ворвались, вклинились они в самую гущу яростной сечи. Заплясал в руках Иланчика Кадырхана обоюдоострый дамасский меч. Он опасался про себя, что

отвык от меча, разучился рубиться, но меч молнией сверкал над его головой, легко поражая врагов с обеих сторон. Он даже не напрягался, не рубил с потягом, а, казалось, только слегка покалывал, и было даже странно, что все так просто удавалось и что очень скоро добрый десяток коней, потеряв седоков, умчался от него прочь. Вдруг он почувствовал острую, пронзительную боль в бедре. Стрела, вонзившись в тугую мышцу, застряла, задрожала оперением. Он потянул было ее, но монгольская стрела засела глубоко. Тогда он отсек древко и сразу же забыл про рану. Перед собой он видел только врага — его рассеченную надвое конницу. Однако меркиты не разбегались врассыпную, точно брошенная горсть пшена, а, отступая, упорно отбивались. И все же ряды их были смяты по краям, сокрушены, раздроблены, а это едва ли не главное в таком бою. Самый важный миг — обратить врага в бегство, ввергнуть его в панику. Тогда нельзя только дать ему прийти в себя, нужно кромсать, дробить его на мелкие части. У кипчаков это называется поднять, задрать подол. В самом деле, какой же это воин, если у него подол задран. Тогда остается только его добивать, топтать копытами коней.

Звон сабель постепенно стихал, и все явственней слышалось надсадное кряхтенье копейщиков. Значит, близкий, рукопашный бой шел на убыль, расстояние между противниками увеличилось. С обезьяньей ловкостью увертывались меркиты от кипчакских копий. С непостижимой быстротой вертелись они в седлах, припадали к гриве, ныряли под брюхо, прижимались то к одному, то к другому боку, скользили по крупу коня. И не только уклонялись, а выжидали удобный случай и дрались как львы. К тому же они были одеты в толстые, просторные шубы, пропитанные краской нарпос. Эту краску добывали из корней горной травы, называемой в народе верблюжьим лопухом. Шубы становились твердые, заскорузлые и надежно защищали меркитов от острых стрел и даже от копья.

Не так-то просто было поразить юркого, вертлявого, тщедушного с виду меркита в несуразно огромной шубе, служащей как бы панцирем.

Бой проходил с переменным успехом, падали и меркиты, и кипчаки, и повелитель Отрара понял, что битва может затянуться. Нужно было что-то придумать. Он осмотрелся: ряды меркитов заметно поредели. Вся се-

редина их была основательно вырублена кипчакскими саблями, оставшиеся в живых отступали на правое крыло. Лишившись поддержки сзади, меркитские дьяволы в шубах быстро выдохлись и ударились в бегство. Только куда им было бежать?..

Меркиты бросились к правому обрывистому берегу Бугена. Хитрость Иланчика удалась: враг оказался в ловушке. Здесь, у самого края обрыва, чужеземцы понесли сокрушительное поражение. Окруженные со всех сторон, они стали легкой добычей кипчакских воинов...

Кипчаки ликовали, празднуя удачу. Затравленного, загнанного в тупик малочисленного врага рубили неистово. Иланчик Кадырхан искал глазами предводителя меркитов — Арслана, надеясь увидеть его в самой гуще обреченных сарбазов. И вдруг кто-то из воинов крикнул: «Вон хан бежит!»

И верно: слева на длинном рослом жеребце помчался кто-то прочь диким наметом. Всадник был дороден, могуч телом, и Иланчик Кадырхан понесся вдогонку. Казалось, пика пролетела над полем битвы. Оба предводителя, впереди Арслан, сзади Кадырхан, взлетели на вершину холма. В глазах повелителя Отрара потемнело: сказалась рана в бедре. «Наверное, много крови потерял»,— подумал он с опаской. Но не то было главной причиной; темно стало у него в глазах от несметных вражеских полчищ, зловеще черневших впереди...

Враг надвигался бесшумно, сплошной массой, колыхаясь — от края до края,— точно черный камыш под ветром. Казалось, вот-вот Арслан благополучно уйдет от погони. От досады, что победа оказалась кратковременной и что меркитский хан может ускользнуть от расплаты, Иланчик Кадырхан пришел в ярость и достал стрелу из колчана.

Заметив своих, шедших на подмогу, Арслан явно ободрился, он чуть замешкался, попридержал коня, и расстояние между ним и преследователем стремительно сократилось. Кадырхан поставил длинную стрелу на тетиву и натянул лук с такой силой, что наконечник коснулся большого пальца левой руки. Стрела полетела и со свистом вонзилась в затылок Арслана. Всем грузным, могучим телом подался вперед меркитский хан, едва не свалился с коня, но все же выпрямился и резко повернул назад. Страшно разинув рот, поехал он навстречу Кадырхану, будто хотел ему непременно что-то ска-

зать. Кадырхан круто остановился, достал вторую стрелу. Но тут Арслан вдруг, раскинув руки, пал к гриве сивого жеребца. Из затылка хана торчал тонкий ивовый прутик с прибрежья Инжу...

Нельзя было задерживаться ни на мгновение. На месте повернув коня, Кадырхан галопом спустился в низину. Здесь он встретился со своими джигитами, спешившими к нему на выручку, и приказал немедля отвести всех кипчакских воинов с поля боя...

Сердце повелителя Отрара сжалось, когда он увидел несметную вражескую конницу, свирепой бурей надвигавшуюся на него. Он мчался за своими воинами, отступавшими в растерянности и смятении. Плохой признак, если в сердце воина закрадываются сомнения и страх. Сколько таких примеров в длинной истории войн, когда смутный страх заставлял именитых, прославленных полководцев грызть от досады и отчаяния руки и разом лишал их надежды и славы. Если войско поддается панике, оно становится беспомощнее ребенка. Будь оно даже намного сильнее противника, все равно сражается оно робко, неумело. Как бы тогда воин ни старался, сабля его впустую рассекает воздух, стрела летит мимо цели, копье не поражает врага, конь выходит из повиновения. Все старания в таком случае — точно ножом по камню. Тогда и говорят: счастье отвернулось.

К каким только средствам ни прибегали, чтобы вытравить из сердца страх, поднять боевой дух. И плач, и вопли, и священные духи предков — все шло в ход. Много раз ломали над этим головы непревзойденные полководцы, но выход находился не всегда. Нечто похожее на панику среди своего войска почувствовал сейчас и Иланчик Кадырхан. Воины отступали в беспорядке; кони на каждому шагу спотыкались о трупы. Конечно, в таком состоянии невозможно принять бой, только напрасно погибнут многие кипчаки. Пока единственное спасение в том, что враг не может их догнать. Однако расстояние между отступавшими кипчаками и стремительно наступавшими грозными, как селевой поток, монгольскими туменами все заметнее сокращалось.

Отступая, сражаться невозможно. Селевой поток мгновенно захлестнет и проглотит убегающую волну. Значит, нужно собраться и всеми силами нанести врагу

встречный удар. Но пока что Иланчик Кадырхан не стал удерживать войско, он старался по мере возможности выиграть время.

Пусть отступающие подойдут поближе к частям Максуда, пусть своими глазами увидят, какая сила стоит за их спиной. Тогда и страх развеется, и надежда появится, и воины ринутся в бой с прежней яростью и отвагой. Главное сейчас — преодолеть страх. Иланчик Кадырхан пристально посмотрел на бегущих джигитов и батыров, и сердце его точно кровью облилось, досада огнем опалила душу. Хмурым взглядом обвел он холмы и бугры в темнеющих пятнах крови. Он ждал вестей от порученца, посланного к Максуду. Натянув повод, крутанул он коня на месте, встал лицом к врагу. Другие полководцы, следуя его примеру, тоже остановились, собрали воинов, выстроили их и здесь и там в ряды. Кипчаки готовились к решительному бою...

Монгольские полчища, только что преодолевшие перевалы Каратау, узнали о стычке передового меркитского войска с кипчаками лишь поздним утром. Но, узнав об этом, в тот же миг сели на коней и отряд за отрядом поспешили на помощь меркитам, желая схлестнуться с кипчаками в открытой степи. Впереди своих туменов монголы, как обычно, высылали отряды подчиненных им народов и союзников. Первый многотысячный отряд возглавлял султан Бауршик; он ехал постоянно одвуконь и в бою попеременно пересаживался то на одного, то на другого коня. Сражался он, не зная усталости, и с седла не слезал со вчерашней ночи. Спускаясь с перевала, он нежданно нарвался на дерзкий кипчакский отряд. Эти бешеные псы преградили ему путь у входа в ущелье и отчаянно рубились до самых сумерек. Многие сложили головы в той теснине. Но — аллах милостивый! — как заскулил от досады уйгурский султан, когда, изрубив кипчакских наглецов, все же упустил двух-трех, ускакавших на быстроногих конях! Да и как тут было не подосадовать, если один из удравших был его кровный враг, заложник Ошакбай! Ах, поздно он спохватился! Глядя на то, как тот ловко орудовал копьем, с каким бесстрашием обрушивался на противника, султан тогда еще озадаченно подумал: «Где я видел этого безумца?!» В это время один из

смертельно раненных кипчаков, судорожно цепляясь за гриву коня, крикнул: «Прощай, друг Ошакбай!»

Бауршика точно палицей по голове хватили. Он было бросился в погоню, но конь под ним был измучен долгим переходом. В дикой ярости он распорол своему жеребцу брюхо, бросился ничком на землю и заплакал злыми слезами. Тут подоспели нукеры, подвели свежих коней. Теперь, попеременно мотаясь на двух конях, ехал он впереди и настойчиво искал своего бывшего заложника.

Следующую часть вражеского войска вел некий предводитель рода из Семиречья Тажибек, прозванный «Дородным» за свое необъятное брюхо, похожее на огромный бурдюк с перекисшим кумысом. Любимым блюдом его было теплое, с дымящейся кровью сердце только что зарезанной лошади и цельное свежее кобылье молоко. Но был он еще и непревзойденным лучником, так что запросто сбивал войлочную шляпу с головы всадника на расстоянии полета стрелы. Со вчерашнего дня брюхо его опало, и Тажибек ехал угрюмый. Всю дорогу мерещилось ему большое дымящееся лошадиное сердце. Колчан его был туго набит стрелами, и он всякий раз беспокойно нащупывал его руками. Так всегда бывало, когда он жаждал крови.

Предводитель третьей части был джунгарин Кадан. За ним покорно трусил один из сарбазов. Впереди четвертой части войска ехал Алак-нойон, еще более громоздкий и огромный, чем лошадь под ним. Со стороны казалось, будто вылепили на лошади из глины подобие камня-стояка и воткнули в него вместо рук и ног бревна. Бритая голова нойона поблескивала на солнце, кожа на черепе напоминала не то обгорелую, не то порезанную саблей иссохшуюся шкуру. Невозможно было себе представить более страшного человека. Изредка Алак-нойон останавливался и, оборачиваясь всем туловищем, ругал своих воинов, тянувшихся за ним, как цыплята за наседкой.

Пятая и шестая части именовались туменами, потому что их предводители и сами воины были выходцами из монгольских племен. Полководцев звали Унер-Гулижа и Гугус Гулижа. Главным оружием у них были луки и арканы. Дальнего врага они ловко поражали стрелами, на ближнего набрасывали петлю, стягивали с ло-

шадей и волочили по земле. Арканы в их руках были самым грозным оружием.

Седьмой тумен возглавлял Тулен-жерби, сровнявший с землей три знаменитых города — Малый Сагын, Средний Сагын и Большой Сагын. В Золотом шатре восточного кагана Тулен-жерби занимал особое место: он сидел напротив потрясателя вселенной. Редкие полководцы удостаивались такой чести, причем многие, боясь навлечь на себя гнев кагана, норовили сидеть в стороне, боком. Тулен-жерби был к тому же находчив и мудр, умел говорить. То ли именно этот его дар пришелся кагану по душе, то ли он высоко ценил его ратные достоинства, но, как бы то ни было, хан ханов обещал после взятия Отрара объявить Тулена-жерби нойоном, хотя тот и не приходился ему сородичем. Тулен-жерби благодарил всевышнего и за это. Иначе ехать бы ему в передовых частях, как Арслан или Бауршик, первым затевать кровавую сечу и оказаться под копытами кипчакских коней. Благоразумнее все же держаться позади передового войска. А будет на то воля кагана, так и нойоном он станет, и управлять начнет из Отрара всем кипчакским племенем!..

Восьмой тумен еще даже не спустился с гор Каратау. Его вел прославленный нойон Шики-Хутуху. Вместе со своими воинами он участвовал главным образом в грабеже и мародерстве, когда уже какой-нибудь город взят и ворота открыты настежь. Этот тумен расправлялся с безоружным мирным населением. Основная его забота была пополнить каганову казну, собрать побольше драгоценностей и золота. Обоз у тумена был громоздкий, тяжело нагруженные верблюды тянулись длинным караваном, воины разжирели, погрязли в роскоши. У каждого сарбаза в поводу шло по нескольку лошадей. Многие из воинов не только не участвовали в битвах, но даже и не видели серьезного побоища. Они лишь обеспечивали добром и женщинами могущественных нойонов и сами втихомолку обогащались.

Главные девятый и десятый тумены отдыхали сейчас в густых зарослях прибрежья Шу. Во главе их находились непобедимый Субудай-бахадур и Джебе. Вдоль берега стояли шатры; едва заметно колыхались шелковые с кистями занавеси; над очагами вился дымок; все живое упряталось в тени. Воины купали в реке лошадей. Субудай лежал на пышных коврах и гадал на ку-

малаках. Размешав горсть блестящих отполированных кумалаков, он рассыпал их на белую шкуру, потом неуклюжими, корявыми пальцами вновь сграбастывал их и начинал делить на три кучки. Потом, расположив кучки в ряд, долго и отрешенно глядел на них, закатив глаза, думал.

Субудай-бахадур решил проверить свои сомнения. А сомнения касались его юной жены, которая не давала ему нынче ночью спокойно спать, представившись во сне. Была она дочерью меркитского хана Туктихана, бежавшего от монголов. На берегу реки Иргиз предателей настигли и всех перерубили. Жену Туктихана, пышнобедрую ханшу, Субудай подарил кагану — пусть ублажает похоть с женой врага, а юную дочь взял себе. Новая жена взбодрила его старое тело, зажгла в жилах огонь молодости. Нынче ночью она приснилась ему почему-то голой. Это насторожило и испугало полководца...

В первой кучке был нечет, круг замкнулся, значит, молодая жена жива и здорова. Во второй кучке два кумалака легли рядом, попарно, торчком. Это означало, что она пребывает в веселом, радостном состоянии. «А с чего это сучка голову задирает?» — проворчал с досадой Субудай. Сбоку опять вышел нечет: по три в каждом ряду. Ойпырмо-ой, что же это получается? В самом низу остается один-единственный кумалак!.. Рука у полководца дрогнула, повисла в воздухе. Он не спешил убрать одинокий кумалак. «А-а... то-то же!... У этой сучки, выходит, подол задран. Неспроста, значит, голой во сне мне явилась. Попалась, видать, в лапы какому-нибудь бахадуру, стала чьей-то забавой!» Субудай в сердцах смешал кумалаки, отшвырнул от себя, обнял колени, помрачнел. За шатром послышались голоса. Он вскинул голову. Вошел слуга, скрестив руки на груди, поклонился.

— Светлейший! К вам просится нойон Тогишар.

— Впусти! — бросил Субудай и, стряхнув печаль, вытер старческие слезы в глазах.

Неслышно вошел в юрту молодой нойон, по-собачьи зорко обшарил глазами шатер, опустился на одно колено, склонил голову. Хотя по своему чину он мог говорить, как равный с равным, но нойон почитал возраст Субудая. Такова была воля самого кагана.

— На склоне Каратау мы столкнулись с кипчакским войском. Неожиданно, исподтишка обрушилось оно на

нас. Отряд Арслана разбит наголову. Сейчас ведут бой с кипчаками султаны Бауршик и Тажибек. Боюсь, что без помощи нойонов они не выстоят. Как быть?

— Сколько войска у кипчаков?

— Тысяч десять, пожалуй, будет. Пока перебили их только половину.

— Ну, тогда и эти справятся. Если же до вечера не одолеют кипчаков, отправишься сам вместе с нойоном Алаком!

Тогишар, ни слова не сказав в ответ, отступил к выходу и только там повернулся. Он ничего не терял. Пусть пока бьются Тажибек и Бауршик, пусть их потреплют лихие кипчаки, как растеребленный клок шерсти, а потом он легко прихлопнет обескровленных врагов одной войлочной шляпой и станет победителем. Вся добыча — лошади, оружие — достанется ему. Да и весть о его победе дойдет до слуха самого кагана. А там — кто знает — может быть, именно ему поручат править побежденными кипчаками.

Однако не суждено было осуществиться сладкой мечте нойона Тогишара, красивой птицей промелькнувшей в его мыслях: желанная добыча камнем застревала в горле, и от этого тошнило кровью. То, что и не снилось ему в самом страшном сне, случилось перед самым закатом солнца.

Кипчаки, построившись тесными рядами, клином врубились в войско Бауршика и разорвали, рассекли его, как сопревшую кошму. Разметав врагов в едином порыве, они тут же обрушили свой удар на войско Тажибека. Первые ряды монгольских союзников были опрокинуты копейщиками, потом ураганом засвистели кипчакские стрелы, и враг дрогнул, повернул коней, пустился наутек.

Сарбазы Тажибека скакали, мешками свалившись с седел набок, и никакой силой невозможно было их удержать. Подбитой змеей, лишенной яда, отдельные группы еще изредка робко наскакивали на кипчаков, но это было беспомощное сопротивление. Враг понес поражение, но и кипчакское войско было потрепано основательно. Однако кипчаки держались тесно, плотно, на ходу смыкая поредевшие ряды, действовали слаженно, дружно. Бауршик и Тажибек надрывали глотки, пытались всеми способами остановить убегавших сарбазов и повернуть против разгорячившейся кипчакской конни-

цы, но усилия их были тщетны. Сарбазы в панике хлынули назад, к приближавшимся навстречу им монголам, обрекая себя на их злорадство. Бесславно потерявшие свои войска предводители буквально плевались кровью от ярости.

Кипчаки остановились и тут же начали отступать. Ввязаться в бой с отборными туменами монголов было сейчас бессмысленно. На середину освободившегося поля выехал одинокий всадник и, высоко подняв огромное копье, громко крикнул:

— Единоборство! На поединок!

Это был батыр Ошакбай. Он только недавно успел примкнуть к своим и теперь кричал, вызывая смельчака из вражеского стана на поединок, чтобы дать кипчакам хоть небольшую передышку.

— Бауршик! Выходи один на один.

И враг остановился, лихорадочно собирая оставшиеся силы. Бауршик узнал батыра и сразу же выехал перед своим истерзанным войском. Он спешился и приказал подать свежего коня. Ему подвели саврасого жеребца, поджарого и быстрого, как молния. Бауршик в тугой узел связал конец узды, подтянул подпругу, сел на жеребца и привязал лук к седлу. Бедром он зажал копье, выхватил саблю из ножен. Оба войска застыли, затаили дыхание; каждый воин чувствовал в душе, что надежда на победу в большой мере зависит от поединка этих двух батыров. Сердца у воинов забились в ожидании рокового исхода. Бауршик в ответ на вызов противника тоже хрипло закричал: «На поединок!»

В древние времена противники выходили на поединок каждый со своим излюбленным оружием. С годами степной обычай изменился, правила усложнились. Теперь выбор оружия определял уже тот, кто принимал вызов. Зачинщик поединка обязан был сражаться тем же оружием, что и враг. Ошакбаю ничего не оставалось делать. Копье, которым он владел лучше всего, пришлось зажать под бедро и взяться за саблю. Он подал знак, что к бою готов.

Разгорячив коней, батыры вихрем поскакали навстречу друг другу. Бывает, что исход поединка решается сразу, в первой же стычке. У них так не получилось, лишь послышался звон железных сабель. Во второй раз они сошлись более тесно, закружились на месте, завертелись рука к руке, сабля к сабле. Ошакбай

видел клочья пены у рта противника. Бауршик видел только налитые кровью глаза Ошакбая. Он понимал, что обязан любой ценой поразить врага именно саблей, ибо несдобровать ему, когда дело дойдет до копья. Тогда с Ошакбаем уже никто не сладит.

Подумав об этом, Бауршик еще яростнее замахал саблей, но встречный удар был нанесен с такой же страшной силой. У него сразу заныло плечо, запылала ладонь, озноб прошел по всему телу. С трудом удалось ему удержать саблю и в последний момент резко завалиться набок. Кончик сабли Ошакбая лишь задел и срезал переднюю луку седла. Батыры опять разъехались. Когда они сошлись в третий раз, Бауршик, изловчившись, одним махом расколол щит противника. По условиям поединка после третьей попытки предстояло менять оружие. Заворачивая жеребца, Бауршик заметил, что Ошакбай сунул саблю в ножны и схватился за копье. Сердце султана сжалось. Он явственно ощутил, как длинное древко со стальным наконечником пронзает ему грудь. Это был дурной признак. И тогда, отшвырнув саблю, Бауршик спешно снял с седла лук.

По рядам кипчаков прокатился ропот. По правилам поединка противники стреляются из лука в самом конце. К тому же Ошакбай остался без щита, и поразить его было проще простого. В пылу боя батыр Ошакбай не обратил внимания на коварство врага. Крепко зажав копье и весь подавшись вперед, он бросился на султана Бауршика. Тот не выдержал, повернул жеребца и пустился наутек. Теперь загудели, зароптали монголы. Ошакбаю было достаточно приблизиться на расстояние одного лошадиного корпуса, и он бы одним ударом, будто шляпу с головы, сбил, столкнул бы с коня противника. Бауршик увертывался, ускользал, точно ртуть на кошме, и успел-таки на всем скаку пустить стрелу. Всего лишь на вершок не дотянулся Ошакбай копьем до груди противника. Стрела угодила ему в правую руку, выше локтя, и он выронил копье. Бауршик поскакал дальше.

Ошакбай круто завернул коня, наклонился, доставая копье, и только было выпрямился, как вторая стрела вонзилась ему в низ живота и застряла где-то у самой поясницы. Батыр припал к гриве тулпара, не выпуская копья из рук. Ликующий Бауршик помчался к своему войску.

Из рядов кипчаков выскочила на поджаром белом скакуне молодая женщина и, громко плача, помчалась к смертельно раненному батыру. Подскочив, она поддержала падающего с коня Ошакбая. Это была Баршын. От скорбного плача женщины у кипчаков содрогнулись сердца. Гневный вопль поплыл над полем брани. Все войско в трауре вонзило в землю копья. Иланчик Кадырхан, молча наблюдавший за поединком, помрачнел. Он сознавал: начнись сейчас бой — кипчакам придет конец. До захода солнца оставалось еще столько времени, сколько нужно для того, чтобы вскипятить молоко. По степным правилам битва может продолжаться лишь до заката солнца. Вдохновленный победой своего батыра и оправившийся враг может быть особенно опасным. Тем более, что он жаждет смыть с себя недавний позор.

Иланчик Кадырхан решительно выехал на середину поля, покружился на месте, вызывая на поединок достойного соперника. Только так можно было сберечь войско от неминуемой гибели. Ничего другого в голову ему сейчас не приходило, а спокойно взвесить все на весах рассудка не хватало времени. Мощным, рокочущим басом, от которого вздрогнули враги, Иланчик Кадырхан троекратно прокричал грозное слово: «Единоборство!»

Против хана, по правилам, может выходить на поединок только другой хан. Сам каган находился еще далеко от места побоища. Значит, сражаться с предводителем кипчаков обязан был кто-то из монголов. Здесь находился ближайший соратник кагана, его «правое око» — нойон Тогишар. Ему и предстояло совершить подвиг. Таков был неписаный ратный обычай, благословленный предками.

Нойон Тогишар выехал на поединок, как обреченный. При первом же столкновении сабля его сломалась пополам, а когда кони сшиблись вторично, голова нойона покатилась по кипчакской земле.

Сразу завопили, раздирая глотки, монгольские воины, завыли от скорби и боли, бросились к обезглавленному Тогишару.

Закатилось солнце, надвинулись сумерки. Вдалеке тоскливо ржали осиротевшие кони. Отовсюду доносились стоны и крики раненых. Иланчик Кадырхан спешно собрал уцелевшее войско. Из десяти тысяч сарбазов

едва осталось четыре с половиной тысячи. Правда, и у монголов вышли из строя два с половиной тумена. Если бы каждый кипчак всегда сражался бы как в этой битве, врага можно было отразить. Иланчик Кадырхан сегодня убедился в этом. Теперь же он принял решение срочно отступать в Отрар.

Повелитель Отрара подозвал Максуда и приказал: «Отбери сотню джигитов на крепких, быстрых конях и оставайся здесь на ночь. Проследи, чтобы всю ночь горели костры. А на рассвете спешно отступи!» Это был старый прием. Враг, глядя на костры, будет всю ночь готовиться к новому сражению, торжественно хоронить своего нойона, сооружая над его могилой курган. Время будет выиграно.

Иланчик Кадырхан повелел остальному войску тронуться в обратный путь. Сарбазы покинули усеянную трупами Бугенскую равнину. А на рассвете горстка кипчаков, прихватив тело батыра Ошакбая, тихо и скорбно въехала в ворота Отрара.

3

В сущности жизнь похожа на древний отрарский арык: вначале понемногу разрушается русло, размываются берега, потом он начинает зарастать сорной травой, а со временем и вовсе исчезнет с лица земли. Так и жизнь...

Проходит лето, яркое и нарядное, уступает свои владения осени, грустной, задумчивой; ржавыми пятнами покрываются листья; плывут-кружатся за тучами тучи; не однажды наполняются водой и вновь высыхают бесчисленные уличные арыки. И все эти перемены никому особенно не докучают, никого не удручают и не тревожат. Жизнь человеческая как сон — зыбкий, смутный, легко и быстро забываемый. Босиком по мягкой травке пробежит короткое, как миг счастья, детство; потом прошумит, прошуршит зелеными листьями недолгая молодость; повеет первой любовью, ласковой, томной, как легкий ветерок со стороны Инжу в вечерний час. Но поторапливают, погоняют, сменяя друг друга, такие прекрасные мгновения жизни. Ускользают, просачиваются куда-то и исчезают бесследно, безвозвратно. А в душе человека время непременно оставляет свою печать, оставляет зарубку, отметину. Юная тангутка нынче тоже

пребывала в печали и смятении. Она была похожа на травинку, рано потянувшуюся к солнцу, рано напившуюся благодатных соков и преждевременно зачахшую, увядшую. Извелась в тоске прекрасная пленница. Сегодня опять она долго гуляла по Отрару и вспоминала родину...

Говаривала мать-покойница: любовь — всего лишь страсть, чем больше страсти, тем сильней и ненасытней любовь. Отец возражал: любовь — не безумство, не вспышка, а взаимность, уважение и согласие двух любящих сердец. Кто знает... Для нее любовь обернулась мукой; она источила душу, изранила сердце, отравила молодость. И вот одна-одинешенька мыкает она свое горе в подземном гареме под городской мечетью Кокмардан.

Зашел бы к ней пораньше повелитель, она поговорила бы с ним в последний раз открыто, не таясь, излила бы ему все, что накопилось в сердце. Ни разу не удавалось прелестной тангутке высказать своему властелину свое самое сокровенное, желанное. Сколько раз порывалась она открыть ему душу, но каждый раз забывала обо всем на свете, едва он появлялся у нее.

Погруженная в свои думы, она не заметила, когда и как вошел повелитель. Он стоял в тени и молча смотрел на нее. При виде его все мысли разом вылетели у нее из головы, в растерянности она даже не встала с места.

Иланчик Кадырхан, которого юная тангутка полюбила до самозабвения, сам подошел к ней. Он был в походной одежде: кольчуга, сапоги, подол чапана в пыли. Огромный, сильный, он двигался тяжело, устало.

— Когда вы из похода вернулись? — опустив глаза, спросила тангутка. Голос ее слегка дрожал, бледные щеки сразу покрылись румянцем.

— На заре.

— Войско в целости?

— Лишь треть вернулась.

Тангутка опустила голову. Раньше бывало, когда он приходил к ней, она бросалась ему на шею, звонко и радостно смеялась. Сейчас же она не осмелилась так поступить и почему-то чувствовала себя виноватой перед кипчакским ханом.

— Они, что ли? — спросила она, бледнея.

— Да, они!

— Значит, теперь вы меня казните?..

Иланчик Кадырхан схватился за рукоять меча, чтобы унять внезапную дрожь, и опустился на деревянное возвышение, покрытое коврами. Ему захотелось пить. Тангутка легко вскочила, принесла из боковой комнаты воды. Такая холодная была эта подземная вода, что у него заломило зубы.

Пока он пил, тангутка подняла голову, быстро посмотрела на него. В глазах у нее стояли слезы. «Плачет, бедняжка,— с жалостью подумал Иланчик Кадырхан.— Всей своей невинной душой сочувствует мне!»

— Сейчас выйду... Переоденусь...— заметила она и убежала в глубинную келью, где хранила свою одежду и украшения.

Сейчас она переоденется и предстанет перед ним во всей своей красе. Разве поднимется когда-нибудь на нее рука? И все равно ее ждет гибель. Не избежать смерти пленнице. Исконный, кровный враг тангутского племени — монголы обложили, окружили город, точно железный обруч. Среди них находится и верный слуга кагана предатель Юсуф Канка. Недавно он прислал нарочного с предложением: «Возвратите мне тангутскую красавицу в обмен на десять пленных кипчаков». Об этом Иланчик Кадырхан ни слова не сказал своей наложнице. Однако, чуткая сердцем, она, кажется, и сама обо всем догадывалась...

Разряженная, она вышла, точно выплыла, из глубинной кельи. В волосах ее позванивали чолпы, на голове возвышалась саукеле в драгоценных украшениях, стыдливым румянцем залилось нежное, чистое лицо, нижняя губа алела спелой вишней.

— Небось скучаешь по родным? — спросил он и тут же спохватился. Не надо было ему об этом спрашивать. К чему напоминать о прошлых днях, оставивших тяжкий след в душе...

— Есть такая боль, которая не проходит,— почти шепотом ответила тангутка и, потупив глаза, опустилась перед ним на колени. В голосе ее чувствовалось отчуждение, и Иланчик Кадырхан еще острее ощутил, какую он допустил оплошность.

— Тобою интересуется Юсуф Канка. Пошла бы ты к нему?

Разве говорят об этом юной женщине, особенно такой красивой и любящей? Иланчик Кадырхан снова по-

досадовал на себя за неуместный вопрос. О аллах всемогущий, как он очерствел, огрубел за последнее время! Каким бесчувственным, глухим стало его сердце! Видно, чуткость душе и доброту сердцу придают лишь мирные, безмятежные дни. Как он ошибался, полагая, что лишится не любви, а всего лишь наложницы-тангутки...

Она попыталась улыбнуться:

— Будь со мною сегодня подольше, мой господин. Я развею печаль твою...

— Жажда меня мучит,— ответил он.

— Может быть, принести вина?

— Я предпочел бы кумыс.

Беседа не получилась. Вопросы и ответы прозвучали невпопад. На душе у обоих было смутно, тревожно, не говорилось о сокровенном. Тягостные, долгие паузы в разговоре удручали, вызывали досаду. Иланчик Кадырхан почувствовал, как она необъяснимо отдаляется от него. Еще немного, и он может совсем ее потерять. Любовь их была как хрупкий драгоценный сосуд, оба бережно держали его в своих ладонях и теперь, казалось, выронили его невзначай на каменный пол, и сосуд тот разбился вдребезги. Да-а... останутся печаль и досада на всю жизнь, останутся осколки в груди, постоянно причиняя боль и напоминая о несбывшемся, покроются ржой и не дадут зажить ране. Конечно, многое при жизни забудется, появятся другие цели и желания, придет, может, новая любовь, но эти осколки останутся в душе навсегда, до рокового часа. Хорошо понимали это сейчас и Иланчик Кадырхан, и юная тангутка.

— Я велю принести поесть?

— Нет, не до еды мне...

— Вы сильно устали и, может быть, приляжете, отдохнете?

— Нет... Я зашел ненадолго, просто так.

— Выбросьте все из головы... забудьте хоть на время войну. Если разрешите, я сама пойду и брошусь к ногам кагана! Все для вас сделаю. Забудьте все горести...

Голос ее сорвался. Она была очень взволнована. Так бывает, когда человеку снится тяжелый сон. Он почувствовал ее смятение и положил руку ей на голову. Слезы брызнули у нее из глаз, и она уткнулась пылающим лицом в его широкую ладонь.

— Я к тебе ненадолго...

— Властелин мой! Уйдем из города. Ты же знаешь: уйдем тайной подземной дорогой. Ты говорил мне о ней... Уйдем в пески Кызылкумов, выроем там колодец, построим дом, будем охотиться. Жить будем свободно, вольно!..

— Ты хочешь, чтобы я забыл о своем долге?

— Все забудем. Все, кроме нашей любви! — вскричала она.

— И пусть погибнут все военачальники, грызущиеся, как бешеные псы, все послы, забывшие про стыд и совесть, сам кровожадный каган и изнывающий в осаде город! Так ты хочешь сказать, а?

— Да, мой властелин! Пусть пропадет все, кроме нас с тобой!

В голосе ее послышалось отчаяние. Иланчик Кадыр-хан расслабился было, обмяк, будто свинец расплавился в нем. Но от последних слов женщины он сразу отрезвел и вновь замкнулся, посуровел. Холодно попросил он опять подать воды и сказал:

— Не бывать этому!

— Значит, все кончилось? Значит, навеки замкнутыми останутся наши сердца, а на глазах — вечная пелена?!

— А я-то как раз думал, что лишь теперь наши сердца открылись и с глаз спала пелена. Теперь-то уж нам нечего друг от друга таиться...

Не то нужно было ему сейчас говорить, но вылетевшего слова не поймаешь. Комок подкатил к его горлу, стеснило дыхание, и он сильнее стиснул рукоять меча. Тангутка вновь затрепетала ресницами, готовясь заплакать, робко и виновато взглянула на повелителя, теснее прижалась к нему. «Боже милостивый, неужели все кончено? — думала она.— Неужели он все принимает за низменное желание?»

— Неужели все, что было между нами,— пустое?..— спросила она.

— Не думай об этом,— возразил Иланчик Кадыр-хан.— Пока я жив, никто нас не разлучит. Но я теперь не могу встречаться с тобой, как прежде. В дни опасности, когда все подавлены горем и страхом, мы должны забыть про наши чувства.

— Господин мой! Без любви я дня не проживу... Уж лучше смерть!

— Я не могу в такое время тешиться любовью здесь, под землей!

— Тогда возьми меня с собой. Дай оружие, и я буду твоей тенью.

— Нельзя! Ты не сможешь пускать стрелы в своих соплеменников.

— Чем так жить, хоронясь под землей, лучше погибнуть от вражеской сабли!

— Ты не должна так говорить! — строго сказал Иланчик Кадырхан и резко обнял тангутку, прижал к себе и впился губами в ее губы.

Она не ожидала такого порыва, дернулась, попыталась вырваться из его тяжелых объятий, но он еще больнее стиснул ее. И тогда она сразу смирилась, обмякла, повисла на его руках покорная, легкая, как перышко. Потом, опустошенный, он поднялся, выпрямился, собираясь уходить. Тангутка, кроткая, тихая, скользнула с настила, опустилась на колени, обвила руками ноги повелителя, прижалась к ним. Иланчик Кадырхан не мог уже больше здесь оставаться. Слегка отстранив ее, он круто повернулся и вышел.

Спустя неделю Иланчик Кадырхан вновь посетил одинокую келью в гареме под мечетью Кокмардан. То, что он увидел, ужаснуло его. Юная тангутка была мертва. Толстая коса петлей обвила нежную шею. Он так и не узнал: то ли она сама удавилась, то ли ее задушил неведомый злодей. Тоненькая черная линия бровей на ее прекрасном лице изогнулась и казалась шире обычного...

4

Древняя река Инжу в весеннюю пору становилась буйной. Она походила нравом на отрарского быка, который весной свирепо выкатывает глаза, низко наклоняя хмельную голову, и в томлении пашет коленями землю. Так и Инжу с гулким стоном, бурля и пенясь, взрывает лед и, взбухая, вырывается из берегов. Она заливает поречье, щедро наполняет старицы, арыки, канавы и гонит неугомонное племя дехкан на поля. Разномастное зверье спешно покидает прибрежные тугаи и разбредается по просторам верховья. А река, ошалевшая от собственной ярости и силы, неистово рушит, ломает, размывает все на своем пути, пока не ударится крутым лбом, разбиваясь в брызги, о мощную преграду. Тогда, застыв на

мгновение, она разом выдыхается и, усмиренная, покорно откатывается назад в свое ложе. Дикие монгольские полчища, докатившиеся до стен Отрара, напоминали Инжу в половодье. Наткнувшись на неприступные стены, монголы взяли город в осаду, забавляясь набегами на окрестные города. Вокруг, куда ни посмотри, копошился гигантский человеческий муравейник, при взгляде на него у Иланчика Кадырхана кружилась голова и тошнота подкатывала к горлу. Он устало спустился с крепостного вала...

Сегодня третий день шел яростный штурм города. Со всех сторон монголы ставили лестницы и лезли на стены. Но кипчаки ловко закидывали петли, захватывали врагов крюками на длинных шестах, отпихивали передовых смельчаков, подгоняемых сотниками. По-всякому отбивались горожане: бросали вниз мешки с песком, пускали стрелы, кололи осаждавших копьями и пиками. Ни одному из врагов не удалось подняться на стены. И тогда поняли монголы: прямым штурмом город им не взять. Что будут делать дальше враги, к каким уловкам прибегнут, когда начнется новый приступ,— этого определить никто не мог.

Оставив на караульной вышке своих военачальников, Иланчик Кадырхан вернулся в Гумбез Сарай. Он вошел в зал приемов, передав саблю и чапан прислуге, сел на трон, опустил голову и задумался. Вдруг он услышал шорох и быстро обернулся. Эта была ханша, застывшая, как каменное изваяние в степи. На голове синел жаулык; длинное, с пышными оборками белое шелковое платье прикрывало ноги. Повелитель грустно посмотрел на нее. Бике заметно пополнела, бедра ее раздались, стан округлился, тяжелые, как опрокинутая чаша, груди выпирали из-под платья, некогда узкие плечи и тонкая шея тоже раздобрели. Только овал лица остался прежний, который, как в девичестве, красил нежный подбородок, тонкие губы и прямой, точеный нос. Прежнее надменное выражение на ее лице сменила печать усталости и покорности, под глазами легли синие круги, на открытом, чистом лбу залегли две морщинки... Сейчас, глядя на нее, он живо представил те далекие, невозвратные дни, когда самозабвенно любил свою молодую жену. Между ними не было тогда никаких тайн, их не покидал счастливый искренний смех. Шли годы, а Бике оставалась бесплодной, и Кадырхан начинал все чаще взды-

хать. Тогда-то и появились на чистом, гладком лбу Бике морщинки. Между тем повелитель Отрара весь ушел в дела правления. Со всех концов света прибывали к нему послы, приезжали купцы; немало прелестных пленниц в эти годы было привезено ему в дар, но ни к одной из них не лежала душа.

А вот к юной тангутке совсем недавно воспылал он страстью. Бике своим тонким женским чутьем мгновенно уловила в муже эту перемену и втайне мучилась ревностью. Она сразу поблекла, надломилась, нос заострился, сузился, надменность и уверенность покинули ее. Знал, конечно, повелитель Отрара, отчего страдала богом данная ему супруга, понимал ее печаль, да только что он мог с собой поделать...

— Бике, сядь ко мне ближе,— сказал Иланчик Кадырхан, как бы отводя от себя тяжелые думы.

Шелестя оборками платья, ханша плавно подсела к трону, положила локоть на колено мужа. Глаза ее радостно вспыхнули.

— Как ты устал, дорогой!

— Да-а... давно мы с тобой по душам не говорили. Даже не интересовался я, как ты живешь...

— Я-то что?.. О городе своем подумай...

— Бике! — вдруг порывисто сказал Иланчик Кадырхан и крепко обхватил ее полнеющий стан. Сердце его горячо заколотилось. Ханша с удивлением посмотрела на мужа.— Прости меня, Бике!

— Я давно простила,— просто ответила она.

Он еще сильнее притянул ее к себе, обнюхал ее лоб с умилением и благодарностью.

— Чую, недолго уже мне осталось жить...

— Что ты говоришь, Бике?! Разве об этом тебе думать?!

— Аруахи всю ночь не дают мне спать. Чудится, прямо под моей постелью роют могилу...

— Это, как говорится, со страху в глазах двоится. Твоему предку Коркуту тоже могила мерещилась.

— Мне не мерещится, я... ясно слышу звук.

— Чего?!

— Слышу, как эти роют, скребут под землей...

Иланчику Кадырхану вспомнились вдруг слова старичка лекаря: «Ханша серьезно больна. Она нуждается в заботе и уходе, иначе могут быть тяжелые последствия». После этого табиб с пронзительным взглядом раз

в неделю аккуратно посещал ханшу за шелковым пологом и лечил ее. И в самом деле, за короткое время ханша расцвела, как красная лисица, вывалявшаяся на чистом снегу. Она заливалась звонким смехом, и при этом вздрагивал ее второй подбородок. Приятно шуршали, шелестели ее шелковые и атласные платья, невольно привлекая, заманивая повелителя в опочивальню. Старичок табиб набил коржун казной и, щедро обласканный ханской милостью, уехал вместе с очередным караваном, направлявшимся к китайцам-шуршутам. И с этого времени вновь приуныла, пригорюнилась молодая женщина, увяла телом.

— Прямо под моей постелью кто-то ночами напролет скребется!

— Может быть, потому, что и наверху сейчас неспокойно?

— Не смейся.

— Нынче ночью приду к тебе, проверю!

И той же ночью повелитель убедился: не со страху почудилось что-то ханше и не могила Коркута ей мерещилась. Страшная беда подкрадывалась к городу из-под земли...

Дворец ханши находился к востоку от Гумбез Сарая на вершине холма, неподалеку от городской стены. Он был специально расположен подальше от шума и суеты, и сюда достигал свежий степной ветер...

Иланчик Кадырхан сидел у ханши до глубокой ночи. Евнух-слуга со старушечьим лицом принес им в опочивальню вино и арбузный сок. Это означало, что пора отдаваться отдохновению. Евнух погасил свечи, отблеск которых таинственно, причудливо играл на лепных украшениях купола, опустил занавески и полог над постелью. У изголовья подслеповато подмигивал жирник. Утомленный, повелитель Отрара незаметно заснул.

Бике, как и все последние ночи, лежала с открытыми глазами. Даже лежа рядом с мужем, она со страхом ожидала знакомого тревожного шороха и думала о тех, кто настойчиво копал для нее могилу. И действительно, вскоре зазвенело в ушах, холодный пот мгновенно прошиб ее. Она явственно слышала, как упорно скребли под землей, прямо под тем местом, где стояло ее широкое ложе.

Ханша затаила дыхание, у нее будто отнялся язык. Раньше, казалось, копали где-то под изножьем, но сегодня шорох доносился прямо из-под подушки. О аллах, что за наваждение! Она в ужасе разбудила мужа. Иланчик Кадырхан поднял голову, с недоумением посмотрел сначала на светильник, горевший с легким потрескиванием, потом — на жену. Зрачки Бике медленно расширялись, закатывались под веки. Он услышал странный, глухой стук. Первым делом он подумал: не шаги ли сарбазов на крепостном валу доносятся сюда... Может быть, дозорные ходят вблизи... Но нет, стук доносился не сверху, а снизу, из-под земли. Он приложился ухом к подушке. Шорох послышался яснее, отчетливей. Он пролежал так долго, внимательно вслушиваясь в эти загадочные ночные звуки. И вдруг вскочил, будто обнаружил змею в постели.

— Это враги копают под стеной!

— Что ж теперь будет, мой властелин?!

— Судя по всему, они копают уже под самым городом. Придется тебе покинуть свой дворец. Располагайся в зале Гумбез Сарая!

Иланчик Кадырхан позвал евнуха, приказал немедля одеть и собрать в путь взволнованную, растерянную ханшу. Потом прибежали сторожа, слуги. Повелитель распорядился отправить ханшу в ханский дворец, а к военачальникам спешно послал порученцев. Прямо среди ночи собрались люди в доспехах в Гумбез Сарае, начали держать совет. Повелитель сообщил о случившемся, рассказал про коварные уловки, которые используются при взятии городов. Услышав все это, хорезмский полководец Караша чуть ли не взвыл:

— Вот она, беда красноглазая, что из чрева земли выползает! Мы там, на крепостном валу, бодаемся, как разъяренные быки, а тут целый тумен из-под опочивальни ханши лезет! О аллах всемилостивый, всеблагий! Какие испытания ты нам уготовил? Как нам избавиться от монгольской напасти?!

— Они уже прошли под землей дальше крепостной стены,— коротко сказал Иланчик Кадырхан.

— Да пусть провалятся и этот город, и его стены! Давайте откроем ворота и выберемся на простор. Не то задохнемся в собственном логове!

— А если враг вдруг вылезет сразу из нескольких

дыр? — заметил Максуд.— Какую дыру будем затыкать в первую очередь?

— Открывать ворота сейчас — безумие! Из города мы все равно не выберемся. Нас перережут у ворот, как отару овец. Ведь враг превосходит нас в шесть-семь раз, и в открытом бою мы не сможем ему противостоять,— сказал Иланчик Кадырхан и решительно положил руку на колено.— Есть только один выход. Надо поручить опытным людям с тонким слухом определить, в каких местах и в каком направлении копают монголы, где проходят их потайные подземные дороги. Узнав это, мы поставим на том месте женщин варить в котлах деготь с козьей щетиной. И в тот час, когда они попытаются вылезти из-под земли, мы опрокинем этот горящий деготь на их головы!

— Правильно, если полезут из-под земли, остудим им головы горячей смолой! А на стене мы и саблями поработаем!

Так решили кипчакские военачальники. И только Караша из Хорезма удрученно мотал головой и все бубнил под нос:

— Ай, не знаю... Ай, сомнительное это дело...

В ту же ночь собрали джигитов, обладавших собачьим слухом. Долго слушали они, припав к земле, и определили: враг копает в трех направлениях. Первая подземная дорога вела прямо к Гумбез Сараю, вторая — оказалась под дворцом ханши, третья — приближалась к главному подземному каналу, снабжавшему город водой из реки Арысь. Это направление к главному каналу напугало и встревожило больше всего. Выходит, среди монголов есть человек, очень хорошо знающий расположение города. Или, наоборот, среди кипчаков затаился вражеский лазутчик. Иланчик Кадырхан приказал еще более точно определить направление подземных дорог, а потом поручил провидцу Габбасу высчитать, на какой глубине роют монголы проход под землей и когда предположительно они могут выбраться на поверхность. До восхода солнца ходили повелитель и провидец по городу. На рассвете со стороны Алтын-тюбе монголы начали нападение, но это была скорее видимость натиска, ибо после небольшой стычки порыв их погас. Стало ясно, что к решающему приступу монголы готовятся каким-то иным образом. Наступила та самая обманчивая тишина, которая всегда предвещает большую бурю.

Провидец Габбас что-то долго вычислял, чиркал и чертил на бумаге и к обеду, когда уже почти кончились чернила в склянке, пришел к повелителю, доложил свои выводы:

— Светлейший! Если бы вы прошлой ночью не посетили дворец ханши, мы все остались бы в страшном неведении. Подземный проход, ведущий к тому дворцу, по существу закончен. Если не верите, послушайте сегодня ночью, и вы уже не услышите шороха. Они завершили всю работу. Близки к завершению и остальные два прохода. Чтобы их соединить, осталось дел дня на четыре. Враг намеревается начать приступ в одну и ту же ночь одновременно в трех местах. Чтобы вам все стало ясно, взгляните на эти рисунки и на мои расчеты.

Повелитель долго вглядывался в рисунок старого ученого, просмотрел все расчеты и окончательно убедился в том, что враг за крепостной стеной намерен проникнуть в город главным образом через подземные проходы. Именно так он надеется решить исход осады. Сомнений больше не было. Действительно, не окажись он вчера у ханши, он и не догадался бы об опасности. Выскочили бы тогда темной ночью из-под земли двуногие дьяволы, и нетрудно представить, какая паника началась бы в городе. Пожалуй, это было бы страшнее, чем когда загорается сухой камыш. Представив это и вдруг ясно осознав, что такой пожар потушить невозможно, повелитель зябко поежился, как человек, выскочивший налегке на лютый мороз.

Он быстро собрал в Гумбез Сарае самых верных и надежных друзей; послал за Исмаилом, Хисамеддином, Кайрауком. Рассевшись тесным кружком, они начали совет. Иланчик Кадырхан говорил о том, что враг вцепился в ворот и дышать становится все труднее. В городе наверняка действуют вражеские лазутчики, а монголы по их указаниям роют подземные проходы. Необходимо всем вместе что-то придумать и предпринять.

Сразу же после повелителя на правах старшего заговорил провидец Габбас:

— На плоском такыре, что на берегу Инжу, встречаются солончаки. Недавно я был там. Поверхность солончаков сплошь покрыта солью. Я поднес было огонь, соль вспыхнула, загорелась с треском. Тогда мне пришла в голову мысль: а что, если собрать слоями застывшую соль, перетолочь ее в ступе, перемешать с хрупкой

сердцевиной камыша и жмыхом, ведь получится горючее вещество... Я знаю из книг, что когда-то уже делали так.

Старец обвел всех задумчивым взглядом и принялся теребить, перебирать бороду. Для многих, однако, слова провидца были неясными. Они переглядывались между собой, пожимали плечами. Да разве соль будет гореть? Чем забавами себя тешить, уж не лучше ли сабли острее наточить?

Лишь Хисамеддин горячо поддержал провидца.

— То, что нам поведал сейчас мудрый старец, пожалуй, будет страшнее горячего дегтя. Шуршуты давно уже так делают. А соли на солончаках — лопатами греби. Надо непременно испробовать! — пылко говорил молодой ученый и поэт.

Тут же вспыхнул жаркий спор. Вмешался Иланчик Кадырхан, поручив Габбасу и Хисамеддину заняться изготовлением горючей смеси. Однако ее грозную силу так и не суждено было испытать кипчакам, обреченным на гибель в осажденном городе...

Кайраук предложил:

— К тем местам, где намереваются вылезти эти дьяволы, поставим людей с тонким слухом. Тогда не застанут нас врасплох!

Сам он вызвался прослушивать проход под дворцом ханши. Тут же определил, где кому стоять и подмечать каждый шорох. Решили не открывать ворота и не ввязываться в мелкие стычки до тех пор, пока не найдут лазутчика. Договорившись обо всем, военачальники разошлись по местам, стараясь не попасться на глаза посторонним. Едва они покинули Гумбез Сарай, как к повелителю вбежал старик визирь:

— Благословенный хан! Этот пес Караша ударил меня камчой. Он рвется к вам...

— Пусти!

Воевода из Хорезма весь кипел от негодования:

— Таксыр! Мы сюда за тридевять земель примчались, оставив жен и хозяйство, чтобы помочь вам, а вы от нас отворачиваетесь! Что еще за тайные совещания? Почему я остаюсь в стороне?!

— Если ты, Караша, искренне печешься об единстве, то не мели вздор. Мы здесь совещались не о том, как саблей махать, а о судьбе нашего народа. Я хотел узнать мнение знающих людей. А ты избиваешь бедного ви-

зиря и врываешься ко мне, будто боишься, что тебя обойдут при дележе добычи!

— А как же, таксыр-ата, если вы вдруг тайком собираетесь...

— Ты запомни: у нас с вами отныне одна цель и одна судьба. Отрар падет — всему Хорезму несдобровать.

— О лазутчиках что-то поговаривают...

— Да, есть такое подозрение.

— Напрасно сомневаешься в людях. Город в железном обруче. Никакой лазутчик через эти стены не пролезет. Зря на кого-то грешишь...

— Честный человек навета не боится.

— Кадырхан-ака, я тоже кого-то подозреваю.

— Кого еще? Говори!

— Скажу — так не поверите. Есть тут одна смазливая провидица. На лице — кротость, а в душе — подлость. Вместе с сарбазами, бывает, выезжает за ворота, участвует в стычках. В последний раз она вернулась в город позже остальных, на целое кочевье отстала. Думаю, что это неспроста.

— Напраслину городишь. Баршын — не предательница. Мы лучше своих людей знаем!

— Вот увидите, что я был прав, Кадырхан-ака! С поличным я приволоку ее за волосы к вам. И пусть отсохнет мой язык, если говорю неправду!

Ровно четыре дня спустя после этого разговора враг пошел на приступ. Город был объят сном. И когда на востоке робко забрезжил рассвет, откуда-то издалека донесся глухой гул. Дремавший возле глиняной кадки с дегтем Кайраук вздрогнул, насторожился. Слабый шорох послышался у его ног, будто мышь прошмыгнула. Сомнения не было: враг готовился прорваться через подземный проход и вылезти наружу. Прославленный кюйши, обладавший редким слухом, немедля поднял тревогу и разбудил лежавших вокруг сарбазов. Все разом вскочили, приготовились к бою. В это время почва заколыхалась, задрожала, и каменный пол вдруг провалился вниз, будто в преисподнюю и чуть не увлек за собой Кайраука. Отчаянным прыжком тот все же успел выбраться на твердое место. В земле образовался зияющий провал величиной с юрту. Едва развеялся столб пыли, как оттуда показались вооруженные воины, быстро карабкающиеся наверх.

В детстве Кайраук часто охотился на сусликов. На-

ходя свежую норку, он заливал ее водой; через некоторое время из норы выскакивали мокрые, скользкие, измазанные глиной и насмерть перепуганные зверьки. Суча лапками, старались они разбежаться во все стороны. Так произошло и с иноземцами. Одетые в кольчуги, вооруженные до зубов, они яростно хлынули из ямы с монотонным криком «А-а-а...». Первые ряды тут же нарвались на острые кипчакские копья. Сарбазы из Отрара спешно поднесли огромные чаны с кипящим дегтем к краю ямы. Вязкий, горячий, вонючий деготь обрушился, полился на головы монголов. Кайраук бросил сверху зажженную свечу, и деготь вспыхнул, над ямой сразу же заклубился зловонный дым. Объятый огнем, полузадушенный враг забился в предсмертной агонии. Вражеские воины падали и гибли в черном подземном проходе, обернувшемся для них могилой. Несколько монголов в горящей одежде судорожно выбрались из этого адского котла и принялись неистово размахивать саблями. Они предпочли погибнуть в схватке, нежели задохнуться в дыму. Хриплые стоны, визг и крики доносились все глуше. Те, что оказались у самого прохода, еще сражались с отчаянием обреченных. Другие задохнулись в вонючем дыму; еще живые, они беспомощно барахтались, ослепленные и оглушенные, готовые залезть в любую щель.

А защитники города чан за чаном лили в клокочущую яму раскаленный деготь, пока потайной подземный ход не превратился в сущий ад. Кроме нескольких смельчаков, тут же погибших от кипчакской сабли, никто из прорвавшихся монголов так и не увидел божьего света.

Нойон Шики-Хутуху, за крепостной стеной руководивший подземным штурмом, пришел в ужас. Подземный проход начинался от самого шатра прославленного нойона. Черная скважина почти целиком поглотила первую сотню, а нойон готовился послать на приступ уже вторую. Но в это время из-под земли послышался вопль, никак не похожий на воинственный крик, предвещавший победу. Это был вопль ужаса, от которого Шири-Хутуху похолодел. Ноздри его ловили мерзкую удушливую вонь. Вначале она напоминала ему паленую овечью шерсть или чадящие сучья итсигека. Но нет, такого смрада ему еще не приходилось ощущать. Нойон с омерзением отпрянул от черной ямы, откуда поплыл густой пегий дым.

От великой досады нойон даже хлопнул себя по ляжкам. Он понял, что его бесстрашные воины живьем горят под землей, и в бешенстве начал рубить шатер — только клочья летели. В это время из-под земли показалось страшное чудовище, в копоти и саже, в обгорелой рвани, с опаленной головой, с выпученными, безумными глазами и съехавшим набок ртом. Нойон с превеликим трудом узнал в нем бесшабашного рубаку-сотника Муравья.

— О баурыым... брат ты мой единственный! — зарычал нойон.— В какой ад тебя ввергли проклятые кипчаки?!

Волчицей, потерявшей волчат, завыл нойон и бросился к батыру, шатавшемуся на ногах, прижал его к груди. Самые страшные проклятия слал он на головы дерзких кипчаков. Нойон молил Тэнгри покарать этих бешеных псов, обрушить на них небесную кару, молнией испепелить их поганые души. Лучшая сотня его воинов погибла в подземном проходе. Часть сгорела у выхода в город, часть задохнулась в дыму, другие, отступая в панике, перерезали и затоптали тех, кто стоял на их пути. Мало кто оттуда вышел живым. Да и на них было жутко смотреть. Не люди — страшные чудовища в истлевших лохмотьях, обезумевшие, судорожно дергающиеся в мучительном кашле.

«Черт меня дернул за язык предложить эту затею кагану. Теперь он привяжет к моим чреслам булыжник и начнет трясти, пока душа не вылетит»,— с тоской подумал Шики-Хутуху.

Стон и скорбный вой донесся в это время от шатров Алак-нойона и Тажибека. Там тоже рыли подземные проходы, и воинов постигла та же страшная участь. Поняв это, предводитель монгольского войска почувствовал тошноту, сердце будто оборвалось, и он обеими руками ухватился за голову и с криком «О-о-о!» побежал, как безумный, в степь. Перепуганные насмерть нукеры побежали за ним, ведя в поводу тулпара-скакуна. Догнав нойона, они подвели к нему коня. Слуги отворачивали глаза, опасаясь, что нойон тронулся умом, и приседали в ужасе, оглушенные его исступленным криком.

Нойон наконец сел на коня, отпустил до предела поводья и галопом поскакал к востоку. Прохладный встречный ветер, что дул со стороны далекой родины, ласкал его прокопченное на солнце лицо, но он не мог

забыть того, что осталось позади. Тяжко ему было здесь, на этой земле, от духоты и пыли, от тошнотворного запаха крови, паленого человеческого мяса и смрадного дыма чадящего дегтя, которым встретили монголов непокорные, богом проклятые кипчаки.

5

Долго скакал Шики-Хутуху, припав к гриве коня. Ровно стучали по такыру литые копыта, вспархивали из-под ног коня степные рябчики, мгновенно растворяясь в синем просторе. На ветру разгоряченная голова остыла, нойон понемногу приходил в себя. Вначале он подумал, что сошел с ума, и прислушался к стуку своего сердца. Однако ничего не расслышал, кроме грохота копыт. Изредка он оборачивался назад; за ним тянулся едва заметный сизый шлейф пыли. Впереди виднелись внушительные очертания горы Каратау; до ее скал и ущелий было не близко, однако они уже ясно вырисовывались на фоне голубеющего неба. Ему даже почудилось, что гора стремительно плывет навстречу. Он подобрал поводья, попридержал коня, выпрямился в седле, огляделся. В воздухе тянулись-плыли тонкие прозрачные нити. «Вот уже и осень надвигается,— с грустью подумал он.— Суждено ли бродячей душе, находящейся между жизнью и смертью, увидеть следующую весну? Или все мы прямо отсюда пешими отправимся на тот свет, поручив наши души богу войны — Сульдэ? Под каким курганом, у стен какого города останутся наши кости?»

В тяжкое уныние впал нойон, и тоска грызла его, точно пес — сахарную кость. Он спешился. Сухая, хрупкая полынь потрескивала под ногами. О-хо-хо-ой! Хотелось, раскинув руки и ноги, вольно поваляться на плоской земле. Потом потер ладони о полынь, тяжело поднялся.

Вдали что-то промелькнуло. Да, да, словно черная тень проплыла. «Наверное, орел-могильщик»,— подумал он. Уж чего-чего, а трупов в этой степи хватает. Зверье давно пресытилось падалью. Однако черная тень приближалась, и он вскоре признал в ней оседланного боевого коня. Э, понятно, видно, сбросил конь на поле брани мертвого или раненого хозяина и теперь бродит в степи как неприкаянный. Подгрудок и ленчик на сбруе

были сплошь в крови. Нойон глянул на седло и обомлел, даже затрясся весь. Как же могло ему померещиться, что конь без седока?! Ноги у него подкосились, и он присел на землю от страха.

Приблудный конь пугливо озирался, потом застыл на мгновение и вдруг с места кинулся в карьер. Скакун нойона нервно затопал и тоже было вздыбился, но чембур, привязанный к поясу хозяина, удержал его. Нойон кое-как пришел в себя, собрал всю свою волю, протяжно гортанно закричал, взывая к духам. Что же это было в седле у этого коня?.. Пуститься за ним в погоню нойон так и не решился.

Он похлопал себя по щекам, пощупал лицо. Вроде бы все на месте. Ни рот, ни нос у него не покривились от страха. Поддерживая дрожавшие колени руками, нойон взобрался на своего коня, поехал шагом назад к городу. Голова его была втянута в плечи. И если бы не дорогое оружие и отделанное серебром седло, его можно было вполне принять за изнуренного, забитого чабана, который всю жизнь — в зной и в холод — покорно трусит за отарой. Посади такого несчастного на призового скакуна — все равно будет ехать шагом или унылой трусцой.

«Уж лучше быть разрубленным на куски в бою, чем встретиться с таким чудищем в степи,— думал про себя нойон.— Да и страх в бою совсем не такой, как тот, что я изведал сейчас. С врагом бьешься и смерть встречаешь с открытыми глазами, ничуть не робея. Смерть в бою постоянно ходит рядом, к ней привыкаешь, и она становится твоей доброй спутницей. Когда она в предназначенный час приставит к твоему горлу острую саблю, ты покорно падаешь в ее объятия. Для тебя это все равно что отдать долг знакомому, близкому человеку. А вот когда встретишься один в степи с самой смертью, то душа твоя, оказывается, трепещет, точно хорек в капкане. И ноги тебя не держат, и шлепаешься задом в колючую траву, и мужество и воля враз покидают твое жалкое тело. Единственное, на что ты способен,— это ползти на карачках или, обливаясь слезами, вымаливать пощаду. Ты не умираешь, не погибаешь, а подыхаешь позорно и гадко...»

Нойон, встрепенувшись, яростно стегнул коня, понесся галопом. Он уходил от смерти-врага навстречу смерти-подруге. Сейчас он прискачет, вздымая пыль, к От-

рару, спустится в подземный проход, поползет на брюхе, а надо будет — полезет на стену. Никто и ничто его уже не удержит. А если допустит оплошность и случайно встретится с потаскухой-смертью, то не оробеет, а поздоровается, как со старой, доброй знакомой, потому что видел ее теперь воочию. Даже про житье-бытье ее спросит, и если она потребует его душу, то с щедростью отдаст ее и бровью при этом не поведет. Разве мало их, таких, как он, кто на этом кровавом пути без оглядки расстается с жизнью? И разве мало тех, кто на этом пути, не задумываясь, жертвует жизнью сотни или тысячи людей? Он всего лишь неприметный путник на великой дороге, а это значит, что он одновременно и жертва, и пожиратель людских душ. До чего просто все устроено на земле!..

Подумав так, успокоенный и ободренный богом войны Сульдэ, нойон Шики-Хутуху направил коня к шатру кагана.

Всемогущий каган стоял перед своим шатром, накинув на плечи просторный шелковый чапан. По обе стороны его застыли два телохранителя, чуть поодаль стояли нойоны, военачальники. Все пристально смотрели в сторону осажденного города, где разгоралось сражение. Видимо, только недавно начался новый приступ. Над городом клубились пыль и дым; людской рев, грохот барабанов, воинственные кличи, звон оружия — наполняли небо и землю. От грозного шума войны травинкой прибился к земле нойон Шики-Хутуху. Оставив коня на почтительном расстоянии, он побитой собакой поплелся к холму, где стоял каган. Обеими руками прижимая живот, подобострастно кланяясь на каждом шагу, еле переставлял он теперь непослушные ноги.

Каган издали заметил ползком приближавшегося к нему нойона и стиснул рукоять сабли. Кошачьи усы зашевелились, встопорщились. Когда нойона отделяло всего несколько шагов, каган чуть шевельнул рукой. Телохранители, поняв знак, выскочили вперед и скрестили копья. Нойон застыл, поднял голову:

— Золотой ключ вселенной, всемилостивый владыка, позволь сказать слово ничтожному рабу.

— Ты что это назад приплелся, не околев в степи бродячей собакой?! Ты, который загнал под землю и загубил целый тумен! Испугавшись моего гнева, ты

уполз, как трусливый шакал! Не желаю поганить свою саблю о твою презренную голову! — сказал каган и вдруг ухмыльнулся. Все стоявшие вокруг затаили дыхание.

— Я видел бога войны Сульдэ, о великий повелитель!

Нойоны в ужасе схватились за вороты, каган же еще раз усмехнулся.

— Да, великий повелитель! Я его видел на равнине у подножия Каратау, на поле недавнего сражения. Вначале я подумал: конь, потерявший седока. Но когда увидел вблизи, сразу догадался: бог войны Сульдэ, и торока в крови, и голова огромная. Покачал он ею, чуть приподнявшись на стременах, и ускакал восвояси...

— Возможно, наш погибший тумен встретился на том свете с Тэнгри, и тот отправился в путь, чтобы убедиться собственными глазами в гибели стольких воинов,— заметил каган.

— Чудится, неспроста он мне встретился. Он хотел взять мою душу за то, что я сбежал с поля боя, великий повелитель!

— А может быть, он спустился на землю, чтобы указать нам путь к победе? — предположил каган.

— Тэнгри решил меня сурово наказать...

— Возможно, он намерен нам помочь взять этот подлый Отрар, который стал путами на наших ногах!

— Тэнгри отвернулся от меня...

— Когда сам Тэнгри, великий бог войны Сульдэ, благословляет и вдохновляет нас, выказывать трусость и отступать — кощунство. Слушайте, мои славные нойоны! Немедля скачите к войску и передайте мой наказ. Скажите: на одном из коней моего погибшего тумена объезжает поле битвы наш тэнгри Сульдэ. Он всем нам дает волю и силу, обещает бессмертие. Воинов моих отныне не возьмет ни стрела, ни сабля, ни копье, ни меч! Идите вперед, напролом! Лезьте на стены, жгите, разрушайте, рубите, топчите, сметайте в пыль все на своем пути! С нами сам Тэнгри — бог войны Сульдэ!..

6

В начале месяца казан враги, окружившие город Отрар, прибегли к новому способу войны. На этот раз в ход пошли камнеметы. Теперь осадой руководил «пра-

вый глаз» кагана сам Алак-нойон. Он объезжал стены города в сопровождении китайских военных мастеров и выбирал места для установления катапульт. Доставлять с востока, из завоеванных каганом стран громоздкие, величиной с юрту, камнеметы было невозможно. Сколько времени, хлопот, войска и тягловой силы потребовалось бы, чтобы с эдакой махиной преодолеть пустыни, степи, горные перевалы, бурные реки?! Понимая это, каган в свое время приказал Алак-нойону возить с собой, погрузив на верблюдов, лишь самые главные части камнемета: крепкие, из упругих жил сплетенные арканы, железные обручи, длинный деревянный ковш, валики, поручни. Войско сопровождали и мастера-строители. Уже на месте сражения, если появлялась такая необходимость, достаточно было раздобыть несколько длинных и толстых бревен, чтобы за короткое время установить это страшное орудие.

Китайские мастера обшарили берега реки Инжу, рыскали в непроходимых тугаях в поисках добротного дерева. Джингил и джида, ива и урючина, тутовые деревца и карагач их не привлекали. Зато туранга заинтересовала их сразу. Ствол туранги, прямой и очень твердый, даже от сильного удара не трескается. Сотни пленников несколько дней рубили в тугаях турангу, счищали кору, тесали, стругали бревна. Их вьючили — на каждую сторону по бревну — на верблюдов и подвозили к городской стене. Здесь их складывали рядами. Одни бревна нужны были для постройки самой катапульты, другие годились для метания. Если забросить через стены десяток-другой горящих бревен, то в городе вспыхнет пожар. Обо всем этом заблаговременно подумал нойон.

Долго выбирали китайские мастера два главных бревна — длиною в шесть кулаш каждое. Это — постав катапульты, иначе говоря, основание. Чем больше основание, тем длиннее шест с ковшом, швыряющий камни, тем дальше летит сам камень или бревно, а то и бочка с горючим веществом.

Бревна положили в длину на расстоянии пяти гязов друг от друга. Потом продолбили их точно посередине, при этом строго следили, чтобы бревна не дали трещины. В отверстия плотно загнали два столба, высотою в семь гяз. Их, в свою очередь, соединили сверху поперечной балкой в пять гяз. Получилось нечто похожее

на виселицу. Середину перекладин обмотали кошмой, а потом еще обтянули верблюжьей шкурой — ее шейной частью. Это делалось для смягчения удара: ведь именно перекладина принимала на себя удар ковша. Чтобы бревна высотою в семь гяз не расшатались и не выскочили из гнезд, их укрепляли с обратной стороны двумя подпорками. Для подпорок также выбирали твердое, крепкое дерево. Соорудив все это, мастера сотворили молитву: основная работа по строительству камнемета считалась завершенной.

Теперь уже другие мастера продолбили боковые столбы у самого стыка с нижними бревнами и через пазы туго натянули сплетенные из жил толстые канаты. Канаты являются едва ли не главной частью камнемета. Они-то и приводят рычаг с ковшом в движение, и их везли на верблюдах из Монголии. К середине каната крепко-накрепко прикрутили конец шеста с ковшом. Этот шест был выточен из плотной, твердой джиды. В ковш удобно помещались громадные булыжники. К основанию ковша приделали аркан, который оттягивал шест и навивался на деревянный вращающийся вал, вделанный между нижними бревнами на другом их конце. Длина вала была соответственно тоже пять гяз. Таким образом, при подъеме шест с ковшом ударялся о перекладину, обтянутую посередине кошмой и верблюжьей шкурой, а при отводе назад касался вражающегося вала между бревнами основания. Вал вращался с помощью бокового рычага. На конец вала было надето железное кольцо с зазорами, которое крутится одновременно с валом, непременно слева направо и ни в коем случае не наоборот, ибо обратный ход задерживает особый выступ, вклинивающийся в зазор. Очень важно точно установить этот выступ, иначе шест с ковшом высвободится раньше или позже, чем нужно, и тогда катапульта начнет метать камни беспорядочно, куда попало.

Долго советовались между собой мастера, высчитывали, прикидывали так и сяк, прилаживая кольцо с зазорами и выступ. Наконец обратились к главному мастеру— щуплому старику китайцу. Тот дал указания, и работа закипела. Мастерам помогали таскавшие тяжести рабы. К вечеру вокруг крепостной стены мрачно возвышались около тридцати камнеметов. Строители их,

отойдя в сторону и задрав головы, смотрели на деревянные чудовища. Теперь катапульты предстояло испытать.

Принесли аркан, сплетенный из конского хвоста, привязали его к шесту, другой конец — к валу; двое сильных рабов, сунув рычаги в пазы вала, начали крутить его с двух сторон; шест с ковшом, поскрипывая и все туже натягивая жильный канат, вскоре коснулся вала. Мастер, стоя в сторонке, внимательно наблюдал за каждым движением. Наконец он положил в ковш тяжелый булыжник и подал знак: «Вытащите рычаги и отойдите!» Чтобы заговорил камнемет, достаточно было всего трех человек.

Мастер, мягко ступая, подошел к кольцу с зазором, ловко ударил палкой по выступу. Вал завертелся со страшной быстротой. Шест с ковшом с силой ударился о поперечину и, точно из пращи, выбросил камень. Из-под кошмы облаком всклубилась пыль.

Булыжник отлетел довольно далеко. Помощники главного мастера побежали измерить расстояние, а сам он принялся придирчиво осматривать камнемет со всех сторон. От трения в пазу вала дерево нагрелось, и от бревен шел дымок, запахло горелым. Мастер полил это место водой. Потом он ощупал шест и основание ковша. Не было ни единой трещины. Мастер поднялся на перекладину. Сухая, заскорузлая верблюжья шкура от сильного удара лопнула. Пришлось обтянуть перекладину заново.

Так же тщательно осмотрел мастер канат и обрадовался: ни одна жилка не порвалась. Это значило, что если на то будет божья воля, то канат продержится несколько дней. Уж кто-то, а он, мастер, знает, какая это тяжкая и нудная работа — свить из верблюжьих жил упругий и крепкий канат, способный выдержать такую неимоверную тяжесть. Для этого нужно ждать, когда зарежут молодого верблюда, потом аккуратно вырезать мышцу голени, высушить ее в тени, потом растолочь в ступе, долго сучить и теребить, будто клок шерсти, отмочить на горячем пару, навощить варом, потом вить жильную нитку, а из нее уже потом — толстый канат. Вот почему, довольный осмотром, мастер ухмыльнулся и щедро помазал жильный канат маслом. К этому времени вернулись помощники.

— Камнемет бросил камень на двести десять гяз,— доложили они.

— Очень хорошо! С помощью тэнгри Сульдэ мы проломим головы кипчакам!

Почти все камнеметы получились на славу. Только два крайних после первой же пробы пришли в негодность. У одного сразу же лопнул жильный канат; у второго от удара вдребезги разлетелась поперечная балка. Обломком убило одного мастера, стоявшего поблизости. Алак-нойон приказал перестроить оба камнемета. По его же велению вырыли земляные печки — жер-ошаки, поставили казаны, развели огонь, растопили сало. Из оставшихся бревен напилили чурбаков, обмакнули их в растопленное сало и сложили в кучу.

Камнетесы дробили валуны для метания, рабы караванами возили камни с горы Каратау. Часть войска суетилась, хлопотала всю ночь, заготавливая впрок для камнеметов бревна, пропитанные салом чурбаки, камни, корни деревьев. Другие натягивали новую тетиву, точили сабли и копья, готовились к новому, последнему приступу.

На рассвете пошел снег. Тучи плотно обложили небо; в одно мгновение стало сумрачно, тоскливо. Казалось, белые бабочки порхали в воздухе; сотни и тысячи походных кибиток, разбросанные по плоской степи, напоминали могильные холмы, припорошенные ослепительно белым снегом; кони понуро застыли в дреме и казались странными и жалкими существами, должно быть оттого, что неприглядно обвисли их пышные хвосты и гривы.

Первыми проснулись чужеземные рабы, они с удивлением и страхом смотрели на огромный белый мир в объятиях безмолвья, на чужую, кровью пропахшую выморочную степь. Не было ни пыли, ни дыма, ни резни, ни дикого гула — всего того, к чему они привыкли. Люди подумали, уж не Тэнгри ли неслышно бродит между кибитками. Может быть, он за трусость и многие грехи наказал сарбазов, умертвив их всех до единого? В ужасе потопали согбенные рабы к кибиткам, спешно разбудили войско. «Горе, горе нам! — хотелось им сказать.— Белокрылые бабочки падают с неба, все утонуло в безмолвье. Тэнгри всех окутал в саван!» И тогда как очумелые выскочат батыры и начнут искать своих воевод....

И воеводы больше всего боятся тишины, ибо они не знали ее, не ведали с тех, пор, как вылезли из зыбки,

как впервые вцепились в гриву коня. Бешеный топот копыт, неистовый рев, воинский клич, грохот камнеметов и звон сабель — вот что они слышали изо дня в день. Даже во сне они рубились с врагом и, подбадривая себя, исступленно выли. Грохот походного барабана и протяжный, надрывный стон карная постоянно звучали в их ушах. И как же им не испугаться, когда вдруг нежданно-негаданно обрушилась на них неслыханная тишина! Тишина — для монгола самый первый и самый страшный враг. Она — предвестница беды, она — божья кара, она — начало невиданных несчастий. Но вот проснулся и закричал что было силы Алак-нойон. Этим криком он возвестил о новом штурме. В мгновенье ока все завертелось, закружилось. Первыми побежали к городской стене рабы с арканами и лестницами, за ними тесными рядами — пешие сарбазы с луками на шее и саблями в руках. Казалось, они рвались в бой. Третьим потоком двинулись отборные тумены, презревшие страх и смерть. Грудь у воинов была прикрыта медными щитами. Сзади попарно впряженные верблюды подтягивали к крепостной стене камнеметы. За камнеметами двинулась конница. Всадники засучили рукава, кони нетерпеливо подплясывали, норовя с ходу кинуться в карьер, будто свирепая волчья стая. Как только падет крепость или хотя бы распахнутся ворота, конные воины ворвутся в город, неся смерть. И тогда захлестнет монгольская петля вражеское горло!..

Уже не кружились больше в воздухе снежные хлопья. Рассвет словно распорол тучи, и робко выглянуло солнце. Степь проснулась, высвободилась из-под белого одеяла. Как раз в этот момент в битву вступили камнеметы. Их подтянули к городской стене и выстроили на расстоянии пятидесяти гяз друг от друга. Таким образом, они не мешали продвижению войска и могли одновременно пробивать стены во многих местах. Три десятка камнеметов взяли под обстрел почти всю восточную часть городской стены. По велению Алак-нойона дробно загрохотали барабаны, тягуче завыли карнаи. Рабы, стоявшие наизготове, по двое у каждого камнемета, закрутили валы, отвели шесты с ковшами назад. Главный мастер для начала бросил в один ковш пропитанный салом чурбак, поднес к нему огонь, и, когда тот задымился, с треском рассыпая искры, стукнул палкой по выступу. Шест с резким стуком ударился о перекладину, и объятый

пламенем чурбак, круто взмыв, полетел за городскую стену. Забухали и остальные камнеметы. Чурбаки, точно огненные шары, со свистом полетели в осажденный город. Вскоре воздух пропитался чадным дымом, за стеной взметнулось пламя.

Кипчаков на крепостном валу стало меньше: видно, часть воинов отправили тушить пожары. За короткое время каждый камнемет успел выбросить по семь сальных чурбаков. Теперь надо было заменить у катапульт жильный канат, пока он не лопнул, и переходить к метанию булыжников. По приказу мастера-китайца рабы быстро перерубили теперь уже негодные канаты, намотали новые, полили водой задымившиеся валы, клиньями закрепили слегка расшатавшиеся боковые столбы.

Теперь вал вращался быстрее, камнеметы зататакали еще яростней; пудовые булыжники с грохотом ударялись о стену. Несколько камней угодило в воинов, стоявших на гребне вала. Из крепости доносились вопли, гул. Что случилось потом, мастер-китаец так и не разглядел, пот заливал ему глаза. Пожар за стеной разгорался. С ревом кинулись пешие сарбазы на приступ. У главного мастера уже дрожали колени, подкашивались ноги, земля будто качалась под ногами. Он вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Он уже не слышал даже глухого стука камнеметов. Проклиная свою злую судьбу, он проклинал про себя самого кагана, виновника всех бед и горестей; проклинал и упрямых кипчаков, которые никак не желали сдаваться. Должно быть, и ближайший к нему камнемет обессилел: когда мастер в очередной раз палкой ударил по выступу, шест с ковшом поднялся будто нехотя, вяло и швырнул камень — видно, слишком тяжелый — совсем недалеко. Булыжник грохнулся в самую гущу наступавших монгольских сарбазов. Увидя это, мастер-китаец в страхе опустился на бревно. Заохали, запричитали и оба раба:

— Ойбой, пропали!

— Своих же придавили!

— Сам нойон сюда скачет!

Примчался Алак-нойон, не поленился — с коня слез. Едва не рысцой подбежал он к старому мастеру, схватил за бороденку, приподнял рывком:

— Что делаешь, старый дурак? Сарбазов моих убил. Все войско остановилось!

Мастер задрожал, взмолился:

— Прости, великий нойон... Камень слишком тяжелый попался...

Нойон зловеще ухмыльнулся:

— Сам-то небось легкий, а?

Перепуганные насмерть рабы при этих словах нойона угодливо осклабились. Они поняли нойона и спешно заработали рычагами. Когда ковш коснулся вала, один из рабов взял тщедушного старика мастера в охапку, посадил в ковш, а другой ударил по выступу. Шест бухнулся о перекладину и швырнул завопившего диким голосом старика китайца через городскую стену.

Огонь еще не коснулся Гумбез Сарая, построенного из кирпича, и каменных зданий на центральных улицах Пшакши и Алтын-тюбе, но спасти от пожара жилые кварталы вблизи крепостной стены было уже невозможно. Даже немыслимо было приблизиться к горевшим домам: с неба падали камни. Камнеметы пробили-таки стены в разных местах, и теперь надо было посылать воинов к образовавшимся проломам. В огне и под градом камней полегло немало кипчаков. Иланчик Кадырхан с уцелевшими отрядами отступил в глубь города, а всех жителей — от мала до велика — бросил на тушение пожаров. Только самых смелых и отчаянных дозорных оставил он на крепостном валу и на сигнальных вышках. Он понимал: не устоять им против камнеметов, когда на их головы падают булыжники величиною с сундук. Тут невольно оглянешься и побежишь куда глаза глядят. Если камнеметы будут действовать и дальше, то крепостную стену взломают, а войско перебьют. Глядя на все это, Иланчик Кадырхан пришел в отчаяние, сердце заныло, облилось кровью. Больно было глядеть на беспомощно погибающих сарбазов.

К обеду враги поставили камнеметы на новое место. Повелитель поднялся на стену крепости и смотрел оттуда на передвижения в монгольском стане. Бесчисленные рабы, суетясь, хлопотали вокруг камнеметов; верблюды везли их вдоль стены. Было ясно, что монголы намереваются теперь ломать стену с другой стороны, а туда, где образовали проломы, сейчас ринутся пешие войска.

Предположение это вскоре оправдалось. Монголы

хлынули во все проломы, точно полая вода, просачивающаяся в каждую щель запруды. Казалось, стена содрогалась от их пожара. Только кипчакскую саблю можно было противопоставить этому свирепому натиску. Иланчик Кадырхан бросил свое войско в бой.

Он сразу почувствовал, что поотвык за месяцы осады от сечи, плохо слушалась рука и часто впустую рассекала воздух. Раньше, бывало, достаточно ему раз взмахнуть саблей, как враг валился к ногам. Теперь приходилось с каждым из них возиться подолгу.

С этой стороны на приступ шли в основном не монголы, а сарбазы, из разных союзных им родов и племен. Вид у них был затравленный, изможденный, бились они неумело. Истощенные долгой и бесплодной осадой, голодные, измученные болезнями от постной, недоваренной конины, они стали легкой добычей кипчаков. Хоть много их было поначалу и все они громко вопили, однако сразу же дрогнули, отступили. Защитники города смяли их, разметали, загнали в ров с водой и обратили в паническое бегство.

Но затем вступил в бой монгольский тумен. Эти шли плотной стеной, не обращая внимания ни на камни, ни на мешки с песком, ни на горящую кошму, ни на потоки горячего дегтя. На место погибших тут же вставали другие и шли напролом, смыкая ряды. Повелитель обратил внимание на военачальника, шедшего впереди, на котором были серебряные латы. Это был знаменитый Кадан. «Тумен, возглавляемый Каданом, может остановить только смерть»,— так говорили об этом предводителе.

Иланчик Кадырхан насупился, поняв, что только теперь начнется настоящая рубка. Он вскинул над головой саблю. Это был условный знак: всему простому люду немедля отойти от крепостного вала, а воинам подняться на гребень стены. Вооруженные кипчаки бросились на стену, изуродованную камнеметами. На гребне ее и схлестнулись враги, столкнулись лицом к лицу; скрестились, зазвенели сабли.

Иланчик Кадырхан вытащил стрелу из колчана. Он понимал, что стрелять из лука в тех, кто уже ввязался в бой на стене,— бессмысленно, поэтому стал целиться в черный пролом, через который лезли враги. Засвистела стрела, и бежавший впереди монгольский сарбаз упал, раскинув руки. На него тут же упал второй... тре-

тий... Двадцать стрел — одну за другой — выпустил повелитель Отрара, и двадцать монголов упали замертво, загородив телами пролом в стене. Конечно, с такого расстояния было невозможно не попасть, но большое значение имела сила натяжения лука.

Все меньше становилось врагов на стене, и кипчаки рубили их с яростью и неистовством. К полудню все очутившиеся в крепости монголы были поголовно изрублены, враг отпрянул от стены, отхлынул, точно вода после разлива.

Заглохли и камнеметы, будто задохнулись от пыли и крови, как бы застыли в недоумении эти несуразно громадные, безмолвные чудовища. Наступило затишье. Только теперь защитники города узнали, что во время побоища убило камнями провидца Габбаса и кюйши Кайраука. Поредевшее войско вонзило в землю копья и обнажило сабли в знак великой скорби. Потом сарбазы на копьях снесли тела погибших в мавзолей Арыстан-баба. Здесь сотворили отходную молитву и погребли их рядом с недавно умершим летописцем — старцем Анетом-баба.

Много достойных людей погибло в этот день. Раненный в бедро Огул-Барс, превозмогая боль, еле доковылял до походной юрты. Он потерял много крови и упал там, умирающий.

Однако и монголы понесли тяжелые потери. Погибли предводители туменов Тажибек и Кадан — отдали душу во славу ненасытного бога войны — Сульдэ. Султана Бауршика не нашли ни среди живых, ни среди мертвых. Направленный к жителям Отрара посол слезно просил: «Если султан у вас, верните в обмен на своего человека!» Кипчаки отдали им изрубленные тела Тажибека и Кадана. До глубокой ночи выли монголы, оплакивая погибших. В их честь они перерезали горло нескольким бесславным людям, дабы умилостивить бога войны щедрой жертвой. Волчий вой плыл над кипчакской степью.

Погруженный в неуемную печаль, Иланчик Кадыр-хан ночь напролет просидел у изголовья умирающего Огул-Барса. Он вызвал табиба-лекаря, заставил промыть рану, прижечь ее опаленной кошмой. Когда уже начали блекнуть звезды, повелитель города в сопровождении Хисамеддина и Исмаила поспешил в Гумбез Са-

рай. Здесь он приказал под покровом ночи спешно перенести все книги и рукописи из библиотеки в подземные кельи.

Книги связали в тюки, плотно обмотали шкурками, чтобы уберечь от сырости, потом затолкали в глиняные кувшины и крепко замазали горловину их глиной. Самые надежные джигиты повезли кувшины на верблюдах к мечети Кокмардан. Там их отнесли в подземелье. Иланчик Кадырхан сам помогал расставлять кувшины с бесценным богатством. К рассвету вся отрарская библиотека была надежно упрятана под землей, а вход в нее замурован.

Иланчик Кадырхан, притихший, задумчивый, постоял в душной келье, подняв над головой светильник. Рядом с ним стояли Хисамеддин и Исмаил. Всем остальным он приказал подняться наверх.

Повелитель Отрара был больше всего опечален предстоящей разлукой с книгами. Он думал: «Пусть все мы погибнем, лишь бы сохранились они, лишь бы их не тронул тлен и дошли бы эти книги до наших потомков, как дошли они до нас. И обратили на себя благосклонный взор потомков, безумно скачущих, вцепившись в гриву шального скакуна — Времени, и помянули они, потомки, добрым словом нас, своих далеких предков, погребенных и истлевших под обломками,— честолюбивых батыров, любивших родной край, беспредельную полынную и розоватую от щебня степь, как верного крылатого тулпара, безымянных девушек-красавиц, дорживших своей честью, как честью рода, бесшабашных наездников, намозоливших себе шенкеля, торговцев-купцов, высохших от забот, серебропалых музыкантов-кюйши, мудрецов-ученых, чьи мозги иссушили науки, ювелиров-кудесников и мастеров-строителей, своими творениями удивлявших мир, повелителя-наместника, проведшего жизнь в суете и беспокойстве, любимцев народа, рыцарей искусства — салов, серэ, сыпов, вечных тружеников-дехкан, чьи кости разбросаны по арыкам, некогда ими же, дехканами, вырытым... И если помянут нас потомки с благодарностью, если поклонятся священной земле под ногами — значит, не зря пролита кровь, не все заросло травой забвенья. И пусть не увидят они гибель своих городов!»

Иланчик Кадырхан обернулся к двум своим соратникам:

— Вы грамотны и молоды. Мало останется таких людей на кипчакской земле после этого нашествия. Подземной дорогой, показанной мною вам когда-то, немедля уходите из города. У выхода вас будет ждать паромщик Жаухар. Он вас перевезет через Инжу. Вражью дорогу вы знаете сами. В лохмотьях дервиша отправляйтесь в Бухару, оттуда — дальше, в Мерв. Идите туда, где не достанет вас монгольская конница. В городе Шам поклонитесь священной могиле славного предка нашего Абу-Насра аль-Фараби. Когда-нибудь уляжется этот дикий смерч, выдохнется, разобьют себе головы монголы. Тогда вернитесь, придите сюда...

Слова повелителя звучали спокойно и торжественно. Он не позволил даже возразить себе, так как знал, что они хотели сказать: «Как мы можем думать о своем спасении, когда гибнет родной город?! Разве не одна у нас была жизнь? Так разве не должны мы и умереть вместе?!» — читал повелитель в их глазах. И, как бы отметая все возражения, он решительно повел рукой:

— Если нам суждено умереть, то пусть хоть не погибнут отростки наши. Пусть исчезнут наши имена, но не сгинет наша слава! Пройдет время, и вырастет новое поколение кипчаков. Им пригодятся ваше слово, ваши ум и память. И да не оборвется нить рода кипчакского. Где бы ни были — свято помните об этом!

Не смея возразить суровому наказу повелителя, подавленные и потрясенные всем, что они видели и слышали, Исмаил и Хисамеддин спустились в подземелье. Просвещенные сыны народа, его плоть и кровь, в тяжкий час покидали родной край и уходили на чужбину. Уходили с болью и мукой в душе, со слезами на глазах оглядываясь назад...

Когда повелитель Отрара вышел из подземной кельи и поднялся наверх, дожидавшиеся его у входа люди ужаснулись. Послышался глухой ропот. «Он убил Исмаила и Хисамеддина!» — подумали все и невольно отшатнулись. Вместо могучего плечистого, грозного воина из подземелья вышло его жалкое подобие. Совершенно белой сделалась борода, согнулись плечи, потухли глаза. Никто из присутствовавших не осмелился проронить хотя бы слово. Иные не выдержали, закрыли лица ладонями. Некоторые стали уходить. Но повелитель

Отрара остановил их. Люди не посмели ослушаться его.

— Ломайте мечеть, люди! — приказал он глухим голосом.

— Как можно, великий господин?! — крикнул кто-то.

— Ломайте... Засыпем вход в подземелье!

— А вдруг, не дай аллах, враг ворвется в город, тогда нам пригодится подземная дорога...

— Нет! — твердо сказал Иланчик Кадырхан.— Нас судьба приговорила погибнуть вместе с Отраром.

Спорить с повелителем никто не стал. Все понимали, что решение его твердое. Тут же притащили ломы, кирки и молча принялись за работу. Первыми рухнули подпорки старой мечети; потом треснули, осели стены; к обеду обвалился центральный купол, упал, будто сорванный бурей потолочный круг юрты.

Над западной частью города стояла густая туча пыли. Негреющее зимнее солнце тускло отражалось в убого торчавших обломках облицовки. Маслился снежок под ногами. За крепостной стеной послышался грохот походного барабана, ему начал вторить другой. С развалин мечети, оглушительно каркая, поднялась огромная стая ворон. Черные птицы тяжело кружились, лениво хлопали крыльями, и было их так много, что на мгновение они затмили солнце. Люди зябко ежились на ветру....

Со стороны Гумбез Сарая, неуклюже болтаясь в седле, мчался верховой. В нем узнали хорезмского воеводу Карашу. Еще издали завопил он дурным голосом: «Огул-Барс умер!» Иланчик Кадырхан очнулся от этих слов, стон вырвался из его широкой груди. Но он стиснул зубы и выпрямился.

Истинно драгоценное не скоро тускнеет. Перед глазами Иланчика Кадырхана открылись безмятежные голубые горизонты прошлого. Вспомнились мирные тихие дни в Отраре всего лишь четыре года тому назад. Ойхой, времена, времена! И сейчас еще он слышит глухой, ровный голос Хисамеддина, читающего ему сказ из древней книги. Голос этот точно слабеющий гул Инжу в половодье. Вспомнил повелитель послов, путешественников, измотанных дальней дорогой, с запада, из далекого Новгородского улуса, из Кыйева и Хазарии. Он с тоской подумал о помощи, которую могли бы они оказать в

тяжелый, как теперь, час. Он жаждал услышать победный клич Ристалища Батыров на равнине Атрабата. Да-а... С того самого дня не знал он спокойного сна в постели. Вместе с загадочным тулпаром с двумя походными барабанами на передней луке пришла в кипчакскую степь беда с залитыми кровью глазами. Худые вести мчались по караванным дорогам, неодолимо надвигалось время Великой Скорби.

Это дикое племя, пришедшее с востока, сокрушило славных батыров — Ошакбая, Кипчакбая, Огул-Барса; рассыпалась, разорвалась кольчуга жизни. Великие провидцы навеки закрыли глаза. Закончился золотой век Отрара. Кто вернет его из небытия?..

эпилог

Вместе с весенней теплынью и распутицей пришел — по кипчакскому летосчислению — год дракона, или шестьсот семнадцатый — по хиджре, или — по григорианскому календарю — одна тысяча двести двадцатый год, двадцать второе марта. По Малому Шелковому пути из Отрара в сторону Самарканда нестройно брел скорбный караван.

Таял снег, курилась земля; полынь источала густой терпкий дух. На караванной дороге тут и там темнели лужи, чавкала грязь под ногами верблюдов. А на обочине дороги проступил белый налет соли. Сероватые проплешины напоминали спину лошади, натертую седлом. Караван шел молча. Люди угрюмо вобрали головы в плечи, будто возвращались с похорон или с поминок. Впереди ехали на лошадях свирепые военачальники кагана — Алак-нойон и Шики-Хутуху-нойон. От их свирепости, правда, следа не осталось. Вид у них был такой страшный, будто они только что вылезли из могилы. Грязные, с головы до ног покрытые пылью, израненные, в коросте. Их оружие не блестело на солнце, как обычно, а потускнело не то от глины, не то от крови; в колчанах не было стрел, и они впустую болтались на луке седла.

За нойонами ехали не то воины, не то призраки. Глядя на них, можно было подумать, что их толкли в ступе, так они были истощены и изнурены. Бороды их свалялись, глаза запали и гноились.

У лошадей тоже выпирали ребра. Когда эти клячи переходили на трусцу, в животах у них екало, точно кто-то колотушкой выбивал пыль из кошмы. Одни лишь верблюды в этом караване, казалось, были в теле и вышагивали важно, с достоинством. От купцов, заездивших их, они давно избавились, всю зиму гуляли, паслись на воле и запасли горбы тугим жиром. Опустошительная война, потрясшая эту степь, казалось, ничуть не коснулась кичливых животных, наоборот, обернулась для них благом, ибо избавила от тяжких грузов мирного времени.

На последнем верблюде покачивается высокий паланкин. Из него через каждый шаг доносились стоны, которые нагоняли еще большую тоску на подавленное кочевье. Однако люди крепились и старались не обращать внимания на стоны мучительно умирающего человека. Но стоны все усиливались, и тогда Шики-Хутуху-нойон, попридержав коня, рявкнул кому-то из тех, кто волочился позади: «Да заткните ему наконец глотку!»

Слуги отделили последнего верблюда от каравана, заглянули в паланкин. В нем лежали двое: бывший наместник разрушенного Отрара Иланчик Кадырхан и один из монгольских предводителей султан Бауршик. Оба были тяжело ранены. Иланчика Кадырхана схватили вчера в последнем бою на самой вершине купола Гумбез Сарая, пожертвовав из-за него едва ли не сотней воинов, и теперь, пока душа еще не покинула его, спешили довезти до ставки кагана. Рядом корчился от боли и громко стонал Бауршик. Его ранило еще в прошлом месяце. На всем скаку вылетел он из седла и ударился оземь, сраженный кипчакской стрелой. И, видимо, отдал бы богу душу, не спаси его лекарь-китаец. Сутки напролет возился тот, пытаясь извлечь застрявший в груди обломок. Наконец, накалив нож на огне, лекарь сделал надрез под правой лопаткой, пальцами вытащил из-под ребра злосчастный наконечник и вновь зашил шелковой нитью рану. Почти месяц находился султан на грани жизни и смерти. Он терпел нечеловеческие муки, но смерть лишь кружилась над ним. Те-

перь он своими громкими стонами изводил и без того жалкое войско.

Один из сарбазов, сунувший голову в паланкин, угрожающе выхватил кинжал. Холодный блеск его испугал Бауршика. Сарбаз, однако, не решился перерезать глотку султану, хоть монголы не очень-то считались со своими союзниками. К тому же и Бауршик сразу перестал стонать. Сарбаз сунул кинжал за пояс, и караван потащился дальше.

Бауршик испугался не кинжала, оказавшегося на миг возле его горла, а недавнего видения. Смерть померещилась ему в облике черноголовой змеи, высунувшейся из-за спины рядом лежавшего Иланчика Кадыр-хана. Увидев вдруг эту мерзкую тварь, явившуюся за его душой, султан сразу онемел. Уж больно знакомой она ему показалась. Да, он уж видел ее, но не в облике черноголовой змеи. Она приходила к нему совсем в другом обличье...

Ровно четыре года назад это произошло — ойпырмо-о-о-ой, какое дивное было время! — жил он припеваючи, на вольном джайляу, среди своих восьми жен, наслаждаясь нежным мясом жеребят и хмельным кумысом. Не знал он тогда ни горестей, ни печалей. Поочередно ночуя в юртах своих жен, он блаженствовал на воле.

Развалясь удобно на пуховых подушках в одной из юрт, он заставлял наливать в чайник крепкий кумыс и подогревать на горячей золе. Пока он потягивал-цедил сквозь зубы слегка подогретый кумыс, слуги перед юртой резали и разделывали жирного барашка, непременно молодого, из раннего окота. На его глазах закладывали они мясо в казан, стараясь варить его больше на пару, а потом, когда оно бывало готово, выкладывали на плоский деревянный поднос — астау и ставили перед ним. Он брал в руки не нож, а остро наточенное тесло, ставил перед собой чурку и ловко отделял мясо от костей; мясо он тут же раздавал слугам, скотникам, а сам, сложив все кости в кучку, начинал их рубить и крошил мелко-мелко. Потом он приказывал все это крошево снова опустить в горячий жирный бульон и снова довести до кипения. Бульон получался густой, коричневый, запашистый, его перемешивали с кислым услом, и он пил его из большой деревянной чаши. Огненное хлебово растекалось по жилам, и не было для него более желанной еды. Когда же он запивал все это еще

чуть теплым кумысом, то обретал такую силу, что жены млели в его крепких, ненасытных объятиях. В черном теле держал он их, не давая, однако, блекнуть румянцу на щеках. Пах, пах, что за жизнь была!

Но вот однажды Бауршику приснился страшный сон. Увидел он предка своего, убитого кипчаками. Размахивая саблей, предок говорил с укоризной: «Ты слоняешься по юртам, жирным бульоном наслаждаешься, а я, обесчещенный, опозоренный, тлею в могиле...» Вот и весь сон. Однако вскоре после этого сна Бауршик отправил к кипчакам своего порученца — подлого Билгиша Туюк-ока — Заколдованную стрелу. Было наказано послу: «Или добром уговори выплатить кун за предка, или вечную вражду объяви!» Поскакал с этим наказом Билгиш Туюк-ок и лишь через месяц — усталый, исхудавший — вернулся.

Бауршик выехал его встречать, и порученец тогда сказал: «Иланчик Кадырхан не желает платить мзду за убийство. Как водится, я заслал в его степь коня с кровью и двумя барабанами на передней луке. Пусть содрогнется, увидев предвестника беды!» Бауршик спросил: «А чей же это конь, которого ты заслал в кипчакскую степь?» Порученец ответил: «Одновременно со мной прибыл в Отрар посол из страны Сабр, из племени людей, что облачаются в медвежьи шкуры. Он хотел заключить мир с кипчаками. Я понял его намерение и отвратил его от мира с кипчаками. По дороге, когда мы ехали вместе, я отрубил ему голову, а коня его отпустил, привязав к седлу два барабана. Пусть кипчаков охватит страх, и еще одно соседнее племя потребует с них кун за убийство...»

Не из трусливых и сердобольных людей был Бауршик, но от этих слов коварного порученца он невольно поежился. Тогда-то и померещилась ему впервые собственная смерть в образе Билгиша Туюк-ока. Весело и простодушно скалила она зубы и протягивала ему руки.

Потом, вступив на кипчакскую землю, он столкнулся со смертью вторично. С помощью коварства сразив в поединке Ошакбая, он закатил большой пир. У подножия Каратау резали кобылиц, пили кумыс, жгли костры и забавлялись с пленницами. Помнится, ходил он тогда от одной юрты к другой. Вдруг он увидел во тьме скакуна, а потом и всадника, поджарого, плотного, точно прокопченного солнцем. Всадник осклабился, и он сразу узнал

все того же Билгиша Туюк-ока. Порученец знаком отозвал султана в сторону. Бауршик испугался, однако виду не подал. Стараясь унять дрожь, он послушно следовал за своим бывшим порученцем. Вскоре Билгиш Туюк-ок остановился, спешился, привязав повод к поясу, опустился на корточки, поковырял черенком камчи землю.

— Что скажешь, Заколдованная стрела? — спросил он.

— Таксыр, я только что выполнил наказ кагана!

— Какой?

— Помните, я рассказывал про одинокого тулпара с двумя барабанами на луке? Недавно мы с послом кагана Уйсуном изловили его. Совсем одичал скакун, седло протерло спину, измучилось бедное животное. Привели мы его к кагану. Каган долго-долго смотрел на это страшилище, а потом позвал меня в свой шатер. Обмер я: думал, наказывать будет за какую-нибудь провинность. Однако каган сказал: «Твой спутник Уйсун приходится мне сородичем, но этот сородич встал мне поперек пути. Поступи с ним так же, как поступил с послом сабрцев».

Подвел наш владыка меня к Уйсуну и говорит: «Зачем вы привели изможденного, одичавшего коня — предвестника горя? Бог войны Сульдэ сердится. Отведите коня туда, где поймали, отпустите на волю!» Уйсун принял этот наказ всерьез, а я догадался, что слова кагана сказаны для отвода глаз...

Порученец, похожий на копченое мясо, опять жутко осклабился и продолжил свой рассказ. Но Бауршик будто оглох, кровь кинулась в голову. Все тело его колотила дрожь. Лишь через некоторое время до слуха его донеслись слова Билгиша Туюк-ока: «На этот раз я пустил в степь рыжего тулпара, а между двумя барабанами привязал голову Уйсуна».

Услышав про это, султан Бауршик вновь явственно увидел смерть. Не помня себя он вырвал из ножен саблю. Билгиш Туюк-ок отшатнулся. Бауршик с омерзением рубил его, пока от того ничего не осталось. Лишь к утру, бледный как труп, султан притащился в свой шатер. Потом на ратном поле возле Отрара нойон Шики-Хутуху увидел вконец одичавшего тулпара с черепом на луке и в ужасе принял голову посланника Уйсуна за бога войны Сульдэ.

В монгольском войске между тем поползли слухи об одиноком скакуне без седока. Чего только не говорили!

Бауршик сразу смекнул, откуда дует ветер. Лунной ночью он оседлал коня и поскакал в степь на поимку злополучного животного. Что-то тянуло его так поступить. Однако ему так и не удалось осуществить задуманного: конь с барабанами как сквозь землю провалился. И вот теперь он медленно умирает, не рассказав никому тайну тулпара — предвестника беды с двумя походными барабанами на передней луке седла. Когда вспоминается этот случай, он испытывает ужас, омерзение, у него туманится в голове, ноют кости и омрачается душа... Вот из угла паланкина вновь высунулась черноголовая смерть.

Бауршик повернул голову, посмотрел на окровавленного, израненного, скрученного волосяным арканом Иланчика Кадырхана. «Да-а... видно, он был истинной опорой кипчаков,— подумал про себя султан.— Не цеплялся, как я, за чей-то подол, не пресмыкался у чужих ног, не торговал душой ради собственной шкуры. Вместе со своими соплеменниками встретил он врага и умирает как воин, чья совесть чиста перед потомками...» А он, султан Бауршик? Что осталось от его племени? Что стало с ним самим? Восемь его жен наверняка служат чьим-то утешением, а несметные табуны его, должно быть, давно пожрали монгольские тумены. В тягость стала ему, глупцу, жизнь; мзду потребовал за давно сгнившего в земле предка, сам напрашивался на вражду с кипчаками. Ойхой, лживый, проклятый мир! Он-то, конечно, собака, но и жизнь блудлива! Теперь Иланчик Кадырхан в глазах сварливого кагана достойнее его, верного султана Бауршика. Ему даже стонать не позволено. Сами же монголы едва не пырнули сейчас его кинжалом, чтобы не мешал их думам. А этот кипчак может ругать монголов сколько ему вздумается, его в целости и сохранности доставят в шатер кагана.

Ой, как худо, когда тебя с почетного места волокут к порогу, когда ползаешь на коленях перед ровней; худо подыхать бродячей собакой в безлюдной степи, без славы, без чести, отлученным от родного очага, от своего племени! Не приведи аллах, чтобы потомки наши замышляли подлость или становились на путь бесчестия. Нет, пусть живут честно, не копают друг другу яму, пусть за елейной улыбкой не скрывают злобу и зависть и пусть не готовят исподтишка друзьям стрелы. Да, пусть не рыщут, как алчные звери, не грызутся, не хватают друг

друга за горло и не рвут в клочья, как взбесившиеся собаки... одним словом, да не будут они такими, каким стал он, султан Бауршик!..

Караван вдруг резко остановился. Из паланкина на последнем верблюде донесся мучительный крик. Кони запрядали ушами. Шерсть вздыбилась на шее у верблюдов. Воины уставились в землю. Тот, кто умирал в паланкине, громко проклинал кагана, обзывая его выжившим из ума, кровавым стариком, возомнившим себя подлинным владыкой вселенной. Это вопил в предсмертном отчаянии султан Бауршик. Шики-Хутуху-нойон вытащил из ножен саблю и поехал назад, к паланкину.

О коварная судьба, о мир превратный! Блеснула кривая сабля нойона Шики-Хутуху, и косоротое Чудовище, сеющее смерть, истребляющее все живое и неживое на грешной земле, мерзко захохотало на всю привольную страну Дешт-и-Кипчак. Под его торжествующий хохот отлетела от тела бедная голова Бауршика, не стоившая теперь даже медного пятака. Сколько славных сынов народа проглотило за четыре года свирепое Чудовище! По всей этой земле раскиданы человеческие кости.

Богом войны Сульдэ, который оказался многоликим, точно оборотень, стало это Чудовище. Одним оно представлялось летящей стрелой, другим — одиноким тулпаром без седока, с двумя барабанами на луке седла, третьим — коварным и льстивым послом с двухаршинной чалмой на голове. Злой дух войны натравил погрязшие в дрязгах, копошащиеся на земле двуногие существа друг против друга, заставил их грызться, кусаться, как свору собак, и когда эти жалкие существа начинали друг друга разить, колоть, топтать копытами лошадей, о-о-о... тогда Тэнгри злорадствовал, хохотал, ликовал, сотрясая обезумевший мир. Бешеным наметом мчался по степям, городам и странам Сульдэ, чернея пустынными глазницами. А когда-то... когда-то и он пришел в этот мир невинным младенцем. Шалуном-мальчиком гонялся за жеребятами на прибрежных лугах голубого Керулена; порой ошалело выкрикивал боевой клич, пугая родителей, и никто не догадывался,

что подрастает-зреет Чудовище. С годами окреп неугомонный баловень и теперь уже будил соседние аулы ночами, вселяя тревогу, предвещая беду. Его сторонились, от него в ужасе шарахался мирный люд. А юнец-забияка пристал к какому-то войску, отправился в поход. Странным, нелепым образом почему-то погибали его спутники. То их кони спотыкались, то звери на них нападали. «Несущий гибель» — так прозвали его после этого похода.

Юноша, прозванный «Несущий гибель», собрал шайку и разметал город Хара-Хото, превратив его в пустыню. Самого задушевного друга своего он утопил в колодце. На обратном пути, как рассказывают, встретился ему странник-провидец. И тот, взглянув на юношу-воина, сказал, что истинное его имя — Лик Смерти. Отныне он размахивал железом налево и направо, рубил всех, кто попадался на пути, не разбирая, друг это или недруг. Люди принимали его за Рок. А он искал повода для кровопролития. Ведь толпа — слепа, а люди — верблюжата, покорно следующие за верблюдом-бурой. Куда бы ни повернул теперь Лик Смерти, за ним бросалась слепая, безликая толпа.

Начались опустошительные набеги; точно огненный смерч, проносился Лик Смерти по степи, выжигая все дотла. Потекли по земле кровавые реки, с каждым походом все шире раскрывалась пасть Чудовища, все прожорливее оно становилось, все ненасытней делалась его утроба. Так всечеловеческой бедой обернулось маленькое Чудовище. Оно провозгласило себя каганом — «ханом ханов», «посланником неба», «потрясателем вселенной». Для устрашения врагов, для того чтобы послы на все четыре стороны света разносили легенды о его могуществе, каган приказал доставить ему щенка леопарда. Опытные, страха не ведающие охотники изловили для него в джунглях Индии двух крохотных леопардов, слепых и беспомощных, и спешно привезли их к берегам Керулена. Обычно у щенков леопарда лишь через две недели прорезаются глаза; неожиданно заблестят вдруг через узкие щелки желтые зрачки. Кого увидит первым такой щенок, к тому и привяжется на всю жизнь, сделавшись самым верным и преданным другом. Оба щенка первым увидели кагана. Из его рук они получали потом сахарные кости и дремали у его ног, уткнувшись в дорогой чапан. Когда щенки немного подросли, один захво-

рал, перестал лизать глину и вскоре подох. Второй со временем вымахал с верблюжонка, превратившись в свирепого, сильного хищника. Пятнистая шкура его лоснилась, искрилась, точно огнем полыхала. И люди, и зверье шарахались от него.

Юрту кагана теперь сотрясал раскатистый рык. Немало удальцов, чьи сердца не ведали страха, не решались поднимать взор на огненноглазое громадное, пятнистое страшилище, лежащее у ног кагана. Испытывая трепет и унижение, стояли, бывало, там знаменитые батыры, будто парализованные. Каган, которого сопровождал отныне леопард, стал именоваться Чингисханом. Бесчисленные народы стонали под его пятой. Сам бог войны Сульдэ вдохновлял его на все новые кровавые деяния. Так говорили его нойоны, восхвалявшие властелина на все лады. Люди были для него ничтожней навозной мухи, и не ведал он сострадания. Сердце его обросло густой шерстью, и повсюду теперь виден на земле его лик — Лик Смерти...

Скорбела, слезами исходила Шелковая дорога.
О люди, люди, странники мои вечные! Вы сами, сами горе породили. Чудовище смерти вспоили и вскормили, хворь неизлечимую в душу себе впустили. Волочась за призраком повседневной суеты, за миражем низменного честолюбия, вы друг друга не щадили, презирали, унижали, не понимали; охотно поддаваясь обману и соблазну, перед сильным пресмыкались, над слабым, сирым измывались. Чего достигли? Чего добились? Что поняли? Чему научились?.. О люди, люди, странники мои вечные, горемыки вековечные...

Так скорбит, исходит слезами молодая вдова, потерявшая опору-мужа. Еще недавно по этой дороге валом неслись ратники. Они говорили: «Спешим на помощь Отрару». Столетние старцы, держа перед лицом сложенные ладони, благословляли их на подвиг. Матери в белых торжественных кимешеках шептали жаркие молитвы: «О боже всеблагий!.. Будь милостив к моему единственному...» Еще не остывшие от прощальной супружеской ласки женщины захлебывались от беззвучных рыданий. Не могли они еще представить, что по всей обширной степи уже скачет-носится Лик Смерти. Ни одна не думала в миг прощания, что грудь ее желанного может

пронзить каленая стрела и разом погасить огонь сердца. Блестели слезы на ресницах, и долго смотрели печальные женщины на дорогу...

В тоске и думах проходили дни и ночи, ночи и дни. И вот однажды, вонзив острые морды в небо, завыли собаки. По Шелковому пути брели назад осиротевшие верблюдицы без поклажи, рысили боевые кони без седоков, с пятнами крови на крупе и боках. И нигде не видно было суженого, желанного, богом данного, без веселого смеха которого сразу онемели родные края.

А потом... да, что потом?.. Все то же, извечное. Сначала издалека, еще за перевалом взовьется к небу скорбный клич, бешено помчится к аулу одинокий всадник. И омрачатся души — то скачет вестник горя. Баурым-о-о-ой! Горе, горе-е! Как лист осиновый задрожит молодая жена. Вспомнится ей в одно мгновение, как желанный до хруста в костях обнимал ее стан, как долго целовал ее в губы, как ласкал, посадив к себе на колени, как больно мял грудь, охваченный любовным пылом, и воспаленное сознание пронзит жуткая догадка, что этого больше не будет, не будет, никогда не будет. Отцвело ее короткое счастье! Баурым-о-о-ой! Горе, горе-е! Что теперь ее ждет? Тоска неизбывная? Постель холодная? Дни унылые? Ночи постылые? Падает без чувств, цепляясь за решетки юрты. О, да не бьется в припадке отчаяния молодая любящая жена доблестного мужа, да не испепелит горе ее чистое сердце! Иначе померкнет свет, поблекнут краски, увянут чувства, притупится вкус, навсегда потускнеет вечно прекрасная Жизнь, превращаясь в обузу, в прозябание, в плен. Тусклое марево окутает горизонт, печаль подернет глаза, морщинами изборождит лицо. Баурым-о-о-ой!

— Как только жить будут люди Отрара?

— Что станет с кипчаками, с нашим родом-племенем?

— Пораскидает нас судьба, как птичий помет.

— Кто будет отныне владеть этой степью? Кто будет править кипчаками?

— Мало разве слоняется шушеры, телом искалеченной, душой униженной, с помыслами низменными? Начнет копошиться, со временем скотом обзаведется, брюхо себе набьет. А брюхо набьет — бога забудет, на соседа опять зариться начнет...

Так говорили люди. Аул Ошакбая, находившийся

чуть в стороне от Шелкового пути, медленно двигался к западу. Было бы кощунством называть его аулом батыра. Какой батыр, какой аул?! Жалкий сброд, одни сироты да вдовы, разграбленное кочевье. Скорбно шли женщины, сбивая ноги. Не так-то просто умереть от тоски и горя, если в груди бьется молодое сердце и по жилам течет горячая кровь. Так или иначе, живой должен жить. Они как могли утешали скорбное кочевье, бежавшее бог весть куда от преследовавшей по пятам беды, латали детям прорехи, помогали вьючить тюки, готовили скудную пищу, исполняли поручения ворчливых, крикливых стариков с повадками старых шелудивых козлов. Все терпели, и лишь бледные, осунувшиеся лица прикрывали жаулыками. Подушки сырели от горячих вдовьих слез. Думали женщины: «Погиб мой батыр — солнце померкло, жизнь кончилась». И краса былая завяла, лишь тень одна осталась.

Тем не менее множество тайных закоулков оказалось у жизни. Тот слюнтяй и трус, который еще недавно прискакал в аул со скорбной вестью, стал теперь отираться вокруг женщин: на красоту вдовью позарился. К месту и не к месту шутить начал, хвост куцый распустил, про любовь нашептывал. О подлая судьба! При жизни мужа этот поганец не смел коня близко к ее юрте ставить, через порог ее ступить, а теперь ожил, хорохорится, камчой размахивает, над осиротевшим аулом куражится.

А хвалится-то как такой человек! Только и слышишь: «Когда я с батыром бок о бок, стремя в стремя ринулся в бой... Бывало, мы с батыром из одного турсука кумыс пили... Когда батыр умирал, я сидел у его изголовья...» Можно подумать, он один против тумена монголов сражался. И никто не решится сказать ему в глаза: «Оу, чего врешь-то, горе-храбрец?! Или забыл, как удирал с поля брани, оставив истекающих кровью батыров? Не помнишь, как, убегая, коня запалил?» Старики лишь посохами землю смущенно ковыряли.

Где же вы, удальцы-батыры в железных шлемах и кольчугах? Где храбрецы с львиными сердцами, с верблюжьими жилами — краса степей? Где купцы и ученые путешественники, едущие по Шелковому пути в поисках здравых, мудрых речей, истинной дружбы, надежного мира? Ведь не всегда пребывали люди в скорби, не с сотворения мира царило на земле горе...

Над безлюдной степью низко плыли лохматые тучи. Прогрохотал неистовый ливень. В иссохших буераках-балках заклокотала вода. Реки вышли из берегов, и пенящаяся полая вода смывала разный сор с земли, забирая в поток камни, кусты, пожухлые листья и травы, стремительно уносила куда-то далеко-далеко. Все вокруг ожило, наполнилось звуками жизни. Зелень бурно пошла в рост. Казалось, только трава и свидетельствовала о бессмертии жизни на земле. Она пробивалась настойчиво, неудержимо повсюду: на старых развалинах и пепелищах, на бывших стоянках кочевий, на обочине древних караванных дорог.

И Великий Шелковый путь постепенно зарастал травой. Сначала избитая, с налетом соли дорога еще серела издали, невольно маня к себе. Она звала в сказочную Страну Счастья — Жер-уюк, в край обетованный. Но понемногу она темнела, как проплешины от юрт на осеннем стойбище, потом превратилась в унылую, осиротевшую тропку. Тянулся едва заметный след — голубая шелковая нить. Отгремели раскаты былых событий. Из глубины веков еле доносился отзвук прошлого, глухой зов предков. Умолкли струны древней домбры. Оборвался печальный сказ об Отраре...

1962—1972

ГОЛУБЫЕ МИРАЖИ КУЛАНЧИ

1

Уже тогда знал восьмилетний Дуйсенби: будет он всегда тосковать по серебряному кипящему роднику, по пушистому котенку, по призрачным миражам над степными просторами.

«Твоя колыбель,— говорила ему мать,— здесь, на берегу Куланчи...» Синий поток ее вырывается из теснин Черного ущелья, словно нетерпеливый клинок из ножен, и уже дальше, на равнине, обретает смиренный вид степной реки. И здесь, охваченное дугою излучины, колышется под ветром травяное чистое поле, и стоит посреди него, журчит многолепетной листвою одинокое Священное дерево, старый карагач. Священным назван он потому, что высится над прозрачным, звонким родником, осеняя своими ветвями его живительные струи.

Недалеко от родника расположен загон для лошадей, огороженный глинобитным дувалом; на краю загона притулился к земле невзрачный саманный домок — одинокий, словно оброненный кем-то дорожный коржун...

Непостижимая тишина уединения! Долгие-долгие дни молчания... Лишь шумит внизу река, колотится пенной головою о камни да порою низко пролетают, роняя искры молний, темные тучи над самой макушкой встревоженного Священного дерева.

Дуйсенби может целыми днями дремать на солнышке, пристроившись у дувала; играет со своим пушистым котенком, пока не надоест. Ест он вдоволь родительский хлеб, одет и обут — не хватает ему только милых друзей-товарищей. Не с кем мальчику и словом перекинуться, вот тоска!

Разве поговоришь с отцом, который вечно на коне и в руке его неизменный курук с петлею-арканом на прыгающем конце; не поболтаешь и с матерью, у которой столько дел по дому. Вот и приходится Дуйсенби разговаривать с самим собою, бесцельно бродя по двору, или вслух считать муравьев, бегущих по стволу Священного карагача вверх или вниз. Иногда песенку затянет для себя мальчик, но посторонний человек, пожалуй, не услышит ее. Лишь прожурчит река на дальних перекатах да ветер прошелестит в листве древнего карагача. И этим звукам подобна песенка Дуйсенби.

Забредет он в дом — и сразу же к окну, чтобы смотреть и смотреть в пустынные дали. А мать ему: «Чего застишь свет?» Мальчик не внемлет материнскому упреку и не отрываясь вглядывается в пустоту степи, в волнистый бег голубых холмов на горизонте. Постепенно все расплывается в его усталых глазах — и одиноко летящая птица кажется ему черной шляпой отца, уносимой ветром, а низкие облака превращаются вдруг в табун стремительно бегущих лошадей. Летит черная отцовская шляпа, стелются над степью небесные лошади с косматыми гривами...

К ночи все стихало, шумел лишь один Священный карагач. Отца дома не было. Мальчик, пригревшись в мягких объятиях одеяла, все глубже погружается в дрему. Но что-то загремело в другой комнате, и он широко открыл глаза.

— Мама! — позвал Дуйсенби, и мать, лежавшая рядом, сразу же отозвалась:

— Оу, жеребенок мой!

— Ты закрыла дверь на крючок?

— Закрыла, как же...

— А кто это там... на кухне?

— На кухне? Не бойся, сынок. Это, наверное, старый хозяинушко бродит.

— Кто?

— Домовой. Хозяин дома, сынок.

И мать, зевая, долго объясняет мальчику, что днем

хозяинушко не показывается, ходит только ночью, ищет еды и трогает посуду. Людей он не обижает, наоборот, хранит домашний очаг от бед и напастей...

Дуйсенби вспомнил, что мать всегда собирает остатки еды в отдельную чашку и на ночь оставляет в стороне.

— А если не давать ему еды, он рассердится, мама?

— Не рассердится, а вот обидеться может. Он такой... И уже бросит дом, не придет больше. Вот тогда, сынок, будет плохо. Ни счастья не станет, ни добра в доме.

И все равно домовой-хозяинушко представлялся мальчику косматым, оборванным дедом, невнятным страшилищем...

Заявился усталый отец. «Вороной увел косяк вниз,— сообщил он.— А молодых жеребцов погрыз и выгнал из табуна. Пришлось за ними все горы облазить».

Мать подала ужин. Приступив к мясу, отец разделал мозговую косточку и протянул сыну. После ужина отец взял в руки самодельную домбру из джиды и побренчал на ней. Заговорил с матерью. Наконец-то в доме нарушилась долгая неуютная тишина. Мальчик свернулся под теплым одеялом и вновь задремал.

Но вдруг снова что-то грохнуло на кухне. Свет был уже погашен, вокруг темно, хоть глаз выколи. Мигом сон соскочил с Дуйсенби; он подумал, что надо было ему оставить косточку с жирным мозгом старику домовому; наверное, тот обиделся и, чего доброго, теперь уйдет насовсем...

Вскочил с постели отец, зажег лампу и в одном исподнем, неуклюже переступая босыми ногами, вышел на кухню. Дуйсенби зажмурился: ну, держись, будет сейчас драка между отцом и старым хозяином.

Но все вышло иначе. Оказалось, упал ковш, опрокинул деревянную чашку с нарыном, стоявшую отдельно на столе. Раздался горестный вопль пойманного котенка — отец открыл наружную дверь и выбросил его на улицу. Не старый домовой — это нашумел пушистый котенок, с которым так любил играть Дуйсенби.

А наутро котенок, взъерошенный, закоченевший, юркнул в дом, как только открылась дверь. Глаза у него были мутные, он часто-часто моргал и озирался.

Отец был суров и никогда не спускал провинившемуся. Его особенно сердило, когда, взбрыкивая, удира-

ли во все лопатки и не давались в руки глупые жеребята и когда кошка прокрадывалась к дастархану. Не забыл, оказывается, он и ночного происшествия — поднялся рано, оделся, натянул сапоги и, сунув орущего котенка в мешок, вышел из дома. Оседлав гнедого, приторочил завязанный мешок к седлу, сел на коня и уехал к холмам.

Дуйсенби не притронулся к лепешке, не пригубил кумыса за завтраком. Он сел во дворе у завалинки и, опустив голову, смотрел под ноги в землю. Так он просидел весь день.

На следующее утро мальчик пошел к реке и, стоя на берегу, долго слушал журчание струй. Затем подошел к Священному карагачу и попытался взобраться на него, но лишь порвал рубаху. Вернулся к дому, сел на завалинку, подставил лицо солнцу, закрыл глаза. Вскоре заклевал носом, погружаясь в дрему,— и вдруг ему показалось, что рядом замяукал котенок.

Дуйсенби открыл глаза и увидел его — дрожащего, взъерошенного, робко входящего в ворота. Лапки у бедняги были исцарапаны и сбиты до крови. Непонятно было, как смог котенок найти дорогу к дому, перейти горы, переплыть реку. И когда появился отец — как всегда верхом на коне, держа длинный курук с подпрыгивающим концом,— то лишь сказал удивленно: «Нет, это шайтан, наверное, а не котенок...» И тут вмешалась мать: «Ладно уж, отец, прости на первый раз. Пускай малый забавляется с ним».

И вот теперь Дуйсенби гладит своего пушистого друга, бережно прижимая его к себе, и ему так грустно думать о том, что останется котенок без него, совсем один на этом заброшенном безлюдном зимовье.

2

Отец втащил в дом сухой обломок карагача. Сидевший в углу человек живо поднялся с места и приблизился к хозяину, протягивая ему руки. Приветливо и учтиво стал спрашивать, все ли благополучно в семье, цел ли скот. Это был директор школы Тойлыбай.

— Стареет Священное дерево, гляди, сук отлетел от верхушки,— пояснил отец, бросая на пол ношу.— Годится на кол для коновязи... Эй, Дуйсенби, принеси-ка топор и колоду мне!

Мальчик принес то, что просил отец. Директор Тойлыбай вновь водрузился на разложенные в переднем углу подушки.

— Скоро учебный год начнется,— приступил директор к разговору.— И я приехал, как мы с вами условились, Досеке, чтобы отвезти мальчика в наш интернат.

— Э-э, мал еще совсем! Дали бы годик погулять ребенку.

— Никак нельзя, почтенный! И над нами есть начальники...

Табунщик потюкивал топориком, обтесывал кол. «Ну и смола,— думал он,— никак не отстает. С тех пор как получил от меня полконя на зимнее мясо, стал приветливее родственника. Улыбается. Обучу, мол, твоего Дуйсенби. А это надо понимать: гони кумыс и мясо. А что нам его учеба. Сами ликбез кончили в тридцать лет — и ничего, слава аллаху, живем помаленьку. Пришлось в свое время в немца стрелять — стреляли, надо лошадей разводить — что ж, разводим. Мимо ушей не пропускали то, что говорили нам власти, хотя шибко учеными не были. А эти умники, точно, заморочат голову малышу, образованным его не сделают, а вот мозги в труху изведут».

Директор Тойлыбай сидел напротив табунщика и думал: «Очень трудно нам с этими несознательными, просто беда. Построили мы замечательную школу, а интернат никак не можем укомплектовать. Где набрать нужное количество учеников, если такие вот, как этот, упрямо твердят одно: мал еще, пусть дитя погуляет... А о том не подумают, что роно с меня ведь спросит, почему сидят дома наши наследники, достигшие школьного возраста».

И с такой физиономией, словно во рту он держал кислый курт, директор Тойлыбай полез рукою за пазуху, будто хотел почесать свою впалую грудь, долго копался там и вынул несколько смятых красных десяток. Молча положил рядом с табунщиком.

— Ойбай, что это? — деланно удивился хозяин.

— За согум, почтенный, за зимнее мясо.

— Э-э, зачем деньги человеку, живущему среди гор? — отнекивается табунщик, с трудом, однако, сдерживая свою радость.— Родственников, бывает, и одаришь чем-нибудь, да деньги-то при чем...

— За свои кровные денежки, почтенный, нигде не можем достать свежего мяса. Так что не обижайтесь, спасибо за помощь, великое спасибо.— И он придвинул деньги с видом, что отдает их с благодарным смущением.

Хозяин деньги взял и небрежно сунул их в карман. И сразу же вновь схватился за топор, стал размахивать им, затесывать кол. Вошла хозяйка, осторожно неся перед собою деревянную чашку с кумысом. Опустилась на краешек дастархана, принялась взбалтывать кумыс, черпая ковшиком и высоко подняв его, сливая назад кобылье молоко. Оно доходило при взбалтывании — должно было покрыться пеной и, успокоившись, стать нежным, бархатистым.

Директор Тойлыбай принялся опрокидывать в себя чашку за чашкой превосходный, доведенный до высшей тонкости кумыс. Невзрачное лицо его вмиг оросилось капельками пота, сытая, бражная отрыжка стала сотрясать ублаготворенного директора. Глаза его затеплились, замаслились.

И, с надеждою глядя на него, заговорила мать просящим, заискивающим голосом:

— Мальчик-то мой... Ребенок этот никудышный всегда был не как все... Уж ты, деверь мой, не упускай его из виду. Другие пострелята, бывает, носятся по скалам, горы перепрыгивают, а мой тихоня сидит и сидит на камушке один! Не сунь ему в рот ложки, останется голодным. И заговорил поздно, не как все... Уж сколько раз я просила этого болтливого старика: эй, оседлай-ка коня, посади спереди мальчонку да свези его в район, в больницу, и покажи хорошим врачам. Но ему хоть бы что — в одно ухо влетит, в другое вылетит.

Мальчик замечает, как глаза отца становятся сердитыми. Табунщик выразительно сплевывает в сторону и ворчит: «Хватит тебе пустое болтать! Подавай-ка лучше на стол... Если тебя в три года бросили бы одну в степи, ты и вовсе никогда не заговорила бы. А то...»

Дуйсенби знает, на что намекает отец. Мальчик не раз слышал от взрослых эту историю... Готовясь к кочевке, отец всегда волнуется, горячится, словно пьянеет от предстоящего переезда к горам. Он спешит перегнать скот к сочным пастбищам Куланчи, где волнуется трава, густая и длинная, как лошадиная грива. Суетясь в нетерпении, он кое-как свалит юрту, погрузит

решетки-кереге на верблюдов, а потом вскочит на коня, крикнет: «Ну, справитесь теперь сами!» — даст шенкелей гнедому и умчится за синие холмы. Остальное, как всегда, должны были сделать жена и старая рассеянная бабка...

Мальчик хорошо запомнил, как это бывает: мать подпоясывается платком, засучивает рукава и возится с тяжелыми вьюками, нагружает верблюдов. Вскоре выстраивается целый караван, мать ведет в поводу головного верблюда, бабка покачивается меж горбами какого-нибудь другого, дремлет, пристроившись средь навьюченного скарба высоко над землею...

А в тот раз произошло вот что. Обе женщины, мать и бабка, замотались вконец и, понадеявшись друг на дружку, совсем позабыли о ребенке. Немало времени медлительный караван пылил по степи. Прибыли наконец к месту нового кочевья, разгрузились, разобрали и поставили остов юрты, сварили еду, сняли с огня казан, вымыли руки.. Только тут спохватились: где же ребенок? Стали искать его — не свалился ли в овраг, не заснул ли в высокой траве. Нигде не нашли. А уже был глубокий вечер, и настала ночь, которую взрослые провели, не сомкнув глаз. Чуть свет отец помчался назад. И когда он на взмыленной лошади прискакал к старому кочевью, мальчик, живой-здоровый, спокойно разгуливал себе на свободе, рвал и отправлял в рот перышки дикого лука. Отец в смятении бросился к сыну, сунул ему в рот палец и нажал на нёбо: по старинному поверью, это хранит дитя от злой напасти и порчи.

3

Вот громадный карагач уже и сохнет, теряет сучья... Если свалится он однажды — кто будет оберегать Куланчи? Где птицам вить гнезда, куда взбираться неутомимым муравьям? Дуйсенби с грустью смотрит в окно на Священное дерево, и так ему жаль старого друга...

— Ты что, камни варишь или мясо? — нетерпеливо говорит жене табунщик.— Чего так долго? От твоего кумыса, знаешь, нутро сосет, как корова языком лижет...

Он стряхивает с полы чапана щепки. Директор Тойлыбай сидит напротив.

— Эхе-хе, за свои кровные денежки не можем мяса

купить, чтобы поесть вдоволь,— говорит он, снова возвращаясь к своим заботам.

Жена табунщика месит для бесбармака тесто, затем раскатывает его на куске чистой, хорошо выделанной кожи. У женщины свои думы в голове.

— Ты ж, деверь мой, не знаешь даже, каким он у нас бывает непутевым,— говорит она, вздыхая.— Однажды взял да и утопил золотые часы. Да, отцовские золотые часы... Отец-то четыре года пылил кирзовыми сапогами на войне, домой вернулся и привез эти часы — большие, вот как с мой кулак. Так этот непутевый малый утопил их на водопое.

О, Дуйсенби хорошо помнит эти трофейные часы с длинной цепочкой... Как они громко, весело стучали! Грохотали, можно сказать. Когда отец, бывало, собирался съездить в район, то клал их в нагрудный карман, а сверкающую цепь выпускал наружу. И то и дело доставал часы, открывал крышечку и смотрел время. А в будни он не носил их, берег, и они висели высоко на решетке-кереге. Для мальчика они были предметом мучительного соблазна. Ему казалось, что если он нацепит на живот часы, то сразу станет большим и умным, как отец.

...В тот день это было, когда едва не задохнулся на привязи строптивый жеребенок с лысинкой. Отец побежал спасать жеребенка, мать же была занята дойкой кобылиц. Мальчик набрался духу и полез на кереге. Он разорвал рукав и весь оцарапался, но достал-таки золотые часы. Повесил себе на шею и, чувствуя себя новым человеком, отправился гулять. Он подошел к реке, к водопою, где вязкое дно было покрыто темным илом, а стоячая вода была прозрачна и неподвижна. Это место служило для Дуйсена зеркалом. Здесь, бывало, он рассматривал себя, наклонившись с берега. И на этот раз, желая полюбоваться собою, он приблизил лицо к воде — вдруг цепочка соскользнула с шеи и через голову, увлекаемая часами, бултыхнулась в воду. Миг — и все исчезло в толстом черном иле. Мальчик растерялся. Полез, закатав штанины, искать часы, да только взмутил воду. Долго шарил наудачу, двигаясь туда и сюда, да без толку... Прибежал, тяжело отдуваясь, отец, молча полез в воду и тоже принялся месить руками пухлый ил. Долго искал, наконец плюнул: «Зря только чистую воду взбаламутили».

Место это с тех пор называется у них Золотым водопоем.

— Ну и дурак я был, однако! — вдруг громко сказал отец.— Чужим порадоваться хотел. Видать, не на пользу нам пошло фашистское добро! — И расхохотался.

Он, должно быть, тоже вспомнил давнишний случай с часами...

Директор Тойлыбай, со скучающим видом смотревший на то, как табунщик заостряет лезвием топора кол, возразил нехотя:

— Почему же? Многие вернулись с войны в трофейных башмаках на толстой подошве, так им ведь износу не было. Хорошо послужили хозяевам.

4

Мясо молодого барашка сварилось, ароматный дух свежины щекочет ноздри. Хозяин мелко настругивает казы, орудуя острым ножом с роговой рукояткой. Директор Тойлыбай берет мозговую кость и пытается переломить ее ударом кулака, но лишь отшибает руку. Так и не добравшись до жирного мозга, директор вгрызается в сахарный мосол, пытаясь вскрыть косточку с конца.

— Слышал я,— сказал отец,— что в аулах сейчас начали разводить кур и кроликов.

Тойлыбай отложил кость и вдруг — совершенно неожиданно — принялся подскакивать на месте и всхлипывать. Мальчик, удивленно смотревший на него, сперва даже подумал, что директор заплакал.

— Опе-опе! Кур и кроликов! — воскликнул наконец директор, все еще вздрагивая от смеха.— Прошлым летом и я, многогрешный, завел было кроликов. Так что же вы думаете? Чуть мне дом не обрушили, окаянные. Как начали рыть под ним ходы! Из тридцати кроликов одного только и удалось положить на зуб, остальные разбежались кто куда... Пробовал я и кур держать. Так они, родимые, сначала выщипали всю траву во дворе, а затем полезли к соседям, на радость их голодным собакам...

Хозяйка тем временем полила горку мелко нарезанного мяса густым бульоном, куда был накрошен ди-

кий лук. Лук, который был собран ее сыном на берегу Куланчи...

— Ох, деверь мой, ведь этот мальчишка когда-то ходил за миражем,— восклицает она, вздыхая.

— Куда пошел? За кем? — недоуменно вопросил директор.

— За степным миражем. Потрогать его захотел руками, видишь ли.

— Мираж?..

— Ну да. Появляются же иногда миражи, когда сухо в степи и жарко... Мальчик что-то такое увидел, ну и решил это рукою потрогать.

...Однажды летом отец с матерью уложили спать Дуйсенби, а сами отправились в гости к чабанам на соседнее кочевье.

Тихая юрта. Полутьма. Входной полог был поднят, но в юрте стояла сухая духота. Отгорали самые жаркие июльские дни. В солнечном пятне, павшем от входа на пол, прыгали, словно баурсаки в кипящем масле, забравшиеся в юрту воробьи. Клювики у них были широко раскрыты.

Дуйсенби поднялся с постели, пошел к выходу. Воробьи с шумом вылетели наружу.

Ойбай! Ой-хой-ой! Какая даль, какой простор! Впервые мальчик понял, что мир — это огромное пространство. Это гораздо больше, чем родная юрта — от порога до переднего угла.

Вдали что-то льется, проносится над степью волнами. Словно воздушная река... Нет, это голубые горбы огромных призрачных верблюдов, караван которых проходит за дальним холмом. Самих верблюдов не видно — одни шаткие горбы. Или нет — то мамин белый жаулык, от которого отстал и треплется на ветру легкий конец, а может быть, это подол ее праздничного платья летит по воздуху.

И мальчику захотелось тотчас коснуться рукою материнской одежды, что призрачно струилась среди волн марева. Он шагнул за порог. Он пошел навстречу солнцу, обратившись лицом к его белой яри... Колет жесткая дикая стерня босые ноги, больно им и горячо. Голубые волны все круче вздымаются и падают на горизонте, и к ним никак нельзя приблизиться. Но они такие красивые, но к ним так хочется подойти, коснуться их! И мальчик шел и шел, падал, поднимался, опира-

ясь ладонями о горячую, колючую землю, и снова упорно шагал вперед. Пересохло в горле, захотелось пить. Ноги ослабели, в коленях пробила дрожь. Идти не было сил. И, глядя отчаянными глазами на далекий голубой мираж, Дуйсенби беззвучно заплакал...

Уже далеко за полдень отец нашел его спящим в пахучих зарослях полыни, со вспотевшим лицом... Пройдет много лет, прежде чем Дуйсенби поймет, что всякая недосягаемая мечта и тот степной мираж — это одной и той же природы непостижимое явление.

А теперь, в эту минуту, он слышит:

— Боюсь вот, как бы на смех не подняли. А то взялся бы разводить свиней.— И это говорит директор Тойлыбай.— От кроликов и кур толку мало. А вот свинья другое дело. Конечно, грязное животное и вонючее, зато выгодное. Ведь за один помет приносит по десять поросят. Откорми каждого, осенью зарежь да осмоли — вот тебе и денег куча, хоть копну копни из них. Я только теперь начинаю понимать, почему наши уважаемые предки всю жизнь ходили голодранцами. Казахи что разводили в основном? Верблюдов, у которых по одному приплоду в два года. Вот и попробуй разбогатеть с ними — зря только все жилы надорвешь. То ли дело свинья...

Мальчик замечает, как недовольно хмурится отец, отворачивается от блюда с мясом и, раскрыв складной нож, принимается сердито водить лезвием по жесткой ладони. С улицы доносится ропот листвы Священного дерева, раскачиваемого ветром. Директор Тойлыбай спохватывается, видя, что наговорил лишнего, и, желая поднять настроение хозяину, возвращается к прежнему разговору.

— Насчет Дуйсенби будьте спокойны, уважаемые родители,— говорит он, угодливо улыбаясь, и тыльной стороною запястья отбрасывает со лба наверх жидкие пряди волос.— Жить будет в новеньком интернате, спать на чистых простынях, есть белые булки. А к зиме, если холодно станет в помещении, заберу его к себе в дом. Ваша сноха, скажу я вам, любит детей и будет заботиться о мальчике. Не беспокойтесь...

«Ах ты хитрая лиса,— думал табунщик, сидя напротив.— Речами своими можешь и змею улестить... Много таких сейчас развелось. Прибыл в нашу долину всего два года назад, а уже «деверь», и жена его «сноха»,

и у всех на устах его имя: «Тойлеке! Тойлеке!» Правда, восьмилетку-то сумел превратить в десятилетку и интернат построил для наших детей... Но уж больно речист, всем напоминает, что он сделал для детей животноводов, какую заботу проявил о детях «тружеников степей». А ко мне ты приехал, брат, не потому, что некого было послать вместо себя, нет,— аркан твой заброшен метко, и мы знаем, на что ты целишься, дорогой благодетель чабанов и табунщиков».

А вспотевший от еды Тойлыбай думал в эту минуту: «Говорили же мне, что этот табунщик, имеющий орден за войну, большой скряга, но я не верил этому — и зря не верил. Люди правду сказали. (Директор вспомнил о деньгах, которые табунщик не постеснялся взять за свое «подношение».) Есть среди тружеников степей люди широкие, с размахом, сами богатые и других одаряющие с легким сердцем. А этот — настоящий Шыгайбай нашего века, скряга, соломинки не дающий даром...»

И опять с улицы донесся ропот Священного карагача — словно настойчивый далекий призыв. Дуйсенби поднялся с дастархана, вытер руки о полотенце и вышел из дому.

Во дворе стоял новенький мотоцикл с коляской, на котором прикатил директор школы. Дуйсенби не остановился возле него, прошел мимо — его не заинтересовала машина. Он думал сейчас о Священном карагаче, и мальчику было грустно: скоро, скоро им придется расставаться!.. А что будет потом? Останется ли целым старое дерево, у которого уже начали отсыхать ветви...

Оно стояло, высоко вознесясь обломленной вершиной в небо, и плавно раскачивалось на ветру — могучий великан, не желающий расставаться с этой жизнью, с землею, на которой вырос, со всем живым, что окружало его. Вздутые, как жилы, крепкие, как железо, корни его глубоко объяли земную твердь. Старые люди рассказывали, что дерево это было посажено дедом Дуйсенби и что с тех пор, как оно прижилось у родника, в Куланчи никогда не знали джута, голода.

Мальчик подошел к источнику. Трава вокруг него начала желтеть, местами полегла. Дуйсенби присел возле родника, погрузил руку в кипящую на дне живоструйную воду. Она была прозрачной и ледяной, быст-

рые круги побежали по ее поверхности. Клонилась с края родниковой чаши душистая мята...

Не было такого дня здесь, в Куланчи, чтобы Дуйсенби не приходил и не сидел на траве у источника. Он прибегал сюда, когда бывал обижен. Пил чистую воду, черпая ее пригоршнями. И стоило ему нагнуться к роднику и посмотреть на его ключевые радостные струи, как в душу возвращалась бодрость и надежда.

Лишь однажды он покидал Куланчи, жил без родника и любимого карагача. В то лето мать повезла его к дяде, далеко в горы. Дядя был наездник, джигит, любитель скачек и кокпаров. Так и срывался с места и мчался туда, где раздавался стук копыт. Дома целыми днями бывал занят починкой и подгонкой сбруи, седел — делами, опять-таки связанными с лошадьми и скачками. Больше он ничего делать не хотел. Гостей встречала-провожала, дом вела, за скотом ухаживала его жена, материна невестка... Дуйсенби помнит, как в жаркие дни прибегали к дядиному дому дикие горные козлята, припадали к водопою, запаленно водя боками. И тогда, глядя на них, мальчик начинал еще сильнее тосковать по тишине родного оазиса, по лепету милого родника в Куланчи.

И теперь, зная, что директор Тойлыбай увезет его на мотоцикле в интернат, мальчик с грустным недоумением думал: как же он останется без родника? Где придется пить — какую воду, если настигнет его жажда?

5

Он лег грудью на землю и стал пить студеную воду, тянул и тянул ее сквозь заломившие зубы. И вдруг услышал, что его зовут. Он оглянулся, затем поднялся на ноги. У ворот стоял отец и громко звал его, призывно махал рукою. Дуйсенби нехотя пошел к дому.

— Вот... с дядей этим поедешь в совхоз,— сказал отец.— Поди сбрось все, что на тебе, и надень новенькое... Кумысу напейся перед дорогой.

Тойлыбай потрепал мальчика по голове.

— Э, как волосы у тебя отросли,— заметил он.— Ну ничего, мы это поправим, по дороге заедем в парикмахерскую и подстрижем, как положено.

— Пусть бритвой наголо обреют,— пожелал отец.— Да чтобы одеколоном не брызгать. Тошнит меня от этого одеколона.

— Так ведь не вас, почтенный, будут одеколонить, а сына,— усмехнулся директор.

— Какая разница,— возразил табунщик.— Кажется, от меня родился: что он, что я...

Дуйсенби вошел в дом. Там все было перевернуто вверх дном. Из сундуков вывалено, стопы одеял свалены на пол. Мать уже приготовила для него новенькие ботинки и вельветовые штаны. Ботинки оказались великоваты, и внутрь каждого, в носок, была запихнута скомканная бумага.

Не оказалось кепки — весною, когда переезжали, как-то забыли, что ему понадобится летний головной убор. Отец решил выделить сыну полосатую кепку, которую обычно надевал, отправляясь в район. Просторная кепка сразу же упала мальчику на глаза, и Дуйсенби, задирая голову, посмотрел из-под козырька на отца. Тот взял газету, сложил ее во много раз и вложил в головной убор, отчего кепка обрела жесткость и удержалась на голове мальчика. Однако вид его был довольно нелепым, и мать, глядя на него, то и дело утирала глаза концом жаулыка.

Вельветовые брюки оказались великоватыми, пришлось матери укорачивать штанины, заворотив их концы внутрь. Когда Дуйсенби одели, отец пристально уставился на нелепую фигуру сына, не выдержал, схватил со стены камчу и несколько раз хлестнул себя по голенищу сапога.

— А-а, к черту такую жизнь! — вскрикнул он.— Хватит с меня! Десять лет без передыху с коня не слезаю, вон задницу стер до костей — и теперь не желаю! Я свое отъездил, перееду в совхоз! Руки были бы целы, работа найдется. Да, да, работа везде найдется! И сам буду ребенка своего в школу водить. Шапку набекрень надену, руки в брюки — и айда гулять по широкой улице!

— Что вы, что вы! Благородным наездникам, таким, как вы, нечего делать в долинах,— льстиво заговорил Тойлыбай.— Комаров кормить, которые налетают ту-

нами, или пыль глотать! Ох, только не говорите потом, что не отговаривал вас, когда станете давиться жареными макаронами и запивать их теплым квасом. Вы будете еще жалеть об этой жизни, будете вспоминать об этих райских местах.

— О чем жалеть? Чего вспоминать? — шумел табунщик.— Читаем прошлогодние газеты! Радио не слушаем. Гром загремит за горами, а у нас сердце замрет: покажется, что это машина шумит, люди едут к нам...

«Должно быть,— думал директор Тойлыбай,— у этого табунщика немец выбил шарики из головы. Мычать, словно теленку, тоскуя о каких-то машинах, газетах, когда столько свежего мяса и кумыса! Алла! Это и есть так называемые контрасты нашей жизни, когда взор беркута притягивает к земле, а гончую что-то заставляет с тоскою смотреть в небо. Да если бы не было моих обязанностей, всей этой суеты и маеты, стал бы я хоть день жить там, среди жары и пыли!..»

«А ты,— думал табунщик,— один из тех хитрецов, которые говорят одно, а делают другое. Вы любите собираться поближе к центральной усадьбе, к конторе поближе. И я тоже мог бы, как некоторые, подремать пару часиков в кабинете, а вечером, развалясь у себя дома, смотреть телевизор, играть в шахматы или разгадывать кроссворды... Но таким, как мы, нечем развеять тоску, сидим себе в четырех стенах да слушаем, как воет ветер и шумят деревья. Когда совсем станет невмоготу, садимся на коня и скачем по холмам и оврагам... А вы говорите, что мы дикари, заливаемся кумысом и объедаемся мясом...»

— Бывает, всю ночь глаз не сомкнешь, все думаешь и думаешь о чем-то,— жалуется табунщик,— а мысли-то, словно молодые кобылицы, разбегаются, ни одну не поймаешь.

— А сколько шуму на главной улице,— говорит Тойлыбай, думая о своем.— Днем и ночью снуют машины, грохот такой стоит, что мозги из головы вышибает. За день так умаешься, бывает, что вечером, как только голова твоя коснулась подушки, так ты и захрапел...

— Чтоб мне сдохнуть, разве это жизнь?! — гнет свое табунщик.— Другие живут, а мы? Пара сундуков, пол-

ки для одеял и подушек, ящик для посуды и старая двустволка — вот и все наше имущество. Если все, что имеем, вынести на базар — и тысячи рублей не дадут за наше добро. Вот до чего дожили!

«Жена все уши прожужжала: купи да купи арабский гарнитур за две тысячи рублей,— тянет про себя невеселую думу директор Тойлыбай.— А в прошлом году все отпускные угрохали на пианино, и стоит оно в доме, всем мешает, и дети обходят его стороной... Гарнитуры, гарнитуры. В доме от деревяшек негде повернуться. А жене все мало... Вот сесть бы на мотоцикл и уехать куда глаза глядят... Никаких денег ведь не хватит на то, чего ей хочется. И где их взять...»

Тем временем табунщик, тоже умолкнувший, решил окончательно, что в будущем году осенью переберется в аул на постоянное жительство. Табун сдаст другому. Пыльные кошмы и прочее хламье бросит в огонь. Заведет современную мебель, развалится на диване и будет разгадывать кроссворды. Если даже сторожем устроится в школу — и то ладно. Зато со сверстниками будет встречаться, курить с ними толстые кубинские сигары. Продаст своего призового скакуна и купит мотоцикл, как у этого директора. И с грохотом помчится по улице, обгоняя всех.

Одна только мать, ни о чем другом не думая, пребывала в печали, уже мысленно прощалась с сыном, вздыхала, нежно целовала его в щеки, что-то шепча про себя. Она отнесла в коляску мотоцикла большой бурдюк с кумысом. Объемистый коржун Тойлыбая туго набила домашней снедью: вяленым мясом, грудинкой, куртом... Без конца твердила сыну, чтобы он держался, как большой, и не плакал, когда они расстанутся. Набила его карманы сушеным сыром-иримщиком, золотистым и пахучим, приговаривая: «Проголодаешься в дороге, погрызи на ходу». Затем сама не выдержала, заплакала и вскрикнула жалобно: «Жеребеночек мой! Маленький мой!» Отец громко крякнул и стал ожесточенно стегать камчой по сапогу.

Дуйсенби, весь в слезах, сидел и трясся в коляске мотоцикла. С высокого перевала он в последний раз оглянулся на Куланчи. Одинокий Священный карагач, милый родник, голубые миражи — весь этот незабвенный детский мир скоро должен был исчезнуть за размытым горизонтом жизни.

УМ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, НА БАЗАРЕ НЕ ПРОДАЕТСЯ

В последнее время Устабай ходил сам не свой. И все началось с рассказа друга Муталифа по прозвищу Тарзан. Тот, вернувшись с базара, такое поведал, что Устабай вконец лишился покоя и даже перестал замечать, что творится вокруг. Попросит отец что-нибудь сделать, Устабай не расслышит или сразу забудет. Уроки учи не учи, все равно в голову не лезут. Поставят перед ним тарелку с супом, а он кладет туда сахар и начинает размешивать ложкой, думая, что это чай. Беда, да и только.

Ну, вот сегодня, например, мама послала его за чем-то к соседской старухе. А за чем послала, Устабай забыл уже на полдороге. И так думал, и сяк думал — нет, напрочь вылетело из головы. Одно только помнит: надо что-то принести. Потом решил, что, вероятно, маме понадобилась тыквенная бутыль из-под кумыса. Подхватив ее под мышку, вернулся домой.

Мать начала ругаться:

— Ты что, дырявая башка, совсем рехнулся? Я же тебя за цыганской иглой послала, а ты бутыль тащишь!

Нечего делать, понес Устабай бутыль назад. Идет, спотыкается, грустные думы душат: «И в самом деле дырявая башка. А все меня рассказ Муталифа-Тарзана с толку сбил...»

А рассказ был такой.

Поехал недавно Муталиф с отцом на знаменитый воскресный базар. Вырос он в горах, на безлюдье, и потому пестрый южный базар почудился ему одним из немногих чудес на свете. Как приехал на базар, так и рот разинул от удивления. Посмотрит направо — будто весь скот, крупный и мелкий, с верховья и низовья сюда согнали. Овцы блеют, коровы мычат, кони ржут — хоть уши затыкай. Посмотрит налево — лавки прогибаются под разноцветными коврами, паласами, дорожками, домоткаными лентами для юрт — аж в глазах рябит. Возбужденные торговцы что-то выкрикивают, покупателей зазывают, товар свой расхваливают. Все вокруг кипит, бурлит. В густой толпе, поотстав немного, Муталиф сразу же потерял отца из виду. Как раз в это время мимо юркнул патлатый парень в помятом клетчатом пиджаке. Сиплым голосом выкрикивал на ходу: «Ум продаю!.. Ум

продаю!.. Кому нужен ум? Всего три рубля! Берите, покупайте! Ум за три рубля!»

Муталиф прислушался, насторожился. Нашарил в кармане несколько медяков, выпрошенных у отца на фисташки. На них, конечно, ума не обретешь. И все же не удержался, потащился за торговцем умом. Странным показалось только то, что никто не обращал на парня внимания. То ли у тех, кто толпился на базаре, своего ума было достаточно, то ли ум никто всерьез за товар не принимал — неизвестно. В это время из водоворота людей вырвался отец, схватил Муталифа за руку и увел с базара. Тут и торговец умом как сквозь землю провалился.

Вот об этом случае и рассказал Муталиф, вернувшись в аул. И рассказ этот потряс Устабая.

— Слушай, а как это — ум продавать? Купишь и сразу поумнеешь, что ли? — все допытывался он.

— А пес его знает! — по привычке сплюнул промеж зубов Муталиф.

— Неужели за три рубля можно вдруг обрести ум?

— А пес его знает!

— Это ведь здорово — за одно мгновение умным-преумным стать, а!

— А пес его знает!

Безразличие друга огорчило Устабая. Лучше бы он сам поехал тогда на базар. Он бы этого торговца не упустил. Рассказ Муталифа не выходил из головы. В мыслях Устабая роились мечты одна другой краше.

Сегодня, придя из школы, он убрал стойло, почистил ясли, подмел двор. Потом посидел на солнышке, предался приятным размышлениям, даже вздремнул малость. Какая досада! Купить бы у того торговца побольше ума, и тогда не надо каждый день на уроках сидеть, постные наставления слушать, под скакуном чистить, двор убирать, кизяк собирать. Валялся бы на мягкой подстилке в прохладной комнате, смотрел бы в потолок, спал бы сколько вздумается и ничего бы не делал. Ах, какая была бы благодать!..

И приснилось ему, будто он купил-таки ум на базаре. А тут как раз вернулся с работы отец, и Устабай дает ему умный совет:

— Давай-ка, огец, избавимся от коровы Пеструшки и коня-скакуна. Корову сдадим аулсовету на мясо, а скакуна отправим в табун. Пусть себе пасется на воле. Почему? Вот сейчас я все тебе объясню. Уж больно хлопотное это дело — скотину держать. Посуди сам: летом я не могу, как другие дети, на рыбалку ходить, по горам да оврагам бегать. Только и знаю, что сено косить под палящим солнцем. Потом это сено надо доставить домой. Осенью опять-таки хлопоты: глину месишь, саман делаешь, коровник ремонтируешь. Зимой в холод и в пургу за скотиной ухаживаешь, чистишь, скребешь, поишь, кормишь, во двор выгоняешь, присматриваешь, ублажаешь. И так изо дня в день круглый год ни покоя тебе, ни отдыха... А ради чего, спрашивается, все эти адские труды? Всего лишь ради того, чтобы забеливать чай молоком да один раз в году участвовать в скачках. Но, согласись, чай можно пить и без молока, ничего страшного в том нет. А приз на скачках пусть получают другие. Нам эта слава ни к чему. Нам покой нужен. В крайнем случае любоваться скачками можно и по телевизору. Зато одним махом избавимся от всех хлопот и волнений. Ничто и никто нас не связывает по рукам и ногам. Живем спокойно, спим спокойно. И мы по-настоящему свободные люди. Разве не так?

Отец слабо возражает:

— Мы ведь, сынок, в ауле живем, на земле сидим, как это можно не держать скотину? К тому же в наших магазинах не всегда купишь, что тебе надо.

Устабай твердит свое:

— Не забывай, отец, мы держим курс на стирание различий между городом и деревней. Я это сам прочитал в газетах. Скоро не останется никаких граней, никакой разницы. Нет же такого закона, по которому горожане могут рано ложиться, поздно вставать, при желании пить лимонад и смотреть телевизор, а жители аулов должны по самое горло утопать в хлопотах и заботах. Нынче все равны, отец.

Отец чешет затылок:

— А что, сынок, может, ты и прав. Из-за скотины и впрямь белого света не вижу. Мне что, больше других, что ли, надо? Или мало мне колхозной работы? Скакун мне и вовсе ни к чему. Зачем мне на старости лет слава? Без молока тоже проживу, мясо из конторы выпи-

шу. Отныне покончу с хозяйством. Тебя послушаю. Уж больно умно ты рассуждаешь, сынок.

И, конечно, невдомек отцу, что ум этот сын купил на базаре...

Солнце начало припекать, и Устабай, разомлев, потащился в дом. В доме уютно, прохладно. Мать сготовила обед. Устабай торопливо проглотил суп с домашней лапшой и отправился в свою комнату. У окна, во всю длину стены, стоял огромный обшарпанный письменный стол, на нем стояло давно и безнадежно охрипшее радио, лежали неровными стопками книги и тетради. Устабай раскрыл учебник казахского языка, пробежал раза два правила склонения. С тоской подумал, что склонения следует выучить твердо, иначе, как сказала учительница, на всю жизнь останешься безграмотным. Да и вообще пора взяться за ум. В последнее время он слишком много бегает по аулу, уроки делает тяп-ляп, и учительница им недовольна. Слова ее, сказанные вчера, все еще как укор звучат в ушах: «Что с тобой творится, Устабай? Я-то думала, ты умный мальчик. А ты и правила не выучил, и упражнений не написал. Да еще хитришь, стараешься меня обмануть. Не годится, дорогой... не годится...»

Он стоял у доски, переминался с ноги на ногу, от стыда весь покрылся пóтом. Еле доплелся до парты, сел, обеими руками за голову схватился. Что ни говори, сам виноват. Любимую учительницу подвел, огорчил...

Эх, если бы он мог купить на базаре хоть немного ума, не дошел бы до такого позора...

Вчера зашел за ним долговязый соседский мальчишка. Позвал играть. Устабай решительно отказался. Нет, нет, что ты! Еще не все уроки сделаны. Но долговязому очень уж хотелось помериться силами на зеленой лужайке, и Устабай не утерпел. Едва он выбежал на улицу и закатал штанины, как сразу же забыл обо всем на свете. Сначала с долговязым поборолся. Потом с какими-то малышами связался, стал до одури гонять мяч на полянке за аулом. Потом...

Сейчас он удрученно думал. Будь он умный, стал бы с долговязым бороться, рубаху в клочья рвать? А зачем надо было за какой-то приблудной собакой гоняться? Кто заставлял его до самого вечера с малышами в

футбол играть? Мало того, потом с тем же долговязым шалуном вечером возле аульной бани болтался, в окошко заглядывал. О, стыд, о, позор! Добавить хоть бы немного ума к тому, который есть, может, сразу стал бы другим человеком...

И еще подумал Устабай: взрослым хорошо, им всегда все ясно. Они сдержанны и целеустремленны. Это они придумали хорошее правило: делу — время, потехе — час. Научиться бы у них твердости, деловитости. Ведь вот как получается: отец ни за что не станет без толку мячи гонять. А учительница даже не захочет день-деньской в асыки играть. Такого и представить невозможно. Они прежде всего знают свои обязанности, свое дело. А почему? Наверное, потому, что они, взрослые, давным-давно впрок закупили себе ум, а малышам почти ничего не оставили. Если бы, скажем, учительница не обзавелась заблаговременно умом, она сейчас вместе с Устабаем зубрила бы правила склонения. А отец наверняка бегал бы вместе с ним за собаками, дрался с малышами за биток или мчался бы с долговязым наперегонки.

Очнувшись от дум, Устабай выглянул в окно и обомлел: корова Пеструшка освободилась от привязи и паслась в огороде, блаженно хрумкала нежной люцерной. Устабай пулей выскочил из дому, схватил длинный прут и закричал, подражая маме:

— У-у... шайтан тебя возьми!

Корова почувствовала опасность, яростно замотала головой и, давясь, схватила языком целый сноп сочной люцерны. Устабай, размахивая прутом, норовил ухватиться за веревку, волочащуюся по земле. Корова стала делать большие круги, топча посевы. Устабай от досады стегнул норовистую буренку по крутым бокам. Наконец ему удалось поймать кончик веревки, и, задыхаясь, он крепко привязал корову к стояку за домом. «Чтоб тебя, з-зараза, чума постерегла!» — все ругал он непослушную корову и уселся на чурбан в тени. Ух!.. Скотину держать, конечно, нужно, однако представить себе трудно, сколько хлопот, сколько возни... Устабай смахнул пальцем пот со лба. Нет, надо, пожалуй, поговорить всерьез с отцом: пусть продает скот, пора нам жить, как горожанам.

Устабай опять вспомнил про учебник казахского языка, про падежи, которых ни много ни мало целых

семь. Непонятно, почему их все нужно знать. Неужели взрослые только и заняты тем, что склоняют в уме разные слова? Нехотя встал Устабай и поплелся домой.

Вдруг совсем рядом, за оградой, промелькнуло голубое платьице. Сердце Устабая заколотилось. Это была Гульбахра́м, одноклассница и самая красивая девочка в школе. А может быть, и во всей округе. Странно, как только он увидит большие выпуклые глаза Гульбахрам, у него сжимается сердце. Это он впервые почувствовал еще весной. И он никак не мог понять, почему Гульбахрам имеет над ним такую власть. То ли ее нежный голос, то ли ее легкая, как бы летящая походка, то ли манера держаться его так околдовали. И сейчас он не в силах был взгляд оторвать от девочки. Даже на плетень залез, шею вытянул. Девочка заметила его, на мгновение оглянулась, дерзко показала язык и спросила с насмешкой:

— Ну, так сколько раз ты подтягиваешься на турнике?

И, засмеявшись, исчезла за поворотом. Устабай застыл как оглушенный. Наконец очнулся, вздохнул и вошел в дом. На столе лежал раскрытый учебник казахского языка. Жирным шрифтом выделялись семь падежей. И каждый падеж отвечал только на ему одному свойственные вопросы.

Устабай плюхнулся на старый скрипучий диван. «Вон и Гульбахрам надо мной смеется. Так мне и надо! И зачем я только, как хвастунишка, выставляться начал на последнем уроке физкультуры? Выскочка! Грубиян!»

Он живо представил себе, как все было. Учитель физкультуры заставил всех подтягиваться на турнике. И мальчики, и девочки старались как могли. Дошла очередь до Гульбахрам. Она подошла к турнику, встала на цыпочки, но никак не могла дотянуться до перекладины. Вспыхнув, она оглянулась, с мольбой в глазах посмотрела на Устабая. И тут его бес попутал. Вместо того чтобы подойти, приподнять ее за пояс, ободрить добрым словом, он подлетел как сумасшедший, оттолкнул ее и стал сам подтягиваться.

Задергался весь, затрясся, подтянулся раз десять, извиваясь, как червь, и давай без передышки крутить «солнце». Покрутился-покрутился наперед и, посинев от натуги, ловко соскочил на землю. Ребята восторженно ахнули. А он, довольный собой, глянул первым делом

туда, где только что стояла Гульбахрам, а ее уж нет. Она, не оглядываясь, уходила со спортивной площадки...

«Какой я глупец все-таки! — убивался теперь он.— Умный наверняка с девочкой поговорил бы. Уроки вместе учил. А может, в кино бы пригласил. А я, как увижу Гульбахрам, так совсем голову теряю. Бегать начинаю, дурачиться, задираться, кувыркаться, на турник лезть. Ай, позор. Не знаю, кому как, а вот мне сейчас очень бы пригодился чей-нибудь ум. Видно, своим мне не прожить. Только людей смешить. И себя терзать. Значит, надо хоть немного прикупить на базаре. Иначе Гульбахрам не только смеяться надо мной будет, но и возненавидит. Или — еще хуже — презирать начнет».

Вечерело. Стало сумрачно в комнате. С горем пополам все-таки удалось выучить все падежи со всеми их вопросами. Устабай обрадовался, словно неимоверную тяжесть скинул с плеч. Из прихожей донесся гулкий топот. Видно, отец вернулся с работы. Половицы стонут, скрипят. Отец зимой и летом не снимает тяжеленные сапоги, подбитые железом. Потому, когда он ходит, такой грохот в доме. В гостевой комнате зажгли лампу. Отец пришел не один. Гость разговаривал громко, похохатывал к месту и не к месту, видно, был навеселе.

Устабай вышел из своей комнаты, чтобы поздороваться с гостем. Так учили его родители. Гостем оказался Саймасáй, заведующий фермой.

— Охо! — воскликнул он возбужденно.— Сам наследник пожаловал к нам! Молодец, молодец! Уагалайку-массалам! Ну, рассказывай. Как учеба? Как скакун? На кого пойдешь учиться после школы? Давай, давай, выкладывай...

Выкладывать было невозможно, потому что гость тараторил без умолку.

— Не шути с ним,— подал голос отец.— Он твердо решил стать судьей.

Саймасай испуганно закатил глаза, замахал руками.

— Каким еще судьей?

— Как «каким»? Тем самым, который все законы назубок знает. И всех лихоимцев на чистую воду выводит.

— Ой, напугал!.. Знаете, кого я боюсь больше всего на свете? Во-первых — благочестивых мулл, во-вторых — назойливых комаров, а в третьих — судей-законщиков. Ну их к аллаху!.. Ты лучше это... на скотского доктора

учись. Каждый день по барашку есть будешь. Или еще лучше — на прораба. Разный стройматериал налево сплавлять будешь. Вот, дорогой, где настоящее доходное место. Ты меня слушай. Я человек бывалый. Зна-а-ю, как нужно жить.

Устабай ничего не понял. Зачем ему каждый день по барашку есть? И что значит — стройматериал сплавлять налево? Странно...

— Ты научишь,— недовольно возразил отец.— Если он скотским доктором или строителем станет, так что ему, обязательно воровать надо? Мой сын на это не пойдет. Он будет честно жить и честно трудиться.

Саймасай поморщился. От досады по коленям себя хлопнул. На мать выставился, словно у нее искал опору.

— Э-э, Досеке! Оставьте себе ваши нравоучения. Дети должны трезво смотреть на жизнь. Сказки нынче не в моде. Вы меня послушайте. Я все на собственной шкуре испытал. Помните, каким я был после института? Честный, активный, справедливый. Воитель! А что имел? Дырявый карман да уйму недругов. А теперь? Теперь я научился жить. И доли своей из рук не выпущу, и зазря горло не деру. И от всяких дел-делишек не шарахаюсь, как прежде. И усвоил, что такое шахер-махер. Вот!

Отец Устабая деланно зевнул, снял шляпу, вытер большим платком пот со лба. Всем своим видом показал, что разговор завфермой ему не по душе.

— Непонятно все-таки ты говоришь. Вот прожил я на этом свете уже немало лет, а что такое «дела-делишки» и «шахер-махер», плохо представляю.

— По-моему, очень понятные, ходовые нынче слова. Неужто не знаете, почтенный Досеке?

— Убей — не доходит до меня.

— Хм-м... Потому и месите грязь в кирзовых сапогах. Разве можно в нынешний век жить, не ведая ничего о «делах-делишках». Извините, но я вам скажу прямо в глаза. Вы до последних своих дней кетменем махать будете и пыль глотать.

Заведующий фермой Саймасай все больше распалялся, все громче говорил о том, что жизнь штука сложная и уметь жить — большое искусство. Он, мол, кого угодно может научить уму-разуму. И умные люди должны все мотать на ус, слушать его разинув рот и еще благодарить его за умные, добрые советы. Заметив, что

отец ухмыляется, а сын зевает и в носу ковыряет, Саймасай разозлился, вскочил, обозвал всех недоумками, недотепами, не знающими собственной выгоды, нахлобучил кепку и вышел, сильно хлопнув напоследок дверью. Мать разволновалась, на отца подосадовала:

— Тебе что, обязательно спорить надо? Вечно свой дурной норов выказываешь. Даже гостю глотку затыкаешь. Тебе-то что? Пусть говорит что хочет. Сидел бы помалкивал, головой кивал...

— Он всякую чушь мелет, а я — головой кивать?

— Откуда знаешь, чушь он мелет или дело говорит? У человека высшее образование, целой фермой управляет.

— Ну и что? А чего он мальчика нечестности учит? А-а-а...— отец махнул рукой и пошел кормить скакуна.

Устабай удивился про себя.

За ужином, прихлебывая из блюдца чай, подумал: «Видно, моему отцу немного добавочного ума тоже бы не помешало. В самом деле, почему он не живет так, как заведующий фермой. Почему не ходит в таком же дорогом костюме? Почему не носит галстук? Почему не говорит так же важно, уверенно? Почему не едет по аулу верхом и не учит всех, как жить? А вместо этого деньской кетменем размахивает, арыки ладит, посевы поливает. Да и дома не больно густо. Значит, и ему надо бы раздобыть еще немного ума. Пусть не задаром, а за деньги, за скотину...»

Тихо-тихо стало в доме. Только чашки позвякивали в руках матери. Вспотев от горячего крепкого чая, Устабай опять замечтался. Скорее бы стать взрослым. Окончить школу, поступить в институт. Набраться много-много ума. Потом вернуться в родной аул, делать полезное дело. Тогда бы он не нуждался в советах заросшего жиром Саймасая. Да и не позволил бы ему на каждом шагу учить людей жить.

Размечтавшись, Устабай не заметил, как свалился у дастархана и уснул. Не помнил он и того, как мать раздела его и отнесла на кровать.

И опять ему приснился сон.

Будто ходит он по базару. А базар кипит, словно гигантский водоворот. На все голоса надрываются торговцы. Взад-вперед шмыгают перекупщики, здесь и там

толпятся зеваки. Сплошной гул плывет над базаром. Лавки прогибаются, скрипят под тяжестью товаров. А он, Устабай, зажав в кулак трехрублевку, мечется из конца в конец, ищет кого-то. Покрутился возле скототорговцев — нет. Обошел овощной ряд — нет. Заглянул в одну чайхану, в другую — нет. Наконец, встретился ему смуглый поджарый джигит в полосатом чапане, туго подпоясанном кушаком. Он сипло выкрикивал: «Ум продаю! Ум продаю!..» Устабай схватил его за полы чапана: «Агатай, мне продайте. Я сильно нуждаюсь в уме». Джигит остановился, выпучил на него глаза: «Тебе-то зачем? В твои годы и без лишнего ума прожить можно».— «Нет, агатай... Мне нужен такой ум, чтобы, не открывая книгу, все знать... чтобы с Гульбахрам поделиться... и еще, если останется, учительнице немножко дать. И вообще к чему так долго учиться? Я хочу сразу стать взрослым и умным». Поджарый изумленно вскинул брови, расхохотался в лицо и взял три рубля. Потом достал из внутреннего кармана леденцовых петушков на палочке: «На, держи. Только не потеряй. Ходи и посасывай. Понял?» — «Понял... А ум где?.. В петушке, что ли?» — «Точно. Сообразил. Ходи и облизывай. Сразу поумнеешь».

И поджарый мигом исчез в толпе. Только пестрым чапаном мелькнул.

Посасывая леденец, счастливый Устабай ходит по базару. Люди, забыв про свои дела, смотрят на него, перешептываются, пальцами на него тычут: «Смотрите, смотрите. Взрослый мальчик, а, как малыш, конфетку сосет».

Устабай спешит в аул. Палящее солнце выжгло степь. Вокруг безлюдье. Вдали колышется голубое марево. Устабая мучит жажда. Он бежит, спешит, на ходу посасывает леденец. И петушок совсем худенький стал, прозрачный. Вот-вот поломается. Устабай, вздымая пухлую белесую пыль, добежал до школы, вошел в класс. Учительница сделала ему замечание: «Сосать конфету на уроке неприлично». Все повернулись к нему, смеются. Устабаю неловко, стыдно. Теперь девочки начнут его еще дразнить сладкоежкой.

И тут он проснулся. «Неужели этот чернявый в пестром халате обманул меня? — подумал он первым долгом.— Ведь если я действительно поумнел, то почему же, как какой-нибудь несмышленый малыш, хожу с ле-

денцом в руке. Может, он ошибся? Вместо умной конфетки дал такую, от которой теряется последний ум. Иначе как можно объяснить мое неумное поведение?..»

Он вскочил с кровати, быстро оделся, помылся. Мать с отцом уже ушли на работу. Он выпил большую чашку айрана и, волоча сумку, вышел за порог. Солнце уже заметно поднялось над горизонтом. Со всех сторон взбирались дети на бугор, где одиноко стояла школа. На полдороге встретил Муталифа. Тот удрученно голову повесил.

— Было бы хорошо, если бы сегодня учительница заболела,— сказал он.— Не надо, конечно, чтобы сильно. Пусть будет легкий грипп. Или еще что-нибудь. А то, знаешь, я вчера весь день катался на велосипеде и ни одного урока не подготовил.

— Горе с твоим велосипедом.

— Беда! Как оседлаешь его — не слезешь. Сначала думал, сделаю два круга возле дома и сяду за уроки. А потом раззадорился и давай носиться по всем улочкам аула. А когда опомнился — уже вечер.

— Слушай, тот джигит... ну, на базаре который... он действительно ум продавал?

— Да... так он и говорил. Были бы у меня три рубля, я бы купил не задумываясь.

— А может, он детей обманывает? Смеется, а?

— Не думаю. Взрослый человек, зачем ему детей обманывать?

— Я вчера спросил у мамы, а она говорит: «Ум на базаре не продается».

— А по-моему, на базаре все продается. Сам ведь слышал. Были бы деньги...

— А может, он вместо ума леденцовых петушков продает?

Муталиф покосился на друга с недоумением и опять вздохнул:

— Эх... заболела бы сегодня учительница...

Задзинькал звонок, и два друга потащились в класс. Муталифу не повезло. Сразу же вслед за ними, как всегда подтянутая, радостная, вошла с журналом под мышкой учительница. Голова Муталифа склонилась еще ниже. Он съежился, едва под парту не залез и одним глазом испуганно следил за учительницей. Она что-то

отметила в журнале, провела пальцем по столбику фамилий. Муталиф затаил дыхание, зажмурил глаза. Учительница сняла очки и обвела взглядом класс.

— Ну, так кто желает ответить домашний урок?

Устабай поднял руку.

— Хорошо. Еще кто? Пусть Сарыбаев отвечает.

Муталиф тяжело вздохнул, медленно, словно поднимал непосильную штангу, поднялся из-под парты, покачался из стороны в сторону.

— Апай... я сегодня чуть-чуть не готов к уроку,— выдавил обреченно.

— Причина?

— Причина... э... это... прихворнул малость... насморк, что ли, небольшой...

— Что-то часто в последнее время начал тебя насморк преследовать,— улыбнулась учительница.— Вечно у тебя «малость» да «чуть-чуть» не в порядке. Придется мне, пожалуй, зайти вечерком к тебе домой. С родителями поговорить.

Муталиф снова тяжело перевел дыхание, выкатил потускневшие глаза на Устабая, дескать, видишь, какой я невезучий в жизни, и сел на место.

После уроков друзья пошли домой вместе вдоль глубокого арыка. Солнце раскалилось. Дышать было нечем. От степи доносился запах паленого. Муталиф не стерпел, раза два сунул голову в теплую арычную воду. Навстречу, точно колобок, выкатился чернявый братишка Муталифа. Подбежал, за сумки ухватился. Интересно ему, сорванцу, школьные сумки таскать. Он волочил их едва ли не по земле, то и дело отставал, но тут же, шлепая босыми ногами по пыли, подбегал сзади. Странная манера у него говорить: будто гвозди вколачивает.

— Покатаешь на велосипеде?

— Тяжелый ты — камера лопнет. Лучше оседлай ишака, скорее подрастешь.

— Ну да... обманываешь!

— Не веришь — спроси Устабая. Он в прошлом году все время на ишаке в школу ездил, вот и вымахал за один год.

Чумазый мальчишка с любопытством постреливал узкими глазками то на брата, то на Устабая.

— Я тяжелый, говоришь? А почему тогда конопатую вчера катал?

— Что треплешь? Какую конопатую?

— Тебе лучше знать. Вот скажу папе, что ты с девочками играешь...

— Ах ты дьяволенок! — Муталиф кинулся к братишке, но тот был начеку. Бросил обе сумки в пыль и дал стрекача. В одно мгновение домчался до дувала и ловко перекатился через него.

Поднимая с земли пыльную сумку, Устабай недобро посмотрел на друга. У развилки они молча разошлись. Рядом протрусил на ишаке сморщенный старичок. Он так важно задрал тощую бородку, будто на троне восседал. Потом проплыла тоненькая девушка с двумя ведрами воды. Длинные косы трепыхались на спине. Девушка напоминала Гульбахрам. С красными от пыли глазами приплелся Устабай домой. Родители были на работе. Он погрыз черствую лепешку, запил оставшимся с утра чаем. Потом прошел к себе в комнату, бросился на обшарпанный бугристый диван и предался размышлениям.

Нет, не нравилась ему эта жизнь. Надо каким-то образом срочно повзрослеть, поумнеть. А то все, что бы он ни делал, выходит несуразно, глупо. Ну вот сегодня на уроке арифметики опять его занесло. Гульбахрам решала задачку у доски. А он начал вдруг дергаться за партой, вскакивать, руку тянуть: «Апай, апай, ошибка!» Гульбахрам, краснея, исправила ошибку, а он опять нетерпеливо вскочил: «Апай, апай... вычитание неверно. Вон цифру перепутала!» На глаза Гульбахрам навернулись слезы. Дернула головой — косички взлетели только, села на свое место. Он кинулся к доске и быстро решил задачу. Выходка его, однако, никому в классе не понравилась. Неужели он такой хвастунишка, выскочка? Только в перерыве догадался, что получилось нехорошо, несолидно. Мужчина не должен себя вести так легковесно. Гульбахрам обиделась. Он робко ловил ее взгляд, но она упрямо отворачивалась. И тогда ему совсем стало горько. Хоть плачь.

«Сам кругом виноват,— казнил теперь себя Устабай.— Вся моя жизнь пошла вкривь и вкось. В глазах друзей-приятелей посмешищем становлюсь. Уехать бы куда-нибудь. Туда, где никто меня не знает. Может, написать директору заявление о том, что по состоянию здоровья не могу учиться. Так опять же справку надо. А кто ее даст? Может, лучше всего пойти к Гульбахрам и попросить у нее извинения? Да-а... Видно, не будет

толку, пока не куплю немного ума на базаре. В первое же воскресенье отправлюсь за умом».

От такого решения ему стало легче. Потер занемевшую ногу, встал, скрипнув диваном, вышел во двор. Так... С чего начать? Надо напоить призового скакуна. Потом почистить под Пеструшкой. Потом нарубить щепок для самовара. Ведя скакуна под уздцы на водопой, он все думал о том, как со следующего воскресенья жизнь его потечет совсем по иному руслу. Занимаясь нескончаемым домашним хозяйством, он и не заметил, как подкрался вечер. На мгновение он подошел к плетню, посмотрел на улицу. Там в окружении радостно возбужденных собак ветром мчался по пыльной дороге Муталиф на своем двухколесном «скакуне». Устабай вздохнул и принялся скрести дно казана. Хоть бы скорее воскресенье настало...

И пришел тот желанный день.

Аккуратно вчетверо сложив новехонький трояк, выпрошенный у отца, Устабай спозаранок приехал на базар.

Воскресный базар был в самом разгаре. Видно, не один Устабай ждал его с нетерпением. Людей собралось видимо-невидимо. Все кипело, ворочалось, как в огромном котле. Но Устабай ничего не видел, никого не замечал. Он шнырял в толпе и искал поджарого джигита, торгующего умом. Уже и солнце упрямо подбиралось к зениту, а торговец умом точно в воду канул. Кого спросить, к кому обратиться, Устабай не знал. Ноги гудели. Голова кружилась. В животе урчало. Может, вздор все это? Может, никто умом и не торгует? Может, самое разумное — возвращаться домой? И тут он вздрогнул от неожиданности. Рядом, у самого уха, раздался голос: «Ум продаю! Кому нужен ум?» Устабай разволновался. Холод прокатился по животу. Чернолицый верзила пронесся мимо, выкрикивая утробным голосом: «Три рубля!.. Кто хочет поумнеть за три рубля?» Устабай ухватился за полы его чапана.

— Агатай, мне ум нужен. Продайте... мне...

Верзила с высоты своего роста уставился на него.

— Тебе?! Гони деньги!

Сунув в бездонный свой карман трояк Устабая, верзила пальцем поманил его в сторону. Потом, когда отошли за угол магазинчика, таинственно прищурил один глаз и наклонился к уху Устабая. От верзилы пах-

ло водкой и табаком. Говорил он врастяжку, словно сообщал нечто крайне важное.

— Так вот, малец, слушай внимательно. Когда баранье ребрышко сварится, берешь его пальцами за головку, а зубами с другого конца потянешь мясо. И оно само упадет тебе в рот. Усек? Просто и удобно. Отметь это себе в уме.

Устабай вскипел. Гневно посмотрел на верзилу.

— И это все?!

— Все! — буркнул верзила и, не дрогнув ни единым мускулом на лице, пошел восвояси. Гнусавый голос поплыл над базарной толпой: «Продаю ум. Кому нужен ум?..» Устабай застыл на месте как вкопанный. Что делать? Кричать? Вопить? Кому пожаловаться? Кого винить? Признаться, что тебя облапошили посреди белого дня?! Стыдно.

Постоял Устабай, пошмыгал носом, протер кулаком глаза и подался в аул. В кармане нашарил несколько медяков, купил стакан фисташек. На автобус денег не осталось. Он вышел на большак, стал терпеливо ждать старика-молоковоза. Вскоре показалась скрипучая арба, запряженная облезлым верблюдом.

Знакомый возница молча кивнул на место рядом с бидонами.

Верблюд, покачивая поникшим горбом, важно переставлял ноги. Пыль клубилась под ним. Вокруг простиралась безбрежная степь. По ней тесьмою тянулась, извиваясь, серая проселочная дорога. Старый возница гнусавил какой-то монотонный мотив, который укачивал, убаюкивал, точно в колыбели. Устабай сомлел. То и дело ронял голову на грудь. Борясь со сном, он думал о долгой-долгой жизни впереди, о своих сокровенных мечтах, о далеком, причудливом горизонте.

Устабаю почудилось, что жизнь очень сильно напоминает базар, который он только что увидел. Жизнь, как и базар,— огромный человеческий водоворот. И в этом водовороте, точно щепка, кружится и он.

Еще недавно Устабай думал, что вовсе не обязательно сидеть долгие годы над книжками, можно и не набираться этого самого житейского опыта, о котором так много говорят взрослые, надо каким-то образом изловчиться и сразу усвоить все то, что необходимо для интересной и содержательной взрослой жизни. Да, да... это разве не здорово — сразу окунуться в настоящую

взрослую жизнь, словно с разбега сигануть в речку. К чему долго плутать по извилистым тропинкам, если есть возможность с ходу выбраться на прямую столбовую дорогу?

Но нет... Видно, так в жизни не бывает.

Выходит, у жизни, как и у течения реки, есть свой порядок. И не надо торопиться, суетиться, стремиться кого-то опередить, кого-то обогнать. Ничего из этого не выйдет. Разве только сам себя обманешь. Все следует начинать с начала. Все следует пережить самому. Каждый должен выбрать свою тропинку и пройти по ней от начала до конца, даже если заблудится, ошибется, ушибется, разочаруется, набьет себе в пути шишек. Надо быть терпеливым и мужественным. Все испытать самому. И не прятаться по углам, не мечтать о несбыточном. К цели своей, к мечте своей надо идти долго и упорно.

Устабай вдруг очень ясно это понял. Всем сердцем. И ему стало легко, хотя и немного грустно.

Пожевывая свою жвачку, брел, не спеша, надменный верблюд. Уже и солнце зашло. Вдали замелькали огни родного аула. Сердце Устабая радостно забилось.

Небо наливалось сумраком. Опускалось все ниже, ниже. Скрипела арба. Пухлая пыль вздымалась из-под ног верблюда.

Наконец добрались до окраины аула. Верблюд вдруг чего-то испугался, ступил на обочину. Одинокой тенью стоял у дороги Муталиф. Старик-возница рассердился:

— Ты что это, нечестивец, точно разбойник какой на дороге торчишь?! Верблюд чуть арбу из-за тебя не опрокинул...

Муталиф, не обращая внимания на ворчание старика, протянул Устабаю руку.

Устабай спрыгнул на землю, отряхнул с себя пыль.

— Весь день дожидаюсь тебя,— Муталиф жарко задышал ему в лицо.— Все глаза высмотрел... Ну как? Встретил торговца умом? Купил?..

Устабай не ответил. Он догадался, что и непутевый Муталиф надеялся получить от него хоть немного ума. Надоело ему слушать упреки учительницы. И ему хотелось бы учиться хорошо, быть в числе примерных пионеров. Должно быть, надоело с утра до вечера мотаться по улице и гонять велосипед.

Устабай посмотрел на друга, и ему стало искренне

жаль его. Он похлопал его по плечу и протянул горсть жареных фисташек.

— Знаешь... Коварный ловкач провел нас за нос. Напрасно все эти дни предавался я мечтам. Пустое все...

— Э-э...— печально протянул Муталиф.— Я ведь тоже подумал: ай, вряд ли ум продается за бесценок.

— Да, да... Ум на базаре, оказывается, не продается. Если бы продавался, такие пройдохи, как Алтынбала или Саймасай, давно бы его мешками закупили. Никому ничего не оставили бы...

Два друга молча пошли рядом. Поднялись на холм за аулом. Внизу смутно белели дома, играли-перемигивались огоньки. А за холмом протянулась далеко-далеко бурая степь. Бугрились холмы, увалы. Во все стороны огромного мира тянулись нехоженые тропы. Вокруг была жизнь, неведомая, заманчивая, со всеми своими радостями и горестями.

Степной ветер донес запах терпкой полыни.

МАЛЕНЬКИЙ ЯГИМУС

Почтенные люди называли его Ягимус, что по арабскому письму означает «доблестный». Легкомысленная молодежь, зубоскалы аула переиначили это слово и говорили по-казахски — Жагимсыз — «дурной» то есть, или «противный».

А мне, сколь помнится, никогда не казалась противной эта кроткая душа, и доблестной не казалась. Человек возил себе почту на сереньком ишаке, бойко перебиравшем копытцами по пыльной дороге. Помню его всегда безбородым, сморщенным, крошечным — и впрямь неказистым, он и до сих пор таков и всем давно привычен. Мой отец, например, говорил о нем только хорошее, не ставил его ниже других и неизменно называл пареньком. Потянувшись к искренней ласке, Ягимус приходил к нам как к родне и при любом случае спешил помочь моей матери, часто хворавшей, подметал двор, убирал скотину, щепал лучину для самовара. Шустро действовал: так и катился по двору, словно мячик, появляясь то в комнате, то возле кухонного очага.

И всегда веселый, бодренький, улыбка наготове...

Однажды шел я из школы — а навстречу Ягимус.

Нечаянно сказал ему Жагимсыз, вслух произнеся

обидную кличку, данную ему озорниками. Повернулся он и ушел, слова не сказав. Пожаловался у нас дома — в тот же день испытал я на себе крутой нрав моего отца.

— Вот проклянет тебя убогий,— ругал он меня,— беду узнаешь. Какой шайтан дернул тебя за язык дразнить паренька? Проклятие урода что яд мохнатого паука — не трогай их!

И чтобы окончательно дошло до меня, отец рассказал историю маленького Ягимуса...

Шел двадцать восьмой год, начали создавать товарищества по артельному хозяйствованию на земле. Время трудное: ели пустую похлебку, ходили, прикрывая руками прорехи на штанах. Всем было тяжело.

Вот тогда с юга, с Бухары, что ли, и прибыл к нам почтенный Пахриддин, ученый-мулла. Привез с собою двух маленьких детей погодков. Смутное время согнало его с родных мест и, словно скорлупу на волнах, перенесло к нам на Каратау. Отощал мулла, хоть ножи точи об его скулы. Одна чалма только и виднелась, широкая, как этот стол. Человеком оказался он просвещенным — кончил медресе, но темных казахов не чуждался. Наоборот — со дня приезда стал со всеми знакомиться, завел друзей в аулах. Люди пашут — он водит быков, люди жнут — спешит наточить им серпы. Заболеет кто — полечит, применив знахарское искусство. И слова плохого никто не сказал ему, везде оказывали уважение мулле, за дастарханом ему почетное место и лучший кусок... Умерших отпевал, живых утешал, врагов мирил между собою. К тому же он был единственным муллой на всю огромную степную округу, охваченную смутой и безвременьем.

Да, придись нам кто по душе — будет ему как в золотой колыбели. Скинулись мы всем миром и построили мулле дом в четыре комнаты, беленький, как яичная скорлупа. Один привез ему дров, другой дал согум, мясо на зиму, третий выделил из своих запасов хлебного зерна. И задымил новый очаг в ауле наравне с другими. Высоко держал мулла голову, увенчанную белоснежной чалмой.

Но две вещи вызывали тайное удивление людей. Первое, что плечи муллы всегда накрывал чапан чисто-

го шелка, в то время как по всей округе нельзя было найти и лоскута на заплату; а второе — всюду сопровождали муллу двое детишек, лопочущих тонкими голосами, одетых весьма опрятно. А ведь неудобно, если одинокий мужчина водит с собою детей куда ни попало... И вот присмотрелись постепенно — и увидели, что те, кого мы принимали за неказистых детей муллы, на самом-то деле оказались супружеской парой низеньких, тщедушных людей. Они всюду и следовали за муллой, правоверно прислуживая ему, подносили теплую воду для омовения, расстилали молитвенный коврик... Действовали столь важно, словно исполняли саму волю аллаха. Но зато, если мулле преподносили баранью голову, вкусные уши доставались малорослым прислужникам.

Запомнилось мне, как в дни уразы[1] Нурбала, отец этого стервеца Кумисбека, сам такой же нахал, как и сынок, пристал к мулле с расспросами: кто да откуда эти несчастные? Мулла не рассердился на глупца и довольно спокойно отвечал: «Ничего не знаю и сам о прошлом этих добрых людей. В лихой год Змеи, когда начался голод, подобрал я их на улице Бухары, не дал им умереть. Подлечил, вымыл, одел и поставил на ноги. И вот, то ли из-за благодарности, то ли по внушению свыше, они не покинули меня, когда жена моя умерла и я остался один. Стали всюду следовать за мною, словно тени мои, и служить мне, как родные... Вот вам и весь сказ».

Ладно, пусть будет так, решили мы. В этом мире много неизведанных закоулков, как дырок внутри коровьих почек. Не нам, деревенским казахам, разбираться во всем этом... И вот вскоре мы узнали, что женщина ходит беременная. Добрый мулла не мог скрыть радости по этому поводу. Если память не изменяет мне, прислужница муллы разрешилась к концу жатвы, когда аул закончил все работы. Родился у нее мальчик. Стало быть, у этих жалких людей появился теперь наследник. Мулла проявил щедрость, заколол барана и раздал сиротам семь рублей, как то установлено обычаем.

Хотели в день торжества устроить «козлодрание», дать поразмяться джигитам, однако тут некий баламут завопил, от злости хватая пыль с дороги и подбрасывая

---

[1] Ураза́ — пост у мусульманских народов.

над головою, что аул заработает позорную славу, устроив кокпар в честь безродных... Ну и хватит об этом, мало ли дураков на свете. Итак, принялся наш мулла день и ночь листать священные книги — искал там достойное имя для малыша. И наконец решил: «По имени бесстрашного святого, верно служившего пророку Мухаммеду, назовем мы дитя Ягимусом!» Собрал старых людей и попросил их благословения на это.

Однажды в ауле были поминки — как раз исполнилась годовщина смерти Нурбалы, отца нахала Кумисбека. Незадолго перед этим Кумисбека прогнали с должности заведующего фермой, и он пристроился начальником почты... Мулла в его доме читал ночью Коран, а недоросток-прислужник был рядом. И вдруг — то ли отравился, то ли внезапная хворь напала — стал он кататься по полу, кричать тонким голосом. Посинел, побелел, начал страшно икать — и к утру бедняга скончался в страшных мучениях. Все мы, собравшиеся на поминки, были опечалены. Хоть и чужак и ростом мал, но все равно он был человек, такой же, как и все. И мы уже привыкли к нему — хоть частенько и подтрунивали над ним, но любили его за незлобивость и добродушие... Жена, бедная, пережила его ненамного — вскоре умерла с тоски.

Таким образом и оказался среди нас крошка Ягимус, круглый сирота. Поначалу думали, что малец не выживет. Уж больно орал, надрывая горло день-деньской. Старый мулла брал его на руки, баюкал на коленях, завернув в подол чапана, и тихо напевал скорбным голосом... И все-таки выходил, отпоил его кобыльим молоком! Не угасло для него солнце, живучим оказался малец! А подрос — настоящим бесенком стал. Гонял собак и, размахивая прутом, кидался в бой на всякую живность, вмиг запрыгивал на диких двухлеток... И вот в люди вышел, любо-дорого посмотреть — почтальон, уважаемый всеми, достойный своего покойного благодетеля, светлой памяти муллы. Только так и не вырос, остался совсем махоньким.

Тот перед кончиною призвал меня к себе. Прибежал я, путаясь в полах своего чапана, а старик лежал на смертном одре, спокойно ожидая конца, и только глаза его ярко светились... «Досеке,— сказал он мне,— ты добрый человек и щедрый. Есть у меня к тебе слово... Не оставь Ягимуса, возьми под свое крыло. Не давай

в обиду тем, кто посильнее его. Пусть малый живет, не зная сиротских слез».

И голос этого незабвенного человека до сих пор звучит у меня в памяти.

Таков был рассказ отца, взволновавший меня. Уж по-другому я стал смотреть на Ягимуса с тех пор.

Он жил на северном краю аула в доме, оставшемся после муллы. Но половину этого большого дома отнял у него Кумисбек, еще когда был завфермой, и устроил там ссыпку для проса. Ягимус с тех пор занимал две комнаты. В передней держал он дрова, продукты, старую рухлядь, а в спаленке у него стояли детская кровать, железная печурка, на которой, когда ни заходи к нему, побрякивал кипящий чайник. Сам хозяин обычно возлежал, словно царек какой-нибудь, на кровати и что-то напевал себе под нос, бренча на самодельной домбре из джиды. Играть на домбре Ягимус не умел, но всегда с преважным видом держал ее на груди и одним пальчиком щипал струну.

Жизнь он вел довольно скрытную, едва видимую со стороны, словно огонек керосиновой лампы. Бесконечное удивление и беспокойство вызывала во мне его необычная судьба. Люди живут на земле самолюбием и гордостью, доказывая что-то свое, а эта тихая душа словно боится, что ее снесет порывом ветра, и прячется в убежище, сторонится всех и ничего другого вроде бы и не желает. Никогда никто не слышал от него жалобы, столь обычной для смертных: мол, несправедлива ко мне судьба. Вроде бы ничего и не нужно было ему от жизни. Лежит себе дома и бренчит на крошечной домбре.

Как-то раз я, вернувшись из школы, валялся на кошме, ворочаясь с боку на бок, и вдруг услышал, что кто-то скребется в дверь. Подумал: соседский кот, попрошайка и обжора, такой же, как и его хозяин, который вечно вынюхивает, где варится свежина. Встать бы и прогнать кота — но было лень... Дверь открылась, и на пороге показался сначала крошечный брезентовый ботинок, загнутый носком кверху, потом мелькнула черная сумка. Ягимус! Вкатился в дом, весь черный от пыли, только глаза и зубы сверкают. Сдернул с головы соломенную шляпу — пар задымился над мокрой ма-

кушкой. Слыханное ли дело, чтобы летом пар шел над головою человека! Стряхнув с ног обувь, Ягимус пристроился рядом со мною.

— Слышь, братишка, а я тебе журнал принес, и газету твою, и вот еще письмо тебе!

— Какие новости, брат?

— В клуб артисты приехали! Говорят, интересно будет! Я и билеты взял, тебе и мне!

Мне вспомнилось, как на прошлом концерте я чуть не уснул от скуки, и сказал:

— Не хочу.

Ягимус так и подскочил словно ужаленный.

— Что ты! Не из области горлопаны какие-нибудь приехали, а из самой Москвы!

— В кино пошел бы, а чего на этих артистов смотреть? Не лучше тебя самого. Прыгают, шлепают себя по ляжкам, орут как бешеные, глазами хлопают... Ну их!

И тут маленькое желтое личико Ягимуса сморщилось, словно сухой осенний листик. Онемев с горя, он крепко схватил меня за руки и только смотрел умоляющими, испуганными, растерянными глазами. И мне стало жалко его... Он боится ходить вечером один, боится пьяных парней, которые могут обидеть...

Поехали на старом скрипучем велосипеде. Ягимус, словно лягушонок, скорчился на багажнике, обхватив меня сзади. До центральной усадьбы путь порядочный, пешком долго идти, трястись же на ишаке, словно дервишам, было вроде бы стыдно, поэтому я и рискнул поехать на этом расхлябанном драндулете.

Возле клуба кипит людской муравейник. Краем улицы мимо толпы чешут иноходью суровые стариканы, заложив посохи за спину. Они всякие увеселения и даже кино считают игрищами шайтана. Поодаль робко бродят старухи, белея головными повязками. До моего слуха со всех сторон доносится одно: «Лилипуты, лилипуты...» Начинаю беспокоиться — не дразнят ли моего Ягимуса? Слезаю с велосипеда, ставлю его в сарай, что позади клуба. Подхожу к входу и вижу: стоит Ягимус, а перед ним, загораживая дорогу,— мужик с сигаретою, зажатой между двумя пальцами.

— Жагимсыз! Ты тоже пришел посмотреть на лилипутов, а? — глумясь, орет он.— Может, родню свою встретишь? Эй, говорят, есть среди них лилипуточка,

аккуратная, как перепелка. Давай сосватаем ее тебе, парень!

Хотел я нос расквасить этому скоту — и аллах с ним, с концертом,— но тут вмешался проходивший мимо старик.

— Ах ты, пустомеля! — набросился он на мужика.— Как есть пустомеля! Людей бы постыдился!..

Вошли в клуб. У Ягимуса были билеты в первом ряду, под самой сценой. В зале погас свет, концерт начался. Задергался и с шелестом раскрылся занавес... Из глубины выскочил на край сцены картинно одетый, с черным галстуком-бабочкой под горлом, прилизанный лилипут с палец ростом. Двигался он и говорил совсем как наш Ягимус, но только держался по-другому — надменно, неестественно, то и дело высоко задирая голову. Голосок его так и звенел...

Меня бросило в жар. Подумать только! Мы-то считали, что детский голос Ягимуса только того и достоин, чтобы потешались над ним, а тут, оказывается, можно этим голосом такие выдавать трели, что только держись! А мы, мы сами-то могли только орать на всю широкую степь, набрав побольше воздуха в грудь... Я подумал, что, если нашего маленького Ягимуса одеть, как этого артиста, да подчистить его и вывести на сцену, мог бы не хуже выступать, приводя людей в восторг.

И покосился я на своего приятеля, который сидел рядышком, справа от меня, вытянув тощую шею наподобие молоденького петушка. Выглядел он, сказать правду, не ахти как распрекрасно: в нелепом костюме, сшитом на мальчика, в соломенной шляпе с растрепанными полями, в брезентовых ботинках, высунувшихся из-под мятых коротких штанин... Смотрел я на него и чувствовал, что вся душа во мне переворачивается. Представился моему воображению несчастный утенок со встрепанными перьями, который отстал осенью от своей стаи и теперь плавает, одинокий, в какой-то случайно подвернувшейся луже...

Нет, все равно не будет ему счастья среди нас, высоких ростом, чужих! Счастье он мог бы обрести только среди себе подобных. Он был сиротой — и еще раз сиротой, одиноко бродя меж рослыми людьми, которые не понимают его и не принимают всерьез. О случайное зернышко, упавшее на дорогу... Скорбь бесплодного сочувствия охватила меня, комок подкатил к горлу.

И тут зашумели вокруг. На середину сцены поставили сверкающий стол, накрыли бархатом. Из-за кулис выпорхнула молодая лилипутка, белая, с чистым телом, подобным очищенному яйцу. Ах, как она легко прыгала, порхала — словно подброшенный шелковый платочек. Талия у нее была как волосок. Вскочила на стол — и давай изгибаться, сплетаясь и расплетаясь, словно и впрямь без костей! Ай да гимнастка!

Я взглянул на Ягимуса — и не узнал его! Лицо пламенело румянцем, глаза сверкали. Дышал часто, глубоко, то и дело судорожно сглатывая воздух. В эту минуту кто-то не выдержал и заорал на весь клуб:

— Эй! Да не человек это, а резиновая кукла!

Ягимус мгновенно вспыхнул, как спичка.

— Эй! Заткнись, Кумисбек! Она такая же молодая и живая, как твоя дочь Айменкуль! — тонким голосом проверещал он.

— Не верю! — рявкнул Кумисбек.

— Казах глазам не верит...

— Не верю! Это кукла, говорят вам!

— Сам ты кукла... Эх, темнота!

— Ягимус! Молчи, чертенок. Я тебе покажу, кто из нас темнота... Ишь, от земли не видать, а туда же — спорить со мною! Да я в Ташкенте дурноглазого гипноза видал, женщину видел, которую перепилили пополам...

Ягимус съежился. Видно было, что он не рад по его вине разгоревшемуся спору. Глаза Ягимуса потускнели, маленькое личико заострилось, сморщилось. Таким он выглядел всегда, когда его обижали... Но горевал парень недолго. Вскоре вновь разгорелись его глазки, и он неумело хлопал в ладоши, словно махал крылышками вороненок, выпрыгнувший на край гнезда. Рот был до ушей. Когда занавес закрылся, Ягимус все еще сидел с блуждающей улыбкою на лице и не думал вставать. Уходили мы с ним из зала последними, на ходу Ягимус все оглядывался, словно еще раз надеясь увидеть прекрасную лилипуточку.

Мы шли домой, шагая по разные стороны дребезжащего велосипеда, решив не ехать на нем, хотя на дороге было светло — в небе висела ясная луна. Аул давно уже спал.

— Куда нам спешить, давай лучше поболтаем,— говорит Ягимус.

— Давай,— соглашаюсь я.— Ну и как, хороша она?

— Ах, нежна как цветочек! — тонким голосом выпевает Ягимус.

— Как душистый цветок сливы! — подпеваю я.

— Так ты почувствовал, как от нее пахнет? — радостно восклицает Ягимус.— Почувствовал, да?

— Конечно! Как ночная прохлада...

— Это и есть запах красавицы! Теперь знаю...

Разумеется, речь шла о прелестной лилипутке.

Сызмала я люблю бывать у отца на бахче. Он у меня истинный дехканин, знает свое дело. Никогда не пускает на поле, когда завязи еще зеленые. Но в летнюю пору шильде [1], когда дыни только начинают созревать, меня не удержать. Я так и рвусь на бахчу — однако, как различить редкую еще спелую дыньку среди великого множества недозрелых? У меня свой способ. Иду на подветренную сторону поля, опускаюсь на четвереньки и внимательно принюхиваюсь. И доходит до меня чудесный аромат — я держу нос по ветру и ползу, поводя головою. Так, верхним чутьем, я нахожу сладенькую дыньку-скороспелку, с кулак величиною, которая всегда прячется где-нибудь в укромном местечке.

Маленькая ароматная дыня и маленькая гимнастка — их благоухание было одинаковым...

После этих событий Ягимус сильно переменился. На улице уже ни с кем не ссорился, на ребятишек не орал. Ходил этаким святошей, опустив глаза, под которыми темнели синие круги. Раньше катился по жизни мячиком, теперь сидмя сидел дома, как тыква на грядке. Скоро и совсем перестал показываться на люди. Кровать да домбра — вот и все приятели Ягимуса.

— Бедняга захворал,— решил мой отец.

Живет в ауле фельдшер, русский человек, незапамятно давно приехавший к нам из города. Уличное имя его — Першал-аксакал, то есть Старик Фельдшер. Спал, как и все казахи, на кошме, держал овец и, во всем уподобившись нам, ходил с бритой головой, носил тюбетейку, обшитую бисером. Этому Першал-аксакалу и сказал, видимо, отец про болезнь Ягимуса. Наведался к нему вечером фельдшер.

Он пришел с медицинской сумкой — и зонтик под

---

[1] Шильде — самый жаркий период лета, приходящийся на июль.

мышкой. Зимой и летом старик не расставался с зонтом. Я был как раз у Ягимуса, сидел рядом с ним и листал журнал.

— Как живем, баранчук? — буркнул Першал-аксакал.

Зашуршал плащом, снимая его. Стянул с головы тюбетейку, нахлобучил ее на свое колено. Попросил подать полотенце. Долго обтирал бритую макушку, шею, лицо, поковырялся в ушах. Затем молча указал на чайник. Чаю попить фельдшер любил. Даже присловье такое принадлежало ему: «Еда в глотку не идет, коли рядом самовар не поет». Я, разумеется, вскочил и тотчас взялся за чайник.

— Э, такой богатырь! Копкар тебе надо тягать, а не валяться,— сказал фельдшер после того, как заглянул в рот Ягимусу и прищелкнул пальцами перед его глазами.

Першал-аксакал все болезни делил на две категории. Первая — от желудка, вторая — от испуга. На этот раз он нашел, что недуг имеет желудочную причину, и дал Ягимусу пригоршню белых и голубых таблеток.

— А вообще-то, баранчук, бабу тебе надо,— завершил он и расхохотался.

Причмокивая, один выдул весь чайник.

Но какой там «кокпар тягать» — вскоре мой бедный дружок еле мог на ишака сесть, чтобы развозить почту. Занемог он всерьез. И причиною была душа.

Он как бы с недоумением смотрел вокруг себя, не понимая, отчего ему столь худо, тогда как степь широка и жизнь привольна. Отчего это душа никнет, а земля словно засасывает его ноги. И не ходить ему весело среди высоких людей, и как будто в чем-то он прегрешил перед ними... Вечно унижен. А ведь мог бы тоже, как и другие, трудом своим кормить семью, держать дом, над которым высоко поднимался бы дымок очага. И ничего этого нет — так в чем же причина? Неужели его доля — до самой смерти прозябать в своем темном углу, не вкусив и крошки счастья?..

Ягимус не нашего рода, сын пришельца. Но не в этом, конечно, причина его несчастья. Вон фельдшер живет себе не тужит, а ведь и он чужак, хотя и бреет голову и на голове этой носит тюбетейку.

Нет, не тужит Першал-аксакал, прибывший к нам из далеких краев. Ходит шуршит плащом болоньей. Неизменные на нем штаны галифе, растопыренные у бедер, словно рыбьи жабры; на ногах скрипучие сафьяновые сапожки. Выйдет поутру из дома, с важным видом осмотрит небеса, вернется и возьмет зонт. Через плечо повесит сумку.

Есть посреди нашего аула высокий холм, растет на нем одинокий карагач с отсохшей макушкой; под деревом деревянная скамья. С холма аул виден как на ладони. Фельдшер обычно сидит на скамейке, повесив сумку на сук. Подняв очки на лоб, вытянув ноги, он смотрит в раскрытый журнал «Акушерство», который постоянно носит в боковом кармане... Старик медленно листает журнал, словно ищет между страницами запропавшую там иголку, и внешний мир в эту минуту не существует для него.

А у Ягимуса днем на работе минуты свободной не найдется, чтобы чаю попить. Вскочив с постели, одевается, поспешно умывается и бежит седлать своего серого, на котором, приторочив к седлу коржун, едет в центральную усадьбу, вздымая по дороге пыль. Не успевает солнце подняться на один бросок аркана, Ягимус уже возле почты. Там его поджидает Кумисбек, недовольно морщится и кривит рот, будто увидев перед собою клопа, и цедит сквозь железные зубы: «Товарищ Пахриддинов Жагимсыз (это «жагимсыз» произносит с ударением), когда же народ получит газеты и журналы, письма и извещения? Время уже скоро десять часов, а ты только заявился». И начальник почты смотрит тучей. «Не будем говорить про аул Косуйенки, который у нас под боком... Но когда же ты успеешь обойти чабанов, разбросанных, как птичий помет, по всем оврагам?» У Ягимуса характер тоже не ангельский, не может парень молча снести замечания начальства: «Как же, пропадут чабаны без твоих бумажек. Сегодня не успеют почитать, так завтра почитают. Прожили бы благополучно божий день, а газеты и журналы от них не уйдут, не бойся». Тут Кумисбека понесет по кочкам: «Ах ты, такой-сякой! Куда мы все придем, если будем идти вперед твоими шажками, коротконожка?! Пока ты возишься, реки высохнут, горы рухнут!» — «Ничего, зато пакость твоя останется!» — «Кого ты, ублюдок, уважаешь? Вестник с того света! Зараза! Подонок!» — «Ну-

ка, заткнись или на, бери эту сумку!» — разойдется малец и швырнет почтарскую суму под ноги начальнику. Письма разлетятся по всей почте. Скандал, шум как на пожаре.

Заглянет какой-нибудь старик, возьмется рассудить, что и как. «Чего Ягимусу житья не даешь? — накинется на Кумисбека.— Сам-то чем занимаешься? Сидишь тут в прохладе, выставив свои серебряные зубы. Шел бы помог стригалям, с которых семь потов сойдет за день!» Обругает начальника и уйдет, после чего Кумисбек поубавит спеси. Но не потому, что совесть проняла, а из корыстных соображений.

Ягимус для него что жирный пирожок, от которого сколько ни откусывай, а он все целехонек. Обирает Ягимуса при каждой получке. Удерживает с него: то за почту наложенным платежом, которую Ягимус якобы доставил беспошлинно, то за новую почтарскую сумку, которую никто и не видел в глаза. А порою и вовсе ни за что, скажет: «Надо обмыть твою соломенную шляпу»,— и нахально заберет половину зарплаты. А Ягимус, хоть и сварлив нравом, джигит вовсе не жадный, не крохобор какой-нибудь. Кумисбеку такого только и надо, поэтому он и не хочет, чтобы коротышка бросил работу.

— Оу, чего злишься, уважаемый? Не для себя стараюсь, для народа! А у тебя штаны лопнут, что ли, если чуть-чуть побыстрее будешь бегать...— принимается он вилять.

Похлопывая простака по спине, отправит его на работу.

И потрюхает Ягимус на ишаке в сторону Косуйенки... Пыль, жара. Самый полдень.

А на холме под карагачем все еще сидит почтенный Першал-аксакал, читает журнал «Акушерство», отрешившись от всего мира. Однако, надо сказать, он не просто сидит в свое удовольствие — фельдшер на горочке ждет больных. Но что-то никто не приходит в такую жару: народ сейчас на полях, а старухи и старики, оставшиеся в ауле, не очень-то обращают внимание на свои хвори.

Прождав напрасно довольно много времени, фельдшер чувствует, как начинает урчать в желудке; и тогда, подняв глаза от журнала, он принимается обозревать трубы аула. За ним водится некая особенность, которая

у этого человека, в свое время жившего в большом городе и закончившего там медицинское училище, сильно развилась за долгие годы, прожитые в ауле. Особенность вот какая. Он может безошибочно угадать, глядя на дым, идущий из трубы, какую еду готовят в том доме. Если, скажем, дым сначала тянется жиденькой струйкой и вдруг повалит густыми черными клубами, то фельдшер делает вывод: мясо вынули из казана и в бульон опускают раскатанное тесто. Пора, значит, идти туда на бесбармак... А если дымок, негустой с самого начала, вдруг совсем сойдет на нет и исчезнет над трубою — в этом доме ничего лучшего, чем пустая похлебка, не жди на обед. Разумеется, Першал-аксакал туда и не заглянет. Когда же дым трубный то взметнется густой голубоватой тучею, то исчезнет — в казане этого дома готовится что-нибудь пониже рангом, чем бесбармак, но и не столь заурядное, как постная похлебка: будет или плов, или куардак, вкуснейшая штука вроде пельменей. Аксакал в такой дом пойдет, хотя и неспешным шагом.

Ну кто же не рад будет угостить доброго человека!

На этот раз видит аксакал, что жирный дым повалил над крышей дома ветеринарного техника. Поспешно сунув в карман «Акушерство», фельдшер спускается с холма. Из этого дома вчера прибегала келин с просьбой: «Оу, ата, вы перерезали пуповину у моего малютки. Так он заболел у меня, орет и орет в ночь. Зашли бы, ата». Он зайдет, конечно, но знает ли молодка обычаи, как встречать и с чем провожать человека, который перевязывал пуповину у ее ребенка? А дым повалил — значит, в доме что-то затевается, может быть, это даже означает приглашение ему. Что ж, он зайдет, почему не зайти и не поесть вдоволь нежного мяса молодой кобылицы. Сейчас явится, скинет плащ, сядет около очага и прикажет: «Ну-ка, келин, неси своего баранчука!» Осмотрит перепуганного, орущего ребятенка, испытывая на душе умиление...

Приятные думы гонят Першал-аксакала вперед, и вдруг он сталкивается с Ягимусом, который едет на пыльном ишаке, сам весь пыльный. Соскочив на землю, он вежливо протягивает обе руки старшему.

— Что, парень, лучше стало? — спрашивает фельдшер.

— Сплю плохо... Голова болит... Ночью поясницу ломит,— уныло жалуется Ягимус.

— А ты лекарства принимай. Конину ешь, бульон крепкий пей.

С тем и уходит фельдшер, но останавливается и, обернувшись, кричит:

— Жениться тебе пора, баранчук.

Озадаченный Ягимус едет дальше и думает: «Этот аксакал горя не знает, а меня судьба бьет по голове». И печаль наваливается на него. «Ну кто я такой, — размышляет Ягимус.— Вот откину копыта, и никто ведь не всплакнет. Першал-аксакал скажет: отравился, мол, парень, спасти его нельзя было. Кумисбек фиксатый скажет: «Черт с ним, не будет теперь доводить меня...» Отец же Далабая пожалеет: «Не понимали мы доброты Ягимуса. Обижали его, доводили до слез». А сам Далабай? О, вот кто уж точно зарыдает, он ведь единственный друг у меня на свете».

Глядя на Ягимуса, я разгадал одну очень важную истину. В жизни печаль и горе так же нужны, как и радость. Если мир наполнится одними радостными да довольными, люди потеряют всякий смысл жизни, они скоро перестанут различать и саму радость. Счастье потому и дорого, что ты знаешь вкус горя и тоски.

Ягимус был живой болью всего нашего аула. При виде его я ощущаю тайную скорбь всех несчастных и обиженных. Он напоминает мне о человеческой несправедливости, и я начинаю понимать, как важны в нашей жизни людское внимание, милосердие и задушевность. Будь этого чуть-чуть побольше на земле — настал бы истинный рай...

Мой отец первым обратил внимание на слова фельдшера.

— Говорится ведь, что истину содержат не речи, а бред глупца,— сказал он.— Может быть, Першал-аксакал прав. А что, если женить Ягимуса?

— Пойдет ли кто за него? — вырвалось у матери.

У отца, как и у меня, было в душе такое же сомнение... Действительно, кто пойдет... Однако мой отец был упрям и раз задуманное всегда доводил до конца.

— На мне заклятие муллы,— сказал он.— Его душа, наверное, не знает теперь покоя... Будем искать невесту!

Сам принялся искать ее и нашел. Одного верблюжатника уговорил отдать дочь, которая вдовела после смерти мужа, разбившегося во время кокпара. Она вернулась в дом отца, у нее был ребенок.

Это была румяная молодка, пухлая и маленькая, ее джигиты прозвали Пончиком. Стоя у своего дома, она таращилась во все стороны, заговаривала с прохожими и то и дело принималась хохотать. Так и хотелось ткнуть в нее пальцем... Смех переполнял это развеселое создание, она смеялась и на ходу, и во сне, и за работой. Говорили, что, когда старики пришли сообщить ей о гибели мужа, бабенка прыснула, не разобравшись еще, в чем дело, и лишь потом, спохватившись, ударилась в рев.

— Бог даст все будет хорошо. Дом Ягимуса наполнится весельем и смехом,— говорил отец, довольный своим выбором.

Ему немало трудов стоило сосватать молодку. Долго уговаривал верблюжатника, отдал ему на калым нашу корову, подарил новый чапан. А Пончику было, похоже, все равно: замуж так замуж.

И вот осенью, после полевых работ, Ягимус женился.

Весело запылал его очаг, совсем было готовый погаснуть. Из покосившейся трубы повалил кудрявый дым. На окнах появились красные занавески, подопревшую от сырости постель молодайка вытащила во двор проветрить. И действительно, в доме с утра до вечера звучал звонкий смех. Першал-аксакал поздравил молодых на свадьбе, фиксатый Кумисбек спьяна не смог выбраться из-за стола и заночевал у них дома.

Теперь Ягимуса было не узнать! Словно расцвел парень. Даже серый ишачок его, раньше еле таскавший ноги, нынче вихрем носился по улице. Больше всех был рад всему этому мой отец.

— Бог не дал погаснуть бедному очагу,— с чувством говорил он.

И вот я как-то, возвращаясь из школы, решил заглянуть к Ягимусу, чтобы послушать, как хохочет его жена Пончик. Только подошел к знакомому дому, как услышал громкий крик, доносившийся из него. Там вовсю ругались! Я остановился, нерешительно держась за

дверную ручку. Пронзительный голос молодайки так и резал слух.

— Ах, чтоб провалиться тебе, ублюдок! Ревновать еще вздумал, и с такой-то рожей! Я тебе покажу, как ревновать...

— Не позволю тебе, сука, поганить мое честное имя!

— Мужика из себя корчишь! А умеешь ли ты как мужик, скажи, пожалуйста?!

— Сука и есть! Кобели так и бегают вокруг дома! Кто это приходил без меня, когда я к чабанам ездил? Кого угощала ты из своих ручек, пока мужа не было дома, а? Будь он проклят, негодяй сереброзубый!

— Негодяй или нет, а он тебе начальник. Могла ли я не угостить твоего начальника, паршивец?

— Знаю, чем ты его угощала!

У меня внутри все похолодело. И я вспомнил, как однажды в сумерках, пригнав из степи коров, я увидел Кумисбека, который воровато пробирался в дом Ягимуса. Я тогда подумал, чего он крадется, волоча спадающие штаны.

Я тихо ушел, так и не войдя в дом.

С того дня все у них пошло наперекосяк, начался полный разлад в доме Ягимуса. Дым из трубы уже не шел бодро вверх, а уныло стлался низом. Так бывает над очагом, возле которого день-деньской стоит ругань.

Ягимуса словно пополам согнуло. Сумрачно смотрел он вокруг себя и, похоже, ничего не видел. Белую рубаху, которую было он стал носить, вновь заменила унылая, грязно-бурая. Штаны собрались гармошкой. Чуть свет бедняга убегал на работу, затемно возвращался. Часто оставался ночевать у дальних чабанов.

Моя мать не на шутку встревожилась.

— Сынок, чего ты ходишь-спотыкаешься? — участливо спрашивала его.— Или заболел?

— Да так,— нехотя отвечал Ягимус.

— А женка толстомясая чего не стирает тебе?

— Да так...

— Директорова жена, что ли! Трудно ей нагнуться, видите ли! Сидит у парня на шее да еще и корчит из себя белоручку! Женили нашего молодца на бабе с довеском, а она еще нос дерет! Да я ей сама косы вырву! А ты чего молчишь?!

— Да так...

Другого от Ягимуса не услышишь теперь. Замкнулся парень, глубоко спрятал в себе все свои чувства, стал сторониться всех и застыл, как одинокий придорожный камень.

Тот камень посечен ливнями, обглодан ветрами, прокален жарою и побит морозом. И кажется, что он противостоял всему этому и остался целым-невредимым. Но приглядитесь к нему внимательнее и увидите, как усталые морщины избороздили его тяжелое чело и трещины зияют на нем, словно муравьиные следы. И хранит он в своей каменной памяти запахи былых дождей, ярь солнца, прохладу мягкого снега. Осенью грезит он о зимних буранах... И словно учит он нас так же противостоять смерти, как он выстоял против натиска всесильного времени.

Я встретил Ягимуса на холме, что возвышается посреди нашего аула. Он сидел на скамье под карагачем и не заметил меня, пока я не подошел совсем близко. Глаза его, неподвижно устремленные вдаль, отражали красный огонь заката. Я невольно обернулся и посмотрел туда же, куда пристально смотрел маленький Ягимус.

Западная сторона аула переходит в степь, ровную как стол, и глазу не на чем остановиться. Только клубится вдали сизая пыль, возвещая, что к аулу близится вечернее стадо. Какая-то темная точка висит над размытым горизонтом — должно быть, жаворонок. Солнце быстро тает на краю земли, словно круг сливочного масла.

Глаза Ягимуса в эту минуту были как два маленьких меркнущих солнца; красные слезы стояли в этих глазах. Беспомощно смотрел я на него, впервые постигнув всей душою, что такое проклятие одиночества. И сердце мое замерло, словно предчувствуя близкую беду.

— Далабай... Кто-нибудь, наверное, живет и на солнце,— тихо говорит мне Ягимус.

Я не осмеливаюсь отвечать. Мне почему-то чудится, что, скажи я сейчас хоть слово, Ягимус исчезнет, растворится в алом свете, бесшумно взметнувшемся над горизонтом.

Ягимус исчезнет... Но кто же тогда останется, чтобы можно было бы так побалагурить, посмеяться, как с ним. Кто будет разносить по домам почту, радуясь за всех и всей душою сочувствуя каждой беде? Кто пропы-

лит вдоль улицы на сереньком славном ишачке... Ягимус... Если он исчезнет, останутся ведь эти надвигающиеся на дома темные ночные тени... останутся Кумисбек и все подобные ему пронырливые хитрецы аула.

На другое утро я проснулся от громких проклятий отца.

— Будь оно все неладно! Бесстыжая тварь выгнала Ягимуса, отняла у него дом!

И я понял, что для Ягимуса уже все кончено. Никогда не вернется он к жене Пончику. Треснувший пополам камень не станет вновь целым. И никогда не вернуться больше безоблачным дням детства... Не знать мне тех радостей, когда на отцовой бахче находил я созревшую дыньку. Детство мое кончилось. Я зарылся лицом в подушку и горько заплакал.

УРЮК

Кыдырма, который неожиданно для себя попал в районную больницу, был загадкой для врачей. Их удивлял этот молчаливый огромный человек с усами. Он молчал и днем и ночью, равнодушно принимал лекарства, выслушивал советы и отрешенно смотрел в потолок, подложив свои большие, будто лопаты, руки под голову. Лишь когда болезнь совсем уж донимала его, он со стоном ворочался с боку на бок. Однако ничего не просил и ни на что не жаловался.

И вдруг Кыдырма разбушевался:

— Выписывайте меня из больницы! У меня дела!

Это случилось в тот день, когда его пришел навестить из аула непоседливый, шумный Дильдебай.

Врачи едва угомонили Кыдырму, припугнув его тем, что болезнь опасная, и шутки с ней плохи, и они не отвечают за его состояние. Кыдырма утих, лег на спину, подложив, как обычно, руки под голову, и уставился в потолок...

Откуда взялась эта его болезнь, он и сам не понимал, потому что никогда не болел. Как только прошел слух, что их маленький аул в Кенколтыке должен перекочевать в центр совхоза, Кыдырма лишился сна, аппетита, весь сморщился, будто дряхлый старик. А ведь он был не стар, ему едва перевалило за пятьдесят, сила в руках

еще была. Но казалось, все тело его будто придавило к земле каменной плитой, лень было пошевелиться. Ни дома, ни на улице не находил он себе покоя. То ему кажется, что саженцы урюка, которые росли с правой стороны дома, кто-то остервенело пилит ножовкой, то слышится, что молодые побеги шуршат и тихонько стонут от жажды.

Однажды он не выдержал и вышел во двор посмотреть. Шлепая галошами, надетыми на босу ногу, и волоча за собой кетмень, он побрел в свой сад. Урюк в этом году был отменный, плоды крупные, как пышки, заманчиво висели среди листьев. Большая ветка, глядящая в южную сторону, поникла и пригнулась к земле. Кыдырма знал, что так бывает всегда, когда корням дерева не хватает влаги.

Этим летом с самой весны не упало ни капли дождя, трава засохла, истлела от несокрушимого зноя. Порожистый ручеек, обычно поивший сад, превратился в хилую струйку, которая вот-вот совсем оборвется. Лишь по ночам ручеек немного оживал и даже беспечно начинал что-то бормотать.

Кыдырма знал, что, если зной продержится еще неделю или две, саду придет конец. Особенно страдали молодые растения, которые, как малые дети, не могли долго терпеть жажду.

Прошло довольно много времени с тех пор, как возник слух о переселении, и теперь это уже был не слух, а правда. Совхозный центр, рассуждали люди, место красивое, с широкими улицами, рядом железная дорога, однако хорошо бы иметь возможность держать немного скота да посадить хоть какой-то сад. Шумный, беспокойный бригадир Дильдебай орал до хрипоты:

— Смотри, чего захотели! Нет такого разрешения, кто это вам позволит в центре совхоза держать сады и огороды?! Будете жить в стандартных железобетонных домах, примете наконец человеческий облик. И на работу будете выходить в определенное время, а не тогда, когда вздумается.

Кыдырма мог бы привыкнуть к извилинам лестниц этажей и деревянному полу, человек ко всему привыкает. Но как же оставить на произвол судьбы сад? Подобные ему люди возражали бригадиру:

— Мы что тебе, перекати-поле? Да и как можно оставить могилы предков?

Но Дильдебай и слушать ничего не хотел. Впрочем, не от него это все зависело, судьба аула была предрешена не им.

И вот аул должен был перекочевывать в ближайшее время. А ведь аул и впрямь славился своими садами, не однажды те, кто придумал переселение, заезжали полакомиться замечательными фруктами из его садов. И, не жалея слов, расхваливали садоводов, которые не выпускали из своих мозолистых рук кетменей ни днем ни ночью. Кыдырма не мог себе представить, что из окон своего будущего дома он не увидит зеленого сада...

Он подошел к молодому урюку, выросшему на каменистом берегу ручейка, осторожно погладил его ветви своей шершавой ладонью и вдруг испугался. Из развилки капал сок, искрясь на солнце. «Плачет»,— подумал Кыдырма.

В прошлом году ему пришлось отлучиться из дома, и все время снился этот урюк, не давал покоя. Когда он вернулся домой, то сразу же заметил, что вид у дерева больной, листья пожелтели прежде времени, хотя влаги и было достаточно. И тут он вспомнил слова покойного отца, что дерево знает руку своего хозяина и тоскует по нему, как человек. Иначе почему молодой, полный сил саженец вдруг начинает вянуть и желтеть?

И действительно, прошло немного времени после возвращения Кыдырмы, и дерево поправилось, будто на самом деле ушла его тоска, оно почуяло, что хозяин то и дело возится рядом с ним со своим кетменем.

Кыдырма много всякого знал о болезнях фруктовых деревьев. Например, они могут заболеть от скота. Стоит урюку или изюму услышать поблизости блеяние коз, как они тут же перестанут расти и замирают. Может быть, это и глупости, но Кыдырма верил. Те, кто держал коз, посмеивались над его наивностью: «Деревья у Кыдырмы, как городские дети, которые боятся, что козы могут их забодать». Однако Кыдырма терпеть не мог поблизости от своего дома никакого скота.

Он верил, что, если хозяин все время рядом с саженцем, тот растет лучше, а звук кетменя, долбящего засохшую землю, придает дереву силу и стойкость.

Ведь молодые побеги, словно дети, делающие первые шаги в своей жизни, дрожат от малейшего холода, зябнут и пугаются ничтожного ветерка.

Кыдырма верил, что рост дерева зависит от роста корней. Если ствол стал расти криво, это значит, что корень наткнулся на камень или на него напал вредитель.

Из года в год спокойно жил Кыдырма со своим садом, но в то лето, когда надо было переселяться, он места себе не находил.

Однажды он косил кудрявую травку среди деревьев. За спиной послышался топот коня и раздался мягкий, будто смазанный жиром, чуть хрипловатый голос бригадира Дильдебая:

— Аксакал, когда это вы перестанете кланяться земле?

— Никогда, дорогой.

— Нет, все-таки скажите, когда вы перестанете быть бельмом на глазу? Вон люди уже начали переезжать, а вы? Я все здоровье потерял, желая приучить вас к культурной жизни. Надо все-таки прислушиваться к словам активиста, то есть начальства. Не держать ведь нам в такой глуши ради одной семьи магазин и школу. Вот что я вам скажу. Пока еще тепло, срубите свой урюк и просушите. Совхоз купит материал: для ремонта овчарен не хватает леса на подпорки и балки. А то скоро совсем завалятся.

— Пусть мой сад не заботит тебя, родной. Я сам о нем позабочусь,— холодно ответил Кыдырма.

Дильдебай повысил голос:

— Такое занятие не пристало казаху! Предки наши держали скот! Устраивали скачки, а не ковырялись всю жизнь с кетменем!

«Должно быть, верно говорят, что дед этого Дильдебая свалил мощную арчу в степи, чтобы наделать из нее зубочисток»,— подумал Кыдырма.

— Ты останешься тут один!— продолжал бригадир.— И я освобождаю тебя от обязанностей смотрителя пастбищ. В русле реки, то есть в ее пойме, я хотел сказать, будут пасти коров.

Сам Дильдебай свой сад, оставленный ему отцом, променял на хилого стригунка. Кыдырма в свое время возмущался этим.

Ему надоело выслушивать бригадира, поэтому он пошел в дом и захлопнул дверь. Однако голос бригадира какое-то время еще доносился с улицы. Наконец раздался топот копыт, и все стихло.

Кыдырму вдруг обуяло бешенство. И когда эти люди станут жить спокойно?! Ах ты сукин сын, все нервы измотал. Скот они переведут в пойму реки, чего придумал! Захотел пасти коров там, где все давно уже выкошено до травинки. Чирей ты там себе нагуляешь, а не скотину. Какое ему дело до того, что для ремонта овчарни нет древесины? И какое ему вообще дело до урючных садов Кенколтыка, который благодаря этим садам, слава богу, надежно укутан зеленью? Этот Дильдебай сам как бельмо на глазу.

Вот и в позапрошлом году привязался к нему со своими суевериями, когда он задумал посадить ореховое дерево.

— Ойбай!— тонким голосом сокрушенно сказал тогда Дильдебай.— Зря вы это придумали. Разве вам не известно, что тот, кто вырастит ореховое дерево, умрет, не вкусив его плода?

— Откуда ты это взял?

— А вот так. Ореховое дерево начнет плодоносить, если отправит на тот свет того, кто его посадил.

И жена поддержала Дильдебая, женщины падки на всякие поверья.

— Все это лживые слова ленивых людей,— сказал ей Кыдырма.— Я еще ни разу не видел, чтобы человек, вырастивший дерево, раньше сроку протягивал ноги.

Но разве жену переспоришь? Он сделал вид, что забыл о своем намерении. Однако тайком все-таки сунул в землю пяток грецких орехов в самом углу сада. Он много ухаживал за ними, укрывал от холода, поил водой. И вот через год появились хилые стебельки. Уж до того они были нежны, что, казалось, стоит подуть ветру, тут же сломаются. И это понятно, в наш мир все приходят голые и беззащитные. Даже верблюжонок до шести месяцев еле двигает ногами, а уж потом твердо встает на них. Так и дерево: сегодня еще дрожит на клочке земли величиной с ладонь, а завтра вытянется до неба.

Его спрашивали, мол, что это у тебя там растет в углу сада? Он отвечал, что это одно очень редкое лекарственное растение. Однако ореху не повезло. Его вытоптал сын соседа, забравшийся ночью за урюком в сад. Уж как тогда переживал Кыдырма, как болела у него душа.

И теперь он должен сам вырубить свой зеленый сад, которому отдал все свои силы и душу, плоды которого

вкушал каждодневно и давал пробовать всем. И вот ему говорят: высуши свой сад на дрова, а сам откочуй с этого места, оставь все на потеху знойным ветрам. Да уж лучше отрубить и высушить на дрова свои ноги, чем этот сад.

В годы войны здесь все засохло, осталось только одно урючное дерево, посаженное еще его отцом. И вот семена этого деревца, чудом уцелевшего от засухи, превратили со временем весь Кенколтык в зеленый лес, укрывший аул от зноя и холода.

Нет, Кыдырма хорошо знал цену земли и, пока сам жив, не даст погубить сад.

Но после разговора с бригадиром о переселении тревога поселилась в его душе. Все-таки все аульчане переселяются, хоть и скрепя сердце. Как бы не остаться тут, в глуши, одному, без жены и сына. Их пришлось отправить на новое место жительства. Сыну надо было ходить в девятый класс, а жена работала в магазине продавщицей. Магазин в селе ликвидировали за ненадобностью, волей-неволей ей тоже пришлось переехать. Обдумав все как следует, он сказал жене:

«Я думаю, вам надо устраиваться на новом месте, ничего не поделаешь. Плохо, если мальчик отстанет от школы, а ты потеряешь свою работу. Я спущусь в долину к зиме». И он отвез их в центр, оставив себе лишь самое необходимое для житья.

Руководители совхоза обещали им трехкомнатную квартиру в каменном доме, но поселили в двухкомнатном глинобитном домике ввиду малочисленности их семьи. Его это не особенно расстроило. Так или иначе с семьей дело утряслось. Жена работала теперь в магазине, а мальчик осенью будет ходить в школу, жить дома. Все-таки свой дом — это не интернат с его молочными кашами и овощными супами.

Вот об этом и думал Кыдырма, сидя в полном одиночестве. Вдруг ему показалось, что гремит гром, и он с надеждой посмотрел в окошко. Ох как нужен был дождь для несчастной высохшей земли! Небо, полыхающее над головой, казалось сковородкой: брось туда что-нибудь, так и вспыхнет, а птицы, парящие в голубом зное, вот-вот обуглятся и попадают на землю. Все источники у подножия холма потрескались от жары. Небольшой ручей, питающий сад Кыдырмы, совсем отощал.

В старые времена такая погода грозила джутом. Сна-

чала жестокий постоянный ветер изорвал в клочья и разогнал плотные тучи на небе, потом разразилась буря, выдувая из-под корней пересохшую почву. И наконец, пришли знойные дни, дышащие огнем, выгорели посевы, скоту негде стало пастись. Все это лишило аульчан душевного покоя.

И столько разных мнений по поводу переселения. Одни говорили, что нельзя покидать землю предков. Другие, наоборот, радовались: мол, в центре наконец можно пожить по-человечески — есть баня, дают авансы, мука высшего сорта, школа. А тут ничего не осталось.

Кыдырма никогда не увиливал от труда. Всегда был готов подпереть плечом хозяйственные дела совхоза. Если ему говорили, что надо прорыть арык и провести воду, чтобы посадить рис на площадке с овечью шкуру, он шел с кетменем впереди всех.

А в прошлом году руководил ремонтом базы для овец, шесть месяцев задыхался от прелого воздуха старой зимовки да глотал пыль. Свой сад приходил поить по ночам. За все брался Кыдырма без возражений и ворчанья.

И вот теперь велят переезжать, и он лишился покоя, стал выходить из себя по любому поводу. Кончилось тем, что все переехали, а он остался в степи один как перст. Конечно, если бы не было забот, он бы долго не продержался. Но ручей, питавший сад, совсем лишился силы. Надо было соединить его с арыком. И Кыдырма, не зная ни сна, ни отдыха, начал углублять дно, которое оказалось каменистым и неподатливым. Он дробил камень киркой, ломом, изранил все ладони, но едва прошел за день пару шагов. А копать надо было метров сто.

Деревья на глазах желтели и увядали без воды, а сердце у Кыдырмы обливалось кровью. И, видимо, он надорвался, стал задыхаться, появилась изжога, руки онемели. Но это бы еще ничего: он знал, что стоит ему отдохнуть денек, и силы бы вернулись.

На дне арыка попался валун, который надо было своротить. Кыдырма вцепился в него обеими руками, пот застилал глаза, в висках стучало, и вдруг бедро обожгла боль, будто в него ткнули ножом...

В конце берцовой кости у него сидел осколок мины, привезенный им с войны. И вот этот осколок, столько лет дремавший в ноге, как будто ожил, зашевелился. Все кости заныли, застонали.

Кое-как, опираясь на кетмень, добрел Кыдырма до дома. А под утро у него появился сильный жар, разболелась грудь, словно ее придавили валуном, дышать стало трудно. Кыдырма испугался, что умрет вдали от жены и сына в этой покосившейся хибаре. Однако помог случай. Дильдебай, рыскавший по низинам и сопкам в поисках травы для скота, заглянул к нему. Он и привез Кыдырму в больницу.

Врачи рассказали больному, что от осколка стала разлагаться кость, и еще бы немного, лишился бы он ноги.

Из области приехал хирург и сделал операцию. Кыдырме стало легче, боль успокоилась...

Между тем наступил сентябрь. После пыльного зноя явилась желтая осень.

Кыдырме, который лежал у окошка в палате, все чудился шум урюка в его саду, и он тосковал. В открытое окно тянуло прохладой благодатной осени. Листья дуба пожелтели и стали опадать. В открытое окно он слышал причитания журавлей где-то высоко в небе. Журавли улетели, небо затянулось тяжелыми тучами, зарядили постоянные дожди. И наконец выпал снег, грянул мороз.

В один из таких дней заявился Дильдебай, на усах у него были сосульки, коричневое, обветренное лицо все в складках, будто голенища ичиг.

Дильдебай засиделся, рассказывая о том о сем. Перед уходом он промямлил, глядя в сторону:

— За вашим садом некому было следить. Много деревьев погибло без воды.

— Вот как,— пробормотал Кыдырма, и в глазах его показались слезы.

— Руководители совхоза просят продать деревья из твоего сада,— продолжал Дильдебай.— Нужен лесоматериал для ремонта овчарен. Все равно сад пропал. Нужды общества дороже нужд отдельной личности.

У Кыдырмы перехватило дыхание, и он не смог вымолвить ни слова. Дильдебай, думая, что получил согласие, попрощался и ушел.

Кыдырма надеялся, что его вот-вот выпишут из больницы и, может быть, ему еще удастся спасти сад. Однако он провалялся в больнице восемь месяцев, его выписали в конце апреля, когда скотники из зимовок уже откочевали на летние пастбища.

Кыдырму навещали и жена и соседи, всегда принося много новостей. Так он узнал, что его урючный сад в Кенколтыке срубили. Бревнами подперли крышу овчарни, которая едва держалась. Ему говорили, что когда спиливали деревья, то ломались зубья пилы, пришлось выкорчевывать трактором, и что руководители совхоза очень довольны щедростью и сознательностью Кыдырмы.

И на самом деле, когда он вышел из больницы, руководители совхоза пришли к нему домой и попросили извинения; сказали, что, если бы не его помощь, овцы бы погибли, потому что крыша не выдержала бы тяжести снега, которого этой зимой выпало особенно много. Он даже повеселел, столько добрых слов было ему сказано. Кроме того, в центре совхоза собрались разбить сад, и Кыдырму попросили стать во главе этого большого дела. После долгих уговоров он согласился.

Дела совхозного сада требовали бесконечных забот и внимания. Кыдырма надеялся, что за всем этим он забудет о своем погибшем урюке. Однако случай опять напомнил ему о былых временах. Как-то жена подала ему чашу с кислым молочным напитком. Он посмотрел на чашу, и сердце его дрогнуло, посудина чуть не выпала из его рук. Жена почувствовала неладное и испуганно спросила:

— Что случилось?

— Где ты достала эту чашу?— спросил он, пытаясь унять дрожь в голосе.— Я узнал, ведь это вырезано из моего урюка в Кенколтыке. Из ствола пятилетнего дерева. Вот он, сучок.

Услышав его слова, жена немного успокоилась.

— Эту чашу выстругал зимой мастер Айсын и подарил нашему Калкаману,— сказала она.

Конечно, ничего предосудительного в том нет, что мастер выстругал из дерева урюка драгоценную чашу и подарил ее любимому человеку. Не это взволновало Кыдырму, а то, что выращенное им, взлелеянное урючное дерево возвратилось к нему в виде чаши, мастер дал его урюку вторую жизнь. И тоска, притаившаяся под сердцем, снова ожила.

Но ведь сада уже нет, его не вернешь, думал Кыдырма. А может быть, его нарочно обманули, чтобы он не возвращался в аул, а жил тут, в центре совхоза? Но в конце концов, ведь можно съездить и узнать. О, если бы его встретил в Кенколтыке привычный шум деревь-

ев! Он построил бы шалаш, и остался там навсегда, и не влачил бы такого жалкого существования, как теперь.

Нет, надо ехать в Кенколтык и все узнать, хотя бы поклониться пням, проститься с местом, где шелестел листьями его сад. Надо съездить!

— Ну что ты так переживаешь, даже руки трясутся,— сказала жена.— Все разлил из чаши. Я слышала, что, когда совхоз купил сад, мастер Айсын съездил туда и выпросил пару деревьев. Ты же знаешь Айсына. Такой же чудак, как и ты. Когда делал чашу, он ведь не думал, что испугает тебя.

Вернув чашу жене, он попросил, чтобы она вымыла ее, почистила и принесла ему. «Мучается, что вернули ему частицу его сада»,— подумала жена и пошла мыть чашу.

Чаша вернулась к Кыдырме сверкающая, с желтым глазком на боку.

Видно было, что даровитый мастер Айсын немало сил приложил к упрямому дереву, выросшему на каменистой почве. Дерево не изменило своей природной окраски, сохранило прохладный запах мускуса.

Здоровое урючное дерево имеет особую окраску, и мастер сохранил этот ало-коричневый цвет в своем первозданном виде, сделал чашу почти невесомой. Говорят, напиток, поданный в такой драгоценной чаше, делается еще вкуснее.

Кыдырма пошел в совхозный сад и несколько часов копал там землю. Но его все время что-то беспокоило и отвлекало от работы. Он вернулся домой и лег в постель.

Видимо, жена успела сообщить, что ему нездоровится, потому что пришла девушка-врач и стала обследовать его. Прибежал Дильдебай, изрыгая слова, словно разболтанный в бурдюке кумыс пену. Девушка-врач, которая думала по-русски, а говорила по-казахски, не разобралась в состоянии Кыдырмы, сказала, что все у него в порядке, ничего страшного нет, и ушла. Дильдебай остался и до того заморочил голову хозяину дома, что тот рад был бы избавиться от него. Однако настроение Кыдырме все же поднял. Кроме того, он пригласил Кыдырму в гости, и тот согласился, надеясь вволю поесть копченой конины в доме бригадира.

Была и другая причина того, что он согласился. Он подумал, что, может быть, так он быстрее привыкнет к

новым местам, избавится от черной, тягучей тоски по своему родному аулу, по урюковому саду, который, говорят, вырублен.

Вечером в четверг, когда они с женой вышли из дома, Кыдырма обратил внимание на заходящее солнце. Оно было похоже на огромную искру, упавшую в фиолетовые тучи. Такой заход предвещал ветреный, беспокойный день.

Они вошли во двор Дильдебая. Половина двора была отгорожена железной сеткой, Дильдебай держал здесь индюков. И сам он как раз раздавал корм птицам. Увидев гостей, он поспешно поднялся и повел их в дом, по дороге рассказывая о совхозных новостях.

— Кстати, заколол нетельную кобылицу для косцов,— сказал Дильдебай.— А голову принес, чтобы преподнести ее вам.

— Для гостей варят лобную часть, а не всю голову целиком,— проворчал Кыдырма, проявляя свою осведомленность.— Ни сейчас, ни в старые времена, никогда для гостей не варили целиком всю голову.

— В былые времена мы довольствовались и куском хлеба,— возразил Дильдебай.— Теперешние косцы любят поесть. Мешок муки съедают за неделю. Попробуй их не накорми.

Дильдебай продолжал жаловаться на прожорливость косцов. А может, тут повар виноват?

Забот у него хватает. Поспевает люцерна, а там и медвежью траву можно косить. И за всем надо следить ему, бригадиру. Вот и приходится бегать с утра до ночи, свободной минутки нет...

Потом Дильдебай вдруг вскочил:

— Кыдеке, чем сидеть сложа руки, сыграю-ка вам на домбре.

И он тут же снял со стены домбру. Кыдырма с интересом взглянул на инструмент.

Дильдебай понял его интерес по-своему и, согнувшись, принялся усердно хлестать по струнам. Кыдырма внимательно прислушивался, звук домбры показался ему знакомым. Одно из деревьев его сада в Кенколтыке во время бури так же стонало и скрипело, как эта домбра, так же гудел его ствол.

Кыдырма вдруг выхватил домбру из рук ошеломленного хозяина.

— Это ведь урюк! — воскликнул он.

— Ойбай, почтенный, домбра моя,— стал объяснять Дильдебай.— Мне ее сделал мастер Айсын за одну овцу. А из какого дерева, меня это не касается.

Кыдырма долго рассматривал тяжелую домбру, поворачивая ее и так и эдак. Иногда он трогал струну и, склонив голову набок, прислушивался к гулу домбры. В эту минуту весь мир для него переставал существовать, словно бы он улавливал какой-то давно забытый мотив, напоминавший ему о поре юношества, о годах молодости, и вспоминал свои давние мечты, которые уже давно похоронила жизнь.

Он думал, что человек живет благодаря мечте, намечает себе желанную цель, торопится к ней, выбиваясь из последних сил. А достигнув ее, осуществив мечту, снова начинает стремиться к недосягаемому, казалось бы. И вдруг это недосягаемое совсем уже рядом, стоит лишь протянуть руку, чтобы добыть его. Но силы уже нет, и пора умирать.

Он мечтал украсить потрескавшуюся от зноя степь зеленью, но для этого, оказывается, надо быть таким же крепким в своем упорстве, как твердое дерево, вцепившееся своими корнями мертвой хваткой в скалистый грунт.

Неужели он не смог дойти до своей цели, которая была совсем рядом?

В хорошем настроении Кыдырма любил потренькать на домбре. Сейчас настроение у него было тягостное, однако он поправил деку самодельной домбры, натянул посильнее нижнюю струну и заиграл не печальную и тягостную мелодию, под стать своему настроению, а нечто бодрое, полное надежд. Хозяин дома, который вначале равнодушно прислушивался к игре гостя, вытаращил глаза на мозолистые пальцы Кыдырмы. Его руки, с детства привыкшие к кетменю, оказались проворными и ловкими, они творили сейчас чудесную музыку, способную растопить любую мерзлоту в душе. Комнату заполнила сочная, неукротимая мелодия, богатая чувством, заставившая трепетать душу.

Кыдырма и сам удивился, раньше у него не получалось такой живой игры. Было одно лишь треньканье, утомлявшее слух.

Он перестал играть; все долгое время сидели молча, да и сам Кыдырма поник головой, взгляд его потух.

Когда мясо было уже готово, в дом вошли гости, для

которых всегда было забронировано самое почетное место. Это были директор совхоза и уполномоченный, который продолжал говорить на ходу:

— Видел я посевы соседнего совхоза, где руководят пять шутов-трепачей. Ничего хорошего. А языком болтать они мастера.

И он скрипуче рассмеялся. Этот совхоз был их давним соперником в соревновании между районами.

Хозяин дома недовольно поморщился.

— Не знаю, как у них. А у нас темп косьбы ударный, уберем до последней травинки.

И началась обычная беседа о делах совхозных, о делах соседей, о насущных заботах, тревогах и хлопотах. Непонятно почему, но на душе у Кыдырмы стало как-то спокойней, и он с удовольствием принялся за мясо.

Когда он вышел из дома, поблагодарив гостеприимного хозяина, на улице было уже темно. Жена его ушла раньше. Таков был обычай в этих краях — в гости супруги приходят вместе, а расходятся порознь. Мягкий ветерок, веявший днем с севера, превратился сейчас в воющий злобный ветер.

Кыдырма шел мимо совхозного сада и думал, что пока это еще не сад, а так, одно название. Прежде здесь был ток, и почва превратилась в камень. Кыдырме еле удалось кое-как разрыхлить ее, он затупил не один кетмень, и все же дело свое сделал. Может быть, и вырастет сад.

Молодые, гибкие саженцы гнулись под напором ветра. Когда он рыхлил землю для этого сада, ему показалось, что в некоторых местах почва больна. К кетменю прилипал бледно-серый солончак. Даже если молодые побеги, пересаженные из питомника, и укрепят свои корни, все равно ничего хорошего от этого места ждать нельзя. Лишняя соль в почве — беда для саженца: кора растрескается, корни погибнут от соли, листья могут пожелтеть среди лета.

Когда сидели у Дильдебая, ему хотелось рассказать о своей тревоге руководителям совхоза, но раздумал. Не за пьяным столом надо об этом говорить.

Дома он вспомнил, что не наточил затупившийся кетмень, но точить уже не хотелось. Собрался было сходить к мастеру Айсыну, но было поздно. Решил сходить к нему утром. Лег в постель, долго не мог уснуть. В ка-

кой-то момент ему почудилось, что глаза спят, а душа бодрствует. Он увидел домбру, вырубленную из его урюка, и в уши полились стонущие, тягостные звуки. Потом показался мастер Айсын с взлохмаченной бородой. Он размахивал сверкающим топориком и рубил, тесал, расщеплял, кромсал одно дерево за другим. Кривые стволы он совал в горячую золу, а потом втискивал в форму и выпрямлял. А сам Кыдырма ел урюк и щелкал молотком косточки. В ушах заложило от этого треска, а сердце отчаянно колотилось.

Кыдырма резко проснулся и поднял голову. На столе горела лампа. С тех пор как он вернулся из больницы, жена каждый раз на ночь зажигала лампу. Кыдырма подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Под глазами были темные мешки, грудь тяжело вздымалась. Он вздохнул и выглянул в окно. На востоке занималась заря. Кыдырма стал одеваться, думая, что если так и дальше пойдет, то можно сойти с ума. Он понял, что не успокоится, пока не съездит в Кенколтык и не увидит свой бывший аул. Неужели там не осталось ни одной живой ветки? Если осталось хоть одно деревце, он перевезет его и посадит здесь, рядом с домом.

Рано утром он отправился к Дильдебаю, чтобы попросить у бригадира транспорт для поездки в старый аул. Дильдебай сразу же запричитал, что транспорта не хватает даже для сенокоса. Не лучше ли ему пойти и попросить коня у мастера Айсына? Его Байга-боз стоит без дела и только переводит ячмень да овес. Ничего с ним не случится, ноги не протянет, если прошагает день-другой. Деревья из сада Кыдырмы взял для своих поделок, так неужели откажет в коне? А если обидит родича, так уж, наверное, превратился в неверного.

В общем, Дильдебай и слова не дал вставить Кыдырме. Тот распрощался и молча зашагал к хибаре мастера Айсына, который жил в конце улицы. Было похоже, что Айсын только что закончил свое чаепитие, настроение у него было благодушное. Увидев Кыдырму, своего сверстника, он зашевелился, словно птица, готовая взлететь. Он тут же велел жене снова разложить дастархан. Потом усадил гостя и сказал:

— Когда ты лежал в больнице, я не смог навестить тебя. Ты уж извини. Сам знаешь, сколько хлопот с этим переездом, да еще дочку замуж выдавал. Знаю твою обиду. Да и как не обидно, когда вчерашний со-

кол, который шутя дробил когтями камни, превратился вдруг в пучеглазого филина.

— Так оно, конечно,— согласился Кыдырма, разглядывая инструменты, щепки и разный древесный хлам, разбросанный по комнате где попало.

— Пока свет в глазах да сила в руках, хочу оставить после себя свое искусство,— сказал мастер Айсын, заметив, куда смотрит гость.— Остальное все преходяще.

— Да, так оно и есть,— опять согласился Кыдырма и взглянул на полку, где лежали красные, желтые, рыжие и ало-бурые дощечки.

— Это я делаю шкатулку,— пояснил мастер.— Для дочери, которую выдал недавно замуж. Хочу инкрустировать это изделие костью... Когда вырубили сад в Кенколтыке, я выпросил у Дильдебая три дерева. Деньги я тебе заплачу, это мой долг.

Кыдырма вдруг почувствовал, как проходят у него обида, тоска, сожаление после слов мастера Айсына. Сердце его смягчилось. Была какая-то жизненная правда в словах мастера. Действительно, так или иначе, деревья погибли бы от засухи. Так уж пусть лучше они пойдут на пользу совхозному хозяйству. Кроме того, мастер Айсын подарил его урюковым деревьям вторую жизнь силой своего искусства. И он, Кыдырма, со своими детскими обидами просто неблагодарный человек.

— Бери все, что осталось от моего сада, Айсын,— сказал Кыдырма.— Кору, корни, пни. Все бери для своей нужды и делай красивые вещи.

— Неужели ты и вправду все это мне отдаешь?! — вскричал мастер Айсын.— Ведь для меня даже истлевшая веточка, пропитанный солнцем пень — бесценные вещи! У урючного дерева особые качества, твердость, окраска. Больше всего я люблю работать с этим материалом.

Мастер Айсын говорил правду. Месяцами и годами создавал он вещи, каждая из которых была произведением искусства. Пальцы его рук чувствовали фактуру дерева так же хорошо, как породистая собака след дичи.

Денег за свои изделия он никогда не брал. Засиживался над какой-нибудь вещью до немоты в шее, слеп над ней долгими часами, мозолил руки до крови, потом брал да и дарил кому-нибудь со словами:

— Береги как зеницу ока!

Если бы мастер Айсын брал деньги за свои чудесные изделия, то давно бы уже разбогател. А так особого достатка в его доме никто не замечал.

Кыдырма не позволил ставить казан с мясом на очаг и торопливо рассказал о своем деле, мол, пришел просить коня, хочется съездить в старый аул.

— Разве мне жалко для тебя конского пота? Мой единственный сын, правда, готовит его к скачкам, которые состоятся в праздник чабанов. Но если ты съездишь до Кенколтыка, ничего коню от этого не сделается. Поезжай, развеешься, подышишь родным воздухом Кенколтыка. А то ты, я смотрю, ходишь будто зачумленный. А я покручусь за тебя пару дней в совхозном саду. Присмотрю, чтобы не лезли эти настырные, будто мухи, козы да овцы.

Кстати, если попадется, то привези мне корневище урюка. Не хватает на крышку для шкатулки небольшого кусочка дерева. Вот тебе и будет плата за конский жир. Если останется корень, то выстругаю тебе табакерку для насыбая...

Из дома мастера Айсына Кыдырма вышел очень довольный.

Приятно было расположение к нему мастера. Он как будто совсем излечился от давящей, гнетущей тоски. Странное дело: в дом вошел съежившись, а вышел из него полный собственного достоинства, будто превратился в главного судью этой пегой нашей жизни...

Повернув коня к северу, он постепенно начал выбираться из сетей бесчисленных пыльных тропинок, которые опутали аул вроде паутины. К сопкам поехал напрямик по бездорожью. Постороннему человеку он, наверное, казался великаном из сказок: тень его удлинилась, конь казался мощным и чудовищным. Во всяком случае, женщины, которые сенокосили в долине, испуганно засмотрелись на одинокого всадника. А он гордо восседал на Байга-бозе, будто выказывал пренебрежение ко всей этой мелочной жизни, копошащейся у его ног.

Женщины, оставив свое дело, долго смотрели ему вслед, пока он постепенно не исчез, не растворился, как мираж.

Со стороны Кенколтыка тяжелыми волнами накатывала дикая степная прохлада.

СВЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Аульная старуха Кунимпатша проснулась чуть свет, глянула с подушки, а в домике еще темно, бледные лучи зари еле просачиваются в два крохотных оконца. «Не дай бог захворать, только бы не это, а душу свою готова я отдать за внучонка моего, господи, ты же знаешь,— привычно думала старуха.— И эта девчонка-дохтыр, что всегда заботилась о моем здоровье, запропастилась куда-то... Ох, на молитву пора».

Она грузно, долго вставала, с трудом ворочая вдруг отяжелевшим телом, и наконец, поднявшись, направилась к очагу за чайником. С вечера матушка Кунимпатша всегда оставляла наполовину закопанный в золе чайник, чтобы утром была под рукою вода для омовения. Проковыляв в переднюю комнатенку, старуха чуть слила себе на руку, пробуя, сколь тепла вода; затем начала освященное омовение, долго плескалась и мылась, чтобы предстать чистою перед всевышним. Опустившись на молитвенный коврик, вздохнула и всем сердцем отдалась молитве. Но слышала, как с улицы доносится трель певца утренней степи, песнь жаворонка. И с особенным воодушевлением принялась она, удобно упокоясь на коленях, мысленно произносить имена святых и пророков, давным-давно усопших, но прославленных в веках. Долго сидела просто так, в полудреме. А затем приступила к самому главному, что оставила напоследок: «О великие пророки, не имеющие себе равных, благословенные аллахом и святым духом предков, будьте милостивы к моему единственному внуку, который затерялся — учится в великой столице Маскау. Не дайте споткнуться и упасть в пропасть моему верблюжонку. Духи-покровители моего рода, обратите взоры на него! Буду вечно у вас в долгу я, раба ваша, о добрый пахарь Сунаката, с помощью кетменя отводивший на поля воду священной Сырдарьи, и ты, дух батыра Ширкинбая, державший щит на перевалах Каратау... Не оставляйте моего единственного! Не забывайте сироту, глаз не спускайте с него»,— настойчиво просила взлохмаченная старуха и потом истово проводила жесткими ладонями по лицу.

Завершив молитву, старуха поднялась, бережно, красиво сложила молитвенный коврик и положила его над изголовьем кровати. Освободила от сложенных тю-

ками одеял крышку сундука, обитого узорчатой жестью, открыла его и склонилась над своим наследственным добром. Перво-наперво достала старуха потертую бархатную сумку. Сумка эта прошла с нею через всю жизнь, и в ней матушка Кунимпатша держала все самое дорогое и ценное. Браслет, например, витой, серебряный, подаренный ей свекровью, дожившей, слава аллаху, почти до ста лет; или позолоченные кольца золовки Апикуль; а вот сверкающее ожерелье, подарок покойного сына Балгабая. Матушка Кунимпатша не носила все это на себе, потому что была не из тех, которые больше всего любят дорогие висюльки да побрякушки.

Да и когда было носить. Муж погиб на войне, она была тогда еще не старой, остался на руках единственный сын... Пока его растила, выводила в люди, незаметно перешла срединную черту жизни, из сдобной молодухи превратилась в байбише с белой бабьей чалмой на голове. Сынок Балгабай тем временем проучился пять лет на ветеринара и накануне завершения учебы осчастливил мать радостной вестью: «Женюсь, апа!» И она чуть до неба не подпрыгнула... Но вышло так, что вместо ожидаемой радости пришла великая беда.

И слякотной весною, держа над собой траурный знак, друзья-товарищи принесли на руках бездыханное тело ее сыночка...

Накануне свадьбы он снял на окраине города, где учился, маленькую хибару; все в ней вымыл, вычистил, стены побелил. Жарко натопил давно не разжигавшуюся печь, чтобы теплее было его невесте. Вечером она ушла домой, а Балгабай остался ночевать. И назавтра, уже к середине дня, хозяин заподозрил неладное, взломал дверь — оказалось, студент угорел насмерть. Или печь закрыл рано, или попросту судьба у него была злая — свадебный дом оказался западней смерти.

Не думала старуха Кунимпатша, что захочет жить после этого. Но, пролежав полтора месяца головою на смертной подушке, вдруг в один день поднялась с постели. И все из-за невесты сына, которая прибыла вместе с ним — навсегда безответным. Она ухаживала за старухой, гнулась перед нею тонкой лозинкой, потом призналась, что носит в себе ребенка от Балгабая. Это известие и подняло на ноги аульную старуху. Забыла она горе, перепоясалась потуже и, когда молодица благопо-

лучно разродилась мальчиком, решила устроить большой той. Однако Есиркеп, тогдашний председатель, отсоветовал: «Шанрак твоей жизни слаб на все четыре стороны, опереться тебе не на кого, а ты хочешь потратить всех своих овец. Придут черные дни, с чем останешься? Да выдели одного валуха и пусть джигиты устроят кокпар, я разрешаю». Так и сделали. И в честь новорожденного, которого назвали Куандыком, лучшие скакуны округи огласили степь громом своих копыт.

Когда Куандыку исполнилось ровно сорок дней, молодая келин[1] слезно запросилась в город — завершать учебу. Что ж, старуха Кунимпатша, неся в руках орущее дитя, проводила невесту-вдову до станции Арысь. Там и, расставаясь, благословила ее: «Прощай. Помни, ты свет очей моих. Буду жива, Куандык твой не будет знать горя. Учись, не скучай, пиши почаще письма, а я тебе буду посылать копейки, какие наскребу...» И, плача навзрыд, отпустила свою ненаглядную келин.

Поначалу письма от молодайки приходили чуть ли не каждый день. Потом реже. И настало время, когда письма совсем перестали приходить. Лишь однажды, когда Куандыку уже исполнился год и он начал перебирать по земле ножками, от невесты-вдовы прибыло письмецо. На жалком клочке бумаги кривилась виноватая надпись: «Апа, учебу закончила благополучно. Посылают на работу в Усть-Каменогорск. Как устроюсь, дам о себе знать». Словно святыню, пришпилила аульная старуха бумажку на свой белоснежный тюрбан и стала ждать вестей. И не сразу поняла, что это была последняя весточка от ее миленькой молодухи. Но наконец дошло до ума: надеяться больше не на что, придется внука подымать одной.

Недаром говорят: «Живой прокормится, живому хоть дохлая рыбка достанется...» Да будут благословенны все добрые люди аула — помогли ей вырастить внука. Кто руку протянет, кто подставит плечо — выручали, как могли. И жизнь у одинокой старухи получилась не лучше всех, но и не хуже многих. На миру, как говорится, и смерть красна, и бедность не видна.

Куандык ее подрос. А сама старуха начала слабеть, отдав все соки своей цветущей поросли. Но и внук радовал бабку. С детства был смышленым, учился хоро-

---

[1] Келин — молодая замужняя женщина.

шо, и его похвальными грамотами был наполнен семейный сундук. Закончив школу, отправился учиться дальше, в эту великую столицу Маскау; и слава аллаху всемилостивому, уберег он парня от сглазу, беды и горя — заканчивает в этом году ее жеребенок самую большую, высшую учебу!

«А ведь не зря мое солнышко приснилось мне в эту ночь! — вдруг, вспомнив, решает старуха.— Может, приедет навестить...»

Как-то весной пришло от него письмо: «Бабушка, приеду к началу лета, когда созреют первые дыни. Жди!» И переполошилось ее старое сердце. Как только оттаяла земля, принялась она устраивать дынную грядку, тюкая кетменем, словно птица клювом. Посадила раннюю дыню-скороспелку, тщательно ухаживала... Но внук так и не появился, а дыни перезрели и вытекли.

И когда уже вовсю полыхал июль, иссушающий мозги, от Куандыка пришло письмо: «Бабушка, не отпустили меня после экзаменов, а скоро отправят нас на двухмесячные военные занятия. Очень соскучился по тебе, бабушка, да что делать... Надо еще подождать, но главное уже позади — скоро завершу все и навсегда вернусь домой».

«Ах, соскучился ты, говоришь, жеребеночек мой! Бабушка твоя здесь еле кости таскает, а тебя все нет, хоть на один день приехал бы, порадовал меня. Учеба ведь не тюрьма, неужели нельзя вырваться на денек!»

Так думала аульная старуха, томясь и горюя. Не вынесла одиночества — зарезала одного из двух барашков, откормленных к встрече долгожданного внука. Вечером пригласила стариков, попросила их благословить трапезу...

Отправилась к Есиркепу, бывшему председателю колхоза, теперь же он превратился в муллу, поигрывающего четками, и в гадателя-прорицателя. Знала старуха, какой получился гадатель из Есиркепа, но также ведомо было ей, горемыке, что у него-то пророчеств дурных никогда не бывает...

Он рассыпал на белой скатерти кумалаки, сорок одну косточку урюка и, разделив на кучки, принялся вещать: «Внизу кумалаки легли нечетно, похоже, дитя твое собирается в путь-дорогу... Ну, конечно, нечет дальнюю дорогу означает. А что по сторонам у нас? По сто-

ронам вышло три на три, значит, в животе у него не пусто, слышь, матушка? Брюхо-то, говорю, у него сыто... А вот наверху четыре — душа и совесть не в мире. Может, парень не всю правду выложил в письме? Что-то он скрывает. Наверное, ждать тебе недолго осталось, матушка, нагрянет неожиданно твой батыр — вон, гляди, конец кумалаков беспокойный, какую-то неожиданность сулит». И, пробормотав утешительную отгадку, Есиркеп выпроводил старуху.

А сегодняшинй сон как объяснить? И хотя бабка Кунимпатша не особенно верила снам, но это сновидение взволновало ее настолько, что сердце чуть не выскочило из груди... Вроде бы у задней стены этого дряхлого дома, пропади он пропадом, стоял он, ее ненаглядный Куанжан, и она, не помня себя от радости, подлетела к нему, а он стоит безучастный и молчаливый. «Что случилось, жеребеночек мой? Почему такой бледный? — вскрикнула она.— А в дом почему не заходишь, крутишься вокруг да около, словно чужой?..» Внук молчит, волосы его растрепаны, взгляд блуждает, вид пришибленный. И тогда она, задыхаясь от жалости, вся вспыхнув огнем тревоги, схватила его в охапку и потащила домой... Тут и проснулась матушка Кунимпатша.

Может быть, деньги кончились, и не на что жить бедному дитяти, не на что ехать — иначе почему во сне ему не устремиться бы к родному порогу? И лицо отчего было таким грустным? Все эти мысли не давали покоя аульной старухе.

Она вывернула бархатную сумку и собрала все монеты, застрявшие в ней, присоединила их к остальным деньгам. Это был весь бабкин капитал — от ежемесячных тридцати рублей пенсии, из которых надо было потратиться на чай, сахар, другие мелочи — а остальное в сумку. И хотя матушка Кунимпатша не умела считать деньги, но на прикидку знала, что богатства у нее рублей пятьдесят наберется. Да еще и две пригоршни белых монет.

Внук ее рассказывал, прежде чем уехать, что город Маскау велик и находится столь далеко, что даже бешеный поезд еле добегает до него через трое суток. А билет стоит так дорого, что и вообразить трудно. И наверное, этих денег, набранных из сумки, все равно не хватит Куандыку, Куанжану, ее далекому внуку. А до пенсии еще далеко... и единственного барашка не све-

дешь на базар, ибо барашек предназначен для встречи Куанжана... Где же взять денег?

Думала, думала бабка и надумала: просить взаймы у гадателя Есиркепа, самозваного муллы, бывшего председателя. «Что ж, не отворотит лицо сверстник, поймет мою заботу, не прогонит, коли приду с поклоном»,— полагала она.

И когда, захлопнув сундук, навернув на голову огромный женский тюрбан-жаулык, аульная старуха вышла из дома, солнце уже высоко гуляло над землею. Бабка покрепче захлопнула дверь и, чтобы не пролезли в дом собаки, примотала ее веревочкой к гвоздю. В ауле во все времена никогда не вешали замков. Может быть, потому, что люди боялись, как бы замок не спугнул святого богодара Кыдыра, который разносит по домам счастье. Что бы там ни было, но если надо было кому-нибудь уехать из аула хоть на месяц, то дверь завязывали на веревочку или просто крючок накидывали снаружи — и уезжали. По этим признакам всяк знал, что хозяева отсутствуют.

Дом Есиркепа возвышался на пригорке как бы во главе аула, и состоял из шести комнат. Домину такую махнул Есиркеп еще в те годы, когда был председателем колхоза. Бабка едва осилила тяжелые ворота, и то с помощью молодухи, которая выскочила во двор на выручку. Приветливая келин поздоровалась с поклонами, за руку ввела в дом, говоря: «Отец только что сел за чай, пройдите к нему, апа». И на самом деле — старичок Есиркеп сидел в углу парадной комнаты за малым дастарханом и угощал самого себя ароматным чаем. Когда-то, бывало, он встречал ее неизменным радостным возгласом: «Уа, царица моя! Проходи на почетное место!» На этот раз сморщенный лоб его не разгладился, сгорбленная спина не выпрямилась, нависшие веки не поднялись — буркнул что-то вместо приветствия и остался сидеть на месте. Старуха даже испугалась за него: не случилось ли какой беды?

Молодая келин заварила свежий чай и подала гостье. Бабка Кунимпатша пристально смотрела на сверстника, нрав которого знала вдоль и поперек. Он сидел, жалко съежившись, словно ожидал, что вот-вот навалится на него божий мир всей своей тяжестью и раздавит в лепешку.

— Каким непутевым оказался этот бригадир Диль-

дебай! — воскликнул он наконец.— Отпусти, просил его, пару мешков корма, взамен хоть жизнь мою бери, и что же? Уперся, не дал, словно я враг ему и это не фашес проклятый, а я убил его отца на войне. И пришлось единственную кобылицу, слышь, жеребую белую кобылу нашу отвести в табун, потому что дома нечем было кормить. И вот — то ли жеребец куда угнал, то ли ушла сама — пропала кобылица. Наш малый вчера весь день протрясся в седле — нигде ни слуху ни духу. Сегодня опять уехал на поиски. Вот сижу и жду, не знаю, что будет.

Так вот, оказывается, какая язва грызла душу Есиркепа! Белая кобылица сделала его таким несчастным... Матушка Кунимпатша задохнулась от злости: ах ты, жалкий старикашка! Верно говорят: чем ближе скупой к могиле придвигается, тем крепке за овечий хвост цепляется. Сидит здесь, старый хрыч, и голосит по какой-то паршивой скотине, и ему, видите ли, и чай не в радость, и хлеб горло дерет.

— Эй, Есиркеп! Чтоб тебе пусто было! Правду люди говорят, что жадность тебе глаза затмила,— принялась сурово отчитывать его старуха.— А ведь одной ногой в могиле стоишь. Чего тебе, спрашивается, еще надо? Шанрак твой целехонек стоит, все четыре стены крепки. Неужто свет клином сошелся на этой кобыле? Из-за хвоста кобыльего затужил, скупердяй?!

— Ох, не трожь мою рану, она и так болит! — отбивался старик.— Никто не просил тебя, кажись, чтобы уму-разуму поучила, умница.

— А, чтоб тебе ни кола, ни двора, ни твоей белой кобылицы! Заладил одно... А того не спросишь, какое у других горе. Почему люди плачут, не найдут покоя. Белая кобыла! Жеребая кобыла! Об одном только и воешь. Догадался бы спросить: как твой Куанжан? Не стосковалась ли, старая, по нему?.. Эй, келин, ты чай на керосине заварила, что ли? — закончила она сердитым вопросом.

— Ой, апа! Я только немного капнула на лучину, когда самовар разжигала,— стала оправдываться молодуха.

— Вся жизнь пошла теперь такая! — поехала дальше Кунимпатша.— Будем пить керосин, есть удобрения, грызть щебенку. Купила муки, а в ней наполовину отруби. В большой арык какую-то химию спустили... К чему

все это? Вот я люблю простую лапшу с айраном, и ничего мне больше не надо. А тут, слышно, опять будет на все дороговизна. Недаром степной жаворонок стал летать низко, пузом об землю чиркать...

— А ведь я этого Дильдебая в люди вывел! — перебил ее хозяин.— Я устроил его в детский дом. Теперь задирает нос, показывает свою власть. И с чего он заважничал, как ты думаешь? С того, что с начальством стал знаться. Слышал я, что соединил он рукава с начальником маслопрома, душа в душу зажил с ним. Ну да ладно, шайтан с ним, как-нибудь проживу и без его помощи. Пусть здравствует наша власть, а она не даст меня в обиду. Не будем мы унижены, затоптаны, позабыты, оставлены без внимания. Она помнит, кто какие имеет в прошлом заслуги...

— Ну, теперь иноходью поскакал! — присвистнула бабка Кунимпатша.— Никогда не видела, чтобы ты так кипятился, в такой раж входил. Ни к чему это! Сидел бы себе спокойно, благодарил за все аллаха, чем прыгать и скрипеть зубами от злости.

Старичок Есиркеп потупился от смущения. Молодая невестка, прыснув, выскочила вон из комнаты.

Помолчали.

— Э-э, говоришь, степной жаворонок брюхом землю задевает? — наконец, справившись с собою, заговорил хозяин.— Я что-то не обратил внимания.

— Мелкая скотина не пережевывает во второй раз пищу! А сразу глотает, сразу глотает, будто торопится нажраться перед концом света! — затараторила аульная старуха.

— Ну ладно... выкладывай, с чем пришла,— перебил ее Есиркеп, косясь на молодайку, которая со скромным видом вернулась в комнату и, опустившись на корточки, стала возиться с самоваром.

— Пришла просить взаймы. Видела во сне Куанжана, наверное, туго ему с деньгами приходится. Все сердце мое изболелось, Есиркеп. Ведь жалко его...

Старик сидел с отсутствующим видом, будто ничего и не слышал. И вдруг забормотал:

— Деньги... Ишь, денег просит. А где их взять? Сынок в райцентре работает, обедает каждый день в столовой, а там платить надо... Пенсию задержали... Кобыла белая куда-то пропала...

— Не хотелось мне утруждать тебя, видит бог, да

не к кому больше идти,— начала матушка Кунимпатша, едва сдерживая ярость.— У молодых просить стыдно, язык не поворачивается. А мы ведь сверстники. Помоги ближнему, ведь ты у нас теперь слуга аллаха. Когда мой Куанжан, бог даст, приедет и станет большим начальником, с первой же его получки куплю чапан и накину на твои плечи.

— Кто его знает, ох, кто его знает,— стал возражать старичок Есиркеп,— вернется ли сюда Куандык или нос задерет и останется в городе, женившись на какой-нибудь Марусе, которая бегает в куцей юбке. Чего он там застрял? Что это за бесконечная учеба, для которой мало оказалось пятнадцати лет?

— Полно болтать, помело! Из ума выжил, что ли? — взорвалась старуха.— Придет время — женится малый, сама женю его, выберу самую лучшую невесту! А коли сделает так, как ты сказал — чтоб язык твой отсох,— то я повешу на эту старую шею нищенскую торбу и выйду на большую дорогу... Сказать такое! Хватит с меня того, что за шестьдесят лет все глаза свои проглядела, ожидаючи то одного, то другого, то третьего, и век прожила одна в своей хибарке...

— Чего ты разошлась? — отбивался Есиркеп.— Что я такого сказал? Подумаешь, беда — жить поедешь в город, на покой, к Марусе-невестке в дом.

— Видала я твой город! Побывала там, когда Куанжан возил меня в больницу, к башкатому племяннику. Как вошла в дом, а там карабкаться надо вверх, голова и закружилась! Пока не уехала, покою не знала. А люди-то городские не разговаривают громко! Я-то как привыкла? Выйду из дома да как заведусь, бывало, во весь голос... Мне и говорят в городе, у башкатого племянника: «Ой, бабушка, тут вам не в степи и не на реке Арысь. Говорить надо потише, потому как соседи кругом, нельзя их беспокоить». И ни сесть там вольно, ни ступить — одно мучение. Я и нажужжала Куандыку: «Как хошь, а не могу здесь. Пусть дохтыр твой и хорош, да не нужен он мне. Хочу домой, понятно? Умереть бы там, на просторе...» Эй, душа моя, красавица, принеси полотенце, если есть, а то вспотела я, как бы не простудиться мне,— обратилась она к молоденькой келин.

Та легко сорвалась с места и принесла чистое махровое полотенце.

— Живут сейчас, благодарение богу, не гнут спину,— продолжала аульная старуха.— Раньше видели мы и баев, хлебавших кислое молоко с овечьим сыром, а теперь дети и те не едят белоснежный сахар и не по вкусу им, вишь ли, конфетки с липкой начинкой внутри! Все подавай им, как это называется... ну, то самое, в серебряной обертке...

— Шоколад,— весело подсказала келин.

— Ну да... Все зажрались. И в кармане у непутевой бабы, и в руке сопливого ребенка — у всех то самое...

— Шоколад! — опять вставила молодайка.

— Ладно, а к среде я напеку семь лепешек, чтобы просить добрых духов за моего Куанжана,— круто повернула разговор старуха.— Ты же, старик, поди найди для меня сорок-пятьдесят рублей, а не торчи здесь, уткнувшись носом в колено! Верну с пенсии, наберу помаленьку...

Старик Есиркеп затужил: «От этой бабки не избавишься. Погонишь в дверь, она в окно влезет. Скажешь «нету» — не поверит, обидится насмерть. А что деньги вернет — так это каким же образом? Разве что и на самом деле подождать, пока ее внук вернется, закончив наконец свою учебу...»

Бабка Кунимпатша сидела и думала: «Ушел из этой жизни и Карабай, проживший тысячу лет, чтобы испытать все радости изобилия. А этот скряга пьет чай из пиалы, склеенной яичным белком, хотя за каждые похороны берет с родственников по корове. И я хороша: сижу тут и жую с ним прошлогоднюю лепешку. Уж лучше бы сразу потащила на базар единственного барана, чем идти сюда... Ан нет! Нет же! Не уйду отсюда, пока не возьму свое».

— Ну, что скажешь?! — резко проговорила она.

Есиркеп вздрогнул и чуть не подавился чаем.

— А что? — поднял он встревоженное лицо.

— Помоги ближнему, сказано!

— Ну, какие деньги у нас! Влетают в дверь, вылетают в форточку.

— Не дашь — лягу у твоего порога и умру!

— Тьфу ты, напасть какая!..

И, произнеся это, старичок Есиркеп долго сидел, закрыв глаза, перебирая в памяти все известные ему послетрапезные молитвы и благословения столу; наконец огладил ладонями лицо. Дал знак рукою, чтобы

сноха убрала дастархан. Юная келин подхватила самовар и унесла в переднюю.

Есиркеп выпрямился и, разгладив морщины на лбу, приступил к делу. Он снял с правой ноги мягкий сапог из «американской кожи». Подождал минуту, пока келин не покинет комнату, унося чашки, и только тогда принялся разматывать портянку. Достал из-под нее пачку денег. Долго считал их, мусоля пальцы, затем молча посидел над ними, словно молясь над могилою святого. Вздохнул и, отсчитав пять красных, словно телячьи языки, десяток, бросил их перед старухою.

— Эх, однова живем, на тот свет добра не захватишь,— прочувственно изрек Есиркеп.— Бери! Пособлю твоей нужде, и пусть совесть моя будет чиста.

— Старик, был ты председателем, а теперь одряхлел, истратился, сидишь тут и смотришь только, что на печь поставили да что с печи сняли,— растроганно молвила аульная старуха.— Не принимай близко к сердцу то, что я нынче тебе наговорила. Стерпи, ровесник! А насчет внука моего будь спокоен: пусть вернется мой Куанжан, и его первую зарплату принесу и вложу в твою руку, старик... Приснился он мне: не заходит в дом, стоит, прислонившись к стене... Сердце так и замерло у меня... Не иначе как бедствует он. Никогда таким не снился еще...

И матушка Кунимпатша, порастеряв всю свою храбрость, сникла и пролила на грудь крупные слезы. Вбежала испуганная молодайка, старичок Есиркеп завертел головою. Только что смуглая старуха сидела и метала громы и молнии, а огромный, как купол, бабий тюрбан на ее голове воинственно покачивался — и вдруг на тебе, совсем раскисла, рассыпалась, как просо из мешка.

— Не реви! Беду накличешь, старуха! Крепись,— увещевал ее Есиркеп.— Я сегодня после вечернего намаза крепко помолюсь за твоего внука, пошлю ему свое благословение.

— Вспомню Куанжана, и все, готова,— отвечала старуха Кунимпатша,— так и зальюсь слезами! А ты, родная моя Катира, ой Каниза... Нет, Сабирой тебя зовут... Фу, что это я, старая, совсем из ума выжила! Салима моя милая, ты соедини-ка тут все денежки, сосчитай их и напиши на бумаге, сколько их. А то на почте парнишка поштабай запутается со мной, дурехой.

Молодка Салима тщательно сосчитала старухины

деньги, завернула в платочек, написала на бумаге сумму и, вручив все это бабке, сказала: «Апа, сто рублей». Матушка Кунимпатша благословила ее, поднялась и двинулась к выходу.

Она торопилась на почту, где долго изводила «поштабая», молоденького начальника почты, заставляя его рассказывать, как переводят деньги. Бесконечно предупреждала его, чтобы он не потерял их и благополучно отправил Куандыку — сто рублей на его имя, в Москву.

Когда она вернулась в свой глиняный домок, там уже стоял предвечерний сумрак, и на душе у старухи тоже стало сумрачно. Не хотелось двигаться, что-либо делать. Раньше, когда случалось ей написать с помощью девушки-дохтыра письмо внуку или отправить, вот как сегодня, ему перевод, матушка Кунимпатша непременно рассказывала об этом всему аулу, заходя в каждый дом. А на этот раз что-то одолела ее усталость, в висках застучало, и тело просилось на покой. «Дожить бы до приезда мальчика, ох, не покинула бы душа тело раньше времени,— думала она печально.— И эта девушка-дохтыр что-то не кажет глаз...»

Если подумать, матушка Кунимпатша полжизни провела в ожидании. Сначала ждала мужа с фронта — до тех пор ждала, пока не умерла сама надежда... Долгие годы согревала горячим телом холодную вдовью постель... Потом отправила на учебу сына Балгабая — живую кровинку погибшего мужа — и не дождалась его... А теперь вот уж шестой год ждет своего внука, с трясущейся головою стоит во дворе и смотрит на дорогу... И редкую ночь спит спокойно, редкое утро встречает без тревоги... Не исходит от сердца горькая утрата сына Балгабая... Так много ли радости нужно простому человеку в этой жизни? Нет, кажется, что совсем немного. И той ему недостает.

Не нужно ничего другого аульной старухе — поцеловать бы внучонка в голову, понюхать его лоб да и благословить со словами: «Родной мой, сыта я и довольна, на душе моей покойно. Да озарится путь твой божьим сиянием, жеребеночек мой». И аминь — пусть дальше ничего не будет, отойдет ее дыхание.

Она прогнала от себя печальные думы и решила замесить тесто для лепешек, которые обещала в жертву духам предков. Развязала мешок, отсыпала муки. Рас-

тянула на столе подстилку из выделанной козьей шкурки, насеяла горку муки стареньким ситом, постукивая ладонями по его надтреснутому краю. Сполоснула затем руки; посолила кипяченую воду в казане; разбила несколько яиц и желтки выпустила в муку. Тщательно помесила тесто, приготовив его столько, чтобы лепешек хватило на всех: для почтенных стариков и для желторотой ребятни... Время от времени окунала шмат теста в соленую воду. Заквашенную опару затолкала кулаками в глиняную миску, накрыла подносом и для тепла все это тщательно завернула полотенцем. После вымыла руки, сливая себе из кувшина.

Надо было идти во двор порубить саксаул на дрова, но в висках заломило, и старуха, дотащившись до постели, ткнулась головою в подушку — вздремнуть немного. Прохладная пуховая подушка ласково упокоила старуху. Со двора донеслось жалобное блеянье. «И этот мне голову морочит, передохнуть не даст,— с досадой подумала она.— Засыплешь ему корм — воды просит, напьется — корм ему подавай. Июль в этом году знойный, с неба ни капли не упало, земля вся высохла. Только пылит, пылит... Девчонка-дохтыр совсем позабыла обо мне... или у нее больных много стало? Когда в последний раз приезжал Куанжан, она из этого дома и не выходила, так и вилась вокруг него. Собою хороша девушка, что и говорить. Лебедушка белая. И молвы худой нету за нею. Вот уже полтора года живет у нас на глазах... Такую можно бы Куанжану моему. Сидела бы я тогда на торе, посиживала во-от с таким белым жаулыком на голове, посылала бы туда-сюда с поручениями мою лебедушку. А вот здесь, в кармане, лежали бы денежки, сложенные пачками, и я на всех посматривала с важным видом... О аллах, это ли не было бы счастьем? А то живу... вон, ветер дунул — и нет меня. Полпиалы айрана съем — больше не принимает душа».

Так, путаясь в своих мыслях, старуха Кунимпатша погрузилась в дрему — но вот вроде дверь стукнула! И кто-то вошел — неужели внук? «Апа!» Кто это зовет ее? Она впопыхах привстала, сердце заколотило в груди. Никак не могла очнуться со сна, трясла головою. И не сразу заметила, что стоит рядом девушка-врач в белом халате, смеется и говорит: «Это же я, апа!..» Но почему-то голосом Куанжана?! Как это понять?

— Оу, девушка, быть мне твоею рабыней! — воскликнула наконец бабка Кунимпатша.— Только что я слышала голос Куандыка. Он позвал меня: «Апа...»

Девушка-дохтыр стоит перед нею, улыбается, и даже молочные ямочки на ее щеках светятся от этой улыбки. Старая обнимает молодую и бережно целует ее в лоб. Кунимпатша сияет от радости.

— Апа, достала лекарство для укола.

— Ну его, этот укол! Никакого толку от него. Может, лучше выпить лекарство? А то от укола тело мозжит, будто рассолу туда напускают.

— Ой, нехорошо, бабушка Куанжана! Он где-то там бродит, а его бабушка лечиться не хочет. Она сейчас встанет, напьется чаю из самовара, а потом расскажет мне сказку!

— Чаю я напилась. Лучше бы я лапши поела с перчиком.

— Будет лашпа!

Девушка-врач засучила рукава, вымыла руки и принялась за стряпню. «Бабушка Куанжана немного полежит, отдохнет»,— весело и ласково приговаривала девушка, возясь на кухне. «Оу, моя хозяюшка, ублажила ты меня... Отнесла бы еще воды тому барану, что плачет во дворе...»

Лежит старуха и думает: «Нет у меня другого желания, только бы досталась эта ягодка моему Куанжану... И чего болтает проклятый Есиркеп? Какой такой город, в котором внучек останется? Какая такая городская Маруся? Чтоб тебе лопнуть, дурной мулла, это ты нарочно сказал, чтобы задеть меня. Его-то сын перед глазами!.. Постарел сверстник; выпросила у него денег, не поговорила добром, беда! Словно пришла к нему и оплеух надавала».

— А твои-то отец-мать здоровы, родненькая?..

«Благослови их, аллах! Сидят, наверное, сейчас в своем Жанакургане, глядя жадными глазами на дорогу, по которой ты ушла от них. В наши годы дитя учится-мучится, а потом уезжает из родных краев. Придумали такое: не даваться в руки тех, кто тоскует по ним, словно разлитое на ковер жидкое серебро — ртуть. И сидим мы, мечемся в беспокойстве, словно пламя лучинки. Дети наши на чужбине, мы, несчастные, дома — что за жизнь такая? Пишешь ли хоть письма своим, моя ласковая, ведь письмо это и есть лекарство для раны

сердечной. Знают ли они, эти молодые, что тоска эта и есть наша настоящая хворь, грызущий нас недуг».

— Блюдо для лапши возьми там, над ведром... висит на гвоздике, верблюжонок мой.

«Возьму и подарю этой девочке витой браслет на память, авось сбудется мое тайное желание. Ведь ее тоже любят дома, балуют и милуют, наверное. А мне зачем? Завтра помру, закопают меня, браслет же будет украшать случайную руку, неродную. А его ведь с любовью заказывал муж мой одному искусному златокузнецу».

— Решила я, дочка, встать завтра пораньше, нажарить в казане лепешек с маслом и раздать старикам и детям в честь Куанжана.

— И хорошо сделаете, апа! Отдать — не забрать.

— Как, лашпа уже готова?! Спорые ручки у тебя, дочка моя...

Когда кушанье было подано, старуха поднялась и, надевая калоши, заметила, что они уже вычищены до блеска. Вышла во двор помыть руки. Зной уже спал, пришла вечерняя прохлада. К ней подбежал барашек с крутыми боками, на тонких ножках, ткнулся мордой хозяйке в подол. Матушка Кунимпатша заслонила глаза ладонью от солнца и долго смотрела на дорогу.

Вернувшись в дом, принялась за дымящуюся лапшу, похваливая усердную девушку-врача:

— Ты хорошо воспитана, дитя мое. Сердце радуется, глядя на тебя... А ты чего не ешь, верблюжонок мой?

— Не хочется, апа. Я недавно обедала,— отвечала девушка.

И тут случилось непредвиденное. Затрещал перед самой дверью мотоцикл, земля словно ходуном заходила — и широко распахнулась дверь. На пороге показался бригадир Дильдебай в шапке, нахлобученной на глаза. Едва шевельнул губами, здороваясь со старухой, зато к девушке обратился, вылупив глаза и гаркнув во всю глотку:

— Пойдем отсюда, симпатичная! Поедем со мной на вечер! Ну, быстро! Чего задумалась?

— Ни на какой вешер она с тобой не пойдет, чтоб ты провалился! — крикнула матушка Кунимпатша.— Охальник! Не умеешь с людьми поздороваться. Тут тебе что, мешок с кизяком лежит, что ли? Выколи мои глаза, если я тебя не ославлю, скандалист, перед всем

честным народом! Что же это делается на свете? Прет себе напролом, людей пугает. Присосался к народному добру... Убирайся отсюда, негодяй! Еще сможет бабка постоять за себя перед такими охальниками, как ты.

— Куда деваться от этих аульных стариков и старух! Эй, красотка, шевелись скорее, нас ждут танцы до рассвета.

«Красотка» только озирается беспомощно, словно обреченный на жертву козленок.

— Как только небо на такого не рухнет! Тарахтишь на этом мотосекле и думаешь, что тебе сам черт не брат? Или шестьдесят гехтаров колхозной кукурузы, которую ты вырастил, тебе голову вскружили? Ин, ладно же! Пусть меня в тюрьму посадят, там хоть баланду бесплатную дают, но я тебя проучу. Ну-ка, доченька, дай мне вон тот черпак, стукну негодника по башке!

Нахальный Дильдебай вовсе не ожидал такого оборота дела. У него на уме было одно: мотоцикл подо мной, увезу на нем красотку за дальние холмы, а там и куда-нибудь под кустик...

— Не позорь меня перед джигитами! — взмолился он, обращаясь к девушке.— Я обещал, что привезу тебя...

— Я должна быть возле больной,— отвечала та.

— Кто тебе выхлопотал совхозную квартиру? Не я, скажешь? И ты, скажешь, не летала со мною на мотоцикле по всей округе? Быстро же ты все забыла. И чего ты нашла в этой вонючей конуре? Тьфу!

— Типун тебе на язык, смутьян! Ни дна тебе ни покрышки! Не дал мне спокойно поесть лапши в моем доме, злодей. Чего ходишь за моей дочкой, что позабыл у нее? Здесь тебе не контора, а шанрак предков моего Куандыка. Садись на свой мотосекль и катись отсюда!

Дильдебай отступил к двери, закурил, вывалив из ноздрей клубы дыма.

— Это вы серьезно? — угрожающе спросил он.

— Куда серьезней!

— Тогда, папенькина дочка, берегись, не плачь потом, что муженек твой тебя обижает.

И, сказав это, Дильдебай с надменным видом удалился из дома. Был и сплыл, словно нечисть какая.

— Ну, погоди же! Завтра соберу всех стариков аула и расскажу им все. Чуть не растоптал, скажу им, пустил пастись свою клячу на мою крышу. Еще приползешь ко мне на коленях и будешь прощения просить!

Камнем в грудь ударил, власть свою показал! Ах, негодяй! Мой Куанжан никогда не скажет человеку «ты», старшим всегда уступит дорогу, хотя все науки изучил. А этот... Из школы выгнали, дрался со всеми мальчишками, рубаху новую не мог и один день проносить. Поэтому Есиркеп когда-то определил его в детский дом...

— Моя матушка хорошая сейчас успокоится, выпьет лекарства и ляжет,— ласково зажурчал голос девушки-врача.— Моя матушка сменит гнев на милость.

И подала лекарства, удобно обложила старуху подушками. Затем и сама прилегла рядом, ласкаясь, словно ребенок. И все поплыло перед глазами Кунимпатши, слезы затуманили ей глаза. Охнула она и притянула к себе Еркетай, милую девушку-дохтыр, дрожащими губами поцеловала ее и понюхала лоб, вложив в тихую ласку всю свою материнскую тоску.

И в это мгновение ярко осветилась и вспомнилась аульной старухе вся ее жизнь... вся жизнь.

Еркетай, обняв ее за шею, прошептала в уши:

— Апа не рассердилась на меня?

— За что, моя дорогая?

— За этого...

— Не такая я, чтобы ругаться с кем попало. Но этот поганец довел меня... Уж я рада, доченька, что ты не поехала с ним, вцепившись ему в потную спину, а осталась у меня.

— Бабушка... матушка своего Куанжана, а можно мне остаться возле вас?

— Как это....

— А пока не приехал Куанжан.

— О чем ты спрашиваешь, быть мне твоей рабыней! Разве твоя апа не мечтала о том же днем и ночью, лежа вот на этой постели? Сколько лет, о горе, живу я одна в этом старом домике. И вот господь тебя послал, моя доченька, чтобы соединились две половинки.

Верно говорят, что страх и радость ставят на ноги тело. Матушка Кунимпатша вмиг забыла о своих недугах, вскочила с постели и стала помогать Еркетай по хозяйству. Обсудили, сидя рядом, сколько лепешек испечь назавтра. Затем старуха открыла сундук с наследственным добром и показала девушке свое богатство. И надела на нежную, словно прутик, белую руку Еркетай серебряный витой браслет...

До глубокой ночи горел свет в окне маленького глиняного домика на окраине аула.

А на другом краю аула коротко пролаял чей-то щенок. На лунном свету можно было увидеть, как настежь раскрылась дверь почты. Оттуда выскочил, на ходу заталкивая руки в рукава пиджака, молоденький начальник почты, мальчик-поштабай, и бегом понесся через весь аул, словно гнались за ним джинны. Он спешил к домику старухи Кунимпатши, и в руке у него была срочная телеграмма.

НАЕЗДНИК

Когда юркий «газик» круто свернул с большой дороги и поехал вдоль берега реки Ран, на глазах Упильмалика выступили невольные слезы. Он резко вскинул голову и отвернулся от парнишки шофера, чтобы тот ничего не заметил. Потом стал жадно всматриваться в даль, где маячили горные хребты Каратау, загородившие весь горизонт.

Он смотрел и вспоминал свое детство, когда был беспечным ребенком. Отец ушел на войну, мать осталась одна с четырьмя детьми. Прокормить всех было трудно, и она отвезла Упильмалика к своим родным, где он прожил до тринадцати лет.

Теперь он возвращался сюда, узнавая знакомые места, камни, по которым бегал босиком, реку, где ловил рыбешку. Он заметил, что воды в реке как будто стало поменьше, а так ничего не изменилось. Аул, сгрудившийся у входа в ущелье, был такой же, как в детстве, низкие домишки, загоны для мелкого скота, хилые дымки очагов — все выглядело по-старому.

Раньше ему и в голову не приходило, что по какому-нибудь случаю он приедет в аул к дяде, в эту труднодоступную щель Каратау. Однако судьба распорядилась по-своему.

Началось с того, что Упильмалик бросил работу. Он был старшим научным сотрудником в институте языкознания, кандидатом наук. А через пару лет мог бы защитить и докторскую, лишь бы тема не потеряла актуальности да жив был руководитель. Способности Упильмалика никто не ставил под сомнение. И вот он уволился по собственному желанию. Для него самого

это было как гром среди ясного неба. А в общем-то, уволился из-за пустяков. И все его поведение было лишь бесцельным собиранием сухого навоза в этой кизячной мелочной жизни. Иначе разве бы вступил он в спор с заведующим отделом о правилах написания собственных имен типа Ботагоз, Малкельды?

На ученом совете он упрямо доказывал, что надо придерживаться морфологического принципа при написании этих слов, а не фонетического. Кроме того, он доказывал, что в казахском языке нет диалектов, в то время как целый отдел годами корпел, доказывая обратное. Кто знает, может быть, он был и не прав. Во всяком случае, кончилось тем, что он ушел из института.

Вначале товарищи утешали его, мол, чего в жизни не бывает, отдохнешь, развеешься, а там любое высшее учебное заведение примет с распростертыми объятиями молодого талантливого ученого.

Конечно, приятно выслушивать такие речи, однако в жизни не всегда получается так, как тебе хочется. В один миг он оказался в полной изоляции. Случается, когда товарищи, будто пылинку, одним дыханием сдувают со счетов человека. Так получилось и тут. Раньше ему горячо жали руки и долго не отпускали, выказывая искреннюю радость от встречи, а теперь ограничивались сухими кивками да бормотаньем: «Извини, старина, дел много. Тороплюсь». И действительно, торопились убраться подальше с его глаз. Как бы кто-нибудь не увидел их вместе.

Самым трудным оказалось чувствовать свою бесполезность и ненужность. Это было ему не под силу. В конце концов, смирившись и поборов свою гордость, он пошел к руководителям педагогического института. Там ему туманно сказали: «К осени объявим конкурс на пару вакантных мест, участвуйте».

И дома, конечно, надоело сидеть. Он раздражался по любому поводу, ругался с детьми. И жена, которая прежде чутко следила за каждым его движением, выполняла всякую прихоть, теперь как будто и не замечала его. В общем, в его жизни все полетело кувырком. Он чувствовал себя очень одиноко и дома, и на улице среди людей — везде.

В таком неприкаянном, двусмысленном положении и застало его письмо далекого дяди, о котором он, признаться, редко вспоминал.

Дядя писал, что в последнее время все хворает, что истосковался по племяннику, который как-никак вырос у него на руках.

Прочитав письмо, Упильмалик думал недолго. На другой же день он сел в поезд и поехал навестить уважаемого дядю, заодно разогнать свою тоску и избавиться от одиночества.

Имя его дяди было хорошо известно на наветренной стороне гор. Любой знал, кто такой Сазанбай, чем он славен, ибо лучше его никто не умел готовить лошадей к скачкам. Но в последнее время, кажется, уже с новолуния он вдруг потерял аппетит и лишился всего жира на костях, как говорится, то есть похудел. Хоть и не свалился в постель, но порядком сдал. Люди не могли этого не заметить.

Когда Упильмалик вошел в дом, дядя его сидел в светлой комнате и, привалившись спиной к печке, выставив клинообразную бородку, плел плетку. Естественно, увидев неожиданно племянника, он так обрадовался, что чуть не лишился дара речи. Лицо дяди преобразилось от распиравшей его радости и гордости. Он молча прижал к себе Упильмалика и долго не мог ничего сказать. Потом дядя будто проснулся, и слова полились рекой:

— Ах ты мой лев! Мой тигр, мой волк, мой орел, мой кречет, мой воробей!

Так обычно ласкал его дядя в далеком детстве. Его крепкие объятия и давно забытые слова растрогали Упильмалика, слезы подступили к глазам. Он почувствовал себя ребенком. Дядя Сазанбай не привык к долгим ласкам. Он оттолкнул Упильмалика, шумно поправил свою одежду, как батыр доспехи, взял свой костыль и закричал:

— Куда все подевались в этом доме?

— Душат тебя, что ли? — отозвалась его жена, входя в комнату. Но, увидев неожиданно Упильмалика, она зарыдала то ли от радости, то ли от грусти, что вот наконец свиделись. В этот миг дверь с треском растворилась и вошел единственный сын дяди — Амзе.

— Увидел из окна школы, едет машина. Подумал, что директор совхоза, а это ты,— проговорил он, сияя.

С приездом гостя в доме как-то сразу повеселело. На почетное место было постелено одеяло, под локти брошены подушки.

— Да перестань ты суетиться,— сказал дядя жене.— Не видишь, что гость устал с дороги? Ах ты герой мой, батыр, мое копытце, вернулся ко мне! Амзе, сбегай к чабану, скажи, что приехал племянник, пусть даст самую жирную овцу! Вместо нее отдам потом ягненка. А сам пусть придет вечером и поиграет на комузе.

Дав указание, дядя на минуту умолк и постучал табакеркой о колено. Упильмалик раскрыл свой чемодан и стал выкладывать из него фрукты. Дядя отказался от яблок, мол, зубы заноют, но попробовал финики со словами:

— Вот уж пища пророков.

Потом он стал расспрашивать о здоровье жены, детей. Тетка жалостливо заметила, суетясь около очага:

— А сам-то весь съежился, высох. Трудно, конечно, в городе.

— Как ему не исхудать? — сказал дядя.— Мы бы на его месте давно и ноги протянули. Я бы там в один день рассеялся в прах. В былые времена я чуть не окочурился от их травяного супа, кишки ссохлись. Это было, когда я поехал ремонтировать протез. Мою душу сберегла чайхана у зеленного базара. Но мой протез, который ремонтировали целую неделю, развалился на куски, не выдержав и одного кокпара. Слава богу, Досмагамбет заклепал жестью. А уж я не говорю о деньгах, которые я потратил за эту неделю. Как будто они только и искали случая избавиться от меня.

— Ради кокпара готов не пить и не есть,— сказала тетка Тойбала.— Подумай, не пришло ли время лежать тихо да думать о боге.

— Держу коня и буду держать, пока глаза мои не закроются! — упрямо сказал дядя.

В это время вошел старик в ногайской тюбетейке, подбородок у него был словно отрублен, совсем отсутствовал.

Упильмалик видел казахские шапки, киргизские колпаки, но ногайскую тюбетейку, окаймленную красной нитью, увидел впервые.

— Это и есть великий Досмагамбет,— усмехнулся дядя.— В старые времена руководил организацией артели безбожников, а сегодня не расстается с четками.

— А я гляжу, дым у вас валит из трубы. Даже аппетит появился, а вы тут хлеб печете,— огорченно

сказал тот.— Ну как, нарадовался племяннику? Удивляюсь я твоему петушиному виду.

— Не к лицу сидеть понуро да горбиться, когда племянник приехал,— сказал дядя.— Ведь он один из столпов, на котором держится столица.

Досмагамбет проглотил слюну и обратился к Упильмалику:

— Кем работаешь, племянничек?

— Пока свободен. А в общем, занимаемся наукой.

— Та ли это наука, которая заставляет реки течь вспять? Или та, что застит глаза?

— Аксакал, мистикой мы не занимаемся. Изучаем первооснову языка, пишем учебники. Изучаем народную речь.

— Тогда немудрено, если мы увидим корявые слова твоего дяди в книгах,— рассмеялся в нос старик.

Упильмалик подумал, что за отсутствующим подбородком прячется острый язык, и решил держать с ним ухо востро.

Разложили дастархан и перед каждым поставили айран в литровых пиалах. Дядя чего-то беспокоился, то и дело проводя рукой по своей клинообразной бороде, прислушивался к каждому звуку, будто ожидал кого-то.

На это, впрочем, была причина. В горном краю соседи могли нагрянуть в дом, где остановился гость, безо всякого приглашения. И хозяин дома, и гость не должны выказывать своего неудовольствия. Дядя беспокоился именно из-за этого, потому что пока еще не был готов к шумному вторжению.

Простой труженик, который обычно ходит, втянув голову в плечи, за дастарханом вовсю сыплет шутками, прибаутками, чтобы развлечь гостей. А назавтра они позовут его к себе.

Снаружи вдруг послышался топот коня, и вслед за этим в дом вошел Амзе.

— Чабан отдал самую жирную овцу, отец,— сказал он.— Я немного задержался, потому что он никак не хотел отпускать меня. Говорит, что в честь племянника хочет устроить кокпар. Еле вырвался от него. И сам он вот-вот должен подъехать.

Дядя вдруг разгневался, вместо того чтобы обрадоваться самой жирной овце:

— Уж не считает ли он меня убогим, скрягой? Неужели он думает, что я сам не могу выделить козу для

кокпара? Конечно, карман у меня дырявый, скота не осталось, но разве у меня нет моего коня Аксюмбе, который одной пылью из-под копыт нагоняет страх на всех щетинохвостых подветренной и наветренной сторон гор? Что стоит его рябая кляча по сравнению с моим конем? Нет, ты только посмотри, он дает козу для кокпара!

— Ну что ты ни с того ни с сего взбесился? — вмешалась Тойбала.— Перестань ругаться, никто не охаял твоего коня.

Честь дяди в его лихом коне, всем это известно. Без коня он как без рук. Вся его жизнь прошла в подготовке лошадей к скачкам и кокпарам. Стоило сказать пару теплых слов о его коне, он готов был лечь вместо подушки под локти человеку. Всю ночь он готов петь песни о породах коней. Ну а если кому-нибудь вздумается заметить изъян в его лошади, такому житья не будет от дяди. Высмеет, уничтожит, перечислит все прегрешения предков от седьмого колена. В общем, крутой нрав Сазанбая был известен всему краю.

— Твой Аксюмбе не сын ли Аккояна? — заинтересовался Упильмалик.

— Аккоян был бешеный конь,— тут же пустился в воспоминания дядя.— Он взял главный приз наветренной стороны гор. В груди его раздувались не легкие, а мехи. И вот осталось от него единственное копыто по имени Куренкаска. Было время, когда на настоящих лошадей стали посматривать косо. Куренкаска оседлали, чтобы пасти овец, лишили радости скачек, для которых он был создан судьбой. Я отдал за него молочную корову и полтора года держал на одном ячмене. После этого отпустил к кобылице и получил от него потомка. Правильнее считать Аксюмбе внуком Аккояна... Эй, Амзе, что ты стоишь? Быстрее расправься с овцой да съезди в аул табунщиков за кумысом. Желудок моего племянника больше не принимает айрана. Да не задерживайся у аульных стариков, в животах у которых уже першит от жареного зерна, так они блюдут пост. Сами придут, без приглашения.

— А ты, Сазанбай, почему не блюдешь пост?— чернея от гнева, сказал мулла Досмагамбет.— Ведь тебе уже за пятьдесят. Все ходишь по кривой дорожке да сомневаешься в словах Корана. Умрешь, останешься без отпевания, помяни мое слово.

— А ты не учи меня!— резко сказал дядя.— У меня

грехов нет. Мне незачем вымаливать у бога постом да молитвами прощения. Чист я и бел. Тот, кто держит пост, смывает свои грешки.

— Не богохульствуй и не зазнавайся!

— Жизнь моя и так праведна,— сказал дядя.— Не ворую, не убиваю, чужого не беру. Всю жизнь в поте лица брал кусок хлеба от земли, тем и сыт. Вот он, пост мой, вся жизнь моя — пост.

— Хоть бы племянника постыдились,— вмешалась Тойбала.— Или черт вам приснился сегодня, или встали с левой ноги. Вместо того чтобы говорить разумные слова, плетут что попало.

— Не могу я сидеть за одним дастарханом с богохульниками,— обиженно сказал Досмагамбет, вставая.

— Мулла-еке, не принимай близко к душе мои слова,— спохватился дядя.— Беру их обратно.

— Давно бы так.

— Хотел вот спросить у вас. Наезднику трудно таскать с собой чётки в целый аршин, как у вас. Может быть, мне считать кончики пальцев? Примет ли это создатель наш?

— Что с тобой спорить?— сказал мулла, надевая свой чапан. Дядя незаметно усмехнулся. Упильмалик, едва сдерживаясь от смеха, выскочил во двор.

Там, под тенью ветвистого карагача, разделывал овцу Амзе. Заметив Упильмалика, он радостно улыбнулся ему.

— Я знаю одну полянку, где полно куропаток,— сказал он.— Неплохо бы завтра сходить на охоту.

И правда, для охоты на куропаток была самая пора. Птицы давно уже вывели птенцов и нагуляли жир. Охота на куропаток нравилась Упильмалику с детства.

— Сходим,— пообещал он Амзе, решив до ужина прогуляться у реки.

За домом он увидел Аксюмбе. «Красивый, благородный конь»,— подумал он. Увидев незнакомого человека, конь покосился на него, но головы не повернул — признак породы.

Аул был расположен на берегу реки Ран, которая вытекала из горного ущелья; когда-то он был центром колхоза, а теперь стал всего лишь одним из отделений совхоза «Кызылбайрак». Самые почитаемые должности в ауле: заведующий фермой и зоотехник. Остальные простые люди были вроде крепкой густой травы, растущей

вокруг них. В основном скотоводы. По следам Упильмалик понял, что чабаны уже откочевали к берегам реки Чу.

Он прошел мимо кладбища, которое отгородили железной проволокой от скота. Изломанный обрывистый берег говорил, что весеннее половодье было бурным.

Упильмалик попытался вспомнить, какими были эти места во времена его детства. Как будто берег реки стал пустыннее. Прежде тут полно было куропаток, беспечных тетеревов и глухо бормочущих голубей. Целыми днями он ловил в реке рыбу, которую дядя тут же жарил на сковородке.

Чем дальше он шел вверх по реке, тем у́же она становилась. На высоком берегу здесь росла арча. Упильмалик удивился, как она здесь уцелела, спаслась от мальчишек, извечных любителей делать из арчи свирели.

Показалось темное, узкое ущелье, стало прохладнее. Упильмалик зачерпнул пригоршнями воды из стремительно текущей реки, зажатой здесь скалистыми берегами, напился и пошел обратно. Его встретил Амзе и сказал, что все уже собрались, пора идти домой.

Когда они вошли, в доме действительно было полно гостей. Среди них выделялся огромного роста джигит с комузом в руках. Аксакалы хором поприветствовали Упильмалика, потеснились и посадили его рядом.

Человек с комузом оказался «Следящим за баранами», как тут говорят, то есть чабаном. Настоящее его имя было когда-то Нанжауар, что значит «хлебное изобилие». Женщины аула, как-то посовещавшись, в один день переменили это имя, потому что оно не соответствовало действительности — Нанжауар в то время ухаживал за племенными баранами-производителями. Вот откуда и пошло это «Следящий за баранами». Хотя нынче он уже не ухаживал за баранами, а сторожил люцерну, посеянную на берегу реки. Но прозвище так и осталось за ним.

И вот сегодня, крепко стискивая черный гриф комуза, «Следящий за баранами» сидел на самом почетном месте и чувствовал себя на седьмом небе, будто был главной причиной этого собрания.

Как только Упильмалик устроился на атласной подстилке, дядя обратился к человеку с комузом:

— Ну, душа моя, заговори своим комузом. Поиграй нам.

Тот не заставил себя долго упрашивать, хотя с виду и был неприступен, как скала. Он согнулся почти пополам, провел смычком по струнам и начал.

Сначала Упильмалик, воспитанный, как и вся современная молодежь, на эстрадной музыке, не воспринял древние мотивы, давно ставшие для него призрачными. Но полные грусти звуки, смена ритмов, что было похоже на вздохи печали, окутали его, будто пары дурмана. Душа размягчилась, стала податливой, как воск. Музыка его растрогала. «Откуда в этом грубом джигите, заурядном на вид, столько прекрасного чувства?— думал он.— Какими чарами он сумел взбудоражить меня? Почему я так легко воспринимаю эту музыку, будто это и не музыка вовсе, а человеческая речь?»

Да, в былые времена звуками комуза предки изгоняли нечистую силу из тела тронутого умом бедняги. Этими звуками заговаривали змей и успокаивали плачущего ребенка. Многие поколения казахов были воспитаны звуками комуза, которые вошли в их плоть и кровь. Так думал расчувствовавшийся Упильмалик.

А музыкант надолго завел грустную мелодию, от которой пусто становилось на душе и отрешенно, напоминая людям, что вся их суета ничто перед вечностью.

Когда музыкант закончил мелодию и стал вытирать потное лицо, Упильмалик сказал ему:

— Мне этот кюй совершено неизвестен.

Тот выпрямился, и глаза у него загорелись. Он сказал с гордостью:

— Я выучил его в тот год, когда к нам приезжал тате. Кюй этот называется «Развейся, тоска».

Под словом «тате» он имел в виду знаменитого Жаппаса Каламбаева. Хотя тот уже умер, но оставил после себя не один кюй, трогающий душу, как последняя трель жаворонка.

Комуз давно умолк, но люди все еще сидели как завороженные и молчали. Аксакалы наконец зашевелились, заговорили между собой. Дядя приказал Амзе покормить коня. Молодая девушка, сгибаясь, как стройный тополек под ветром, начала из кувшина поливать гостям на руки.

Досмагамбет сполоснул руки и сел, злясь непонятно на что.

— Комуз — это ослиный рев нечистой силы,— сказал наконец он.

— Зато он оживил наши прокопченные, пыльные души,— возразил дядя.

— А тебе бы только богохульствовать. Вот послушай, Упильмалик, что я тебе расскажу. В давние времена жил один комузчи по имени Ажимаж, настоящий волшебник в своем деле. Когда он брался за комуз, люди бросали все, будто лишившись разума, и шли за ним, как овцы за пастухом. И вот однажды они бросили свои юрты, стада, табуны и последовали за Ажимажем, одурманенные его музыкой. А он вел их прямо в ад, в чистилище. Однако пророк Иса пожалел свою паству, схватил Ажимажа и запер его в пещере на горе Кап. С тех пор Ажимаж роет себе проход, чтобы вырваться на волю. И он вырвется, когда не станет ни одного человека на земле, соблюдающего пост. Он заполнит весь мир звуками своего комуза и поведет людей прямой дорогой в ад.

— Тут дело не в комузе,— сказал дядя,— а намек на меня, что я не соблюдаю постов.

— Слова Корана вам дороже или писк комуза?— ощетинился Досмагамбет.

— Не пренебрегайте угощением,— сказал находчивый Амзе. И люди покорно сдвинулись вокруг трех подносов с мясом. Голову овцы принесли отдельно.

— Пусть выйдет на середину пожиратель курдюка!— вдруг громко заявил дядя. В ауле существовал давний обычай, который так и назывался — «пожирание курдюка». И заключался он в том, что курдюк варили отдельно, резали его на тонкие ломтики, и любитель жирного должен был его съесть. Это не такая уж непосильная задача для скотника, который весь день трясся на лошади за отарой и вконец проголодался. Некоторые джигиты и глазом не моргнув съедали весь курдюк целиком. Вся сложность этого дела была в том, что надо глотать ломтики курдюка, не жуя их. Если курдюк благополучно съеден, то хозяин дома обязан зарезать еще одну овцу, если нет, овцу режет «пожиратель курдюка».

Досмагамбет в молодости чуть богу душу не отдал, подавившись куском курдюка. Хорошо, что рядом оказался сильный, расторопный джигит, который со всего маху двинул Досмагамбета по шее, и кусок курдюка проскочил в желудок. С тех пор он даже и слышать не хотел про курдюк. И теперь отвернулся, прикрыв свои поблекшие глаза. Аксакалы, взглянув на него, усмехнулись, потому что хорошо помнили тот случай.

Никто не пожелал стать пожирателем курдюка, и дядя разделил его поровну между всеми. Сам он к мясу не притронулся, поел немного мясного теста и вынул из кармана зубочистку.

Упильмалик заметил, что действительно его дядя похудел, как-то весь съежился, высох. И к еде почти не притрагивался. Он бодрился, шутил, но все это было для отвода глаз или, во всяком случае, входило в обязанности гостеприимного хозяина. Не сидеть же молчаливой глыбой среди веселых гостей. «Слабость свою нельзя показывать,— говаривал дядя.— Даже если душа покидает тело».

Когда он уходил на войну, душа его не дрогнула. Он только мрачно взглянул на Каратау и сказал семье: «Не потеряйте коня». И когда через два года он вернулся без ноги, первые его слова были: «Как мой конь?»

Люди говорили тогда: «Крепок у Сазанбая нрав. Другие с войны пришли целехоньки, а все плачут да причитают. А Сазанбай не таков».

После войны он несколько лет управлял коневодческой фермой, но не сошелся характером с председателем и оставил это дело. Кем он потом только не бывал! И табельщиком, и сторожем, и бахчеводом, в общем, добывал свой хлеб честным трудом.

В начале пятидесятых годов он похоронил свою мать, которую горячо любил. Но, как говорят, беда не приходит одна. Вслед за матерью горячка доконала двух его дочерей. Но никто не услышал стенаний Сазанбая в тяжкие для него дни. Он долго пролежал, прижавшись голой грудью к сырой земле, чтобы успокоить сердце, потом встал и пошел жить дальше.

Остался у него один сын Амзе, который работал учителем и директором четырехлетней начальной школы отделения. Жил Амзе отдельно со своей женой, но каждый день бывал у родителей и помогал им. Сазанбай был доволен своим сыном. Он видел, что многие сыновья скрываются за подолами своих жен и живут по принципу: «Ты мне не мешай, и я тебе не буду мешать».

Упильмалику дядя всегда казался мощным высоким карагачем. А теперь он увидел, что это мощное дерево точит болезнь. Оно все еще не хочет расставаться с жизнью, шумно раскачивается на ветру всем своим мощным телом, однако силы ушли, как вода сквозь песок.

Упильмалик чувствовал эту отчаянную борьбу за жизнь, и ему было тяжело. Неужели наветренная сторона гор скоро лишится такого человека, знатока лошадей, ценителя комуза, а Упильмалик потеряет свою единственную опору?

После мяса пошел по кругу кумыс, доставленный из аула табунщиков. Хотя Упильмалик и любил кумыс, но, видя, как страдает дядя, не мог заставить себя выпить даже половину чашки.

Дядя откашлялся и заговорил:

— О сородичи мои, мои терпеливые соседи, вы молча прощали мои легкомысленные поступки. Мои шутки, я знаю, задевали многих из вас. А вы покорно терпели. Я благодарен вам за это. В честь моего племянника даю козу для кокпара!

Гости шумно одобрили его слова. Все они тоже чувствовали нечто неизбежное и непоправимое, как будто чего-то ждали, и обычными словами и поступками старались потушить свою тревогу. Слова дяди о предстоящем кокпаре отвлекли их от тяжелых мыслей. Люди стали подниматься, благодарить за угощение.

Дядя думал, что жизнь коротка и надо уметь ценить ее кратковременные радости. Нет смысла копить богатство и прятать его в сундук. У него ничего не было, и слава богу. Жил он легко и весело. Держал коня для скачек, вступал в стихотворные полемики, обнимал тонкий стан наездниц. Люди не видели ни его слабости, ни его печали. Так разве к лицу ему жадничать теперь, когда приехал племянник? Нет, он все отдаст, но устроит кокпар.

Однако душа его была почему-то неспокойна, сердце билось вяло, и он чувствовал себя не очень хорошо.

Упильмалик в это время благодарил судьбу, что у него есть дядя, человек с открытой душой, тоскующий по нему.

«Благодарю тебя за то, что ты вернул мне детство,— думал он,— встряхнул и ободрил меня. Ведь я приехал к тебе никому не нужный и всеми отвергнутый. И вот, в один день, благодаря тебе я совершенно переменился, понял свою истинную цену. Здесь, среди простых и великодушных людей, я приду в себя. А то эти бесконечные споры с многоречивыми учеными и меня самого чуть не превратили в болтуна. Еще бы немного, и мозги набекрень».

Накануне кокпара Упильмалик прошелся с ружьем по берегу реки и подстрелил пару куропаток. Когда он вернулся, дядя приводил себя в порядок. Он искупался, надел все чистое, подстриг бороду и усы. Потом занялся конем, расчесал гриву, хвост, дал ему вспотеть, выводил. Его обычно серое лицо покраснело. Но в тот день Упильмалик еще не понял, что задумал дядя. Он залюбовался дядиным конем, который и минуты не мог спокойно постоять на месте, так и пританцовывал, играя всем телом. Ударял копытами в землю, глаза его сверкали. Дядя говорил, что Аксюмбе из породы тех аргамаков, которые годны и для скачек и для кокпара.

В день кокпара дядя подвел Аксюмбе к племяннику. Упильмалик сказал, что отвык от коней и посмотрит кокпар со стороны. Но дядя и слушать его не хотел.

— Да вы уж лучше сами поучаствуйте, встряхните душу,— сказал Упильмалик.

— Я любую клячу могу оседлать, а Аксюмбе твой,— упрямо сказал дядя. Волей-неволей пришлось принять поводья. Но когда конь бросился вперед, будто норовя выскользнуть из-под седла, у него заиграло сердце. Дядя семенил сзади на гнедом и поучал: — Не натягивай поводья! Не размахивай плеткой! Дай ему волю! Аксюмбе не любит, когда его подгоняют! Он чувствует мысли седока по шенкелям.

Сначала Упильмалик растерялся от этих многочисленных советов и сидел в седле неуклюже. Ему казалось, что, стоит чуть ослабить поводья, конь унесет его, сделав головокружительный бросок. Пока доехали до равнины, где должен был состояться кокпар, он весь измучился от тряски. А еще надо было вступать в схватку за козла. «Нет, не усидеть мне в седле,— с тоской подумал Упильмалик, оглядывая равнину, занятую несметным количеством всадников. Каждый из них мог оказаться его соперником и свалить с седла.— Сам превращусь в козла, стану посмешищем для людей и дядю опозорю. Нет, надо возвратить коня, пока не поздно».

— Дядя, возьмите коня,— взмолился он.

— Не возьму,— сказал дядя.— Я участвовал в кокпарах бесчисленное количество раз, душа моя. Скачи вперед, выжми из себя излишки жира.

— Какой из меня наездник,— проворчал Упильмалик.— Да ведь еще надо бороться за козла.

— Лишь бы ты усидел на Аксюмбе да схватил козла. Остальное сделает конь.

Делать ничего не оставалось, и Упильмалик рванулся в кучу всадников. Впереди него с криком проскакал узколицый человек, игравший у дяди на комузе, растолкал всадников своим крупным конем, схватил козла и вырвался вперед. Упильмалик догнал его лишь на втором круге. Теперь надо было вырвать у соперника козла. Как произошло все остальное, он помнил смутно. Кажется, удалось схватить козла за ляжку. В этот же миг Аксюмбе круто свернул в сторону, и Упильмалик грохнулся на землю. Когда пыль немного рассеялась, он встал на ноги. В это время подскакал на своем гнедом дядя, проклиная все на свете. Он ощупал кости племянника и, убедившись, что все цело, с облегчением вздохнул.

— Нет уж, возьми гнедого,— проворчал дядя,— а я сяду на Аксюмбе. Раз опозорились, надо поправлять дело. Хоть я и клялся, что не приму участия в кокпаре, но, видно, ничего не поделаешь. Большой грех возвращаться в аул, не выжав из Аксюмбе все, на что он способен.

Дядя круто повернул коня и ускакал к основной группе всадников — там продолжала кипеть схватка. Все быстро неслись в сторону истоков реки Ран, где было довольно опасное место для езды. Лошади и люди были еще полны сил и скакали небольшими группами по потрескавшейся от жары полынной равнине. Если шкура козла выдержит, то умыкание его в аул должно начаться перед заходом солнца.

Два раза хлестнув коня, дядя стал догонять всадника с козлом, который вырвался далеко вперед. У него была привычка вступать в схватку с левого бока, потому что с другой стороны ему мешал протез. Аксюмбе был натренирован к этому и по движению шенкелей угадал замысел хозяина. Он подскакал к джигиту с козлом с правой стороны, но тот оказался хитрей, перекинул козла на другой бок. Ничего другого дяде не оставалось, как только перегнуться через гриву коня и схватить козла из этого неудобного для него положения.

Упильмалик, который трясся позади всех, вдруг почему-то испугался. Ему показалось, что среди этой тучи всадников безмолвно скачет холодноликая смерть и выбирает себе жертву по вкусу. Иначе как объяснить, что

кроткие в жизни люди рычат теперь друг на друга, будто звери, глаза их налиты кровью, и каждый готов растоптать друг друга, разорвать в клочья? Кругом одно и то же свирепое выражение лиц, и у стариков и у молодых. Как будто спокойную отару переполошил и привел в безумное смятение бешеный волк. Или по степи пронесся сумасшедший смерч, помутив людям рассудки.

В детстве Упильмалик хорошо ездил на коне, но за двадцать лет жизни в городе, конечно, отвык от шенкелей. В крови уже не было той горячности, которая мигом завладевает всем телом, едва ухо уловит стук копыт.

Упильмалик вдруг подумал, насколько противоречив характер казаха, который обычно ведет скромную, неприметную жизнь, пасет скот, ковыряется в земле, выращивая урожай, растит детей и вдруг вспыхивает, словно сухая солома... Как вот в этом кокпаре. Выходит, казах немыслим без дикой скачки на коне. Это для него как воздух, как хлеб насущный, это у него в крови.

Не успел он так подумать, а Аксюмбе уже выскочил из столба пыли, вынес из этого клубка людей и лошадей дядю с козлом поперек седла.

Дядя сидел на лошади весь согнувшись, будто голодный шакал, почти лежал на гриве коня. Огромная толпа всадников с криком бросилась за ним. И Аксюмбе доказал, на что способна породистая лошадь, выхоженная руками мастера. С каждым вздохом расстояние между ними и преследователями увеличивалось. Упильмалик услышал крики возбужденных людей:

— Ну, Сазанбай! Вот настоящий наездник!

— Сорвал куш за поражение слабошенкельного племянника.

— Своего же козла сам и поволок!

Аксюмбе стлался по степи, оставляя за собой белесую полосу пыли. Некоторые всадники пытались догнать его сзади, другие, не удержавшись, бросились наперерез, что было опасно и не совсем по правилам. Упильмалик понял это и устремился навстречу дяде, полосуя гнедого плеткой. Однако гнедой оказался привычен к плетке и мало прибавил шагу, хотя и затрясся крупной рысью, отчего выпитый ранее кумыс подступал к самому горлу Упильмалика.

Тот, кто скакал наперерез дяде, оказался ночным игроком на комузе. Упильмалик понял, что он отъявлен-

ный кокпарист. Настолько дико и пронизывающе прозвучал его клич, что Упильмалик подумал, уж не выпил ли он настойки мака, чтобы взбодрить себя. Если он ударит Аксюмбе сбоку, то оба коня не устоят на ногах. Вид яростно орущего джигита внушал Упильмалику опасение. Грех было оставаться в стороне, и он изо всех сил стал погонять гнедого и кричать:

— Не скачи наперерез! Не нарушай правила!

Услышал его отчаянный всадник или нет, неизвестно. В следующее мгновение все утонуло в клубах пыли, будто взорвалась граната. Понуро трясясь на коне к месту столкновения, Упильмалик проклинал себя: «Черт бы меня унес вместе с этим кокпаром! Не дай бог, если что-нибудь случилось с дядей! Все из-за меня! Сидеть бы мне лучше дома да заниматься своими делами. Каждому свое. И дядя тоже хорош: посадил на лошадь человека, который уже давно забыл, где у нее хвост, а где голова».

Однако Аксюмбе вдруг выскочил из пыли, на нем сидел дядя с козлом впереди себя и туго натягивал поводья, чтобы остановить разгоряченного коня. Лицо его было багрово. Лошадь противника показалась тоже, но без наездника, и седло было сбито набок. Упильмалик соскочил с лошади и увидел рьяного джигита. Тот сидел в пыли, схватившись за виски, и со стоном раскачивался. Увидев Упильмалика, он схватился за него и с трудом встал. Подъехал дядя, который грузно сидел в седле.

— Чтоб тебе пусто было! Сколько раз надо вам повторять, чтоб не скакали наперерез, как волки. Если бы не Аксюмбе, лежать бы нам обоим трупами.

Подъехали и остальные джигиты. Дядя швырнул им козла и велел продолжать скачку. Хоть он чуть и не поплатился жизнью, но великодушие не изменило ему.

Разгоряченные всадники шумно обрадовались его словам и лавиной отъехали в сторону. Не успел Упильмалик и глазом моргнуть, как те исчезли с глаз, пыль улеглась, а топот копыт затих вдали.

Дядя повернул в сторону аула. Его противник и Упильмалик тихо ехали за ним. Некоторое время дядя молчал, потом послышался его слабый голос:

— Не хотел я пугать людей, но, кажется, у меня сломана левая нога.

И в самом деле, по каблуку сапога стекала кровь,

Сердце Упильмалика так и обмерло, в то же время он поразился терпению этого человека.

У самого дома дядя совершенно ослаб. С трудом его сняли с лошади и уложили в постель. Амзе привел откуда-то врача. Дядя угрюмо молчал, сильно страдая от боли. Врач сделал укол, и ему стало полегче. Тот же Амзе откопал где-то местного костоправа, и тот, поглаживая потихоньку переломанные кости, вроде бы вправил их, как надо. Упильмалик в это время смачивал потрескавшиеся, спекшиеся губы дяди водой, поправлял подушку и чувствовал себя самым последним человеком на земле. Он страдал оттого, что любимый и уважаемый им человек терпит неимоверные муки и ничем нельзя ему помочь. Упильмалик казнил себя, что вся эта беда стряслась по его вине. Если бы он не приехал к дяде, не было бы никакого кокпара, и жизнь аула текла бы потихоньку, как всегда. «Следящий за баранами» терзал бы свой комуз, а дядя бы холил Аксюмбе и гордился им, приходил бы Досмагамбет, перебирая громадные четки и принюхиваясь к дымящемуся казану. И дым аула спокойно подымался бы к небу. Но вот приехал он со своим одиночеством и все испортил. Заставил играть кюй «Развейся, тоска», устроил кокпар, поднял пыль ветхой степи, уложил под ноги коней двух уважаемых аульчан.

«Следящий за баранами» сказал, что после столкновения у него что-то неладно с головой, и уехал на подветренную сторону гор, чтобы показаться там знакомому знахарю.

Обвиняя себя во всех грехах, Упильмалик молча сидел около дяди. Тот, видимо, понял его состояние и сказал:

— Не мучай себя за то, в чем ты не виноват. Передай от меня привет своим домашним, и спасибо, что приехал навестить меня. И вот мое последнее желание. Уведи с собой Аксюмбе, теперь за него отвечаешь ты. После того как я уйду из жизни, в этих местах не останется никого, кто бы знал настоящую цену коням.

После слов дяди Упильмалик сумел весь внутренне собраться, чтобы не показать своей слабости, и решил оставаться рядом до последнего его дыхания.

Врачи делали все, что могли. Приходили каждый день промывать рану, ухаживали за стариком, но состояние его с каждым днем ухудшалось.

Все ночи Упильмалик проводил у постели больного, который еще больше исхудал и дышал тяжело. Племянник смотрел на него, и перед глазами вставал могучий карагач, поваленный бурей. Как ни ухаживай за ним, карагач никогда уже не поднимется и не распустит листья.

Однажды на рассвете Упильмалик сквозь дрему почувствовал, как большая дядина ладонь, лежащая у него на колене, дрогнула и разжалась. На рассвете в пятницу Сазанбая не стало.

Пришел в себя Упильмалик только после того, когда дядю похоронили и справили поминки, а ему пришло время собираться в дорогу. Весь аул прощался с Упильмаликом и плакал. За обезлюдевшим домом жалобно ржал Аксюмбе. Амзе проводил брата до большой дороги, ведущей в райцентр, и стал прощаться.

— Мой отец, ради которого ты приезжал, закрыл глаза,— сказал он дрожащим голосом, скрывая слезы.— Теперь ты не приедешь. Но все же не забывай, что у тебя есть родина дяди, которая всегда тебе рада, всегда желает тебе светлого пути и посылает свои благословения. Затоскуешь по родной земле, возвращайся, мы всегда будем тебя ждать.

Как назло, Упильмалик не смог сказать в ответ ни одного утешительного слова, будто в горле у него застряла кость. Он только кивал и кивал головой да молча пожимал руку Амзе, который едва сдерживал слезы. Обоих придавила тяжелая тоска.

Упильмалик остановил попутный грузовик, но в кабине уже сидела молодая женщина, и шофер в кепке сказал ему:

— Полезай в кузов, если хочешь.

Упильмалик швырнул чемодан в кузов, обнял в последний раз Амзе и стал устраиваться на пыльной лавочке около кабины. Грузовик рванулся, подняв тучу пыли, в которой совсем скрыло Амзе, и стал удаляться от родных мест. Вдали маячили хребты Каратау.

Упильмалик трясся в кузове и думал, что судьба позволила ему проводить дядю в последний путь, и это хорошо. Но кто его теперь ожидает в городе? Кому он там нужен? И зачем его несет туда, словно перекати-поле? Стоит ли влезать во все эти служебные передряги ради дутого авторитета? Конечно, он мог бы защитить и докторскую. Но разве этим он хоть на йоту воз-

величит честь родной земли? Или продолжит дело старших? Было ли от него добро хотя бы одному смертному? И когда он опять попадет на свою родину?

И что была у него за жизнь? Недосыпал ночами, пожертвовал своей молодостью, энергией ради продвижения по службе. И чего добился? Ничего. Разве он знал, что проклятое время так быстро пролетит?

Самое большее проживет он еще лет тридцать. Тридцать раз встретит весну, новый год. Но из этих тридцати лет половина пройдет во сне, еще сколько-то за принятием пищи, в прогулках, в болтовне. Что же останется ему от этих тридцати лет? Но слава богу, что он это осознал благодаря дяде и его радушным землякам, хорошо, что они потрясли его устоявшийся, как болото, удобный и привычный душевный мир. А то бы так и продолжал носиться очертя голову да бормотать знакомым: «Извини, старина, много дел. Тороплюсь». Нет, надо иногда уметь остановиться и задуматься над тем, что ты такое и для чего.

Хребты Каратау удалялись все дальше и от этого похорошели, сделались строже и величественнее.

У него было такое состояние души, будто он нашел решение трудной задачи, которую не мог решить уже много лет. И он понял, что приблизился к тем людям, которые не разучились узнавать голос природы и своего естества.

НА «ЛУННОЙ СОНАТЕ»

Врач Оразали был в городе известным человеком. Сложные операции, сделанные им за последний год, принесли ему славу. Спасены были опасно больные, и разнеслась молва, что у доктора Оразали легкая рука. В газете было напечатано интервью с ним и помещен его портрет. Все у него шло замечательно — и вдруг, словно камень на голову, свалилась беда. Тяжело заболел его самый близкий друг, писатель Кыдыр. «Обо мне говорят как о способном человеке,— думал Оразали, терзаясь тревогой,— я кандидат наук, но ничего не могу сделать для него. Экстренная хирургия начинает утомлять меня. Я уже кромсаю человека, почти не глядя, кто лежит у меня на операционном столе. Работаю словно токарь, обтачивающий безымянную бол-

ванку на станке. Из-за этого равнодушия, я, наверное, и не заметил вовремя болезни Қыдыра».

Оразали тяжело вздохнул, склонив над столом голову. И ему вспомнилось, что произошло два месяца назад.

Было воскресенье, в то утро спозаранок разбудил его телефонный звонок. Он нехотя поднялся с постели и подошел к телефону. С другого конца провода донесся мягкий, чуть хрипловатый женский голос. Это была жена Қыдыра. Еще в пятницу, оказывается, писатель уехал на дачу, должен был вернуться в субботу, а его до сих пор нет дома. Что с ним могло случиться? В последнее время с Қыдыром что-то происходит. Да, явно что-то неладное. Весь ушел в себя, ни с кем не разговаривает. И даже непонятно, работает ли он, уединившись на даче. Съездил бы туда Оразали, посмотрел, что с ним. Ну, разумеется, отвечал Оразали, конечно, съездит. Сейчас только приведет себя в порядок и отправится в путь. «И пусть возвращается домой, не задерживается больше».— Голос женщины, до сих пор звучавший ровно, дрогнул. Она прокашлялась. Конечно, они не задержатся и вернутся сразу же, пообещал Оразали. До свидания.

Положив трубку на место, он вздрогнул, словно глубокая тревога передалась и ему неведомым холодным дуновением. Он даже завтракать не стал и, сполоснув лицо, оделся в старый пиджак и поспешил во двор к машине.

С севера на город набросился холодный чужедальний ветер, он гнал по улицам песок. Деревья вдоль арыков покачивались и сильно шумели, вода в арыках как бы замерла, скованная холодом.

Машина не заводилась. Должно быть, сел аккумулятор, решил Оразали. Пришлось ему, налегая плечом, вертеть рукояткой, чтобы завести мотор. Будь все неладно! Этот северный неуютный ветер... разрядившийся аккумулятор... Все как будто предвещало что-то неладное. Каргалинское шоссе, убегающее к югу от города, заблестело как зеркало. Стало накрапывать. Включенный «дворник», издавая змеиное шипение, замелькал перед глазами. Он вытер тряпкой пыль с внутренней стороны ветрового стекла... И вдруг сжалось сердце от внезапного дурного предчувствия.

Когда же он последний раз виделся с Қыдыром?..

Это было на той же даче, куда он теперь ехал. Друзья тогда погуляли, надышались свежего воздуха и возвращались на дачу, беседуя о том о сем. Солнце садилось, вечерняя мгла заволакивала низины.

— Заночуй сегодня у меня,— предложил Кыдыр.

— Нет, ехать надо,— отозвался Оразали.

(И он хорошо помнит, как сухо, жестко прозвучал его голос.) В тот день писатель выглядел вполне здоровым, беспечным в своей сетчатой майке, в легкой соломенной шляпе. А врач чувствовал себя измотанным.

— Оставайся, есть разговор,— уговаривал его Кыдыр, когда они вернулись на дачу.

— Какие разговоры на ночь глядя,— вступилась за гостя жена писателя.— Не держи человека, если он ехать надумал.

— Ну заночуй сегодня, прошу тебя,— продолжал твердить писатель.

— Не могу! Мне надо быть в городе,— решительно отказывался Оразали.

И после недолгих препирательств он вскоре отправился в город. Никаких задних мыслей не было. Возможно, излишнюю резкость его ответов можно было объяснить небольшой дозой выпитого вина. Что бы там ни было, на другой день он и думать забыл об этой легкой размолвке с другом...

Лунный серпик, ночью горевший ярко, а теперь, к утру, похожий на пепел от истлевшего в костре саксаула, висел впереди над дорогой. То и дело спохватываясь и притормаживая машину, незаметно и легко набиравшую скорость, врач продолжал раздумывать, почему он тогда столь решительно отверг просьбу друга и не остался.

На высоких тополях, мелькавших вдоль дороги, новыми монетами сверкала весенняя листва. Шоссе пошло на подъем по склону отлогого холма. Вместо тополей начались яблоневые сады, охваченные бело-розовым цветением. Берега арыков были покрыты чем-то светлым, пушистым, похожим на птичьи перья. Деревья, усыпанные цветами, сияли, словно молодые женщины. Ветки на деревьях были сплошь покрыты разбухшими, вот-вот готовыми лопнуть почками.

Ведущая к дачам дорога сворачивала, не доходя метров триста до центральной усадьбы совхоза имени Чапаева, расположенного на вершине нагорья. По обе

стороны от дороги, проложенной через яблоневый сад, тянулись непересекающиеся тропы. Низко склоненные яблоневые ветви царапали о стекла машины. На деревьях сидели бесстрашные воробьи, ни на что не обращающие внимания. Выбравшись из садовых зарослей, машина оказалась у зеленого подножия горы. Это красивейшее место они с Кыдыром называли «Лунной сонатой». По просторному взгорью разбежались, как цыплята, маленькие дачные домики. А за дачами внизу тянулась веселая речка Тентек с ледяной водою. Тентек как раз служил естественной границей между совхозными угодьями и дачными участками.

Оразали глубоко вздохнул, наслаждаясь чистым загородным воздухом. На свежей траве не видно было росы. Отлаженный мотор машины мурлыкал, словно котенок за пазухой. Надо было проехать вниз до самой речки, а там свернуть налево. По этой дороге, как было видно, сегодня еще никто не ездил.

Вот и домик Кыдыра, беленький, как яичко, спрятался среди деревьев. Оразали заглушил мотор и вылез из машины. Хотел громко позвать хозяина, но почему-то в последний момент сдержался.

Узкая тропинка к дому почти совсем заросла. Хозяин дачи завел обыкновение не трогать траву, и не от лени, а от писательского великомудрия. Он считал, что всякая травка имеет право на жизнь, поэтому, если на соседних участках лужайки были чисты, словно их корова языком вылизала, двор, окна и двери писательской дачи обычно были затканы вьюнком, заглушены беленой, дикой спаржей и окружены зарослями дикой колючки.

...Дверь домика казалась запертой. Но стоило Оразали дотронуться до ручки, как она будто сама распахнулась. В первой комнатке пол весь был устлан разлетевшимися листками рукописи. Стоя на пороге, врач растерянно озирался.

— Проходи, не бойся,— раздался голос хозяина, и Оразали вздрогнул.

Его друг лежал на низкой тахте в дальней комнате. Оразали увидел Кыдыра, испугался, мгновенно подумав, что случилась беда. Врач подбежал, рука его привычно потянулась к руке друга, чтобы пощупать пульс... Пульс был ровным, но руки у Кыдыра были холодными, вялыми. На висках его вздулись вены.

— Ты почему валяешься здесь? И как объяснить твое исчезновение? — набросился Оразали на писателя.

Кыдыр, морщась, с трудом приподнял с подушки голову, в поредевших волосах его сверкнула седина.

— Благодарю, друг, что приехал за мной,— отвечал Кыдыр.— Ну, сядь поудобней, успокойся. Уж эта твоя впечатлительность... Но знаешь, действительно, со мною происходит что-то странное. Ночью мне было плохо...

И писатель замолчал, глубоко дыша, странно глядя на друга. Тот вздрогнул, словно по жилам его пробежали ледяные струйки. Хотелось ему задать один вопрос, но слова не шли. Кыдыр, печально заглянув ему в глаза, спросил почти о том же самом...

— Помнишь, как я просил тебя остаться?

Ледяной холод сжал сердце Оразали; он замер, глядя в окно, за которым шевельнулся под ветром свернутый цветок вьюнка, похожий на тонкий и нежный палец.

Не сказав ничего более и никак не объяснив своих загадочных слов, писатель поднялся с тахты, выпрямился во весь рост и принялся расхаживать по комнате взад-вперед. Затем включил электроплитку и поставил на нее чайник. Собрал со стола и с пола листы бумаги. Вздрагивающими руками нарезал хлеб, заварил чай. Они перешли к окну и устроились на низенькой и широкой лавке.

Солнце поднялось выше и через окно заглянуло в комнату. Смолкла посвистывавшая иволга; гул ветра, порывами проносившегося по деревьям, сразу же прекратился, словно обрубленный. Друзья молча пили пустой, без сахара, чай, оба мучаясь наступившим неловким молчанием.

Какое-то время спустя хозяин дастархана первым нарушил тишину:

— Ты, разумеется, не знаешь, как я жил до студенчества,— сказал он.

«Как не знать. Слышал много раз: и о сиротской доле, и о стихах, которые ты начал писать в ФЗО»,— подумал врач.

— Не все знаешь,— продолжал Кыдыр, опять словно угадывая мысли друга,— и я начну сейчас издалека. В этом мире все имеет свою причину, из ничего не возникает нечто, и наше «сегодня» есть закономерное про-

должение «вчера». Это и называют предопределением, судьбой, которую изменить нельзя... В четыре года я остался без матери, она умерла от сахарного диабета. Отца убили на войне. Наверное, близких родственников не оказалось, и меня взяла к себе в дом повивальная бабка, когда-то принимавшая меня. Эта женщина и заменила мне отца с матерью. Была достойнейшая женщина, сердечная, спокойная, не заносившаяся в радости и не падавшая духом в печали. Такою и осталась она в моей памяти. Всегда туго перепоясанная, всегда хлопочущая, с головою погруженная в работу. Можно было подумать, что она семижильная. Никакие житейские тревоги не омрачали ее ясных больших глаз. Они, казалось, излучали тепло и свет.

Как-то она рассказала мне про свою жизнь. Ее муж был в свое время знаменитым наездником, и погиб он на кокпаре. Три раза менял лошадей и вламывался в самую гущу всадников, потом упал и умер от разрыва сердца. Жена год проходила в трауре, после чего к ней заявились братья, чтобы увезти ее обратно: хватит, мол, нашей младшей сестре сидеть и сторожить опустевший порог. Или, заявили они, по обычаю найдите замену мужу — аменгер — среди родственников, или отпустите ее назад в отчий дом. Родня ее мужа относилась к ней с большим уважением, поэтому старейшины рода никак не могли принять решение и предложили ей самой сделать выбор. Тут она заявила: «Я овдовела в двадцать пять лет... Этот благословенный порог переступила в шестнадцать. Я не думаю, что теперь смогу согреть чужую постель, снова переступить чужой порог. Не вернусь я и к своим родителям, потому что у меня есть своя крыша над головою, здесь я навек и останусь...» Так моя приемная мать осталась всеми уважаемой байбише в нашем краю — и действительно, не давала, как говорится, и пылинке сесть на шанрак своей чести, подолом не мотала и из жизни ушла незапятнанной.

Мне она говорила, что у человека, как и у земного года, есть четыре поры. Когда шаги твои по жизни легки, и во всем тебе сопутствует удача, и все задуманное у тебя получается — это пора летняя. Но впереди тебя ожидает серая осень. И предстоит также пережить лютую зиму, которая сомкнет свои ледяные пальцы на твоей глотке. Всего этого не миновать, поэтому не надо особенно ликовать при удаче, но и не нужно сгибаться

перед бедой. Нужно быть спокойным перед жизнью— вот чему учила меня эта женщина. И еще: горе и радость, говорила она, даются человеку лишь для того, чтобы он понял причину радости и тайну горя и извлек из этого полезный урок...

Почему-то мне вспомнились слова приемной матери, и я думал над ними перед самым твоим приходом. И скажу тебе, дружище, что стало мне ясно: наступила в жизни моей пора серой осени И с этим, как ты сам понимаешь, поспорить нельзя.

— Ну, наговорил тут всякой всячины, чтобы оправдать свои фантазии,— упрекнул Оразали друга.— Блажишь, приятель, позволяешь себе все, что в голову придет. А семья ждет тебя... Ты хоть поинтересовался, как они там?..

— Мой дорогой, я ведь не зря начал этот разговор,— тихо, словно с другого берега реки, прозвучал голос Кыдыра.— Я хочу, чтобы ты понял, что произошло со мною в эти дни. А ты...

Пауза. Только теперь Оразали заметил, что под глазами у друга темнеют небольшие, размером с ноготь большого пальца, зловещие синяки. Это от бессонницы. Врач нагнулся к столу, сдул с него пыль и хлебные крошки. Слышно было переливчатое журчание Тентека, упругие струи которого перехлестывали через валуны. Пробежал ветер — цветок вьюнка за окном, заглядывавший в комнату, вдруг суетливо закивал, заметался... С пола тянуло сыростью.

— Ну, хоть сегодня останься. Может быть, чего-нибудь и поймешь,— проговорил наконец Кыдыр.

— Перестань, дорогой. Хватит с нас всей этой паники. Как ты можешь полеживать здесь, когда дома у тебя все в тревоге? — начал было Оразали...

Но и сам не заметил, как голос его стих, сошел на нет, как будто все трезвые слова его кто-то старательно загонял назад точными ударами молотка.

— Завтра мне на работу, успеть бы помыться, привести себя в порядок. И машину помыть надо,— попытался врач еще раз внести здравый смысл в разговор.

Но встретился взглядом с глазами друга — и осекся. Опять ледяная струйка пронзила все тело Оразали, заставив его вздрогнуть. Показалось ему, что в глубине этих черных глаз зарождаются слезы. Доктор Ора-

зали всегда считал себя всего лишь хирургом, который не способен, как писатель, разгадывать тайну человека по его глазам. Он просто полагал, что достаточно хорошо знает своего друга и без этих сложностей. Но сейчас, глядя на Кыдыра, он вдруг почувствовал, как разлетается в прах вся его прежняя уверенность. В смятении он схватил холодные руки друга и крепко стиснул их.

— Ну, хорошо... хорошо, я только съезжу в город и тут же вернусь,— быстро проговорил Оразали.— Надо сообщить твоим... я обещал. И еды у тебя, вижу, нет... Я быстро... Только туда и назад.

Оразали и на самом деле недолго пробыл в городе. Сразу же позвонил жене писателя, дома оставил записку, по пути купил на ужин вареного мяса, овечьего сыра, беляшей. Вернулся он на «Лунную сонату» к вечеру, когда садилось солнце и обрывистые берега Тентека стали золотисто-смуглыми. Густая трава замерла, словно уснула.

Кыдыр, оказывается, выбрался в сад и рыхлил лопатою землю. Увидев друга, улыбнулся. Принял из его рук сумку.

— Сыр? Люблю попить чаю с сыром,— говорил он.— Пока не стемнело совсем, посмотри-ка, что там с пробками. Руки-то у тебя получше моих будут.— И все это было им сказано вполне обыкновенно...— Не успел дочитать «Свет в августе» Фолкнера,— продолжал Кыдыр...

— Чай будем пить во дворе? — спросил у хозяина Оразали.— А то у тебя в комнатах сыро, как бы ревматизм не схватить...

— Нет, давай все же в комнате,— подумав, решил писатель и повел гостя в дом.

Оразали не стал спорить. Молча полез к счетчику и, выкрутив пробку, увидел, что сгорел предохранительный проводок. Повозившись, наладил пробку — и свет загорелся.

Гремя ведрами, Оразали пошел за водой. Возле обрыва он нагнулся, пролезая под натянутой проволокой. Сойдя к воде, остановился, глядя на вечерние воды Тентека. Подставил ведро навстречу течению, зачерпнул воды — и чуть не выпустил посудину, которую рвануло тугой струей.

Когда он вернулся на дачу, Кыдыр уже собрал на стол немудреный ужин, поставил на сложенную газету

горячий чайник. И как будто стало чуть теплее в сырой комнате. Мирно забрякали ложечки и пиалы, началось молчаливое чаепитие. Стемнело. В окне разлилось молочное сияние ранней луны. Как раз в эту минуту врач случайно посмотрел в лицо другу, увидел его неподвижные глаза... Пройдет много времени, и не раз, веселясь в приятной компании, пребывая при исполнении того, что называется служебным долгом, или находясь вдали от родины, где-нибудь на чужедальних берегах, или, испытав уже все это и смирившись со своей старостью, живя в окружении новой бодрой поросли — где бы он ни был, не забудет Оразали этих глаз друга.

— Ты слышал?!— шепотом спросил Кыдыр.— Телега проехала мимо...

Оразали молчал; он только едва заметно покачал головою: «Нет».

Долгая пауза.

— Моя приемная мать, моя повивальная мамка, как говорим мы, казахи, рассказывала мне о телеге смерти,— заговорил Кыдыр.— Эта телега со скрипом трогается с места в день появления человека на свет. Всюду она следует за ним. Но в детстве и юности, когда бег его стремителен, человек летит вперед, словно жеребенок, и, перемахнув через многие перевалы, оставляет далеко позади себя скрипучую телегу и даже успевает забыть о ее существовании. В эту пору он не думает о смерти. Становится затем мужчиной, джигитом. Входит в возраст. И порою захочется ему устало присесть куда-нибудь и отдохнуть, но он уже охвачен беспокойством — как бы не нагнала его скрипучая телега... А вот он и прожил большую часть жизни и состарился. В груди хрипит, трудно сделать лишний шаг. Само существование его превращается в печаль. А скрип телеги смерти уже совсем близко — оглушает его. И вот она появляется из-за поворота. Все ближе. Ничто уже не поможет. Она надвигается — и кончено. Колеса переезжают через труп.

Ледяное молчание в комнате. В окно льется лунный свет.

— Я не мистик, не суеверный человек, ты ведь знаешь. Но вчера... Вчера рассказ моей повивальной мамки вспомнился мне при следующих обстоятельствах. Я работал. Были сумерки. Уже стемнело. Сторож наших дач запряг осла в тележку и отправился в темноте на сов-

хозный склад воровать удобрения. Повозка прогрохотала совсем близко от дома... И вот сегодня... сейчас мне показалось, что она снова проехала мимо.

— А может быть, так и есть? Сторож снова отправился за удобрениями... Этот сукин сын, наверное, хочет все удобрения к себе перетащить,— проговорил доктор Оразали с нарочитым воодушевлением.— Да, наверное, так и было, и ты услышал...

Писатель сидел не шелохнувшись, с мрачным и непроницаемым видом. Оразали почувствовал, что сфальшивил, переиграл... Опять наступило неловкое молчание. И на улице стояла сонная тишина. Ни звука, ни шелеста. Только вдали вовсю звенели цикады.

— Сторож днем уехал в город,— проговорил спокойным голосом Кыдыр.— И еще не вернулся.

«Уж не смеется ли он надо мной»,— пришла мысль в голову Оразали.

— Вот что, дорогой,— начал он.— Никаких звуков не было, если честно. Только одни песенки цикад.

— На самом деле? — тихо, почти шепотом произнес Кыдыр.— Значит, дружище, я слышал песнь моей телеги... Это была моя телега.

Нелепо, неприятно, неестественно было продолжать этот разговор. Друзья умолкли. Чай больше не радовал их. Писатель, вспомнив об обязанностях хозяина, принялся рассказывать о романе «Свет в августе». Но доктор Оразали в эту минуту был далек от литературных размышлений. Беседа, не найдя общего источника живых мыслей, сама собою заглохла. Но потом, искусственными усилиями обоих, ожила, когда коснулись незабвенных дней студенческой жизни. «Ты был душою вечеринок,— говорил Оразали.— Имел большой успех у девушек. Чтобы не спутать одну девушку с другою, помнишь, ты записывал их внешние приметы, имена, дату и время свидания...» — «А ты, дружище, тоже времени не терял даром,— отвечал с улыбкою писатель.— Когда влюбился в ту, белобрысую, совершенно извел меня, понимаешь ли, заставлял сочинять для нее любовные стишки... Не забыл? А чем все это кончилось, помнишь? Кончилось тем, что, пока ты потел на соревнованиях, желая получить мастера спорта, барышня твоя выскочила замуж за одного долговязого пижона, любителя бегать в кино. Да еще проявила истинное внимание к тебе: пригласила на свадьбу».— «Как поду-

маешь — глупо получилось. Ну зачем мне нужен был этот рекорд по бегу? Ног своих совсем не жалел — где кросс или забег, там и я... Но тем и хороша, наверное, молодость, что не надо искать в ней разумного начала...»

Воспоминания, было похоже, и на самом деле растрогали писателя. Голос его потеплел, оживился.

— Ладно, спим! — почти бодро произнес он.— А то уже давно перевалило за полночь.

И, продолжая вспоминать дела студенческих лет, друзья разобрали постель и улеглись рядом на широкой тахте. Замолкли наконец. У Оразали замерзли ноги; он ворочался, стараясь поуютнее устроиться под одеялом, согреться и уснуть. Но сон не шел. Никак не мог забыть врач странного поведения и слов своего друга. Подумалось: не подвержен ли писатель приступам сомнамбулизма?

Недуг этот еще не до конца изучен, одни считают лунатизм нервной болезнью, связанной с воздействием лунного света, другие оспаривают подобное мнение. Ясно одно — больной становится беспокойным к ночи, боится спать в комнате один. Днем у него все обстоит нормально, зато ночью, особенно в полнолуние, болезнь его обостряется. Он может подняться с постели и, не просыпаясь, отправиться гулять, держа путь в направлении луны, бесшумно ступая по земле, обходя все препятствия, легко забираясь на скалы и обрывы. Но, едва забрезжит рассвет, сомнамбула безошибочно возвращается назад и, весь истерзанный, измученный долгой ночной прогулкой, валится в постель... Болезнь почти не поддается лечению... Должно быть, нервная система сомнамбулы все же реагирует на лунный свет, думал Оразали.

И вскоре он задремал... По дороге, у нижнего края «Лунной сонаты», со скрипом ехала рассохшаяся телега дачного сторожа. Оразали прибавил шагу и вскоре догнал повозку, вспрыгнул на нее и, усевшись рядом с возницей, ухватился за вожжи. «Ну-ка, смазывай пятки и катись отсюда, пока не отвел тебя к агроному!» — сказал он сторожу. Но тот, темный, едва различимый, и не подумал испугаться, а, наоборот, со злобой ткнул кнутовищем ему в грудь. Закусил папиросу и расплылся в злорадной улыбке. Оглянулся на него Оразали — и увидел, что вместо сторожа сидела на телеге смазли-

вая тугобедрая медсестра из его больницы — напомаженная, с подведенными бровями. Игриво улыбаясь, подмигнула. «Нужно мне это удобрение! — сказала.— Мне сердце твое подавай». Глаза ее сверкнули. «Твое сердце!» — крикнула она и тонким длинным пальцем ткнула его несколько раз в грудь...

Он проснулся. Его толкал в грудь Кыдыр, невидимый в темноте.

— Что случилось? — спросил испуганно Оразали.

— Свет... Зажги, пожалуйста, свет.

Оразали соскочил с тахты и, шаря по стене рукою, нашел выключатель. Лампа вспыхнула. Перед ним неподвижно лежал на спине Кыдыр. Уставившись в потолок, писатель тихо произнес:

— Открой мне ноги... Посмотри, что с ними.

Оразали приподнял край одеяла...

— Вьюнок... Вьюнок не оплел мне ногу? — спросил Кыдыр.

— Что?! — Оразали рывком отбросил одеяло...

— Значит, приснилось,— вяло проговорил писатель.— Но до чего же явственно было... И вчера ночью... тоже скрутило вьюнком ногу. Я не знал, как это объяснить... Вот и решил оставить тебя ночевать. Может быть, объяснишь мне, ведь ты врач.

Оразали обеспокоенно засуетился. Стал торопливо рассказывать, какие известны в медицине случаи, когда сон воспринимался словно самая подлинная явь. Говорил, что все подобные ощущения появляются от чрезмерного умственного переутомления, что нельзя сидеть день и ночь над бумагами, что надо дать себе отдых... Иначе можно прямиком отправиться в психиатричку — и к аллаху-акбару вся слава, писанина, деньги...

Кыдыр бесшумно приподнялся и сел, словно призрак, лишенный плоти. Еле двигая руками, надел рубашку.

— Не успел закончить повесть...— брезгливо морщась, пробормотал он.

— Ойбай, пропади она пропадом, твоя повесть! — накинулся на друга врач.— Подумаешь, верх счастья, измарал гору бумаги и извел целое озеро чернил... Ты мне лучше здоровье свое подавай, а нет здоровья, то и книг твоих не будет, и человеколюбия, и красоты... Вьюнки там разные или телеги, стучащие по ночам,— это все от переутомления, приятель, от твоих караку-

лей, которые ты выводишь тут, не подымая головы, забыв обо всем на свете... писатель.

Но друг устало повторил:

— Не успею сдать рукопись в издательство...

И ни кровинки в лице. Сон ему привиделся вот какой... Вроде бы он знал, что спит, но смотрит сквозь слегка приоткрытые глаза. И вдруг видит, как через окна и дверь стали буйно вползать в дом живые побеги вьюнка. Змеясь по полу, добрались до кровати, полезли вверх и нырнули под одеяло. Нежные, холодные прикосновения заставили его вздрогнуть, затрепетать. А живые побеги стали обматывать его ногу и, подымаясь все выше, плотно обвили правое бедро. Сжали ногу с чудовищной силой.

Цветы впились в тело и стали жадно высасывать кровь. Кыдыр обомлел, душа его содрогнулась — и он проснулся.

Доктор Оразали никогда еще не слышал о чем-нибудь подобном, но особенно не стал вдумываться в этот болезненный бред, а продолжал выговаривать другу за то, что тот не знает отдыха и доводит себя до чертиков. Почти насильно заставил его одеться, выволок из домика, запер дачу, затолкал писателя в машину и повез в город.

Мчась с горы на гору, Оразали заметил, что ветер, кажется, выдул из равнин всю пыль, словно мутный дым,— и теперь были отчетливо видны сквозь прозрачный воздух беленькие дома окрестных поселков. Молодые, только что проклюнувшиеся листья кленов, неподвижно стоящих вдоль дороги, были золотисто-бурыми, словно облитые свежей краской.

Доктор Оразали решил развеять болезненную тоску своего друга, поднять его ослабевший дух. Задумал устроить ему что-нибудь неожиданное и приятное, По пути заехал к себе в больницу, взял свободный день в счет будущего дежурства и, снова усевшись рядом с поникшим другом, победно принялся напевать: «Учай-чай, тори-тори, тори-тай»,— что-то бессмысленное и веселое, завел машину и рванул на Коктюбе.

И вот они на прогулке. Впереди гордо шествует, словно индюк, доктор Оразали; за ним, понурившись, как старый дед, приехавший из аула, бредет Кыдыр. Несмотря на его протесты, Оразали потащил его обедать в кафе, посреди которого протекал арык. Сели за

свободный столик. Доктор, знаток по части меню, сам принялся заказывать, выбирая все самое лакомое. И Кыдыр, глядя на оживленного друга, немного воспрял, обнадеженный: может быть, и на самом деле удастся избавиться от этой темной и тяжкой, как чугун, мысли... Выпили по рюмке, другой — и вскоре глаза его чуть повеселели. Кыдыр благодарно смотрел на друга.

Солнце расплавилось и протекло за горизонт. И вскоре над вершинами гор побрели серебряные отары звезд. С юга повеяло прохладным нежным ветром. С ними смешалось едва ощутимое дыхание вечных ледников...

Далеко за полночь доставил Оразали своего усталого друга до дома. А назавтра улетел самолетом в Усть-Каменогорск по заданию министерства. И, словно зерно, попавшее между жерновами, закрутился в водовороте служебных дел. Мотало его туда-сюда по разным районам. В Алма-Ату вернулся лишь через два месяца. Уже начали кое-где подсыхать на солнце и желтеть листья деревьев.

По возвращении он сразу же позвонил домой другу. Подошла жена Кыдыра. Неузнаваемым, слабым от горя голосом сообщила она доктору Оразали, что муж находится в больнице. Он парализован, у него отнялась вся правая сторона тела.

Паралич настиг Кыдыра почти два месяца спустя после того зловещего сна. «А я-то решил, что у него душевное расстройство от лунного света,— думал Оразали.— Выходит, лунатиком был я, а не он».

Выходит, беду-то можно было предупредить, если бы тогда на «Лунной сонате» он придал значение странному сну своего друга...

ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ

Жетыбасу и в голову никогда не приходило, что он вдруг оставит землю предков и переедет жить в другое место. Он жил себе спокойно между двумя горами у голубой прозрачной речки Майдамтал, где охранял молодые побеги арчи и держал пяток овец да трех лошадей. На жизнь ему хватало, да и работа приносила доход, хоть и небольшой. Каждый месяц ему выплачивалось как леснику восемьдесят рублей жалованья. Никто не стоял у него над душой, он был единственным

хозяином прозрачной горной речушки, попивал душистый кумыс, жил себе и в ус не дул.

Все началось с нудных, надоедливых речей двоюродного брата Саясата, который работал бригадиром в хлопководческом совхозе.

Саясат был единственным из родственников Жетыбаса, которому удалось выбиться в люди, то есть в бригадиры, и он был на равных с начальством совхоза. Во всяком случае, он сам так полагал. Впрочем, на то была причина. Его бригада ежегодно перевыполняла свои обязательства, и он считался передовым бригадиром. Несмотря на это, старый, пропитанный потом и солью пиджак не покидал его плеч. Саясат ни разу не бывал в отпуске и не ездил, как другие передовики, принимать целебные воды и купаться в голубом море. От приличного заработка у него не оставалось ни копейки лишней, потому что в доме у него было десять детей.

Саясат любит навещать своего старшего брата, который проживал в далеком ущелье, у того всегда можно было разжиться свежим мясом. В благодарность за свежину или по какой-то другой причине он считал своим долгом уговорить в конце концов старшего брата переехать поближе к цивилизованным местам, то есть в совхоз.

— Не пристало сидеть тебе в глуши. Даже звери избегают этих мест. Ну чего ты тут не видал? И без тебя не засохнут эти несчастные деревья. Что толку их охранять? Вообрази, каково нам. Завалит снегом перевал, а мы беспокойся за тебя, жив ли, здоров ли, не стряслось ли что. Вот и Акбота, жена твоя, ходит костями похрустывает. Легко ли ей здесь? Да и родня твоя вся в долине добывает хлеб насущный с кетменем в руках. И для тебя найдется подходящая работа. Захочешь, будешь поливальщиком или сторожем в школе. И потом опять же шоссе рядом. Автобусы ходят в город.

Жена Жетыбаса полностью поддерживала Саясата, мол, они тут совсем одичали вдали от людей.

А легко ли отмахнуться от слов жены, с которой прожито столько лет? Да и действительно, в последнее время она стала все чаще прихварывать и жаловаться на здоровье.

Акбота была смуглая привлекательная женщина с томными глазами, но вот с детьми ей не повезло. Когда она была первый раз в положении, то тяжело забо-

лела и случился выкидыш. Многие врачи пытались лечить ее, но безуспешно. Ходила и к знахарям, хотя толку от этого было мало. Так и остались без детей. И сейчас, когда они пришли к зениту своей жизни, душевная страсть друг к другу стала у них угасать. Это глубоко ранило их обоих, но они старались скрывать свое охлаждение. «Так, видно, на роду нам написано»,— покорно думал Жетыбас в долгие бессонные ночи и смирялся перед судьбой.

С женитьбой у них тоже было не все гладко. Жетыбас несколько лет прослужил на границе. И были моменты, когда он не думал, что останется в живых. Однажды в перестрелке с нарушителями границы его ранило в ногу. Письма Акботы очень поддерживали его в те времена.

На родину он вернулся в видавших виды кирзовых сапогах и сразу запрягся в работу. Косил сено, строил животноводческие базы, брался за любое дело с упорством вола.

Братья Акботы, когда узнали о его желании взять их сестру в жены, встали на дыбы. Жетыбас воспринял это спокойно. Он подумал, что если Акбота по-настоящему любит его, то никуда не денется. Прошел год, и однажды он получил весточку от Акботы: «Если у тебя осталась хоть капля чести, немедленно приезжай в аул». Он тут же приехал и среди бела дня увез Акботу из аула. Неделю они скрывались у дяди, в городе Мейрамкале. Братья девушки бушевали, однако их утихомирили сладкоязычные старики и, главное, закон. Наконец они помирились.

Во всем этом Жетыбас видел предначертание судьбы. Может быть, и переезд его на новое место тоже воля непреклонной судьбы? Так пытался смирить себя Жетыбас. Голодным он нигде не останется. В конце концов, если он заскучает по родному Майдамталу, где за одну ночь встает сочная трава, можно будет приезжать сюда на коне. Но что делать со скотом? Эту свою последнюю заботу он не стал скрывать от Саясата.

— А ты подумал о том, что я не смогу спать спокойно, если у меня не будет стоять на привязи оседланный конь? — сказал он Саясату.

— В наши дни нет надежнее друга, чем хрустящие бумажки в кармане,— рассудительно сказал Саясат.—

Кроме того, у меня есть «Жигули». Отвезу в любое место.

— Без коня я не представляю себе жизни,— сказал Жетыбас.— Какой настоящий казах может прожить без коня?

— Ну и пень ты замшелый! — рассердился Саясат.— Да оглянись ты вокруг! Кому сегодня нужны твои резвые кони да блеющие овцы? То сено, то водопой, одни заботы от них и никакой пользы.

Жетыбас надолго задумался, никак не соглашаясь с братом. Спорить с ним, что-то доказывать ему не хотелось.

Все оглушены машинным гулом. Разве могут они понять призывное ржание коня, или мерное хрумканье пасущихся овец, или волнение в его крови, когда он вытирает потное лицо о гриву коня? Они и представить себе не могут, насколько крепко переплетена его жизнь с этими животными, которые испокон веку были рядом, поили и кормили их. И разве можно изменить вдруг этим извечным спутникам человека?

Саясат по натуре совсем другой. С детства он был без ума от всего тарахтящего и железного. Бывало, выбежит на улицу и таращит глаза на проезжающую машину. С тех пор и до сего дня сохранилась его страсть. Жетыбас думал иногда, что у брата вместо крови шумит в жилах бензин. Машина для него настоящее божество, на которое он готов молиться дни и ночи напролет. Случись что с его «Жигулями», он от расстройства заболел бы и попал в больницу. Где уж ему понять душу Жетыбаса.

И вот однажды Саясат взял в совхозе три грузовика, заявив людям, что собирается перевозить одичавшего в горах брата, и уехал в Майдамтал. Между братьями произошел разговор.

— Послушай-ка, Саясат. Весной в этом году прошли обильные дожди, травища вымахала, как никогда. Дай посидеть мне здесь до следующего лета с моими овечками да лошадками,— чуть не взмолился Жетыбас.

Тот ни в какую:

— Хватит, насиделся.

— Свет мой, Саясат, звери погубят молодые побеги арчи. Дай посидеть хоть до осени, пока не найдут мне замену.

— И до осени тут нечего сидеть.

— Ну хорошо тогда,— вздохнул Жетыбас.— Грузи машины скарбом, а я со скотиной пешком доберусь.

Саясат не согласился и на это.

Вся недвижимость еле заполнила кузов одной машины. На остальные погрузили жалобно блеющих овец и отчаянно ржущих лошадей. Помощники Саясата, крепкие парни, не обратили никакого внимания на стенания и угрозы Жетыбаса. Ему казалось, что он видит слезы на глазах шелкогривого коня. Не дали даже как следует проститься с родным местом. Согнувшись, Жетыбас залез в кабину, и машина тронулась с места.

Стали спускаться с гор в долину. Жетыбас сидел грустный, опустошенный, и вся прошлая жизнь вставала перед ним.

Немало крутых подъемов и спусков преодолел он, но, видимо, всему свое время. Была молодость, и он кипел и бурлил, будто казан на большом огне. А теперь вот остыл, и уже никогда ему не раскалиться. Он признавал, что за последние годы ушел в сторону от великого кочевья жизни, полюбил тишину и покой.

Раз в году он собирал у себя косарей, которые поднимались в горы сено косить, резал для них барашка ради покойного отца, чтобы тот не чувствовал тесноты в сырой земле. Раз в году наряжал свою Акботу во все самое лучшее, сажал ее на лошадь и отправлял к родителям в Мейрамкалу в гости, чтобы она вволю отдохнула и нагулялась до следующего года. В их отшельнической жизни, кроме этих двух важных событий, не было ничего примечательного. Дни шли чередой, как близнецы. Иногда они о чем-то разговаривали, перебрасывались словами, словно хотели убедиться, что они все еще вместе, ухаживали за кучкой овец да за конями. Жизнь шла у них спокойно и безмятежно. И ему не хотелось никаких других радостей, никакого общения с людьми.

И вот вырвали насильно из родного угла и везут неизвестно куда, в такое место, где все бурлит, кипит и суетится.

С далекого холма сорвался беркут и, тяжело загребая крыльями, набрал высоту, потом стал парить на одном месте, совершая круг за кругом, как будто для того, чтобы Жетыбас запомнил его на всю жизнь.

Его мысли отвлек какой-то неприятный и тревожный звук. Он ткнул в бок вислоухого водителя. Тот прислу-

шался, резко затормозил и выскочил из кабины. Торопливо подбежал Саясат. И надо сказать, остановились они вовремя. Привязанная в кузове кобыла-четырехлетка упала, и ее душило сыромятным ремнем, доносился уже предсмертный хрип, а глаза были похожи на скисшее молоко. Саясат в одну минуту обрезал веревку, и постепенно животное пришло в себя. Жетыбас корил себя: «Старый дурак. Опоздай хоть на секунду, и все было бы кончено. Надо было оставить ее дома, пускай бы бродила... Придется теперь держать тебя на привязи у каменной стены. Будешь глотать вонючую гарь вместо горного родникового воздуха».

Жетыбас пересел в пыльный кузов и всю дорогу держал лошадей за уздечки. Наконец добрались до совхоза.

Саясат поселил своего горца-брата в одном из домов, кучно расположенных вдоль шоссе. Прежде тут жил их родственник, который уехал в город.

В доме семь комнат и длинный, как туннель, коридор. «Век мне не накопить добра для этих комнат»,— подумал Жетыбас и выбрал для жилья две из них. А остальные ловко превратил в стойла для коней и в овчарню.

Не теряя времени, он смастерил корыто для кормления лошадей и прибил его к стене, облицованной ореховым деревом. Прожорливых овец тут же пустил на клевер, растущий вдоль забора, словно гусениц на свежие листья.

Саясат уехал куда-то на два дня. Когда он впервые зашел к брату и увидел разгромленный дом, то чуть не превратился в пепел от злости.

— Дикарь,— только и смог сказать он.— Эти горы изуродовали тебя. А я-то думал приобщить тебя к культуре и красоте.

— А что? — спросил Жетыбас.

— А то. Придут к тебе родственники, вот и покажешь им пыльный двор да пропахший навозом дом.

Жетыбас затосковал, однако внутренне воспротивился. Каждый спит на привычном боку, каждый поет на свой лад. Жили же предки сознательной полнокровной жизнью без этих извилистых могил, которые называют современным жильем, без этих витиеватых стеклянных посудин. Что было им предначертано судьбой,

то и брали честным пóтом. И разве их любовь к животным приравняла их к скоту?

Его отец, дед и предки — все они поклонялись покровителю́ верблюдов Зенги, покровителю крупного рогатого скота Ойсыл, покровителю овец Шопан-ата, лошадей — Жылкышы и вели размеренную, довольную жизнь. И это духи предков говорят в нем, когда он часами готов слушать блеяние овец и наблюдать за поведением лошадей на тучном пастбище. Характер любой скотины он может понять по ее внешнему облику и по голосу. Если он хоть раз в день не услышит будоражащий душу топот коня, ему кусок в горло не полезет.

Однажды он только задремал, кинув под бок баранью шубу, как нагрянули в дом четверо мужиков, подпоясанных веревками, в казахских шапках и с обветренными лицами.

— Он спит, а родичи ищи его,— сказал один из них.— Приехали звать тебя в гости, показать, как мы живем.

— Хорошо,— сказал Жетыбас и с ходу облачился в стеганый чапан. Акбота повязала снежно-белую шаль, и все вышли из дома, как утки на выпас.

Так начался его первый поход к родственникам. В одном доме съели полную чашу жирного плова из искристого риса и куропатки. В другом полакомились дыней — «даром пророка». У Саясата предложили какое-то таинственное блюдо «нарын», где лапша была не толще нитки и в ней кое-где блуждали кусочки мяса не крупнее просяного зернышка. Потом пили горький зеленый чай из белого чайника.

А когда возвратились домой, Жетыбас почувствовал в желудке воющую пустоту, будто все съеденное за день вышло из тела с одной отрыжкой.

Он приказал Акботе немедленно поставить казан. Душа его успокоилась лишь за полночь, когда он волком набросился на порядочный кусок мяса и уничтожил его, а потом вытер жирные руки о сапоги. Ковыряя в зубах щепочкой из арчи, он с тоской думал о том, что из него хлопкороб, как из коня водитель.

Вчера, например, забыл перекрыть воду, и весь хлопок смыло водой. Куда ни кинь глаз, кругом не найдешь куска свободной земли, хотя бы с подметку, где можно было бы пасти мелкий скот. Везде хлопок. Нет, не прожить здесь хозяину скота.

Едва закрыл глаза, под окнами начали реветь проносившиеся машины, как будто специально ждали ночи. Даже стены стали дрожать, а стекла задребезжали старушечьими голосами.

Жетыбас долго ворочался в постели, накрывшись с головой подушкой, плотно закрывал глаза, но сон не шел.

Почему-то вспомнились картины детства. Колхоз тогда выращивал кукурузу. Война только закончилась, и люди все еще были в плену у грозных военных лет. Многие мужчины не вернулись. Все тяготы хозяйства несли на своих хрупких плечах женщины да подростки вроде Жетыбаса. С утра до ночи они работали. Время от времени какая-нибудь голосистая вдова затягивала песню, изливая всю свою горечь и сердечную тоску. У каждой была своя песня. Им подпевали молодые девушки.

Одни пели: «Ох, мой аул. Твои лучшие сыновья ушли на фронт. Увидят ли вновь они своих заплаканных матерей и жен?»

Другие пели: «Налилось яблочко на ветке, но некому его сорвать. Мой братец на войне. Покажись хоть на миг».

Эти песни навсегда врезались в мальчишескую душу Жетыбаса. Он и сейчас помнил каждый голос, хотя уже прошло столько лет.

Эти песни, вобравшие в себя горе, тоску и надежду, все время возвращались к нему, когда ему становилось горько и безысходно. На этот раз ему приснился голос его любимой женеше. То ли она просила проснуться, то ли поддержать песню, он не понял. Но все тело его было во власти ее зова: «Где мой брат воин, где мотает тебя судьба? Отзовись». И он проснулся со стоном, весь разбитый и раздавленный.

В окно заглядывала заря. Голова была тяжелая то ли от переживаний во сне, то ли от обильной еды на ночь.

Пока он сидел, находясь между сном и явью, в дверь кто-то сильно постучал, потом раздался голос:

— Есть кто в доме?

— Дверь открыта, заходите! — сказал Жетыбас.

Акбота проснулась и начала торопливо одеваться, пригладила волосы, натянула шаль. Они привыкли, ког-

да жили в горах, в своей хибаре, к одиночеству, никто и никогда не будил их ни свет ни заря.

Оказывается, пришел сосед, угостивший их пловом. Он был весь в грязи и в глине, будто нарочно вывалялся в канаве.

— Что случилось? — встревожился Жетыбас.— Почему ты весь в грязи?

— Ваши овцы забрались на хлопковое поле и все там повытоптали,— сказал сосед.— А я вчера пустил туда воду. Пока гонялся за ними, испортил оросительную систему. Весь летний труд, весь мой пот, все пошло насмарку. Придется пойти в суд и подать на вас жалобу.

Жетыбас смотрел на соседа в каком-то остолбенении. Тот был возмущен до предела, и ясно было, что его не остановишь. Он так суетился и размахивал руками, что шляпа его даже сползла на нос.

Жетыбас не знал, что делать и как ему отвечать. Ни в старину, ни сейчас он не слышал, чтобы соседи, у которых вышла размолвка, подавали друг на друга в суд. Он считал, что ни хозяйственные передряги, ни ссоры не должны быть выше добрососедства. Так было испокон веков в степи. И вот теперь эти несчастные пять овец грозят растоптать священные обычаи дружбы. Что тут скажешь?

— Всех твоих овец я связал проволокой, собрал свидетелей и заставил их расписаться,— сказал сосед с угрозой.

— Чтоб вас всех испепелил огонь ада! — вдруг закричал Жетыбас.— Скотина есть скотина!

Кровь ударила ему в голову, он и сам не заметил, как схватил нож и выскочил из дома.

Сосед не думал, что дело примет такой резкий оборот. О суде он сказал для красного словца, чтобы хоть как-то пронять строптивого старика. Тот никак не понимал, что держать овец в густонаселенном месте, где к тому же кругом посевы хлопка, просто немыслимо. Пора наконец старику оставить свой скот и, как все здешние люди, всерьез взяться за кетмень.

Но ничего из этого не вышло. Жетыбас будто рассудка лишился. Он прирезал всех овец и мясо сдал в совхозную столовую.

По этому поводу было много всяких разговоров. Одни жалели Жетыбаса и говорили, мол, как это так,

уважаемый человек влился в нашу среду, а мы ударили его в грудь, не захотели его понять... Это не по-людски.

Другие ворчали со злорадством: «И поделом ему, этому любителю мяса, бог его покарал».

Жетыбас никак не мог привыкнуть к своей новой жизни, к душному жаркому воздуху этой долины. Сколько бы ни гудел в доме вентилятор, сколько ни поливай водой пол, все равно было жарко и рубашка неприятно прилипала к телу.

Он выходил на крышу и часами разглядывал горные вершины, смутно маячившие в жарком мареве, пока глаза его не уставали от напряжения и не начинали слезиться. Но он продолжал неподвижно сидеть под палящими лучами солнца, дожидаясь, когда Акбота позовет его ужинать.

Как-то он сидел, по своему обычаю, на крыше, созерцая горы, когда к ним зашел активист и сказал Акботе, чтобы та посылала его на работу, поскольку и он должен внести свою лепту в общенародное движение за высокий урожай хлопка.

Надо было собираться на работу. Акбота разложила перед ним дастархан и поставила полную чашу лапши. Он поковырял вилкой в надежде наткнуться на мясо, однако вместо мяса в лапше оказалась картошка. В это время пришел Саясат, уставший и какой-то весь поблекший. Он стал говорить о хлопке, который в этом году очень хорош, и если им повезет, то обязательства по хлопку будут выполнены. Тогда Саясат прославится на весь район.

Потом он сказал, что кобыла Жетыбаса продана, и положил пачку денег перед хозяином. Тот равнодушно сунул их в карман, даже не пересчитав.

Что ему деньги? Эта кобыла была жеребой, и осенью он ждал от нее приплода. Она была племенной породы, и молоко из нее текло рекой. В такие удушливые дни, как сейчас, сидеть бы в тени да попивать кумыс. Но этому не суждено сбыться. Родственники все уши прожужжали, что сена нет, пастбища нет, конюшни нет, и поэтому от лошадей лучше избавиться. От них одна морока. В конце концов пришлось сдать любимую лошадь на мясокомбинат.

Жетыбас отодвинул от себя чашу с лапшой, вытер потный лоб и откинулся спиной к сундуку.

— Ну я побежал,— сказал Саясат.— Пойду хоть чаю напьюсь. В горле все пересохло.

Кто бы сказал, что человек может так сдать за какую-то неделю. Жетыбас посмотрел на себя в зеркало и печально покачал головой. Ничего не осталось от человека, вот что значит оказаться вдали от родной земли. Глаза смотрели тоскливо, как у обреченной на шашлык овцы.

Когда жара немного поутихла, Жетыбас взял кетмень и отправился поливать хлопковое поле. Он решил не оставаться в стороне от общего дела, чтобы не упрекали потом Саясата.

Поливать хлопок оказалось трудным делом для человека, не сведущего в земледелии. Размахнешься кетменем посильнее — срежешь растение, ударишь не в полную силу — вода не дойдет до конца поля.

Лишь к вечеру кое-как он закончил свою работу. И тут поднялись полчища комаров, от которых не было никакого спасенья. Весь измученный, с заострившимся носом, Жетыбас еле добрел до дома. «Лучше повесить торбу на шею да пойти по миру, чем такая работа»,— в отчаянии подумал он.

Едва успел попить воды да успокоить свою душу, как нагрянула Акбота, путаясь в подоле своего длинного платья.

— О беда! — простонала она.— Пошла к соседке за солью, а калитку не закрыла. Лошадь наша убежала!

— Что ты несешь? — с досадой закричал Жетыбас.— Только этого нам еще не хватало!

Он надел сапоги на босу ногу и побежал к арыку, где был стреножен его конь.

Поездив рысью по округе, он все-таки напал на след своей четырехлетки. След долго петлял по улочкам аула и наконец вывел на окраину. Кобылица неслась во весь опор в сторону гор. Жеребец под ним призывно заржал, но кобылица даже не оглянулась.

Скоро наступили сумерки, и Жетыбас остановился. Стоило ли догонять умное животное, которое неслось навстречу запахам родной земли? И он решил: пусть уходит. Все равно дома ее не прокормить: во дворе не осталось ничего, кроме пыли да конского навоза. А вокруг ни клочка земли, ни травинки — все занято хлопком.

Все равно тоска по родным местам доконала бы ко-

былу. Здесь ей неуютно, как и самому Жетыбасу. Он повернул коня и поехал домой, понуро склонив голову. Акбота встретила его со страхом, ожидая слов упрека. Однако он ни в чем не упрекнул ее. Жеребец, взбудораженный чем-то, беспрестанно кружился на одном месте и ржал. Может быть, он завидовал кобылице, которая ускакала в горы? Акбота увела коня в стойло.

В ее глазах Жетыбас увидел ту же печаль, которая одолевала и его самого. Почему он уродился таким не приспособленным к жизни? Почему не всякое дело спорилось в его руках? Еще покойный отец не раз ему говорил: «Нет, парень, ничего из тебя путного не выйдет».

Взглянув на покорную свою жену, он почему-то вспомнил свою молодость и как они познакомились впервые.

Его призывали в армию, повестка была на руках. Отец велел ему поехать проститься с родственниками. На обратном пути его застал теплый ливень. Спасаясь от дождя, он поскакал во всю прыть и остановился возле первого дома. И тут он увидел девушку. Он сразу понял, что она не здешняя, а гостья из Мейрамкалы. Очевидно, приехала недавно.

— Испугались дождя? — улыбнулась она.— Ловко вы удирали из-под ливня.

— Это я торопился к вам,— пошутил Жетыбас.

Этот теплый дождь, девушка, чудесная пора молодости никогда, наверное, не забудутся, потому что все это напоминало ему о родном крае. Видя его тоску, Акбота не знала, как ему и помочь. Он даже не притронулся к еде, так и просидел перед чашкой лапши, весь бледный. Лег спать, но проснулся среди ночи от удушья. Вышел во двор, окинул взглядом звездное небо. Видимо почуяв хозяина, жеребец заржал в стойле. Он подошел к коню, погладил его и снял седло. Потом отвел к арыку и стреножил. Вернулся домой, лег в постель, но так и не смог уснуть. Все время ему представлялся тот теплый ливень и девушка у дома. Она была совсем непохожа на теперешнюю Акботу. И сам он, конечно, был другим.

Короткие июльские ночи пролетают быстро. Кое-где уже начали кричать петухи. Увеличился поток машин на шоссе. Совхоз располагался у большой дороги, соединяющей районы с областным центром, и постоянный шум машин угнетал Жетыбаса.

Он вышел на улицу невыспавшийся и расстроенный, по-прежнему страдая от удушья. Но и на улице не почувствовал облегчения. Дождя не предвиделось, день обещал быть еще жарче, чем вчера.

Вдруг он увидел, что со стороны арыка кто-то к нему бежит. Оказалось, что это второй сосед, который угощал его дыней. «Что еще за новая напасть?» — подумал Жетыбас. Сосед не стал его долго держать в неведении.

— Там, у арыка, сдохла твоя лошадка,— сказал он.— Удушилась.

Будто земля ушла из-под ног Жетыбаса после этих слов. Он засеменил было к дому, но сосед дернул его за руку. Жетыбас покорно поплелся за ним.

Подойдя к месту, где был привязан конь, Жетыбас понял, что тот и не думал пастись. Видимо, сначала он долго кружил и кружил вокруг железного колышка, уздечка наконец сплелась с арканом и все сильнее стала сжимать его шею. А когда жеребец поскользнулся и упал с крутого откоса, петля довершила дело.

Жетыбас где стоял, там и сел, будто тело его вдруг превратилось в беспомощный мешок с костями.

Все заботы о павшем жеребце взял на себя сосед. Он освободил животное от пут, сволок его в какую-то яму и засыпал землей. На холмике даже поставил какую-то дощечку вроде памятника.

Жетыбас чувствовал себя плохо, но не смог бы сказать определенно, где и что у него болит. То ли сосало под ложечкой, то ли кололо в боку — везде ныло, давило и беспокоило.

Зашел Саясат справиться о его здоровье, и он поблагодарил брата, хотя говорить ни с кем не хотелось. Потом притащился сосед, угощавший его пловом и из-за которого пришлось зарезать овец. Он простил соседа. В общем, два дня не прерывался к нему поток сочувствующих, и он не знал, как его остановить. Лишь на четвертый день он поднялся с постели, сходил на базар и купил овцу. В тот же день зарезал ее и собрал всех родственников; выставил перед ними баранью голову, угостил сорпой, а потом попросил благословения у старших. Когда гости стали расходиться по домам, он остановил их и сказал:

— Решил откочевать!

Родственники накинулись на него, особенно не унимался Саясат:

— Как же это так? Может, из-за дрянной лошадки ты совсем разум потерял?

— Если дело в этом, то скажи. Соберем по красненькой и купим тебе конягу на базаре.

— В кои веки собрались все вместе под одной крышей, а ты что задумал?

— Не хочешь браться за кетмень, найдем любую другую работу. Хотя бы сторожем, но держись рядом с нами.

— Умрешь там в своей глухомани и останешься без заупокойной.

— Откочую,— отрезал Жетыбас. И родственники поняли, что дальше спорить с этим степняком бесполезно. Тогда стали со стенаниями прощаться, с шумом и гамом выпросили у совхоза машину, и все вместе, мешая друг другу, погрузили утварь Жетыбаса. Перед самым отъездом жена Саясата положила им в кузов пять или шесть дынь — для утоления жажды, когда они приедут в свое глухое и дикое место.

Грузовик выехал из аула и помчался по направлению к горам, поднимая колесами спелую полынь и взметая тучи пыли. Дорога постепенно привела к перевалам. Наконец после натужных завываний машина поднялась на последний перевал. Неизвестно отчего, но Жетыбас не смог удержать слез. Он только отвернулся от жены, чтобы та не заметила его состояния.

И странное дело, он вдруг почувствовал себя совершенно здоровым, нигде ничего не болело, не давило и не кололо. Прекратилось и удушье, совсем замучившее его в ауле. С радостью и волнением он смотрел вниз, где голубой шелковой лентой извивалась в глубоком ущелье ласковая река Майдамтал — река его детства и юности.

МАЛЮТКА

Главный врач районной больницы Едил в тот день встал рано, побрился, умылся, выпил чаю и собрался уж было выходить из дома, как вдруг в прихожей загремел звонок. Он торопливо подошел к двери и открыл. Это был директор совхоза «Сунаката» Карык-

бол, какой-то весь побледневший и испуганный. Едил предложил пройти в гостиную. Карыкбол бормотал на ходу что-то не очень вразумительное:

— Вот и растворится, исчезнет мой род, как соль в стакане воды. Пришел и мой черед пострадать. Меня скоро доконают мое добродушие и доверчивость к людям.

— Ничего не понял,— сказал Едил, пожав плечами.

— Сейчас поймешь. Всегда надо прежде подумать, чем делать; как говорят, семь раз отмерь, один раз отрежь. Откуда мне было знать, что вокруг только подлость да интриги.

Едил подумал, что разговор может затянуться, сходил на кухню за минеральной водой и налил гостю. Карыкбол схватил стакан и воскликнул перед тем, как выпить:

— Ах бедная моя душа!

Затем проглотил воду залпом, вытер пот со лба, и взгляд его немного прояснился, в нем появилось осмысленное выражение. Он поманил пальцем Едила, чтобы тот сел поближе, всем видом показывая, что доверяет ему и начал:

— В начале прошлого года я поставил Басбуха — ты его хорошо знаешь, он работал главным бухгалтером,— заведовать фермой. Стадо около пятисот голов, бродит по всему тугаю. Давай, говорю, поставим их на откорм, кой-какой доход получим, прибыль. Но главное, конечно, чтобы не было убытка совхозу. Вот о чем забота. Бог с ней, с этой прибылью, лишь бы при своих остаться.

Я отдал в руки этого Басбуха всю полноту власти, дал полную свободу. Каждый разумный человек на моем месте поступил бы так же. Дал ему свободу и сказал — действуй. Пятьсот голов, вы только подумайте! Что можно с ними сделать при желании и умении!

Басбух — джигит опытный, человек с характером, не зря ведь он работал главным бухгалтером,— взял ферму в свои руки, и все у него закрутилось, завертелось. Весь ушел в работу засучив рукава. Короче говоря, человек сел на своего конька, пошел в гору, расправил плечи. Слова ему теперь не скажи. И до этого любил прихвастнуть, а теперь и подавно, заслушаешься, незаменимый стал человек. Ну я смекаю, тут что-то не так, откуда в нем столько спеси и чванства? Уж не в

том ли причина, что стал заведовать фермой? Пятьсот голов крупного рогатого скота, шутка ли. Да, решил я проверить свои подозрения...

— Ну и как? — спросил Едил.— Что из этого вышло?

— Слушай дальше. У нас в ауле есть один джигит по имени Кулшыгаш. Люди его прозвали Малюткой. Не потому, что он дитя по возрасту, а потому, что человек он прямой и открытый, душа нараспашку. Так вот, я освободил его от риса и сказал: «Ты сын казаха, со скотом управляться умеешь, не привыкать, пойди на ферму, пересчитай каждую голову, сколько там бычков, коров, телок — будешь пастухом». Так вот, этот Малютка согласился, видя, что я ему ничего худого не желаю. Согласился, но сказал: «Хорошо, возьмусь за это дело, но, если недосчитаюсь хоть одного копыта, подниму тревогу». Меня это немного покоробило, он, видите ли, ставит мне свои условия. В общем, весь этот сыр-бор начался из-за Малютки...

— Да, но при чем же здесь я? — развел руками Едил.— Я, главный врач, и твои коровы?

— Видишь ли, братишка Едил. Многословие не украшает человека. Скажу прямо. Этот самый Малютка лежит сейчас в твоей больнице, душа его между небом и землей. Вся моя честь и слава теперь зависят от тебя. Придумай любой способ, только спаси его.

И Карыкбол умолк, побледнев и сгорбившись на стуле.

Вот что произошло в совхозе «Сунаката» на самом деле. За год до того, как Кулшыгаш попал в больницу, он довел до полного отчаяния всех руководителей и специалистов совхоза, доказав перед авторитетной земельной комиссией, что риса у них посеяно намного меньше плана, сводка составлена незаконно и урожай не соответствует действительности, то есть цифры завышены. Естественно, все в ауле были недовольны и прозвали Кулшыгаша «черноухой напастью». Откуда ему было знать, простодушному, что все связаны в ауле одной нитью, каждый друг другу сват или брат и много темных углов и закутков в их отношениях, а жизнь намного сложнее и запутаннее, чем та, о которой пишут в газетах и говорят с трибун.

Сделав свое дело, добившись справедливости, Кулшыгаш продолжал со спокойной совестью орудовать

кетменем и ухаживать за всходами. Но аульное начальство, как говорят, с тех пор повернулось к нему спиной. Оно никак не могло простить ему ту некрасивую истину, которую он открыл землемерной комиссии. В один миг Малютку освободили от должности звеньевого.

Аульчане не давали ему покоя, каждый считал своим долгом поучить уму-разуму. Мол, ты не понимаешь, откуда ветер дует, всегда ломишься в открытые ворота, не знаешь, что почем и как, кому дать и от кого взять. В общем, ведешь себя так, будто только вчера на свет появился, сущий ребенок, малютка.

С тех пор и стали его сторониться. Дела, конечно, шли своим чередом, дела не совсем безвинные, но злоумышленники старались, чтобы Малютка в такие минуты спал или был где-нибудь подальше от греха.

Если какой-нибудь проныра запускал руку в косяк лошадей, бдительно охраняемый самим директором, то не беда, если кто-нибудь увидит, главное, чтоб не знал ничего Малютка.

Если какой-нибудь деляга брал отпуск, собираясь на курорт, и созывал гостей, своих толстокошельковых единомышленников, с которыми не раз приходилось делить и страх, и незаконную прибыль, то лучше, чтобы об этом не знал дотошный и прямодушный Малютка. У него ведь что в голове, то и на языке.

За короткое время аульное общество отвернулось от Малютки по примеру начальства. А без общества, дело известное, человек становится наподобие аппендикса: существует, но для чего, неизвестно.

А Малютка при всем своем простодушии и наивности приметил, что те, против которых он выступил, как будто бы стали еще более авторитетными среди аульчан и чувствуют себя нисколько не хуже. А его собственная жизнь заметно усложнилась. Работал как вол, по семь потов проливал, а получал крохи. Малютка не раз задумывался, почему он работает больше всех, а заработок у него курам на смех.

Как тут не возьмет досада? Другой бы на его месте, конечно, сразу сообразил что к чему, то есть что плыть против течения нет никакого смысла, когда можно плыть и по течению. Но Малютка стойко стоял на своем, словно карагач, который всеми корнями вцепился в скалу, никакому ветру его не вырвать.

Однако в последние месяцы заработок его до того уменьшился, что хоть беги к людям да занимай деньги на прожитье. И вот он подумал, что Карыкбол держит весь этот аул в своих руках, человек грамотный и авторитетный, надо пойти к нему и рассказать все. Может быть, он и подыскал бы какую-нибудь более прибыльную работу. И Малютка пошел искать справедливости у директора.

Карыкбол сидел в кресле и, поджав губы, что-то писал. Малютка почувствовал, что заявился не ко времени, и директор вовсе не рад его приходу. Но раз уж случилось такое дело, пришел, надо высказать все, терять нечего.

— Каркеке, в последнее время я весь извелся. Стал мальчиком на побегушках. Сами подумайте, работал грузчиком, сторожем, веял семена, закупал мясо, возил на поля навоз, удобрения. Брался за любую работу, ног уже не волоку, а толку от этого никакого. Найдите мне постоянную работу. Чем я хуже других людей?

Карыкбол испытующе посмотрел на него исподлобья. Он удивился прямодушному характеру Малютки, который без всякого подобострастия и лишних слов рассказал о своем деле. «Такие искренние джигиты как воздух нужны нашему аулу,— подумал он.— А то все юлят да остерегаются, как бы чего не ляпнуть лишнего, все намеками, вокруг да около, а сказать прямо духу ни у кого не хватает».

— Цену человеку всегда узнаешь после его смерти,— сказал наконец директор.

— Мм? — промычал Малютка, не поняв глубокомысленного замечания директора.

— Вот что, Кулшыгаш,— сказал директор.— Басбух подыскивает себе пастуха вместо старого, который заболел и собрался уходить на пенсию. Он просил меня найти трудолюбивого, толкового человека. Если ты согласен, направлю туда.

— Согласен,— сказал Малютка.— Буду хоть на одном месте, одним делом заниматься.

Карыкбол, видимо, не ожидал, что он так легко согласится, не особенно надеялся, поэтому сразу повеселел, тут же велел секретарше написать бумагу на имя Басбуха и заготовить приказ. Вот так и получилось, что Малютка вдруг стал пастухом совхоза, начальником

над стадом в пятьсот голов. Он молча положил бумагу, подписанную директором, в карман и собрался уходить. Однако Карыкбол поманил его пальцем и сказал доверительно:

— Бродят всякие слухи, что стадо уменьшилось. Прошлой осенью я посылал специального представителя для пересчета. Он сказал, что прочесали весь тугай, пересчитали весь скот, составили список, определили возраст, заклеймили, то есть по сводке выходит, что все стадо цело. Уж не знаю, ошибся новый заведующий фермой или так оно и есть на самом деле. Советую тебе: прими скот не на бумаге, а на деле. Народ там стреляный, лукавый, так что поосторожнее. Вместо недостающих коров пригонят тебе личный скот, которого полно в тугае, и включат в список. Понял?

— Все сделаем как положено,— сказал Малютка.— Все будет по правде и по совести.

И он ушел, очень довольный директором. «Хороший человек,— размышлял он.— Мы его сами портим своей лестью да подхалимством, втягиваем во всякие дрязги. И вот совсем доконали человека, стал он подозрительным и осторожным».

Так, раздумывая о директорской доле, о его сложной, нелегкой жизни, он добрался до запущенной фермы. В просторном сарае с огромными воротами держали только дойных коров, а нетели, бычки разбрелись по тугаю, смешавшись с личным скотом и коровами соседнего хозяйства. Тугай поглотил их, как песок воду. Заведующий фермой Басбух сидел в доме пастуха и жевал хлеб, обмакивая его в сметану. Увидев Малютку, он весь ощетинился, как дикий кабан.

— Кто тебя подослал сюда? Опять доносы писать будешь?

— Я пришел пасти коров, а не рассиживаться в прохладной комнате,— сказал Малютка спокойно.

— Ну и Карыкбол, совсем лишился ума. Ну какой из тебя пастух? — поддел Басбух Малютку и заодно директора.

— Сразу скажу тебе, если здесь бродит личный скот, то уведи его подальше,— пригрозил Малютка,— пастбища здесь совхозные.

— А я тебе скажу,— повысил голос заведующий фермой,— раз пришел в эти дремучие места, куда со-

бака и носа не сунет, если хочешь стать пастухом, тебе придется слушаться меня. Сплетен тут не разведешь. А если что и не так, будешь молчать. Будешь присматривать за двумястами бычков и нетелей, которые совсем одичали в тугае.

Малютка дал понять, что примет стадо, только когда пересчитает и пощупает своими руками каждую голову. То же самое он повторил и пастуху, который собирался идти на пенсию.

Заведующий фермой чуть не подавился куском хлеба от возмущения:

— Ты что? Следователь? Или не доверяешь вот этому почтенному, достигшему возраста пророка? Может быть, ты не доверяешь мне, человеку с безукоризненной репутацией и авторитетом? Скажи прямо, не виляй.

— Надо пересчитать скот,— гнул свою линию Малютка.

— Вот тебе бумага с печатью,— сказал Басбух.— В ней указаны возраст, вес, сорт скота. Вот вторая бумага — акт о падеже. Садись на коня и катись на работу. Постепенно отличишь и соберешь всех.

— Но где мне искать скот? — спросил Малютка.

— Вот навязался на мою душу. Пусть этот почтенный покажет тебе дорогу, куда ушел скот.

«Все по полочкам разложил»,— подумал Малютка, однако пошел за пастухом. Они сели на тощих кляч и скрылись в зарослях тугая, который в этом году буйно разросся. Тут все перемешалось: и кустарники, и камыш, и тополя, и густая трава. Пахло всевозможными цветами, в воздухе порхали птицы.

Трясясь на гнедом, Малютка подумал, что священная Сырдарья в этом году вышла из берегов, поэтому тугай расцвел вовсю. В те годы, когда река не разливалась, заросли на ее берегах страдали от засухи и зноя, скоту почти нечего было есть.

Нынче же тугай сочный и буйный, и скот быстро набирает вес на таком пастбище, а скотнику — почет и слава. Настроение у Малютки поднялось, однако пастух в возрасте пророка скоро охладил его пыл, тыкая камчой на телят и двухлеток:

— Этот вот бычок — потомок племенного белоголового пегого быка. А это копытце оставила нам для радости луноргая молочная корова, которую благословил сам Зенги-баба, покровитель крупного рогатого

скота. А тот теленок — наследник толстошеего бухарского быка.

По бумагам выходило, что из двухсот голов сто — крупные быки, пятьдесят четырехлеток и трехлеток, остальное — молодняк. А тут одни телята.

Перевалило за полдень, а сомнения у Малютки все возрастали: «Где же этот крупный рогатый скот?» Ссориться со скотоводами в первый же день ему не хотелось. Это было бы неприлично. Но наконец он не вытерпел, увидев старого худого вола со стершейся шеей и обрубками вместо рогов. Ему показалось, что животное даже немного свихнулось от старости.

— Нет, так не пойдет, аксакал! — возмутился он.— На бумаге ясно написано, что скот, которому больше пяти лет, должен ежегодно сдаваться на мясо. А вы подсовываете мне какого-то чужого старого вола. Он уж и из ума выжил от старости.

Пастух в возрасте пророка сначала принимал Малютку за простака, но теперь почесал в затылке, однако стал поучать:

— Ты, сынок, никогда не был пастухом. Ты не знаешь наших дел и обычаев.

Малютка хмуро перебил его:

— Ничего не выйдет, аксакал. Утром пораньше пригоните весь скот на баз. Я приму его, пересчитаю, взвешу, сделаем все как положено.

И он ускакал, оставив старика одного. Приехав на ферму, он сказал заведующему:

— Скот разбрелся по тугаю. Бродят телята и быки, неизвестно чьи, совхозные или частные. Я не могу принять его.

Басбуха словно ущипнули. В общем, наговорили друг другу немало обидных слов. Наконец Малютка настоял на своем. Скот пришлось собрать для пересчета, взвешивания, определения возраста и клеймения.

Пастух, достигший возраста пророка, удивлялся, глядя на ловкие движения и нечеловеческую работоспособность Малютки, и проклинал его в душе: «Вот наказал бог этаким головорезом. Никому ничего не доверяет. Самим своим рожденьем такие, как он, предупреждают о скором конце света».

Как ни старался пастух сбить со счета Малютку, отвлечь его от коров, тот ни на шаг не отходил в сто-

рону и вытер пот с лица да распрямил спину, когда уже зашло солнце.

— Заклеймили сто восемьдесят голов,— сказал Малютка,— остальное закончим утром.

Он запер накрепко ворота, чтобы скот не разбежался, и спокойно зашагал к дому пастуха.

От солнца осталась на западе только розовая полоска, тугай утонул в тумане, дальние предметы быстро сливались с ночной тьмой.

Заведующий фермой сидел на почетном месте и пил чай. Он с ненавистью посмотрел на Малютку, который снял кирзовые сапоги, сполоснул руки и пристроился с краю дастархана.

— Ну что, закончили? — спросил заведующий.

За Малютку ответил дедушка, достигший возраста пророка:

— Осталось около двадцати голов. Заперли в сарае, утром закончим.

— Почему не выпустили пастись? Кто вам дал право запирать в сарае государственный скот на целые сутки? Хотите, чтобы скот исхудал?

— За сутки ничего скоту не сделается, если он упитанный,— сказал Малютка.— Страшнее другое. Скот, который я пересчитал и взвесил, не соответствует бумаге. Половина стада измельчала, вес не тот.

Заведующий фермой помрачнел, насупился.

— Как это, измельчала?

— Очень просто. Вместо пятидесяти крупных волов, как написано в бумаге, я насчитал сорок. Остальные десять — годовалые телки. И еще скажу, половина скота — облезлые старые волы или годовалые бычки с неокрепшими костями. Тут все ясно. Вы растранжирили упитанный скот, а для точности счета вписали в бумагу кого попало, лишь бы было парнокопытное. Власти завтра спросят: где тот скот, который записан у вас на бумаге? Где мясо? Куда оно подевалось? Одним словом, я не могу расписаться и принять этот нечистый скот. У меня не две головы.

Пастух, достигший возраста пророка, испугался и сделал знак жене, которая мигом вытащила припрятанную на всякий случай бутылку водки. Прежде чем наливать в стаканы, он поглядел на своих гостей и понял, что те намерены бодаться, пока не отлетят рога и у того и у другого.

— Не можешь принять, значит? — процедил сквозь зубы Басбух.— Ну это дело твое. Давай обратно сводку и катись отсюда, дорога открыта. Мы найдем другого человека, который примет. Давай бумагу!

Малютка сложил бумагу вчетверо и спрятал в нагрудном кармане.

— Бумагу я отдать не могу.

— А я говорю, верни ее!

— Нет, не могу. Встану пораньше да поеду в центр. Все расскажу Карыкболу. Если ничего не выйдет — поеду к секретарю Гайнекену. Есть, скажу, оказывается, люди, которые пользуются общественным скотом как своим собственным. Все выскажу, ничего не скрою. Я ведь Малютка, что с меня возьмешь? Ничего, по-вашему, не понимаю.

Лицо у Басбуха почернело, будто он только что вернулся с пожара или с лютого мороза. Однако он стушевался и тихонько спросил:

— Значит, бумагу не вернешь?

— Не верну.

Заведующий залпом опрокинул стакан водки и молча стал закусывать, проклиная свою доверчивость и тупость. Зачем было давать Малютке сводку и позволять пересчитывать скот? И какой черт его дернул продавать людям упитанный скот, вместо которого пришлось взять всякую мелочь? Ладно бы он делал это для самого себя, так ведь о людях заботился. А где теперь эти люди? Выкопал сам себе могилу, угождая уважаемым, почетным людям, сам себе выпустил кровь, лишь бы в казане родичей все время варилось мясо. Вот до чего довело желание жить с вышестоящими душа в душу. Где они теперь, все эти уважаемые и почитаемые?

Хозяин дома велел жене вытащить из сундука единственную, завернутую бутылку коньяка и налил еще. Басбух машинально выпил, а Малютка отказался. Он съел пару огромных кусков хлеба, запил большим глотком чая и ушел спать, мол, завтра ему надо пораньше подняться и закончить дело. Старик угодливо побежал за ним, уговаривая на ходу:

— Успел бы выспаться. Сейчас ужин будет готов.

Однако Басбух перехватил его подол и заставил сесть.

— Пусть отдохнет, не трогай его, ангелочка.

В голову ему пришла ужасная мысль — извести Малютку любым способом, найти выход из положения.

Но как от него избавишься? Не убивать же?

Ах уж эта «черноухая напасть»! И в прошлом году он опозорил его перед землемерной комиссией, глазом не моргнул. В результате о нем написали в газете, сняли с работы. Кое-как пришел в себя, оклемался. Благоверные единомышленники заступились, вырвали из беды, выпросили его жизнь, а то бы...

И вот теперь снова под ногами черная пропасть, хоть бей себя кулаком в лоб, кайся, рыдай, Карыкболу ничего не докажешь. Уж не нарочно ли он подослал к нему этого Малютку? Ведь он знает его нрав, обжегся с ним на рисе и все-таки послал. Нарочно, конечно. Неспроста. А он-то, дурак, считал Карыкбола своей опорой и поддержкой.

Басбух резко дернул помутившейся от вина головой и спросил:

— Тот заснул?

— Что вы сказали? — подскочил вздремнувший хозяин.

— Заснул, говорю, Малютка?

— Давно храпит. За день намотался со скотиной. Ну и силен парень.

— Так вот скажи теперь, как нам избавиться от этой напасти?

— Откуда мне знать.

Хозяин испуганно посмотрел на заведующего. Уж не хочет ли тот связать Малютке руки-ноги да бросить в реку. От такой мысли у него мороз пробежал по коже. И он завопил:

— Нет, родной, я не испачкаю свои руки, не совершу преступления в возрасте пророка! И не говори даже. Твоя скотина, ты за нее в ответе, а меня отпусти, мне давно пора на пенсию. Сразу же откочую в центр. Измельчал скот — ты виноват, сам знаешь. Кто говорил мне, отдай вола этому человеку, получи телку? Ты говорил. Этому уважаемому замени старый облезлый скот молодым и упитанным. И я заменял. Ты начальник, я пастух. Мое дело слушаться. А ведь я давно чувствовал, что все кончится худо, и тебя арестуют, и меня вместе с тобой. Нет уж, лучше подальше от тебя. Уеду, пойду по стопам Малютки, выйду перед народом и ска-

жу: простите меня дурака, дожил до возраста пророка, а ума не набрался.

В общем, старик и заведующий фермой Басбух проспорили до глубокой ночи.

Взошла луна, и тугай осветился ее белесым светом. Со стороны реки накатывались влажные волны воздуха.

Малютка, который спал около дома на нарах, ничего не подозревал о споре пастуха и заведующего фермой, не подозревал, что речь идет о нем. Если бы он вдруг проснулся, то увидел бы, что какая-то тень появилась около двери и ушла за дом. Через некоторое время прокралась вторая тень. Замычали коровы, залаяли собаки, но Малютка не проснулся. Поэтому и не видел, как отворились ворота сарая, скот вышел из него и растворился в зарослях тугая. Потом раздался топот скачущего коня, и все снова стихло, погрузилось в сон.

Прошла ночь, небо посветлело, взошло солнце, и тугай ожил, наполнился гомоном птиц.

Малютка очнулся от своего крепкого сна, поднял голову и увидел хозяина, который мешком сидел на чурбане. Малютка вскочил и подбежал к нему весь перепуганный, положил руку на плечо и спросил, уж не случилось ли с ним что, не заболел ли он. Старик за ночь как будто потерял свой человеческий облик, чуть не плача он сказал:

— Скот убежал из сарая. Заведующий фермой срочно уехал на центральную усадьбу.

Малютка подивился хитрости этих людей. Заведующий фермой сгинул с глаз, уехал к начальству, наверное, жаловаться к директору. А ведь он сам открыл ворота и выпустил скот.

Малютка схватился за карман, в котором лежала сводка с печатью о наличии скота, и не нашел ее на месте. Выходит, пока он спал, бумагу выкрали.

Будь другой человек на месте Малютки, тот бы поднял шум, с воплем пустился вдогонку за Басбухом. Этот так не сделал. Он рассудил, что Басбуха уже не догонишь, что эта липовая бумага ему тоже не нужна, раз она не соответствует действительности. Самое правильное, пожалуй, начать все заново, произвести полный учет скота. А уж потом, если он не найдет управы на Басбуха у совхозного начальства, можно будет поехать в районный центр.

Он посадил на коня пастуха, достигшего возраста

пророка, сел сам, и они поехали в тугай собирать скот. Это было нелегкое дело: попробуй собери в кучу строптивых волов и бычков среди непроходимых зарослей. Малютка и пастух орали во все горло, шумели, исцарапались колючками, изорвали одежду, к полудню стала мучить жажда. Старый пастух еле сидел на своей кляче. Но от дела они не отступились. К вечеру им все-таки удалось собрать весь скот и загнать его в сарай.

Всю ночь они по очереди караулили, чтобы скот не сорвал ворота, которые еле держались на гнилых столбах и ржавых петлях. Наутро снова стали пересчитывать животных, взвешивать, клеймить. На этот раз Малютка тщательно записал приметы и вес каждого животного. Только на третий день дело было завершено, и Малютка, падая с ног от усталости, еле добрел до центральной усадьбы. Но он пошел не домой, а направился прямо в контору к Карыкболу. Тот с трудом его узнал, осунувшегося, измученного, похожего больше на призрак, чем на живого человека.

— Каркеке, вы предложили мне стать пастухом, и я им стал,— сказал Малютка.— Начал принимать от прежнего пастуха скот и вот что заметил. Общий счет поголовья скота правильный, как на бумаге, но животные сильно измельчали. Там, где должен быть упитанный вол, стоит худосочный теленок. Корова превратилась в телку, здоровый бык — в дохлого, старого вола. Поголовье скота, вместо того чтобы жиреть и прибавлять в весе, измельчало и иссохло. По тугаю бродят тени крупного рогатого скота. Так вот, я не могу принять такой скот и брать на себя ответственность за то, чего нет. Не стану я пастухом.

Директор после его слов долго молчал, будто язык проглотил, затем стукнул кулаком по столу и велел доставить к нему Басбуха.

— Ну, батыр, расскажи мне, как это получилось, что твои коровы, вместо того чтобы расти и набирать вес, становятся все моложе и меньше весом? — ядовито спросил Карыкбол.— Это что-то новое в сельскохозяйственной науке, поделись опытом.

Басбух что-то промямлил под нос, потом выпроводил Малютку за двери и покаялся. Да, он виноват. Но скот измельчал потому, что надо было поддерживать аульные узы родства. Куда денешься? Часть ушла на карманные расходы отпускников, часть, чтобы закупо-

рить понадежней рты проверяющих. Все расходы, в общем, были сделаны ради славы родного аула. Себе он не взял ничего, кроме куска хлеба, который положен всем.

Директор сразу почуял над своей головой беду. В конце концов, если все выйдет из этих стен, спросят и с него, скажут: куда смотрел? Не рубить же сук, на котором сам сидишь. Однако он дал волю своему гневу, выругал Басбуха, изматерил, накричал, потом тяжело вздохнул и спросил:

— Что же ты посоветуешь предпринять в таком случае?

— Скот до конца года наверняка прибавит в весе,— сказал Басбух.— А пока что закрытый котел пусть остается закрытым. Надо молчать.

— А что же делать с книгой учета? Ведь власти спросят с нас мясо, молоко, исходя из данных в этой книге? Что тогда делать? Где мы возьмем это мясо?

— Потерпим. Если дело дойдет до сдачи мяса, выкупим у населения недостающую часть скота,— сказал Басбух.

— Но мы уже таким образом одну дыру заткнули весной, то есть опять хочешь за счет частников?

— Народ щедр, Каркеке. Народ — неисчерпаемый кладезь. Попробуем нажать на него еще раз. Я думаю, поймут нас, согласятся и помогут нам выполнить план по мясу и молоку. Народ у нас терпеливый, сухожильный.

Директор промолчал, но в душе у него бушевало пламя. Он готов был собственными руками задушить Басбуха. В это время опять вошел Малютка и остановился перед ними с неумолимым, суровым видом.

— Знаю, что вы давно уже успели снюхаться и облобызаться,— сказал он.— Что ж, поищу справедливости в другом месте. Найду управу на заведующего фермой, который раздарил и разменял общественный скот, выставлю на посмешище.

— Ау, Малютка, что ты говоришь,— забеспокоился директор.— Мы ведь аульчане, единоутробные, можно сказать. Давай не спеша все обсудим, оставим зависть, черные замыслы, давай объяснимся.

— А чего тут объясняться? И так все ясно,— не согласился Малютка.

— Давай забудем наши разногласия, забудем зем-

лемерную комиссию,— заюлил Басбух.— Тогда я пострадал справедливо. Ты прав. Но зачем быть посмешищем для людей, честь-то у нас общая? Зачем делать так, чтобы злорадствовали наши враги?

Малютка даже и не посмотрел в его сторону, однако вспыхнул, как сухой камыш от огня, не сумев овладеть собой:

— Вы тут шепчетесь в прохладной комнате, сговариваетесь, а я брожу в тугае в поисках разбежавшегося скота, весь заеденный комарами, ободранный до крови колючками. Все, хватит с меня! Натерпелся! Пойду к самому Гайнекену! Сейчас же.

Малютка круто повернулся и направился к двери. Директор вскочил и, сметая на ходу стулья в кабинете, догнал Малютку, усадил его на диван, как тот ни упирался. Потом велел секретарше принести чаю. На глаза ему попался Басбух, и директор с яростью накинулся на него. Тот стал отступать к дверям, бормоча что-то невнятное в свое оправдание, и выскочил в коридор, спасая свою голову.

Малютка и директор остались одни. Секретарь внесла фарфоровый чайник, закутанный полотенцем, и стала разливать в небольшие пиалки. Малютка сделал жадный глоток и чуть не поперхнулся. В чайнике, оказывается, был коньяк. Директор услужливо подсунул ему плитку шоколада:

— Самое лучшее лекарство для твоих потрепанных нервов.

Крепкий напиток обжег горло Малютке и вихрем ударил в голову. Он отдышался и с трудом проговорил:

— Я не злой человек, но тут уж вскипел! Так поступить с казенным скотом.

— Малютка, дорогой, поживешь — увидишь, я эту собаку до смерти доведу. Все вернет обратно до последнего копыта. Только я прошу, повремени с районом, зачем выносить сор, подумаем о нашей чести. Уважь старшего брата...

— Да ведь я невольно вскипаю!

— Я сам вскипаю,— сказал директор.— Но ты сегодня иди и отдохни, наберись терпения. Завтра пораньше приходи ко мне. Я тебя поставлю на хорошую должность.

Он взял чайник и налил в пиалы.

— Мне хватит,— сказал Малютка.

— Давай выпьем за честь и мое спокойствие,— сказал директор, не обращая внимания на слова Малютки.— Не будем высокомерничать, переливать через край. В конце концов, справедливость выиграет. А этого типа я больше и близко не подпущу к скоту.

Малютка подумал, что директор тут не виноват, его самого подвели, и вот теперь мучается, места себе не находит. Он решил не спешить, время еще есть, сегодня можно отдохнуть, обдумать все как следует, а уж потом действовать.

Он еле дотащился до дому, усталость и коньяк доконали его.

Семья Малютки занимала две комнатки в финском домике. Впрочем, одно название, что семья: их было всего двое с женой. В комнате ничего не было, кроме двух железных коек, печки да стола, списанного и выброшенного из конторы.

С женой Малютка жил неважно. Она редко ночевала дома. При любом удобном случае уезжала в гости к своей родне. И теперь ее не было дома, видимо, уехала погостить к родителям.

Малютка растянулся на железной койке с газетой в руках и вскоре задремал. Проснулся от духоты, в груди что-то давило. Он выволок постель на улицу и устроился на лавочке перед домом.

Привычка спать на улице, едва наступят теплые дни, осталась у Малютки с детства. Он любил смотреть на небо и разглядывать далекие звезды.

Овчарка Басбуха, дом которого находился рядом, всю ночь оглашала окрестности лаем, не давала ему уснуть. Только под утро он задремал, но тут же проснулся с испугом, весь обливаясь холодным потом. Ноги у него заледенели, в груди давило и болело. Он приподнялся, но снова рухнул в постель. Словно сквозь позвоночник у него кто-то продел длинную иголку. Совсем теряя сознание, он вскрикнул жалобно и протяжно. В это время из конторы возвращался ночной сторож и услышал стоны Малютки. Он подбежал к нему со словами:

— Что с тобой, родной мой?

— Ох! — простонал Малютка, не в силах выговорить ни слова. Сторож острым взглядом окинул стонущего, ворочающегося Малютку и завопил на всю улицу:

— Каракурт! Каракурт напал! О-о-о!

Потом сторож кинулся в ближайший дом, а оттуда выскочил сосед Малютки Басбух, на ходу надевая пиджак.

— Не надо теряться, аксакал,— сказал он сторожу.— Против каждого яда есть противоядие. Кстати, наш каракурт не то, что каракурт Кызылкумов. От того сразу протянешь ноги. Сейчас я его вылечу, не беспокойся.

Он велел принести из дома бутылку водки, вылил ее в пиалу.

Сторож запротестовал:

— Не поможет. Скорее садись на мотоцикл и лети к старику Макулбеку. Он умеет заговаривать яд!

Однако Басбух, не слушая его, заставил выпить водку, укрыл Малютку двумя одеялами и сказал:

— Яд выводят ядом.

— А я говорю, поезжай за Макулбеком! — кричал сторож.— Только он может помочь бедняге! Если яд подымется выше, прервется дыхание!

— Дам выпить еще одну бутылку!

— Надо заговорить яд. Это может сделать Макулбек!

— Религиозные суеверия. Все эти заговоры — одна болтовня.

Пока они спорили, солнце уже взошло, а Малютке не стало лучше. Не хватало воздуха, стискивало грудь, временами мутился разум. Драгоценное время для спасения его жизни сокращалось с каждой минутой. Наконец джигит потерял сознание...

Карыкбол узнал о случившемся только в полдень. Он подкатил к дому Малютки на своем «газике», разогнал всех, погрузил больного в машину и велел шоферу гнать в районную больницу. Слава богу, машина не сломалась в дороге, Малютку благополучно доставили в больницу и передали в руки врачам. Те не мешкая засуетились вокруг больного. Один измерил давление, другой послушал сердце, третий сделал укол. Сделали также надрезы на бедрах и выпустили почерневшую кровь.

Широкоплечий русский врач сказал Карыкболу:

— Вы запустили болезнь. Надо было привезти его сюда немедленно после укуса каракурта.

Карыкбол зашипел от злости, как змея:

— Эти подлые темные людишки ничего не сказали

мне. Только зря теряли время, споря друг с другом. Я узнал поздно. Ну, дружище, не пожалей себя! Спаси самого уважаемого джигита нашего аула. Если он умрет, то позор упадет на мою голову, на все мое поколение, на всех потомков.

— Сделаем все, что в наших силах,— сказал врач.

Выходя из палаты, Карыкбол бросил взгляд на Малютку. Тот вытянулся на койке с помутневшими, бессмысленными глазами, взгляд его блуждал по потолку.

Сдерживая рыдания, Карыкбол выскочил в коридор. сел в машину и поехал к дому главного врача Едиля. Ему было безразлично, дома тот или нет, может быть, человек в отпуску или чем-то занят, вытолкает его за дверь. Но сидеть сложа руки Карыкбол не мог.

Он подбежал к двери и позвонил. Едил на его счастье был дома. Он рассказал ему обо всем в подробностях и умолк, будто прирос к стулу, из глаз побежали слезы.

Потом они поехали в больницу, и началась борьба за спасение жизни Малютки. Начались консилиумы, споры, раздумья, и все для того, чтобы спасти его жизнь. Карыкбол впервые увидел людей, о которых читал только в книгах или видел в кино, людей, которые проводили бессонные ночи у постели больного, лишь бы спасти его, не требуя взамен ничего. В эти дни он по-настоящему понял, что в жизни есть нечто более весомое, чем получка, чин, богатство,— это честь, человечность. И только ими определяется настоящая цена человека. Он понял, что для мыслящего человека печаль преобладает над радостью, и главное мучение, главная пытка — это мысль, которая вполне благополучному здоровому человеку другой раз не дает спать ночами.

Он несколько суток просидел у постели Малютки, не зная, что бросить на колеблющуюся чашу весов его жизни, чем помочь страдальцу.

Через месяц Малютка встал с постели как призрак и, опираясь на палку, вышел из больницы.

Весь город был залит летним солнцем, но ему тяжело дышалось здешним воздухом, пропитанным чадом машин. Ему тяжело было смотреть на длинные улицы, забитые народом, словно вены на висках уставшего человека. Но у него здесь были еще свои дела, и они повели его за собой.

Еле перебирая ногами, как дитя, только что научив-

шееся ходить, Малютка побрел к зданию райкома партии. Войдя туда, он пристроился в конце очереди на прием к секретарю. Знакомая секретарша Акбота, которая составляла список желающих попасть на прием, сказала Малютке не очень доброжелательно:

— Если вы прибыли не по государственным делам, то секретарь вряд ли вас примет. Вам лучше обратиться ко второму заместителю исполкома. Вы расскажете ему о своем положении.

Малютка ничего не сказал ей в ответ и остался ждать. Он подумал, что терять ему нечего, и бояться некого, раз он чудом спасся от смерти. И без того люди считают его вроде ребенка, который еле выучился говорить, бестолковым человеком, которого жизнь мотает во все стороны как хочет.

К обеду в приемной у секретаря поредело, и наконец он остался один. И тут увидел, что с последним посетителем вышел сам Гайнеке, посматривая на часы. Проходя мимо Малютки, он спросил:

— Чего сидите?

— Хотел зайти к вам, не пускают,— сказал Малютка.— Просто не знаю, кому и пожаловаться.

При последних словах секретарь как-то съежился, видать, жалобы ему надоели. Однако горящие глаза Малютки, исхудавшее лицо задержали секретаря, который научился распознавать людей по одному только внешнему облику.

Хотя и был перерыв на обед, он не смог не выслушать Малютку. Повернувшись, он кивнул головой и прошел в кабинет.

Спустя неделю после этого очередное бюро районного парткома рассмотрело вопрос о разбазаривании крупного рогатого скота в совхозе «Сунаката», и дело заведующего фермой Басбуха было передано в прокуратуру...

МНОГО ЛИ БОГАТСТВА НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ

Никогда еще Асанали не был в столь плачевном состоянии. Сердце его омертвело, словно побитое морозом, душа померкла, и лежал человек на диване, отвернувшись серым лицом к стене. Уже второй день пребывал он в тяготе, и ни от кого никакой ему не было

помощи, о нем словно бы все позабыли. Даже не заявлялся сосед-попрошайка, который обычно наведывался каждый день, почесывая за ухом да похмыкивая, чтобы выпросить то одно, то другое. И почтальон пропал, приносивший газеты и журналы, а затем остававшийся пить чай. Словом, все как сговорились и решили бросить его на погибель. Родная жена и та с утра раннего собралась куда-то, бросив дела, и несчастному Асанали казалось, что он остался один во всем ауле, остальные же перекочевали неизвестно куда.

Скоро ему стукнет сорок пять лет. До этого Асанали хворал всего раза два. Этот смуглый, словно прокопченный, жилистый мужчина и теперь не был болен — его свалила душевная смута.

Вот что является причиной его невыносимых страданий: он беден! И это стало беспощадно ясным сейчас, когда кругом так откровенно говорят: «Сегодня человек — это деньги, деньги — это человек».

А началось с того, что его любимый средний сынок закончил школу и решил ехать в столицу поступать в институт. «Что ж, учиться так учиться, дело хорошее, разве я чего-нибудь пожалею для моего Меирбана?» — подумал отец. Детство Асанали пришлось на годы войны, отец-дехканин рано приобщил сына к крестьянской заботе-работе, и тощему мальчишке пришлось не столько учиться, сколько косить, пахать, крутить ручную молотилку, поливать огород и возиться с дынями. Где уж было тут думать об учебе в городе. Но, как говорится, аул мечты находится всегда рядом. Хотелось и Асанали выбиться в люди. И в мечтах незаметно пролетело время — не успел он и опомниться, как прошли годы войны, и его мальчишеские ступни, огрубевшие от беготни босиком, познали наконец, что такое обувь. Тогда он и заметил, как у других дела идут в гору, а в его сторону никто и не посмотрит, и не чихнет даже, потому что он как был неучем, так неучем и остался. «Хватит,— решил он,— пусть подохну, но выучусь».

Кое-как поступил на заочное отделение педагогического института, но за множеством дел едва поспевал за учебой и растянул ее на целых восемь лет. Еще помнят в ауле, как в те годы Асанали, привязав возле арыка телку, садился рядом на траву, обложившись книжками. Он шутил: «Я пасу не корову, а экзамены». И эти слова повторяли в ауле как новую поговорку.

Таким образом Асанали стал наконец сельским учителем. И хотя он выучился, но высоко взлететь все же не сумел. Не утолил до конца и жажду знаний. Словно верблюд, испробовавший дурманной «круг-травы», Асанали не смог уйти от дымного и пыльного аульского житья, кружился на том же месте, ведя жизнь, мало чем отличающуюся от прежней. Женился по совету отца на дочери одного трудяги-дехканина и задымил своим очагом. Преподавал историю в средней школе, жена работала в колхозной библиотеке. Сколотил деньжонок и, наняв мастера, выстроил небольшой саманный домик. Собирался обзавестись современной мебелью, купить ковер...

Но тут внезапно умер отец. Все накопленные деньги ушли на похороны, поминки, на подарки тем, кто прибыл почтить память отца. Молодоженами купили они железную кровать — и остались на долгие годы с этой скрипучей койкой. И если случалось принимать людей, гости вынуждены были сидеть на кошме, согнувшись в три погибели за низеньким столиком...

А тут еще, глядя на других, загорелся он страстью к «колесам», то есть к машине. И вот, урывая от каждой получки, накопил он три тысячи рублей и испытал волнение, увидев, что вполне реально исполнение мечты. Если к собранной сумме присовокупить будущие отпускные, то был шанс завести себе «Запорожец»...

В это время старшего сына призывают в армию. По заведенному обычаю, на проводы служивого приглашаются все его друзья-приятели, знакомые, соседи, сверстники — и выходит той почище свадьбы...

Ничего не поделаешь — пришлось на базаре покупать овцу, тащить ящиками шампанское и два дня угощать всех этих развеселых ясноглазых юношей и девушек. После отцовский долг повелевал ему проводить сына до города, а там встретились знакомые, которые узнали, в чем дело, и живо намекнули, что надо бы отметить такое событие в ресторане. Полдня пришлось просидеть с кучкой приятелей, угощая их чертовски дорогой, словно это был эликсир бессмертия, ресторанной водкой... И, с честью проводив сына в армию, Асанали вернулся домой с похудевшим карманом и с помутневшей, как в сумерки, головою.

Ладно, подумал он, было бы здоровье, а деньги придут. Бедность не порок, как говорится, была бы честь

соблюдена. За сына ведь старался, теперь он может быть спокоен... Но напрасно Асанали думал столь благодушно. Сын-то и не собирался успокаиваться на этом. От него пришло письмо, где слова «высылай» и «деньги» повторялись раз десять. Асанали рассердился: «Эй, непутевый, ты что это, решил там покупать кирпичи и строить новый дом? Или ты думаешь, что мы сеем деньги на поле?» — написал он в ответном письме. Но, не выдержав нытья и ворчания жены, все же отправил сыну сто рублей.

Если первенец сын, находясь за тысячи верст, сумел запустить руки в отцовский карман, то чего же ожидать от других детей, когда и они вырастут, сердито соображал Асанали. Достаток, думал он, богатство словно алтайская лиса: взмахнет хвостом и исчезнет вдали, за высокой сопкой.

Асанали стал прихватывать все свободные уроки. Можно сказать, он не вылезал теперь из школы. Кто сам заболел, у кого дети, кто вышел в декретный отпуск — все эти учителя могли рассчитывать на то, что их охотно заменит Асанали; физкультурник, уехавший на охоту, математик, отправившийся на базар,— всякий предметник мог теперь быть спокоен, имея в виду Асанали. У него появилось среди учителей прозвище — Универсал Асанали или еще Знаток Асанали. А у него лишь фалды пиджака развевались на бегу, когда он несся с урока на урок.

Иногда у него спрашивали вроде бы в шутку:

— Эй, почтенный, куда деваешь деньги, которые ты огребаешь лопатой?

А ведь какие там деньги, если сравнить с тем, что имеют другие. Не забудет Асанали, как в конце прошлой четверти был в гостях у математика в день его рождения. Ведь всего пять лет работает после окончания института человек, а в доме у него добра не перечесть. На полу ворсистый палас, в углу комнаты цветной телевизор; огромная, как пещера, гостиная сплошь завешана коврами, стен не видать. Стол ломился от дорогих яств... Гости, одно начальство да интеллигенция села, с веселыми шуточками принялись за пир. И сам Асанали, рот до ушей, смеялся и пировал, запуская руки в блюдо с нежным копченым мясом, а когда ему предложили произнести тост, то он совсем растерялся и, вертя в пальцах бокал, пробормотал что-то невразуми-

тельное, уставясь в угол стола. Жена в досаде ущипнула его за ляжку.

А растеряться было от чего. Кругом сидели исключительно авторитетные люди, разговоры велись самые значительные. Кто-то в какой-то официальной поездке был за одним столом с министром; другой получил неслыханное повышение. Хозяин-математик рассказывал: «Мой деверь в городе достал для меня целую флягу майского меда, а у моей машины баллон лопнул, пришлось мед оставить». И тут Асанали, не выдержав, ни с того ни с сего брякнул: «Оу, стоит нашему брату появиться в городе, как всякие там знакомые норовят очистить наши карманы. А твой деверь-чинуша, должно быть, совсем иной человек...» И, почувствовав, что высказался невпопад, Асанали совсем потерялся и приуныл. Он потихоньку выбрался из комнаты и ушел домой.

После этого случая Асанали задумался: отчего у других добро держится в доме, а у него, что ни собирай, все вылетает в трубу. Прошлой осенью он, например, на последние деньги купил на базаре трех овец-двухлеток и отвез к родственнику-чабану, понадеявшись, что там они откормятся и принесут приплод. «Хочу,— сказал он родственнику,— к возвращению сына из армии иметь кое-что для тоя». И потом, как ни хотелось ему мяса, он сидел с семьей на одном чае и хлебе, а овец не тронул. Прошла студеная зима, настало весеннее тепло, покрылись степные холмы тюльпанами... Наступило жаркое лето.

Старший сын наконец вернулся домой, отслужив свой срок. Видимо, неплохо исполнял служебный долг, коли вся грудь его оказалась увешана сверкающими значками. И обрадованный отец, задумав на славу угостить родичей, помчался к чабану. А тот его как обухом по голове: «Всю зиму и лето берег овечек, от всей души старался, а теперь вдруг напал на них кровавый понос. Сижу и жду, когда из района приедет ветврач. Твои-то как раз и подохли, вон висят шкурки, можешь взять их». Асанали горестно воскликнул: «Ну почему же только мои три овцы подохли, почему кровавый понос схватил моих овец и не тронул семьсот совхозных и твоих двести штук? Есть ли у тебя совесть, братец? Бога ты не боишься...» На что здоровенный мужик — ох и черна была его рожа! — ответил не моргнув глазом: «Да у

меня у самого подохло двадцать штук». Так ни с чем и пришлось вернуться домой Асанали. Собравшихся гостей он кое-как ублажил курятиной да напоил досыта водкой.

...А теперь любимый сынок, средний, получил аттестат зрелости и запросился: «Куке, отвези меня в город, желаю учиться дальше». Сидит, вытянув шею, и смотрит на отца... Всю ночь он шептался с женою, лежа в дальней комнате, пытаясь придумать, как бы выкрутиться из нового затруднения.

Нужны деньги. Покопались в большом сундуке, где они обычно хранились,— нашлось двести рублей, все, что осталось после тоя в честь возвращения старшего сына из армии.

Занять? Но сейчас середина июля, все учителя разъехались, как только начались каникулы. И в этом тоскливом краю, где гуляет ветер, называемый Львиной Гривой, да шуршит песок, набиваясь во все щели, остались одни старики да старухи, живущие на пенсию. Просить денег не у кого. У Асанали от волнения сердце колотилось у самого горла, пот лил со лба градом. Что делать?

Наутро, проснувшись раньше воробьев, Асанали лежал в постели и думал, думал. Вот он трудится не покладая рук, корпит над книгами, пишет планы, дает уроки. А что толку? Спит на той же скрипучей кровати, которая у него со дня свадьбы и с которой он как бы сроднился. Дети делают уроки за единственным столом, ссорятся и дерутся из-за места. Гостей приходится сажать на старый войлочный ковер, приданое жены... А красный «Запорожец», который когда-то он хотел купить, бегает лишь в его воображении, когда он закрывает глаза. Почему у него не накапливается добро, а все деньги уходят, словно в песок вода?

Дети вроде бы выросли. Старший сын отслужил армию. Следующие за ним — Меирбан, Меирджан, Кунсулу, Месулу — донашивают друг за другом обноски, пользуются оставшимися после старших учебниками и как будто требуют не слишком много расходов. Подрастающие шустрые дочери ведут хозяйство. Все вроде бы хорошо... Вот только бы помочь любимому Меирбану — и делу конец, можно бы успокоиться, отдохнуть после полудня жизни.

Он поднялся с кровати, громко кашлянул, вышел во

двор. Солнце поднялось на добрый бросок аркана. Под старой вишней две его дочери играли в куклы. Он спросил у них, где старшие братья. Ответили, что самый старший повесил фотоаппарат на плечо и ушел спозаранок. Парень, вернувшись из армии, устроился фотографом в районную газету и теперь, наверное, отправился снимать какого-нибудь передового чабана, сжимающего в руке свой посох, словно державный знак, или чумазого тракториста в шапке набекрень... Меирбан же, средненький, ушел, оказывается, с кетменем на плече — поливать дыни. «Ох ты, мой бедный мальчик,— сокрушенно подумал отец.— Ночами сидит не смыкая глаз, готовится в вуз, а не забывает и об отцовском поле. Вот кто утешит мое сердце и возвысит мою голову!»

И, утешившись этой мыслью, отец пошел было со двора, но вдруг резко остановился. Что-то ярко сверкнуло в темноте собачьей конуры. Асанали наклонился к будке, сунул туда руку — и вскоре с удивлением рассматривал блестящее автомобильное зеркало. Откуда оно появилось тут? Спросил у дочерей — те ничего не знали. Покрутил в руках зеркало, сунул под застреху сарая да и пошел себе дальше.

Дом его коллеги-математика находился в конце улицы, это было внушительное сооружение. Асанали решил: если кто сможет пособить, так это математик. Его сын тоже закончил в этом году десятилетку, и неделю назад во время тоя, устроенного в честь этого события, родитель во всеуслышание объявил, что собирается в путь, дабы пробить дорогу в институт своему сыну, простому парню из аула... Может быть, надеялся Асанали, возьмет заодно и моего Меирбана?

Громадный волкодав на цепи задохнулся от лая, когда Асанали вошел во двор. Не раз бывал он в этом доме, но так до сих пор и не уяснил, сколько же в нем комнат. В первой комнате увидел молоденьких девушек, ткущих ковер. В другой наткнулся на джигита, только что закончившего среднюю школу,— под громкую музыку парень танцевал, старательно топча ногами пол. Асанали посмотрел и никого, кроме парня, не обнаружил в комнате: выходит, тот танцевал сам с собой! Учитель шарахнулся в сторону и в следующей комнате увидел почтенную старушку, сидевшую за самоваром. Далее последовала совершенно безлюдная комната... Асанали переходил из двери в дверь, в голове у него

все перемешалось, в глазах закружилось, но наконец он наткнулся на самого хозяина дома, которого искал. Тот поднял глаза от раскрытой книги, узнал вошедшего и сдержанно мотнул головою, указывая на почетное место.

Асанали изложил ему свою заботу.

Тот коротко спросил: «Сколько кладешь?»

Этот ответил: «Чего нет, того и на скакуне не догонишь... Даю сыну на дорогу да еще на пропитание рублей двести».

Тот нетерпеливо мотнул головой: «Нет, я спрашиваю, «проходных» сколько кладешь?»

Этот не понял: «У моего сына дело, в общем-то, неплохо пойдет, я думаю. Парень тянется к знаниям».

Математик вскипел: «В наши дни без подмазки нечего соваться туда. Будет твой парень бродить, как заблудившийся гусь, затем дадут ему пинка в зад на экзаменах, и вернется он в родные края несолоно хлебавши. Если хочешь, чтобы он поступил учиться, готовь четыре тысячи!»

Асанали ужаснулся: «Что ты, почтенный! Весною были поминки по старику, год как раз исполнился. Старший сын вернулся из армии... Нечего и на базар тащить, чтобы прокормиться с женою и детьми, а ты говоришь...»

Математик совсем выходил из себя: «Ну нет денег, так и сиди! Взаймы, говоришь? А я откуда возьму? Вчера вон машину мою разграбили, словно внутри у меня все выпотрошили, еле живой сижу. Ужинал я у шурина, вышел на улицу, смотрю — нет у машины ни фар, ни зеркала, все повытащили ворюги и смылись бесследно. Задержись я еще немного — сняли бы и колеса... Ночь не спал, утром ходил к участковому».

Асанали в утешение отвечал: «Не убивайся. Если взяли озорники из аула, то найдутся фары».

Тот не желал утешаться: «Не найдутся, говорю! Не найдутся».

Удрученный Асанали предпочел уйти, понимая, что нечего ждать добра от человека, который света белого не видит от досады и в ярости колотит кулаками о землю. На улице гудел ветер, летела пыль. Тутовое дерево, стоявшее во дворе, со стоном гнулось под напором ветра. О, мать-природа не особенно баловала аул, затерявшийся в степи, как родинка на лице. С наступлением лета наваливалась такая жара, что земля съеживалась, словно шкура, брошенная в огонь. Дети зака-

пывали яйца в песок и потом ели их крутыми. А спадет чуть-чуть жара — уже несутся на аул ветры: с юга — иссушающий глотку, опаляющий ноздри суховей, а с другой стороны — пыльный, несущий тучи песка, бешеный ураган Львиная Грива, все сметающий со своего пути. Пройдут эти бедствия над степью — и лежит она, голая, бурая, словно пережаренная печенка на сковородке.

Учитель выбрался на улицу — и тут его подхватило пыльным ветром. Даль затянуло марево, небо помутнело. Оглянулся Асанали и увидел, что коллега-математик вышел со двора и идет следом. Тут Асанали и вспомнил про зеркало, бросился назад и обрадованно сообщил:

— Эй, если я не ошибаюсь, зеркало твое находится на моем дворе! Сам видел его...

Услышав это, математик так и ринулся вперед. Поскакал вприпрыжку в направлении дома Асанали. И тот увидел, каким необычным может быть бегущий против ветра человек. Руки его вращаются, словно пропеллеры, полы пиджака развеваются, как крылья, а сам бегущий уподобляется ветряной мельнице, чудом летящей по воздуху. Глядя на него, Асанали вдруг сообразил, что сейчас, когда обнаружится зеркало, подозрение может пасть на него... именно на него.

Так оно и случилось. Дело стало разворачиваться с удивительной быстротой. Не успел он вздохнуть и выдохнуть, как уже навстречу спешил математик в сопровождении участкового милиционера. Тот держал в руке злополучное зеркало. «Пусть твой сын-фотограф явится в районную милицию,— сказал участковый.— Это его рук дело».

Каждое слово милиционера падало на его поникшую голову, как унизительный щелчок в макушку. Асанали проводил взглядом удалявшихся математика и участкового. Во что превратился мир, о аллах, думал учитель. Пошла коза просить рога, а у нее отрезали и уши. Подумать только — старший сын обвиняется в ограблении машины. Парень, который помрет, пожалуй, с голоду, если не поставить еду ему под самый нос. Хорошо еще, что смог научиться в армии говорить по-русски. До сих пор робеет перед девушками, не смеет поднять на них глаза. Асанали всегда был строг с детьми, держал их в руках — каким же образом мог сынок ре-

шиться на воровство? Скорее всего, соображал Асанали, дурака обвели вокруг пальца или втянули в дело помимо его воли.

Угнетенный такими мыслями, учитель подошел к своему дому. Накричал на жену, ни в чем не повинную, вечно озабоченную думою о хлебе насущном. Сам не понимал, в чем обвиняет ее, бедную. Пнул пустое ведро, попавшееся на пути. Отшвырнул ногою кота, перебегавшего через двор. Напугал остолбеневших от удивления дочерей... С шумом-гамом, меча молнии, вошел в свою комнату и, не раздеваясь, рухнул на железную койку.

На улице стонал ветер, кружились вихри, осыпая песком стены дома; в комнате стояла тусклая полумгла. Асанали уснул, словно провалился в беспамятство.

И снова — в который раз — приснился красный «Запорожец».

Когда он проснулся, солнце уже село, настали поздние сумерки. Асанали взглянул на жену, сидящую под лампой с шитьем, и закряхтел от смущения. Покашливая, поднялся с кровати, молча прошел на кухню и долго пил остывший бурый чай.

— Где Меирбан? — спросил он.

— Поехал в район, в милицию,— был ответ.

— Зачем это в милицию?

— Не знаешь, что ли, своего сына? Такой же упрямый, как ты. Увидел повестку в милицию, заявил: знаю, кто подсунул зеркало старшему брату. Это, мол, сынок Зимогора Зыттыбая; слышал я, говорит, как он уговаривал брата: пусть полежит в вашем дворе, у вас, мол, обыскивать не будут. Вот с этим и поехал сынок в милицию, чтобы, значит, разоблачить перед всеми этого ворюгу, Зыттыбаева сына.

— Пришла беда — отворяй ворота,— только и вздохнул Асанали,— Еще этого не хватало...

Меирбану давно пора ехать на учебу в столицу. А денег нет как нет... Характеристики тоже нет. Девушка-комсорг, которая должна была ее выдать, внезапно сбежала с джигитом— вероятно, был у них тайный сговор... А тут еще это зеркало, милиция, осатаневший от злобы математик... «Нужно было мне брякнуть ему про зеркало,— досадовал Асанали.— Теперь может это повредить моим детям, неспособным даже у овцы отнять еду».

Ветер Львиная Грива разбушевался так, что нельзя было и глаз открыть в пыльной буре. Два дня Асанали просидел дома, упрямо выжидая чего-то. На третий день ветер стих, пыль на улицах улеглась. Старшего сына все это время не было — он в злополучный день как уехал снимать чабанов, так и проторчал там. Едва он, пыльный и усталый, переступил порог дома, отец загнал его в угол и учинил строгий допрос. И сразу же получил признания насчет Зимогорова сына. Тот попросил оставить зеркало до окончания уборки кукурузы. Асанали надавал по шее своему старшенькому и тотчас отправил его в райцентр, чтобы он нашел Меирбана.

Прождал еще день — а от мальчиков никаких известий. Словно пропавшие странники с острова Барса-Кельмес... Что у них случилось? Не выдержал Асанали, сам поехал на автобусе в райцентр.

В полдень был уже там, шел по улице, не глядя по сторонам. И вдруг новенький светлый «Москвич» поравнялся с ним и резко затормозил. Из машины вылез городской франт в сером костюме, в темных очках и щегольской вельветовой шляпе, с галстуком, узел которого был с кулак толщиною. Разлетелся, улыбаясь, к Асанали — и он только тут узнал своего коллегу-математика. Тот благодушно тряс руку Асанали, хлопал его по спине, словно ничего между ними не было. Сообщил: «Я забрал свое заявление из милиции. Ведь нашлось, чего же еще мне надо? А твой Меирбан упрямец, оказывается. Принялся в милиции права качать... Смотри, как бы в яму не скувыркнулся, споря с властями...»

Асанали заметил, что в машине сидит сын математика, ровесник Меирбана. «Да, да,— сказал в ту же секунду математик,— везу его в столицу устраивать на учебу. «Проходные» в кармане, буду целый месяц жить в Алма-Ате. Не вернусь, пока не затолкаю его в какой-нибудь институт».

Через минуту машина взревела и, словно юркий шарик ртути, ускользнула в пыльную даль, где реяли обманчивые миражи. Асанали долго следил за нею взглядом. Настроение его, и до этого неважное, вовсе упало. В глазах опять мелькнул призрачный «Запорожец».

Вскоре он был у районного отделения милиции. У входа он столкнулся со своим средненьким, которого вели куда-то. Парень был весь измятый, сгорбленный, сверкал глазами и настолько похудел, что хоть но-

жи точи об его скулы. Стоя перед отцом, Меирбан рассказал, что было с ним. Его, оказывается, задержали как возможного соучастника кражи, хотя парень сам явился в милицию. Он начал спорить с сотрудниками — и погорячился... Старший же брат, как выяснилось, вовсе и не заявлялся в милицию, до сих пор шатался неизвестно где.

Услышав все это, Асанали словно окаменел. Лицо его стало страшным, щека задергалась. Оставив сына, он пошел искать начальника милиции. Но оказалось, что почти вся милиция во главе с начальником отправилась в совхоз на уборку кукурузы. На местах не было ни зама, ни пома, ни исполняющего обязанности. Тогда Асанали обратился к дежурному, находившемуся за зарешеченным окошком. Молодой милиционер сидел на стуле, словно прибитый к нему гвоздем. С первых же слов разговора взаимопонимания не получилось.

— Освободи моего сына,— задыхаясь, молвил Асанали.

— Не положено! — казенно отвечал дежурный.

— Оу, ведь нашлась пропажа, пострадавший забрал свое заявление, так зачем же держать за решеткой невинного мальчишку? Освободи его.

— Не положено, аксакал!

— Почему это?

— Потому что ваш сын задержан за грубость перед милицией.

— О, значит, он пошел в родню своей матери. Был у нее брат, у которого на языке колючки росли, мог всякого задеть за живое,— пролепетал вдруг Асанали.— Пусть земля ему будет пухом, но родственник, скажу прямо, слыл большим матерщинником. Коли не ввернет какое-нибудь крепкое словцо в речь, то вроде бы и пища для него была не впрок. Даже богохульство допустил он перед муллой, когда тот совершал обряд обрезания. Заберется, бывало, на холм у дороги, сидит и поджидает путника. Увидит кого, громко зовет к себе. Ну, тот сворачивает с дороги, подъезжает — а мужик его с горы матом. За что? Да ни за что. Сидит человек на коне перед ним и ничего не понимает. В его рот, как говорится, вбегала белая собака, а выбегала черная...

Но внезапно он смолк, сообразив, какую несусветную чушь несет, стоя возле решетчатого окошка. Рас-

сказывает милиционеру о старике, которого давно закопали в землю... А тут родной сын, беззащитный, сидит в кутузке, тогда как ему пора ехать на учебу... Асанали отдувался, то и дело кругля щеки, словно держал во рту кусок горячей лепешки. Не найдя никакого выхода из положения, повернулся и быстро направился к двери.

А на улице вновь разыгрался ветер, закурилась по дорогам пыль. Вдруг откуда ни возьмись показался их участковый! Шел вразвалочку, шевеля оттопыренной на бедре кобурою с оружием, в лихо заломленной фуражке. Асанали подскочил к нему и, давясь от внезапно подступившей сухоты в горле, начал умолять, просить, стараясь говорить как можно убедительней и разумнее:

— Буду век обязан вам, братец... Ведь я все же учил вас в школе десять лет. Отпустите мальчишку...

Участковый отвечал, словно катая языком камешек во рту:

— Почтенный, мы ни минуты не держим безвинного. Ваш сын оскорбил достоинство служебного лица, за что и должен понести наказание. Освободим, когда уплатит штраф.

Лицо у Асанали перекосилось. Он почувствовал, что мольбами этого милиционера не проймешь. И все же снова попытался улестить его вкрадчивой мягкостью речи, которой никогда в прошлом не было у него. Но все оказалось напрасно — милиционер ему решительно отказал.

В милиции Асанали настолько растерялся, что стал даже искать сочувствия у непреклонного дежурного за решетчатым окошком. Но наконец, поняв всю бесплодность своих усилий, он удалился...

Вернулся он в милицию не скоро. Привел за руку старшего сына: «Вот, посадите этого, а Меирбана отпустите, ему на учебу надо ехать». Но участковый на такую замену не пошел и потребовал уплаты штрафа.

Ударь камнем сову или совой по камню — все равно умрет сова, подумал он и послал старшего сына домой за деньгами. И уже глубокой ночью увез вызволенного из кутузки Меирбана.

А к концу недели проводил его на поезд, едва сумев наскрести ему шестьдесят рублей на дорогу. Печальным

возвратился он домой и, привычно взобравшись на железную кровать, предался невеселым размышлениям.

Жить стало сложно. Вот наш аул, затерянный в степи, добыча свирепого ветра Львиная Грива, и тот стал жертвой новых дурацких обычаев. Родители, у которых дети подходят к совершеннолетию, с ранней весны принимаются скакать туда и сюда, словно козы, у которых свербит в заду. Гонят на базар блеющих овец, всю зарплату месячную прячут на дно сундука... Продают спекулянтам ковры, срывая их со стен. А все почему? Да потому, видишь ли, что дитя заканчивает среднюю школу. На пир зовут директора школы и заведующего районо — обязательно обоих вместе. Угощают всякое аульное начальство и всех, кто имеет хоть какое-нибудь касательство к тому, что дитя должно поступить в вуз... Родитель бегает, суетится, волнуется так, словно учиться должен он сам, а не его ребенок.

Наконец избалованное дитя едет в столицу и, провалившись на первом же экзамене, вскоре возвращается домой. И тут начинается настоящее паломничество: соседи, родня, знакомые идут с утра и до вечера, выражая свое сочувствие.

«О, если ваш сын не поступил в этом году, то обязательно поступит в следующем. Лучше поздно, чем никогда!»

«Эй, не говорите мне ничего,— не желает утешаться родитель.— Вот этому скажите, сосунку безмозглому. А меня утешать нечего».

Встретит незадачливого родителя на дороге знакомый — сойдет с коня, приблизится к нему с сочувственным видом и, смущенно потупившись, начнет издалека:

«Должно быть, ваш городской друг слишком многим обещал помочь, запутался с ними и ослабил узду... Или ваш парень сам растерялся, увидев такое скопище людей, и сделал что-нибудь не так, как нужно... Но не расстраивайтесь. Дитя еще молодо, все впереди... Если бы не армия, в будущем году мы все собрались бы и взялись за дело по-родственному. Ведь вы знаете, что один из наших в столице заделался писателем...»

Стоит только представить Асанали подобные разговоры, у него тяжко становится на сердце и хочется ему вскочить и убежать куда-нибудь подальше в степь. «О судьба,— умоляет он,— не дай мне уподобиться та-

ким родителям, не выставляй мои седины на посмешище».

А когда-то никого не интересовало, если ты задумал учиться. Ты сам устремлялся к своей цели, и никто не вел тебя за руку. И пусть не было у тебя за душою и дырявой копейки, но если ты успешно сдавал экзамены, то и поступал учиться.

Теперь же, отправив сына без денег и без знакомств, Асанали чувствовал себя несчастным... С улицы вошла жена с полным ведром воды, зажгла свет и, брякая посудой, принялась за домашнюю работу. Даже по этим звукам ясно было, что на душе у жены неспокойно.

— Что же это такое! Пока ходила по дворам, разносила почту, теленок высосал все молоко,— сказала она.

Муж только мотнул головой на подушке.

— Теленка надо сдать на мясо,— решил он,— а вырученные деньги вышлем Меирбану. Пусть у мальчика будет лишняя копейка-другая...

Жена возмутилась: как, единственного теленка отдавать? А не лучше ли ему пойти пасти деревенское стадо, чем валяться целыми днями на этой койке? Ведь она-то сама пошла подрабатывать на почту...

Асанали отказался: наниматься в пастухи ниже его достоинства. Он не желает быть посмешищем всего аула.

Жена, видимо, решила добиться своего. «Ох, что это вдруг гордость тебя заела,— начала она.— Вспомни, как за все время, за все двадцать лет нашей жизни ни на копейку не увеличился наш достаток. От твоего «когда-нибудь» и «в будущем» у меня уже почернело в груди».

Учитель отбивался: «Не горячи мою кровь, она и так кипит!»

Жена продолжала: «Ты думаешь, мне самой было легко отправлять сына в город без денег? Приснился он нынче: стоит бледный, под мышкой держит большую лепешку. Я сначала подумала, что это книга, а потом гляжу — свежая лепешка». И, не зная, как объяснить сон, жена отвернулась и хлюпнула носом.

Он потихоньку улизнул из дома и выбрался на улицу. Были поздние сумерки, ветер стих. Надвигалась теплая бархатная южная ночь... Вскоре небо опустится ближе к земле — и тысячи звезд появятся в нем. На улице уже не было ни души.

И такой просторной представала степная земля и небо над нею, столь значительным и торжественным было молчание над степью, подобной безбрежному океану, что все человеческие заботы, надежды, неудачи, усталость, время, то тяжкое, то легко ускользающее, и все неизмеримые дороги жизни, по которым следуют тысячи разных, непохожих друг на друга людей,— все говорило ему, что его существование ничем не выделяется среди сонма прочих жизней, и осознание этого поддерживало в нем волю к жизни.

Если быть строгим судьей самому себе, то надо признать, что все, чего он желал, достигал или не достигал,— все это было суетным времяпрепровождением. Жизнь получилась так себе, словно по пословице: «И телега не сломалась, и никто не умер».

Осталось их не так уж много, дней его жизни. И если оставшееся время использовать на то, чтобы, надрывая кишки, наконец разбогатеть, то на какую из многочисленных жизненных прорех наложит он заплатой это свое пресловутое богатство?

Дети, слава аллаху, уже почти выросли. Старший сын, считай, на ногах; средний тоже начал свой самостоятельный путь... Что же делать дальше ему, отцу этих детей? Учиться науке ловкачества у коллеги-математика? Собирать барахло, обманывать простодушных земляков? Лизать пятки у начальства?

Нет уж. Пусть не получится так, как сказано в другой пословице: «Выбрав в спутники всадника, пеший рискует встретить зарю в одиночестве». Уж лучше быть с теми, с кем он всегда вместе шел по жизни. Вырастить бы щенят своих неразумных да суметь бы внушить ученикам уважение к честности и к рабочему поту. И большего, пожалуй, ему не нужно.

Он шел по степи, под темным небом, и чувствовал, как глубокий покой овладевает его сердцем, наполняет грудь силой.

А вскоре после этого вечера Асанали получил письмо величиною с ладонь. «Куке, я поступил в институт»,— сообщал отцу Меирбан.

Теми же днями на белом «Москвиче» вернулся в аул коллега-математик. Он с гордостью оповестил всех: «Мой Мархабат поступил в вуз». После месячного отсутствия вид у математика был усталый.

ВЕТЕР ЛЬВИНАЯ ГРИВА

Доморощенный табиб Патшабай имел обыкновение с пеной у рта доказывать всем встречным-поперечным, что, мол, человеку не положено умирать от хворостей. Другое дело, угодишь невзначай под машину или в огонь или утонешь, тут уж, как говорится, сам аллах ничего не поделает; а вот умирать из-за болезни, по словам аульного лекаря, глупо. В такой смерти повинен только врач, который просто-напросто неправильно лечит. Слушая, как Патшабай рьяно спорил с дипломированными врачами, уличая их в нерадивости и бестолковости, земляки простодушно посмеивались. Однако смех смехом, а доля истины, может, и была заключена в утверждениях аульного прорицателя. Во всяком случае, Омирсерик подумал об этом сегодня, когда, в жизни не болея и не имея дела с белыми халатами, вдруг приоткрыл на миг ворота в сумрачный мир, именуемый тем светом. Как это случилось?

Пришла вчера вечером срочная телеграмма от друга-историка из столицы: дескать, собираюсь на пару дней завернуть в гости. Остальное яснее ясного. Друга следует встретить по всем правилам степного гостеприимства. Ведь, как говорят в подобных случаях казахи, конь его нечасто оставляет следы в этом краю. А потом, какая честь! Не всякий день и не к каждому в ауле приезжает столичная знаменитость, о которой поговаривают, будто она не то «науку написала», не то «книгу защитила». Не беда, что не всем понятно, как это можно писать науку и тем более защищать книгу. Важна слава, молва, которой потом полгода будешь сыт без еды и питья. Сам Омирсерик живет тихо и скромно, не жалуясь ни на людей, ни на судьбу. Бредет себе потихоньку по пыльной тропинке буден и запивает черным чаем свой честно заработанный хлеб. Разговор с женой о том, как встретить почетного гостя, получился коротким. И действительно, о чем говорить, если в хозяйстве даже паршивого козленка нет? И вообще никогда не было никакой животины, кроме комолой буренки, угодившей в прошлом году под поезд. Чем украсить дастархан, если дома ни арака-шарапа[1], ни сла-

---

[1] Арак — водка, шарап — вино.

достей-пряностей нет? Омирсерик вспылил: «Оу, дом это или контора?! Одного-единственного гостя встречаем, а дома ни запасов, ни припасов. У других жен всегда что-нибудь в сундуках припрятано. Копченое мясо в муке год-два лежит... Зна-а-аю! И только у нас как в заброшенном стойбище».

Жена покладистая была, кроткая. Казалось, земля под ногами треснет — не шелохнется. А тут вскинулась как ужаленная. «Помалкивал бы, растяпа! Не знаешь, что творится в собственном доме! Смотри-ка, мяса ему не сберегла. Ты что, кобылу на зиму зарезал, а?! День и ночь одно долдонишь — музей да музей! В истлевших могилах копаешься, горшки да осколки собираешь, точно старьевщик какой. Да если бы я не сводила концы с концами, ты бы давно с сумой по миру пошел!» — «Э-э... ладно, милая, успокойся ради аллаха, уймись...» — сказал Омирсерик. Он достал потертый кошелек, пошарил там пальцами, но ничего не нашел. А до получки еще целая неделя. Пораскинул мозгами и так и сяк и решил съездить в районный центр за семь километров и попросить взаймы у приятеля — редактора газеты. Может, выручит до зарплаты. Живет-то он состоятельней, как говорят, жиру на костях побольше. Потому и встал сегодня Омирсерик раньше воробьев. Оделся, умылся, вышел на улицу, а там воет, гудит ветер, прозванный в народе Львиной Гривой. Бог весть в каких краях рождается он. Ураган рычит, тучи пыли поднимает, песок и мелкую гальку в лицо швыряет, прохожих с ног сбивает. Своенравный норов у Львиной Гривы: дует без передышки три дня и три ночи, а если не уймется к концу третьих суток, считай, пробуйствует неделю, а то и две. Вот и сейчас ветер точно колючим кустарником хлестал по лицу, выл разъяренным чудовищем и густой пыльной пеленой укутал небольшой аул, затерявшийся в открытой, выжженной степи. Какая досада! Приедет гость из столицы и ни разу не пройдет по аулу с открытыми глазами. Ругая и проклиная Львиную Гриву, Омирсерик еле добрался до соседа и постучал в ворота. Так и так, родной, да воздаст тебе всевышний, да не покинут счастье и удача тебя и твоих детей. Видишь ли, гость из столицы приезжает, может, отвезешь на своих «Жигулях» в райцентр, я бы до обеда прошелся по базару, купил барашка... Он мямлил еще что-то, а про себя все думал: «Нет, не повезет... У этого зимой снега

не выпросишь». И раньше случалось обращаться к соседу, но тот каждый раз руками и ногами отбивался, о каких-то железках, неполадках, нехватках заводил речи. А тут вдруг с ходу согласился, вспомнив, вероятно, и про свои дела в районе.

— Ладно... Только бензин за ваш счет.

— Ну, какой разговор?!

Омирсерик сразу повеселел. Э, добрый знак, значит, быть удаче. В самом деле, кто станет поперек пути благонамеренного казаха? Вскоре бежевая машина соседа запрыгала на ухабистых кривых улочках аула. Они выехали на шоссе. По обочинам выпирали из-под земли корявые корни полыни. Земля оголилась. За смотровым стеклом клубилась сизая пыль. На зубах хрустел песок. То исчезая, то выныривая из мутной мглы, тянулось шоссе, и по нему змеилась, шурша, песчаная поземка. Омирсерик уже повернулся было к соседу, чтобы попросить его быть поосторожней у развилки, как вдруг машина, подскочив, кувыркнулась несколько раз. Все произошло так быстро, что трудно было сообразить, что к чему. Запомнились Омирсерику только зеленые искры в глазах и резкая боль в голове. А потом точно нырнул в пучину...

Когда очнулся, вокруг толпились зеваки. Шум, гам — ничего не разберешь. Кто-то в белом халате ледяными пальцами ощупывал его с ног до головы. Вот тут-то и встал в сознании аульный лекарь Патшабай. Омирсерика поташнивало, тупая боль сдавливала виски. И вдруг он увидел, что его бережно укладывают на носилки и тащат к машине «Скорой помощи». Он упирался ногами, отбивался руками.

— Оу, братья, подождите, дайте опомниться! За что же живого, здорового сразу в больницу?!

Молодой врач втолковывал ему, как маленькому:

— Похоже, небольшое сотрясение... посмотрим... проверим... обследуем...

— Слушайте... войдите в мое положение. Ко мне гость приезжает, понимаете! Из столицы! Мне на базар надо... на вокзал...

— Ничего, почтенный! Гость из столицы все поймет. А мы за ваше здоровье отвечаем.

— Ну и отвечайте... Только потом. Ко мне, повторяю, редкий гость едет, а я — на больничной койке валяться?! А что он подумает? А?! Подумает, что я нароч-

но... Давайте договоримся по-хорошему: я сам явлюсь к вам, как только провожу гостя. Согласен валяться хоть месяц, хоть год. Но нельзя же силком, будто преступника в каталажку. Гость-то, поймите, уважаемый. Такого специально приглашать будешь — не дозовешься. Человек науки. Толстые книги пишет. Помог нам краеведческий музей открыть. Оживил память о наших предках. Не задерживайте меня, ребята. Отпустите... умоляю...

Вот так-то... Беда, оказывается, всегда рядом ходит. Не знаешь, когда подстережет, когда из-за угла ударит. Какой черт дернул его вскочить чуть свет, шарашиться в пыльную бурю, машину искать?! Мог бы выспаться, в постели понежиться, чаю, не торопясь, напиться и выехать десятичасовым автобусом. А теперь жена злорадствовать начнет, дескать, дурная голова ногам покоя не дает... Еле-еле упросил молодого врача отпустить его; и братом и отцом родным назвал, расписку под нос совал. Наконец-то кое-как и до района добрался. И теперь вот бежит трусцой под рычащим шквалом, размахивая руками, точно чучело.

Редактора дома он уже не застал. Ветер Львиная Грива, сатанея от собственной удали, обрушивался на Омирсерика с такой силой, словно хотел его, как песчинку, поднять в воздух. Пошатываясь, добрел до редакции — длинное помещение со множеством комнатушек: ни дать ни взять сапог с бесчисленными складками на голенище. Сам редактор, уединившись с машинисткой, важно задрав подбородок, сытым бархатным голосом диктовал ей передовицу: «На площади в тридцать гектаров ветер повалил кукурузу». Тут он увидел Омирсерика, кивнул на продавленный диван в углу, небрежно спросил:

— Ну, как дела?

Такую манеру разговора он усвоил недавно, с весны, с тех пор, как прибыл в район новый руководитель и был взят курс на выращивание кукурузы.

— Какие дела... Машина наша перевернулась, и я, считай, вырвался из пасти смерти. Значит, суждено еще на белый свет поглазеть.

— Да-а... Осторожность никогда не помешает.

И Олжатай тяжко вздохнул, головой поник, будто на плечах держал весь земной шар.

— Ученый Устабай телеграмму дал, в гости едет.

Помнишь, ты говорил, чтобы я в случае чего тебя предупреждал....

— Помнить-то помню. Да видишь, дел у меня теперь по горло.— Помолчал, а потом спросил: — Так ты говоришь, Устеке едет? Тот самый известный историк, который о нашем крае пишет огромные статьи?! Жаль! Если бы не дела, мы бы его приняли как надо. Выехали бы на берег реки, шашлык организовали бы... Э-эх!..

Олжатай выглянул в окно и поежился, плечами передернул при виде пыльного смерча, мчавшегося по улицам. Омирсерик заговорил впрямую:

— Займи денег. Видишь ли, дома ничего, кроме лепешки да колотого сахара. А ведь человека встретить надо...

— Да, да, конечно... ничего не поделаешь,— озабоченно пробормотал редактор и достал из потайного кармашка несколько красненьких.— Если с тридцатью гектарами что-нибудь придумаем, непременно заеду, посижу, побеседую с почтенным ученым, автограф попрошу. А ты скажи ему, что, дескать, есть у тебя такой друг, который ради науки, как это... светлой творческой мысли готов всем пожертвовать, даже не есть, не пить. Эх, промчимся по этой жизни, не видя вокруг себя ничего, кроме кукурузы и ветра...

Олжатай скорбно потупился, вздохнул. Когда-то он лет двенадцать бессменно заведовал отделом агитации и пропаганды в районе. Редактором стал недавно. Одна у него слабость — собрания. Тут он забывает все на свете и готов заседать днем и ночью. Омирсерик живо представил своего друга: в три погибели согнулся над бумагами, под глазами темные круги, волосы растрепаны, на пальце мозоль, сидит себе пером скрипит, доклад строчит, бормочет, как заведенный.

По дороге на базар Омирсерик подумал: приглашука редактора в гости. Пусть познакомится с Устеке, посидит спокойно, хоть на часок забудет про работу и заботы, поразвеется немного. С такими мыслями Омирсерик добрался до небольшого базарчика на краю районного центра. Хоть и пятница, а народу собралось уйма. Неторопливо ходили старики, заложив посохи за спину, зорко оглядывались по сторонам, хотя ничего не покупали и не продавали; прохаживались со скучающим видом патлатые юнцы; то здесь, то там белели платки молодок. Слепой жырши-сказитель у ворот ба-

зара гортанно пел, споря с ветром и подыгрывая себе на гармони. Пел он на старинный лад, протяжно, широко, не срываясь на крик, как нынешние эстрадные горлодеры. Омирсерик положил ему в чашку железный рубль. В сторонке пожилая казашка продавала кумыс из мягко колыхавшегося бурдюка. Омирсерик проглотил слюнки и быстрее прошел мимо. На бугре белели овцы, словно разбросанный по дастархану колотый сахар. Навстречу откуда ни возьмись выскочил знакомый торговец-посредник с воспаленными от ветра глазами. Затараторил с ходу:

— Апырмай-ай... Ты слышал, знаменитого скакуна Байкурена на базар привели. Видно, отскакал бедняга. На мясо пускают.

— А у нас машина сегодня перевернулась, и я едва не откинул копыта.

— Раньше, бывало, скакунов в реке купали, а нынешняя молодежь разве умеет обращаться с лошадьми?

— Верно говорили наши предки: смерть всегда тенью за тобою бродит.

— Люди с ума посходили. Представляешь: за поносливого козленка цену кобылы просят.

— Еще немного, и отправились бы к аллаху. Трижды перевернулись — и ничего. Только лобовое стекло треснуло...

Торговец-посредник скривился, смекнув, что от такого разговора навара нет, и собрался было уходить, но тут Омирсерик сказал, что намерен купить овцу, в меру жирную, в меру нежную, чтобы не стыдно было угощать гостя.

Посредник оживился, засучил рукава, поплевал на ладони и бросился ощупывать попеременно всех овец, пригнанных на базар. Наконец выволок плотного молодого барашка.

— Вот, не пожалеешь, откормлен на добрых травах. Не чета тем, пузатым. С виду те крупные, а мясо что сено. Ни вкуса, ни силы от него.

Омирсерик отсчитал хозяину деньги, а трешку сунул расторопному посреднику за услугу.

Ветер Львиная Грива к полудню чуть поутих, но Омирсерик знал — к вечеру, как только спадет жара, он вновь завоет, засвистит и начнет выколачивать пыль из земли. Барашек упрямился, не хотел идти, тяжело поводил боками. Вдали в полуденном мареве зыбились

горы. Омирсерик с трудом дотащил его до шоссе и, обливаясь потом, присел отдохнуть на валун. Мимо проносились машины. Не успел Омирсерик отдышаться, прийти в себя, как одна из них вдруг затормозила. Знакомый парень — чтоб прожить ему тысячу лет! — быстро и без всякой платы примчал его прямо к дому. Во двор Омирсерик ввалился так, будто только что свернул гору.

— Где вы, бездельники?! — крикнул детей.— У отца, понимаешь, еле-еле душа в теле, а они тут ворон на небе считают. А ну закройте ворота, привяжите барашка, посматривайте за ним... дынной коркой накормите... отнесите... принесите...

На сердце его потеплело, когда увидел, что жена выбелила все комнаты и выдраила все до блеска. Он поразмышлял немного, сказать ли ей о дорожном происшествии, и решил не волновать понапрасну. Только сейчас он заметил на кровати две новые подушки и белую простыню. Жена смущенно улыбнулась:

— В долг купила. Помнишь, как однажды Устеке приехал к нам с другом-поэтом, а тому не хватило одеяла и подушки. Так стыдно было...

Омирсерик улыбнулся:

— Да-а... Поэт оказался молодцом. Укрылся пиджаком и даже виду не подал...

А ведь совсем не смешно. Скорее неудобно. Слава аллаху, народ сытый, время мирное. Тряпья хватает. А он к тому же не какой-нибудь там босяк или бездельник. Как-никак директор местного краеведческого музея. Правда, музей еще не достроен и никто не знает, когда его достроят вообще, и пока приходится ютиться в крохотной избушке, а местное начальство и зарплату урезает. Но кто скажет, что этих денег мало? Особенно в ауле. В нехватках виноват сам хозяин. Вся беда в том, что другие держат деньги в кулаке, а Омирсерик — на ладони. Другие, точно муравьи, все в дом волокут, а он ради музея последнюю кровную копейку отдаст. Но и это не все. Есть у него еще одна страсть: разъезжать по аулам и собирать экспонаты. Увидит, скажем, у кого-нибудь старинную серебряную брошь и тотчас теряет голову, глаза туманятся, нетерпеливая дрожь колотит все тело, и начинает он кружиться вокруг вожделенной вещицы, точно верблюд, пораженный вертячкой. «Бабушка, подарите эту штучку музею... Люди

будут любоваться, благодарить вас... в истории останетесь, бабушка...» Старуха, конечно, колеблется, однако, решив, что чудак этот не иначе как послан властями, начинает уступать, и тут Омирсерика обязательно черт за язык дернет. «Отдайте, бабушка... ну, хоть за деньги». О! При этом слове старуха становится сразу надменной и неприступной. «Что ты, что ты, голубчик!.. Такую вещь за деньги! Как можно?!» Однако про себя начинает соображать, сколько же содрать за брошь. Омирсерик пристает к ней, как репейник, и переговоры кончаются тем, что он сует ей все, что предназначалось детишкам на молочишко. Зато в этот день Омирсерик чувствует себя на седьмом небе. Он счастлив, даже если и приходится довольствоваться одной жидкой похлебкой. Он давно привык пропускать упреки жены мимо ушей, хотя и сознает, что она вправе возмущаться им. Ведь приобретает он для музея не одни серебряные броши, и потому нехватки, точно верная тень, во все времена года преследуют их дом.

Этой весной музею дали еще две штатные единицы, и Омирсерик принял двух выпускниц местной школы. И сказал он им так: «Милые мои, я вас знаю со школьной скамьи, знаю вашу любовь к родному краю. И потому предупреждаю: о выходных, о праздниках, о бюллетенях забудьте. Будете экспонаты собирать. Такая вас ждет перспектива». Девушки только посмеялись. Ну что скажешь этому странному человеку, который только о благе своего музея печется, никому не делая зла.

С улицы донесся шум. Омирсерик кинулся во двор. У старшего сына от возбуждения лицо раскраснелось.

— Папа, барашек дурной какой-то. Суешь ему дынные корки — не ест. Даешь воду — не пьет. Тянешь туда-сюда — не идет.

— Ах голоштанники! Ишь забаву придумали! Вместе с собаками гоняют бедного барашка по всему двору!

Сосед, смотревший из-за дувала на ребячью затею, головой сокрушенно помотал.

— Э-э... Омеке, замучают сорванцы барашка. Пустите его лучше к моим овцам.

Так и поступили.

Вернувшись в дом, Омирсерик принялся заделывать щели в полу. Продолжая размышлять о своем житье-бытье, он пришел к горькому заключению: нет, не дру-

жить ему с богатством, не поселится, видимо, благополучие в его дом. Известно ведь, деньги к деньгам льнут, скот к скоту идет. Как-то знакомый бухгалтер из района подтрунивать над ним вздумал: директор да директор, начальник да начальник. Уколоть хотел, конечно, ловкач бухгалтер, и Омирсерик в долгу не остался. «Когда откроют музей, отпустят штаты, выделят фонды — научи, пожалуйста, как прикарманивать государственные средства, как половчее обворовывать казну, а?» Бухгалтер умолк, лицом потемнел. Слава аллаху, что дети не жалуются. Да и жена попалась терпеливая, работящая. Без нее он давно бы дошел до ручки. Что только не говорили аульчане, когда узнали, что он поменял приличную учительскую зарплату на нищенское жалованье директора еще не существующего краеведческого музея! Ну и глупец! Выгоды своей не знает! Как же он думает прокормить детей? Не дай бог человеку раз с дороги сбиться. Пропадет ни за что! Тысячу лет жили без музея и еще столько же проживем.

Давно уже Омирсерик научился не обращать внимания на людские пересуды. За дело он принялся рьяно. Долго обивал пороги районных руководителей, писал в область, ездил в столицу. Наконец выделили под музей старую развалюху — бывшую аптеку. Сказали: «Временно». Приехали джигиты из районного отдела культуры, навалились плечами на скособочившийся домик — ничего, держится. Отремонтировали тяп-ляп, подкрасили кое-где, пошутили: «Ну, принимай свой дворец. И больше не тревожь районное начальство». А как его не тревожить, если то транспорт для перевозки кувшинов нужен, то цемент для фундамента, то деньги, то штаты. Вот и канючит он: «Дай... Дай... Дай...» Иные начальники за квартал обходят его, как от прокаженного шарахаются. Да что начальники! Даже Патшабай, мулла и табиб в едином лице, изрядно кровь ему попортил. Он, оказывается, на всех сборищах и празднествах — похоронах, поминках, тоях,— перебирая четки, с подковырками и насмешками рассказывает о нем всякие небылицы и исподтишка мутит народ. Ну и встретился Омирсерик в прошлую пятницу лицом к лицу со служителем аллаха. Встретился — сказано для приличия. На самом деле схлестнулись так, что дастархан превратился в поле боя... Язык у муллы что жало змеи. Говорит сладко, жалит больно.

— Ты, могильщик, бренные останки перебираешь, славы ищешь. Не могу я есть с одного блюда с нечестивцем, глумящимся над предками и погрязшим в грехе.

Омирсерик вытянул, как гусак, тощую шею.

— Эй, святоша! Я людей не обманываю, не ворую, на чужое добро не зарюсь. Если я копаю развалины Отрара и ищу памятники древности, значит, уважаю предков, стараюсь возродить их славу, их дела. Хочу, чтобы современная молодежь больше о них знала. Разве это не означает, что я почитаю дух предков?

— Достоинство джигита определяется нажитым богатством. Твоя же цена восемьдесят рублей.

— Оставьте, почтенный, мою зарплату в покое. Скажите лучше, какое добро за свою жизнь вы сделали для живых?

Не привык мулла к возражениям. Надулся весь, напыжился, даже четки перебирать перестал. Омирсерик воспрянул.

— Признайтесь, почтенный. Ваша цель — скорее закопать усопшего, предать земле и забвению. Я же пытаюсь выяснить, оставил ли он при жизни хоть крохотную, но добрую славу о себе. Разве это противоречит священным писаниям?!

Мулла посерел, как зола, бородка задергалась. Гости прислушались к их спору, а хозяин дома забеспокоился, заерзал, кинулся к выходу и поманил пальцем Омирсерика. Конечно, стоило ли тратить слова на невежественного муллу? Кизяк собирать — и то больше проку...

Вошла жена с чашей напитка, настоянного на кукурузе. Омирсерик выпил его и вытер испарину на лбу. Хотел было немного прилечь и вздремнуть, но вспомнил про наказ жены. Ладно... жена дело говорит. Действительно, вдруг стихнет ветер Львиная Грива и захочется гостю на улице спать, а всем на нарах тесно. Придется сколотить из старых досок нары для детей, а полог от комаров, который получше, отдать гостю. Неловко както спать. Жена все хлопочет, не присядет. Ей еще надо тесто заквасить, баурсаки пожарить, чайник, пиалки песком протереть. Накормить, напоить гостя — полдела. А сколько разных мелких хлопот, возни, суеты, тревог!.. За стеной выл, ярился, бил в окна ветер Львиная Грива. Омирсерик затянулся потуже кожаным рем-

нем и вышел во двор. Младший сын расхаживал по двору с топором, собираясь рубить молодую турангу. «Стой, паршивец! За пять лет кое-как выходили единственный прутик, а ты его рубить?!» Вот уж поистине: глупый все прахом пустит. Вокруг и так голо, а свой же отпрыск задумал топором размахивать. «Эдак как бы я ни старался, никогда из нищеты не вылезу. Обзаведусь коровой — ее поезд задавит. Выращу деревце — дети срубят. Владел бы кетменем — давно бы вокруг дома сад шумел. А так что получается? Летом из-за всякой чепухи на базар бегаешь. Осенью каменное сердце совхозного кладовщика смягчить норовишь. Умоляешь! «Выручи, дорогой. Дети от кукурузной похлебки рожи воротят. Отпусти пару мешков картофеля». Унижаешься: «Гость приехал, дай немного зелени, чтобы в плов положить, горькую закусить. Как-никак родственниками, хоть и отдаленными, приходимся». Кладовщик — скряга, каких свет не видывал. Своего ни за что не упустит, выгоду и через игольное ушко высмотрит. «Тоже мне работу нашел — музеем заведовать! — ворчливо поучает он.— Небось предки тебе такого не завещали. Чем по аулам болтаться и всякий мусор собирать, лучше бы кетменем махал». Омирсерик уж на что тихий, и то взрывается. «А тебе что, предки завещали склад сторожить и добро, точно хомяку, копить?! По мне чем у норы сидеть, как сторожевой пес, почетнее искать следы прошлого. Подавись ты своими советами! Как-нибудь и без твоего склада обойдусь!». И, махнув с досады рукой, уходит восвояси.

Отворачиваясь от порывов ветра, начал он сооружать нары. Сынишка-шалун стоял рядом, деловито подавал гвозди. Нары получились так себе, Омирсерик посмотрел на свою работу и скривился. Но тут же себя утешил — ничего, до отъезда гостя продержатся. Потом он из шланга поливал двор. Еще хорошо, что за двором густой чингил вымахал, не то весь дом занесло бы песком. Закончив поливать, Омирсерик оглянулся по сторонам, посмотрел на солнце и решил, что надо поторапливаться, иначе можно и к поезду опоздать! Он словно впервые увидел сегодня, что дел по хозяйству невпроворот, и искренне пожалел хлопотунью жену. Бедняжка с утра до вечера, словно муравей, снует из дома во двор и обратно, и возне этой конца-краю не видно. И наверное, потому часто не откликается она на немудреные шутки

мужа и на лице застыло бесстрастное выражение. Попробуй день-деньской следить за оравой сорванцов, вечно оборванных и чумазых,— пожалуй, легче рыть котлован или долбить лед. А ведь при этом она еще находит силы встретить его, когда он, усталый и злой, возвращается домой. И если беспокойный мужской род еще не очерствел и не свихнулся вконец, то тому причиной только женщина.

Омирсерик вспомнил встречу с будущей своей женой. Было это на Новый год. Земляки пригласили его, студента педагогического института, на вечеринку. Омирсерику, как надежному человеку, не жадному до еды и питья, доверили откупоривать бутылки и следить, чтобы рюмки у всех были полными. В те далекие времена юности на вечеринках увлекались играми, много пели, на домбре тренькали, рассказывали различные истории. То ли с непривычки, то ли с голодухи, то ли оттого, что отпивал из рюмки маленькими глотками, Омирсерик быстро опьянел, забыл про свои обязанности.

А когда хмель немного прошел и он снова стал различать лица гостей, Омирсерик вдруг увидел: прямо напротив него сидело опрятненькое, нежное, как очищенная луковица, создание. От неожиданности он даже растерялся. В больших глазах девушки мерцали загадочные лучики. И держалась она просто—не кокетничала, не хихикала беспрестанно. Омирсерик завороженно глядел на девушку и не мог понять, чем она его так обворожила. Было видно, что и других джигитов она не оставила равнодушными.

А-а-а! Омирсерик мысленно подстегнул себя. Сейчас я вас, гривастых хвастунов, самонадеянных горлопанов, проучу. Покажу-ка я вам, как нужно за красивой девушкой ухаживать... Он лихо опрокинул рюмку и почувствовал шальную храбрость. Не будь этого благословенного зелья, просидел бы тогда в углу, уткнувшись носом в стол. А тут, хотите верьте, хотите нет, смело подошел к девушке и пригласил на танец. Дальше все было как во сне...

Омирсерик грустно вздохнул. А ведь она, та красавица, заслуживала иной доли. Ведь это он превратил фею в заурядную бабу. Другой бы наверняка ее на руках носил, одевал бы с иголочки, по городам и заморским странам возил бы. А так что? Неистово дует, завывая, ветер Львиная Грива. Жена, поблекшая, покор-

ная, погрязла в нескончаемых домашних хлопотах. Вот сидит на полу, подогнув одну ногу, и месит на выделанной шкурке тесто. Худые лопатки под выцветшим платьем ходуном ходят. Омирсерику от этих мыслей сделалось совсем тоскливо. Ах, как верно сказано: золото, что в руках, зачастую за медь принимаем. Жена перехватила его грустный взгляд, сказала насмешливо, будто холодной водой окатила:

— Что, бедняга, приуныл? Глаза затуманились, будто маковой настойки выпил.

Омирсерик вдруг сказал:

— А... что, если пошлем за редактором? Пусть посидит с гостем, побеседует... Как-никак он единственный, кто в нашем краю пером по бумаге царапает.

Тень досады промелькнула на лице жены.

— Уж больно он нос задирать стал. И при людях разговаривает так, будто ты у него в прислугах.

Что ж... зорок глаз у жены. Водится за Олжатаем такой грешок. Недавно Омирсерик позвонил ему домой. «Алле-ey!» — прокричал в трубку приветливо. «Да-а-а...» — угрюмо откликнулся Олжатай. «Ну, как жизнь? Как здоровье?» — «Вполне»,— сухо ответил Олжатай. «Как жена? Как дети? Все ли в здравии?» — «Вполне»,— пробурчал Олжатай. И дальше, о чем бы ни спрашивал, ответ один: «Вполне». Откуда такая мода? Что за словечко убогое? С каких пор стали казахи приветствовать друг друга таким образом? Правда, недавно Олжатай пробыл целый месяц в столице на курсах. Может, там он научился такому обращению? Так подумал тогда Омирсерик про себя. А жене сейчас ответил:

— Ладно уж... Не суди его строго. Такая уж натура у человека. Просто не хочется, чтобы гость из столицы подумал, будто я здесь одинок, как былинка на солончаке.

Жена особенно возражать не стала.

— Дело твое, конечно. Я это к тому, чтобы ты выбирал себе товарищей из своего круга. А Олжатай тебе не ровня. Мне не угощения жалко. Хочешь — пригласи.

Средний сын тут же отправился в районный центр приглашать редактора. А Омирсерику стало как-то не по себе, будто надел кирзовые сапоги на босые ноги. Глотнув прямо из чайника теплой воды, он опять подал-

ся на улицу. Солнце опустилось к горизонту. Багряный диск купался, таял в раскаленных лучах.

Так что же получается? Неужели добрые отношения с Олжатаем разладились? Неужели моя тропинка покатилась под гору, а его дорожка взбирается круто вверх? Покойный отец, помнится, говаривал: живого от мертвого отделяет всего шесть вершков сырой земли. А их, Омирсерика и Олжатая, что разделяет? Неужели спесь в велюровой шляпе, надетой набекрень, и скромное житье-бытье в измятой кепчонке, надвинутой на глаза?..

С такими невеселыми думами он отправился к соседу за барашком. Железные ворота оказались запертыми. Странно... В этом ауле, сколько он себя помнит, никто никогда — ни днем, ни ночью — еще не запирал ворота и двери. Что это соседу в голову взбрело? От досады и недоумения Омирсерик заколотил в ворота изо всех сил. Огромный волкодав рвался на цепи, захлебывался от ярости. Наконец показался хозяин.

— Извините,— буркнул.— Некогда было.

Хм-м... Оказывается, бедняга просверлил дырочку в наружной двери на уровне груди.

— Зачем это, дружище?

— Э-э-э... дорогой... хитрая это штуковина. Глазок называется. Еле разыскал в районе. Ну, скажем, кто-то стучит в дверь. А кто — шайтан знает? Тогда осмотришь его в глазок, а потом уж решаешь, открывать ему дверь или нет. Понятно?

Омирсерик замялся, сказал уклончиво:

— Вроде неприлично как-то...

— Зато надежно. Вот смотрите...— И сосед направил глазок прямо ему в грудь, будто из ружья прицелился.— Ну, как? Варит котелок у соседа, а?!

Омирсерик поморщился, вслух ничего не сказал, а сам подумал: «О, аллах... Дожили! Позор! Кругом тишь да благодать, а тут человека в глазок разглядывать...»

— Поймай мне скорее моего барашка. Я спешу...

Хитрое выражение на лице соседа, смотрящего в глазок, еще долго преследовало его. «Не приведи аллах, чтобы я трясущимися руками запирал дверь на крючок,— думал Омирсерик,— да пусть все провалится... Я хочу по-человечески прожить свою жизнь, а не дувалы лепить, не заборы строить, не в глазок на божий свет глядеть...»

Омирсерик зарезал барана, разделал тушку, разложил мясо, посыпал солью и снова завернул в теплую шкуру, чтобы оно пропиталось соком. Было уже одиннадцать вечера. Только теперь притащился из райцентра сынишка. Глаза ввалились, ноги подкашиваются, рубаха вылезла из штанов, рожица бледная. Омирсерик рассердился, начал кричать на него:

— Ты где это, сорванец, пропадаешь? Через два часа поезд прибудет. Мать твоя с утра покоя не знает. Слава богу, что семижильная. Еще держится. А я уж с ног валюсь...

Ветер, должно быть, опять усилился, сыпанул горстью песка в окно. Омирсерик вымыл руки, ни о чем не спрашивая сына, сел пить чай.

— Папа,— робко заговорил сын.— Олжеке сказал, что он сначала разыщет секретаря, уладит вопрос с этой, с кукурузой, и только потом, если освободится, постарается зайти к нам.

Омирсерик чуть не подавился хлебом:

— Он что, издевается?! Разыщет... уладит... Я ведь его как человека приглашаю!

Сын виновато поежился:

— Папа, он спал, когда я приходил. И я его прождал два часа. А он и разговаривать толком не стал...

Омирсерик в сердцах отодвинул от себя пиалу. Жена, укрывая полотенцем чашу с баурсаками, звучно цокнула языком:

— Не сокрушайся, дорогой. Ты думаешь, ему некогда? Или избегает разговора с твоим гостем? Он просто не желает приглашать потом гостя к себе.

Вот так да-а!.. Как это ему сразу в голову не пришло? С такой расчетливостью немудрено, ей-ей, и тысячу лет прожить. Ну и жук! Просто диву даешься, как он с таким умом по одной земле с тобой ходит, ту же пыль глотает, тот же вой ветра слушает. Да-а... Такие без выгоды и шагу не ступят. Помнится, когда он оставил учительскую работу и сел на маленькую зарплату райотдела культуры, загоревшись мечтой организовать краеведческий музей, Олжатай горячо отговаривал его, укорял, учил жизни: «Люди вперед стремятся, а ты назад пятишься... Разве мыслимо в наше время удовлетворяться такой зарплатой?..»

Что ж... Каждый смотрит на мир с высоты своей кочки. Лично он, Омирсерик, предпочитает жить откры-

то, довольствоваться тем, что есть, и оставить потомкам доброе дело и добрую память.

Между тем стрелка часов показывала уже почти полночь. Омирсерик начал собираться на станцию. Он был уверен, что жена, вымотавшись за день, уснула с детьми в гостевой комнате, но тут она, приодетая и принаряженная, вышла к нему. Глаза ее лучились.

— И я с тобой...

Что и говорить, такого человека, как историк Устабай, не грех встречать и с оркестром. Вероятно, не больно ему уютно будет, когда он глухой темной ночью, под вой и свист ураганного ветра, выйдет на пустой перрон и увидит одинокую сутулую фигурку приятеля в помятой кепчонке. А с женой как-никак и уверенней и солидней. Да и гостю приятно. Омирсерик почувствовал необычную нежность к своей жене.

Ночь выдалась хмурая. Лохматые, исхлестанные бурей тучи метались по небу. Ветер яростно набросился на путников, толкнул в грудь. Омирсерик поспешно подхватил оступившуюся жену под локоть. И вновь вдруг вспомнилось ему прошлое, далекое, почти забытое, окутанное дымкой времени, и, пожалуй, впервые подумал Омирсерик, что вся жизнь этой стройной, сухощавой, заметно поблекшей женщины, ставшей когда-то его женой, всецело принадлежит ему, и что живут они, в сущности, душа в душу, одним желанием; и будет она всегда рядом с ним, и разделит с ним все превратности судьбы. Пусть в повседневной жизни всякое случается и приходится иногда даже обижать друг друга и не всегда быть внимательным и чутким, а все же нет и не будет у него другого такого друга, такой опоры, такого преданного и верного товарища, как его жена. Омирсерик почувствовал, как защипало в глазах и к горлу подкатил комок. Ему было и грустно, и радостно, и светло, а в сердце вновь проснулась угасшая уже было любовь.

На вокзале не было ни души. На пустом перроне носился ветер Львиная Грива. Трудно было представить, что в каких-нибудь тридцати-сорока километрах отсюда над головой людей спокойное, ясное небо, и ярко светят звезды, и в тишине дремлет высокий ковыль, и воздух, настоянный на степных травах, густ и ароматен. Многое еще не могут объяснить люди: почему в одном месте дует ветер, в другом — нет и отчего жизнь одного человека непохожа на жизнь другого?

Скорый поезд опаздывал. Омирсерик, подставив спину ветру, терпеливо ждал. Шуршал, струился у ног песок, и неторопливо текли мысли. Он вдруг подумал, что день нынче выдался беспокойным: столько пришлось всего сделать, пережить, передумать. Но почему-то не было ни усталости, ни уныния. Омирсерик чувствовал теплый локоть жены, и сердце его переполняла невысказанная нежность к ней, к людям, к этой огромной ночи, полной неистового ветра.

Из темноты вдруг выплыла громада тепловоза, послышался негромкий перестук буферов. Потом, после томительного ожидания, открылась дверь одного из вагонов, и Омирсерик увидел: на ступеньках стоял Устабай с чемоданчиком в руке. Сделалось вдруг удивительно тихо — ветер Львиная Грива на мгновение затаил дыхание.

КОМУ НУЖЕН УМНЫЙ СОВЕТ

Почтенный старец Пакыриддин из аула Кос-туранга, бывало, глубокомысленно изрекал: «Голова человека — мяч аллаха». Не знаю... У меня нет серьезного основания сомневаться в мудрости аксакала, но лично моя голова едва ли не стала мячом в руках Алтынбалы.

Славным он был джигитом. Учтиво выслушивал старших, достойно отвечал на приветствия младших. В работе проявлял сметку и старание. Словом, был из тех смертных, кто в скосопяченных кирзовых сапогах месит грязь на кривых улочках нашего аула. Нужно, скажем, подсобить родичам или умерить пыл не в меру распоясавшегося баламута — Алтынбала тут как тут.

Так вот, назначили его как-то управляющим овцефермой. Теперь, если у кого-нибудь умирал дальний родственник, за машиной бегали к Алтынбале. Или, скажем, у какой-нибудь старушонки топить нечем — семенили опять к Алтынбале. И безотказный джигит помогал всем. Должно быть, в награду за такую доброту и расторопность дела его вскоре пошли на лад. Хозяйство поправлялось на глазах, точно тощая овечка, обласканная весенним солнцем. С тех пор, как Алтынбала стал управляющим, на ферме заметно сократился падеж и увеличился прирост молодняка. Слаще забулькало в общем котле, и горделивей возвышались шапки на головах чабанов.

Слышал я: страдающий печенью становится раздра-

жительным. И еще где-то вычитал: хирургическое вмешательство может в корне изменить психику человека. У Алтынбалы с печенью все в порядке, операция ему тоже не грозит, и все же перемены произошли в нем поразительные.

Прошлым летом, получив аттестат зрелости, я вместе со сверстниками настроился полететь навстречу затаенной мечте.

У родника за нашим аулом росла старая одинокая туранга. Весной на ее вершине ворона свила гнездо. Каркала, бывало, на всю округу, хоть уши затыкай. К лету появились птенцы. Окрепли, встали на крылья. Но один, должно быть самый шустрый и нетерпеливый, вывалился из гнезда и шмякнулся оземь. Считайте, тем бедным вороненком был я.

В конце июня прихворнула мама и слегла в постель. Я как раз накопил за зиму немного денег и собрался на учебу. Что делать? За мамой приглядывать некому. Фельдшерица прописала покой, куриный бульон и майский мед. Через день я ощипывал по куренку, варил бульон, ездил за фельдшерицей, и та ставила маме компресс и делала укол. Время между тем текло, как песок сквозь пальцы. Через месяц, к счастью, маме полегчало. Принялась она опять хлопотать по хозяйству, а я начал собираться в путь. «Да будет удачливой твоя дорога, мой жеребенок,— говорила мама, и глаза ее набухали слезами.— Пусть не покинут тебя святые духи!» Я набил чемоданчик сушеным сыром — куртом и сушеным сладким творогом — иримчйком и на попутной подводе добрался до района. Друзья мои, оказалось, давно уже разъехались.

Мне, растерянному, подавленному, встретился на вокзале веселый Алтынбала: «Ну, малец, сплавил я свою благоверную к родне. Считай, на месяц от узды и понуканий избавился». Оглядел он меня с ног до головы, спросил, куда держу путь, и брови насупил. «Эх,— говорит,— ума у тебя что у облинявшего бычка. В наше время — имей хоть десять аттестатов — куда без знакомства сунешься? Нужна, брат, тугая мошна. Хочешь, дам тебе умный совет? Возвращайся-ка, милок, в аул. Бухгалтер отделения ушел на пенсию, вот на его место тебя и посажу. Мать прокормишь, деньжат наскребешь, умом окрепнешь. Поймешь, где лево, где право. А через год катись хоть куда».

Пораскинул я мозгами и внял умному совету. Поработаю, пожалуй, с годик, с мамой побуду, учение не убежит.

Так стал я бухгалтером отделения. Достались мне в наследство большой, как сундук, обшарпанный стол, деревянные счеты да угол просторной конторы.

Пришла осень, смутная, ненастная. Вот-вот заладят занудливые дожди. Чабаны спускались с гор. Земля высохла, затвердела, как опаленная шкура. Низко над степью волоком тащились кудлатые тучи. Пыльные смерчи сатанели в неистовой пляске. Но черный ливень прошел стороной. Посыпал мелкий дождик. Крохотные капельки посеребрили окна, будто шалун малыш стряхнул с пальчиков воду. Проклиная свирепый ветер, называемый в наших краях Львиной Гривой, вошел в контору Алтынбала. Рассеянно пробежал глазами мои бумаги, испещренные цифрами, потом плюхнулся на стул возле окна и понуро уставился в рассохшиеся половицы. Точно погрузился в пучину мучительных дум и никак не может выбраться. «Знаешь,— заговорил наконец,— вчера я был в горах, а сегодня чувствую: передние зубы шатаются. Что бы это значило?»

Хмурый, озабоченный, он, не глядя, подмахнул бумаги. «Тут случка овец на носу, а у меня такая беда! Надо в город съездить, врачу показаться». Он тут же укатил, и мне стало жаль его: бедняга, вечно в заботах, в хлопотах, всю жизнь о деле, о чабанах печется...

Юркий «газик», волоча за собой сизый шлейф пыли, примчался в аул к обеду на следующий день. Рядом с завфермой восседала его игривая молодка жена. Щеки Алтынбалы ввалились, скулы обострились, как у старика после поста-уразы. «Плохи дела, браток,— вздохнул он.— Районный врач хотел железный зуб поставить. Но в такое благополучное время можно ли мне, ответственному работнику, выставлять, скажем, железный зуб напоказ?! Срам ведь! Куда бы ни шло, если бы средств не было. А так... И женушка все уши прожужжала. Не дай бог, за чабана-замухрышку меня примет и упорхнет из моих объятий! Нет, нет, завтра съездим в область, разыщем большого доктора. Ты здесь как-нибудь обтяпай и проверни месячный отчет. Я не задержусь...»

Суматошливая пора — перекочевка. Тут — гляди! — не попадись под горячую руку чабана. Алтынбала до конца недели не показался. Не раз и не два переделал

и переписал я наряды и ведомость, еле-еле спихнул отчет. И то, думаю, просто главбух сжалился.

Приехал я из центральной усадьбы в аул и опешил. Возле конторы целый чабанский слет собрался. Загорелые, обветренные, с воспаленными от бессонницы глазами чабаны чуть ли не за глотку меня схватили: «Милый, ты мне индийский чай выпиши! Плиточный и зеленый сам пей!», «Устрой детишек в интернат. Или дай подводу — в школу возить», «Какой это, к шайтану, ремонт, если печка дымит?!», «На поминки по погибшему отцу скотину выдели», «Осеменение, говорю тебе, следует начать с пятого числа...», «Алтеке просил, чтобы я лично ему напомнил...». О-о-о... будто селевой поток обрушился на меня. Голова гудела, как высушенная тыква на ветру. Тут наконец-то послышался знакомый треск «газика». Сияя, ввалился в контору Алтынбала. Два передних зуба блеснули золотом. Мигом разогнал он молодых чабанов: «У-у, попрошайки, побирушки! Заладили — дай, дай, дай!» Потом, наобещав с три короба, и стариков вежливо выпроводил. «Эх ты, пижон! — сказал мне. Новым словом, видно, в городе обзавелся.— Учись у меня. Понял? Ты думаешь, мы живем? Прозябаем! Пыль, грязь, блеянье овец, планы да каракулевые шкурки — вот вся наша жизнь. Я, браток, с важными шишками за одним столом посидел. Что и говорить, процветают братья-казахи! Родичи моей женушки и врача мне сразу подыскали, и в бар-кафе свели, и кукольный театр показали. Вот как! А мы здесь, зачуханные, затюканные, кроме овец, ничего не видим. Умоляли меня: оставайся еще на недельку, все зубы золотом покроешь. Но разве останешься, когда о хозяйстве душа болит? Знал ведь, что чабаны теребят здесь тебя, как клок шерсти...»

Будто подменили с тех пор моего благодетеля. Поскучнел он, сник. На работе, бывало, подремывал, забубенная молодка из «газика» не вылезала. Я за это время немного начал вникать в глухие дебри бухгалтерских наук. Зарплату копейка в копейку приносил домой. Однажды, запихнув в карман положенную сотняшку, ринулся было к выходу, как остановила меня кассирша. «От квартальной премии по сдаче шерсти вам причитается пятнадцать рублей». Что ж... От премии только в кино отказываются. А кассирша еще один список под нос сует. Ухмыляется: «Вы, оказывается, еще и техничкой в конторе работаете...»

Взмок я от стыда и опрометью кинулся к Алтынбале. Он отвел меня за угол дома. Плюнул себе под ноги (явный признак недовольства). «Пара шариков у тебя, малец, не на месте (шепотом); я тебе, олуху, добра желаю, вот и приписал зарплату технички»... (у меня глаза на лоб лезут).— «Алтеке, а техничка на что жить будет?..» — «Не волнуйся: она получает зарплату воспитателя детсада...» — «Алтеке, разве в нашем отделении есть детсад?..» — «Нет — так будет. А на бумаге он уже есть...» — «Чудно, Алтеке. Какой же он детсад на бумаге?..» — «Тьфу, недоумок! Уговорил, значит, районо. Дети числятся в детсаде, хотя и живут пока, до весны, дома...»

Да-а... Десять лет проучились в школе, уйму мудростей вызубрили, а о том, что столько закоулков в народном хозяйстве, и не догадывались. Хоть бы скорее наступило лето. Подался бы я вслед за своими сверстниками туда, за голубой горизонт, навстречу своей мечте. А пока целыми днями торчу в конторе. Составляю акты, списываю старые, без ободков, колеса, изношенные кирзовые сапоги и истлевшие фуфайки. Подсчитываю сено, перевезенное с гор, и никак не подведу баланс. С кипой бумаг иду к Алтынбале.

— Алтеке! Что за сено мы всю зиму взад-вперед возим?

— Прежние наряды были на сено, которое доставили с гор на базу. А эти наряды на сено, которое привезли с базы к стойбищу. Уразумел?

— Боюсь, главбух не подпишет...

— А ты не бойся! Наше дело — документы подавать, его дело — денежки платить.

— Но сено-то будет дороже вдвое-втрое!

— А тебе что? Не ты же будешь есть дорогое сено.

— Да, но... мы ведь обязались снизить себестоимость.

— Ишь умник! А как прикажешь удержать рабочих на ферме? Должен я им давать поблажку? Иначе они разбегутся. Где я найду сезонных косарей, стригалей, строителей?!

— Не знаю...

— То-то же... Не голова у тебя — недозрелая тыква,— усмехнулся Алтынбала.

Я обратил внимание: золотые зубы и впрямь очень шли ему, придавая то ли солидность, то ли непреклон-

ность и уверенность, то ли и то и другое вместе. Хоть и тот Алтеке, да не совсем. Во всяком случае, не похож на того скромного, сполна познавшего зной и стужу трудягу, каким я его знал.

Уж если завоет-задует ветер Львиная Грива, то две недели не уймется. Степь, оскудевшая от нынешней засухи, приуныла; неприкаянно метались по ней хрупкие кусты перекати-поля; обнажились корни иссохшей до лиловости полыни. На чабанов смотреть жалко: лица осунулись, почернели, словно копченое мясо; из сапог сыплется песок. Алтынбала днем и ночью мотался по участкам и стойбищам, объезжал отары, проверял кошары. Особенно беспокоило его состояние баранов-производителей. Он заставлял их подкармливать то клевером, то жмыхом, но все равно к последней отаре они настолько истощались, что на маток и глядеть не желали. Алтынбала на чем свет стоит ругал Койшеке.

— Это разве производитель? Это хиляк, немощь! Какой прок от него, если он только мошонкой трясет? Я тебе сколько раз твердил: не выпускай на солнце, не давай пить из лужи.

— Не в уходе дело. Искусственное осеменение — сущая беда для барана,— оправдывался чабан.— И где бы я достал воды двадцати отарам? Тут и озера не хватит!

— Оставь провокаторские речи! Где твое партийное сознание? Где твоя гражданская совесть?

— Ах, так?! Забери отару! Забери мой посох! Довольно с меня такого счастья!

— У-у! — хватался за голову Алтынбала.— Баламуты! Бездельники! Бестолочи!

Однажды после такой очередной перепалки управляющий повел меня к себе обедать. Гладкая молодка спала в затемненной гостиной. Услышав нас, встала, томно потянулась. Половицы заскрипели под ее ногами. Я подумал: чего это раскормленная гусыня дрыхнет посреди дня? И почему Алтынбала так распустил ее?

Зимой заведующий взял отпуск и надумал поступать заочно в институт. Ударили морозы. Окна заиндевели, обросли наледью. Алтынбала, подписав бумаги, застыл в задумчивости. «Да-а, малец,— сказал он,— с дырявым карманом в столице делать нечего. А заказов у моей женушки — по горло». Я понял намек и с гордостью объявил, что жертвую ему на дорогу месячную зарплату.

Алтынбалу щедрость моя не поразила. Он продолжал дыханием согревать красный от мороза палец.

— Э, браток, не спасет меня твоя сотняшка. Слышал я, умные люди списки составляют, и родичи расходы поровну разделяют.

Чего тут... Я сразу принялся за дело. Составил длинющий список, всех чабанов, сакманщиков, строителей проименовал. Боялся: не дай бог забуду кого-нибудь — на всю жизнь обиду запомнит. Кому охота от доброго дела отлынивать?

Алтынбала просмотрел список и потеплел лицом.

— Значит, так: я у совхозного кассира заберу оптом всю сумму. А ты потом по ведомости удержишь с каждого из зарплаты. Понял? И — смотри! — чтобы все было шито-крыто. Так проутюжь, чтобы и шва не видно было.

В воскресенье мы с Койшеке проводили управляющего в далекий путь.

Как-то раз после обильного снегопада решил я заглянуть в дом Алтынбалы. Я заметил, что уже несколько дней из трубы его дома не валит дым, и подумал, что пухлая молодка, должно быть, прихворнула. Пришел, а она нежится в постели. «Ах, это ты,— воркует-выстанывает.— Принеси-ка охапку саксаула и растопи печь. Знаешь, такая нынче жирная конина попалась! Заложишь в котел кусок, а как разбухнет — из котла выпирает. Насшься — огонь по жилам разливается, жар томит, всю ночь не уснешь... Пришел бы вечером, отведал бы своей доли, а, джигит?..» Встала, накинула на гладкие, смуглые плечи халат, проплыла мимо, обдав пьянящим запахом горячего тела. Голова моя закружилась, холодок подкатился к животу, и я заспешил домой. Не-ет, решил я, без Алтынбалы я сюда отныне не ходок... Всю ночь проворочался, все преследовал меня жаркий шепот: «Ну, что, джигит, а?.. Не джигит ты, а теленок мокрогубый...»

Суровая зима в этих краях. Только натянет ветер из-за гор белесые тучки — краснощекий мороз железом обжигает. Я выглянул в окно: окутанное морозной дымкой солнце медленно закатилось за горизонт. Было оно похоже на застывший конский жир. Это к непогоде, к пурге. Значит, готовь лопаты. По рации я связался с Койшеке. Сиплый голос сообщил, что — слава аллаху и всем покровителям — сено еще не все вышло. Успокоенный, отправился я домой. Мокрый снег прилипал комками

к моим кирзовым сапогам, и казалось, я хожу на сверхмодной платформе. Мама хлопотала у печки, готовила мое любимое блюдо — молозиво. Я сразу забыл об усталости и, стягивая задубевшие сапоги и растянувшись на мягких подстилках, все улыбался в предвкушении редкого удовольствия.

До ужина я полистал учебник. Когда мама поставила передо мной пышное, подрумянившееся по краям молозиво в чаше, я вспотел. «Знаю, что от чая кишки у тебя присохли,— грустно улыбнулась мама.— Но теперь телка отелилась, и мы заживем!» «Через полгода и я поеду учиться».— «А мне одной сторожить эту мазанку?» — «Ничего. Поступлю — тебя заберу. Будем жить вместе».— «Как я уеду из родных мест? Перед памятью отца стыдно. Перед людьми стыдно. Не годится мне, мой жеребенок, на старости лет бродяжничать...» — «Ну, так вернемся ведь после учебы...» — «Э, нет, ты уж лучше сношку мне приведи. Все веселее вдвоем будет».

Огонь уютно потрескивал в печке. От тепла и обильной с непривычки еды меня приятно разморило. Я прилег, задремал и увидел сон.

Стою я среди чабанов с длиннющим списком в руках. И будто из-под земли слышится ропот. «На чьи поминки деньги собираешь?» — «На поминки Алтеке». Чабаны недовольны. Кто-то выворачивает свои карманы, кто-то протягивает железный рубль, другие головами качают, ворчат. А я все собираю и собираю по списку. Черед доходит до Койшеке. «Знаешь, сколько должен мне Алтынбала?! Он меня всего ободрал. Верни все до копейки!» — «Ойбай, аксакал! Как я возьму у покойника?!» — «Тогда я ему вырву золотые зубы. И будем квиты!» Заверещал я. «Грешно, аксакал, над мертвым глумиться!» — «А живых обжуливать не грешно?!» Койшеке размахивает длинными шипцами, пытается ворваться в комнату, где лежит усопший. Я грудью преграждаю ему путь. «Прихвостень! — гремит Койшеке.— Зачем для него деньги с нас дерешь? Зачем в дом его шляешься, саксаул мельчишь, печь распаливаешь? Прихвостень! Подхалим!! Пристегай!!!» Шум поднялся, будто в отару затесался ягненок раннего окота.

Проснулся в липком поту. Мама потрогала мой лоб и уложила в постель. После такого кошмара я не уснул до утра.

На другой день я убедился, что поистине извилист

жизни путь. Похлопывая себя камчой по голенищу, понаехали чабаны за зарплатой. По моему списку кассир высчитал с каждого кругленькую сумму. Многие промолчали, мол, что поделаешь, надо помочь сородичу, он ведь вдалеке от родного края. Не приведи аллах нуждаться на чужбине. Но были и недовольные.

— Алтынбала мне ни брат, ни сват. Зачем я должен на него жилы тянуть?!

— Что он, сам попросить не мог? Боялся, рожа искривится?

— Он еще со старыми долгами не рассчитался. Я хотел сношку в дом привести, три года деньги копил, а он приехал и выклянчил взаймы. И денег нет, и сношки нет. А теперь и на зарплату мою позарился. Как семью прокормить?!

— А я что своей бабе скажу? Еще подумает: в карты проиграл.

— Дурная болезнь — эти сборы-поборы. Пора бы покончить с этим.

— Если он еще раз захапает хоть рубль — подам на суд!

Каждое слово возмущенных чабанов для меня как дубинкой по макушке. Я готов был провалиться сквозь щели конторских половиц. У меня было совершенно превратное представление о моих земляках, о чабанах, что зимой и летом покорно бредут за отарой. Я думал: вот истинные баловни нашего времени, рыцари щедрого племени, все на свете им нипочем, потому как деньги гребут лопатами. А, выходит, такие же, как все: и их преследуют семейные заботы, и они не хотят огорчать жен, и они воспитывают детей, радуются, печалятся, суетятся... Они могут быть то бесконечно щедрыми, как могучая Сырдарья в весеннее половодье, то скупыми, как куцая тень в знойный полдень. Выходит, я, удержав с каждого половину зарплаты в угоду своему начальнику, поступил не опрометчиво, а плохо. Хотел за счет этих людей добрячком прослыть...

Алтынбала вернулся через месяц. Появился у него сытый грудной бархатный голос. Будто глотку хорошенько жиром смазал. Слова цедил врастяжку, с ленцой. Лицо стало гладким, холеным, цвета очищенного проса. А смех взрывной, раскатистый, с глубинным рокотом — так булькает кумыс в огромном бурдюке, когда его мешают мутовкой.

Поблескивая золотыми зубами, Алтынбала рассказывал: «О, родной благодатный край! Золотая моя колыбель! Только вдали я понял истинную цену твою. Напрасно мы вздыхаем по столице. Там мы что овцы из чужой отары. Нет ничего дороже, скажу я вам, родных полынных степей да пыльного ветра! Не для нас — город, не по нашим карманам — столица. Там куда ни пойдешь, куда ни сунешься — везде деньги, деньги. Даже божья вода и та продается. И все куда-то спешат, торопятся, точно заведенные. А в ауле живи — не тужи. И богатству твоему никто не позавидует, и за бедность не упрекнет. Спи и ешь, сколько влезет, шляйся по гостям, волоча штанины по земле и держа руки в кармане. Как говорится, и теща не косится, и мулла не осудит... Про учебу спрашиваешь? Э, браток, разные шустряки, пером хлеб добывающие, и тут нас с тобой обскакали. В каждом учреждении набились, как овцы в загоне. И не надейся. Для аульного казаха лазейки не осталось. В библиотеках ни одного свободного стула. Студенты, поджарые, тощие, уткнулись носами в книги, грызут гранит науки. Как тут быть? Срам ведь — целый месяц околачиваться в столице, угрохать уйму денег и возвращаться в аул невеждой. Ну, отправился к самому декану. Говорили же наши предки: уж если падать — так с верблюда. Все выложил. «Мясо надо? — говорю.— Шерсть надо? Не декану, конечно,— народу. Надо! А тем, кто производит мясо и шерсть, учиться разве необязательно? Разве есть такой закон?..» Смутился декан. Понятливый попался. Схватился за телефон и давай звонить во все стороны. Ну, направил, значит, в какому-то хиляку в темных очках. Пристал тот, как репей. Голову морочил, душу мутил — сил нет. Все мои знания, будто остатки зерна из пустого мешка, вытряс. Да еще из-под темных очков меня буравит, с ехидцей спрашивает: «Сколько овец вы, милейший, за год съедаете?» «Э, да кто их считал? Ясное дело, без свежего мяса и жирного бульона не обходимся». От этих слов мой экзаменатор подскочил, будто живого тарантула перед собой увидел. Еле-еле успокоил его, ублажил. Главное — чести своей перед земляками не уронил...

Конечно, всем аулом порадовались такой удаче: как-никак наш родич попал в институт! Не важно, что заочно.

Наступило весеннее равноденствие. Подтаял синий ледяной наст. Курилась земля. Подул теплый ветер, про-

званный в нашем краю «золотой лопатой». Из кривых труб на плоских крышах низко стелился дым. По нему можно безошибочно определить, у кого что в казане. Пожилые женщины в эту пору варят традиционный новрузкоже — из семи главных продуктов. Мама — большая мастерица готовить такое яство. Толченое просо разбухает, масло сочится, ешь — душа радуется. Старики потянулись из дома в дом, поздравляли хозяев с наступлением весны, ели новрузкоже и давали бата — благословение. И я немного походил с ними. У стариков один разговор:

— Нынешняя зима, слава всевышнему, не подкосила чабана. Выстояли.

— Еще бы месячишко продержаться, а там свежая травка пойдет, скотина в тело войдет...

— Иншалла! У нашего управляющего неплохо идут дела...

Когда из-под корней иссохшей полыни робко выглянула зеленая мурава, начался весенний расплод овец. Меня направили на помощь к Койшеке.

Весенний расплод — чабанская страда. От забот голова пухнет. Койшеке за это время, как говорится, не снимал сапог, не развязывал пояса, весь день в бегах, не до сна, не до еды. Исхудал, оброс. Увидел меня — растрогался. На плече его висел полосатый коржун, из него торчали курчавые головки только что родившихся ягнят, позади, жалобно блея, семенили пустобрюхие матки. «Давай, родной, подсоби, отнесем ягнят к стойбищу. Не то дождь пойдет — все, как один, околеют». Мы хватаем в охапку мокрые, трясущиеся живые комочки и спешим к теплому очагу. Здесь такой тарарам — сам шайтан ногу сломит. Жена Койшеке, сакманщица, засучив рукава, сучья в огонь подбрасывает, воду греет, беспомощных ягнят обтирает, обсушивает и к сосцам матки подносит. А они, дурехи, точно ошалели, своих ягнят не принимают, шарахаются, мечутся. «Лови!.. Держи!.. Хватай!..— кричим мы друг другу. Изловив, я крепко держу матку, сакманщица тычет ягненка мордой в набухшие сосцы... В этой суматохе отца родного забудешь. Попробуй останови Койшеке, спроси, как зовут его жену, он бессвязно пролепечет: «Овца... овца... ягненок...» Я вижу: он разрывается на части, тычется туда-сюда, и в запавших глазах его одна озабоченность.

Только очухается ягненок, насосется молочка, округ-

лится, закудрявится, а уже на другой день нависает над ним злой рок.

Громыхая, «Беларусь» приволакивает огромный прицеп с высокими бортами. Расторопные заготовители ловко хватают пухлых, шелковистых ягнят, словно пончики на скатерке, и швыряют в кузов. Накидав полный прицеп, суют Койшеке расписку, и «Беларусь» с прицепом скрывается за холмом. Сердце чабана обливается кровью. Вся отара, обезумев, мечется, словно напала на нее волчья стая. Осиротевшие матки оплакивают своих ягнят, блеют навзрыд и несутся вдогонку трактору. Два-три дня стоит над зимовьем этот неутешный, надрывный плач. Чабан, опустошенный, сумрачный, пересчитывает в уме отданных ягнят, отгоняет отару в степь, на выпас и, дотащившись до юрты, бессильно опускается на подстилку.

— Все!.. Кажется, план есть... Ух... провались!.. Сгори все синим пламенем!..

Я, тоже изрядно усталый, плетусь на каракулевую базу. Алтынбала обязал меня пересчитать и принять шкурки, а сам накинулся на веттехника.

— Почему у тебя сплошь черный каракуль? Не знаешь, что государству нужен серый?

— А я при чем? Откуда мне знать, какой уродится?! В дебрях генетики даже у ученых мозги усохли.

— У тебя они усохли! Тебе сказано было: черного барана сдай на мясо, а за сивым поухаживай получше. Неужели и этому тебя не научили?!

— Учили — не учили! Надоело! Лучше с сумой пойду по свету. Зимой и летом, как пес, плетешься за отарой, дома не ночуешь, бабу не ласкаешь, а толку что?! За барана отвечай, за матку отвечай, за цвет каракуля отвечай. Провались такая жизнь!

Алтынбала понял, что погорячился, скинул пиджак, завернул рукава.

— Ладно! Не нуди. Всем достается... Лучше посмотрите, как нужно работать. А то копаетесь, ковыряетесь, как с похмелья.

Такое мне приходилось видеть впервые... Стан дымился от крови. Алтынбала хватал из загончика ягненка, левой рукой стискивал ему шею, правой — ловко и точно всаживал в горло нож. Потом быстро переворачивал трепыхавшуюся тушку и, держа за задние ножки, выпускал кровь в колоду. Не тратя времени, он пальцами раздвигал разрез, чуть подрезал шкурку с края и выворачивал туш-

ку наизнанку. Синеватое, крохотное тельце он, не глядя, швырял в деревянное корыто, а дымящуюся, еще теплую шкурку — мне. Казалось, шкурки были живые, шевелились в моих руках, вздрагивали каждым завитком.

Мне стало дурно. Тошнота подкатила к горлу. Пошатываясь, я покинул базу, завернул за угол и присел. В глазах потемнело, все вокруг закачалось...

Голос Алтынбалы доносился издалека: «Поджарьте мясцо ягнят на топленом масле. Пальчики оближете. Такое блюдо называется сырбаз. Оно возбуждает желание, пьянит кровь, поднимает производительность труда. Всем джигитам рекомендую». «Алтеке,— послышался голос молодого веттехника.— А главбух, по-моему, тоже не прочь отведать сырбаз». «Ну, конечно! Кто от сырбаза откажется? Подбросьте ему мешок на моем «газике».

Запихнув в машину мешок с тушками ягнят, отправился я к главбуху. Подальше, подальше от этой бойни, может, развеюсь, отойду немного на центральной усадьбе... Главбух только что пришел с работы, смывал под рукомойником дневную усталость. Услышав наш «газик», вышел навстречу, поздоровался за руку. Потом провел в гостевую. «Ну, как там? Много ли нынче каракуля будет? А-а... Хорошо! Выполним обязательно, а там и почет, и слава, и благодарности, и премия... Тут уж понадобится моя голова. Отчеты сдавать, балансы подводить нужно умеючи, мой дорогой!..» На ходу намеками преподал мне главбух урок бухгалтерского искусства.

На верхушке одинокой старой туранги у родника за аулом появились нежные почки. Нижние корявые ветки так и не проснулись. Старики говорили: плохой знак. Должно быть, лето будет на редкость знойным, засушливым. И птицы нынче избегали туранги, ни одного гнезда не свили на ее макушке. Неприхотливый степной воробей нашел себе пристанище в зарослях полыни.

Не успел я прийти домой и прилечь, по обыкновению, как от Алтынбалы прибежал гонец. Управляющий срочно вызвал к себе. У меня екнуло сердце. Вспомнились слова Алтынбалы: «Слушай, браток, чем это ты не угодил моей женушке? Что-то дуется она на тебя...» Я и сам замечал, что дуется. Видно, обиделась за то, что зимним вечером я не зашел к ней отведать жирной конины.

Делать нечего, побрел я по темным кривым улочкам аула, спотыкаясь о кочки, еле дотащился до просторного дома с бесконечными пристройками. Прошел в гостевую.

Алтынбала, точно камень-стояк, застыл на домотканом паласе. Пухлая молодка, капризно вскинув брови и сложив руки на необъятной груди, прислонилась к тюку. Цветастый шелковый халат, казалось, вот-вот лопнет на ней. Я поспешно отвел глаза, присел на краешек паласа.

— Слушай, Дюйсенбе, дорогой,— глухим голосом заговорил Алтынбала.— Вижу: неплохо работаешь. Стараешься. Не зря, видать, взял я тебя под свое крылышко. И прибарахлился малость. Иншалла, еще лучше заживешь... Ну, а я... сам знаешь. Надо было золотые зубы вставить, в институт поступать, то да се. Вот и опустошил свои карманы. Но деньги, когда мир и благополучие,— дело наживное. А вот женушка второй день меня, точно куардак, поджаривает. Оказывается, жены начальства нынче норковые или каракулевые шубы носят. Да не каракулевые, а из каракульчи. Понимаешь? Срам, говорит, в цигейковой дохе людям на глаза показываться...

Чего тут не понимать? Каракульча — самые драгоценные шкурки еще не родившихся ягнят. Они нежные, с тугими завитками на вес золота. Осенью у нас на ферме отобрали отару овцематок, чтобы после ранней случки получить от них каракульчу. За тринадцать дней до расплода мы погрузили овцематок в вагон и отправили на мясокомбинат. Там их зарезали, вытащили ягнят, сняли шкурки. Высушив, обработав, пересортировав их, готовились на днях сдать государству.

— Алтеке... каждая шкурка ведь на учете...

— Э, браток, скот выращиваем мы. Каракулеводством занимаемся мы. Так неужели за наши адские труды мы не имеем права на несколько несчастных шкурок? За свои же честные деньги?! Не снимут же нам за это головы!

— Не знаю, Алтеке... Как можно покушаться на совхозное добро? Это ведь пре...

— Не учи, браток. И не страши. Я прошу только на одну шубу. От этого совхоз не оскудеет. Говорю же — заплачу до копейки.

— Не соображу, как быть...

— Ладно, браток, оставь все сомнения и состряпай завтра акт на тридцать шкурок. Придумай что-нибудь. Дескать, моль поела, порезов много, словом, брак, государству сдавать невозможно. А деньги я внесу в совхозную кассу. Договорились? Ну, и хорошо! Маладес! Государство наше, сам знаешь, не обеднеет. Потому что го-

сударство — это мы. Не так ли, грамотей?.. Давай придвинься к столу. Сейчас женушка куардак нам принесет Полакомимся! Как? Не будешь пить? Меня, что ли, стесняешься? Ну, ладно... разрешаю. От рюмки-другой пьяницей не станешь. Ай, маладес! Поехали!..

Я диву давался. Дебелая молодка, только что стоявшая каменным изваянием возле тюка, вдруг вся расцвела. Подстилкой стелется, подушкой подкатывается. Подведенными глазами играет, улыбкой завораживает, бедрами виляет. А-а... черт с ними, с тридцатью шкурками... В конце концов отвечать ведь Алтынбале. Он завфермой, не я... Старики его поддерживают. Чего мне? Ух, глазища-то какие! Прямо в жар кидает. Будто в душу тебе, бесстыжая, лезет. Знобкая дрожь колотит... Тридцать шкурок, однако, не шутка. Но... я все равно уеду учиться. Пусть здесь сами выкручиваются. Он старший, меня попросил, я и сделал. Вот и все... и все... Читал я, будто взгляд женщины — черная пучина, не умеешь плавать — сразу утонешь. Видно, не пустые это слова...

Алтынбала пил «топленый конский жир», как он называл коньяк, и мне подливал. Хмель ударил в голову и в ноги. И слова путного не скажешь, и с места не сдвинешься. Сколько прошло времени, не поймешь. Наконец я все же встал, пошатываясь, потянулся к выходу. Долго плутал по особняку из восьми комнат. Подался в прихожую, попал — в спальню. На широченной импортной кровати разложила себя пышнотелая молодка. Руки-ноги раскинула. Коленки пухлые выставила. Стрельнула на меня бесовскими глазищами: «Ай, джиги-и-ит!..» Я мигом отрезвел и выскочил как ошпаренный.

Мама посмотрела на меня испытующе: «В баню, что ли, ходил?» Что ответишь? Брякнулся в постель, укрылся одеялом.

В середине мая чабаны перебрались на летовку. Еще вчера в степи было шумно и оживленно, а тут сразу опустело, даже пыль не клубилась. Ветер гулял-свистел в сухих ветвях одинокой туранги. К обеду, шурша шинами, остановился у конторы «газик». Алтынбала вошел, поздоровался, навалился грудью на громадный письменный стол. Пощелкал пальцами, повел кадыком.

— Непонятная жажда меня мучит...

Жажда непонятная, а намек понятен. Перебрал вчера «топленого конского жира», вот и трещит голова, как переспелый арбуз. Веттехник прижал уши, помалкивает.

Значит, соображать нужно мне, младшему и по возрасту и по служебному положению. Бегу в ларек и возвращаюсь с белоголовкой за пазухой. В глубине зрачков Алтынбалы вспыхивает огонек.

— Та-ак... Падежа я нынче не допустил. План по каракулю выполнил. С шерстью тоже все в норме. Лишь поголовье овец никак не могу увеличить. Сдашь каракуль — поголовье не растет. Поднимаешь поголовье — с каракулем провал. Как в поговорке: налево поедешь — арбу сломаешь, направо поедешь — бык подохнет.

Алтынбала все реже говорил «мы», все чаще «я» да «я».

Вот и сегодня утолял он жажду непонятную в конторе, как вдруг, точно с неба, свалилась ревизия из района. По тому как ревизоры были сплошь вислоухие, в джинсах, при широченных галстуках, можно было догадаться, что они недавно поступили на стражу закона. Дотошные, неподкупные. Пригласил их Алтынбала на чай — не пьют. Пригласил на бесбармак — не идут. Оу, ребята, разве мы не казахи? Или у вас, как у стариков, пост? Неужто не столкуемся по-доброму? Хоть говорите, за что казните!.. Нет, от бумаг не оторвутся. Каждый листочек обнюхивают. В папках роются — пыль столбом. На счетах щелкают — треск стоит. Конечно, в моих бумагах сразу на «липу» наткнулись.

— Как объясните несоответствие между расписками чабанов и отчетом сданного каракуля? Или некоторые ягнята голенькими родились?

— Наверно, при счете ошибся...

— Интересно! Почему так много выбракованных шкурок? Кто вам разрешил столько списать по акту?

— Алтеке посоветовал оформить по низшему сорту...

— А почему такая разница между количественным и качественным показателями?

— Видно, ошибся при счете...

Алтынбала учуял неладное и сорвался в область. Меня предупредил: держись стойко, отбрехивайся, как можешь, я посоветуюсь с родней жены, может, замолвят, где нужно, словечко... Ревизоры между тем продолжали выколачивать из меня пыль. С каждым днем я все глубже увязал в топях бухгалтерского учета. Вместе с веттехником мы изо всех сил пытались выкарабкаться, но доконали нас тридцать шкурок каракульчи, ушедшие на шубу дебелой молодки. Больно символической оказалась

сумма, внесенная Алтынбалой в совхозную кассу. Выяснилось, что списывание драгоценных шкурок каракульчи без специального решения особой комиссии карается законом. Кто знал... Целую неделю не отходили от стола ревизоры. Наконец, такие же строгие, неулыбчивые, прихватили пухлые папки и укатили в район. Мне они сниться стали. В контору я отныне не мог заходить без отвращения и страха.

В весеннюю бурю рухнула старая одинокая туранга. Старики поговаривали о жутких морозах будущей зимы.

Я вновь собрался на учебу. Мама состирнула бельишко, я набил чемодан сушеным сыром и творогом и стал ждать Алтынбалу, чтобы уволиться по собственному желанию. По утрам и вечерам я подолгу смотрел на большак, но Алтынбала не показывался. Однажды вдалеке всклубилась пыль, и я побежал навстречу. Но то был не знакомый «газик», а милицейская машина. Молодой милиционер показал бумагу. Я похолодел. Земля закачалась под ногами. Мигом собрались аульчане. Мама причитала так, что у меня на макушке волосы шевелились.

— Мой мальчик в жизни не наступит на полосатую пряжу лжи! Он без спроса и ржавого гвоздя не возьмет. Обыщите весь дом, все, что есть, заберите, только оставьте моего единственного в покое. Заступитесь же, люди добрые!

Койшеке утешал маму:

— Не убивайся, женщина! У нас зазря никого не осудят. Его же пока только на предварительное следствие забирают. Выяснят, кто прав, кто виноват.

Я сел в машину. Дорога тянулась мимо родника. Ветка рухнувшей туранги печально помахала мне вслед. На глаза мои навернулись слезы.

Да-а... У жизни извилистых дорог и тропинок, должно быть, больше, чем в нашей степи. Много их, зыбких горизонтов, нехоженых троп, таинственных следов. Часто блуждаем мы на этих дорожках, шарахаемся по сторонам, вслепую ищем какие-то прямые пути к своей цели, к своим стремлениям. Мечтаем скорее добраться до загадочного берега бескрайней жизни, думаем изведать всю ее бездонную глубину, но мало чего достигаем. Так и изживаем жизнь. Порой я предаюсь безумной мечте: нельзя ли придумать так, чтобы люди не плутали бы в жизни, не тратили бы времени попусту на обретение горького и зачастую позднего опыта? Пошел бы сразу каж-

дый по единственно верной дорожке, и честь бы сберег, и не испытывал бы столько трудностей и разочарований. А то что получается?.. Верно говорят: брошенная палка угодит в несчастного. Не кого-нибудь, а именно меня, беднягу, будут обвинять в вымогательстве, приписке, махинациях. Будто я собирал поборы, присваивал каракульчу, нечестно оформлял наряды. Где он, мой благодетель? Где его умные бескорыстные советы?

Машина запрыгала на ухабах и рытвинах степной дороги. Натужно ревел мотор. Вдали что-то промелькнуло. Ворона, что ли?.. Но вскоре из клуба пыли вынырнул всадник и наметом помчался вдогонку за нами. Полы чапана его развевались, точно крылья. Я протер глаза и узнал Койшеке. Он изо всех сил гнал лошадь и махал войлочной шляпой. Но то ли лошадь под ним выдохлась, то ли шофер, выбравшись на укатанную дорогу, прибавил скорость, расстояние между нами вновь увеличилось, и Койшеке, поняв, что за машиной не угнаться, прокричал вслед:

— Твоей вины нет, сынок! Не отчаивайся! Мы всем аулом во всем разберемся. Добьемся правды!

У меня пересохло в горле. Сердце сжалось от любви и благодарности к мудрым и добрым, как одинокая туранга в знойной степи, старикам родного края. Ах, зачем я стал послушной дубиной в руках своего «благодетеля»? Зачем внял его даровым советам? Почему так сплоховал и пошел по кривой дорожке? Пошел бы лучше в чабаны, строил и чистил бы кошары... Койшеке отстал, удалялся все дальше, дальше и вскоре превратился в точку и исчез за холмом. По степи, взвихривая песок и сухие пучки трав, играли вперегонки шальные смерчи.

В район мы прибыли к ночи. Странная, тягучая тишина стояла в городке. Казалось, из-под земли доносился ровный глухой гул. Время от времени тишину взрывал рев тепловоза на железнодорожной станции и тяжело груженных «БелАЗов» со стороны каменного карьера. Машина остановилась перед серым кирпичным зданием. Громадные железные ворота раздвинулись автоматически. Тоска и страх вдруг пронзили меня: когда я теперь выйду из этих суровых стен...

Всю ночь я проворочался на жесткой железной кровати. В голове сумбур.

Казалось, никому нет дела до меня. Утром накормили гречневой кашей, напоили теплым, блеклым чаем. А уже

к обеду повели к пожилому, очкастому следователю. «Эх ты, растяпа! — сказал он, разглядывая меня из-под очков.— Пора бы и поумнеть. Можешь ничего не говорить. Все мне ясно. Да и позвонили откуда следует. Отправляйся-ка в аул и впредь не попадайся». Я ничего не понял и ушам своим не поверил. Онемел от радости, выскочил, даже забыл попрощаться.

У ворот меня поджидал... Алтынбала. Золотые зубы его словно потускнели, глаза ввалились, и весь такой маленький стал, тихий, вроде как помятый. Должно быть, крепко досталось от аульных стариков. Наверняка это они его сюда пригнали.

«Дюйсенбе, родной... Видишь, сам к тебе приехал... Со вчерашнего дня здесь. В ауле шум подняли, всю душу вытрясли. Понял: житья не дадут. Не думал, что так обернется. И как я только на этот скользкий путь встал? Жадность, что ли, одолела? Или эта чертова баба с толку меня совсем своротила — не пойму». Голос Алтынбалы виноватый, глухой, будто со дна бурдюка всплывает. «Пойдем,— говорит.— Поговорим... Еще бы немного — и вообще зарвался. Добром бы не кончилось. Хорошо, что решился и пришел к секретарю. Все чистосердечно выложил я Гайнеке. Ничего не скрыл. И про фальшивые наряды, и про акты, и про каракульчу — все, как есть, рассказал. Признаю, каюсь, готов понести любое наказание. Гайнеке ничего не сказал, только распорядился, чтобы тебя немедля отпустили. Вот так... Лучше получить сполна по заслугам, чем быть проклятым своими земляками. Это я, браток, за эти дни понял...»

Дивно было слушать такие речи. Что стало с моим благодетелем? Сгорбился, оброс, волосы свалялись, шляпа помялась. Даже жалко стало.

— Что же в райкоме решили?

— Пока сняли с работы. На ближайшем бюро определят партийное взыскание...

Алтынбала вздохнул, заморгал растерянно, уставился под ноги, будто что-то высматривал на дороге. Я не знал, как его утешить.

— Хоть бы партбилет оставили. Доверили бы отару, и я работал бы как раньше... не хуже других.

Мы молча шли по районному центру. Мимо с пронзительным воем пронеслась пожарная машина. Казалось, городской гул на мгновение затих.

Здесь, собственно, и кончается первая страница моей трудовой жизни. А может, с этого момента вообще начинается моя сознательная жизнь?..

Мне остается добавить, что спустя три дня после этих злоключений я получил расчет, набил чемодан сушеным сыром и творогом и отправился в далекий путь навстречу своей мечте за голубым горизонтом. На станцию проводил меня Алтынбала.

БРАТЬЯ

Старик Жанадиль, поддерживая поясницу и отрывисто покашливая, спешно направился куда-то, но вскоре — за это время, как говорится, едва ли можно было вскипятить молоко — вернулся, подавленный и опечаленный. Сбросив длинный, до пят, бархатный чапан, опустился на заботливо сложенные стеганые одеяльца в правом углу. Старуха встревоженно покосилась на него. Что же могло случиться? Только что старик радостно сообщил: «К Лапке старший брат приехал. Пойду-ка покажусь большому доктору». Лапке — так кличут в ауле Жолдаса, который как угорелый мотается по отгонным участкам на разбитой автолавке. Отсюда и произошла кличка — Лапке. Ну, а большой доктор — главный врач района Молда, двоюродный брат Лапке, человек почтенный, знатный. Легконогая людская молва утверждает, что он исцеляет все хворости на свете. Еще за утренним чаем старик похваливал расторопного Лапке: «Ох, и хват! Ох, шустряк! Всех обскакал, всех обставил. И машина у него, и домина из восьми комнат у него. И индийский чай, который нам только снится, ящиками волокет...»

Теперь бурчит-ворчит старик: «Чтоб он провалился, этот Лапке! Чтоб глаза мои его не видели! У, иноверец! У, пройдоха!»

Крепилась-крепилась старуха, а не выдержала, спросила робко: «Что же стряслось, отец?» Ни пустословья, ни бабьего любопытства терпеть не мог Жанадиль. Глянул — будто ножом полоснул. Старуха заерзала, словно земля под ней всколыхнулась. Заправляя жидкие, седые пряди под жаулык, виновато взглядывала на мужа, и Жанадилю стало жаль ее. Как бы невзначай проронил: «Нет, добра не жди от этих пьянчужек! Не голова у них

на плечах — тыква!» Покашлял, отдышался и про все поведал:

— Так вот, поплелся я, значит, к Лапке, будь он неладен. Еще давеча углядел, как к нему легковушка подкатила. На такой обычно начальство разъезжает. Смотрю: брат его, доктор, выходит. А в тот раз, когда я обивал пороги районных и областных лекарей, его как раз не было. В отпуск, сказали, уехал. Ну, думаю, теперь сам аллах мне способствует. Уж теперь-то он меня посмотрит... Дотащился, значит, кое-как. Кобеля своего четырехглазого Лапке в конуру запер. Вошел я в дом, а там что, где — сам шайтан не разберет. Это тебе не халупа саманная, в которой такие, как мы, простаки живут. Куда ни сунешься — дверь, куда ни толкнешься — комната! В коровьей почке и то меньше углов-закоулков. Плутал, плутал по сенцам, чуланам, закуткам — то на целый склад мяса копченого нарывался, то на какие-то железяки наталкивался... О, создатель, чего только в хоромах этого кафыра нет! Кое-как добрел-таки до гостевой. Переступил порог. Вижу: камнем-стояком торчит Лапке. Выпучил гляделки — злые, белесые, словно налет соли на солончаках. Рожа — жуть! Молда даже не разделся, сидит на ковре и честит-песочит братца. Рядом — двое долговязых, районные дружки, должно быть. Старуха скрючилась в углу. Срам-то какой: братья при людях, точно псы, сцепились. «Ничего,— вроде утешаю старуху.— Старший ведь. Уму-разуму учит...» Слыхал я, будто Молда мягок, как шелк. Видно, вывел его из себя этот хапуга с бесцветными глазами, зажался, как последний жмот. Не то — с чего бы так распаляться Молде: «Крохобор!.. Скупердяй! Чурбан! Если бы не старая мать твоя, я бы и носа сюда не сунул!» У меня у самого язык горел, но сдерживался, попытался помирить их. А тут как на грех сноха заходит, женушка Лапке. В руках — поднос с горой копченого мяса. Видно, в котел заложить собралась. Поклонилась мне учтиво. А в Лапке шайтан вселился. Ни с того ни с сего хвать ее лапищей по лицу. Поднос с мясом грохнулся. Долговязые переглянулись и поспешно потянулись к двери. Молда кинулся утешать сноху. Та к стенке прижалась, ревет. Целый тарарам! Лапке выскочил, дверью хлопнул.

— Так и не показался дохтуру?

— Какой там?! Сколько злобы, ненависти, а еще братья называются!..

— Как же теперь нам быть, старый?

— «Как быть? Как быть?» — досадливо передразнил жену Жанадиль.— А ведь уже время совершать намаз.— Старик поднялся и направился к выходу, прихватив куман для омовения.— Из-за этих придурков и согрешить немудрено.

Колючий ветерок налетал с севера. Старик обогнул дом, присел на корточки за углом и тут только заметил, что в кумане почти нет воды. Запахивая чапан, засеменил он к арыку неподалеку. Только собрался было зачерпнуть воды, как вздрогнул, остолбенел от отвращения. В нескольких шагах, наклонившись и сильно выпячивая зад, ополаскивал свою мясистую рожу Лапке. Старик отдернул руку, словно рядом гадюку увидел. Будто холодком повеяло и свет померк, и все на этом свете стало сразу отвратным...

А Лапке плескал себе в лицо арычной водой и думал: «Ну, и что, если он мне брат?! Будь хоть трижды доктором — чихать я хотел! И на славу-почет его — тьфу! Подумаешь!.. Оставьте-ка лучше меня в покое... Разве гостей я испугался? Или овцу и ящик водки пожалел? Или я против доброй славы матери нашей? Врешь! Дело, если на то пошло, в принципе, в миро-воззрении! Даже у двух путников дороги разные: один в низовье топает, другой в верховье прет. А у нас как получается? Я коплю, копейку к копейке приколачиваю, а он тратить, швырять горазд. Я пóтом обливаюсь, на колесах день-деньской мотаюсь, он — на домбре тренькает, душу ублажает. Там, где он: «Проходите, Молдеке!», «Садитесь, Молдеке!», «Ешьте-пейте, Молдеке!», «Коньячок пригубите, Молдеке!». А моя доля — баранку крути, на автолавке трясись, щелкай на счетах, с чабанами глотку рви, у весов торчи, водку вонючую дуй да сыром заплесневелым закусывай. Вот где противоречия жизни!.. И корни их ох как глубоки!..

Еще со школы разминулись пути братьев. Лапке (тогда он еще был Жолдасом) мурлыкал себе под нос: «Ученье — сущее мученье»,— и с утра до вечера играл в асыки, гонял собак, устраивал скачки на ишаках, шалопайничал. А Молда книжки до дыр зачитывал да

стишки кропал: «До последнего дыхания любовь я в сердце сберегу». Из столичных и районных редакций жиденькие письма приходили: «К сожалению, ваш материал для публикации непригоден». Казалось, утихомирят они его поэтический пыл. Наоборот, подстегивали! И жил Молда какими-то неясными мечтами, порывами души, взлетами духа. А Лапке все мотался на велосипеде по аулу. За ним, высунув языки, орава сорванцов носилась... Со скрипом одолел семь классов и расстался со школой. Вздумалось стать шофером. Где лязгает железо, где клубится пыль — там и он. Молда между тем вознесся на крыльях мечты: в далекую Алма-Ату учиться подался. «Провалился бы с треском»,— думал про себя Лапке. Не вышло. Пролез-таки братец в институт, врачом стать надумал...

Окончил Лапке шоферские курсы, но машину ему не доверили, пришлось сесть на «Беларусь». С грохотом носился по аулу, пыль столбом поднимал — радовался. Знакомых девок в кабину сажал — радовался. Жил — не жаловался. Однажды, хлопая кирзовыми сапогами, ввалился в дом, а там, на почетном месте, какой-то хлыщ в широченном галстуке, в ярко-пестрых носочках чинно восседает. Глянул Лапке — даже не сразу узнал. А в ауле только и шу-шу про нового доктора-чудодея. В рот ему смотрят, головами трясут, из дома в дом приглашают. С досады выругался Лапке, швырнул кирзовые сапоги к порогу, мазутом пропитанную майку — в печку и три дня кряду мылся в бане, вытравливая запах солярки. Ишь как выхваляется-то братец! Будто он, Лапке, не может в широченных штанах щеголять, носом крутить. Будто и не человек он вовсе.

«Ну, ладно, допустим, радио не слушаю. Газет не читаю. Ну и что? Районную газетенку хоть изредка да просматриваю же. Киношку про войну да про шпионов тоже не пропускаю. Предки мои, если на то пошло, над книгами не корпели, мозги не засоряли, зрение себе попусту не портили. А ведь до ста лет жили в дикой степи, детишек косяками плодили, по две, по три бабы имели, на аргамаках скакали да кокпаром-козлодранием себя потешали. А теперь? В тридцать голова будто солью посыпана. В сорок — труха сыплется. А все оттого, что книжная мудрость, думы, бумагомаранье, пустые мечты плоть старят, здоровье точат. Меня иные придурком считают. Дескать, шарика одного не хватает. Это пото-

му, что свое понятие о жизни имею и своей тропинкой топаю, а не с теми, у кого с шариками в башке «все в порядке».

Жизнь — штука скользкая. Всякое случается. Помню, угробил я «Беларусь», месяц без дела слонялся. Вызывает как-то бух. «Эдак,— говорит,— с голоду околеешь. Мотай-ка, брат, в район, к председателю рабкоопа, помозоль ему глаза. Дядей назови, отцом назови, поклонись да похнычь, но выклянчи место продавца в нашем магазине. А встанешь за прилавок — в обиду себя не дашь».

Да осыплет тебя аллах милостями, бух! Да преследует себя удача на этом и на том свете, бух! Да не покинет счастье детей и внуков твоих, бух! Что ж... бывший продавец неожиданно в город сорвался, а на место его я встал. В суматохе, под мухой акт-макт сотряпали, он передал, я принял, все честь по чести. Ну думаю, дорвался я наконец до лепешки с маслом. Только откусывай побольше, да глотай поживей. Деньгу пятерней загребать начну...

Не тут-то было! Осенью распечатал ящик с чаем, а там, с середины, одни кирпичи. Вот те раз! Второй открыл — и там то же! Ну, и обмишулился. Помянул я всех женщин по материнской линии пройдохи продавца! Потом прошелся по мужской части до седьмого колена. А проку-то? Жулика — чтоб трава не росла на его могиле! — и след простыл. По всему аулу прокатился вопль: «Ай, ай! Ограбил! В тюрьму упек!» Но верно сказывают, что у беды семеро братьев. Едва подморозило, бутылки с водкой одна за другой полопались. Что за черт?! С каких пор стойкая белоголовка южных холодов испугалась? И тут обвел меня пройдоха вокруг пальца. Шприцем высосал горькую, а бутылки наполнил водой. Тем же шприцем через ту же дырку... Щелк-щелк на счетах, скрип-скрип на бумаге: убыток — семьсот пятьдесят семь рублей сорок шесть копеек! Кричу «Караул!» и бегу к спасителю буху. Помоги, посоветуй, не дай погибнуть, отец родной... Слава уму твоему, достопочтенный бух!.. Пусть недруги твои презренные у ног твоих валяются, а друзья на руках носят! Пусть едой твоей будет жирная конина, а питьем — шербет медовый! И решил мудрый бух: «Не дадим сироту в обиду. Всем аулом недостачу покроем». Так избавили аульчане головушку мою от верной каталажки.

Слава аллаху, опять сам себе хозяин. Никто не посмеет спросить: «А ты-то кто такой?» Иногда в порыве благодарных чувств хочется аульчан к себе в гости пригласить, плечи почтенных старцев чапаном новым укрыть. Только жалко дробить кругленькую сумму в кассе да сокращать поголовье личного скота. Э, ладно... Как-нибудь в другой раз. Вдруг подвернется какая-нибудь добыча...

Зимой, в ночь на четырнадцатое февраля, от обильного снегопада обвалился потолок в магазине. «На твоем челе печать невезения»,— сокрушались одни. Другие радовались: «Еще повезло. Могло бы и задавить». Из рабкоопа, понятное дело, ревизор за ревизором. Опять покаяния, опять мольбы, слезы. Смилостивились кое-как. Посадили на автолавку: «Послужи-ка чабанам на отгонных участках».

От советчиков, конечно, отбоя нет. Молда, гостивший как раз в ауле, в бутылку полез.

— Что еще за свистопляска? Займешься когда-нибудь делом всерьез?!

— А как же? Всю жизнь об автолавке и мечтал!

— Посмотри на своих сверстников. Кто чабан, кто шахтер...

— Оставь! Умру, а в шахту не полезу, и в пустыне за овцами бродить не стану. А вот автолавка — как раз по мне. И не морочьте голову!

Иногда, долгими ночами, Лапке погружался в пучину дум. Он взвешивал свое прошлое, заглядывал во все его закоулки, мысленно вновь исхаживал все тропинки. И всякий раз поражался причудливой игре прихотливой судьбы, которая кого возносила на вершину удачи, кого низвергала в пропасть бесславия. И сравнивал себя со своими сверстниками. И так и сяк прикидывал. В каждый хлев, в каждый дом — в мыслях заглядывал. И непременно получалось, что самый удобный угол — свой, самый просторный хлев — свой, самый уютный, теплый очаг — свой. А ведь и впрямь: нужды никакой, дом — полная чаша, поголовье скота растет. Как говорится, и кость крепка, и кишки в сале.

А у других? Ну, смотался он на днях к знакомым чабанам. Расплод овец — горячая пора. Лапке о житье-бытье расспрашивает, чабан о ягнятах долдонит. Лапке — дремать, чабан — орать: «Эй, пригони сюда барана-производителя!» Он пару ящиков водки прихватил,

чтобы настроение поднять, а чабану и присесть недосуг. Он ему новый костюм сует, а чабан про раздельную пастьбу поет. Тьфу!.. Разве это жизнь?! Махнул он рукой и укатил восвояси.

Благодарение всевышнему, неведомы ему чабанские заботы. Дрыхни — сколько влезет. Проснешься часов в десять, долго чай дуешь, крепкий, крутой, с верблюжьим молочком. Потом, обмахиваясь, спрашиваешь: «А где детки?» «На двор выпроводила,— отвечает юная жена.— Чтоб тебе чаек попить не мешали...» «А-а...— подумаешь с удовольствием.— Ну, я, пожалуй, подамся в район». В глазах жены вспыхивает огонек. «В район»,— звучит так значительно и непостижимо таинственно. Потом заведешь машину и даешь жене наказы: «Смотри, чтобы дети не купались в пруду. Пиявки искусают. Старик Жанадиль давненько брал в долг два кило чая. Пусть вернет деньги. Ковры из гостевой вынеси на солнце. Выбей, почисти! Да за скотом приглядывай!» И пока не тронешься с места, вколачиваешь в бабью башку: «Сделай! Смотри!.. Приглядывай!..»

К обеду, волоча за собой сизый шлейф пыли, въезжает в район. Первый визит наносится кому? Ну, конечно, председателю рабкоопа. «Как живете-можете, почтенный? В здравии ли все ваше семейство? Может, пора подкинуть свежего мясца, уважаемый? А может, малость прогуляемся-поразвеемся? Не угодно ли за мой счет, радетель-благодетель?..»

На другой день с тяжелой головой, с опухшими глазами, с помятым лицом вваливаешься в дом братца Молды. Все тебя раздражает, ворчать начинаешь с порога. «Оу! Дверь у вас распахнута настежь. На кухне — тарарам. Никто не встречает... А если я вор? Если я обчищу вас до нитки?!» Курчавый малец, на миг отрываясь от книги, заявляет: «Папа в больнице, мама в школе». У, активисты! Деятели чертовы! Разбрелись, кто куда... А за домом следить кому? А готовить кому? А гостей встречать? Или вам денег все мало?! Что ваш дом, что общежитие — один черт! Может, поднесешь дяде, племяш?

— Кто пьет в одиночку, пьяницей станет,— отвечает курчавый.

— Ах, паразит! Это тебе отец небось внушил?!

— А индюк в холодильнике для гостей...

— Ах, паразит! Я не гость, что ли, а?!

И хватаешь индюка из холодильника, из серванта — бутылку коньяка и сам себе устраиваешь пир. Сказано ведь: пищу друга истребляй, как врага. И вот коньяк допит, косточки индюка обглоданы, и ты встаешь, покачиваешься, рыгаешь, племяша щелк ногтем по курчавому калгану. «Передай привет своим предкам! Скажи: дядя из аула приезжал. Голодный, скажи, уехал. Недовольный! Обиженный! Оскорбленный! Понял?!»

Рассуждает Лапке:

«Никогда не вырывайся вперед — подсекут, подножку подставят. В хвосте тоже не оставайся — пыли наглотаешься, затопчут. Милое дело — середина. Никто не придерется. Опасайся всезнаек, грамотеев. Не раскрывай души, не делись тайной. Не позволяй никому совать грязный нос в твое дело. Не то худо будет...»

Размышляет Лапке:

«Жизнь дается только раз, и нечего ее разменивать на мелочи — на разные мечты, на борьбу, суету, обиды, дрязги, порывы, карьеру. Чушь все это! Лежать следует на том боку, на котором более удобно. Слава всевышнему, чем я хуже других?! «Москвич», домина из восьми комнат, семь ковров, десятков пять овец, кругленькая сумма на книжке наверняка обеспечат беззаботную житуху...»

Сидел Лапке на корточках у арыка, подводил баланс жизни на счетах мысли, вспоминал, отчего так взбеленился ученый братец. А было все так.

Пыхтя и ругаясь, клеил он во дворе камеру. На душе кошки скребли. Утром, выпуская скотину на выпас, он заметил, что прихрамывала сивая овца. Он осмотрел ее, ничего подозрительного не нашел и отпустил в отару. Но настроение было испорчено. Чертову камеру он кое-как заклеил, колесо поставил на место, яростно попинал баллон. Вот тут-то и подрулил братец из района. И не один — с двумя долговязыми. Должно быть, на взводе были, потому уж больно фамильярничали. Поздоровались — «бай» да «бай». О житье-бытье порасспросили — «бай» да «бай». То ли усмехались, то ли завидовали — не поймешь. Только не по душе были Лапке эти намеки. Ввалились гости бесцеремонно в дом. Да еще шутки шутят: «Пожалуй, заночуем в доме бая. В картишки поиграем, потрясем малость байскую мошну». Зло взяло. За кого эти хлыщи его принимают? Им небось водку

ящиками ставь. А тут жена уж больно резво забегала, захлопотала. Услужливость свою выказывать вздумала. Ну, он и съежился, аж нутро выворотило, а братец на голос нажимать начал. Тогда и взорвало его, и в злобе хрясь бабу наотмашь.

Гости спешно убрались восвояси. Даже выбравшись на большак, Молда не мог успокоиться. От досады и стыда душа заныла. Какими глазами посмотрит он теперь на приятелей? Ах, негодяй! Где это видано — на глазах гостей бабу колотить? Ну, не нравятся гости — крепись, виду не подавай. А то что? Ай, срам! Ай, позор!.. От обиды аж в глазах жарко стало.

Подумал Молда: «Слишком я сердоболен. Простота и доброта меня губят. Всем угодить норовлю. И сам же страдаю. Видно, не зря говаривала мать-покойница: «Смотри, сынок, как бы не прослыть лгуном! Наобещаешь всем по доброте своей, а выполнить обещания не сможешь. Вот и запишут тебя в обманщики». И впрямь: больно всем и во всем потакаю. Какого дьявола, спрашивается, мотаюсь я сегодня с утра по долинам и по взгорьям? А все началось со звонка одного из этих долговязых. «Не повезло вчера. Голова трещит. Поразвеяться бы надо...» Тут и второй нудить начал: «Стал главврачом — забыл старых приятелей, а? А бывало, горсть толченого проса пополам делили. Айда, смотаемся в совхоз, мясцом ягненка полакомимся да сорпы свежей попьем». Разве тут откажешь? Вот и смутили дружки любезные его покой, заставили отложить исследование, над которым корпел последнее время, сорвали с места в поисках зыбких удовольствий. Поехали. В одном доме жирного куардыка отведали. В другом — кумыс попили. В третьем — не то чаек с коньячком, не то коньяк с чаем. По пути решили завернуть еще и к брату, чтобы поклониться старой матери. Тут-то и нарвались на конфуз.

Да-а... рано, слишком рано разошлись их пути. На уме Лапке были одни забавы; Молду влекли неведомые думы.

«Может, я слишком серьезно отношусь к жизни? И, может, напрасно себя так выматываю? Вот дружки мои ничем себя не утруждают, живут как бог на душу положил, в картишки играют, винцо попивают, палец о палец не ударяют. И собой довольны, и жизнью довольны.

Живи так, может, и я не постарел бы так рано. Почему бы и мне не поволочиться за красивенькими сестрами? Не петь во все горло на вечеринках? Не знаться с именитыми? Вопросов много, ответа нет. Только и делаю, что извожу себя думами бесплодными. Прав был, видно, Абай, когда писал: «Нет отрады в этом мире мыслящей душе».

Во-первых, он допустил оплошность, нагрянув с людьми к этому скряге. И потом, во-вторых, напрасно на правах старшинства принялся учить его уму-разуму. А в-третьих, этот дьявол самолюбив и завистлив. Он полагает, что все вокруг — праздные гуляки, а он один — трудяга. Он, видишь ли, колесо чинит, а брат на служебной машине по гостям раскатывает. Не постеснялся, дурень, при людях скандал затевать. Разве такого образумишь? Разве высветишь мрачные закоулки его дремучей души?

В прошлую среду Молда оперировал семнадцатилетнюю девушку. Плакала накануне, бедняга: «Разве жизнь — только боль и муки? Ну, почему я такая несчастная?!» Что он мог ей ответить? Бывает, растет в тени нежный цветок, а его обвивает, душит цепкий хмель. Таким цветком почудилась ему больная девушка. Два часа бился он со злой болезнью. На другой день жена заметила, что на висках его прибавилось седины... А неделей раньше привезли парализованного юношу. Семь лет пластом пролежал в постели с тяжким недугом позвоночника. Пролежни — страшно смотреть. «Пройти бы на собственных ногах десять шажков — другого счастья не желал бы»,— заметил как-то юноша, и от этих слов сердце у врача заныло.

У больных следует учиться ценить жизнь. А чему учит здоровый, как конь, Лапке? Разве что жадности, скопидомству, крохоборству. У него один смысл — урвать, хапать. Залезет волк в овчарню соседа — он только обрадуется да одеяло на голову натянет, притворившись спящим. Захлестнет человека половодье — руки не протянет. Спасибо судьбе, что не уродился этаким чурбаном...

Глядя на заходящее солнце — оно плавилось, точно масло,— Молда... вдруг... вспомнил старика, зашедшего давеча к Лапке. Вспомнил его изможденный вид и услышал сухой, отрывистый кашель. «Апырмау... Уж не показаться ли мне хотел старик? Выходит, сцепившись с

этим придурком, я невзначай обидел почтенного аксакала...»

— Сворачивай назад, в аул! — Молда резко повернулся к молодому шоферу.— Надо осмотреть больного старика.

Долговязые в два голоса завопили:

— Ты что, спятил? Полпути проехали!

— Небось не мешок с дынями везешь! И так все печенки отбили.

— Я обязан посмотреть старика. А вы и автобусом доедете.

Ай, пес упрямый! Добрый, тихоня, а как заартачится — с места не стронешь. Проклиная все на свете, решительно обрывая нить дружбы, вылезли долговязые из машины и встали на обочине дороги, точно бездомные странники. «Газик» взвизгнул тормозами, крутанулся на месте и понесся обратно.

Отчего у старика такой кашель?

В аул Кос-бутак, притаившийся между двумя увалами, доехали с заходом солнца, в сумерках. Всполошили всех собак, побеспокоили стариков, белевших в одном исподнем на задворках, расспрашивая про хворого старика. Им оказался кузнец Жанадиль, который жил на краю аула по соседству с Лапке. Дом нашли без труда. Обычная мазанка в форме переметной сумы — прихожая с двумя комнатушками по краям. Ни хлева, ни пристройки, ни даже собаки.

Открыла дверь старуха, провела в гостевую. Молда зябко поежился, почувствовав свою вину перед стариком.

Старик сидел на белом домотканом паласе-текемете и вяло перебирал четки. Изнуренный, бледный, с ввалившимися глазами, белобородый, в просторных исподних штанах и рубахе, он был похож на святого мученика или на живые мощи. Руки тяжелые, шершавые, в мозолях. И этот кашель, сухой, беспрерывный. Жалость и печаль пронзили врача. Он сбросил верхнюю одежду, опустился на одно колено рядом, коротко поведал обо всем.

— Многие лета тебе, дорогой. О плоти своей я никогда не заботился. Не до того было. А вот в последнее время будто задыхаться начал, в груди давит, бессонница и кашель извели. Зашел давеча, хотел показаться. Ведь слава о тебе добрая идет. И мы рады. Когда-то с твоим отцом в кузнице вместе пот проливали, железо

раскаленное мяли. Теперь уж я смирился и готов отправиться в тот путь, по которому ушли все наши предки...

— Вы показывались когда-нибудь врачу, Жаке? — спросил Молда, щупая пульс старика.

— В прошлый месяц говорили, что ты в отпуске. Ну, потащился я, поскрипывая костьми, в район, оттуда — в область. Что только не делали белые халаты со мной! И лекарство горстями в рот запихивали, и щупали, и просвечивали, и прослушивали. А потом сказали: «Нехорошая твоя хворь, старина. Легкие в черных пятнах. Поезжай-ка в столицу». Э, куда уж мне! Что мне, на старости лет вместе со студентами у поезда толкаться, в вагоне трястись?! Хватит. Пожил, попил... От смерти не уйдешь. А умрешь — родичи закопают. Чего там?!

Молда попросил рентгеновский снимок.

— Да много их было. Только на что они мне? Шапочки, что ли, кроить? Один прихватил... Эй, старуха, где эта черная, плотная бумага? Ты еще подойник им прикрываешь?

Покопалась старуха в углу, подала замасленный, в пятнах снимок. Молда долго, пристально разглядывал его, держа против электрической лампы. Безрадостная картина: легкие сморщились, потемнели, в нижней части явно обозначились черные пятнышки. Не сосчитать. «Нехорошая хворь... Поезжайте-ка в столицу...» Что же хорошего?.. И в институте, и после уйму книг полистал, и болезней разных видел-перевидел, но с подобным еще не встречался.

К чему тут расспросы? С такими легкими полгода не протянешь. Всю жизнь проработал старик в кузнице и на здоровье не жаловался. Ясно: недавно настигла его эта напасть.

Молда внимательно посмотрел на старика. Лицо его, точно чугун, покрытый ржой. Морщины резкие, глубокие, скорбные. Видно, смирился старик с судьбой. Таинственная хворь притаилась в костистой старческой груди; шипела и посвистывала, точно пестроголовая змея. У Молды лоб покрылся испариной. Молодой шофер вскочил, подал полотенце. Словно издалека донесся слабый голос:

— Чего встревожился, сынок? Говори как есть. Не

молод: не испугаюсь. Попрощаюсь с родичами да соберусь в последний путь.

Молда будто не расслышал. Молчал, погруженный в раздумье. В глубине сознания точно мелькнул слабый луч. Да, да... вспомнил... он студентом тогда был. На последнем курсе читал им знаменитый профессор. Наизусть цитировал Абу Али ибн-Сину. Помнится, профессор как-то говорил: «Восточные лекари-табибы охотно прибегали к ртути. Но стоит больному чуть поперхнуться — частицы ртути попадают в легкие». Ртуть, как известно, не пропускает лучи рентгена. Отсюда, очевидно, и пятна. Неожиданная догадка оглушила его. Он встрепенулся, спросил хриплым от волнения голосом:

— Вы когда-нибудь принимали ртуть?

— Да... Как-то, после поста, исчез аппетит, резь в желудке мучила, ну, я и проглотил малость...

— Все ясно! — обрадовался, как мальчишка, Молда.— Ясно, старина! Не отчаивайтесь! Вылечим.

Давно не колотилось так радостно сердце. Выходка обычно сурового, сдержанного врача несколько озадачила стариков. Хозяин слегка покачал головой, то ли не веря в исцеление, то ли не одобряя легкость суждения врача.

Молда развеял все его сомнения.

— Не бойтесь. В столицу вас, Жаке, не отправлю, а заберу к себе в район. Сам лечить буду. А ухаживать за вами сноха будет. Да, да!

— Резать меня будешь? Или как?

— Да нет же!.. Еще будете горн раздувать, молотком махать. Сто лет проживете!

— Э... если резать не будешь да сноха ухаживать станет — чего раздумывать? Поеду!.. Только к чему спешить, коли сто лет жизни сулишь? Давай, старуха, заложи мясо в котел. Угощай гостя. Соседей зови. Посидим у дастархана, поговорим, с аулом простимся, как подобает перед дальней дорогой. Дух предков — аруахов помянем.

Молда думал: красота или убожество жизни от самих людей зависит. Диво, что есть такие люди, душой и сердцем богатые, щедрые. Почудилось, будто взобрался он наконец на гребень перевала, который давно уже намеревался одолеть. Довольный, откинулся к стенке, подмял под бок подушку.

На соседнем дворе заливисто лаяла собака.

ДОЛГ ЛЮДСКОЙ

Никто точно не знает: сколько времени маячат перед совхозной конторой силуэты трех стариков, огромные, словно глыбы после наводнения. На рассвете, при первых лучах встающего солнца, их головы держались прямо, словно крепкие пни карагачей, а к полудню они уже клонились к груди, будто головки подсолнуха. Постепенно иссякла медленная, размеренная речь. Глаза ввалились, потеряв живой блеск, стали тускнеть. Нещадный зной как будто съедал черную тень, подпаливая и без того сморщенную, словно жженая кожа, землю. Но старики и не думали снимать свои овчинные малахаи.

Первым прервал тишину сидящий посередине старик Акадиль, который словно встряхнул спутников своим суровым голосом.

— Раньше начальство вроде сидело в своем кресле, как пригвожденное, а теперь мечется, не зная покоя: то рис, говорят, то скот.

Самый высокий из стариков — это Сарсенбай, почитаемый в селе за мудрость и дельные советы. То ли задели слова друга, то ли действительно надоело такое безропотное ожидание, однако он заерзал на месте и, сняв малахай, провел ладонью по бритой голове.

— Из-за податливости своей страдаем,— промолвил Сарсенбай, кинув взгляд на хмуро сидящего по другую сторону старичка с острой бородкой.— А все ты, прожужжал все уши: «Зайдем к начальнику, попросим у него работы для сына». Ну и занудливый же ты, хуже степного комара. Если я что-нибудь знаю, так это то, что директор совхоза с самого раннего утра на рисовых чеках. И перед богом, и перед людьми стыдно: сидим здесь без дела, сторожим контору, когда весь народ вышел на работу с кетменями в руках.

Остробородый попытался пробормотать что-то в оправданье:

— Правильно говорите, Сарсеке, из-за таких упреков я готов хоть сейчас жизни лишиться, однако наберемся терпения, подождем немного — ведь должен же он прийти когда-нибудь.

— Почему твой сам не пришел, вместо того чтобы посылать нас, старых людей? — ругается Акадиль.

— Сказал, что в Алма-Ату поехал за документами,— еще тише ответил старик с острой бородкой.

Это он с рассветом привел своих спутников к совхозной конторе. В тот же день, как узнал, что забирают в армию главного кассира, он растянулся возле гудящего самовара и, потягивая густой чай, предался глубоким думам. «Единственный сын доконал,— расстраивался он.— Как окончил школу, так словно ветер понес его: то говорит «учиться поеду», то «бычка продам на базаре», нет поезда, на который бы он не садился, нет и города, где бы он не побывал. Скоро распродаст и оставшихся пятерых баранов. Да и ученья никакого: лишь возвращается понуро, подметая пыль штанами и похлопывая по пустым карманам. Хорошо, что этим летом женил его на девушке-красавице, единственной дочери в семье, еще меня и журит, дескать, старику надо взять в руки кетмень да присматривать за рисом, за скотом. Ну, а сам ни в какую — подохну, говорит, а черную работу делать не буду! Что поделаешь — видно, так угодно всевышнему»,— вздохнул он и решил пойди к директору просить место кассира. В таких делах старик набил себе руку. Он сразу смекнул, что одному ему ничего не добиться. «Надо воспользоваться авторитетом уважаемого в народе Сарсенбая»,— решил он и, прочитав второпях утренний намаз, поднял стариков и привел их к конторе...

«Не повезло сегодня»,— заключили они и, отряхивая полы длинных чапанов, стали подниматься, как вдруг с ревом подкатил легкий директорский «газик». Действительно, это был директор совхоза — Исатай. Вышел из машины и, подойдя, с почтением поздоровался за руку, пригласил в контору.

В кабинете было свежо и прохладно от разбрызганной по полу воды. Шаги гулко отдавались в коридоре. Сначала в кабинет зашел Сарсенбай, за ним Акадиль, а уж затем остробородый. На стулья сели в том же порядке: с краю, ближе к порогу, сел остробородый, затем Акадиль, а на самое почетное место Сарсенбай. Боясь простудиться от сквозного ветра, дувшего из раскрытых настежь окон, молча надели свои малахаи, приспустив уши. Только теперь они заметили, что лицо директора выглядело усталым и почерневшим, словно он участвовал в тушении лесного пожара. Вытащив белый платок, Исатай начал вытирать виски и шею, и он потемнел, словно его изрядно излизал коровий язык. Самого, беднягу, оказывается, мучила жажда: налил из графина воды и, судорожно глотая, выпил два стакана. «Сейчас, аксака-

лы,— извинился он.— Дамбу разнесло водой, всю ночь, не смыкая глаз, таскали камни по колено в воде, насилу завалили брешь, я и домой-то еще не заглядывал... Сейчас, позвоню вот в район»,— сказал и, схватив телефон, поставил перед собой. Перекрутил пару раз диск и начал кричать: «С плотиной только сейчас справились, Гайнеке. Что?.. Это, оказывается, расчет мираба[1] был ошибочным. Рисовые чеки седьмого звена сорняками начали покрываться... Сейчас, аксакалы... Рабочие руки нужны... Людей не хватает — ну, пришлите хотя бы учеников старших классов... А третьему самолет для опыления гербицидами позарез нужен...» Чувствуя какую-то неловкость, старик Сарсенбай заерзал на стуле: «Люди, не жалея себя, на рисовых полях работают, а мы напились досыта густого чая и пришли, чтобы покараулить контору». Вскоре Исатай оторвал от уха телефонную трубку и тяжело вздохнул. Посидел в оцепенении, словно кто оглушил его обухом, и наконец спросил:

— С чем пожаловали?

— Да мы, сынок, от безделья, —начал издалека Сарсенбай сиплым голосом,— не могли отказать просьбе одного молодого парня, неудобно теперь уходить.

Слово взял Акадиль.

— Ты ведь знаешь этого почтенного человека,— сказал он, кивая подбородком на сидящего у двери остробородого,— вот уже сколько лет он исправно пасет совхозных коров, шкуры собирал, словом, немало труда вложил в общее дело. В этом году новый дом построил и завел в него невестку. Родственники поддержали, помогли кто чем смог. Однако говорят, что каждая река течет по своему, богом данному руслу: поистратился, пришлось продать кое-что из скота. Вот его единственный сын окончил учебу, а все бегает, не может никак найти себе места, не может ухватиться как следует за какую-нибудь работу. Но он, кажется, толковый малый. Попробуй его воспитать — глядишь, и человеком станет.

Сколько ни напрягался Исатай и ни тер судорожно ноющие виски, так и не понял окончательной мысли старика.

— Деньги, что ли, одолжить? — наконец спросил он.

---

[1] Мираб — заведующий оросительной системой.

— Зачем брать в долг у государства, когда живешь среди родичей: они в беде не оставят,— ответил Акадиль.

Остробородый старичок выжидающе молчал.

— Воспитаешь — хорошим человеком станет,— продолжал тянуть Акадиль.— Шустрый такой, что в игольное ушко пролезет, расторопный малый, а что до понятливости — так никогда и не скажет: это-де мое, а это твое.

— Сейчас-то он где? — спросил Исатай.— Это не он сбежал, разбив десять дней назад новую водовозку?

Остробородый все молчал, словно воды в рот набрав.

— Ребенок ведь еще совсем,— заступался Акадиль,— возьми к себе под крыло, ведь он тебе не чужой, за братишку будет.

В такое горячее время, когда каждая пара рук на счету, поведение этого ветрогона пришлось явно не по душе, да еще целую экспедицию снарядил для посредничества... столько золотого времени утекает... тьфу, мысленно сплюнул директор.

— Мы слышали, что кассира в армию забирают, а место его вроде свободно теперь...

— Да он верблюда запросто поднимет, не тяжело ли ему будет в кассе сидеть, да на счетах щелкать?

Исатай подчеркнул это намеренно.

— И почему он сам не придет, в конце-то концов? — воскликнул он, не скрывая своего раздражения.

Если бы вместо стариков пришли другие с такой же просьбой, он бы без слов погнал их на рисовые поля. «Натянул бы им на головы собачьи шкуры»,— как говорят казахи. Взглянув на смутившегося Сарсенбая, Исатай, однако, подумал: «Неприлично отказывать уважаемому старцу». Он и не догадывался, что все это устроил остробородый.

— Всю зиму он учился на сварщика, теперь поехал забрать документы в Алма-Ату,— говорит, все распаляясь, старик Акадиль. Взглянул, а у сидящего рядом Сарсенбая лицо вдруг посерело, борода начала часто-часто подрагивать. Обычно он становился таким, когда сильно гневался.

— Возьми к себе в кассиры, сынок. Пока отец жив, пускай зарабатывать научится, как все люди...

Акадиль с опаской посмотрел на Сарсенбая.

— Ну, мы пойдем, пожалуй. Думаю, не оставишь

наших слов без внимания,— закончил Акадиль, поднимаясь.

— Подумаем, может, чего и решим,— ответил Исатай и с почтением проводил стариков до двери. Тут он заметил, что Сарсенбай, вошедший к нему уверенно, уходил погруженным в мрачные мысли; умный человек, он, очевидно, посчитал недостойной себя роль, которую сегодня играл. Следом, так и не раскрыв рта, заковылял старичок с острой бородкой.

«Подумаем»,— отозвалось в голове еще не успокоившегося Исатая. «Подумаем,— сказал вслух и, сев на стул, залпом осушил еще стакан прохладной воды.— Подумаем». Прямо-таки ниже пояса бьет этот «сварщик». Будто ножом пырнул, видали, каков? А ведь знает, что слова всеми уважаемого старца сквозь уши не пропущу, тем более что в трудные годы сам учился только благодаря помощи Сарсенбая, сидя на его харчах. Поэтому и прислал его. А с каким легкомыслием он отнесся этой осенью к порученной работе, после приезда из столицы, где учился на сварщика. «Твое поведение озадачило меня, дорогой «братишка»,— подумал он.— Конечно же я за то, чтобы помогать расти толковым, расторопным ребятам, как говорит старик Акадиль, всегда следует протянуть руку помощи, кому она нужна. Перед народом я и за хороших, и за плохих в ответе. Ведь есть люди, достойные уважения. Страда нынче такая горячая, что голова кругом идет. Если бы можно было для уборки риса лепить людей из глины, сейчас же засучив рукава принялся бы за работу. А этот «сварщик» болтается где-то в Алма-Ате и в ус не дует, подослав стариков».

Опять задребезжал телефон. Погруженный в нерадостные раздумья, он поднял трубку.

Послышался приглушенный, но приятный, мягкий голос молодой женщины. Это была помощница первого секретаря райкома.

— Исеке, послезавтра в 10 часов утра собирается бюро райкома по орошению риса, приезжайте подготовленным — будете выступать.

«Вот тебе раз,— опешил Исатай, держа трубку в руке.— Да эти сжечь живьем готовы! За окном 40 градусов!»

Вдруг его скрутила резкая боль в животе, и тут он вспомнил, что со вчерашнего дня во рту ни крошки не

было. Взял свою соломенную шляпу и, шаркая ногами, вышел. Жара невыносимая. В передней комнате шумно расчирикались воробьи, прячась в прохладе от полуденного зноя. То ли это мошки, то ли колыхающиеся перед глазами миражи подействовали — казалось, что воздух пропитан какими-то клейкими парами. А к раскаленной дверце машины и прикоснуться невозможно. Рубашка прилипла к телу и мгновенно впитала обильный пот. В кабине жарко, словно в хорошо натопленной бане...

Утром Исатай, не заезжая в аул, приехал в райком, прямо с дальних рисовых чеков. Иначе бы и не успел. Грязный, покрытый пылью, словно обстеганная на шкуре только что состриженная шерсть, явился он в райком, вызывая недоумение. Войдя, он направился прямо к графину с водой.

— Все, кто может, сейчас на полях. Всходы ровные, дамба надежно укреплена — так и радует глаза это зеленое море,— начал он, отдышавшись...

Он и не предполагал, что бюро затянется надолго и разговорам не будет конца.

Во время большого перерыва первый секретарь вызвал Исатая к себе. Его вид не предвещал ничего хорошего. «Может, наговорили обо мне плохого?» — пронеслось в голове Исатая.

— У тебя в совхозе есть кассир?

— Недавно в армию забрали. На его место ищем теперь подходящего человека,— ответил председатель.

— Так как прикажешь понимать трезвон, который вы подняли до самой Алма-Аты. Сколько можно говорить: присылайте в райком данные о кадрах, берегите их. Сейчас из столицы второй раз позвонят. Солидный человек, начальник крупного треста. «Слыхал, в совхозе «Келин-Тюбе» место кассира свободно»,— говорит. Откуда это он пронюхал? Узнай он, что горы Каратау сдвинулись с места, и бровью не поведет, а тут на́ тебе... «В том совхозе мой племянник никак работы найти не может. Сам недавно женился, да и отец состарился уже...» Все уши прожужжал: «Сделайте кассиром, сделайте...»

— Да, действительно, есть у нас один парень, на сварщика выучился.

— А если сварщик, значит, нужно бежать в Алма-Ату и просить там работы?

— Ребячество это...

— Что ж, отложим все районные дела и будем искать

тебе кассира, так, что ли? Да услышь это народ — стыд и срам! Чего это ему приспичило делать дела через посредников?

«Надо же, получается, что я сам его послал,— подумал Исатай, расстроившись.— Мало было тебе подослать ко мне стариков, теперь в поисках связей пустился в столицу, мерзавец!»

— Извините,— проговорил он стыдливо.— Иногда встречаются дети, которые, еще не понимая жизни, рано познали ее хитрости. Бывают, конечно, слишком любящие родители, которые рьяно берутся устроить жизнь своим чадам, жалуются, скандалят.

Он скрыл, что только вчера с этим делом к нему приковыляли старики аула. Если бы секретарь узнал, то наверняка вытряс бы из него всю душу. Он вынул носовой платок и вытер взмокший лоб.

— Труд твой народ оценит,— продолжал успокоившийся секретарь.— Народу ты нравишься. Но не нужно с утра до вечера носиться в седле по рисовым полям, надо иногда и людьми интересоваться... Что поделать, раз такой солидный столичный начальник звонит да беспокоится, я сказал: «Поговорю с директором совхоза». Но что бы ни было — подумай и реши сам. В таком деле я не начальник — хозяйство твое и кадры тоже твои.

Из кабинета Исатай вышел налегке, словно оставил там давивший на плечи тяжелый груз. «Как это здорово, что есть вокруг честные люди — коммунисты, которые сразу протянут руку для помощи в трудную минуту»,— радостно думал он.

Люди, вышедшие с собрания, начали расходиться засветло. Постепенно улицы окутывали вечерние сумерки.

Машина выехала из райцентра прямо на север, повернув затем на восток по трассе Москва — Алма-Ата. Асфальтированная дорога словно прорезала ровную, как бесконечная скатерть, степь между горами Каратау и правым берегом Сырдарьи, устремляясь на юго-восток. До совхоза было километров семьдесят. Впереди показалась полная, красная луна. Он впервые видел ее такой — похожую на дымящуюся деревянную крышку котла. По телу пробежали мурашки. Стало неспокойно от мысли, что это признак надвигающегося зноя! Вспомнилось усталое лицо первого секретаря.

«Почему такой здоровый парень не хочет зарабатывать свой хлеб честным трудом, вместо этого посылает

ко мне немощных старцев, а сам бежит к именитому родичу в столицу? — Со злости поддал газу и без того стремительно несущейся машине. Красная стрелка спидометра перескочила за отметку «сто». Дорогу перебежал тушканчик.— Да, если ангела сбивает с праведного пути золото, то какой спрос с парня, у которого вовсе нет понятия долга».

С появлением луны «сварщик» сел на поезд. «Главное дело сделано,— решил он про себя.— Теперь-то мы покажем»,— потирал он ладони от удовольствия.

Опасаясь жажды, он набил сетку бутылками с пивом. Настроение было праздничным. Спутником его оказался джигит-домбрист, худой, словно жердь, с выпирающим кадыком, который объяснил: «Еду собирать народный музыкальный фольклор». Но в питье темно-бурого пива он не отставал. Вскоре оба захмелели. «Я — кассир огромного совхоза! — начал хвастаться «сварщик».— А твои песни... э... они денег не родят». Пытаясь затянуть песню, расшумелся на все купе:

Разошлась домбра моя,
Запою сейчас и я...—

начал было припевать, да позабыл все слова. Взял домбру и стал тихонько наигрывать давно забытую мелодию, пытаясь вспомнить слова:

Дурное в жизни терпеть нам заче...е...м,
Уж лучше не делать дурного совсе...е...м,
О-о-у прелесть ты моя!
Джигиту достойному песню спой,
Устроим сегодня мы пышный той,
Придет новый день, веселье даря!

В упор посмотрел на фольклориста с выпирающим кадыком: «Извини, привычка, как выпью, так и уставлюсь на человека».

Стремительно несущийся на запад под покровом ночи поезд раскачал сидящих друг напротив друга парней, словно детей в колыбели.

— Твой фольклор денег не родит — как собираешься существовать? — приставал «сварщик» к своему спутнику. Тот оказался выдержанным: взял себя в руки и не стал выяснять отношений с захмелевшим соседом.

— Пусть мой труд пойдет на пользу народу, больше-

го и не желаю,— ответил он.— Ну, а я не могу понять одного. Нынче у нас чего много, так это работы: засучил рукава и приступай — выбор большой. Чего ты нашел интересного в работе кассира? Сидеть в четырех стенах, щелкать костяшками, считая копейки...

— Ну ты даешь... Интерес, еще какой интерес. С прошлого года мечтал, еле-еле добился места кассира. Ведь я вижу: тот же рисовод день и ночь ворочает кетменем землю, а заработать как следует не может. А у кассира карман всегда набит, рот не пустует, да и руки в жире.

— Так что же получается: люди из своего заработка отдают?

Казалось, что домбрист только-только начинал постигать сущность сложной науки — уметь существовать. Что поделать — пришлось поучать его уму-разуму:

— Ты, оказывается, еще ребенок. В наши дни просто так, без разрешения и ломаного гроша не выудишь, а к государственному имуществу, сам понимаешь, протягивать руки прав нет. Жизнь — это большой дележ, и главное — не остаться в стороне от этого дележа. Я буду объяснять, а ты слушай и запоминай. Допустим, я выдаю месячный заработок. Старику Акадилю полагается сто десять рублей восемьдесят три копейки. Я же отсчитаю ему сто десять рублей. А что касается копеек, скажу, что мелочи, мол, нет. Старик только поблагодарит. Да и остальные не будут обращать внимания на гроши... Положим, что в следующем квартале по итогам года мы должны выдать премиальные. Старику Сарсенбаю полагается двести сорок рублей. Я аккуратно отсчитаю ему двести тридцать и скажу: «Мелочи на десятку не хватает». Сарсенбай только рукой махнет. Вообще простые люди считают, что премия — это подарок всевышнего, и не думают считать деньги, которые им положены по закону. Так постепенно и подкапливаются деньги на дне сумки. По сути, быть кассиром все равно, что быть тем Бекежаном, который в древние времена лежал себе на перепутье дорог у Кособакана и обирал путников, угрожая им, требуя платы за молчание, словом, не упускал случая поживиться за счет чужого кармана.

— Погоди,— перебил его собиратель песен,— разве никто не потребует выдачи всех денег?

— Как же они потребуют? Все дело в том, как это ловко провернуть, создать обстановку, которая сыграет

тебе на руку. При раздаче денег напустишь на себя недовольство, будешь кричать, словно отдаешь из своего кармана. А тихие — так те и вовсе начинают лебезить.

Парень-домбрист был поражен тем, что его ровесник знает такие хитросплетения жизни. От такой гнусности стало не по себе. Поставил на стол и отодвинул подальше кружку с прохладным, пенящимся пивом. Словно не пива выпил, а глотнул противного лекарства.

А его спутник продолжал философствовать:

— Сейчас такое благодатное время, что ловкий жаворонок может свить себе гнездышко на спине глупого барана. Нет сейчас и бедняков, которые бы протягивали руку, прося милостыню, как нет и мулл, дерущих налог — зекет с набожного народа. Люди берут только дареное, и самый лучший подарок в наше время — это легковая машина.

Окунувшись в свои мысли-мечты, он вяло растянулся на деревянной полке и сразу заснул мертвецким сном. Под утро приснился ему святой странник, облаченный в лохмотья,— покровитель убогих и обиженных. Проснулся возбужденным, со свежими чувствами.

«Бывают же такие сны,— удивился про себя «сварщик».— Не сон, благословение. Наверное, это к удаче, ведь сам Кадыр-ага поддержал».

К родным местам, на берег Сыр-Дарьи, поезд подъехал в два часа дня.

Решил зайти в вокзальный буфет и опохмелиться. Пока стоял в очереди, автобус, направляющийся в совхоз, уже уехал. Брать такси — одно разорение. Пошел на автобазу — может, попутную машину найдет. У входа стоял грузовик, доверху загруженный комбикормом, который собирался тронуться в путь. Шофером оказался его бывший товарищ, с которым они вместе окончили школу. «Хорошо, возьму»,— согласился он. Правда, предупредил, что кабина занята: в нее должен был сесть бухгалтер их совхоза. Пришлось забираться наверх. Кузов был набит желтой шелухой, только что вышедшей из-под жерновов; одежда сразу покрылась пылью. «Дайте время, вот стану кассиром, тогда и посмотрим,— со злостью думал он про себя.— Я вам покажу, как не поместить в кабине. Вот куплю машину — будете только пыль глотать... Заставлю еще бегать за мной, как начну драть налог за бездетность, удерживать деньги якобы на помощь пострадавшим...»

Устроим сегодня мы пышный той,
Придет новый день, веселье даря...

Приехав домой, парень не стал пачкать руки по хозяйству. К тому же отец, с удовольствием потягивая дурманящий кокнар, разбавленный в густом чае, ободрил его. «Сходи, сходи, дорогой... Слава всевышнему, кажется, все сделали,— сказал он.— Потащил стариков Сарсенбая и Акадиля к директору совхоза. Приветливо так нас встретил. Не должен отказать, если не забыл черный хлеб Сарсенбая в то голодное время. Твоя поездка в Алма-Ату тоже на пользу пойдет — как-никак такой родственник слово за тебя замолвит. Пусть только он не послушается указаний первого секретаря райкома... С одной стороны, родственный долг, с другой — приказ начальства: интересно, как он сможет вырваться из крепко натянутых поводьев. Иди, не задерживайся, сынок».

Вдохновленный таким напутствием, хорошенько помывшись, нацепив толстый, торчащий шишаком галстук, на следующий день с раннего утра, пыля широкими штанами, он прямо двинулся к совхозной конторе... Однако поздно он пришел, оказывается, директор уже выехал на поля. То ли «опылять поле четвертой бригады ядохимикатами», то ли «осматривать перекрытие дамбы» — так ничего толком и не понял. «Ядохимикаты, перекрытие дамбы» — слыхать-то раньше он слыхал, но видеть не приходилось.

Терпеливо просидел до тех пор, пока не подлиннели тени карагачей и солнце скрылось за горизонт.

Проголодавшись до болей в желудке, он все продолжал ждать.

Исатай приехал в контору, когда уже опустились сумерки и запищали первые комары. Побежав навстречу, парень протянул обе руки и поздоровался с ним:

— Вот, ага, весь день сижу и жду вас.

Исатай выглядел осунувшимся, измученным, у него разламывалась голова, и надушенного, одетого с иголочки «сварщика» он встретил с неприязнью. Не сказав ни слова, прошел в контору. Включил свет. Следом, грохоча по рассохшемуся полу, вошел и парень. И сразу начал приставать:

— Ага, я пришел попросить у вас должность...

Ответ был дан одной фразой. Эта фраза поразила

«сварщика». Однако, овладев собой, он пробормотал: «Извините, ага, но отец сказал мне, что... Извините...» Не помня себя, он вышел. Свежий воздух мгновенно окатил разгоряченного парня. Совсем не думал он, что получится так. Все усилия, хитрость, которой он искусно опутывал его все эти десять дней,— все это оказалось впустую. Раздираемый злобой, он вдруг начал громко поносить директора: «О-о-о. Да он, оказывается, что живой пророк в наши дни. Почему бы ему не оглянуться назад — на нужды масс? А-а-а. Когда же настанет то время, когда можно будет проучить таких бюрократов, как Исатай, и ему подобных начальников. У-у-у. Показал бы я ему... Развелось тут упрямых!..»

Глухо мыча, спотыкаясь о рытвины ночной дороги, понося совхозное освещение, которое горит лишь иногда, тащился он домой. «Неужели так и не удастся вкусить сладостную мечту, а ведь так близко был от цели. Или, может, кто другой протянул руки к моим грезам?.. Где же ты, мой покровитель, опора и надежда — святой странник? «Сажай рис»,— вот что взбесило... Так что же выходит: у меня в кармане солидное удостоверение о специальности, а я должен взять в руки кетмень и начать ворочать землю? Что с того, что мускулистый: не всем же ковыряться в земле, задыхаясь в пыли? Видал я не раз, как здоровенные ловкачи, дымя сигаретами, прожигали время за шахматами, сидя в прохладных кабинетах... Знал, что умный подумает сначала о своей голове, а уж потом о чужих... О народе... Только потом о рисе...» — не мог он успокоиться.

Так и добрался до дома в конце улицы с тускло светящимися окнами и заколотил по двери со всей силы. От его злого вида жена шарахнулась в сторону. Забегала, засуетилась, помогая ему раздеться и умыться, поливая воду на руки. В дальней комнате у печи, возле самовара сидел отец с неизменным белым чайничком, разводя в нем кокнар, который он время от времени отхлебывал. Исподлобья окинул недобрым взглядом сына, беспомощно растянувшегося посреди комнаты.

Старик подал знак все еще испуганно стоящей у порога невестке, чтобы она вышла. В комнате остались мужчины.

— Отец, почему он отказал? «Составьте-ка с женой одно звено и приступайте к уборке риса». «Не ослушается старика Сарсенбая... никуда не денется...»— продол-

жал «сварщик», подражая голосу отца.— Вот тебе и не ослушается.

Сидевший до сих пор спокойно старик дернулся, будто под ним вздыбилась земля, и резким окриком оборвал сына.

— Ты почему поднимаешь голос на отца, или ты позабыл обычаи и законы казахов? Двадцать три года работаю не покладая рук: лишь бы ты не рос хуже других, ни в чем не нуждался. Если председатель сказал, что нужно убирать,— возьми в руки кетмень и иди в поле. Сила у тебя есть, на здоровье тоже вроде не жалуешься. Да и телу не помешает сбросить лишний груз.

«Сварщик» испуганно таращился на отца: сколько помнил себя, отец никогда не повышал на него голоса. «Да, мир меняется и становится тесней,— подумал он.— Что за жизнь пошла? Вот и директор заупрямился, как баран. Не послушался указаний первого секретаря, пропустил мимо ушей слова уважаемого старца. Да и отец, самый близкий человек, вместо поддержки или умного совета начал кричать ни с того ни с сего. Куда деваться, как дальше жить? Лежать бы где-нибудь спокойно, да нет, все равно окажешься посмешищем».

Он сидел, согнувшись и насупившись. В передней комнате послышалось шарканье сапог: будто кто-то тащил другого, вроде заблеял кто-то — у парня от удивления расширились зрачки. Ему показалось, что кто-то вздумал заигрывать с его молодой женой. Дверь распахнулась, и в комнату засеменил старик Акадиль. Оба поздоровались кивком головы. Акадиль молча сел. По мрачным лицам отца и сына чуткий старец сразу оценил обстановку и выждал минуту. Устроившись на мягкой подстилке и подогнув колени, он начал объяснять причину столь позднего визита:

— Сарсенбай со вчерашнего дня болен. Раньше он ведь никогда не болел. Он думает, что эта болезнь — дурной знак. И Исатай, и молодой доктор у него. Отдает долги родичам, прощается... Как-то во время войны брал он у тебя козленка в долг,— обратился он к остробородому.— До сих пор стеснялся сказать тебе, чтобы ты взял его обратно. Теперь, когда он заболел, пристал вдруг ко мне: если я умру, говорит, за мной не должен остаться долг перед людьми, пока я жив, я должен освободиться от него — пусть душа успокоится...

Еле дотащил до тебя упирающегося упрямца... Привязал его возле входа...

По лицу остробородого пробежали предательские краски, и он замялся.

— Что вы, ака! Не такой я человек, чтобы через сорок лет требовать обратно какого-то паршивого козленка. В то тяжелое время много хороших людей сложили головы. Да успокоятся души этих героев... Уведите обратно, ака.

— Ты что!.. Я его таскать туда-сюда не собираюсь. Не мог и оставить последнюю просьбу Сарсенбая.

— Тогда я отпущу его на все четыре стороны. А то пойдет в народе слух, что я потребовал возврата козленка, которого я сам отдал ему сорок лет назад для детей.

Акадиль не стал слушать его. Сунул ноги в галоши, держась рукой за поясницу, распахнул дверь и вышел наружу. В комнате воцарилась мертвая тишина.

Парень молчал. Голова у него кружилась, хотелось лечь и заснуть. «Вот так старик! Не зря его всегда уважали. Может, так и надо жить? А я? Мне скоро тридцать. Прав ли я? — впервые в жизни задал он себе этот вопрос.— Долго ли буду катиться по земле, словно перекати-поле под дыханием ветра?»

К горлу подступил горький ком обиды. С улицы послышалось жалобное блеяние козленка.

Отец протянул чашку с уже остывшим чаем:

— Надо бы тебе выйти на работу, сынок.

У СВЕТЛОГО ИСТОЧНИКА

1

С путевкой в санаторий ничего не вышло, и Семетей, раздобыв курсовку, устроился на частной квартире. Сюда, на целебный источник, затерявшийся в открытой знойной степи, он прибыл из столицы, как говорится, с полным коржуном надежд, и возвращаться теперь с тощей торбой несбывшихся желаний просто не позволяла гордость. Адрес подсказал ему сам главный врач. И не только подсказал, но и черкнул записку. По ней Семетей легко разыскал приземистый, как бы раздувшийся по бокам дом с небольшим двориком за глиняным дува-

лом на южной окраине села. Хозяин — плотный, почти квадратный, сероглазый, до блеска загорелый детина лет сорока — назвал себя Букалаем. Засучив рукава и неуклюже раскорячив ноги, он мыл пол. Разговор с самого начала пошел вкривь и вкось. «А ко мне как снег на голову мать-старуха из Саратова пожаловала,— с ходу сообщил хозяин.— Два дня у меня пожила. Вот только что проводил ее. Видишь ли... сам я пенсию хлопочу, жена весь день на работе, а старому человеку пригляд нужен». «За комнатку могу заплатить наперед»,— намекнул Семетей. «Дочка у меня одна-единственная. Сейчас в школе,— продолжал Букалай.— Мы это... привыкли в чистоте жить... А мать я отправил к дочери, моей сестре, значит. Она в этом же санатории работает. Пусть присмотрит...» «Дом ваш тем хорош, что в двух остановках от лечебницы»,— вставил Семетей. Хозяин долдонил свое: «Видишь ли, в печке накопился газ, вспыхнул огонь и вот — покалечил руку. Слава богу, что еще так отделался. С мая на бюллетене. О, а у меня и сдачи нет... Ладно... сочтемся. Как-никак двадцать четыре дня нам теперь под одной крышей жить. Чистый воздух, свежая постель... Да-а... измучился я с одной-то рукой...» В самом деле, большой палец правой руки скривился и обуглился, точно сук саксаула, прожженный молнией. У ног хозяина, встопорщив хвост, нежно мурлыкал, ласкаясь, котенок. Букалай отпихнул его в сторону кухни. «А как хорошо, что вы юрист,— опять завел хозяин.— Хоть в законах меня малость просветите. Нынче ведь без закона и шагу не ступишь. Ну вот, к примеру, в прошлую неделю потащился я, пыля штанинами, в район. А что я, простой степной казах, смыслю в этих райсобесах? Ну, тамошние жуки и гоняют меня туда-сюда. Тычешься в одну дверь. «Эй,— вопят,— обеденный перерыв, не видишь, что ли?!» Толкнешься в другую. «Куда? — орут.— Рабочий день кончился!» Заморочили голову. Как на барана из чужой отары смотрят. А иные бесстыжими глазами карманы твои ощупывают. Но у меня, брат, и ржавой копейки не выманишь. А разозлюсь, могу и жалобу кое-куда настрочить. Не то...» «Чайник на плитке кипит, почтенный»,— оборвал хозяина Семетей.

От влажного пола тянуло холодком, и Семетей поспешно прилег на диванчик в правом углу. Левая почка с некоторых пор была подвержена простуде. Из-за нее

он, собственно, и приехал сюда и нанял теперь за немалые деньги комнатушку у этого зануды с искалеченной рукой. Семетей притомился после дороги, однако так и не сомкнул глаз. Он всегда трудно привыкал к новому месту.

Вспомнился весь сегодняшний день.

Главный врач санатория оказался общительным, простодушным казахом с пышными, по самые уши усами. В речи его чувствовались узбекские интонации, и говорил он подчеркнуто вежливо и даже чуть слащаво. «Весьма, весьма приятно, дорогой...», «Добро пожаловать, милейший...», «Милости просим, отведайте чайку». Особенно поразили Семетея его лихо закрученные усы. Разные усы приходилось видеть в последнее время: и гусарские, и «мушку», и вислые, как у Тараса Бульбы, и мочальные. Но такие — пышные, сросшиеся с бачками и устремившиеся к ушам — видел впервые.

— Значит, в самой столице проживаете,— умиленно ворковал главный врач.— О-о, юрист! Да еще на такой ответственной должности.

Семетей признался: добрые люди загодя о путевках заботятся, а он, только выйдя в отпуск, спохватился.

— Ай-ай-ай,— сокрушался главный врач,— позвонили бы дней на десять раньше, непременно раздобыл бы для вас, хоть из-под земли.

Семетей улыбнулся: слава богу, что в облсовпрофе хоть курсовку достали.

— Ай, молодость, молодость,— загадочно улыбнулся главный врач.— Ничего... Жизнь научит...

Но в том же облсовпрофе намекнули, что лечиться можно будет и без места в санатории.

— Ну, конечно, конечно... О чем разговор? Такой человек! Из столицы! О-о!

Приятно улыбаясь, собрав густую сеть морщинок возле глаз, главврач написал на клочке бумаги адрес. Не ожидал Семетей такой заботливости и внимательности со стороны главного врача большого санатория: ведь перед ним проходят за сезон тысячи и тысячи страждущих. Видно, доброе, щедрое сердце у него, если находит время и возможность с каждым поговорить, каждого утешить и приветить. Значит, умеет подбирать местное руководство дельных, способных работников. Побольше бы таких! Семетей сам себе улыбнулся. От главного врача он вышел в добром расположении духа.

А потом состоялось знакомство с Букалаем...

Со двора донесся девичий голосок. Семетей оторвал голову от подушки. Букалай, гремя посудой на кухне, сам с собой разговаривал: «Жена на работе, а я целыми днями дома один, места себе не нахожу...» Должно быть, обрадовался приходу дочери.

— Перизат, подсоби немного. Хлеба нарежь, огурцы помой...

Девушка, прижимая котенка к груди, прошла через зал в угловую комнату. Мимоходом быстрым взглядом окинула гостя. Глаза большие, ясные; зрачки что черная смородина; в глубине их вспыхивали искорки-блики молодости. Трудно было предположить, что это юное очаровательное создание имеет какое-то отношение к ворчливому хозяину, который нескончаемо нудил на кухне про пенсию, про обуглившийся палец и хлопоты жизни.

Подумалось: каких только чудес не бывает на свете! На свалке расцветает благоухающая роза, от грубого, малодушного мужлана рождается красавица дочь.

— Никогда ничего на месте не найдешь,— бурчал Букалай, хлопая дверцей холодильника.

Трепетная девушка, готовая вспорхнуть в любой момент, присела с краешка стола, а чай разливал сам вер-

зила хозяин. Это показалось неприличным: у казахов искони принято, чтобы гостя потчевала чаем девушка или молодка.

Семетей повернулся к окну. Крикливая воронья стая кружилась над поселком. Неспроста, видно, предсказывают нынче старики суровую зиму. Вон сколько ворон собралось здесь, на юге. От их надрывного карканья становится неуютно. Недоброе предчувствие холодит спину.

Чай в пиале успел остыть. Семетей торопливо проглотил его и в знак того, что напился, повернул пиалу набок.

2

Заглянув в санаторную книжку, Семетей обрадовался: врач предписал циркулярный душ. Это было весьма кстати, а то нервишки заметно сдали в последнее время. С тех пор как стал Семетей начальником ОБХСС одного из столичных районов, он лишился всякого покоя и даже забыл, для чего существуют суббота и воскресе-

нье. Такая вот пошла жизнь: телефон заливается как оглашенный. Срочные вызовы обрушиваются лавиной. Чуть что — скачи туда, скачи сюда. Ночью, случается, из теплой постели ныряешь в промозглый кабинет. И в обеденный перерыв перетряхиваешь пыльные папки, уткнешься носом в бумагу, нащупываешь нить очередного преступления. А на работе мигом смекнули: мужик толковый, старательный, молодой, небось вывезет, выдюжит. И давай его нагружать. Но то, что ответственность велика,— не беда. Пока он с любой нагрузкой справится, и никакие соблазны его с пути не собьют. Труднее сладить с разными пройдохами: они глаз с него не спускают, каждый миг подстерегают.

За свою жизнь ему удалось вывести на чистую воду немало хапуг и рвачей. И был совершенно убежден, что преследует их везде и всюду, а выходило наоборот: они его всюду опережали, выслеживали на каждом углу и всячески заманивали в свои липкие сети. Делалось это поразительно примитивно. Отправляется он, скажем, с женой на вечернюю прогулку. У перекрестка откуда ни возьмись лихо тормозит голубая «Волга», и распахивается дверца: «Добрый вечер, дорогой Секе!.. Куда направились, Секе? Садитесь, Секе, я мигом доставлю вас хоть на край света. Поверьте: быть вашим извозчиком — для нас великая честь, Секе...» Не всегда устоишь перед таким натиском. Хоть и с тоской в глазах, а соглашаешься. Случалось, махнув на все рукой, он отправлялся с друзьями-приятелями в ресторан. Все бы ничего, да официант подозрительно услужлив, аж в лепешку расшибается. В одно мгновение появляется и заливная севрюга, и зернистая икра, и заяц, жаренный в сметане. В бокалах пенится шампанское, в хрустальных рюмочках червонным золотом отливает коньяк. Пай-пай! Душа ликует, голова сладко кружится. А тут еще и ароматный кофе в ноздри бьет. Удоволенный, Семетей достает деньги, просит счет. Боже, что делается с официантом?! Он закатывает глаза, вертит шеей, руками-ногами отмахивается. «Нет, не-е-е-т... почтенный! Ни за что! Все оплачено! Ни слепой копеечки с вас не возьму. Что вы, что вы? Обижаете, почтенный. Зачем нам мелочиться?!» Выходит, и тут его опередили рыцари личной корысти.

Как-то заглянул Семетей в мебельный магазин в своем же районе, хотел купить вешалку. При выходе ко-

лобком подкатился заведующий. В халате, затянутом ремнем. Рукава засучены. Масляные глазки так и шныряют, так и шныряют. «Секе,— в ухо поет-нашептывает,— не беспокойтесь. Сам вечером все доставлю... Немедля сдайте меблишко в комиссионку. Все обновим, Секе... Есть импортный сервант. Чудо! Французские бра... арабские кресла... польский кухонный гарнитур... немецкие... Секе, Секе...» Тьфу! Еле ноги унес...

С тех пор он опасался выходить с женой на прогулку, и ресторан обходит за три квартала, и в магазин не заглядывает...

Он испытывал блаженство от упругих, приятно покалывающих тело теплых струек циркулярного душа. Он знал, что время вышло, но продолжал стоять, жмурясь, в кабине. Минеральная вода, вырываясь из неведомых недр земли, ласково омывала, окатывала тело, пузырилась на коже, пенилась. Казалось, земля одаривала его своими живительными соками, вливала в него силу. Он действительно уставал в последнее время. Знакомый литератор любил повторять: «У змеи яд на языке, у человека — внутри». Должно быть, преуспевающего, удачливого джигита преследуют людская зависть и дурной глаз. Не они ли причиной и его ранней усталости? Не потому ли он стал чаще задумываться в последнее время, искать уединения, подолгу молчать? В душе он даже радовался тому, что обрел покладистость и степенность, что глазами мысли стал воспринимать все хорошее и худое, все доброе и злое, все успехи и неудачи, которые случаются с человеком повседневно...

Ну, было немало сверстников, друзей и приятелей, окончивших в одно время разные столичные институты. Сплошь видные, пылкие джигиты, как на подбор. И цену себе знали, и на удачу уповали. Бывало, из разных учреждений друг другу позванивали, о житье-бытье расспрашивали, по праздникам с женами и детьми друг к другу в гости похаживали. Иные, глядя на них, и восхищались, и завидовали. А как же? Были молодые, щедры душой, жадны до новизны, чутки ко всем и ко всему. А теперь? Служба оказалась беспредельным морем. Кого-то прибило к далеким берегам, кого-то затянуло в пучину. Словом, поредели с годами ряды. Когда-то казалось: ничто не омрачит их дружбу, никто не осквернит уста недобрым словом. Однако проза жизни подточила мечту, переиначила многие наивные пред-

ставления. Один из сокурсников, снедаемый завистью, начал распространять о нем разные слухи. Дескать, и с начальством ладит, и квартиру больно скоро получил, и жена попалась кроткая и покладистая. И еще на собраниях всегда выступает удачно. И на работе обо всем на свете забывает. Что поделаешь... чем-то не угодил приятелю по институту. Должно быть, тому было бы больше по душе, если бы он, Семетей, слонялся как неприкаянный по улицам и грохотал, как пустое ведро. С того времени он и замкнулся в себе, строже приглядывался к друзьям-приятелям. «Домосед,— говорили теперь о нем,— канцелярская душа». И если он не по годам сдержан и осторожен, если с некоторой опаской оглядывается вокруг и часто предается грустным размышлениям, то этим переменам в характере он обязан все тому же любезному другу...

Истомленный, стоял он под упругими струйками, думал о том о сем и, вероятно, простоял бы еще долго, если бы дежурная не сделала ему замечание.

Он выбрался в тесную раздевалку. Сердце билось учащенно, голова отяжелела. Видно, перестоял, перегрелся. Может, и давление подскочило. Кое-как натянув одежду на влажное тело, протиснулся в узкий, душный коридор, глянул на часы. Пора на обед. С толпой страждущих направился в просторный зал столовой. Гул стоял, как на базаре. Проголодавшиеся, взмокшие от разных процедур диетчики кинулись к своим столикам, словно опасаясь, что кто-то займет их места. Есть какая-то странность в людской психике: в автобус лезут, как на штурм, из кино выходят, словно их подгоняет степной пал, и в санаторной столовой умудряются устраивать сутолоку. Без особого воодушевления принялся Семетей за обед: блеклый салат из увядшей капусты, морковного цвета сок, молочный суп, перловая каша. Он проглотил все без всякого аппетита и вышел на свежий воздух. Веселые солнечные блики играли на открытой площадке. Сидеть бы сейчас на скамеечке под старой раскидистой турангой, подставляя лицо ласковому солнышку! Но главный врач строго наказал придерживаться режима: после обеда полагается тихий час. Семетей зашел по дороге в буфет, купил к вечернему чаю копченой конины, отварную печень, десяток яиц и побрел к автобусной остановке.

Сухощавая молодка с насурьмленными бровями про-

вожала старуху. Семетей учтиво поздоровался. Старуха благодарно улыбнулась и полезла в пыльную, раздрызганную «коробочку». Усевшись, она проворно подвинулась, со старческой непосредственностью поманила Семетея сесть рядом. Он купил два билета, сел, и старуха тотчас принялась выкладывать ему свои беды-болести.

— Бедняжка — не везет ей в жизни,— начала она, подавшись вся к нему.— Я о дочери своей говорю. Видел на остановке? Так вот, говорю ей: пока еще не отцвела, найди себе кого-нибудь, устраивай свою судьбу, не то поздно будет. Не слушает. Бросай, говорю, эту работу. Разве дело — с утра до вечера еду разносить в столовой, где кормятся тысячи людей? Не понимает.

Рассказывая, старуха то и дело косилась в окно, смотрела туда, на остановку, где все еще стояла худенькая, поникшая молодая женщина.

— Выходит, лечиться приехал? У Букалая моего живешь? — продолжала разговорчивая старуха.— Э, милый, ему тоже не позавидуешь. Баба совсем на голову ему села. Был мужик, стал тряпка. Я ведь до сих пор живу сама по себе. Никому не в тягость. Но чувствую... одряхлела. День здорова, два больна. Притащилась издалека, из-под Саратова, думаю здесь дожить свой век, если мои детки, Букалай и Акалай, приютят у себя.

И потом, бредя домой по пыльной тропинке, Семетей не мог отделаться от холодка, навеянного словами «если приютят у себя». Это родные-то детки могут не приютить престарелую мать! Бедная, бедная! Неужели она ночами недосыпала, своим белым молоком сына и дочь вспоила, молодостью, красотой, жаром сердца жертвовала, чтобы потом, когда они вырастут и окрепнут, умолять их о приюте! Предки говаривали: «Даже если трижды на спине снесешь мать в священный город Мекку, и то остаешься перед ней в долгу». Разве на старости лет матери не положено восседать на самом почетном месте? Разве не должны благодарные дети подать ей первую чашу за дастарханом? Нет, нет, не может быть, чтобы Букалай был таким черствым. Он, бедняга, случайно покалечил руку и потому так прибит, а мужик, кажется, простой и открытый, как переспелый кукурузный початок.

С молодых лет Семетей больше всего на свете опасался сомнений. На собственном опыте познал: если сомнения переступили однажды порог твоего дома, считай,

очаг твой покинула удача. Закрались в душу сомнения — разладилась жизнь, все валится из рук. Вот и сейчас, прислушиваясь краем уха к монотонной исповеди старухи, он тщетно отгонял от себя все сомнения и подозрения.

Отворив скрипучие деревянные ворота, Семетей и старуха вошли во двор. Букалай, увидев их, потемнел лицом.

Нет, он не обрадовался приходу матери. Сунул руки в бездонные карманы пузырившихся галифе, изобразил на лице улыбку, похожую больше на гримасу, процедил сквозь зубы, как оттолкнул: «А, вернулись, значит... А сноха ваша на работе...»

Семетей прошел в свою комнату, разделся и прилег. Гладкий атласный пододеяльник приятно холодил тело. Кожа после теплого циркулярного душа мгновенно покрылась пупырышками. Поеживаясь, Семетей смотрел в потолок и думал. Отчего люди забывают иногда о своем назначении на земле? Почему в суете и мелочных заботах часто теряют заложенные самой природой достоинства? Почему ничтожная личная корысть затмевает иным весь белый свет? Почему Букалай, этот здоровяк во цвете лет, еще способный перевернуть горы, сузил свою жизнь до размера несчастной пенсии, о которой думает-мечтает во сне и наяву. Неужели на этой пенсии свет клином сошелся? Дом, что называется, полная чаша. Мебель блестит, посуда сверкает, стены сплошь увешаны коврами. Дочь-невеста цветет-подрастает. Вокруг — мир да благодать. Так чего же еще он нудит-шарашится по сторонам, как затравленный, озирается? Ведь жизнь проходит, уже перевалила за полдень, и если в предзакатный час у Букалая спросят: «Эй, почтенный, что хорошего увидел в жизни? Много ли свершил хороших дел?», он наверняка с достоинством ответит: «И не заметил толком, как промчалась жизнь. Дом содержал в чистоте, пенсию у государства выхлопотал, квартирантов держал».

От безрадостной встречи матери с сыном Семетея долго не оставляли печальные думы. Так лежал он и прислушивался к бесконечной возне за стеной. По обрывкам речи и грохоту посуды он догадался, что с работы вернулась хозяйка. Раза два через зал прошмыгнула озабоченная Перизат. Грохот за стеной словно удалялся, лишь изредка над ним взмывал резкий, как элек-

трический звонок, голос хозяйки. Сверху, с краешку, заглянула в окно багровая луна. Она была похожа на пышную горячую лепешку. «Странно»,— еще успел отметить про себя Семетей, проваливаясь в сон.

Почудилось, будто в сумрачную комнату неслышно, по-кошачьи пробрался Букалай.

«Что, Секе,— шепчет,— уже спите?»

«Что-то устал я сегодня»,— отвечает Семетей сквозь дрему.

«Грешно перед наступлением тьмы кривить душой. Давайте, Секе, поговорим по душам. Бог свидетель, у вас сложилось обо мне превратное мнение. Вы считаете меня тунеядцем или даже крохобором. И напрасно. Расскажу я в таком случае свою жизнь. Вот получил я аттестат зрелости и, подхваченный тогдашним всеобщим порывом, подался на курсы шоферов. Стал водителем. Гонял автобус между районом и санаторием. Ну, левачил малость, не без этого. Только было встал на ноги — напасть подстерегла. Застрял прямо на железнодорожном полотне. Мотор заглох — хоть реви. И так и сяк кручу-верчу — ни в какую. А тут с грохотом мчится пассажирский поезд. Аварию предотвратили, но пришлось и штраф платить, и с правами расстаться. Что же... устроился в ресторан рубщиком, два года, тужась, топором махал, туши разделывал. Там же, в ресторане, и жену себе нашел. Пошел на повышение: стал заведовать теплицей. Зимой и летом со свежими овощами дело имею. Ничего: и начальство, и простой люд в рот мне смотрят. И опять беда: руку опалил. Теперь бы мне только пенсию оформить, стал бы пасти личный скот. В пастухах нынче потребность большая. Охотников мало: кругом хлопковые поля, нужен глаз да глаз. А я бы пошел. В селе двести коров, с каждой по два рубля в месяц — можно жить. Какой же я после этого тунеядец? Честно вкалываю всю жизнь, занимаюсь, так сказать, общественно полезным трудом».

«Но почему мы, почтенный, постоянно только о личной выгоде печемся? Вы кому-нибудь за свою жизнь добро сделали?»

Букалай поерзал на табуретке, задумался надолго, пригорюнился. Потом, что-то вспомнив, радостно воскликнул:

«Ну, конечно, сделал! А как же?! Однажды, когда еще баранку крутил, одну женщину с ребенком довез

на вокзал. Даже с маршрута свернул. Бедняжка оказалась без копейки. Ну, я, разумеется, ничего с нее не взял... А потом что значит в вашем понимании «личная выгода»? Ведь работая рубщиком или завскладом, я же находился на государственной службе. Я выполнял общественный долг. Не так ли? Само собой, я никогда не отказывался от случайной доли. Только глупец от хорошего куска отмахивается. Вот вы, например, честный человек, на страже закона стоите, в столице на хорошей должности сидите, однако, надо полагать, живете отнюдь не на одной зарплате. Ведь надо детишек кормить, жену одевать, с друзьями-приятелями гулять, разве это мыслимо на одной зарплате?!»

«Нет, милейший! Нам, служителям закона, нельзя оступиться ни на волосок. Нам ни на шаг не положено удалиться от аула справедливости».

«Конечно, нельзя, не положено. Это я понимаю. Но все же ни за что не поверю, что кто-то живет на одной зарплате!» — убежденно говорит Букалай.

Багрово-красная луна завалилась набок, и комната погрузилась в густую темь, в которой бесследно растворился сидевший на табуретке Букалай.

Семетей проснулся, встал, пошел на ощупь вдоль стенки, включил свет. Дверь была плотно закрыта. В комнате, кроме него, ни живой души. Что за блажь? Будто наяву только что беседовал с Букалаем. Надо будет завтра утром расспросить хозяина: был ли он когда-нибудь оштрафован, работал ли в ресторане рубщиком. Никогда не предполагал Семетей, что луна на юге бывает похожей на свежеиспеченную лепешку...

3

Когда над дверью зажглась сигнальная лампа, он не спеша вылез из ванны. Теплая минеральная вода казалась свинцовой. На ходу вытирая полотенцем обильный пот, он отправился в комнату отдыха и посидел в кресле, успокаивая сердце. Вокруг сидели отдыхающие и озабоченно листали санаторные книжки. Через час предстояло пить воду, через два часа — обед. Он усмехнулся: и в санатории покоя нет.

Котлету он прожевал с трудом, так и не разгадав, из чего она сделана; сухую гречневую кашу кое-как протолкнул в себя, запивая теплым компотом, и потом долго

беседовал с пожилым диетчиком. Сухощавая молодка, которую встретил вчера на автобусной остановке, складывала со столов грязную посуду на тележку. Она улыбнулась, как старому знакомому, и ему отчего-то стало приятно. В глазах ее мелькнула озорная искорка, красные пухлые губы чуть дрогнули. Круто повернувшись, она обдала его запахом разгоряченного женского тела, коснулась подолом платья, и Семетей сразу покрылся потом. Избегая ее взгляда и смущенно вобрав голову в плечи, он подался к выходу.

По узким плиточным ступенькам он спустился вниз к остановке и еле дождался маленького запыленного автобуса. Трясясь в нем, он все вспоминал вчерашний сон, приснившийся в сумрачный вечерний час. Беседа с тенью Букалая не выходила из головы. Еще утром он осторожно спросил, не заходил ли к нему вечером хозяин. Букалай разобиделся, разволновался, дескать, у него в доме не принято без спроса вваливаться к квартирантам. Семетей, извинившись, полюбопытствовал, где и кем он работал, и еще больше поразился, узнав, что Букалай, действительно, когда-то бесплатно отвозил какую-то женщину с ребенком на вокзал, да и рубщиком был некоторое время в ресторане.

У ворот он столкнулся с Букалаем и его матерью. Букалай нес под мышкой небольшой узелок. Увидев квартиранта, начал объяснять: «Жена, видишь ли, целый день на работе. Выходит, для матери в моем доме нет условий. Вот я ее и отправляю к дочери. Та работает в столовой, живет одна, квартира просторная. Там, конечно, старой матери будет лучше, не так ли?..» Семетей промолчал, сошел с тропинки, уступая дорогу поникшей старухе. Он не посмел взглянуть ей в глаза. Грустные мысли вновь захватили его. Да-а... Когда-то Асан-печальник искал обетованную землю, мечтал о благоденствии, когда жаворонок начнет вить гнездо на спине овцы. Разве не наступили эти времена? Зачем мы сами омрачаем светлый божий мир? Почему становимся нередко невольниками черной корысти? Вот Букалай живет — сам себя обкрадывает, на дастархане старый заплесневевший сушеный сыр, засохшая лепешка, обгрызенные куски сахара. Утром — чай, вечером — чай. Вчера, бедняга, пожаловался на горло и давай глотать сырые яйца, которые он, Семетей, купил себе на вечер...

К обеду вернулась из школы Перизат. С треском рас-

пахнулась дверь, влетела радостная, взбудораженная. Большие, как у верблюжонка, черные глаза, нежный, гладкий изгиб шеи, тугие, с ямочками, щеки придавали необыкновенную прелесть ее круглому чистому личику. Она принесла с собой в комнату вольный запах степи.

— Агай!— смело и пылко обратилась к нему.— Нас отправляют на работу. Далеко-далеко...

Последние слова она произнесла врастяжку, с манящей привлекательностью, словно боясь их забыть или уронить невзначай.

— Как только спросили, кто собирается помочь в уборке, я первой подняла руку. А подружки отлынивают. Одна справку достала, другая собирается лечь в больницу, у третьей дядя — большой начальник. А ведь хлопок собирать так интересно, да, агай?!

Она была возбуждена, щеки пылали, говорила без умолку.

— А папа узнает — не отпустит. Скажет: дом стереги, мне пенсию надо хлопотать. И мама заупрямится. Скажет: сиди, я целый день на работе. Так что вы, агай, поговорите с ними, уговорите, чтобы меня отпустили, а?..

Перизат вдруг запечалилась, нахмурила брови, уставилась в окно. Она смотрела на дорогу, которая ременной тесьмой тянулась по склонам холмов и увалов и исчезала где-то за ширью степей.

Семетей, взглядывая украдкой, любовался девушкой. Юность, юность... она всегда пылка, восторженна и прекрасна. Такие девушки, как Перизат, облагораживают и украшают неприглядные будни, придают очарование жизни, заставляют сильнее биться сердце, напоминают былую страсть и порывы, будоражат и взбадривают, как свежий утренний ветерок в степи. Без них обессмысливаются и повседневная жизнь, и светлый источник. Без них жизнь ограничивается погоней за зыбкой, как мираж, пенсией и грустными заботами о бренной плоти.

— Мне кажется, вы приехали к нам из-за тех гор,— сказала вдруг Перизат и рассмеялась.— Бабушка говорит, первый человек был сотворен из глины. Иногда глядя на иных, я думаю, что это действительно так. А вот вы, агай, совсем другой... не глиняный — солнечный.

Семетей грустно улыбнулся.

— Спасибо, милая.

— Пожалуйста,— откликнулась она шаловливо и вы-

скочила, точно выпорхнула, из комнаты, оставив за собой бодрящий запах степи.

Семетей отчего-то вздохнул и полистал санаторную книжку. На завтра были намечены три процедуры.

4

Странное свойство у воды Сары-Агачского источника: она мягко скользит по телу, пузырится, отскакивает, словно от маслянистой поверхности. Садишься в ванну — через пять минут пот льется с тебя струями. Начнешь пить — не напьешься. Семетей прилежно выполнял все предписания врачей. «Хорошо!»— решил главный врач, быстро полистав санаторную книжку. Результаты лечения искренне обрадовали его. Довольный тем, что пациент за двадцать четыре дня заметно поправился и посвежел, главврач заулыбался, потрогал лихо закрученные усы, сказал на прощание: «Видите, наша вода творит чудеса. Приезжайте и на следующий год: с радостью встретим. Анализы у вас прекрасные. Промыли, прочистили вас отменно. И дома соблюдайте режим, берегите себя. Особенно избегайте водки с бальзамом». Семетей растрогался: не так уж часто встречаешь людей, способных от всего сердца радоваться чужой радости и воспринимать чужую удачу, как свою. Поблагодарив главного врача, Семетей в последний раз зашел в столовую, поел овсяный суп и тыквенную кашу, выпил напоследок два стакана минеральной воды и отправился на свою квартиру на краю села. Чувствовал он себя удивительно бодро и легко.

Вчера он проводил Перизат на уборку хлопка, и то, что он все-таки сумел настоять на своем и помочь девушке, отзывалось в нем тихой радостью еще и сегодня. Букалай ни за что не хотел отпускать дочку, рвал и метал, но потом, когда Семетей прочитал ему пространную лекцию, как следует оформить пенсию, и написал по-русски три заявления в разные инстанции, сменил наконец гнев на милость. Еще труднее было уговорить хозяйку. Пришлось зайти к заведующей рестораном, договориться, чтобы та отпускала жену Букалая с работы на час раньше. Лишь на этих условиях она разрешила дочке уехать на сбор хлопка. Из-за этих непредвиденных хлопот Семетей дважды пропустил циркулярный душ. Ну да ладно... Пусть хоть на месяц-полтора дев-

чонка вырвется из затхлого домашнего мирка на простор, пусть немного поразвеется, на жизнь посмотрит, к мечте устремится, манящей за горизонтом.

На остановке он встретил старуху и ее дочь с насурьмленными бровями. В руке молодухи он увидел знакомый узелок, сложенный в сетку. Старуха тоже заметила Семетея и побледнела. Белый посошок в ее руке задрожал. Сердце ее сжалось, в глазах затуманилось. Он спешно отвел взгляд и зашагал прочь.

Вскоре пронесся автобус-коробочка, окутав Семетея облаком сизой пыли. С севера налетел ветер, раскачал, разбудил дремливые туранги вдоль дороги. Сверху падали и падали, кружась, пожелтевшие листья. «Жизнь, как листья,— неожиданно подумал Семетей.— Весной они жадно тянутся к солнцу, в летний зной тоскуют по дождю, прихорашиваются, радуются, шуршат-шелестят, ночью переговариваются со звездами, но приходит время, и они увядают, желтеют, ссыхаются, осыпаются с деревьев и бесследно исчезают, словно и не было ничего. У жизни строгая межа. Своя неотвратимая, необратимая мера. Шорох листьев, гул ветра, ласковое тепло солнца, живительная сила воды, по существу, и есть вся жизнь. Все остальное суета, прах, тлен. Значит, надо дорожить мигом счастья, пылким биением сердца, радостью жизни, столь мало отпущенной скрягой судьбой».

До квартиры на краю села он добрался пешком. Букалай спешно собирался в район хлопотать пенсию. «Вы что, уже уезжаете?!— деланно удивился он.— Жаль, жаль! Мы с вами будто породнились. Приезжайте на следующий год. Дом наш для вас всегда открыт».

Семетей молча уложил чемодан. Букалай все говорил и говорил как заведенный.

«Надо было на дорогу плов сготовить, пузырек раздавить, да вот, видишь ли, жена на работе...»

«Ах, горе, горе... Сестрица-то моя хитрохвостая, видели, опять ко мне старуху привела! Так и норовит спихнуть мать родную с шеи. У, проклятая! Ну, погоди... вернусь из района, я ей мозги вправлю. Понравилось, видно, одной в квартире жить, хахалей водить. Ишь ты, и мать уже ей в тягость! Я тут... калека... обременен заботами... жена на работе... пенсия... а она... У, зараза! Ну, куда, куда опять подевали мой ремень?!»

В досаде он выгреб охапку белья из шифоньера, пнул дверцу.

Семетей закрыл чемодан, нахлобучил шляпу, сквозь зубы процедил: «Прощайте!» — и вышел.

На колченогой скамейке в тени дома, сгорбившись, сидела старуха. Видно, она сидела тут давно, Семетей просто ее не заметил, когда входил в дом. Он, потупив глаза, подошел к ней, протянул руку.

— Что, сынок, на пользу пошел тебе светлый источник?.. Ну, слава аллаху... будь счастлив...— голос ее был слабый и тусклый. Он доходил до него словно из-под земли. Лицо ее еще больше сморщилось, на глаза навернулись слезы. Семетей растерянно молчал.— Я тоже поеду обратно в Саратов. Соскучился небось мой старик. Скоро и мне лежать с ним рядом в земле...

Семетей простился и ушел. Слова старухи еще долго звучали в его ушах. Он ехал в автобусе и задумчиво смотрел на белоголовые горы вдали, окутанные легкой осенней дымкой. Они были красивые, горы. Гордые и величественные. Вдоль обочины шумели на ветру, покачивались старые туранги. В воздухе кружились жухлые листья. За автобусом тянулось, разрастаясь и клубясь, облако пыли. Невзрачные глинобитные домики и белесая дорога стремительно откатывались назад... Семетей с грустью подумал, что не простился с пылкой Перизат. Где она теперь, черноглазая? На кого теперь устремлен ее лучистый взгляд, кому она доверяет свои сокровенные тайны? Увидела ли она свою мечту за дальним горизонтом? Да не омрачится ее душа нежданным ранним горем. Да не обломаются ее хрупкие крылья!..

Он оглянулся назад: там, за одинокими бурыми увалами, зеленым островком в степи оставался светлый чудодейственный источник.

КУМЫС

— Иди, дядя зовет!..

Я бросился в гостевую комнату и на пороге столкнулся с дженге. Холод пронзил меня: в глазах ее стояли слезы. Видно было, как она крепилась: одинокие слезинки дрожали под ресницами, не решаясь скатиться по щекам. В комнате было прохладно, сумрачно. Окна распахнуты. Тюлевые занавески от легкого дуновения чутко колыхались. В середине, на полу, на широченной чистой постели, распластавшись, лежал мой дядя. Зна-

чит, не по душе пришлась кровать, «Скрипит, мозг сверлит»,— говорил он на днях. Дяде едва перевалило за пятьдесят, и был он могуч телом, словно палван — борец. А теперь на глазах таял... В большой деревянной чаше у изголовья тускло поблескивал кумыс. Его купили на базаре — молоко кобылицы-трехлетки,— но дядя опять не притронулся к кумысу. Кисловатый запах щекотал мои ноздри. Дядя настаивал, чтобы чаша с кумысом непременно стояла у его изголовья. Должно быть, терпкий дух напитка напоминал ему невозвратную лихую юность, гулкий цокот копыт по безбрежно раскинувшейся степи, буйный кокпар, от которого, бывало, кровь вскипала в жилах. Запах кумыса навевал давно прошедшее и ласкал душу...

Год назад подстерегла дядю хворь. Закаленный в недавно отгремевшей кровавой бойне, а потом — в изнурительных заботах и хлопотах послевоенного присырдарьинского аула, он долгое время не показывал виду, не поддавался болезни. Бывает, однако, стоит в пустынной степи вековой карагач. Разная нечисть упорно подтачивает его изнутри. Но он десятки лет сражается за жизнь и внешне почти не меняется. По жилам-сучьям его весной текут последние соки, а карагач грозно шумит листвой. Но постепенно угасает в нем жизнь, и лишь редкие почки набухают на его ветвях. Наконец дерево — высохшее, затрухлявевшее — умирает; торчит в пустыне голый, черный остов, воздав к небесам искривленные сучья. Стоит обугленное, скорбное, точно караульный на караванной дороге... Сейчас дядя похож на такой карагач. Кто знает, где притаился и какой он, этот червь смерти, неотвратимо подтачивающий богатырское тело. Ясно одно: подлая хворь одолевает его.

Уже заболев, дядя не отлынивал от колхозной работы. Провел благополучно весенний расплод овец, перегнал скотину на летовку, на прибрежные тучные луга, начал подумывать о сенокосе, об осенних заботах, старательно отгонял даже мысли о болезни. От разных уполномоченных не было отбоя, дядя мотался с ними по бригадам, фермам, стойбищам животноводов. И только мы с дженге догадывались, как мучается дядя, как крепится из последних сил. Остальные в ауле и не подозревали ничего, пока он не свалился в постель. На гулянках, тоях, бывало, над ним подшучивали: «Оу, ты что не пьешь? Муллой, что ли, решил стать?.. Эдак ты,

брат, скоро разбогатеешь!..» Дядя отмахивался от немудреных острот аульных джигитов и неизвестно, сколько бы еще продержался на ногах, словно тот степной карагач, если бы не нагрянула беда нежданно-негаданно в лице придурковатого сына-тракториста горлопана Ауэльбека. Нализался этот шалопай, направил свой трактор на паром, ну и свалился в реку. К счастью, везуч оказался: побултыхался, воды наглотался, а все же выкарабкался, вылез. Новехонький трактор остался под водой, под илом. Дядя пришел в тот вечер домой хмурый, подавленный, как бы невзначай обронил, что никакого интереса к работе не осталось. А потом вдруг стал поговаривать, что пища, которую с таким старанием готовила тетушка, совершенно якобы безвкусна. И было непостижимо, непонятно, как дядя все реже и реже дотрагивался до мягкой, жирной казы, до острой, густо поперченной тушпары, к духмяному чаю. Потом он жаловался на отсутствие аппетита, а вскоре заявил, что пища в горле комком застревает. Последние два месяца он уже и не вставал с постели.

— Далабай... дорогой мой...— тихо сказал дядя.

Я опустился на колени. Руки его высохли, потемнели. Голубоватая жилка у запястья билась еле заметно. Глаза глубоко запали, но сейчас были чисты и странно блестели. Я обрадовался: наверно, дяде стало лучше.

— Поезжай к Актате... привези турсук кумыса.

В голосе дяди послышалась легкая дрожь. То, может, прорвалась тоска по невозвратному или робкая надежда всколыхнула сердце — не знаю, только я тоже разволновался. У изголовья стояла полная, нетронутая чаша кумыса, а дядя посылал меня к устью Куланчи, в урочище Каратау, за кумысом из аула табунщиков, находившегося от центра на расстоянии дневного пути! Конечно, я знаю, велика разница между кумысом городским и степным. Городской кумыс жестковатый, водянистый. Ведь и свежее кобылье молоко, и закваску, и уже готовый кумыс, пока его не продадут, хранят в жестяной или стеклянной посуде. Отсюда и привкус. Я так считаю. Желание больного вселяло надежду. Может, и в самом деле степной кумыс принесет дяде облегчение. Я тут же вышел. В передней тетушка охлаждала зеленый чай. Она встревоженно-пристально уставилась на меня, и я заметил все те же слезинки на ресницах. Я объяс-

нил, что еду в горы к Актате за кумысом. Тетушка не ответила, только вздохнула: «Милый ты мой, опора наша...»

Во дворе хрумтел зеленым клевером наш мерин Актанкер. Отъелся конь на вольных хлебах, бока лоснятся. И на поводу не ходит — приплясывает. Тетя принесла из сарая сбрую. Я оседлал мерина, переоделся и спешно отправился в путь. Ни жара, ни дальняя дорога, ни крутые перевалы не пугали меня.

Мерин шел крупной рысью по неглубокой лощине, и вскоре я почувствовал приятное, прохладное дыхание близких гор. В детстве дядя часто брал меня с собой на бахчи. Меня всегда влекли тонкие плети и пахучие листья ранних дынь. Дядя не пускал меня, боялся, что поломаю хрупкие стебли, но я опускался на корточки и, жмурясь, наслаждался медово-сладким запахом плотных завязей. Сейчас тот памятный запах ударил в ноздри. На этом аромате, видно, настоян воздух степи.

И мерин соскучился по раздолью летовки. Пофыркивал от удовольствия, шел машисто, рвал поводья. Тропинка вилась все выше и выше. Песок скрипел, потрескивал под копытами, будто в раскаленном казане кукурузу обжаривали. Мелкие камушки рассыпались искрами. Конь взмок под гривой, и я откинул ее на другую сторону. Когда я поднялся на гребень увала, зашло солнце, надвинулись сумерки. Вскоре сбоку показался едва заметный молодой месяц, похожий на серебряную подкову. Он лишь чуть-чуть освещал рыжеватую тропинку, камчой обвивавшую крутобокие склоны гор. Мерин рысил ровно, не спотыкаясь. Горные дороги ему хорошо знакомы. Изредка из-под ног его взлетали жаворонки. Мерин испуганно вздрагивал. Вдали раскатисто прогремел гром, небо прочертила ярким зигзагом молния. Надо скорее преодолеть перевал, а то настигнет гроза в пути и будешь потом плестись мокрой собакой. Скалы обступали с двух сторон, зажали тропинку в теснину, потом, круто обогнув пропасть, тропа нырнула в каньон. Мерин упирался передними ногами, седло заскользило вперед, к шее. Снизу, из мрака, доносилось слабое журчанье воды. Там течет, бьется лбом о скалистый берег горная речушка Куланчи. Здесь, в старом зимовье у реки, я родился. В этом овраге прошло мое детство. Каждый камень этих мест мне дорог. Чист горный воздух, а когда он перемешан с запахом грозы — ширится грудь. Гром

поворчал, покашлял и понемногу утих. Тучи уплыли за горы. Я обрадовался, что ушел от грозы.

Помню, как здесь, в верховье, проходил однажды кокпар. Дядя тогда заведовал конной фермой. Мы, мальчишки, подражая отчаянным кокпарщикам, оседлали прутики, и в лихой схватке соседский постреленок получил увечье и с ревом уполз домой. А это я услышал от взрослых. Нынешний мерин — Актанкер — был тогда в зените славы. Живым клубком кружились на месте разгоряченные кокпарщики. Сбоку ринулся на них дядя. Однако никак не удавалось ему дотянуться до тушки козла. Каждый раз кто-нибудь становился поперек пути. Возбужденные борьбой и араком долинные джигиты, надрывая глотки, ловко перекидывали друг другу тушку и все больше удалялись в степь. Горцы растерялись. В степи джигитов-степняков уже не настигнешь. Только накроют удушливым облаком пыли. А здесь, в узком ущелье, невозможно было разогнать лошадей. Ох, и разъярился, рассказывают, тогда мой дядя. Глаза налились кровью. Пустил во весь опор мерина, бросился вдогонку за джигитом из степного аула, в безумстве одним рывком выхватил козла и тут же понесся вниз по крутояру. Джигиты опешили, вскрикнули: «Сорвется! Шею свернет!» Сгоряча, однако, погнались было за ним, на краю пропасти круто осадили коней и, глянув вниз, отпрянули, отшатнулись. А дядя, словно беркут, нацеливший на жертву, домчался по крутому склону до подошвы горы и оттуда напрямик — до юрты молодой тогда Актате. Конечно, по окольной дороге никто уже не мог догнать его. Актате приветила удалых всадников, выволокла приятный сердцу дар — тушку козла и получила благословение. Джигиты низовья спешились, благоразумно рассудив, что лучше наслаждаться кумысом, чем мотаться по горам, где немудрено разбить себе и голову.

И всю ночь, рассказывали, степные удальцы тушили буйную страсть хмельным кумысом...

Событие то, впрочем, не особенно знаменательное. В те годы шумные кокпары проводились едва ли не каждую неделю. И если мне, мальчишке, запомнился именно тот кокпар, то лишь потому, что после него поползли по аулам разные слухи-кривотолки. Зашушукались языкастые бабы: «Ойбай, ты слышала? У завфермой с Актате — шуры-муры!» «Не трепись! Зачем ему желтопузая

баба, когда своя жена — что куколка?!» — «Провалиться — не вру! Когда завфермой уходил на войну, он был еще юнцом. И якобы сказал он тогда: «Женеше, не на гулянку ухожу — на смертный бой. Вдруг что-нибудь случится. Подари мне хоть что на память...»— «Что ты говоришь?!»— «Да, да... И тогда заплакала, говорят, Актате. Сняла свой амулет и повесила на шею джигита. А ведь, сама знаешь, амулет дарят только любимому!»— «Апырмай, а! Так-то оно так!.. Но об уважаемом человеке болтать такое — грех». Кто знает, что здесь правда, а что ложь... Меня лично это никогда не интересовало.

В аул табунщиков я приехал на рассвете. Все спали. Даже дойных кобылиц еще не пригнали с выпаса. Жели — на колышках растянутая веревка для привязи жеребят — тоже пустовала. Трава была вытоптана, земля разворочена, пахло кизяком. Большеглазый, брыластый пес с треском разгрызал большущую берцовую кость. Увидев меня, хрипло взлаял. Тут же, откинув полог из чия, вышел плюгавый заспанный старичок — «богом данный» супруг Актате. Пустой, вздорный мужичонка. Единственное, на что способен,— пригонять и доить кобылиц. Постоял, потянулся, помял колени, заковылял навстречу. Был старик явно не в духе, но не знал, видно, к чему придраться. Начал с того, что обругал невинного пса.

— У! Чтоб с голоду корчился, обжора! Чтоб костью подавился!

Насколько я понимаю, это означало: «Шляются тут разные. Вечно что-то вынюхивают, выискивают. И этот узкозадый, видать, неспроста приплелся».

— Здравствуйте, старина! Живы-здоровы ли? Благополучен ли скот?— учтиво и громко затараторил я, стремясь развеять его хмурь. О таких казахи говорят: способен огромный мир сузить до размеров мерлушки. Я протянул обе руки, он вяло подал кончики пальцев.

— И лает-то не по-собачьи. Кашляет, будто чахоточный. Утроба ненасытная! Жили бы в центре, давно бы околел! Сучий выродок!

Пес мигнул слезящимися глазами. Слова хозяина означали: «Отдаю голову на отсечение: что-то понадобилось этому узкозадому. Ишь как юлит, в душу лезет. И оглянуться не успеешь — вокруг пальца обведет! Вежливый, стерва! С такими будь начеку — околпачит...»

— Разве не пора, старина, кобылиц пригнать на дойку?

— Дай мерина — пригоню. А то моя кобылка куда-то запропастилась...

Глупо усмехаясь, он выхватил у меня повод. Мерин весь взмок, и мне было жалко отдать его коротышке. А он, кряхтя, матерясь, подтянул подпругу, занес ногу в стремя... Из юрты вышла Актате. Вот уж кого верно назвали. Белая тетушка! Светлолицая, все еще стройная, статная, хоть и на исходе пятый десяток, в белом чистом жаулыке. Рассудительная, опрятная. Ее любили и почитали в аулах верховья и низовья. Казахи говорят: красивая чаша может потускнеть, но прелести своей не теряет. Это о таких, как Актате, сказано. Она приставила ладонь ко лбу, прищурилась и сразу же узнала Актанкера. Старичок в это время как раз поудобней усаживался в седле.

— О, боже! Это же скакун Актанкер! А это — мой братишка — грамотей! Ой, родненький... айналаин! Не забыл, значит, тетушку, да?!.

Она обняла меня, и от этой ласки я почувствовал в горле слезы. Я благодарно приник к ней и поцеловал краешек жаулыка. Коротышка величественно восседал на рослом мерине. Актате гневно насупилась.

— А ну, слезь! Копыт скакуна недостойный!

— Да я... это... хотел только... кобылиц пригнать...

Коротышка послушно скатился. Слезая, зацепился мошной за луку. Мутузка развязалась. И едва коснувшись земли, вконец сконфуженный, хозяин принялся подтягивать, зашнуровывать штаны.

— Совесть есть у тебя или нет? Разве взрослый человек хватается за коня гостя, а?! Ты же не мальчишка, чтоб тебя прокатили! Найди свою клячу и скорее отправляйся за кобылицами!

Коротышка заковылял прочь. Актате пригласила меня в юрту. Она быстро убрала постель, для меня расстелила стеганое одеяльце, под бочок кинула подушку. «Отдыхай, отдыхай,— то и дело приговаривала она.— Ласковый ты мой... милый... Тетушку свою проведать приехал». Она открыла тундук, подвязала к притолоке полог, и в юрту заструились тугие снопы лучей.

Я принялся рассматривать убранство. В правом углу тяжело свисала белая шелковая занавеска. За ней стояла просторная деревянная кровать с серебряной инкрус-

тацией. На кровати возвышались разноцветные атласные одеяла, горбилась горка пышных подушек. Кровать — чуть ли не единственная мебель в юрте. Табунщики живут на летовке скромно, налегке, оставляя весь домашний скарб на зимовье. В левой части притягивала взор полка для посуды. Это творение знаменитого в здешних краях краснодеревщика Акадиля: старый мастер имел обыкновение все отделывать урючиной. Боковые доски полки отливали золотистой желтизной — цветом спелой дыни. Их тоже украшали причудливые вырезки и набивки. Чуть ниже полки, на кереге, висели, туго выпячивая бока, два вместительных саба́ — кожаных мешка: один из шкурки жеребенка, второй — из шкуры лошади-трехлетки. Снаружи саба лоснились, блестели, точно шерсть выдры осенью. Такой блеск появляется лишь тогда, когда кумыс насквозь пропитает шкуру. Подобные бурдюки шьют только мастера из Туркестана. Аккуратно содрав шкуру, высушивают ее в тени, в прохладе, потом вымачивают в прокисшей накипи кумыса, держат в остро пахучей бурде полторы недели, потом скребком тщательно очищают мездру, долго мнут податливую, зеленоватую шкуру и лишь после этого принимаются шить из нее саба. Потом разводят неяркий костер из веток таволги, коптят изнутри саба на густом, горьком дыму. Прокоптив, наполняют ее свежим кобыльим молоком, долго бултыхают, мешают и сливают его. Потом опять коптят и опять полощут, отмывают в кобыльем молоке. И повторяется это много раз, пока кумыс из саба не теряет окончательно запаха шкуры и сохранит лишь приятный привкус горелой таволги. Вот так рождаются вместительные, крепкие мешки — саба, в которых потом подолгу хранят медовый кумыс.

Рядом, еще чуть пониже, висел турсук. Невеликая посудина, сшитая из лошадиной шкуры, но только из шейной ее части. Турсук готовят таким же примерно образом, как и саба. Только коптят не на таволжьем дыму, а пропитывают дымком урючины и горной ветлы. В турсуке кумыс не портится в течение двух-трех недель. Путники и батыры, отправляясь в дальнюю дорогу или опасный поход, неизменно брали с собой турсук кумыса. Кумыс в турсуке предназначается для особо почтенных гостей. Он мягок, искрист и приятно бодрит тело, горячит кровь. О таком только подумаешь — уже слюнки текут. Ближе к выходу, на доске, я увидел симпатич-

ный кавак — круглый, краснобокий. Каваки, высокие тыквы, выращивают присырдарьинские дехкане, потом высушивают до звона на солнце и ветру и слегка обжаривают на горячей золе. Человек, не имеющий представления о каваке, может принять его за искусное гончарное изделие — за глиняный кувшин. И в самом деле трудно поверить, что кавак — творение природы, а не человеческих рук. Пузатый, с постепенно сужающейся горловиной, с радующим глаз золотисто-оранжевым отливом кавак — истинно изящная штука. И крышку для посудины вырезают из кавака. Рядом с ним пристроился небольшой березовый жбан. Из него торчала мутовка. В двух местах — сверху и снизу — жбан крепко стянут обручем из березовой коры. И здесь искусный мастер приложил руки: все так плотно, так умело пригнано, что даже стыка не видно. В жбане пенилось, пузырилось кобылье молоко. Вся посуда в идеальной чистоте. Казалось, я видел не повседневную домашнюю утварь, а редкие музейные экспонаты. Каждая вещица — создание какого-нибудь известного мастера. Собранные вместе, они играют причудливыми отделками и украшениями, подчеркивая самобытное искусство умельца.

— Слышала, что дядя твой болен, а вот никак не могу проведать его. Нынче во сне видела. Губы потрескан-ные, синие. «Актате,— говорит,— жажда мучает...» Ну, и я решила: съезжу непременно. А тут, к счастью, и ты чуть свет нагрянул, ласковый мой. Теперь-то вместе и поедем...

Она взгрустнула, подала мне кумыс.

— Меня дядя прислал. Просил привезти турсук кумыса.

От этих слов вздрогнула Актате, выронила деревянный половник и торопливо вытерла уголком жаулыка нахлынувшие слезы. Она сидела ко мне боком, и я впервые увидел на ее круглом, полном лице мелкую сетку морщин. У меня сжалось сердце. «Постарела Актате — моя белоликая тетушка,— невольно подумалось мне.— Сейчас она похожа на свою же древнюю, поблекшую посуду. Ни прежнего звонкого смеха, ни доброй шутки, ни насмешливого, шаловливого взгляда, ни игривого взлета бровей — ничего не осталось. Одна печаль, одна грусть застыла на увядшем лице...»

За юртой доносилась визгливая ругань коротышки. Бранные слова сыпались из него, точно из мешка.

— У, кособрюхий! Отродье сучье! Ублюдок! Чтоб кишки твои повылезли, дохлятина!

— Ты что, ласковый, раньше-то не сказал?! Я ведь только что кумыс от кобылиц-трехлеток перелила из саба во фляги. Косари с утра за кумысом приезжают, посудой погромыхивают... Ах, какая досада!

Актате удрученно задумалась.

— Как жалко! Сейчас ведь новолунье, а в эту пору кобылье молоко жидковатое. Кумыс годится лишь для утоления жажды. Целебной силы в нем мало. А в полнолунье кобылицы широко разбредаются по выпасу, выбирают лучшие, сочные травы и цветы, раскрывающиеся лишь при лунном свете. И молоко их сочное, густое. И кумыс целебен. К концу месяца молоко опять ухудшается, а кумыс становится хмельным, как арак. Так говорил, бывало, мой отец...

Я не спеша выцедил мягкий, сладковатый кумыс и почувствовал, как мгновенно прошибла меня испарина. И только теперь обратил внимание на изящную, золотом расписанную чашку. Она играла красками, будто светилась, от нее падал по сторонам тусклый отблеск. Края чашки были отделаны отполированным рогом козла, отчего она была непривычно тяжелой. Такую чашку приятно держать в ладонях, поглаживать пальцами блестящие, гладкие бока... В те годы, когда я ездил в школу на стригунке, я каждый раз на обратном пути останавливался у Актате, чья юрта стояла на каменистом бугре, чуть в сторонке. Она и тогда готовила кумыс землепашцам. Облизывая пересохшие губы, я робко поглядывал в угол, где стояла посуда, и терпеливо ждал, пока тетя наливала мне из кавака желанный напиток. Подавала она кумыс всегда в кесушке, а эта чашка, расписанная золотом и украшенная рогом, и тогда стояла, радуя взор, на полке. Я смотрел на нее с тайным желанием, как ребенок на красивую, но недоступную игрушку, и не осмеливался спросить, почему Актате ни разу не подает мне кумыс в ней. Прошли годы, кто-то повзрослел, кто-то постарел; потускнела, поблекла посуда. И вот сегодня я держу в руках ту драгоценную чашку. Впервые утолил жажду из нее.

Я только собрался было спросить, какая тайна связана с этой чашкой, как за юртой послышались крики табунщиков, и громче всех — визгливый голос коротышки.

— У, язви тебя!.. Свернуть бы тебе шею! Вяжи!

Держи! Вали, мать его!.. Кумыс лакать — все охотники, а строптивую заарканить — ни одной собаки не найдешь. И выгонять, и пригонять, и привязать, и доить — только я! Один я! Всюду я! Паразиты! Дармоеды! Эй, гони паскуду сюда!..

— Не беспокойтесь, Актате. Даже свежее кобылье молоко из ваших рук — услада!

— Что ты, ласковый?! Разве я позволю поить вас свежим молоком? Или ты не знаешь, что его дают только недругам? Свежее, оно расстраивает желудок, слабит. От него одно беспокойство. Едва выпив его — на месте не устоишь. А вот кумыс из молока кобылицы-трехлетки дают гостю, с которым приятно вести задушевную беседу. Он способствует доброму расположению духа. Кумыс от кобылицы-четырехлетки предпочитают поэты и влюбленные. Он волнует, возбуждает, вдохновляет. Еще ценнее кумыс из молока кобылицы-пятилетки. Хмельной, выдержанный, с горчинкой кумыс предлагают батырам-храбрецам перед боем или послам, ведущим переговоры. Шальным, перебродившим, горьким, как зелье, кумысом спаивают бродяг, шаманов, торгашей. Каждый кумыс имеет свой вкус, свои качества и свое предназначение. Не зная это, готовить сусло, кумыс — святотатство! Зачем срамить священный напиток предков?..

Я смутился. И зачем я только сказал о саумале — свежем кобыльем молоке? Получилось, будто я сомневаюсь в умении и искусстве Актате. А она всегда считала свое дело — искусством.

— Еще налить, ласковый?

Я понял: она спросила только из приличия, а сама даже руки не протянула к моей чашке. Я прикрыл ее ладонью, вежливо поблагодарил. Лишнее — тоже не в пользу.

Кумыс нужно пить в меру, умеючи, он должен растекаться по всем жилам. А когда пьешь из такого драгоценного сосуда, особенно неудобно выказывать ненасытность. Помешивая оставшийся на дне глоток кумыса, любуясь роговой отделкой чаши, я помолчал, задумался. Актате внимательно посмотрела на меня, чуть улыбнулась, лицом просветлела. Потом поправила жаулык, устало поднялась:

— Ну и крикун! На весь аул разорался. У соседей молодая невестка, у нас — гость, а у этого ни стыда, ни совести. Матерщинник старый!.. И когда только образумится?! Ладно, пойду.

Она вышла из юрты, и коротышка мигом умолк.

На полке стояла еще одна любопытная чаша — светло-коричневая, умело выточенная из цельного бруска джиды. Мастер сохранил все рисунки, кольца и линий дерева, обнажил его красу. Судя по тому, что чаша выточена вдоль сердцевины джиды, дерево было срублено летом, в самом соку. Иначе со временем истонченное дно, несомненно, выпало бы. А летом дерево податливое, упруго-мягкое. Мастер хорошо использовал естественную твердость и легкость джиды и обогатил ее своей фантазией. И эта чаша — память умельца Акадиля. Мастера давно уж нет в живых, а искусство его живет. Ювелиры, чеканщики, резчики по дереву на склоне жизни создавали удивительные вещи и дарили их друзьям и уважаемым людям. Они не хотели, чтобы вместе с ними умирало, исчезало редкое творение их рук и таланта, и стремились распространить в народе свое дивное искусство. В этом выражалась страстная тяга к жизни. Лишь бессмертные оставляют после себя нетленную память.

Отдуваясь, вошел коротышка. Зачерпнул черпак кумыса из кавака, выпил залпом и почему-то пнул пустое ведро. Потом плюхнулся на подстилку, стянул сапоги и с яростью швырнул к порогу. Тут же лег на бок, вытянул ноги, неприязненно спросил, будто камчой хлестнул:

— Ну, так что, малец?! Какие новости в низовье?

— Никаких!

— Да ну! Газеты читаете, кино смотрите, а говоришь, новостей нет. Как же так? Вот мы — другое дело. Живем, как кроты. Ничего не видим, ничего не слышим. Придут однажды жулики и растащат по камням гору Каратау, и то ничего знать не будем. Вот как, малец!

— Вам же газеты доставляют.

— Э, сказал! Мы, кроме районной газеты, ничего не читаем. А если читаем — не понимаем. Да, кстати, давно собираюсь спросить у такого писаки, как ты. Вот у нас ежедневно печатают черт знает сколько газет, горы журналов, книжек разных; радио орет-колгочет с утра до ночи. Скажи: откуда столько слов берут? Разве не кончатся они когда-нибудь, а?

— Нет, не кончатся!

Видно, ответ мой хозяина не удовлетворил. Он недовольно поглазел-поглазел на меня, позевал и вскоре захрапел.

Вернулась Актате. Я успел убрать дастархан, вымыть

и поставить на место позолоченную чашку. Актате это заметила и тихо рассмеялась. Потом взяла подойник, и я, догадавшись, что она идет доить кобылиц, вышел вслед за ней. Мерина молодожен-сосед отпустил на выпас. Возле небольшой юрты, в которой готовили пищу, мелькнула ярко-красная косынка молодайки.

Актате долго скоблила и мыла подойник, который и без того сверкал белизной. Потом, еще раз сполоснув его, поставила на солнце сушить. Заметив мое недоумение, пояснила:

— От одной капли воды кумыс становится уже не тот. Доить кобылиц следует только в сухой подойник.

Смотрю: Актате доит не всех кобылиц подряд, а на выбор. Старых она пропускает, все больше подсаживается к молодым, норовистым, только недавно поставленным на привязь. Доить их хлопотно, легче пасти проказливых козлят. Строптивые кобылицы не стоят спокойно на месте, бьют копытами и неохотно дают молоко, берегут его для жеребят-сосунков. Надо помочь, думаю я, но Актате не допускает меня близко: «От чужого духа они и вовсе ошалеют». Повесив подойник на левую руку, она ласково цокает языком, подогнув колено, пристраивается к брюху кобылицы, успокаивающе похлопывает по крупу, по ляжке, потом осторожно тянет за нежные сосцы. Тонкая белая струйка цвиркает о край подойника. Молодой кобылице щекотно, она вздрагивает, круто поворачивается. Актате ловко отступает на шаг и вновь подходит, вновь цокает, опять приседает, пристраивается, успокаивает кобылицу, гладит, уговаривает, за сосцы тянет. Та опять шарахается. И так снова и снова... К обеду, измучившись, обливаясь потом, Актате еле-еле надоила два ведра. Я понял, что она старается ради моего дяди. А то ведь можно было позвать табунщика-соседа, заставить держать кобылиц, чтобы они и шелохнуться не посмели, и доить спокойно, без лишних хлопот.

— Что ты, ласковый,— возражает Актате.— Когда кобылицу держат, она боится, и тогда самое лучшее молоко остается в жилах. Для хорошего кумыса пригодно лишь то молоко, которое кобыла дает охотно, без неволи.

— А почему вы не доили старых, смирных кобылиц?

— У старых кобылиц молоко в сосцах, у молодых в молочных железах, а оно гуще, здоровее. К тому же молоко старых кобылиц закисает скорее, и вся сила как бы поднимается наверх, точно сливки. А кумыс из молока

молодых кобылиц обретает вкус и силу лишь на третьи сутки. Он ядренее, целебней. Какая кобылица — таков и кумыс. Если от молодой кобылицы — человек словно молодеет, здоровеет...

Грохоча телегой, приехал с озера повар косарей. Не проронив ни слова, принялся грузить фляги с кумысом, которые еще утром наполнили хозяева. Потом, закончив дело, ввалился в юрту. Актате налила ему из турсука в черную деревянную чашу. Повар выпил, и глаза его сразу повлажнели, усы встопорщились. Он закурил и долго молчал, пуская к потолку причудливые кольца дыма. Потом принялся уминать хлеб, и неизвестно, сколько бы еще сидел, если бы не проснулся коротышка хозяин. Спросонья он выпучил глаза и вкогтился ими в повара.

— Ты что, на поминках сидишь?! Расселся тут, жрешь, будто век голодал! У вас там что, дракон голодный в брюхе поселился?! Вчера только три саба кумыса увез, а сегодня опять приперся. Или вы кумысом деревья поливаете? Или рыбешек в озере травите? А? Что молчишь?! Вот пожалуюсь председателю, пусть он вам, паразитам, трудодни режет. Какие вы косари? Вы — шакалы ненасытные!

Угроза пожаловаться председателю не на шутку испугала повара. Он неуклюже поднялся и поспешно удалился восвояси.

Оставшийся в турсуке кумыс Актате вылила в кавак, заметив при этом:

— Теперь, мой ласковый, буду готовить кумыс для твоего дяди...

Сказала она это нарочито громко, чтоб услышал коротышка, и тот действительно услышал, еще более согнулся и принялся карманным ножом угрюмо ковырять землю.

Мне не терпелось увидеть секрет закваски кумыса, о котором так много говорили в аулах. Я стал внимательно следить за каждым движением, за каждым жестом Актате... Итак, она вылила кумыс из турсука, но не весь, а оставила немного на донышке. Понятно: остаток послужит хорошей закваской. Потом, встав на одно колено, она правой рукой расширила горловину турсука, а левой — перелила в него молоко из двух ведер. Крепко-накрепко завязав турсук сыромятным ремешком, она положила его себе на колени и начала слегка качать, будто убаюкивала малыша. Тихо стало в юрте. Даже молоко в турсуке

не булькало. Лицо Актате торжественно-отрешенное. Она качала турсук на коленях так долго, что, казалось, даже вздремнула. Потом, очнувшись, приподняла угол текемета — кошмы с узорами, положила турсук на сырую землю, на пожелтевшую, поблекшую траву и вновь тщательно укрыла его сверху. Кумыс, выдержанный в тени, в прохладе, согреваемый сверху и охлаждаемый земляной сыростью снизу, становится, говорят, божественным напитком.

В семи разных посудах заквашивают казахи кумыс. В ведре средней величины из шейной части шкуры телка или верблюжонка — он называется «конек» — кобылье молоко мешают с суслом. Кумыс в нем, как правило, жестковатый, буйный, с горчинкой. Такой посудой пользуются чаще всего средней руки дехкане, которые доят одну кобылицу. В громадном бурдюке-месе — его шьют из брюшной части лошадиной шкуры — заквашивают кумыс для кочевок и дальних караванных дорог. Молоко закисает само по себе от долгой, бесконечной тряски на телеге или на верблюжьем горбу. Потом — турсук. И еще два вида саба: тай-саба — из шкуры жеребенка и кунан-саба — из шкуры лошади-трехлетки. Заквашивать молоко можно и в бочонке или жбане, но непременно березовом. И последний вид посуды, пригодной для кумыса,— кавак. Лучший кумыс считается тот, который выдерживают в небольших турсуках и в саба из шкуры жеребенка.

Внесли самовар. Он бушевал, дышал паром. Расстелили дастархан. Я только собрался было спросить Актате о назначении и тайнах посуды, в которой подают кумыс, но тут вошел табунщик-молодожен. Видно, две семьи столовались вместе, а когда приезжал гость, и вовсе все становилось общим. Табунщик решительно придвинул к себе самовар и принялся разливать чай. Актате открыла ларь и выставила на дастархан заветные припасы: конфеты, сахар, сушеный творог, сыр, пастилу, связки сушеной дыни, урюк, масло. У меня разбежались глаза. А хозяин-коротышка не удержался, съязвил:

— Не приехал бы племянничек председателя, жевали бы один хлеб. А так, слава богу, есть что шамать.

И сосед-табунщик ухмыльнулся:

— В ларе Актате только птичьего молока нет.

Я смотрел на дорогие казахские яства, а есть почти

не мог, потому что был сыт от недавно выпитого кумыса. С усилием выпил кесушку чая и отодвинулся от дастархана. Актате удивленно глянула на меня и начала приговаривать-ворковать:

— Почему не ешь, ласковый? Для тебя же берегла. Масло топленое, свежее. Курт из неснятого молока. С медом. Потом сварю огузок жеребенка. Твоя доля. С зимы храню в муке. Ешь, ласковый! Еще проголодаешься, пока мясо сварится. Уважь! Давно ведь не потчевала тебя...

Я начал благодарить Актате, но тут нежданно вклинился коротышка:

— Чихать он хотел на твое угощение. Ему арак подай, да побольше! Тогда возрадуется его душа и развяжется язык. «Хранила-берегла» — говоришь. А он твоему огузку предпочитает городские... эти... как их... длинные, мокрые, изжеванные...

Сосед-табунщик подсказал:

— Да, да... они самые... сосиски свинячие. Народ нынче ученый пошел. Он сосиску жует, а от копченого-вяленого огузка морду воротит. Да, да!

Всем стало неловко. Актате лицом потемнела и отвернулась. Я разозлился. Хотелось вскочить и отдубасить вздорного старичишку, чтобы он из коротышки в мартышку превратился. Актате догадалась о моем состоянии.

— Ласковый, сделай милость — переверни турсук.

Я отвернул край кошмы, перекатил турсук на другой бок, но, должно быть, что-то не так сделал: подошла Актате и очень осторожно — даже всплеска не послышалось — покачала турсук. Потом так же аккуратно прикрыла его текеметом.

Пришло время дойки. Схватив подойник и ругая косарей, вышел коротышка. За ним последовал сосед-табунщик. Он засучил рукава, будто готовился к схватке. Актате принялась закладывать мясо в казан. Колхозных кобылиц обычно доили четыре раза в день, но сегодня не управились. Под длинным куруком молодого табунщика кобылицы испуганно храпели и дрожали, водили боками. Коротышка неистово гремел ведром, отчего жеребята-сосунки на привязи от страха кидались в дыбки. Наконец, весь в поту и облитый с головы до ног кобыльим молоком, притащился он в юрту, и Актате приказала немедленно отвязать ошалевших жеребят и отпустить кобылиц на выпас. Бедняги сосунки, получив свободу, вприпрыжку кинулись к матерям, стали тыкаться мор-

дой в дряблые после дойки сосцы и причмокивать от нетерпения. Кобылицы млели, любовно-нежно всхрапывали. Потом весь косяк трусцой подался в степь, на выпас, где мошка и слепни тревожили не так назойливо. Сзади на тонких точеных ножках, развевая хвосты и гривы, мчались, точно игрушечные, жеребята.

Когда я принялся за огузок, заботливо сохраненный Актате с зимы в муке, уже садилось солнце. Хорошо просоленный, неспешно, ровно провяленный, сочный и жирный кусок золотился в предзакатных лучах. «Драгоценный дар, сбереженный любовью и тоской в сердце. Он все равно что невысказанная тайна, недопетая песня, недопитый кумыс... Какое счастье, если есть у тебя близкий человек, который ради тебя одного хранит бесценный дар своего сердца, своей души! Значит, не одинок ты: и тебя помнят, и тебя любят...» Медленно заходящее солнце напоминало мне о быстротечной жизни и навевало грусть, а для меня сохраненный доброй женщиной лакомый кусок говорил о тепле человеческих отношений и вселял надежду, радость.

Актате позвала молодку из соседней юрты и попросила ее вымыть и протереть посуду на полке. Любо было смотреть на легкие, ловкие руки юной женщины. Актате помогала ей, советовала, похваливала.

— Я учу нашу сношеньку разливать кумыс,— заметила она, улыбнувшись робкой молодке.— Дай срок — из ее рук будут пить кумыс почтенные люди. Вот увидишь: большой мастерицей станет.

Протирая сухим, чистым полотенцем посуду для кумыса, Актате коротко объяснила мне назначение каждой из них.

— Казахи извечно почитают не только кумыс, но и посуду, в которую разливают его. Разным людям подают кумыс в разной посуде. Простому человеку — в кесе. Случайным гостям, путникам — тоже. Обжорам и торгашам наливают в большую деревянную чашу — тостак. Ведь для них главное — залить толстое брюхо. А вот дорогим друзьям подают в средней величины крашеных, расписанных чашах — зерéн. Такие чаши радуют душу, напоминают томный взгляд красавицы. Правда, и зерены бывают разные. Это зависит от умельца и материала. Вот этот выточил из урючины и расписал золотом знаменитый мастер Акадиль. Влюбленным предлагают кумыс в изящных козé — маленькой, узкогорлой, кувшинообразной

посуде с золотыми каемками. Из серебром отделанных козе пили акыны-певцы, щеголи-серэ, тонколицые баловни-красавцы. Как-то в наш аул неожиданно нагрянул серэ и наотрез отказался пить кумыс из обыкновенной чаши. Бедный отец отправил нарочного в Сауран, и тот галопом доставил оттуда вот эту посеребренную козе. Батырам и борцам-палванам принято подносить кумыс в высоких кувшинах.

У меня радостно заколотилось сердце: «Мне подали кумыс в расписанной чаше, значит, я отношусь к дорогим друзьям Актате!»

И пока юная соседка перемывала и перетирала всю посуду, Актате поведала мне еще много интересного. После ужина молодка принялась разливать хмельной успокоительный кумыс. Сначала она его долго болтала, бултыхала мутовкой в каваке. Потом перелила в огромную деревянную чашу, придвинула на край дастархана и, усевшись боком, согнув одну ногу, только было собралась мешать пенистый напиток оцинкованным половником, которым до этого разливала жирный бульон, как Актате сделала предупредительный жест и протянула смутившейся молодке деревянный крашеный черпак. Черпаком она набирала и, приподняв на высоту локтя, вновь сливала в чашу точно четыре раза — по числу людей за дастарханом. Это своеобразный ритуал, знак уважения к каждому человеку. Теперь молодка взяла в левую руку раскрашенную чашу-зерен, правой рукой приподняла черпак, осторожно, по стенке чаши, беззвучно наполнила ее, при этом не по самый верх, а до уровня шириной в палец. Потом так же, без стука, прислонила черпак к тазику, взяла чашу в правую руку и изящным, грациозно-женственным движением, чуть обнажив локоть, подала кумыс мне.

Мне почудился томный восточный танец; мягки и плавны движения искусной танцовщицы. Принимая чашу, я заметил, как чуть-чуть дрогнула рука молодки. Она смущалась, робела под посторонним внимательным взглядом. И эта легкая дрожь казалась продолжением танца. Каждый жест был полон тайн и обаяния.

Я с наслажденим пил бархатный кумыс. Хмель мгновенно ударил в голову, приятно растекаясь по жилам.

Постелили мне на дворе. Я долго не мог уснуть. Внизу, в долине, сонно бормотала речушка. Таинственные, ночные звуки то удалялись, то вновь приближались.

Струились запахи природниковых цветов и трав. Прохладный ветерок лизал мне лицо, норовил юркнуть под одеяло. Точно котенок, с которым в детстве спал вместе. Такой мягкий, ласковый. И так сладко мурлычет. Подо мной чуть-чуть покачивается, убаюкивая, земля. Высоко-высоко в черном небе, вспыхивая красными огоньками, летит-жужжит самолет. Я засыпаю, будто проваливаюсь. И вдруг совсем рядом, у самого уха, явственно слышу: «Далабай, родной!» Негромкий, с хрипотцой голос дяди. Зовет-кличет меня: «Далабай, родной!» Будто отправляется в дальний путь и хочет со мной проститься. Я слышу зов и спешу, спешу, спешу к нему, чтобы обнять дядю перед долгой разлукой. В испуге, ужасе я просыпаюсь и вскакиваю с постели. Страх и стыд охватывает меня. «Как я могу здесь валяться, спать, когда дядя тоскует по глотку настоящего степного кумыса?!» И так мне стало вдруг одиноко, больно, что хотелось зарыться лицом в подушку и заплакать горько, безутешно.

Актате неподалеку привязывала к растянутому по земле аркану последнего жеребенка. Я подбежал к ней.

— Господи, что с тобой, ласковый?! На тебе лица нет!

— Дядя болен, а я тут... болтаюсь.

— Тьфа-тьфа! Слава богу, сам-то хоть здоров. Сейчас, ласковый, после чая сразу поедем. Старик уже пошел за Актанкером.

Бедная тетушка, видя мое волнение, забеспокоилась. Повела меня в юрту. В той же красивой чаше подала кумыс. Но я пить не мог. И к чаю не притронулся. От коротышки я узнал, что Актате ночью без конца вставала и переворачивала турсук. Сегодня он лежал на деревянном полу, привязанный к решетке юрты. Актате развязала сыромятный ремешок, приоткрыла горловину, дала кумысу глотнуть прохладного утреннего воздуха. Потом, снова завязав, обернула турсук влажным полотенцем и запихала в коржун — переметную суму.

— Еще бы одну ночку — и славный получился бы кумыс,— заметила Актате.

Я услышал в ее голосе печаль.

— Ничего! Пока доедем — пробултыхается, в самый раз будет,— пытался я ее успокоить.

— Что ты, ласковый! — возразила тетушка.— От долгой качки кумыс становится норовистый, злой. А тот, что закисает в тишине, сам собой,— спокоен, покладист.

Актате выдвинула нижнюю полку подставки, вытащи-

ла прямоугольный инкрустированный ларец, достала из него маленький, с ладонь, узкогорлый кувшинчик. Он был выточен из джиды и выкрашен в сплошной красный цвет. В лучах солнца пылал огнем. Ни единой щербинки по краям. Привлекал внимание плотный, выпуклый сучок, нарочно оставленный умельцем. Без него — блестящего глазка — кувшинчик потерял бы всякую прелесть. Редким умельцам удается сохранить естественную красу дерева. Зато вещь обретает благородство и непреходящую ценность. А имя народного умельца становится легендой.

Я вспомнил: в ауле поговаривали, что Актате хранит кувшинчик, из которого когда-то пил кумыс прославленный акын Нартай. Наверное, я видел сейчас тот драгоценный сосуд. Однако спросить не решился. Актате бережно завернула его в рушник и тоже затолкала в коржун...

Солнце едва поднялось из-за гор, когда мы выехали из аула табунщиков. Мы отпустили поводья, и кони бежали ровной рысцой по знакомой дороге. В пути Актате все время старалась держать турсук в теневой стороне. К обеду мы добрались до Архарова родника. Спешились. Актате опустила турсук в холодную воду, потом еще раз дала кумысу подышать прохладным воздухом, а перед тем, как завязать горловину, сказала:

— Понюхай, ласковый. Запах-то какой!

Я наклонился к горловине турсука, и острый запах прошиб, пронзил меня, даже слезы хлынули из глаз. Густой аромат, похожий на запах зрелой дыни, распирал грудь, бодрил, возбуждал. «Такой кумыс и мертвого подымет», — подумал я. Актате заметила мой восторг, однако сказала сдержанно:

— С восходом Венеры я налила в турсук немного гусиного жиру.

Она намочила полотенце, обвернула турсук и вновь положила его в переметную суму. Мы поехали дальше.

Вечерело. С выпаса возвращался скот. В большом ауле центральной усадьбы колхоза было шумно, многолюдно. В воздухе висела густая пыль. Лошади начали пофыркивать. Голоногий малец, спотыкаясь, вприпрыжку ворвался в отару и отогнал десяток овец и коз. Они испуганно шарахнулись и рассыпались, точно баурсаки-

пончики на дастархане. Послышалось жалобное блеяние ягненка-сироты. Измученные духотой, жарой и пылью, овцы мелко-мелко перебирали копытцами и спешили к колодцам и по домам, в прохладный, привычный хлев.

Впереди, подшуровывая пятками толстобрюхого осла, ехал пастух. Увидев нас, он вместо приветствия снял войлочную шляпу, потом стянул прилипшую к черепу засаленную тюбетейку. От бритой головы шел пар. А где-то все тоскливо блеял, надрывая душу, ягненок-сирота. Мы приближались к высокому, с огромными воротами дому дяди. И вдруг... меня пронзила жуткая догадка и в глазах моих потемнело. Возле дома толпился народ. Я тихо вскрикнул и пополз с лошади.

Ягненком-сиротой был я...

...Актате, рыдая, вылила кумыс из турсука на свежую могилу дяди.

Прошли годы. Я часто тоскую по Актате и ее кумысу. Тот далекий драгоценный сосуд — маленький кувшинчик из красной джиды, с единственным сучком-глазком — и теперь еще, говорят, бережно хранится в инкрустированном ларце белолицей тетушки.

ЧАБАН И ЛАСТОЧКА

Я еду в горную долину. Мой конь с трудом взбирается по крутизне перевала. Извилистая тропинка тянется все выше, выше. Гладкие камни блестят на солнце серебром. Потому, наверное, и назвали предки перевал Серебряным. Взберешься на его вершину — сердце к горлу подкатит. Глянешь вниз, в пропасть,— голова закружится и в глазах потемнеет. Вот какая высота!

Вдруг слышится шелест. Я смотрю вверх. Огромный орел парит над моей головой.

Я рад ему, как доброму приятелю. Старый, должно быть, орел. Старый, как эти горы. Я помню его с детства. У него и тогда была облезлая шея. Он так же медленно кружил над летним пастбищем. Дети показывали на него пальцами и дружно кричали:

— Эй, старая ворона!

— Дряхлая ворона!

Орлы не боятся зимней стужи. И не улетают в жаркие страны. И этот не раз обмораживал подкрылья на

холодных скалах. Однажды едва не поймали его охотники. Но полюбились ему дремучие утесы Серебряного перевала. С годами еще больше к ним привязался. Никуда не улетает. Стережет родные горы. В этой округе его все знают: и старики, и малыши...

Может, и он знает всех, кто живет здесь, в горах и у подножия гор?

Орел провожает меня до самой долины. Потом машет мне на прощанье крылом и круто взмывает ввысь.

Внизу открывается долина. Я вижу серую чабанскую юрту. Стоит одна-одинешенька в бескрайней степи. Издалека она похожа на мерлушковую шапку великана пастуха из сказки.

Мне чудится, будто зовет юрта, манит: «Эй, путник, заворачивай!» Я подгоняю коня.

Еду, еду, а сам удивляюсь. Со странностями, видать, чабан. Другие пастухи, спасаясь от комаров и слепней, давным-давно откочевали к склону гор. Там много травы. И не так жарко в тени. А здесь пустынная степь. Все вокруг вытоптано копытами овец. Ни кустика, ни чахлой травинки. Чуть подует ветер — пыль столбом. И солнце палит нещадно.

Подъезжаю к юрте. Кругом ни души. Только две ласточки с веселым чиликаньем встречают меня. Стоит железная тренога с котлом. Огонь под ним погас. Возле колодца длинное деревянное корыто. И собак не видно. Ушли, наверное, с отарой. Далеко-далеко у холма вьется пыль. Там пасутся овцы. Конечно, пасет эту отару хозяин одинокой юрты.

Слезаю с лошади. Привязываю поводья к седлу. Вхожу в юрту. Здесь темно. Только с потолка, через полуоткрытый деревянный круг, струится свет. Я приподнимаю полог на двери, прикрепляю его к притолоке. В юрте сразу становится светлей.

Юрта как юрта. Простое, скромное убранство. На почетном месте стоят два старых кованых сундука. На них сложены цветастые стеганые одеяла. Посередине низенький круглый столик. Пол застелен кошмой. У входа на стенке висит конская упряжь. На потолке между реечками ласточки свили гнездо. Они носятся взад-вперед. Верещат без умолку. Вольно им здесь живется!

Пожалуй, отдохну с дороги. И конь пусть отдохнет. До аула еще неблизко. Поеду вечерком, когда спадет жара.

Хорошо в юрте. Тихо, прохладно. Сейчас полдень. Любопытное солнышко заглядывает в потолочный круг. В ласточкином гнезде попискивают птенцы.

Издалека, постепенно нарастая, доносится шум. Блеют овцы. Они спешат к колодцу. Слышится зычный окрик чабана, лай собак, потом — приближающиеся шаги.

— Здравствуйте!

Я проворно вскакиваю и, по обычаю, протягиваю обе руки.

— Алейкум салем! — сдержанно отвечает мне хозяин.

Да это же дедушка Бекнур! Постарел он, ссутулился. Согнули годы его некогда крутые плечи. Борода длинная. Виски белые. Глаза ввалились. Лицо в глубоких морщинах.

Я называю себя. Дедушка сразу оживляется. Он снимает войлочную шляпу, а круглую тюбетейку под ней передвигает на затылок. Так же не торопясь стягивает пыльные, тяжелые сапоги. Ставит их у порога. Только потом садится на подстилку рядом, гладит бороду, начинает расспрашивать о здоровье, о делах.

— Ну и ну! — удивленно покачивает он головой.— Еще недавно ты был мальчик с пальчик. А теперь — вон какой джигит вымахал.

— И вы, дедушка, изменились,— говорю я.

О, когда-то дедушка Бекнур вихрем мчался по этой степи! Земля дрожала под копытами его скакуна. Отчаянным был наездником. Никто не мог за ним угнаться. Теперь он стал степенным стариком. Мало говорит, много думает.

Появляется старушка. С утра, видно, собирала хворост. Отряхивает одежду у порога. Вытирает потное лицо. Она тоже не сразу узнает меня.

— Это же Далабай,— подсказывает дедушка.

Старушка ласково улыбается, спрашивает о знакомых, о родственниках. Потом идет ставить самовар.

Дедушка Бекнур молча разглядывает свои мозолистые ладони и внимательно слушает меня. Нет у дедушки ни детей, ни внуков. Единственный сын погиб на войне.

Он вытирает полотенцем широкую, крепкую еще грудь, закладывает под язык щепотку насвая.

За юртой завывает ветер. Вихрь-озорник гонит облако пыли.

Я спрашиваю:

— Почему одни вы остались в голой, выжженной степи? Ведь все чабаны давно откочевали?

Не сразу отвечает дедушка Бекнур. Теребит по привычке бороду. Встает и семенит к двери. Выплевывает табак. Потом набирает воды из чайника, полощет рот.

— И овец далеко гнать на выпас,— продолжаю я.— Сколько хлопот вам прибавилось.

— А что делать? — Дедушка хмуро косится на потолочный круг.— Видишь, где устроились эти щебетуньи? Птенцов вывели. В новолуние, думаю, полетят пискуны. Не мог же я разобрать юрту, погубить ласточкино гнездо. Вот и сижу теперь.

Старик чуть улыбается. Я знаю: он только говорит ворчливо, а на самом деле рад ласточкам и их крохотным птенцам. Нежность и доброта угрюмого с виду чабана меня поражают.

Старушка вносит самовар. Он жарко дышит, отдувается. Мы пьем густой чай со сливками.

После полудня я вновь отправляюсь в путь. Долго сопровождают меня, ликующе вереща, две ласточки.

Ровной рысью идет мой конь. Я думаю о старом орле, о добром дедушке Бекнуре, о двух неугомонных ласточках, свивших гнездо в одинокой чабанской юрте в степи.

Нет на свете ничего дороже родной земли и родной природы.

БАЙГА

— Гони! — раздался резкий окрик.

Далабай сжался в комок, припал к гриве коня. Десять скакунов разом сорвались со стартовой линии и понеслись галопом.

Керкиик — опытный скакун. Он знает: если наездник приник к гриве и ослабил поводья — нужно скакать во весь опор.

Земля стремительно уплывала назад. Дробно цокали, лопотали копыта. Цок-цок, лоп-лоп... Будто черные смерчи помчались по рыжей степи.

В клубах пыли Далабай сначала ничего не разглядел. Он вспомнил наставления отца, старого наездника: «Смотри, наглотается конь пыли — быстро выдохнется». Далабай круто повернул в сторону.

— У-ух! Наконец-то вырвался.

Еще минуту назад кони шли плотной, тесной группой, а теперь растянулись длинной журавлиной стаей. Керкиик скакал посередине.

Далабай с шести лет скачет на лошадях. Сейчас ему уже десять. Наловчился. Знает толк в лошадях и верховой езде. Он легкий, как пушинка, и цепкий, как клещ. Потому и доверили ему скакать на Керкиике, защищать честь всей округи Каратау.

Маленькому наезднику известны два вида скачек. Первый — скачки по кругу. Скакуны мчатся в широкой, открытой степи, вокруг заранее расставленных отметок. Зрители могут наблюдать за состязанием от начала до конца. Вся борьба видна как на ладони. Такие скачки называются у казахов айналма-байга.

Второй вид — скачки напрямик. Коней собирают далеко в степи и пускают в сторону аулов. В таких случаях зрители не видят скачек. Они могут любоваться лишь их концом, узнать, кто пришел первым. Айдама-байга — так называются эти скачки.

Сегодня проводилась айналма-байга. Скакали пять кругов, по шесть километров каждый. После тридцати километров — конечная черта. Финиш!

Далабай так волновался, что и не заметил, как кончился первый круг. На холме восторженно кричала толпа. Мальчик пристально посмотрел вперед. Стрелой мчался темно-рыжий. За ним — вороной из города. Его еле видно было в густой пыли. Всех прочих скакунов Керкиик оставил позади.

Далабай перекинул густую гриву на другую сторону. Приятно коню, когда встречный ветер обдувает потную шею. Потом слегка натянул повод. Надо вовремя попридержать разгорячившегося скакуна. Перевести на размеренный, плавный бег. Иначе он быстро запарится и сойдет с пути.

В конце второго круга один из скакунов догнал Керкиика. Кони шли голова в голову, бок о бок, касались крупами. Но Керкиик так и не дал себя обогнать. Он весь вытянулся и летел птицей над степью.

Далабаю опять вспомнился отец. Он большой знаток лошадей и готовил их для скачек. Нелегкое это дело — скакуна выхаживать. И забот и хлопот много. Пощупает отец подгрудок коня и сразу все знает. «Ну,— говорит он Далабаю,— сегодня ты перестарался. Смот-

ри, как конь тяжело водит боками. Нельзя скакать как безумный. Эдак коня угробишь». Иногда отец говорит совсем непонятно. «Сегодня у коня выступил грязный пот,— скажет.— Завтра выжмем чистый». В другой раз озабоченно заметит: «Вот раздышит конь легкие, тогда и на выстойку поставим». Накануне скачек отец и вовсе покоя не знает. Поднимается в полночь. Проголодавшемуся на выстойке скакуну дает хорошо проваренный ячмень. Потом окатывает его студеной водой. Потом растирает грубой холстиной. Расчесывает гриву, хвост. Прилаживает узду, повод...

Утром отец сказал:

— Конь так и просится в байгу!

Далабай все понял. Отец вообще немногословен. «Конь не подведет. Теперь все зависит от тебя» — вот что означали слова отца.

Далабай достал из-за пояса штанов платок. Подтянулся, крепко держась за гриву, глаза коню вытер. Тяжело скакуну, когда соленый пот заливает глаза. Пот струится и по бокам, пощипывает, жжет голые ноги всадника.

Заканчивался третий круг.

Еще ни разу мальчик не ударил Керкиика плетью.

Хорошо идет скакун — легко, ровно. Ветер свищет в ушах. Грива развевается, хлещет по лицу. Керкиик стремительно настигал темно-рыжего.

Тот был весь в мыле. Скакал грузно, из последних сил. Тяжело всхрапывал. Сразу видно — плохо подготовлен конь для скачек. Мало простоял на выстойке. Помнится, так было и с Керкииком, когда он впервые участвовал в байге.

Наездник, совсем еще мальчишка, огрел темно-рыжего плетью. Потом еще ударил. Еще... Еще. Он не хотел, чтобы его обогнали, и хлестал коня нещадно. Кони шли на последнем дыхании. Темно-рыжий надсадно дышал, ронял хлопья пены. Далабаю жалко его стало. Даже в сердце кольнуло.

И вдруг...

Раздался треск, будто лопнуло что-то. Далабай в испуге зажмурился. Неужели подпруга порвалась? Проскакав сгоряча еще немного, он наклонился, посмотрел. Подпруга была цела. Отставая, темно-рыжий задел боком стремя. Подпруга ослабла, и седло заскользило взад-вперед.

Как же быть?

Впереди еще три круга. Остановить скакуна нельзя. Тогда все сразу обойдут его да еще в пыли оставят. И продолжать скачки на скользящем седле невозможно: и коню неудобно, и сам не удержишься, слетишь. Надо подтянуть подпругу на всем скаку. Тут нужна ловкость и сноровка.

Далабай зубами вцепился в повод. Осторожно наклонился. Достал конец широкой подпруги. Чуть-чуть, пальца на четыре, отпустил ее еще. Потом резким рывком застегнул застежку выше порвавшейся дырки. Седло сразу укрепилось.

Маленький наездник успокоился. Повеселел. Но Керкиик за это время сбился с шагу, сбавил скорость. Далабай понимал — сам виноват. Не надо было так тесно сближаться с темно-рыжим.

А байга разгоралась. Все стремительней скакали кони. Казалось, буря безумствовала в степи. Другие скакуны настигали Керкиика. По-прежнему шел впереди вороной из города. Он оторвался на полет стрелы. Если не догнать его сейчас, потом будет уже поздно. И тогда...

Далабаю даже представить было страшно, что будет тогда. Все хлопоты и надежды отца, все старания Далабая окажутся напрасными. Как он посмотрит тогда друзьям в глаза? И Керкиику не будет больше удачи. Горький комок подкатил к горлу мальчика.

И тут он впервые хлестнул коня плетью. Толпа на холме в неистовом реве снова откатилась назад.

Вороной мчался впереди без удержу. Это был знаменитый скакун. «Крылатый дух байги» — так говорили о нем в аулах. Сам хозяин, рослый, крупный джигит, гордо восседал в седле. «А не тяжело коню будет?» — спросили перед байгой старики. «Что вы! — махнул рукой джигит.— Вы разве не знаете, какой он выносливый! У него хребет железный. Не могу же я такого скакуна доверять мальчишкам-сосункам». Самоуверенный малый. На других скакунов и смотреть не стал. Только посмеивался в черные холеные усы. Что же.., Вороной действительно хорош. Быстроногий, сильный. С самого начала байги идет впереди.

Удар плетью подстегнул Керкиика. По телу его пробежала дрожь. Ветер туго ударил в грудь. Далабай едва не задохнулся. Он отпустил поводья. Между уша-

ми Керкиика видел он, с какой яростью мчится впереди скакун. Но расстояние между ними сокращалось. Всадник уже слышал топот копыт вороного, и пыль из-под ног его била в лицо.

—Ну, поддай, милый! Давай, родной! — подбадривал юный наездник своего любимца.

Керкиик достигал вороного. Долговязый джигит сидел в седле прямой, как кол, и руки-ноги его болтались, будто у тряпичной куклы. Конечно, грузноват он для скачек. Напрасно не послушался стариков. «В долгой байге даже поесть коню в тягость»,— бывало, говорил отец. И еще он посмеивался над скачками на городском ипподроме: «Это не байга, а глупая забава. Лошадки малюсенькие, тощие. А всадники — тяжеленные дяди. Трясет их в седле, словно мешок с картошкой. Бедных коняг едва хватает на один круг. Лишь начнут скачку — и уже конец. Смотреть не на что. Только людей смешат и коней позорят». Наверное, этот долговязый на вороном тоже привык к городским состязаниям. Байга в степи — это совсем другое. Она под силу лишь скакуну из скакунов. Долог его путь, стремителен бег.

И нет на свете красивее зрелища степной байги!

Ух-х! Обошел-таки Керкиик вороного.

Оставался еще один круг. Последний и самый трудный.

Топот скачущего коня звучит как музыка домбры. Красив конь! Стелясь над землей, далеко закидывает ноги. И бег его похож на радостный полет птицы. Далабай едва не соскальзывает с седла. Пальцы судорожно вцепились в гриву. Он уже не подгоняет коня плетью. Мальчик весь в его власти. Скакун — во власти бешеного намета.

Близится полдень. Солнце печет. В степи наперегонки мчатся смерчи. Из-под копыт испуганно взлетают жаворонки: фр-р!.. фр-р!!!

Уже видна конечная черта. Склоны холма черны от людей. Собрались и конные, и пешие. Все с нетерпением ждут победителя. Сердце наездника радостно забилось. Видит ли его сейчас отец? Где он? Галдят мальчишки на стригунках. В руках у них белые платки. Это коноводы. Они должны водить скакунов после байги. Ведь нельзя сразу остановить взмыленного, разгоряченного коня. Его нужно долго водить под уздцы, чтобы он остыл, успокоил дыхание.

Вот она, конечная межа!

Степь гудела. Толпа качалась, кричала, ликовала. Подбадривала победителя. Радость охватила Далабая. Ему казалось, что он летит на крылатом коне-тулпаре, воспетом в песнях и сказках. Звездой падучей пронесся Керкиик мимо холма.

Ура-а! Он победил в байге! Он выиграл первый приз!

Никогда еще не был Далабай так счастлив, как сегодня. Мальчишка-коновод поскакал рядом, принял из рук Далабая повод, повел Керкиика. Далабай опустился на траву. Ноги затекли от долгой скачки. Все вокруг покачнулось, поплыло перед глазами... Скакуны, распластавшиеся над степью... Руки, напряженно державшие поводья... Клубящаяся пыль...

Подбежал отец. Подхватил сына на руки. Подкинул, будто шапку-ушанку. Он был взволнован. Голос его дрожал.

— Жеребенок мой! — ласково бормотал он.— Достойный потомок предков наших славных!

СЛОВО О ПИСАТЕЛЕ

Шелковая нить мягка на ощупь и прочна. Она выдерживает натяжение грузов весом в целые державы и эпохи. Это историческая шелковая нить, связующая времена, поколения, судьбы целых народов, так что́ значит на ней пылинка одной человеческой судьбы, хотя из таких мерцающих и плывущих в солнечном свете пылинок состоит, может, сама История, и видеть в малом большое, и распознавать большое, как состоящее из малых частей, должен пристальный глаз художника, и тогда, наверное, не ускользнет от него главное — та истина, ради которой он стал дышать полынным и дымным воздухом прошлого, дабы понять настоящее и увидеть завтрашний день. И взгляд этот должен быть острым, чтобы блеск древнего оружия и пышность нарядов не заслонили собой лицо человеческое и сердце, истерзанное муками. Разглядеть человека под рубищем дервиша, увидеть несчастные глаза под тюрбаном, украшенным царским алмазом, понять страдание танцующей перед праздной толпой рабыни... И не столь важны становятся для писателя золотые светильники и тяжелые ковры, конная сбруя и святые слова Великой книги на синей стали. Главное — это человек, это мысли и страсти его, его горькая печаль и неизбывная тоска, светлая мечта его, прекрасное сердце. И тот, кто понял это, находит волшебные слова, воскрешающие целый мир, и ему удается излить на бумаге свои горести, страдания, свою неудовлетворенность, обжигающие мозг мысли, дабы связать крепче тающие времена, ускользающие призраки, населявшие иные лета, Великой Шелковой нитью единства прошлого и настоящего и провести себя и других по тому пестрому, красочному, богатому и кровавому Шелковому пути, по которому скачут кони напоминаний, сверкают клинки предупреждений, на котором мерцают крохотными огоньками жизни маленьких людей, и эти огни, сливаясь, создают Огромный Млечный путь истории, и нужен острый взгляд, чтобы разглядеть и каждую отдельную искорку, и вселенское пламя. В этом взгляде и в этих мыслях кроется и разгадка пути художника.

Восемнадцать рассказов-самоцветов, вошедших в книгу Дукенбая Досжанова вместе с романом «Шелковый путь», написаны в разное время и щедро отданы читателю. Д. Досжанов — умелый гранильщик своих камений, вобравших в себя чистый свет и теплый голос мастера, пользующегося особыми резцами, только своими инструментами.

Но у каждого мастера есть свои любимые напевы, свои мотивы. У Досжанова это прекрасно обыгранные глубокие морально-этические проблемы становления личности в ураганных условиях крутых жизненных перемен. Ему присуще сыновнее поклонение родной зем-

ле, щемящая сердце нежность и умная любовь к ней, чувство долга перед ней, искренность и истинность убеждений, осознанная ответственность перед собой и временем. Все, о чем пишет Дукенбай Досжанов, и спето вдохновенно, напряженными струнами домбры в руках акына. Иными не могут быть глаза и сердце писателя. Точность социального анализа казахской действительности, психологическая разработка характеров, сложный, звучный, узорчатый, многоцветный слог, высокие стилистические достоинства рассказов Д. Досжанова превращают их в яркое явление современной казахской прозы.

Автор сам напряжен, как струна кобыза, и голос его звучит то в мистическом нижнем регистре, то в жизнелюбивом верхнем, и это, наверное, оттого, что чуток он к речи своих земляков, умеет слушать гортанные голоса вольных табунщиков, многодумных чабанов, влюбленных в землю дехкан. Эти голоса для художника — истинные самородки. И собранный материал отвечает благодарностью, становится напевным, приносящим радость и раздумье. Эта легкость и стройность приходит через муки.

О современном казахском ауле, о его людях, о том, как мучительно непрост бывает подчас путь к новому, говорится гортанным степным речитативом в рассказе «Кому нужен умный совет?..» А память о добрых народных традициях, мысль о непреходящей ценности и подлинной стоимости человеческого благородства стала темой рассказа «Кумыс», такого же серебряного, пенного и хмельного, как этот степной напиток. В рассказе «Братья» раскрыты противоположные, полярные, похожие несхожестью на суровые пески и гордые горы характеры двух братьев, своей жизнью отвечающих на вопрос о смысле человеческого бытия.

Как сохранить святую доброту земли, округлой и полной жизни, теплой, как материнская грудь, как поднять нежные зеленые ростки молодого поколения до мудрой зрелости, как сделать наших детей бережливыми хозяевами — над такими вопросами раздумывает писатель в рассказе «Урюк», ароматном, как оранжевые сочные плоды этого солнцелюбивого дерева. Люди приходят и уходят, а земля остается, и в трактовке автора эта извечная истина обретает еще одну светлую окраску —родная земля мудра и благодарна, она отдает свое тепло и ласку, если беречь ее и почитать, если любить ее, как родную мать, давшую и дающую жизнь.

Немаловажно при встрече с писателем расслышать его голос. У Дукенбая Досжанова он густой и теплый, пропитанный ароматом родной степи. Он четок, конкретен, гибок и звучен. Известный переводчик, тонкий знаток казахского литературного языка, Герольд Бельгер писал: «Среди лексических определений коня, казахских убранств, которые использует писатель Дукенбай Досжанов, питающий пристрастие к этнографическим деталям, встречаются и такие, которые мне в жизни не доводилось встречать». Еще, помню, немецкий литературовед и критик Леонард Кошут писал: «Я ощутил в повести «Полынь и цветы» желание прочно связать настоящее с минувшим и сделать его неотъемлемой частью нашего духовного мира: Дукенбай Досжанов умеет увлечь частностями и деталями, проникнутыми духом старинного быта и уважением к жизненному укладу отцов». Мне кажется, коллеги это верно подметили.

Казахская проза, как известно, уходит своими корнями к абаевской эпохе. Пути ее развития, традиции складывались непросто, в борьбе и поглощении знаний пересохшими сердцами, в преодолении

застывшего, косного и малоподвижного. Могучий талант М. Ауэзова выдвинул казахскую прозу на передовые позиции, открыв богатства ее еще почти не разработанных недр. И сейчас природные залежи, извлекаемые на свет силой талантов, поражают самое богатое воображение. Ветвь казахской прозы налилась могучими живительными соками на древе мировой литературы, облагородилась и расцвела.

Сейчас именно прозаики «делают погоду», задают тон в казахской литературе. Без голоса Дукенбая Досжанова она бы значительно потускнела.

Мне кажется, что Досжанов не берется за перо без необходимости, ибо уважительно относится к своему оружию. Без нужды он не вынимает кинжала, и если делает это, то только затем, чтобы встать за справедливость, защитить слабого. Потому и нужно ему быть зорким и уметь слушать, чтобы распознавать, где боль, где лицемерие. Еще Абаем было замечено, что истинное творчество — как душевная боль, как неизлечимый недуг. И Дукенбай Досжанов болен всеми горестями и страданиями своих героев, на помощь которым ведет его недремлющее сердце.

Иногда у Досжанова прозаический слог становится многослойным, расцвеченным, порой целые абзацы в его произведениях написаны одним предложением, как на одном глубоком вздохе. Это делается сознательно, и кажется, что автор сам обучается звучному и трудному вокалу описательного слога и приучает к этому своего читателя.

Дукенбай Досжанов — истинный труженик своего искусства, верный и надежный. Об этом говорит прочная нить «Шелкового пути», твердость «Первого шага», полноводность «Реки жизни», уважительный поклон еще одного романа — «Поклонись своему порогу» и яркая индивидуальность десяти повестей и более сорока рассказов. Все это результат самоотверженного служения негасимому огню высокого, очищающего и воспитывающего искусства, прошедшей через сердце твердой убежденности в нужности твоего дела народу. Историчность произведений Досжанова — это не тоска по прошлому, это тревога за будущее, взгляд, устремленный в завтрашний день, ведь если не обращать свой взор туда, лицо писателя может стать затылком, слепым и ничего не выражающим. Увидеть связь времен и сделать близким ушедшее дано не каждому. Дукенбай Досжанов — мастер современной генерации, советский художник, наделенный почти болезненным чувством справедливости, боец переднего края сложного и широкого фронта идеологической борьбы, верный солдат советской казахской литературы. Он чувствует себя всегда обязанным стоять на посту, на богатырской заставе, петь раздольные степные песни, предаваться сложным раздумьям, пока тиха ковыльная даль, но копье его остро отточено и всегда направлено против зла, с которым он сражается активно, никогда не отрываясь от своей земли, которая дает силу художнику.

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ. Роман. Перевод Г. Бельгера и М. Симашко 5

РАССКАЗЫ

Голубые миражи Куланчи. Перевод А. Кима 337

Ум, оказывается, на базаре не продается. Перевод Г. Бельгера 353

Маленький Ягимус. Перевод А. Кима 369

Урюк. Перевод А. Кима 386

Свет человеческий. Перевод А. Кима 402

Наездник. Перевод А. Кима 419

На «Лунной сонате». Перевод А. Кима 437

Теплый дождь. Перевод А. Кима 450

Малютка. Перевод А. Кима 463

Много ли богатства нужно человеку. Перевод А. Кима 481

Ветер Львиная грива. Перевод Г. Бельгера 497

Кому нужен умный совет. Перевод Г. Бельгера . . 513

Братья. Перевод Г. Бельгера 532

Долг людской. Перевод А. Досжанова 545

У светлого источника. Перевод Г. Бельгера 558

Кумыс. Перевод Г. Бельгера 573

Чабан и ласточка. Перевод Г. Бельгера 593

Байга. Перевод Г. Бельгера 596

Олжас Сулейменов. СЛОВО О ПИСАТЕЛЕ 602

Дукенбай ДОСЖАНОВ

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1983, 608 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **В. Полонская**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Л. Сухоставская**

ИБ № 638

Сдано в набор 14.12.82. Подписано в печать 06.05.83. А 01274. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 19,00. Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 33,64. Тираж 265.000 экз. (1 зав. 1—100 000). Заказ 1483.
Цена 2 руб. 40 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набор и матрицы изготовлены на ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», 252047, Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94.

Отпечатано и изготовлено на Киевской книжной фабрике Республиканского производственного объединения «Полиграфкнига», ул., Воровского, 24.

В 1983 году
издается 15 книг
библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Адамович. Хатынская повесть. Каратели.

А. Айвазян. Треугольник. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

М. Алексеев. Ивушка неплакучая. Роман.

Ф. Алиева. Корзина спелой вишни. Романы. Перевод с аварского.

Ю. Бондарев. Тишина. Выбор. Романы.

Д. Досжанов. Шелковый путь. Роман. Рассказы. Перевод с казахского.

Т. Зульфикаров. Мудрецы. Цари. Поэты...

Р. Иванычук. Манускрипт с улицы Русской. Романы. Перевод с украинского.

О. Иоселиани. Звездопад. Романы. Рассказы. Перевод с грузинского.

Ю. Казаков. Рассказы.

Л. Карелин. Ступени. Роман. Повести.

А. Ким. Собиратели трав. Повести.

Ю. Трифонов. Нетерпение. Отблеск костра. Роман. Повесть.

Г. Тютюнник. Водоворот. Роман. Перевод с украинского.

Эстонские повести.

Scan Kreyder - 13.05.2016
STERLITAMAK

2р.40к.